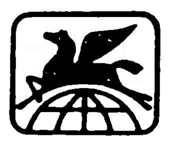
МИХ.
ЗОЩЕНКО

1

Мих. Зощенко

1



Мих. Зощенко

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

Мих. Зощенко

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 1

Рассказы и фельетоны

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

ББК 84.Р7
З 88

Составление, подготовка текста,
вступительная статья, примечания
Ю ТОМАШЕВСКОГО

Оформление художника
Н. ВАСИЛЬЕВА

З $\frac{4702010200\text{-}078}{028(01)\text{-}86}$ без объявл.

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО

На долю Михаила Михайловича Зощенко (1894—1958) выпала слава, редкая для человека литературной профессии. Ему понадобилось всего лишь три-четыре года работы, чтобы в один прекрасный день вдруг ощутить себя знаменитым не только в писательских кругах, но и в совершенно не поддающейся учету массе читателей

Журналы оспаривали право печатать его новые рассказы. Его книги, одна опережая другую, издавались и переиздавались чуть ли не во всех издательствах, а попав на прилавок, раскупались с молниеносной быстротой. Со всех эстрадных подмостков под восторженный смех публики читали Зощенко.

Свои первые рассказы Зощенко опубликовал в 1921 году, а уже через десять лет, когда он был еще только на подходе к своим главным книгам, дважды успело выйти шеститомное собрание его сочинений.

Слава ходила за Зощенко по пятам. И нередко в самом прямом смысле. Почтальон приносил ему пачки писем. Ему названивали по телефону, не давали проходу на улицах. Его узнавали в трамваях, осаждали в гостиницах. Его мгновенно «засекали» везде, где бы он ни появлялся, и, чтобы уберечь себя от назойливых почитателей, он, выезжая из Ленинграда, был вынужден подчас скрываться под чужой фамилией. В то же время Михаилу Михайловичу рассказывали и писали, что по дорогам страны бродит несколько граждан, выдающих себя за писателя Зощенко.

Чем же объяснить столь небывалую для нашей литературы известность писателя? Чем объяснить, что Маяковский, такой придирчивый и скупой на высокую оценку, когда дело касалось кого-либо из «литературной братии», называл Зощенко «большим, квалифицированным и самым популярным писателем» и настаивал, чтобы «всячески продвигать в журналы» его произведения, что Есенин еще в 1922 году (Зощенко только что появился перед читателем!) написал, что «в нем есть что-то от Чехова и от Гоголя» и «будущее этого писателя весьма огромно», а Чуковский, вспоминая время вхождения в литературу «Серапионовых братьев» — Вс. Иванова, В. Каверина, Н. Тихонова, К. Федина и других, —

подчеркнул, что именно на книги незаметного с виду конторщика Михаила Зощенко с каждым годом все возрастал и возрастал «ненасытный читательский спрос»?

Односложный ответ здесь не годится. Он должен слагаться из целого ряда моментов, касающихся как самого писателя, так и времени, когда Зощенко начал писать.

Он родился в Петербурге, в семье небогатого художника-передвижника Михаила Ивановича Зощенко и Елены Осиповны Суриной, за домашними заботами успевавшей писать и печатать рассказы из жизни бедняков в газете «Копейка». С раннего возраста, а особенно после смерти отца (мальчику было 12 лет), когда Елена Осиповна, страдая от унижения, обивала пороги присутственных мест с просьбой о пособии для своих восьмерых детей, будущий писатель уже хорошо понял, что мир, в котором ему довелось родиться, устроен несправедливо, и при первой возможности отправился этот несправедливый мир изучать. Он еще гимназистом мечтал о писательстве — и вот за невзнос платы его исключили из университета; нужен ли более веский предлог для ухода из дома — «в люди»?

...Контролер поездов на железнодорожной линии Кисловодск — Минеральные Воды; в окопах 1914 года — командир взвода, прапорщик, а в канун Февральской революции — командир батальона, раненый, отравленный газами, кавалер четырех боевых орденов, штабс-капитан, при Временном правительстве — начальник почт и телеграфа, комендант Главного почтамта в Петрограде, адъютант дружины и секретарь полкового суда в Архангельске; после Октябрьской революции — пограничник в Стрельне, Кронштадте, затем добровольцем пошедший в Красную Армию командир пулеметной команды и полковой адъютант под Нарвой и Ямбургом; после демобилизации (болезнь сердца, порок, приобретенный в результате отравления газами) — агент уголовного розыска в Петрограде, инструктор по кролиководству и куроводству в совхозе Маньково Смоленской губернии, милиционер в Лигове, снова в столице — сапожник, конторщик и помощник бухгалтера в Петроградском порту «Новая Голландия». Вот перечень того, кем был и что делал Зощенко, куда бросала его жизнь, прежде чем он сел за писательский стол.

Этот перечень необходим. За сухими строчками зощенковской анкеты проглядывается время, которое сегодня мы справедливо считаем неповторимо возвышенным и великим, но которое для многих живших тогда людей было временем неслыханных испытаний — временем голода, тифа и безработицы.

Зощенко видел этих людей, заглядывал им в глаза. Он хотел узнать, как живет и чем дышит прошедший через многовековое рабство его народ, — и он это узнал: время протащило его по окопам двух войн, по весям и городам послереволюционной России и швырнуло на булыжные улицы Петрограда.

Но он не упал.

Он обладал завидной для людей своего социального слоя стойкостью, что, кстати, так выручало его на крутых поворотах жизни. Он был на редкость восприимчив к чужому образу мыслей, что не только помогало ему разобраться в разных точках зрения на происходящую в стране ломку, но и дало возможность постичь нравы и философию улицы. За несколько лет скитаний он увидел, услышал и узнал столько, сколько в спокойное, неторопливое время он никогда бы не увидел, не услышал и не узнал даже за пятьдесят лет.

И не он ходил по людям с карандашом. Сами люди, расталкивая друг друга, наперебой рвались к нему на карандаш. Эти люди станут героями его произведений. Он будет учить их смеяться над самими собой и этим смехом отстраняться от себя прежних. Но сейчас они были его учителями. И они учили его от их жизни не отстраняться.

Отправляясь в путь, Зощенко и минуты не сомневался, что будет свидетелем многих и многих неприглядных картин русской действительности. Он и шел-то, по сути дела, затем, чтобы увидеть как раз эти картины. Но то, что увидел он наяву, превзошло все его ожидания.

Воспитанный в интеллигентной дворянской семье, Зощенко попал в неведомый ему даже по самым правдивым книжкам круговорот жизни и имел, казалось, все шансы быть выброшенным за борт революции, как это случилось со многими из его среды, поспешившими покинуть «тонущий корабль». Но Зощенко понял: корабль не тонет. И даже увидел свое место на этом корабле.

Он был человеком с больной, не знавшей покоя совестью. Его преследовали страшные видения, вынесенные им из жизни улицы, и, хотя он, казалось бы, не должен был чувствовать перед нею вины, он мучился от сознания, что виноват уже тем, что родился на чистых простынях. Он принял в сердце эту великую боль и посчитал себя мобилизованным на служение «бедному» (как позже он его назовет) человеку.

Этот человек олицетворял собой целый человеческий пласт тогдашней России. Веками возводимый несправедливый социальный уклад, из недр которого вырвала этого человека революция, духовно его обокрал, обеднил, обделил пониманием происходящих в жизни процессов. На его глазах революция предпринимала титанические усилия, чтобы набрать мощный разбег. Она не только лечила раны на измученном теле страны, но уже мечтала залить города и села электрическим светом. Но чтобы осуществить эту мечту, необходим был сознательный труд миллионов людей. А «бедный» человек, хоть и старался, тужился, зачастую никак не мог сообразить: для чего все это, зачем? Он с великой охотой и усердием принимал участие в разрушении устоев старого общества, но к созидательному труду в новом обществе готов не был. Тратя все свои силы на борьбу с разного рода мелкими житейскими неурядицами, он не понимал, что, занятый своими личными интересами, не приближает время той жизни, о которой мечтал, а отдаляет его.

Его спина прогибалась под грузом морально отживших, а на деле еще не утративших силу пережитков сметенного революцией прошлого, но свалить с себя этот груз он не мог.

По меткому определению В Шкловского, Зощенко писал о человеке, который «живет в великое время, а больше всего озабочен водопроводом, канализацией и копейками Человек за мусором не видит леса».

Ему нужно было открыть глаза...

В решении этой задачи и увидел Зощенко свое назначение.

К началу двадцатых годов поход за отправным для литературного труда материалом подошел к концу: Зощенко владел знанием жизни, духовных и бытовых интересов своего будущего массового читателя.

И, что особенно важно, владел его языком.

Этот язык, словно прорвав веками державшую его плотину, затопил тогда вокзалы и площади, присутственные места и рынки, залы для театральных представлений и только что учрежденные коммунальные дома.

Это был неизвестный литературе, а потому не имевший своего правописания язык. Он был груб, неуклюж, бестолков, но — затыкай или не затыкай уши — он существовал. Живой, непридуманный, сам собою сложившийся, пусть скудный по литературным меркам, а все-таки — тоже! — русский язык

Далеко не каждый, даже очень хороший писатель, познавший жизнь простого народа и задавшийся целью своим трудом принести ему реальную помощь, способен спуститься с литературных высот и заговорить с людьми, о которых и для которых он пишет, на их повседневном, понятном им языке и в той же тональности, в какой говорят они между собой в обыденной для себя обстановке.

Зощенко был наделен абсолютным слухом и блестящей памятью За годы, проведенные в гуще людей, он сумел проникнуть в тайну их разговорной конструкции, сумел перенять интонацию их речи, их выражения, обороты, словечки — он до тонкости изучил этот язык и уже с первых шагов в литературе стал пользоваться им легко и непринужденно, будто этот язык — его собственный, кровный, впитанный с молоком матери

По слогам читая зощенковские рассказы, начинающий читатель думал, что автор — свой, живущий такой же, как и он сам, простой жизнью, незамысловатый человек, каких «в каждом трамвае по десять штук едут».

Об этом ему говорило буквально все в сочинениях писателя. И место, где «разворачивалась история» очередного рассказа· жакт, кухня, баня, трамвай,— все такое знакомое, свое, житейски привычное. И сама «история»: драка в коммунальной квартире из-за дефицитного ежика, ерунда с бумажными номерками в бане за гривенник, случай на транспорте, когда у пассажира чемодан «сперли», — автор как будто так и торчит за спиной человека, все-то он видит, все-то он знает, но не гордится — вот,

мол, я знаю, а ты нет,— не возносится над окружающими. И главное — «грамотно» пишет, не умничает, все «чисто русские», «натуральные понятные слова»

Это последнее окончательно успокаивало читателя. В чем другом, а вот тут — взаправду умеет человек по-простому разговаривать или только подлаживается — он всегда разберется. И он разобрался: Зощенко свой, подвоха тут нет.

Веками сложившееся недоверие «бедного» человека к стоящим выше на общественной лестнице получило здесь одну из самых ощутимых своих пробоин. Этот человек поверил писателю.

И это было великим литературным достижением Зощенко.

Зощенко писал о своем языке:

«Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным.

Может быть, поэтому у меня много читателей».

Сжатое письмо, короткая фраза — вог, оказывается, в чем секрет небывалого его успеха в литературе.

Не мало ли для такого успеха?

Не мало. Если принять во внимание тот «воздух», который содержат эти короткие фразы.

Что же понимать под «воздухом», который, как говорил Зощенко, он «ввел» в свою литературу?

Вопрос сложный, достойный особого исследования. Но применительно к нашему разговору ответ можно уложить в несколько строк.

«Воздух» — это громадная работа Зощенко над переводом просторечного говора в русло литературного языка.

Начинающий читатель все-таки ошибался. Не на его языке писал Зощенко, а на своем, на созданном им самим языке. Это была очень тонкая, с совершенным знанием оригинала, необыкновенно талантливая — но все же имитация простой речи.

Язык Зощенко был собирательным; он вобрал в себя все самое характерное, самое яркое из расхожего языка масс и в отжатом, концентрированном виде вышел на страницы зощенковских рассказов. Тогда-то и стал он литературным языком — неповторимым языком народного писателя Зощенко.

Однако для начинающего читателя все это было до безнадежности сложно, да и, по сути дела, не важно. Зощенко писал на понятном ему языке — вот что было для него важно!

И вот что еще, не менее важное, чем знание всех мелочей его жизни и его языка. Этот как с неба свалившийся на него писатель казался исключительно веселым, неунывающим человеком. Никакие превратности судьбы не в силах были сшибить его героя с раз и навсегда занятой им бодрой позиции.

Все ему нипочем. И то, что одна гражданочка при помощи пирожных перед всей театральной публикой его осрамила. И то, что «ввиду кризиса» пришлось ему с «молоденькой добродушной супругой», дитем и тещей

в ванной комнате проживать. И то, что в компании психов довелось ему как-то раз ехать в одном купе — и опять ничего, выпутался.

Молодец этот самый Зощенко! Несмотря на такие вот нервные потрясения со стороны жизненных обстоятельств, описывает бодро — животики надорвешь...

Смех Зощенко, по-своему понятый начинающим читателем, скрашивал его трудную жизнь и вселял надежду, что все в конечном итоге обернется к лучшему.

Смеясь от души над зощенковскими рассказами, в которых все было «голая правда», этот читатель был глубоко убежден, что герой-рассказчик не кто иной, как собственной персоной писатель Зощенко. И его тянуло к этому веселому, неунывающему человеку. Потому-то он и гонялся за ним, часами выстаивал в подворотне его дома, трезвонил по телефону. Все хотел узнать-расспросить, как же тому удается сквозь все испытания пронести и легкость характера, и веселость, и простой взгляд на вещи.

Он шел к Зощенко за рецептом. Как больной к доктору.

Но «доктор» избегал принимать «больных». У него был совсем не легкий характер. Он был малообщительный и очень невеселый человек, со сложным отношением к жизни. И он не только жалел людей, не только им сострадал, но и видел в них то, что не могло вызвать ни жалости, ни сострадания.

Оказавшись в новых социальных условиях и слегка оглядевшись, иные из «бедных» людей стали проявлять такие нежданно-негаданные пугающие качества и черты, которые были достойны не то чтобы жалости, но требовали немедленного и непримиримого неприятия их, осуждения — как немыслимых именно в тех самых новых социальных условиях. И ничто на свете так Зощенко не удручало, как то, что люди весело смеются, читая его рассказы. Он считал, что не смеяться над ними надо, а плакать.

Зощенко был верным последователем гоголевского направления в русской литературе. Если внимательно вслушаться в его смех, нетрудно уловить, что беззаботно-шутливые нотки являются только лишь фоном для нот боли и горечи.

За внешней непритязательностью того или иного рассказа, который на первый, поверхностный взгляд может показаться и мелким по теме и пустяковым по мысли, за всеми шуточками, остротами и курьезами, призванными, казалось бы, только повеселить «уважаемых граждан», у Зощенко всегда таилась взрывчатой силы остронасущная, живая проблема дня.

Этих проблем в поле зрения Зощенко всегда было великое множество — и тех, которые уже обрели реальные контуры, и тех, которые только что заявили о своем рождении. И в разное время, но всегда точно ко времени, когда та или иная проблема уже не имела далее права оставаться «неподнадзорной», Зощенко, максимально вооруженный знанием предмета, писал свой очередной рассказ. И попадал, как правило, в самую точку.

У него было особое чутье на малейшие колебания и перепады в общественной атмосфере. Он безошибочно верно улавливал жизненно важный вопрос, именно тот, что как раз сегодня вставал перед массой людей.

Так, в нужный момент появлялись его рассказы о жилищном кризисе, принявшем угрожающие размеры в середине двадцатых годов; о равнодушии лиц, в чьи прямые обязанности входила забота о благоустройстве людей; об административных перегибах, бюрократизме, волоките, взяточничестве и о многом, многом другом, с чем приходилось сталкиваться людям в повседневном быту.

Со словом «быт» связано понятие «обыватель».

Есть устоявшееся мнение, что зощенковская сатира высмеивала и разоблачала обывателя. Что Зощенко выставил на публичное обозрение исключительный по своей отталкивающей выразительности его портрет, чтобы помочь революции точнее определить цель, по которой необходимо вести массированный огонь.

На первый взгляд, это так. Но призадумаемся... Прежде всего — кто такой этот самый обыватель?

Зощенко считал, что в чистом виде такой человеческой категории нет. Есть человек — носитель тех или иных обывательских черт. Эти черты есть в каждом человеке. Только у одного их меньше, у другого — больше. «Я соединяю эти характерные, часто затушеванные черты в одном герое, и тогда герой становится нам знакомым и где-то виденным», — писал Зощенко.

Он высмеивал обывательские черты в человеке, а не самого человека. Человек-обыватель в его представлении был фигурой мифической, несуществующей.

Будь то иначе, нам пришлось бы сказать, что обыватель и зощенковский «бедный» человек — одно и то же лицо.

Но это противоречило бы всему, что мы знаем о Зощенко и его творчестве

Своими рассказами Зощенко как бы призывал не бороться с людьми — носителями обывательских черт, а помогать им от этих обывательских черт избавляться. Многие из этих людей не сами пришли в революцию, а просто в один прекрасный день в ней оказались. И потому «кавалерийский налет» здесь неуместен. Здесь нужна кропотливая, тонкая, со знанием психологии этих людей — не на месяцы,а на годы — работа. И не бранить надо людей за несозвучное с временем недомыслие (в этом они не так уж и виноваты), а научить их понимать и ценить новое время, для чего строго спрашивать с тех, чье равнодушие, чванство, злоупотребление властью подрывает и без того еще не окрепшую веру людей в грядущую жизнь.

Вот по какому пути должна вестись борьба с обывательщиной. Вот где надо искать задачи и цели сатирических рассказов Зощенко.

Популярность Зощенко в читательских массах связывают обычно с его рассказами. И это оправданно. Рассказы Зощенко сумели вырваться из круга постоянно читающей публики и пробили пути к людям, лишь недавно постигшим премудрости букваря. Именно здесь кроется первопричина пришедшей к Зощенко поистине всесоюзной известности.

Но читателями Зощенко были не только вчерашние ликбезовцы. И не только рассказы были уделом его молодых дерзаний. Почти в то же самое время, когда на страницах сатирических журналов «Мухомор», «Дрезина» и «Красный ворон» начали печататься его первые «мелкие» рассказы, в альманахах «Круг», «Ковш» и других «толстых» изданиях стали появляться повести, которые позже, собравшись в книгу, получили общую рубрику — «сентиментальные».

«Сентиментальные повести» не вызвали у «испытанного» читателя Зощенко одобрительных чувств. Он не узнал в них свою жизнь, а чужая, неведомая жизнь, которая к тому же длинно описывалась непривычно длинными фразами, его мало интересовала.

Зато читатель с достаточным опытом чтения проявил к повестям весьма пристрастное любопытство. Ибо с их страниц — сквозь плотную ироническую завесу — проглядывало нечто очень знакомое, очень похожее на то, что происходило в ту пору со многими из этих читателей, во всяком случае, с теми из них, кто занимал, как говорится, средние ступеньки на социальной лестнице тогдашнего российского общества.

Литературный строй «Сентиментальных повестей» — по всем своим компонентам — резко отличался от того, что наполняло художественную структуру рассказов. Да, Зощенко, как и в рассказах, бил в ту же точку — разглядывал «незаметного в блеске наших дней» человека, которому довелось жить на переломе эпох. Но не только сам человек в повестях был другой, не только другими были здесь стиль, язык, словарный состав и т. д , — совершенно другим оказался вдруг уровень мышления у писателя! Это не могло не заинтриговать критику: чтобы один человек в одинаковой мере владел двумя культурно-речевыми системами — нет, такое не каждый день встретишь.

Дабы оградить себя от пересудов, на которые критика не жалела ни домыслов, ни бумаги, Зощенко написал в статье «О себе, о критиках и о своей работе»: «...когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части: вот, дескать, мои повести — это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказы — журнальная юмористика, сатирикон, собачья ерунда, — это неверно.

И повести, и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. У меня нет такого тонкого подразделения: вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот повесть для потомства...

А дело в том, что в повестях («Сентиментальные повести») я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах я пишу о человеке более простом. И само задание, сама тема и типы диктуют мне форму».

Зощенко называет здесь героя «Сентиментальных повестей» интеллигентным человеком. Конечно, ни Забежкин, ни Белокопытов, ни Перепенчук, ни Былинкин и никто другой из героев и персонажей повестей недостоин столь высокого звания, однако в контексте процитированной статьи, содержавшей полемику с критикой, это не вызывает решительного сопротивления: писателю было необходимо как можно резче подчеркнуть разницу между героями «журнальной юмористики» и «Сентиментальных повестей». А по существу — зощенковский «интеллигентный человек» — это тот, который отличается от малограмотной массы лишь некой сравнительной культурой.

Чиновник низкооплачиваемой категории, тапер, бывший помещик, бездельник из захудалых дворян, сочиняющий дрянные стишки, — какие же это интеллигенты? В предисловии к «Мишелю Синягину» Зощенко назвал подобных людей — «средние люди». Он как бы поправил себя, «подредактировал» когда-то брошенное по ходу полемики определение.

Зощенко хорошо знал среду, из которой вышли герои его «Сентиментальных повестей». Разные по своему социально-культурному уровню, прототипы этих героев были схожи в одном: они проспали прошумевший под окнами ход истории. Кого-то из этих людей Зощенко обличает, кто-то вызывает в нем чувство брезгливости, чьи-то поступки его смешат, настраивая на необидную для героя иронию, но за всем этим — кто бы в очередной раз перед ним ни предстал — всегда прячется грусть сочувствия. Зощенко добр, он даже готов, закрыв кое на что глаза, прийти на помощь своим несчастным героям. Потому что это в самом деле несчастье — оказаться в положении лишних, выброшенных на задворки жизни.

И вот «средние люди» пытаются покинуть задворки — пробуют ловчить, приспособиться, обмануть судьбу, пускаются во все тяжкие, рассчитывая, что повезет, подвернется случай, благодаря которому удастся не только удержаться на поверхности, но, может быть, и испытать счастье. Тут-то Зощенко и предлагает каждому из них воспользоваться таким случаем.

Но... ничего не выходит. Всякий раз из-за какого-нибудь вроде бы нелепого пустяка, какой-нибудь глупой мелочи рушатся все надежды и планы очередного «соискателя счастья».

Какое же это счастье ищут герои «Сентиментальных повестей»? В чем они его видят? И что это за причины такие, что не дают осуществиться их страстным мечтам?

В повести «Коза» мелкий служащий Забежкин просит руки у своей квартирной хозяйки, но не она предмет его вожделений, а гуляющая во дворе... коза, с помощью которой он мечтает поправить свое материальное (да и общественное!) положение. Однако хозяйка разоблачает Забежкина, к тому же оказывается, что коза принадлежит вовсе не ей, а соседям.

В повести «Люди» бывший помещик Белокопытов встал за прилавок и, воруя, обвешивая покупателей, приобретая на «вырученные средства»

кастрюльки и примуса, мечтает вдобавок купить «немаркого цвета костюм» и вообще наладить свою покачнувшуюся семейную жизнь. Но однажды, выйдя из лавки и сунув в портфель два фунта стеариновых свечей и кусок мыла, он был задержан охранником. И рухнули все мечты и надежды.

В повести «О чем пел соловей» счастье наконец вроде бы улыбнулось герою: Вася Былинкин получает «оклад по седьмому разряду плюс за нагрузку» и вот-вот должен жениться на дочери своей квартирной хозяйки. О чем еще мечтать человеку? Впрочем, есть еще одна нереализованная мечта: комод. Он стоит в комнате будущей тещи, и то, что она не отдаст любимой дочери этот комод, — Былинкин уверен, — «явная чушь». Но старуха комод не отдала. Оскорбленный до глубины души, Былинкин рвет узы почти уже свершившегося счастливого брака и съезжает с этой «мещанской» квартиры. На последней странице повести автор возвращает читателя в те далекие времена, когда любовь Былинкина и Лизочки Рундуковой еще цвела «пышным и необыкновенным цветом». Гуляя по лесу, они слушали пение соловья, и Лизочка не раз спрашивала:

«— Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?

На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:

— Жрать хочет, оттого и поет».

Зощенко написал восемь «сентиментальных повестей» и повесть «Мишель Синягин», которая как бы подводила некий социально-нравственный итог всему циклу. Так вот, приведенные выше вопрос и ответ, касающиеся пения соловья, вполне могли бы служить к этому циклу эпиграфом. Здесь суть миропонимания не только одного Васи Былинкина, но и всей той «печальной категории людей», что выведена в повестях. Оказавшись «у жизни в лапах», эти люди теряют и до того не ахти какой симпатичный человеческий облик. Но Зощенко не только добр, но и справедлив: на пороге окончательной утраты в них человеческого он не отказывает своим героям в праве на последнее слово.

И они как за соломинку хватаются за это предоставленное им право. Они хотят доказать, что, как бы ни иронизировал над ними автор, как бы ни сводил их существование до «червякового», они не по собственной вине пришли к этой «формуле жизни», что высказал за них за всех Вася Былинкин. Они настаивают, что виновник всех их несчастий и бед, приведший их к падению, к катастрофе,— революция.

«Очень, знаете, странно, — написал Зощенко в «Мишеле Синягине»,— но тут дело не только в революции . Во все времена возможна и вероятна такая жизнь». И рассказал про учителя рисования, который спился и «влачил жалкую и неподобающую жизнь». Этот учитель любил говорить:

«— Меня, говорит, не революция подпилила. Если б и не было революции, я бы все равно спился или бы проворовался, или бы меня на войне подстрелили, или бы мне в плену морду свернули на сторону. Я, говорит, заранее знал, на что иду и какая мне жизнь предстоит».

«И это были золотые слова», — соглашается Зощенко.

Мысль о том, что не революция погубила Мишеля Синягина и подобных ему «мелких и ничтожных героев с их пустяковыми страстями и переживаниями», а въевшаяся в их сознание, психику, быт косность прошлой действительности, явилась к Зощенко и была выношена им еще в дописательские годы «хождения по людям». И потому совсем не случайно эта мысль получила отчетливый отпечаток уже в первом его опубликованном произведении — «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхова», прошла через многие «мелкие» рассказы, а в «Сентиментальных повестях» стала ведущей, определяющей их смысл и сожалеюще-ироническую тональность.

Герои «Сентиментальных повестей» — все до единого! — проживают в заштатных маленьких городках, не отмеченных на карте революционной России сколько-нибудь бурными событиями. Глухая провинция. Она как бы противопоставлена «общему фону громадных масштабов и идей», размах которых связан в нашем представлении с Петроградом, Москвой и другими крупными центрами социальных потрясений на рубеже двух эпох.

Но не в провинции как месте жизни («не всем жить в столицах»!) видел Зощенко ту благодатную почву, что формирует «человека во всей его неприглядной красе», а в особом — провинциальном — качестве сознания, понимания (а вернее — непонимания) определенной категорией людей своих взаимоотношений с изменяющимся на глазах миром. Эти люди могут жить и в столицах, могут изо дня в день крутиться в столичных толпах, все видеть, все слышать, но им не дано почувствовать, осознать какое-либо движение или перемену общественного бытия — будь то даже сама революция.

Каждая из «Сентиментальных повестей» — это не просто «будничные разговоры об отдельном человеке» с его «низменными, звериными чувствами и животными инстинктами», не просто изложенные в насмешливой форме описания мук, страданий и гибели этого человека и не просто фиксация огромного разрыва между миром духовного ничтожества и миром высоких, «ураганных идей». Белокопытовы, Синягины и прочие «средние люди» отжили или вот-вот отживут на страницах повестей свой век. Но литература и жизнь суть вещи разные. Привести того или иного героя к закономерному итогу для писателя дело не хитрое. Хороший писатель даже может переделать, перевоспитать, казалось бы, неперевоспитуемого героя. Но вот — с помощью литературы — перестроить реального человека, заставить его переосмыслить себя и отказаться от тех «пошлых навыков и инстинктов», что накапливались и укоренялись в условиях дореволюционной России столетиями,— куда как сложнее.

Зощенко очень хотел верить, что это возможно. Во всяком случае, он считал, что само стремление литературным путем помогать людям в их перестройке — «правильное дело для писателя»...

Уже тогда, когда «Сентиментальные повести» проходили еще журнальную апробацию, они были замечены и отмечены А. М. Горьким, пристрастно следившим за ростом своего «крестника» (его рука коснулась многих ранних произведений Зощенко). Из своего итальянского далека в письмах к Федину, Каверину, Слонимскому, Груздеву и другим «серапионам» Горький постоянно вспоминал о Зощенко — просил присылать его книги, а познакомившись с ними, неизменно хвалил, писал, что любит читать их вслух семье и гостям. Он не уставал повторять: «Хорош Зощенко — передайте ему сердечный привет», «Очень хорош Зощенко», «С трепетным нетерпением жду книжку Зощенко», «Поклон Зощенко и прочим».

Горький его выделял, верил в него особо, и, когда к нему стали поступать тревожные сведения, будто бы Зощенко, «вынужденный по-прежнему писать для юмористических журналов», «устал», «износился» и — даже! — «халтурит», он не поверил: никак не отреагировал на «показания свидетелей» о зощенковской будто бы деградации. И как он был рад, когда те же «свидетели», постаравшиеся забыть о недавних своих «показаниях», сообщили ему, что в альманахе «Ковш» напечатана «замечательная» повесть Зощенко «Страшная ночь». Он тут же ответил: «Очень обрадован тем, что Зощенко написал хорошую вещь. Он, конечно, должен был сделать это... С нетерпением жду «Ковш»...» И когда прочитал, написал Федину: «Если последний (Зощенко — Ю. Т.) остановится на избранном им языке рассказа, углубит его и расширит, наверное можно сказать, что он создаст вещи оригинальнейшие»; и тогда же — Слонимскому: «Рассказ заставляет ждать очень «больших» книг от Зощенки»

Горький не ошибся. За «Сентиментальными повестями» последовали такие большие книги Зощенко, как «Письма к писателю», «Возвращенная молодость», «Голубая книга»... В расцвете славы Зощенко отошел от того, чем был славен. Но было бы нелепо его за это осуждать. Он не мог вернуться к тому, с чего начал, ибо искренне верил, что, изменив «курс литературного корабля», принесет еще большую пользу «в той борьбе, которую ведет наша страна за социализм».

Последние слова выписаны из повести «Возвращенная молодость». Вот еще фраза оттуда:

«Автор подозревает, что единственная настоящая тема после политики (что, в сущности, будет в конечном счете почти одно и то же, ибо социальное переустройство общества ведет к новым, здоровым формам жизни, а стало быть и к новому здоровью) — та единственная тема, которая у всех почти на уме, которая всем почти близка и понятна и необходима, как вода, как еда и как солнце,— это наша жизнь, наша молодость, наша свежесть и наше умение распоряжаться этими драгоценными дарами».

В этой фразе — объяснение Зощенко, почему он обратился к столь неожиданной (для читателя) теме. Но, пожалуй, еще более здесь неожиданное — другое: сама фраза. Она. . не «зощенковская». Куда девалась —

самим писателем возведенная в заслугу своему литературному почерку — краткость? Где его чудодейственное — перенятое у разноголосой улицы и превращенное в тиши кабинета в литературный язык — косноязычие? А его неповторимые интонация, обороты, словечки — как же без них?

Да, в «Возвращенной молодости» Зощенко, по сути дела, впервые заговорил своим языком. И другого пути, видимо, не было: проблемы, которые он задумал поставить в повести, оказались не во всем подвластными той лексике и тому стилю, что с неизменным успехом использовались им на протяжении многих лет — то под маской рассказчика о жизни «бедных» людей, то под маской полуинтеллигентного писателя-«выдвиженца» И. В. Коленкорова, от лица которого он писал свои «Сентиментальные повести».

Впрочем, поначалу все было, как говорится, до боли знакомо. Вступительные главы и саму повесть о профессоре Волосатове Зощенко излагал в привычной «коленкоровской» манере, и, если бы он поставил точку там, где, разорвав с Тулей, профессор помолодел «лет на пять», «ходит загоревший и окрепший» и больше не имеет с новой властью «политических расхождений», то «Возвращенная молодость» стала бы еще одной «Сентиментальной повестью», с тем лишь отличием, что имела бы оптимистический взгляд на возможность скорой перековки влачившего обывательское существование интеллигента в полезного члена общества, который теперь «энергично работает» и даже «записался в бригаду ударников».

Но Зощенко здесь не остановился. Он написал «комментарии и статьи» к вступительной и основной частям книги. А вернее — наоборот: он как бы приписал к «комментариям и статьям» вступление и саму повесть. Потому что главное в «Возвращенной молодости» — «комментарии и статьи» В общем-то ради них и соорудил Зощенко столь необычное для него построение. Их-то и надо было написать своим (может быть, лишь слегка «сниженным») языком.

По собственному признанию Зощенко, он думал над этой книгой четыре года. Четыре года он рылся в книжных развалах, допоздна просиживал в библиотеках, отыскивая и занося в тетрадь нужные сведения по медицине и факты из жизни знаменитых людей. Он искал в научных трактатах, в книгах о чужих прожитых жизнях то близкое и похожее, что происходило с ним самим, с его «неудачным» здоровьем.

С ранних лет у него было «нехорошо с нервами», изматывали приступы жесточайшей хандры. Он обращался к врачам, но легче не становилось. Тогда он занялся самолечением. И в какие-то моменты стало казаться, что он стоит на пороге выздоровления, что еще шаг или два — и он раскроет секрет своего недуга, а раскрыв, развенчает болезнь

И вот, в результате многолетнего пристального наблюдения за «игрой организма» и опыта самолечения, Зощенко пришел к простой мысли, что здоровье и полезная деятельность человека зависят от самого человека, от того, насколько он умеет разумно распоряжаться собой, направлять

и корректировать, в зависимости от внешних условий, свою внутреннюю жизнь. Он настолько уверил себя в правильности выбранного им способа избавиться от мешающего ему жить и работать недуга, что посчитал свой опыт за опыт для всех.

Тут-то и возникла идея написать «такое, что ли, научное сочинение, научный труд», который будет доступен «самым разнообразным слоям населения, не имеющим ни научной подготовки, ни смелости или желания узнать, что творится за поверхностью жизни». А у лиц, причастных к высокой науке, автор попросит «поснисходительней отнестись» к его труду, попросит «у этих лиц извинения за то, что он, работая в своем деле... забрел в чужой огород, наследил, быть может, натоптал и, чего доброго, сожрал чужую брюкву».

В «Возвращенной молодости» Зощенко попытался найти простое толкование очень непростому процессу взаимоотношений человека с собой и с окружающим миром. В согласиях и несогласиях с разного рода философскими построениями возникли контуры его собственной философии человеческой жизни и смерти. Призвав в помощь науку, он не позволил себе утонуть в ее бездонных глубинах, а взял у нее лишь то, что подтверждало выстраданные им лично соображения и достигнутые его собственным горестным опытом прозрения и догадки. Потому-то биографии всем известных людей он не пересказывал в соответствии с расхожей трактовкой, а перерассказывал, тем самым словно подгоняя течение их жизни и саму их смерть под свою теорию.

Зощенко понимал, что, действуя таким образом, он «до чрезвычайности опрощает» «всю предложенную схему жизни, здоровья и смерти». Но он писал свою книгу не для того, чтобы ему аплодировали светила науки. Его всегда удивляло, что множество людей не знает «элементарных правил руководства своим телом», и вот он решил поделиться — именно с множеством людей — тем, что думал и знал о том, как следовать этим правилам.

Словом, это был тот же Зощенко, который, как в рассказах и «Сентиментальных повестях», так и теперь, в «Возвращенной молодости», меньше всего заботился о себе, о своей славе и о ее прибавлении. Он заведомо шел на риск потерпеть литературную неудачу (кстати, многие из «писательской братии», познакомившись с повестью, посчитали ее «провальной» на том основании, что в ней «искусственно соединены литература с наукой»), но шел, думая прежде всего о реальной пользе, которую его книга может принести людям и обществу.

Что же касается «чужой брюквы», каковую автор, чего доброго, перехватил у науки, то здесь ничего сверхудивительного не произошло: новых законов, касающихся физиологии и психической деятельности человека, Зощенко не открыл. Однако научный мир с выходом «Возвращенной молодости» — без преувеличения будет сказано — был взбудоражен. Состоялись многочисленные ученые собрания, заседания, обсуждения. Слово держали академики и доктора. С большой статьей выступил

тогдашний нарком здравоохранения Н. А. Семашко, а академик И. П. Павлов стал приглашать Зощенко на свои знаменитые «среды».

Но если, как было сказано, новых законов Зощенко не открыл, почему же тогда так встрепенулся ученый мир? Значит, все-таки какой-никакой вклад в науку Зощенко внес?

Несомненно. Сузив одну из важнейших проблем человеческой жизни до ее малой частности — умения управлять своим организмом, — Зощенко сумел в узких рамках взятой им малости дать широчайшее представление о возможностях человека не только поддерживать и сохранять здоровье, физическую и умственную энергию, но даже и продлевать свою жизнь. Нет, молодость, как ни старайся, не возвратить. Но попридержать увядание «наших скоропортящихся тел», не дать раньше времени ослабеть мышцам и голове — можно. Тут все зависит от нас самих — от нашей воли и разума.

Эти-то мысли и их дотошная разработка, осуществленная в повести, и получили признание науки.

Конечно, все это было науке известно. Но в такой плотной концентрации это известное осмысления не получало. Отсюда и интерес к работе Зощенко ученого мира. Хотел того «невежественный в вопросах медицины» писатель или нет, но он перед этим миром поставил проблему.

«Хвала т. Зощенко за это!» — написал Н. А. Семашко.

Зощенко никогда не писал «для удовлетворения своего тщеславия» и уж тем более для того, чтобы повеселить «уважаемых граждан». Каждый его рассказ, каждая книга задумывались именно как постановка той или иной жизненно важной проблемы. Не исключение здесь и знаменитая «Голубая книга».

Считается, что Зощенко написал «Голубую книгу» по прозорливой подсказке Горького. Это не совсем так. Горький предвидел ее — вот это будет верно. В 1930 году, как бы подводя итог своему десятилетнему чтению Зощенко, Горький отправил ему письмо, в котором, подчеркнув, что «для множества грамотных людей» бесспорно своеобразие его прозы, как и бесспорно присутствие в ней «социальной педагогики», написал. «И глубоко уверен, что, возрастая, все развиваясь, это качество вашего таланта даст вам силу создать какую-то весьма крупную и оригинальную книгу. Я думаю, что для этого вам очень немного надобно, только — переменить тему. По-моему, вы и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить — вышить — что-то вроде юмористической «Истории Культуры». Это я говорю совершенно убежденно и серьезно».

Зощенко недоверчиво отнесся к горьковскому совету. Он только что закончил «Мишеля Синягина», а теперь думал над «Возвращенной молодостью». И с чего это вдруг Горький решил, что ему необходимо в древность закапываться? Легко сказать! Он всегда писал только о том, что на улице видел и слышал, в чем сам с утра до поздней ночи варился. А там — тьма веков, Греция, Рим, всякие средневековые вольнодумцы и черные костры инквизиции...

Но вот закончена «Возвращенная молодость» Работая над составлением очередной книги рассказов и стремясь объединить эти рассказы какой-то общей идеей, общей проблемой, Зощенко вдруг обнаружил, что идет путем, предсказанным Горьким: «...я неожиданно наткнулся на ту же самую тему, что вы мне предложили. И тогда, вспомнив ваши слова, я с уверенностью принялся за работу».

Нет, «Голубая книга» писалась не по горьковской прозорливой подсказке. Зощенко сам задумал ее, сам к ней пришел. Тем более, что он написал не «Историю Культуры», а, по его определению, всего лишь «краткую историю человеческих отношений». Но как же надо было чувствовать, понимать, знать Зощенко, чтобы угадать — и не следующий, а весьма и весьма далекий и для всех неожиданный его поворот, к которому в момент предсказания сам Зощенко мало того что не был готов, — он даже не подозревал, что такой поворот для него возможен, а уж тем более — нужен, необходим, «запрограммирован» всем ходом его жизни в литературе.

В одном из писем Зощенко написал, что его гнетут скверные ощущения своей бесполезности Горькому. За всю ту помощь, внимание, доброту и любовь, что буквально обрушил на него Горький, ему тоже хотелось бы сделать для него что-нибудь хорошее, но что — он не знает. Он охотно отдал бы ему остаток лет своей жизни, но, к несчастью, не в его это силах.

И Зощенко сделал посильное: посвятил Горькому свой «слабый, но усердный труд». Свою «Голубую книгу».

«Голубая книга» мыслилась Зощенко поначалу как некое продолжение «Возвращенной молодости», как следующая часть поисков в научно-художественном (так теперь его называют) жанре. Однако вскоре Зощенко отказался от соединения этих книг в дилогию. Видимо, решил, что здесь неминуемо будет заметна натяжка: там — медицина, здесь — история. К тому же подход к привлечению науки оказался в обоих случаях разным, можно даже сказать, диаметрально противоположным. В «Возвращенной молодости» как бы он сам, Зощенко, своим личным опытом помогает науке уточнить и сформулировать живую проблему; в «Голубой книге» наоборот — опыт науки приводит в действие механизм писательского воображения, именно она, наука, ставит перед обратившимся к ней за помощью писателем свою задачу.

Какова же была эта задача?

Впрочем, об этом — чуть позже. А сначала о том, что более всего должно было тревожить Зощенко, когда только еще забрезжила мысль о «Голубой книге». Какую свою задачу предстояло ему решить?

Он понимал, что судьба всей затеи с предстоящим экскурсом в историю во многом зависит от того, кого из прежних своих «помощников» он командирует за историческим материалом. Так вот: кого?

Может, своего испытанного Рассказчика? Ведь книга чуть ли не наполовину будет состоять из рассказов. Так-то оно так, но, помимо рассказов, там должны быть и общие рассуждения — прокладки из вступле-

ний и послесловий к каждой из пяти задуманных частей книги... Вряд ли он справится.

А если послать И. В. Коленкорова? В «Сентиментальных повестях» он вполне оправдал возложенные на него обязанности, доказал, что по части рассуждений о том о сем он — мастер. К тому же — достаточно полуобразован, что-то такое читал, что-то такое слышал... Вот только страшно его подпускать к Буржуазному Философу, без разговоров с которым в книге не обойтись. Забьет философ Ивана Васильевича. Тут должен быть другой человек: «всесторонний, политически грамотный», имеющий опыт непринужденно аргументировать свои мысли на языке науки. Как в «Возвращенной молодости».

Это что же? Снова он сам, Автор, — со своим языком, со своим, не в пример «помощникам», высоким пониманием жизни?

Долго или не очень мучился над этой задачей Зощенко, но решение ее оказалось поистине замечательным: право голоса получили в «Голубой книге» все трое.

Острые исторические и современные сюжеты Зощенко доверил пересказывать со своих слов заметно за последние годы поднаторевшему в психологическом смысле Рассказчику, нахватавшийся новых «верхушек», полуинтеллигентный И. В. Коленкоров получил задание развивать свою хоть и, как прежде, наивную, однако отнюдь не пустопорожнюю философию, касающуюся человеческого бытия от пещерных времен до наших «удивительных дней»; сам же Автор, несколько приглушив голос, дабы не поставить себя в возвышенное положение перед равноправными с ним «коллегами», взял на себя труд вести беседы с представителем противоборствующей идеологии, ну и, конечно, когда кто-то из «коллег» даст, что называется, «петуха»,— тут же подправить, подкорректировать фальшивую ноту

Нет, дирижерские обязанности Автор забывать не имеет права. В «оркестре» не должно быть разноголосицы. «Голубая книга» обязана зазвучать, как «музыкальная симфония»!..

А теперь — о задаче, которую ставила перед Зощенко историческая наука

История и современность. Как естественнее и с меньшими художественными потерями навести здесь мосты? Иными словами: каким образом передать не обремененному образованием читателю (а именно его, как обычно, видел Зощенко первым своим адресатом) тот комплекс знаний о прошлом человечества, который накопила наука к моменту возникновения новой социальной системы, где «новая молодая жизнь — не такая, как записана в истории»?

Можно предположить, что решение этой сложнейшей задачи не вызвало у Зощенко особых хлопот. Потому что п р и н ц и п подбора исторических фактов для «Голубой книги» и их освещение были продиктованы и предопределены уже тем, что на роль «популяризатора науки» был назначен упомянутый выше «творческий коллектив».

Что же это за принцип? Он восхитительно прост: до «Голубой книги» как бы ничего не было. Не было передачи из поколения в поколение исторических знаний, философских и социологических построений, культурных традиций. Пусто. Не отягощенная памятью живших когда-то миллионов людей голова, незапятнанно белые страницы прошлых времен

И вот эти белые страницы как бы в п е р в ы е заполняются словами, фактами, рассуждениями о том, что плохо, а что хорошо было во взаимоотношениях между людьми в ушедших веках и эпохах. И какие уроки надо извлечь из событий далекой давности.

Пять частей «Голубой книги» — «Деньги», «Любовь», «Коварство», «Неудачи», «Удивительные события» — это своего рода моральный кодекс, провозглашенный Зощенко для нового человека, который шагнул из «нищей деревенской страны» в новую жизнь, «перестроенную на новом, коллективном основании»:

Надо жить так, чтобы «люди получали деньги за свой труд, а не за что-нибудь другое»;

чтобы «печальные дела, связанные с любовью, у нас все же понемножку исчезли»;

чтобы «всяких жуликов и подлецов, которые своими коварными действиями тормозят плавный ход нашей жизни», «вывести... на чистую воду»;

чтобы «многие неудачи померкли в своем первоначальном значении» и «превратились в прах вместе с глупостью, хамством, мещанством, бездушным бюрократизмом и елейным подхалимством»;

мы должны жить так, чтобы «научиться уважать друг друга и быть друг к другу внимательны и любезны... Уважать людей и любить их надо со всей силой своего сознательного сердца.

И это на голубом мраморе надо записать черными буквами с пятью восклицательными знаками».

Зощенко писал «Голубую книгу» как раскрашенный художественными красками свод отправных, первоначальных знаний. Хорошо понимая, что в силу известных причин многие из новых читателеи еще недостаточно готовы к полноценному осознанию того, что и как происходило на земле до их появления на свет, он намеренно — из соображений доступности — прятал подальше огромный багаж накопленных вековым старанием человечества исторических сведений, этических и культурных навыков и обо всем писал наново.

Да, все необычно в «Голубой книге»: бытовой, просторечный язык, на котором наука ни при каких обстоятельствах не позволила бы себе заговорить; изложенные с азбучной простотой серьезнейшие философские проблемы; наконец, убийственная ирония по отношению к прошлому, на которое «Госпожа История» умудрялась порой взирать бесстрастным взглядом «через пенсне».

Надо отдать должное науке· она не оскорбилась за честь мундира, легко поняв, что полемика с ней понадобилась писателю не для того, чтобы

ее уязвить, а лишь как прием, как ход в решении его собственных литературной и социально-философской задач.

Грандиозные по замыслу, эти задачи были освоены Зощенко с блеском. Ему удалось сделать, казалось бы, невозможное: мощная идейно-нравственная нагрузка не задавила в «Голубой книге» литературу. Пронизанная искрометным остроумием, «Голубая книга» — эта искусная конструкция из сатирических рассказов, исторических анекдотов и шутливо-серьезных эссе, скрепленная мыслью о духовном несовершенстве старого общества и насущной потребности перевоспитания человека на новой основе,— стала под пером Зощенко — художника, мыслителя, моралиста — поистине новаторским литературно-философским творением.

С выходом книги в свет Зощенко получил множество самых лестных отзывов от читателей разных слоев и категорий. В том числе и от представителей своей профессии. Но именно среди этих людей нашлись такие, которые не поняли или не захотели понять «Голубую книгу», приняв нарочитую вольность Зощенко в обращении с историческим материалом за проявленную им некомпетентность. «Незнание, непонимание истории, невежество обнаружил писатель Зощенко», — писал один из этих «компетентных» людей.

Крайне чувствительный к критическим наскокам, Зощенко на сей раз не очень расстроился. На его столе лежало письмо от Горького, уже прочитавшего «Голубую книгу»· «...в этой работе своеобразный талант ваш обнаружен еще более уверенно и светло, чем в прежних», — написал Горький. И эти его слова перечеркивали любые неблагоприятные для Зощенко суждения о «Голубой книге». Но был в письме и такой пассаж: Зощенко «не должно смущать», что «оригинальность книги, вероятно, не сразу будет оценена...»

Это озадачивало: почему? Нет, он не хочет писать для «новых грядущих поколений», жизнь которых «такая будет, что, может, нам и во сне не снилась», ибо «отличные качества приобретут человеческие отношения». Он всегда писал и будет писать «для наших испытанных читателей», с «нашего восточного полушария», где «он, так сказать, воочию видит людей, без всяких прикрас, нарядов и драпировок».

Максималист по своей природе, Зощенко беззаветно верил в воспитующее слово литературы. Годы после выхода «Голубой книги» отмечены в жизни Зощенко не только высочайшей «производительностью», но и настойчивым стремлением распространить свое слово на иные, помимо тех, что он уже освоил, области литературного дела. Он пишет документальные повести («Возмездие», «Керенский», «Черный принц», «Тарас Шевченко»), повесть-стилизацию «Талисман. Шестая повесть Белкина», пьесы («Опасные связи», «Парусиновый портфель», «Корни капитализма»), киносценарии, литературно-критические и публицистические статьи, рассказы для детей, обращается к художественному переводу. Ну и, конечно, не забывает свою первую любовь: «журнальные» рассказы и фельетоны.

17 февраля 1939 года в Кремле М. И Калинин вручил писателю Михаилу Зощенко орден Трудового Красного Знамени.

С первых же дней войны Зощенко включается, как тогда говорилось, в работу на победу. В соавторстве с Е. Шварцем создает сатирическую пьесу «Под липами Берлина», которую тут же ставит Н. Акимов в Ленинградском театре комедии, выступает по радио, пишет рассказы, фельетоны на антифашистскую тему, становится штатным сценаристом «Мосфильма», а затем соредактором журнала «Крокодил» Одновременно работает над повестью «Перед восходом солнца», основанной на автобиографическом материале, пишет рассказы о партизанах...

Современная Зощенко критика, даже самая дружелюбная, нередко объясняла популярность зощенковской литературы ее беспримерной развлекательностью, а славу самого Зощенко в широких массах расценивала как славу непревзойденного, но все же... скомороха, балагура и остряка, над проказами и досужими россказнями которого хоть и смеются до колик, однако самого смехотворца не уважают, относятся к нему с непочтительностью и презрением.

Но с высоты нашего времени облик Зощенко — писателя и человека — выглядит совершенно иначе. Зощенко оставил нам более тысячи рассказов и фельетонов, много произведений других литературных жанров — всего около ста шестидесяти книг вышло при его жизни. Разбираясь в его наследии, думая над ним, мы конечно же вспомним Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова и, еще раз подивившись тому, сколь стойки и неувядаемы традиции классической русской сатиры, где смех никогда не был смехом стороннего, где за внешне веселой формой всегда стояло идущее от сердечной боли гражданское содержание, мы неминуемо придем к мысли, что Зощенко из этого ряда, что он, как и его великие предшественники, верил в будущее своего народа, в его ум, трудолюбие и способность, пристрастно в себя заглянув, сразиться с тем, что мешает его историческому движению.

Зощенко был истинный сын своей великой земли. И потому не гнушался самой неблагодарной на ней работы. Он был убежден в ее насущной необходимости и это свое убеждение мужественно пронес через всю жизнь

Ю Томашевский

Рассказы

*

РАССКАЗЫ НАЗАРА ИЛЬИЧА ГОСПОДИНА СИНЕБРЮХОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ [1]

Я такой человек, что все могу... Хочешь — могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь — каким ни на есть рукомеслом займусь,— все у меня в руках кипит и вертится.

А что до отвлеченных предметов — там, может быть, рассказ рассказать или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить,— пожалуйста: это для меня очень даже просто и великолепно.

Я даже, запомнил, людей лечил.

Мельник такой жил-был. Болезнь у него, можете себе представить,— жаба болезнь. Мельника того я лечил. А как лечил? Я, может быть, на него только и глянул. Глянул и говорю: да, говорю, болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся — болезнь эта неопасная, и даже прямо тебе скажу — детская болезнь.

И что же? Стал мой мельник с тех пор круглеть и розоветь, да только в дальнейшей жизни вышел ему перетык и прискорбный случай...

А на меня многие очень удивлялись. Инструктор Рыло, это еще в городской милиции, тоже очень даже удивлялся. Бывало, придет ко мне, ну, как к своему задушевному приятелю:

— Ну что, скажет, Назар Ильич товарищ Синебрюхов, не богат ли будешь печеным хлебцем?

Хлебца, например, я ему дам, а он сядет, запомнил, к столу, пожует-покушает, ручками этак вот раскинет:

— Да, скажет, погляжу я на тебя, господин Синебрюхов, и слов у меня нет. Дрожь прямо берет, какой ты есть

---

[1] Предисловие и рассказы записаны в апреле 1921 года со слов Н. И. Синебрюхова писателем М. З. *(Примеч. автора.)*

человек. Ты, говорит, наверное, даже державой управлять можешь.

Хе-хе, хороший был человек инструктор Рыло, мягкий.

А то начнет, знаете ли, просить: расскажи ему что-нибудь такое из жизни. Ну я и рассказываю.

Только, безусловно, насчет державы я никогда и не задавался: образование у меня, прямо скажу, не какое, а домашнее. Ну а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитой.

Крестьянские эти дела-делишки я ух как понимаю. Мне только и нужно раз взглянуть как и что.

Да только ход развития моей жизни не такой.

Вот теперь, где бы мне пожить в полное свое удовольствие, я крохобором хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария Египетская.

Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал и — нет, не увлекаюсь больше мужицкой жизнью.

Что ж там? Бедность, блекота и слабое развитие техники.

Скажем вот про сапоги.

Были у меня сапоги, не отпираюсь, и штаны, очень даже великолепные были штаны. И, можете себе представить, сгинули они — аминь — во веки веков в собственном своем домишке.

А сапоги эти я двенадцать лет носил, прямо скажу, в руках. Чуть какая мокрень или непогода — разуюсь и хлюпаю по грязи... Берегу.

И вот сгинули...

А мне теперь что? Мне теперь в смысле сапог — труба.

В германскую кампанию выдали мне сапоги штиблетами — блекота. Смотреть на них грустно. А теперь, скажем, жди. Ну, спасибо, война, может, произойдет — выдадут. Да только нет, годы мои вышли, и дело мое на этот счет гиблое.

А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники.

Ну а рассказы мои, безусловно, из жизни, и все воистинная есть правда.

ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ

Фамилия у меня малоинтересная — это верно: Синебрюхов, Назар Ильич.

Ну да обо мне речь никакая — очень я даже посторонний человек в жизни. Но только случилось со мной великосветское приключение, и пошла оттого моя жизнь

в разные стороны, все равно как вода, скажем, в руке — через пальцы, да и нет ее.

Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь... И все через эту великосветскую историю.

А был у меня задушевный приятель. Ужасно образованный человек, прямо скажу — одаренный качествами. Ездил он по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по-французскому и виски иностранные пил, а был такой же, как и не я, все равно,— рядовой гвардеец пехотного полка.

На германском фронте в землянках, бывало, удивительные даже рассказывал происшествия и исторические всякие там вещички.

Принял я от него немало. Спасибо! Многое через него узнал и дошел до такой точки, что случилась со мной гнусь всякая, а сердцем я и посейчас бодрюсь.

Знаю: Пипин Короткий... Встречу, скажем, человека и спрошу: а кто есть такой Пипин Короткий?

И тут-то и вижу всю человеческую образованность, все равно как на ладони.

Да только не в этом штука.

Было тому... сколько?.. четыре года взад. Призывает меня ротный командир, в чине — гвардейский поручик и князь ваше сиятельство. Ничего себе. Хороший человек.

Призывает. Так, мол, и так, говорит, очень я тебя, Назар, уважаю, и вполне ты прелестный человек... Сослужи, говорит, мне еще одну службишку.

Произошла, говорит Февральская революция. Отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества. Поезжай, говорит, к старому князю в родное имение, передай вот это самое письмишко в самые, то есть, его ручки и жди, что скажет. А супруге, говорит, моей, прекрасной полячке Виктории Казимировне, низенько поклонись в ножки и ободри каким ни на есть словом. Исполни, говорит, это для ради бога, а я, говорит, осчастливлю тебя суммой и пущу в несрочный отпуск.

— Ладно, отвечаю, князь ваше сиятельство, спасибо за ваше обещание, что возможно — совершу.

А у самого сердце огнем играет: эх, думаю, как бы это исполнить. Охота, думаю, получить отпуск и богатство.

А был князь ваше сиятельство со мной все равно как на одной точке. Уважал меня по поводу незначительной даже истории. Конешно, я поступил геройски. Это верно.

Стою раз преспокойно на часах у княжей земляночки на германском фронте, а князь ваше сиятельство пирует

с приятелями. Тут же между ними, запомнил, сестричка милосердия.

Ну, конешно: игра страстей и разнузданная вакханалия... А князь ваше сиятельство из себя пьяненький, песни играет.

Стою. Только слышу вдруг шум в передних окопчиках. Шибко так шумят, а немец, безусловно, тихий, и будто вдруг атмосферой на меня пахнуло.

Ах ты, думаю, так твою так — газы!

А поветрие легонькое этакое в нашу, в русскую сторону.

Беру преспокойно зелинскую маску (с резиной), взбегаю в земляночку...

— Так, мол, и так, кричу, князь ваше сиятельство, дыши через маску — газы.

Очень тут произошел ужас в земляночке.

Сестричка милосердия — бяк, с катушек долой,— мертвая падаль.

А я сволок князеньку вашего сиятельства на волю, кострик разложил по уставу.

Зажег... Лежим, не трепыхнемся... Что будет... Дышим.

А газы... Немец — хитрая каналья, да и мы, безусловно, тонкость понимаем: газы не имеют права осесть на огонь.

Газы туды и сюды крутятся, выискивают нас-то... Сбоку да с верхов так и лезут, так и лезут клубом, вынюхивают...

А мы знай полеживаем да дышим в маску...

Только прошел газ, видим — живые.

Князь ваше сиятельство лишь малехонько поблевал, вскочил на ножки, ручку мне жмет, восторгается.

— Теперь, говорит, ты, Назар, мне все равно как первый человек в свете. Иди ко мне вестовым, осчастливь. Буду о тебе пекчись.

Хорошо-с. Прожили мы с ним цельный год прямо-таки замечательно.

И вот тут-то и случилось: засылает меня ваше сиятельство в родные места.

Собрал я свое барахлишко. Исполню, думаю, показанное, а там — к себе. Все-таки дома, безусловно, супруга не старая и мальчичек. Интересуюсь, думаю, их увидеть.

И вот, конечно, выезжаю.

Хорошо-с. В город Смоленск прибыл, а оттуда славным образом на пароходе на пассажирском в родные места старого князя.

Иду — любуюсь. Прелестный княжеский уголок и чудное, запомнил, заглавие — вилла «Забава».

Вспрашиваю: здесь ли, говорю, проживает старый

князь ваше сиятельство? Я, говорю, очень по самонужнейшему делу с собственноручным письмом из действующей армии. Это бабенку-то я вспрашиваю.

А бабенка:

— Вон, говорит, старый князь ходит грустный из себя по дорожкам.

Безусловно: ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство.

Вид, смотрю, замечательный — сановник, светлейший князь и барон. Бородища баками пребелая-белая. Сам хоть и староватенький, а видно, что крепкий.

Подхожу. Рапортую по-военному. Так, мол, и так, совершилась, дескать, Февральская революция, вы, мол, староватенький, и молодой князь ваше сиятельство в совершенном расстройстве чувств по поводу недвижимого имущества. Сам же, говорю, жив и невредимый и интересуется, каково проживает молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна.

Тут и передаю секретное письмишко.

Прочел это он письмишко.

— Пойдем, говорит, милый Назар, в комнаты. Я, говорит, очень сейчас волнуюсь... А пока — на, возьми, от чистого сердца рубль.

Тут вышла и представилась мне молодая супруга Виктория Казимировна с дитей.

Мальчик у ней — сосун млекопитающийся.

Поклонился я низенько, вспрашиваю, каково живет ребеночек, а она будто нахмурилась.

— Очень, говорит, он нездоровый: ножками крутит, брюшком пухнет — краше в гроб кладут.

— Ах, ты, говорю, и у вас, ваше сиятельство, горе такое же обыкновенное человеческое.

Поклонился я в другой раз и прошусь вон из комнаты, потому понимаю, конечно, свое звание и пост.

Собрались к вечеру княжие люди на паужин. И я с ними.

Харчим, разговор поддерживаем. А я вдруг и вспрашиваю:

— А что, говорю, хорош ли будет старый князь ваше сиятельство?

— Ничего себе, говорят, хороший, только не иначе как убьют его скоро.

— Ай, говорю, что сделал?

— Нет, говорят, ничего не сделал, вполне прелестный князь, но мужички по поводу Февральской революции

беспокоятся и хитрят, поскольку проявляют свое недовольство. Поскольку они в этом не видят перемены своей участи.

Тут стали меня, безусловно, про революцию вспрашивать. Что к чему.

— Я, говорю, человек не освещенный. Но произошла, говорю, Февральская революция. Это верно. И низвержение царя с царицей. Что же в дальнейшем — опять, повторяю, не освещен. Однако произойдет отсюда людям немалая, думаю, выгода.

Только встает вдруг один, запомнил, из кучеров. Злой мужик. Так и язвит меня.

— Ладно, говорит, Февральская революция. Пусть. А какая такая революция? Наш уезд, если хочешь, весь не освещен. Что к чему и кого бить, не показано. Это, говорит, допустимо? И какая такая выгода? Ты мне скажи, какая такая выгода? Капитал?

— Может, говорю, и капитал, да только нет, зачем капитал? Не иначе как землишкой разживетесь.

— А на кой мне, ярится, твоя землишка, если я буду из кучеров? А?

— Не знаю, говорю, не освещен. И мое дело — сторона.

А он говорит:

— Недаром, говорит, мужички беспокоятся — что к чему... Старосту Ивана Костыля побили ни за про что, ну и князь, поскольку он помещик,— безусловно, его кончат.

Так вот поговорили мы славным образом до вечера, а вечером ваше сиятельство меня кличут.

Усадили меня, запомнил, в кресло, а сами произносят мне такие слова:

— Я, говорит, тебе, Назар, по-прямому: тени я не люблю наводить, так и так, мужички не сегодня завтра пойдут жечь имение, так нужно хоть малехонько спасти. Ты, мол, очень верный человек, мне же, говорит, не на кого положиться... Спаси, говорит, для ради бога положение.

Берет тут меня за ручки и водит по комнатам.

— Смотри, говорит, тут саксонское серебро черненое, и драгоценный горный хрусталь, и всякие, говорит, золотые излишества. Вот, говорит, какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чертовой бабушке.

А сам шкаф откроет — загорюется.

— Да уж, говорю, ваше сиятельство, положение ваше небезопасное.

А он:

— Знаю, говорит, что небезопасное. И поэтому сослу-

жи, говорит, милый Назар, предпосле́днюю службу: бери, говорит, лопату и изрой ты мне землю в гусином сарае. Ночью, говорит, мы схороним что можно и утопчем ножками.

— Что ж, отвечаю, ваше сиятельство, я хоть человек и не освещенный, это верно, а мужицкой жизнью жить не согласен. И хоть в иностранных державах я не бывал, но знаю культуру через моего задушевного приятеля, гвардейского рядового пехотного полка. Утин его фамилия. Я, говорю, безусловно, согласен на это дело, потому, говорю, если саксонское черненое серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить. И через это я соглашаюсь на ваше культурное предложение — схоронить эти ценности.

А сам тут хитро перевожу дело на исторические вещички.

Испытываю, что за есть такой Пипин Короткий.

Тут и высказал ваше сиятельство всю свою высокую образованность.

Хорошо-с...

К ночи, скажем, уснула наипоследняя соба́ка... Беру лопату — и в гусиный сарай.

Место ощупал. Рою.

И только берет меня будто жуть какая. Всякая то есть дрянь и невидаль в воспоминание лезет.

Копну, откину землишку — потею, и рука дрожит. А умершие покойники так и представляются, так и представляются...

Рыли, помню, на австрийском фронте окопчики и мертвое австрийское тело нашли...

И зрим: когти у покойника предлинные-длинные, больше пальца. Ох, думаем, значит, растут они в земле после смерти. И такая на нас, как сказать, жуть напала — смотреть больно. А один гвардеец дерг да дерг за ножку австрийское мертвое тело... Хороший, говорит, заграничный сапог, не иначе как австрийский... Любуется и примеряет в мыслях и опять дерг да дерг, а ножка в руке и осталась.

Да-с. Вот такая-то гнусь мертвая лезет в голову, но копаю самосильно, принуждаюсь. Только вдруг как зашуршит чтой-то в углу. Тут я и присел.

Смотрю: ваше сиятельство с фонарчиком лезет — беспокоится.

— Ай, говорит, ты умер, Назар, что долго? Берем, говорит, сундучки поскореича — и делу конец.

Принесли мы, запомнил, десять претяжеленных-тяжелых сундучков, землей закрыли и умяли ножками.

К утру выносит мне ваше сиятельство двадцать пять целковеньких, любуется мной и за ручку жмет.

— Вот, говорит, тут письмишко к молодому вашему сиятельству. Рассказан тут план местонахождения вклада. Поклонись, говорит, ему — сыну и передай родительское благословение.

Оба тут мы полюбовались друг другом и разошлись.

Домой я поехал... Да тут опять речь никакая.

Только прожил дома почти что два месяца и возвращаюсь в полк. Узнаю: произошли, говорят, новые революционные события, отменили воинскую честь и всех офицеров отказали вон. Вспрашиваю: где ж такое ваше сиятельство?

— Уехал, говорят, а куда — неизвестно. Кажется, что к старому папаше — в его имение.

Хорошо-с...

Штаб полка.

Являюсь по уставу внутренней службы. Так и так, рапортую, из несрочного отпуска.

А командир, по выбору, прапорщик Лапушкин — бяк меня по уху.

— Ах ты, говорит, княжий холуй, снимай, говорит, собачье мясо, воинские погоны!

«Здорово, думаю, бьется прапорщик Лапушкин, сволочь такая...»

— Ты, говорю, по морде не бейся. Погоны снять — сниму, а драться я не согласен.

Хорошо-с.

Дали мне, безусловно, вольные документы по чистой, и...

— Катись, говорят, колбаской.

А денег у меня, запомнил, ничего не осталось, только рубль дареный, зашитый в ватном жилете.

«Пойду, думаю, в город Минск, разживусь, а там поищу вашего сиятельства. И осчастливит он меня обещанным капиталом».

Только иду нешибко лесом, слышу — кличет ктой-то.

Смотрю — посадские. Босые босячки. Крохоборы.

— Куда, вспрашивают, идешь-катишься, военный мужичок?

Отвечаю смиренномудро:

— Качусь, говорю, в город Минск по личной своей потребности.

— Тек-с, говорят, а что у тебя, скажи, пожалуйста, в вещевом мешечке?

— Так, отвечаю, кое-какое свое барахлишко.

— Ох, говорят, врешь, худой мужик!

— Нету, воистинная моя правда.

— Ну так объясни, если на то пошло, полностью свое барахлишко.

— Вот, объясняю, теплые портянки для зимы, вот запасная блюза гимнастеркой, штаны кой-какие...

— А есть ли, вспрашивают, деньги?

— Нет, говорю, извините худого мужика, денег не припас.

Только один рыжий такой крохобор, конопатый:

— Чего, говорит, агитировать: становись (это мне то есть), становись, примерно, вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем.

Только смотрю — нет, не шутит. Очень я забеспокоился смертельно, дух у меня упал, но отвечаю негордо:

— Зачем, отвечаю, относишься с такими словами? Я, говорю, на это совершенно даже не согласен.

— А мы, говорят, твоего согласия не спросим, нам, говорят, на твое несогласие ровно даже начихать. Становись, и все тут.

— Ну хорошо, говорю, а есть ли вам от казни какая корысть?

— Нет, корысти, говорят, нету, но мы, говорят, для ради молодечества казним, дух внутренний поддержать.

Одолел тут меня ужас смертный, а жизнь прельщает наслаждением. И совершил я уголовное преступление.

— Убиться я, говорю, не согласен, но только послушайте меня, задушевные босячки: имею я, безусловно, при себе тайну и план местонахождения клада вашего сиятельства.

И привожу им письмо.

Только читают, безусловно: гусиный сарай... саксонское серебро... план местонахождения.

Тут я оправился; путь, думаю, не близкий, дам теку.

Хорошо-с.

А босячки:

— Веди, говорят, нас, если на то пошло, к плану местонахождения вклада. Это, говорят, тысячное даже дело. Спасибо, что мы тебя не казнили.

Очень мы долго шли, две губернии, может, шли, где ползком, где леском, но только пришли в княжескую виллу «Забава». А только теку нельзя было дать — на ночь вязали руки и ноги.

Пришли.

«Ну, думаю, быть беде — уголовное преступление против вашего сиятельства».

Только узнаем: до смерти убит старый князь ваше сиятельство, а прелестная полячка Виктория Казимировна уволена вон из имения. А молодой князь приезжал сюда на недельку и успел смыться в неизвестном направлении.

А сейчас в имении заседает, дескать, комиссия.

Хорошо-с.

Разжились инструментом и к ночи пошли на княжий двор.

Показываю босячкам:

— Вот, говорю, двор вашего сиятельства, вот коровий хлев, вот пристроечки всякие, а вот и...

Только смотрю — нету гусиного сарая.

Будто должен где-то тут существовать, а нету.

Фу ты, думаю, что за новости.

Идем обратно.

— Вот, говорю, двор вашего сиятельства, вот хлев коровий...

Нету гусиного сарая. Прямо-таки нету гусиного сарая. Обижаться стали босячки. А я аж весь двор объелозил на брюхе и смотрю, как бы уволиться. Да за мной босячки — пугаются, что, дескать, сбегу.

Пал я тут на колени:

— Извините, говорю, худого мужика, водит нас незримая сила. Не могу признать местонахождения.

Стали тут меня бить босячки инструментом по животу и по внутренностям. И поднял я крик очень ужасный.

Хорошо-с.

Сбежались крестьяне и комиссия.

Выяснилось: вклад вашего сиятельства, а где — неизвестно.

Стал я богом божиться — не знаю, мол, что к чему, приказано, дескать, передать письмишко, а я не причинен.

Пока крестьяне рассуждали, что к чему, и солнце встало.

Только смотрю: светло, и, безусловно, нет гусиного сарая. Вижу: ктой-то разорил на слом гусиный сарай. «Ну, думаю, тайна сохранилась. Теперь помалкивай, Назар Ильич господин Синебрюхов».

А очень тут разгорелась комиссия. И какой-то, запомнил, советский комиссар так и орет горлом, так и прет на меня.

— Вот, говорит, взгляните на барского холуя. Уже

довольно давно совершилась революция, а он все еще сохраняет свои чувства и намерения и не желает показать, где есть дворянское добро. Вот как сильно его князья одурачили!

Я говорю:

— Может быть, тут нету никакого дурачества. А может быть, я с этой семьей находился прямо на одной точке. И был им как член фамилии.

Один из комиссии говорит:

— Если ты с их фамилии происходишь, то мы тебе покажем кузькину мать. Тогда становись к сараю — мы тебя сейчас пошлем путешествовать на небо.

Я говорю:

— К сараю я встать не согласен. А вы, говорю, неправильно понимаете мои мысли. Не то чтобы я в их семействе родился, а просто, говорю, я у них иногда бывал. А что до их вещичек, то согласно плана ищите по всем сараям.

Бросились, конечно, все по сараям, а в этот самый момент мои босячки сгрудились — сиг через забор, и теку.

Вот народ копает в сараях — свист идет, но, безусловно, ничего нету.

Вдруг один из комиссии, наиболее такой въедливый, говорит:

— Тут еще у них был гусиный сарай. Надо будет порыться на этом месте.

У меня от этих слов прямо дух занялся.

«Ну, думаю, нашли. Князь, думаю, мне теперича голову отвертит».

Стали они рыть на месте гусиного сарая. И вдруг мы видим, что там тоже нет ничего. Что такое!

«Неужели, думаю, князь ваше сиятельство, этот старый трепач, переменил местонахождение вклада». Это меня прямо даже как-то оскорбило.

Тут я сам собственноручно прошелся с лопатой по всем местам. Да, вижу, ничего нету. «Наверное, впрочем, думаю, заезжал сюда молодой князь ваше сиятельство, и, наверное, он подбил старичка зарыть в другом месте, а может быть, и вывез все в город. Вот так номер».

Тут один из комиссии мне говорит:

— Ты нарочно тень наводишь. Хочешь сохранить барское добро.

Я говорю:

— Раньше я, может, хотел сохранить, но теперича нет, поскольку со мной допущено недоверие со стороны этой великосветской фамилии.

Но они не стали больше со мной церемониться, связали мне руки, хватили нешибко по личности и отвезли в тюрьму. А после год мурыжили на общественных работах за сокрытие дворянских ценностей.

Вот какая великосветская история произошла со мной. И через нее моя жизнь пошла в разные стороны, и через нее я докатился до тюрьмы и сумы и много путешествовал.

ВИКТОРИЯ КАЗИМИРОВНА

В Америке я не бывал и о ней, прямо скажу, ничего не знаю.

А вот из иностранных держав про Польшу знаю. И даже могу ее разоблачить.

В германскую войну я три года ходил по польской земле... И, конечно, изучил эту нацию. ⟨...⟩

Нет, это уже очень чересчур гордая нация. И среди них женское население особенно задается.

Но между тем однажды я встретил одну польскую паненку и ее полюбил, и через это такая у меня к Польше симпатия пошла — лучше, думаю, этого народа и не бывает.

И нашло на меня, прямо скажу, такое чудо, такой туман: что она, прелестная красавица, ни скажет, то я и делаю.

Убить человека я, скажем, не согласен — рука дрогнет, а тут убил, и другого, престарелого мельника, убил. Хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости.

А сам, подумать грустно, ходил легкомысленно женишком прямо около нее, бороденку даже подстриг и подлую ее ручку целовал.

Было такое польское местечко Крево. На одном конце — пригорок, немцы окопались. На другом — обратно пригорок, мы окопчики взрыли, и польское это местечко Крево осталось лежать между окопчиками в овраге.

Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева и, как бы сказать, добришко кому покинуть грустно — остались. И как они так существовали — подумать странно.

Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они — ничего, живут себе прежней жизнью.

Ходили мы к ним в гости.

Бывало, в разведку либо в секрет, а уж по дороге, безусловно, в польскую халупу.

К мельнику всё больше ходили.

Мельник такой существовал престарелый. Баба его сказывала: имеет, говорит, он деньжонки капиталом, да только не говорит где. Будто обещал сказать перед смертью, а пока чего-то пугается и скрывает.

А мельник, это точно, скрывал свои деньжонки.

В задушевной беседе он мне все и высказал. Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие.

— Пусть, говорит, они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им, где деньжонки,— оберут как липку и бросят за свои любезные, даром что свои родные родственники.

Мельника этого я понимал и ему сочувствовал. Да только какое уж там, сочувствовал, семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь, приметил я, синий.

Хорошо-с. Баловали они старичка.

Старик кобенится и финтит, а они так во взор его и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги.

А была у мельника семья: баба его престарелая да неродная дочка, прелестная паненка Виктория Казимировна.

Я вот рассказывал великосветскую историю про клад князя вашего сиятельства — все воистинная есть правда: и босячки-крохоборы, и что били меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны. Была тогда другая особа, тоже, может быть, полячка — супруга молодого князя вашего сиятельства. А что касается Виктории Казимировны, то быть ее тогда, конечно, не могло. Была она в другой раз и по другому делу... Была она, Виктория Казимировна, дочка престарелого мельника.

И как это вышло? С первого даже дня завязались у нас прелестные отношения... Только, помню, пришли раз к мельнику. Сидим — хихикаем, а Виктория Казимировна все, замечаю, ко мне ластится: то, знаете ли, плечиком, то ножкой.

— Фу ты, восхищаюсь, какой интересный случай.

А сам все же пока остерегаюсь, отхожу от нее да отмалчиваюсь.

Только попозже берет она меня за руку, любуется мной.

— Я, говорит, господин Синебрюхов, могу даже вас полюбить (так и сказала). И уже имею что-то в груди. Только, говорит, есть у меня до вас просьбишка: спасите,

говорит, меня для ради бога. Желаю, говорит, уйти из дому в город Минск или еще в какой-нибудь там в польский город, потому что — сами видите — погибаю я здесь курам на смех. Отец мой, престарелый мельник, имеет капитал, так нужно выпытать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, говорит, против отца не злоупотребляю, но не сегодня-завтра он, безусловно, помрет, болезнь у него — жаба, и пугаюсь я, что про капитал не скажет.

Начал я тут удивляться, а она прямо-таки всхлипывает, смотрит в мои очи, любуется.

— Ах, говорит, Назар Ильич господин Синебрюхов, вы — самый здесь развитой и прелестный человек, и как-нибудь вы это сделаете.

Хорошо-с. Придумал я такую хитрость: скажу старичку, дескать, выселяют всех из местечка Крево... Он, безусловно, вынет свое добро... Тут мы и заставим его поделить.

Прихожу назавтра к ним, сам, знаете ли, бороденку подстриг, блюзу-гимнастерку новую надел, являюсь прямо-таки парадным женишком.

— Сейчас, говорю, Викторичка, все будет исполнено.

Подхожу демонстративно к мельнику.

— Так и так, говорю, теперь, говорю, вам, старичок, каюк-компания — выйдет завтра приказ: по случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крево.

Ох как содрогнется тут мой мельник, как вскинется на постельке... И сам как был в нижних подштанниках — шасть за дверь и слова никому не молвил.

Вышел он на двор, и я тихонько следом.

А дело ночное было. Луна. Каждая даже травинка виднеется. И идет он весь в белом, будто шкелет какой, а я за сарайчиком прячусь.

А немец, помню, чтой-то тогда постреливал. Только прошел он, старичок, немного, да вдруг как ойкнет. Ойкнет и за грудь скорей. Смотрю — и кровь по белому каплет:

«Ну, думаю, произошла беда — пуля».

Повернулся он, смотрю, назад, руки опустил и к дому.

Да только, смотрю, пошел он как-то жутко. Ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная.

Забежал я к нему, сам пугаюсь, хвать да хвать его за руку, а рука уж холодеет, и смотрю: в нем дыханья нет — покойник. И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступит, так пол гремит — земля к себе покойника требует.

Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел поступью смертной до постельки, тут и скосился.

И такой в халупе страх настал — сидим и дышать даже жутко.

Так вот помер мельник через меня, и сгинули — во веки веков — его деньжонки капиталом.

А очень тут загрустила Виктория Казимировна. Плачет она и плачет, и всю неделю плачет — не сохнут слезы.

А как приду к ней — гонит и видеть меня не может.

Так прошла, запомнил, неделя, являюсь к ней. Слез, смотрю, нету, и подступает она ко мне даже любовно.

— Что ж, говорит, ты сделал, Назар Ильич господин Синебрюхов? Ты, говорит, во всем виноват, ты теперь и раскаивайся. Ты, говорит, погубил моего отца. И через это я окончательно лишилась его деньжонок. И теперь достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, а иначе, говорит, ты первый для меня преступник, и уйду я, знаю куда, в обоз,— звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин и обещал даже золотые часишки с браслеткой.

Покачал я прегорько головой, дескать, откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низенько:

— Пойду, говорит, поджидает меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич господин Синебрюхов!

— Стой, говорю, стой, Виктория! Дай, говорю, срок, дело это обдумать надо.

— А чего, говорит, его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу.

И осенила тут меня мысль.

На войне, думаю, все можно. Будут, может, немцы наступать — пошурую по карманам, если на то пошло.

А вскоре и вышел подходящий случай.

Была у нас в окопах пушечка... Эх, дай бог память — Гочкис заглавие. Морская пушечка Гочкис.

Дульце у ней тонехонькое, снаряд — и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески не слабо. Стрельнет и норовит взорвать что побольше.

Над ней и командир был — морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но — сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто.

А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп.

Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и — пушечка.

Германии она очень досаждала. В польский костел она била по кумполу, потому был там германский наблюдатель.

По пулеметам тоже била.

И прямо немцам она не давала никакого спасения.

Так вот, вышел случай.

Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть — затвор. И притом унесли пулемет. И как это случилось — удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к Виктории Казимировне пошел, часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, дрянь такая худая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.

Ну ладно. Пошел.

Только играет он в карты, выигрывает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что случилось.

А случилось: немцы пушечкин затвор стибрили.

К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой, безусловно мертвый, и кругом — кража.

Ох и было же что тогда!

Морской подпоручик Винча тигрой на меня наскакивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску — веером три карты.

А к вечеру едет — волнуется генерал ваше превосходительство.

Ничего себе, хороший генерал. Но, конечно, не очень уж. Вот он взглянул на взвод, и гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.

Усмехнулся генерал.

— Выходи, говорит, отборные орлы, налетай на немцев, разоряй внешнего врага.

Вышли тут, запомнил, пять человек, и я с ними.

Генерал ваше превосходительство восхищается нами.

— Ночью, говорит, летите, отборные орлы. Режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет и, если случится,— пушечкин затвор.

Хорошо-с.

К ночи мы и пошли.

Я-то играючи пошел. Мыслишку, во-первых, свою имел, а потом, имейте в виду, жизнь свою я не берег. Я, знаете ли, счастье вынул.

В одна тыща девятьсот, должно быть, что в шестнадцатом году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него —

клетка, а в клетке — не попка, попка — та зеленая, а тут вообще какая-то тропическая птица. Так она, сволочь такая, ученая, клювом вынимала счастье — кому что. А мне, запомнил, планета Рак и жизнь предсказана до девяноста лет.

И еще там многое что предсказано, что — я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности.

И тут вспомнил я предсказание и пошел, прямо скажу, гуляючи.

Подошли мы к немецкой проволоке. Темь. Луны еще не было. Прорезали преспокойно лаз. Спустились вниз, в окопчики в германские. Прошли шагов с полста — пулемет, пожалуйста.

Уронили мы германского часового наземь и придушили тут же...

Очень мне это было неприятно, жутковато, и вообще, знаете ли, ночной кошмар.

Хорошо-с.

Сняли пулемет с катков, разобрали кому что: кому катки, кому ящики, а мне, запомнил, подсунули самую что ни на есть тяжесть — тело пулемета. Почти что целый пулемет.

И такой, провались он совсем, претяжеленный был; те налегке — шаг да шаг, и скрылись от меня, а я пыхчу — затрудняюсь, поскольку мне досталась такая тяжесть. Мне бы наверх ползти, да смотрю — проход сообщения... Я в проход сообщения... А из-за угла вдруг германец прездоровенный-здоровенный, и наперевес у него винтовка. Бросил я пулемет под ноги и винтовку тоже против него вскинул.

Только чую — германец стрельнуть хочет, голова на мушке.

Другой оробел бы, другой — ух как оробел бы, а я ничего — стою, не трепыхнусь даже. А поверни я только спину либо щелкни затвором — тут, безусловно, мне и конец.

Так вот стоим друг против дружки, и всего-то до нас пять шагов. Зрим друг друга глазами и ждем, кто побежит. И вдруг как задрожит германец, как обернется назад... Тут я в него и стрельнул. И вспомнил, чего задумал. Подполз к нему, пошарил по карману — противно. Ну да ничего — превозмог себя, вынул кабаньей кожи бумажник, вынул часишки в футляре (немцы все часишки в футляре носят), взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел до проволоки — нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти?

Стал я через проволоку продираться — трудно. Может быть, час или больше лез, всю прорвал себе спину и руки

совсем изувечил. Да только все-таки пролез. Вздохнул я тут спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать,— кровь так и льет.

И забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уж светает. Хотел было я бежать, да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя происшествие, открыли по русским огонь, и, конечно, поползи я, тут бы меня приметили и убили.

А место, смотрю, вполне открытое было и подальше травы даже нет — лысое место. А до халуп шагов триста.

Ну, думаю, каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич господин Синебрюхов, благо трава спасает.

Хорошо. Лежу.

А немцы, может быть, очень обиделись: стибрили у них пулемет и двоих почем зря убили,— мстят — стреляют, прямо скажу, без остановки.

К полдню перестали стрелять, да только, смотрю, чуть кто проявится в нашей, в русской, стороне, так они туда и метят. Ну, значит, думаю, безусловно, они настороже, и нужно лежать до вечера.

Хорошо-с.

Лежу час. И два лежу. Интересуюсь бумажником — денег немало, только все иностранные. Часишками любуюсь. А солнце прямо так и бьет в голову, и дух у меня замирать стал. И жажда. Стал я тут думать про Викторию Казимировну, только смотрю — сверху на меня ворон спускается.

Я лежу живой, а он, может, думает, что падаль, и спускается.

Я на него тихонько шикаю:

— Шш, говорю, пошел, провал тебя возьми!

Машу рукой, а он, может быть, не верит и прямо на меня наседает.

И ведь такая птичья нечисть — прямо на грудь садится, а поймать я никак его не поймаю — руки изувечены, не гнутся, а он еще бьется больно клювом и крылами.

Я отмахнусь — он взлетит и опять рядом сядет, а потом обратно на меня стремится и шипит даже. Это он кровь, гадюка, на руке чует.

Ну, думаю, пропал Назар Ильич господин Синебрюхов! Пуля не тронула, а тут птичья нечисть, прости господи, губит человека зря.

Немцы, безусловно, сейчас заприметят, что такое приключилось тут за проволокой. А приключилось: ворон при жизни человека жрет.

Бились так мы долго. Я все норовлю его ударить, да только перед германцем остерегаюсь, а сам прямо-таки чуть не плачу. Руки у меня и так-то изувечены — кровь текет, а тут еще он щиплет. И такая злоба к нему напала, только он на меня устремился, как я на него крикну: кыш, кричу, паршивец!

Крикнул, и, безусловно, немцы сразу услышали. Смотрю, змеей ползут германцы к проволоке.

Вскочил я на ноги — бегу. Винтовка по ногам бьется, а пулемет наземь тянет. Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я к земле не припадаю — бегу.

И как я добежал до первых халуп, прямо скажу — не знаю. Только добежал, смотрю — из плеча кровь текет — ранен. Тут по-за халупами шаг за шагом дошел до своих и скосился замертво. А очнулся, запомнил, в обозе в полковом околотке.

Только хвать-похвать за карман — часишки тут, а кабаньего бумажника как не бывало. То ли я на месте его оставил — ворон спрятать помешал, то ли выкрали санитары.

Заплакал я прегорько, махнул на все рукой и стал поправляться.

Только узнаю: живет у прапорщика Лапушкина здесь в обозе прелестная полячка Виктория Казимировна.

Хорошо-с.

Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием, и являюсь я в таком виде к прапорщику Лапушкину.

Вхожу в халупу.

— Вздравствуйте, говорю, ваше высокоблагородие, и вздравствуйте, пожалуйста, прелестная полячка Виктория Казимировна!

Тут, смотрю, смутились они оба. А он встает, ее заслоняет.

— Чего, говорит, тебе надобно? Ты, говорит, давно мне примелькался, под окнами треплешься. Ступай, говорит, отсюдова, к лешему.

А я грудь вперед и гордо так отвечаю:

— Вы, говорю, хоть и состоите в чине, а дело тут, между прочим, гражданское, и имею я право разговаривать, как и всякий. Пусть, говорю, она, прелестная полячка, сама сделает нам выбор.

Как закричал он на меня:

— Ах ты, закричал, сякой-такой водохлеб! Как же ты это смеешь так выражаться... Снимай, говорит, Георгия, сейчас я тебя, наверно, ударю.

— Нет, отвечаю, ваше высокоблагородие, я в боях киплю и кровь проливаю, а у вас, говорю, руки короткие.

А сам тем временем к двери и жду, что она, прелестная полячка, скажет.

Да только она молчит, за Лапушкину спину прячется.

Вздохнул я прегорько, сплюнул на пол плевком и пошел себе.

Только вышел за дверь, слышу, ктой-то топчет ножками.

Смотрю: Виктория Казимировна бежит, с плеч роняет трикотажный платочек.

Подбежала она ко мне, в руку впилась цапастенькими коготками, а сама и слова не может молвить. Только секундочка прошла, целует она меня прелестными губами в руку и сама такое:

— Низенько кланяюсь вам, Назар Ильич господин Синебрюхов... Простите меня, такую-то, для ради бога, да только судьба у нас разная...

Хотел я было упасть тут же перед ней, хотел было сказать что-нибудь такое, да вспомнил все, превозмог себя.

— Нету, говорю, тебе, полячка, прощения во веки веков.

ЧЕРТОВИНКА

Жизнь я свою не хаю. Жизнь у меня, прямо скажу, роскошная.

Да только нельзя мне, заметьте, на одном засиженном месте сидеть да бороденку почесывать.

Все со мной чтой-то такое случается... Фантазии я своей не доверяю, но какая-то, может быть, чертовинка препятствует моей хорошей жизни.

С германской войны я, например, рассчитывал домой уволиться. Дома, думаю, полное хозяйство. Так нет, навалилось тут на меня, прямо скажу, за ни про что все-всякое. Тут и тюрьма, и сума, и пришлось даже мне, такому-то, идти наниматься рабочим батраком к своему задушевному приятелю. И это, заметьте, при полном своем семейном хозяйстве.

Да-с.

При полном хозяйстве нет теперь у меня ни двора, ни даже куриного пера. Вот оно какое дело!

А случилось вот как.

Из тюрьмы меня уволили, прямо скажу, нагишом. Из тюрьмы я вышел разутый и раздетый.

Ну, думаю, куда же мне такому-то голому идти — домой являться? Нужно мне обжиться в Питере.

Поступил я в городскую милицию. Служу месяц и два служу, состою все время в горе, только глядь-поглядь — нету двух лет со дня окончания германской кампании.

Ну, думаю, пора и ехать, где бы только разжиться деньжонками.

И вот вышла мне такая встреча.

Стою раз преспокойно на Урицкой площади, смотрю, какой-то прет на меня в суконном галифе.

— Узнаешь ли, вспрашивает, Назар Ильич господин Синебрюхов? Я, говорит, и есть твой задушевный приятель.

Смотрю: точно — личность знакомая. Вспоминаю: безусловно, задушевный приятель — Утин фамилия.

Стали мы тут вспоминать кампанию, стали радоваться, а он, вижу, чего-то гордится, берет меня за руку.

— Хочешь, говорит, знать мою биографию? Я комиссар и занимаю вполне прелестный пост в советском имении.

— Что ж, отвечаю, дорогой мой приятель Утин, всякому свое, всякий, говорю, человек дает от себя какую-нибудь пользу. Ты же человек, одаренный качествами, и я посейчас вспоминаю всякие твои исторические рассказы и переживания. И Пипина Короткого, говорю, помню. Спасибо тебе немалое!

А он вдруг мной восхитился.

— Хочешь, говорит, поедем ко мне, будем жить с тобой в обнимку и по-приятельски.

— Спасибо, говорю, дорогой приятель Утин, рад бы, да нужно торопиться мне в родную свою деревеньку.

А он вынул откуда-то кожаный бумажник, отрыл десять косых.

— На, говорит, возьми, если на то пошло. Поезжай в родную свою деревню либо так истрать — мне теперь все равно.

Взял я деньжонки и адрес взял.

«Что ж, думаю, и я ему немало сделал, а тут вполне прекрасный случай,— поеду пока в свою деревню. А там видно будет — может, и действительно побываю по этому адресу. Вот, думаю, спасибо Утину — сделал благодарность за мое благодеяние».

А это верно: на фронте я его всегда покрывал. Там, скажем, бой или разведка, я — прямо к ротному командиру. Так и так, отвечаю, Утина никак нельзя послать. Ну, не

дай бог, пуля его пристрелит — человек он образованный, и погибнет с ним большое знание.

И через меня устроили его на длинномер — так он всю свою жизнь, всю то есть германскую кампанию, и мерил шаги до германских окопчиков.

Так вот произошла такая с ним встреча, и вскоре после того собрался я и поехал в родные свои места.

И вот, запомнил, подхожу к своей деревеньке походным порядком, любуюсь каждой даже ветошкой, восторгаюсь, только смотрю — ползет навстречу поп, черт его побери.

Ну, думаю, будет теперь беда-бедишка. А сам, безусловно, подхожу к нему.

— Вздравствуйте, говорю, батюшка отец Сергий! Вполне прелестный день.

Как шатнется он от меня в сторону.

— Ой-е-ей, говорит, взаправду ли это ты, Назар Ильич Синебрюхов, или мне это образ представляется?

— Да, говорю, взаправду, батюшка отец Сергий, а что, говорю, случилось — ответьте мне для ради бога.

— Да как же, говорит, что случилось? Я по тебе, живому, панихидки служу, и все мы почитаем тебя умершим покойником, а ты вон как... А супруга, говорит, твоя, можешь себе представить, живет даже в советском браке с Егор Иванычем.

— Ой-е-ей, отвечаю, что же вы со мной такоеча сделали!

Очень я растрогался, сам дрожу.

Ну, думаю, вот и беда-бедишка.

Ничего я попу больше не сказал и потрусил к дому.

Взбегаю в собственный, заметьте, домишко, смотрю — уже сидят двое: баба моя Матрена Васильевна Синебрюхова да Егор Иваныч. Чай кушают. Поклонился я низенько.

— Чай, говорю, вам да сахар! Что же тут такоеча приключилось, Егор Иваныч Клопов, не томите меня для ради бога.

А сам не могу больше терпеть и по углам осматриваю свое добришко.

— Вот, смотрю, спасибо, сундучок, вот и штаны мои любезные висят, и шинелька — все на том же месте.

Только вдруг подходит ко мне Егор Иваныч, ручкой этак вот передо мной крутит.

— Ты, говорит, чужие предметы руками не тронь, а то, говорит, я сам за себя не отвечаю.

— Как же, намекаю, чужие предметы, Егор Иваныч,

если это, безусловно, мои штаны? Вот тут даже, взгляните, химический подпис: Ен Синебрюхов.

А он:

— Нет тут твоих штанов, и быть их не может — тут, говорит, все мое добришко пополам с Матреной Васильевной.

А сам берет Матрену Васильевну за локоток и за ручку, выводит ее, например, на середину.

— Вот, говорит, я, а вот — законная супруга моя, драгоценная Матрена Васильевна. И все, не сомневайтесь, по закону.

Тут поклонилась мне Матрена Васильевна.

— Да, отвечает, воистинная все это правда. Идите себе с богом, Назар Ильич Синебрюхов, не мешайте для ради бога постороннему счастью.

Очень я опять растрогался, вижу — все пошло прахом, и ударил я тут Егор Иваныча. И ударил, прямо скажу, не по злобе и не шибко ударил, а так, для ради собственного блезиру. А он, гадюка, упал нарочно навзничь. Ногами крутит и кровью блюет.

— Ой-е-ей, кричит, убийство!

Стали тут собираться мужички. И председатель тоже собрался. Фамилия — Рюха. Начали тут кричать, начали с полу Егор Иваныча поднимать...

А только смотрю — многие прямо-таки мной восхищаются и за меня горой стоят, и даже подзюкивают в смысле Егор Иваныча.

— Побей, подзюкивают, Егор Иваныча, а мы, говорят, в общей куче еще придадим ему, и даже, может быть, нечаянно произойдет убийство. И тогда ослобонится твоя бывшая супруга Матрена Васильевна.

Только замечаю: председатель Рюха перешептался с Егор Иванычем и ко мне подходит.

— Ты что ж это, говорит, нарушаешь тут беспорядки? Что ж ты, так твою так, выступаешь супротив нас? Контр твоя революция нам теперь вполне известна, и даже, если на то пошло, есть у меня свидетели.

Вижу — человек обижается, я ему тихоньким образом внедряю:

— Я, говорю, беспорядков не нарушаю. Ни отнюдь. Но, говорю, как же так, если это мое добришко, так имею же я право руками трогать? И штаны, говорю, мои, взгляните — химический подпис.

А он, гадюка, вынимает какую-нибудь там бумагу и читает.

— Нет, говорит, ничего тут не выйдет. Лучше, говорит, ушел бы ты куда ни на есть. Сам посуди: суд да дело, да уголовное следствие,— все это — год или два, а жрать-то тебе, безусловно, нужно. И к тому же, может быть, выяснится, что ты — трудовой дезертир.

И так он обернул все это дело, что поклонился я всем низенько.

— Ладно, отвечаю, уйду куда ни на есть. Прощайте навсегда! Только пусть ответит мне Матрена Васильевна, где же родной мой сын, мальчичек Игнаша?

А она, жаба, отвечает тихими устами:

— Сын ваш, мальчичек Игнаша, летось еще помер от испанской болезни.

Заскрипел я зубами, оглянулся на четыре угла — вижу, все мое любезное висит, поклонился я в другой раз и вышел тихохонько.

Вышел я за деревню. Лес. Присел на пенек. Горюю. Только слышу: ктой-то трется у ноги.

И вижу: трется у ноги сучка небольшая, белая. Хвостиком она так и крутит, скулит, в очи мне смотрит и у ноги так и вьется.

Заплакал я прегорько, ласкаюсь к сучке.

— Куда же, вспрашиваю, нам с тобой, сучка, приткнуться?

А она как завоет тонехонько, как заскулит, как завьется задом, так пошла даже у меня сыпь по телу от неизвестного страха.

И вот тут я глянул на нее еще раз и задрожал.

«Откуда же, думаю, взяться тут сучке? — Так вот подумал, вскочил быстренько и, безусловно, от нее ходу. Эге, думаю, это неспроста, это, может, и есть моя чертовинка во образе небольшой сучки».

Иду это я шибко, только смотрю — за мной катится.

Я за дерево схоронился, а она травинку нюх да нюх, понюхрила и, вижу, меня нашла, снова у ноги вьется и в очи смотрит. И такой на меня трепет напал, что закричал я голосом и побежал.

Только бегу по лесу — хрясь идет, а она за мной так скоком и скачет, так меня и достигает.

И сколько я бежал — не помню, только слышу, будто внутренний голос просит:

— Упань... упа-ань...

Упал я тут наземь, зарылся головой в траву, и начался со мной кошмар. Ветер ли зашуршит поверху, либо ветошка обломится — мне теперь все равно, мне все чудится,

что достигает меня сучка и вот-вот зубами взгрызется и, может быть, перекусит горло и будет кровь сосать.

Так вот пролежал я час или, может быть, два, голову поднять не смею, и стал забываться.

Может быть, я тут заснул — не знаю, только утром встаю: трется у ноги сучка. А во мне будто страху никакого и нет и даже какой-то смех внутренний выступает.

«Да это же, думаю, собачка с моего двора. Может, она не пожелала с Клоповым находиться и вот пристала ко мне, к своему законному хозяину».

Погладил я сучку по шерстке, сам, безусловно, еще остерегаюсь.

— Ну, говорю, нужно нам идти. Есть, говорю, у меня такой задушевный приятель Утин. К нему мы и пойдем. Будем с ним жить в обнимку и по-приятельски. Пойдем со своим законным хозяином.

Так вот я сказал ей, будто у нас вчера ничего и не было. Встаю и иду тихонечко. Она, безусловно, за мной.

Прихожу, например, в одну деревню, расспрашиваю:

— Это, говорят, очень даже далеко, и идти туда нужно, может быть, пять ден.

— Ой-е-ей, говорю, что же мне такоеча делать? Дайте, говорю, мне, если на то пошло, полбуханки хлеба.

— Что ты, говорят, что ты, прохожий незнакомец, тут кругом все голодуют и сами возьмут, если дастишь.

Так вот не дали мне ничего, и в другой деревне тоже ничего не дали, и пошел я вовсе даже голодный с белой своей сучкой.

Да еще, не вспомню уже откуда, увязался за нами преогромный такой пес — кобель.

Так вот иду я сам-третий, голодую, а они, безусловно, нюх да нюх и найдут себе пропитание.

И так я голодовал в те дни, провал их возьми, что начал кушать всякую нечисть и блекоту, и съел даже, запомнил, одну лягуху.

Теперь вот озолоти меня золотом — в рот не возьму, а тогда съел.

Было это, запомнил, к концу дороги. К вечеру я, например, очень ослаб, стал собирать грибки да ягодки, смотрю — скачет.

И вспомнил: говорил мне задушевный приятель, что лягух, безусловно, кушают в иностранных державах и даже вкусом они вкусней рябчиков. И будто сам он ел и похваливал.

Поймал я тогда лягуху, лапишки ей пообрывал. Кост-

рик, может быть, разложил и на согретый камушек положил пекчись эти ножки.

А как стали они печеные, дал одну сучке, а та ничего — съела.

Стал и я кушать.

Вкуса в ней, прямо скажу, никакого, только во рту гадливость.

Может быть, ее нужно с солью кушать — не знаю, но только в рот ее больше не возьму.

Все-таки съел я ее, любезную. Поблевал маленько. Заел еще грибками и побрел дальше.

И сколько я так шел — не помню, только дошел до нужного места.

Вспрашиваю:

— Здесь ли проживает задушевный приятель Утин?

— Да, говорят, безусловно, здесь проживает задушевный приятель Утин. Взойдите вот в этот домишко.

Взошел я в домишко, а сучка у меня, заметьте, в ногах так и вьется, и кобель сзади. И вот входит в зальце задушевный приятель и удивляется:

— Ты ли это, Назар Ильич товарищ Синебрюхов?

— Да, говорю, безусловно. А что, говорю, такоеча?

— Да нет, говорит, ничего. Я, говорит, тебя не гоню и супротив тебя ничего не имею, да только как же все это так? У меня, говорит, тут уже папаша живет. И мой папаша, наверно, будет что-нибудь иметь против. Он у меня очень такой несговорчивый старичок. А лично я, говорит, всецело рад и счастлив твоему прибытию.

Тогда я отвечаю ему гордо:

— Нет, отвечаю, дорогой мой приятель Утин, вижу, что ты не рад, но я, говорю, пришел не в гости гостить и не в обнимку жить. Я, говорю, пришел в рабочие батраки наняться, потому что нет у меня теперь ни кола, ни даже куриного пера.

Подумал это он.

— Ну, говорит, ладно. Лучше меня, это знай, человека нет! Я, говорит, каждому отец родной. Я, говорит, тебя чудным образом устрою. Становись ко мне рабочим по двору. Я так своему папе и скажу.

И вдруг, замечайте, всходит из боковой дверюшки старичок. Чистенький такой старикан. Блюза на нем голубенькая, подпоясок, безусловно, шелковый, а за подпояском — платочек носовой. Чуть что — сморкается в него, либо себе личико обтирает. А ножками так и семенит по полу, так, гадюка, и шуршит новыми полсапожками.

И вот подходит он ко мне.

— Я, говорит, рекомендуюсь: папаша Утин. Чего это ты, скажи, пожалуйста, приперся с собаками? Я, говорит, имейте в виду, собак не люблю и терпеть их ненавижу. Они мол, всюду гадят и кусаются.

А сам, смотрю, сучку мою все норовит ножкой своей толкнуть.

И так он сразу мне не понравился, и сучке моей, вижу, не понравился, но отвечаю ему такое:

— Нет, говорю, старичок, ты не пугайся, они не кусачие...

Только это я так сказал, сучка моя как заурчит, как прыгнет на старичка, как куснет его за левую руку, так он тут и скосился.

Подбежали мы к старичку...

И вдруг, смотрю, убежала моя сучка. Кобель, безусловно, тут, кобель, замечайте, не исчез, а сучки нету.

Люди после говорили, будто видели ее на дворе, будто она ела косточку, да только вряд ли, не знаю, не думаю... Дело это совершенно удивительное.

Так вот подошли мы к старичку. Позвали фершала. Фершал ранку осмотрел.

— Да, говорит, это собачий укус небольшой сучки. Ранка небольшая. Маленькая ранка. Не спорю. Но, говорит, наука тут совершенно бессильна. Нужно везть старичка в Париж — наверное, сучка была бешеная. А там ему сделают операцию.

Услышал это старик, задрожал, увидел меня.

— Бейте, закричал, его! Это он подзюкал сучку, он на мою жизнь покусился. Ой-е-ей, говорит, умираю и завещаю вам перед смертью: гоните его отсюда.

«Ну, думаю, вот и беда-бедишка произошла через эту белую сучку. Недаром я ее в лесу испугался».

А подходит тут ко мне задушевный приятель Утин.

— Вот, говорит, тут налево порог. Больше мы с тобой не приятели!

Взял я со стола ломоточек хлеба, поклонился на четыре угла и побрел тихохонько.

ГИБЛОЕ МЕСТО

Много таких же, как и не я, начиная с германской кампании, ходят по русской земле и не знают, к чему бы им такое приткнуться.

И верно. К чему приткнуться человеку, если каждый предмет, заметьте, свиное корыто даже, имеет свое назначение, а человеку этого назначения не указано? И через это человеку самому приходится находить свое определение.

И через это, начиная с германской кампании, многие ходят по русской земле, не понимая, что к чему.

И таких людей видел я немало и презирать их не согласен. Такой человек — мне лучший друг и дорогой мой приятель. Поскольку такой человек ищет свое определение. И я тоже это ищу. Но только не могу найти, поскольку со мной случаются разные бедствия, истории и происшествия.

Конечно, есть такие гиблые места, где кроме таких, как я, и другие тоже ходят. Жулики. Но такого страшного жулика я сразу вижу. Взгляну и вижу, какой он есть человек.

Я их даже по походке, может быть, отличу, по самомалейшей черточке увижу.

Я вот, запомнил, встретил такого человека. Через него мне тоже одна неприятность произошла. А я в лесу его встретил.

Так вот, представьте себе — пенек, а так — он сидит. Сидит и на меня глядит.

А я иду, знаете ли, смело и его будто и не примечаю.

А он вдруг мне и говорит:

— Ты, говорит, это что?

Я ему и отвечаю:

— Вы, говорю, не пугайтесь, иду я, между прочим, в какую-нибудь там деревню, на хлебородное местечко, в рабочие батраки.

— Ну, говорит, и дурак (это про меня то есть). Зачем же ты идешь в рабочие батраки, коли я, может быть, желаю тебя осчастливить? Ты, говорит, сразу мне приглянулся наружной внешностью, и беру я тебя в свои компаньоны. Привалило тебе немалое счастье.

Тут я к нему подсел.

— Да что ты? — отвечаю.— Мне бы, говорю, милый ты мой приятель, вполне бы неплохо сапожонками раздобыться.

— Гм, говорит, сапожонками... Дивья тоже... Тут, говорит, вопрос является побольше. Тут вопрос очень даже большой.

И сам чудно как-то хихикает, глазом мне мигун мигает и все говорит довольно хитрыми выражениями.

И смотрю я на него: мужик он здоровенный и высокущий, и волосы у него, заметьте, так отовсюду и лезут,

прямо-таки лесной он человек. И ручка у него тоже особенная. Правая ручка у него вполне обыкновенная, а на левой ручке пальцев нет.

— Это что ж, вспрашиваю, приятель, на войне пострадал, в смысле пальцев-то?

— Да нет, мигает, зачем на войне. Это, говорит, дельце было. Уголовно-политическое дельце. Бякнули меня топором по случаю.

— А каков же, вспрашиваю, не обидьтесь только, случай-то?

— А случай, говорит, вполне простой: не клади лапы на чужой стол, коли топор вострый.

Тут я на него еще раз взглянул и увидел, что он за человек.

А после немножко оробел и говорю:

— Нет, говорю, милый ты мой приятель. Мне с тобой не по пути. Курс у нас с тобой разный. Я, говорю, не согласен идти на уголовно-политическое дело, имейте в виду. Я человек, говорю, вполне кроткий, потребности у меня небольшие. И прошу — оставьте меня в покое продолжать мой путь.

Так вот ему рассказал это, встал и пошел.

А он мне кричит:

— Ну и выходит, что ты дурак и старая дырявая тряпка (это на меня то есть). Пошел, говорит, проваливай, покуда целый.

Я, безусловно, за березку да за сосну и теку.

И вот, запомнил, пришел в деревню, выбрал хату наибогатенькую. Зашел. Наймусь, думаю, тут в батраки. Наверное, кормить будут неплохо. А то я сильно отощал. И вот зашел.

А жил-был там мужик Егор Савич. И такой, знаете ли, прелестный говорун мужик этот Егор Савич, что удивительно даже подумать. Усадил он меня, например, к столу, хлебцем попотчевал.

— Да, отвечает, это можно. Я возьму тебя в работники. Пожалуйста. Что другое — не знаю, может быть, ну, а это — сделайте ваше великое удовольствие — могу. Делов тут хотя у меня не много и даже чересчур мало, и вообще работы у меня почти что нету, но зато мне будет кое с кем словечком перекнуться. А то баба моя — совсем глупая дура. Ей бы все пить да жрать да про жизнь на картишках гадать. Можете себе представить. Так что я тебе прямо скажу — найму не без удовольствия. Только, говорит, приятный ты мой, по совести тебе скажу, место у нас тут

гиблое. Народу тут множество многое до смерти испорчено. Босячки всякие так и ходят под флагом бандитизма. Поп вот тоже тут потонул добровольно, а летом, например, матку моей бабы убили по случаю. Тут, приятный ты мой, места вполне гиблые. Смерть так и ходит, своей косой помахивает. Но если ты не из пугливых, то, конечно, оставайся.

Так вот поговорили мы с ним до вечера, а вечером баба его кушать подает.

Припал я тут к горяченькому, а он, Егор Савич, так и говорит, так и поет про разные там дела-делишки и все клонит разговор на самые жуткие вещи и приключения, и сам дрожит и пугается.

Рассказал он мне тогда, запомнил, случай, как бабку Василису убили. Как бабка Василиса у помойной кучи присела, а он, убийца, так в нее и лепит из шпалера, и все, знаете ли, мимо. Раз только попал, а после все мимо.

А дельце это такое было.

Пришли к ним, например, два человека и за стол без слова сели. А бабка Василиса покойница — яд была бабка.

⟨...⟩ Ладно. Бабка Василиса видит, что смело они так сели, и к ним.

— Вы, говорит, кто же такие будете, красные, может быть, или, наверное, белые?

Те усмехнулись и говорят:

— А ты угадай, мамаша. Ежели угадаешь, то мы тебя угостим свиным шпиком. А ежели нет, то извиняемся — на тот свет пошлем. Нынче жизнь не представляет какой-нибудь определенной ценности, а это у нас будет вроде интересной игры, которая нас подбодрит на дальнейшее путешествие.

Бабка Василиса испугалась и затряслась. Сначала она так сказала, потом этак.

Те говорят:

— Нет, не угадала, мамаша. Мы — зеленая армия. И мы идем против белых и против красных под лозунгом «Догорай моя лучина».

И тут они взяли бабку за руку и застрелили ее во дворе.

И когда это Егор Савич рассказал, я его побранил.

— Чего ж это ты, побранил, за бабку-то не вступился? Явление это вполне недопустимое.

А он:

— Да, говорит, недопустимое, сознаю, но, говорит, если бы она мне родная была матка, то — да, то я, я очень

вспыльчивый человек, я, может быть, зубами бы его загрыз, ну, а тут не родная она мне матка — бабы моей матка. Сам посуди, зачем мне на рожон было лезть?

Спорить я с ним не стал, меня ко сну начало клонить, а он так весь и горит и все растравляет себя на страшное.

— Хочешь, говорит, я тебе еще про попа расскажу? Очень, говорит, это замечательное явление из жизни.

— Что ж, отвечаю, говори, если на то пошло. Ты, говорю, теперь хозяин.

Начал он тут про попа рассказывать, как поп потонул.

— Жил-был, говорит, поп Иван, и можете себе представить...

Говорит это он, а я слышу — стучит ктой-то в дверь и голос-бас войти просит.

И вот, представьте себе, входит этот самый беспалый, с хозяином здоровается и мне все мигун мигает.

— Допустите, говорит, переночевать. Ночка, говорит, темная, я боюся. А человек я богатый. Могут обокрасть.

И сам, жаба, хохочет.

А Егор Савич так в мыслях своих и порхает.

— Пусть, говорит, пусть. Я ему про попа тоже расскажу... Жил-был, говорит, поп, и, можете себе представить, ночью у него завыла собака...

А я взглянул в это время на беспалого — ухмыляется, гадюка. И сам вынимает серебряный портсигарчик и папироску закуривает.

«Ну, думаю, вор и сибиряк. Не иначе как кого распотрошил. Ишь ты, какую вещь стибрил».

А вещь — вполне роскошный барский портсигар. На нем, знаете ли, запомнил, букашка какая-нибудь, свинка, буковка.

Оробел я снова и говорю для внутренней бодрости:

— Да, говорю, это ты, Егор Савич, например, про собаку верно. Это неправда, что смерть — старуха с косой. Смерть — маленькое и мохнатенькое, катится и хихикает. Человеку она незрима, а собака, например, ее видит, и кошка видит. Собака как увидит — мордой в землю уткнется и воет, а кошка — та фырчит, и шерстка у ней дыбком становится. А я вот, говорю, такой человек, смерти хотя и не увижу, но убийцу замечу издали и вора, например, тоже.

И при этих моих словах на беспалого взглянул. Только я взглянул, а на дворе:

— У... у...

Как завоет собака, так мы тут и зажались.

Смерти я не боюсь, смерть мне даже очень хорошо известна по военным делам, ну, а Егор Савич — человек гражданский, частный человек.

Егор Савич как услышал «у... у...», так посерел весь, будто лунатик, заметался, припал к моему плечику.

— Ох, говорит, как вы хотите, а это, безусловно, на мой счет. Ох, говорит, моя это очередь. Не спорьте.

Смотрю — и беспалая жаба сидит в испуге.

Егора Савича я утешаю, а беспалый говорит такое:

— С чего бы, говорит, тут смерти-то ходить? Давайте, говорит, лягем спать поскореича. Завтра-то мне (замечайте) чуть свет вставать нужно.

«Ох, думаю, хитровой мужик, как красноречиво выказывает свое намеренье. Ты только ему засни, а он хватит тебя, может быть, топориком и — баста, чуть свет уйдет».

Нет, думаю, не буду ему спать, не такой я еще человек темный.

Ладно. Пес, безусловно, заглох, а мы разлеглись кто куда, а я, запомнил, на полу приткнулся.

И не знаю уж, как вышло, может, что горяченького через меру покушал,— задремал.

И вот представилась мне во сне такая картина. Снится мне, будто сидим мы у стола, как и раньше, и вдруг катится, замечаем, по полу темненькое и мохнатенькое, вроде крысы. Докатилось оно до Егора Савича и — прыг ему на колени, а беспалый нахально хохочет. И вдруг слышим мы ижехерувимское пение, и деточка будто такая маленькая в голеньком виде всходит и передо мной во фронт становится и честь мне делает ручкой.

А я будто оробел и говорю:

— Чего, говорю, тебе, невинненькая деточка, нужно? Ответьте мне для ради бога.

А она будто нахмурилась, невинненьким пальчиком указывает на беспалого.

Тут я и проснулся. Проснулся и дрожу. Сон, думаю, в руку. Так я об этом и знал.

Дошел я тихоньким образом до Егора Савича, сам шатаюсь.

— Что, вспрашиваю, жив ли? — говорю.

— Жив, говорит, а что такоеча?

— Ну, говорю, обними меня, я твой спаситель, буди мужиков, взять нужно беспалого сибирского преступника, поскольку он, наверное, хотел тебя топором убить.

Разбудили мы мужиков, стали вязать беспалого, а он, гадюка, представляется, что не в курсе дела.

— Что, говорит, вы горохом объелись, что ли? Я, говорит, и в мыслях это убийство не держал. А что касается моего серебряного портсигара, то я его не своровал, а заработал. И я, говорит, могу хозяину по секрету сказать — чем я занимаюсь.

И тут он наклоняется к Егор Савичу и что-то ему шепчет.

Видим, Егор Савич смеется и веселится и так мне отвечает:

— Я, говорит, тебя рабочим к себе не возьму. Ты, говорит, только народ смущаешь. Этот беспалый человек есть вполне прелестный человек. Он — заграничный продавец. Он для нас же, дураков, носит спирт из-за границы, вино, коньяк и так далее.

«Ну, думаю, опять со мной происшествие случилось. На этот раз, думаю, сон подвел. Не то, думаю, во сне видел, чего надо. А все, думаю, мое воображение плюс горячая пища. Придется, думаю, снова идти в поисках более спокойного места, где пища хорошая и люди не так плохи».

Собрал я свое барахлишко и пошел.

А очень тут рыдал Егор Савич.

— Прямо, говорит, и не знаю, на ком теперь остановиться, чтоб чего-нибудь рассказывать.

Проводил он меня верст аж за двадцать от гиблого места и все рассказывал разные разности.

ЛЯЛЬКА ПЯТЬДЕСЯТ

1

И какой такой чудак сказал, что в Питере жить плохо? Замечательно жить. Нигде нет такого веселья, как в Питере. Только были бы денежки. А без денег... Это точно, что пропадешь без денег. И когда же придет такое великолепное время, что человеку все будет бесплатно?

По вечерам на Невском гуляют люди. И не так чтобы прогулкой, а на углу постоят, полюбопытствуют на девочек, пройдут по-весеннему — танцуют ноги, и на угол снова... И на каждый случай нужны денежки. На каждый случай особый денежный расчет...

— Эх, подходи, фартовый мальчик, подходи! Угощай папиросочкой...

Не подойдет Максим. У Максима дельце есть на прице-

ле. Ровнехонько складывается в голове как и что. Как начать и себя как повести. У Максима замечательное дельце. Опасное. Не засыпется Максим — холодок аж по коже! — в гору пойдет. Разбогатеет это ужасно как. Ляльку Пятьдесят к себе возьмет. Вот как. И возьмет.

Очень уж замечательная эта Лялька Пятьдесят. Деньги она обожает — даст Максим ей денег. Не жалко. Денег ей много нужно — верно. Такой-то немало денег нужно. Ковер, пожалуйста, на стене, коврище на полу, а в белой клетке — тропическая птица попугай. Сахар жрет... Хехе...

Конешно, нужны денежки. Нужны, пока не пришло человеку бесплатное время.

А Лялька Пятьдесят легка на помине. Идет — каблучками постукивает.

— Здравствуй, Ляля Пятьдесят... Каково живешь? Не узнала, милая?

Узнала Лялька. Как не узнать — шпана известная... Только корысти-то нет от разговоров. У Ляльки дорога к Невскому, а у Максима, может, в другую сторону.

Нелюбезная сегодня Лялька. В приятной беседе нет ей удовольствия. Не надо.

Подошел Максимка близко к ней, в ясные глазки посмотрел.

— Приду, сказал, к тебе вечером. С большими деньгами. Жди-поджидай.

Улыбнулась, засмеялась Лялька, да не поверила. Дескать, врет шпана. И зачем такое врет? Непонятно.

Но, прощаясь, на всякий случай за ручку подержалась.

Пошел Максим на Николаевскую, постоял у нужного дома, а в голове дельце все в тонкостях. Отпусти, скажет, бабка Авдотья, товарцу на десять косых. Отпустит бабка, а там как по маслу. Не будет никакого заскока. А заскока не будет — так придет Максимка к Ляльке Пятьдесят. Выложит денежки... «Бери, скажет, пожалуйста. Не имею к деньгам пристрастия. Бери за поцелуй пачечку...»

А Лялька в это время вышла к Невскому, постояла на углу, покачала бедрами, потопала ножками, будто чечетку пляшет, и сразу заимела китайского богача.

Смешно, конечно, что китайского ходю.

Любопытно даже. Да только по-русски китаец говорит замечательно.

— Пойду, говорит, к тебе, красивая.

2

Написано мелом на дверях: портной. Да только нет здесь никакого портного. И никогда и не было. А живет здесь Авдотья-спекулянтка. У ней закрытое мелочное заведение. Она и написала мелом на дверях для отвода глаз.

К этой-то бабке Авдотье и пошел Максим.

В дверь, где мелом «портной» сказано, постучал условно.

А когда открыли ему дверь — так сразу покосился весь Максимкин план. Не Авдотья, а муж бабки Авдотьи стоял перед Максимом.

Шагнул Максим за порог, лопочет непонятное. Сам соображает как и что. Покосился план, да и только. Не вовремя приехал чертов муж...

Говорит Максимка глупые слова:

— Отпусти, говорит, бабка Авдотья, на десять косых...

Усмехнулся бабкин муж и в комнату пошел.

А Максим за ним.

Бабкин муж веса ставит, а Максимка примеряет: как и что. Да только покосился план, мыслимо ли сразу лазеечку найти?

А бабкин муж интересуется:

— Какого же тебе товарцу, кавалер?

— Разного товарцу отпусти...

— Из кисленького, может быть, интересуется, капусточки?

— Из кисленького, бабка Авдотья.

Стал тут бабкин муж капусту класть из кадочки, а Максим метнул сюда-туда глазом. Максим схватил гирьку и трехфунтовой гирькой тюкнул по голове бабкиного мужа.

Рухнул бабкин муж у кадочки. В руке вилка. На вилке капуста.

А Максим к прилавку. На прилавке — ящик с деньгами. Шарит Максим — в пальцах дрожь. Вытащил деньги, да маловато денег. Где же такое денежки?

Роет Максим по комнате — нету денег. А в руки все ненужное лезет — гребенка, например, или блюдечко.

— Тьфу, бес! Где же денежки?

А в дверь на лестнице кто-то постучал условно.

Прикрыл Максим бабкиного мужа рогожкой. И к двери подошел. Слушает. Открыть, не открыть? Открою. Сердце успокоил и дверь открыл.

Малюсенький вошел старичок и тоненько сказал:

— Бабку бы Авдотью мне...

А Максим старичку такое:

— Нету, старичок, Авдотьи. Иди себе с богом. Иди, сделай милость.

Сказал это и видит: гирька трехфунтовая в руке. Испугался Максим, что старичок гирьку заметит, пихает ее в карман, прячет гирьку-то, а старичок бочком, бочком и протискался тем временем в комнату.

— Подожду, говорит, бабку Авдотью. У бабки Авдотьи славная картошечка... Э, да у ней и капустка, наверное, славная! Да. Ей-богу, славная капустка...

И такой говорун, научный старичок. Максимке бы с мыслями собраться, а старичок такое:

— Ну хорошо, человеку все бесплатно... Согласен. Да только, на мой научный взгляд, общественное питание — это уж извините, это сущий вздор и совершенно ложные слова. На все согласен, а тут уж к бабке Авдотье пойду. Не могу... Извините... Я, скажем, головой поработал — рыбки захотел: фосфор в рыбке. Ты языком поболтал — молочную тебе диету... А вы говорите — общественное питание. Из корыта... Да-с, молодой человек, на все соглашусь, а уж бабку-то Авдотью мне оставьте... Совершенно ложные слова.

— Да я ничего,— оробел Максимка.

И в коридор вышел. А там — на лестницу, да по лестнице, да вниз через три ступеньки.

На улицу вышел, нащупал деньги в кармане.

— Эх, мало денег! Где ж такое были денежки?

И пошел покачиваясь.

3

— Эй, подходи, фартовый мальчик, подходи!

— Угощай папиросочкой...

Не полюбопытствовал Максим на девочек.

Встал Максим на углу и к окну прислонился.

Убить не убил человека и по голове ведь не шибко тюкнул, да человеку вредно, человека жаль...

Постоял Максим и подумал, а мысли-то уж все веселые идут.

Глядит Максим королем на всех. Глазами ищет Ляльку Пятьдесят. Да нету Лялечки.

А на углу белокуренькая папиросочкой дымит и Максиму улыбается. На ней высокие сапожки до колен и шелковая юбочка фру-фру... Повернется — шумит и засмеется — шумит.

Зашумела и без слов к Максиму подошла. Подошла и тихо за руку взяла.

Да вдруг как зашумело все, затопало.

— Облава, дамочки! — вскричала белокуренькая и от Максима в сторону, в железные ворота.

За белокуренькой шагнул Максим, а на Максима человек. Весь в шпорах. Шпорами бренчит, саблей стучит, а в руке пятизарядный шпалер.

Задрожал Максим и пустился бежать.

И бежит и бежит Максим. Гремит сердце. Через Лиговку бежит — на него забор. Максим через забор, а в ноги кучи. Через кучи Максим... Пробежал еще и свалился в грязь. Да не сам свалился.

— Подножка,— сказал Максим и потрогал денежки.

А на Максима Черный вдруг насел. И мало того, что насел, а еще и душит.

— Пусти,— хрипло сказал Максим,— пусти... дышать трудно!

И Черный отпустил его слегка.

Сидит Черный на Максимке и разговаривает:

— Бежит, вижу, человек по кучам. Стой, думаю. Даром не побежит. Спасибо. Либо вор, либо от вора... Даешь денежки!

А сам уж по карманам шарит.

Ох, вытащил пачечку!.. Ох, вытащил другую!.. Ох, опять душит, сатана!

— А это что?

— Гирька,— сказал Максим и вспомнил бабкиного мужа.

— Гирька! — усмехнулся Черный и стукнул гирькой по Максимовой голове.— Беги теперь да не оглядывайся. Беги, шпана, говорю... Стой! Гирьку позабыл. На гирьку.

Взял гирьку Максим и побежал. Пробежал немного и сел на кучу.

Зачем же человека бить по голове!

4

Посидел Максим на куче, унял сердце и в город пошел. Нужно бы домой, а ноги на Гончарную

идут, к Ляльке Пятьдесят. Идет Максим на Гончарную. На улицах пусто. И в сердце пусто...

А вот и Лялькин белый дом.

— Здравствуй, Лялькин милый дом!

Поднялся Максим, и постучал, и к Ляльке в комнату вошел.

На стене ковер, на полу коврище, а в белой клетке попугай.

А Лялька сидит на китайских коленях, ерошит ручкой китайские усы.

— Принес? — спросила Лялька и к Максиму подошла.

— Принес,— сказал Максим тихо.— Гони только китайскую личность. Смотреть трудно...

А китаец по-русски понимал замечательно. Обиделся и встал. И чашечку с кофеем на пол выплеснул.

— Зачем же, говорит, выносить такую резолюцию? Уйду и денег не заплачу.

Ушел китаец и дверкой стукнул. Максим тут к Ляльке подошел. К Ляльке наклонился и Ляльке целует щеку.

— Нету у меня денег, Лялька Пятьдесят.

— А! — вскричала Лялька Пятьдесят.— Денег нет?

— Нету денег. Пожалей меня, Лялька. Очень мне трудно, без денег пожалей, ну, скажи, что жалко!..

Как закричала тут Лялька:

— А китайские убытки кто возместит?

— Есть в тебе сердце? — сказал Максим и на коврище сел и Лялькины ноги обхватил.— Есть ли сердце, спрашиваю? Птицу жалеешь? Жалеешь попку?

Как ударила тут Лялька Пятьдесят Максима — помутилось все.

Охнул Максим. Охнул и с полу поднялся.

Гирьку нащупал в кармане. Вытащил гирьку, хотел ударить по Лялькиной голове, да не ударил. Рука не посмела.

Замахнулся Максим и ударил по птицыной клетке.

Ужасно тут закричал попугай, и тонко закричала Лялька. А Максим бросил гирьку и снова на коврище сел.

— Ну, скажи, что жалко, Лялька Пятьдесят!

ЧЕРНАЯ МАГИЯ

1

Не такие теперь годы, чтобы верить в колдовство или, может быть, в черную магию, но только рассказать об этом никогда не мешает.

Много темных людишек и посейчас существует. Как в других деревнях — неизвестно, а в селе Лаптенках это так. В селе Лаптенках бабы, например, и болезни всякие заговаривают, и на огонь и на воду ворожат, и травы драгоценного свойства собирают. Что до другого, не знаю, не скажу, ну а болезни — это, пожалуй, правильно. С болезнями бабка Василиса очень даже великолепно справляется.

Конешно, приедет какой-нибудь этакий ферт заграничный, он, безусловно, только посмеется.

— Эх, скажет, Россия, Россия, темная страна!

Так ему что? Ему подавай в цилиндре доктора, в пиджаке, а на бабку Василису он и не взглянет. Да он, может быть, и на лекарского помощника Федор Иваныча Васильченку не взглянет. Вот что! Вот это какой ферт!

Но только с таким человеком я и спорить никогда не соглашусь. Там у них и жизнь другая, а не такая, там, может быть, и болезней-то таких нет, как у нас.

Вот, рассказывают, грелки у них поставлены в трамваях, чтоб сквознячок, значит, ножку не застудил, пожалуйста...

Ведь это что? Ведь это дальше и идти-то некуда. Полное европейское просвещение и культура...

Ну а у нас и жизнь тут другая, и людишки не такие. У нас вот баба, например, погибла от черной магии. Супруга Димитрия Наумыча.

2

А по-пустому все и вышло. Ее, имейте в виду, Димитрий Наумыч со двора вон выгнал. Вот оттого все и произошло. А впрочем, нет, не оттого.

Прежде случай был другой, деревенский. В дело это чертов сын Ванюшка замешался. Вот что.

Жил-был на свете такой Ванюшка, мужик больной и убогий... Из-за него все и произошло. Конечно, бывали тут на селе и раньше разные происшествия: повадились, например, мужички каждую весну тонуть — то Василь

Васильич, мужик богатенький, потонул, то староста нырнул нечаянно, то Ванюшка теперь... Но только все это было по веселым делам, а такого дела, чтобы, например, бабу свою вон выгнать — тут и привычки такой ни у кого не было.

Так вот, Ванюшка больной и убогий... Я, как в Лаптенках расположился, сразу обратил полное свое внимание на Ванюшку. Ходит это он, можете себе представить, веселенький, ручки свои, сволочь, потирает. Я его запомнил, остановил тогда на селе, отвел в сторону.

— Ты что ж это, спрашиваю, так нахально-то ходишь и ручки свои потираешь, гадина?

А он, как сейчас помню, ехидно так посмотрел на меня.

— А чего, говорит, мне горе-то горевать? Мне теперь, знаете, лафа. Я хотя и больной и убогий, а жить теперь буду что надо. Очень передо мной широкий горизонт в смысле богатеньких невест и приданого.

— Да что ты, говорю, врешь?

— Нету, говорит, не вру. Как хотите. Ходит теперь мужик в очень большой цене, да только, имейте в виду,— мужик холостой, неженатый... Да, вы, говорит, впрочем, сами-то взгляните, что кругом деется.

Взглянул я кругом, ну, вижу — дела-делишки: на селе бабы кишмя кишат, девки на вечеринках дура с дурой танцуют, а кавалеров ихних — как корова языком слизала. Нету ихних кавалеров. Никто из молодых молодчиков, заметьте, с германской войны домой не вернулся.

«Вот, думаю, да-а...»

А Ванюшка ходит вкруг села и хвалится.

— Дождался, говорит, я своего времечка. Как угодно. Дорвался до роскошной жизни. Я хоть и больной и убогий, а мужик. Из песни слова не выкинешь.

Так вот с недельку походил по селу Ванюшка, стал, сукин сын, на радостях самогонку хлебать, за речку ездить повадился... Жила-была за речкой фря такая, веселая солдатка Нюшка. И — можете себе представить — потонул Ванюшка. От солдатки возвращался ночью пьяненький и потонул, дурак. Не удержал своего счастья.

И очень тогда мужички над ним издевались.

3

Ну хорошо. К ночи он, например, затонул, утром походили мужички по берегу, посмеялись вдоволь и ловить его принялись.

Выехали на лодках, пошевелили баграми, кошками по дну поцарапали — нету Ванюшки.

А речонка и вся-то ничего не стоит — одно распоряжение, что речонка.

Обиделись мужички.

— Что, говорят, за мать честная? Василь Васильича сразу нашли, старосту тоже сразу нашли, а тут этакую невидаль, козявку, представьте себе, такую найти не можем.

Пустили по речке горшки... Ну да. Обыкновенные горшки. Глиняные... Это не какое-нибудь там темное поверие или, может быть, старинный обычай, это роскошное средство найти утопленника. Да это можно даже доказать научными данными. Скажем, труп лежит, за корягу ногой, может быть, зацепился. Пожалуйста. Над трупом вода безусловно обязана крутиться и воронку делать... Горшок туда — и там, представьте себе, вертится.

Так вот и тут. Пустили горшки. Поплыл один горшок на середину реки и, смотрим, там крутится. Сунули там багор — глыбоко. Яма. Повертели кошкой — осталась там кошка.

Тьфу ты, дьявол!

Решили мужички: нырнуть нужно.

Тот, другой, пятый — отнекиваются.

— Димитрий Наумыч...

Тот долго спорить не стал, скинул с себя платьишко, рожу свою перекрестил и нырнул.

И тут-то, замечайте, все и началось.

4

Рассказывал мне после Димитрий Наумыч.

— Нырнул, говорит, я. Хорошо. И только я нырнул, как вдруг меня и осенило: «Что ж, думаю, ходил тут такой Ванюшка, холостой, неженатый, да и тот в воде захлебнулся. Чего ж, думаю, случай-то такой роскошный я буду из рук вон выпущать? Выгоню, например, свою бабу да и поженюсь на богатенькой».

Так вот он подумал и сам чуть водой не поперхнулся, чуть не погиб мужик — пробыл в воде сверх положенной нормы. Даже мужички тогда забеспокоились, потому что пошел по воде пузырь крупный.

Но только через минуту выплыл Димитрий Наумыч на

свет земной, лег на песок и лежит ужасно скучный и даже трясется.

«Ну,— подумали мужички,— чудо-юдо на дне, не иначе».

А на дне, имейте в виду, все спокойно: лежит Ванюшка на дне, уцепившись штаниной за корягу.

Стали мужички расспрашивать: что да что, а Димитрий Наумыч и говорит:

— Тащите, говорит, кошкой, все спокойно.

Стали мужички тащить... да только об этом и разговор никакой — больше-то Ванюшка и не нужен в нашем деле, потому что пошло дело по другому уклону. Ну, а Ванюшку, да, вытащили. Побежал мужик Димитрий Наумыч домой.

«Что ж,— бежит и думает,— кругом во всех деревнях ходит холостой мужик в большой цене. Да я, думает, бабу свою теперь с лица земли сотру или, может быть, ее выгоню».

Так вот он опять подумал, да видит — как раз эти самые слова ему и нужны. Пришел домой и фигурять начал.

И баба ему ступит плохо, и вид-то ему из окна, между прочим, плохой.

Видит баба: загрустил мужик, а с чего загрустил — неизвестно. Подходит тогда она к нему со словами, а слова все у ней тихие.

— Чего, говорит, это вы, Димитрий Наумыч, словно как загрустили?

— Да,— отвечает он нахально,— загрустил. Хочу, говорит, богатеньким быть, да вы, имейте в виду, мне помеха.

Промолчала баба.

А сказать нужно, баба у Димитрия Наумыча очень даже замечательная была баба. Только одно и несчастье, что не богатая, а бедная. А так-то всем хороша: и голос у ней был тихий и симпатичный, и походка не какая-нибудь утиная — с боку, например, на бок — походка роскошная: идет, будто плавает.

Ее сестру даже родную ферт какой-то за красоту убил. Жить с ним не хотела.

В Киеве дело было...

Ну и эта тоже была очень даже красивая. Все находили. А Димитрий Наумыч мнению этому теперь не внял и свою мысль при себе имел.

Так вот поговорили они, баба промолчала, а Димитрий Наумыч все, замечайте, случая ищет.

Походил он по избе.

— Ну, давай, орет, баба, кушать, что ли!

А до обеда далеко было. Баба ему с резоном и отвечает:

— Да что вы, Димитрий Наумыч, я, говорит, еще и затоплять-то не думала.

— Ах, говорит, ты юмола, юмола, ты, говорит, меня, может, голодом уморить думала? Собирай, говорит, свое барахлишко, сайки с квасом, вы, говорит, мне больше не законная супруга.

Очень тут испугалась баба, умишком раскинула.

Да видит — гонит. А с чего гонит — неизвестно. Во всех делах она чистая, как зеркальце. Думала она дело миром порешить. Поклонилась ему в ножки.

— Побей, говорит, лучше, Пилат-мученик, а то мне и идти-то некуда.

А Димитрий Наумыч просьбу хотя ее и исполнил, побил, а со двора все-таки вон выгнал.

5

И вот собрала баба барахлишко — юбчонку какую-нибудь свою дырявую — и на двор вышла.

А куда бабе идти, если ей и идти-то некуда?

Покрутилась баба по двору, повыла, поплакала, умишком своим снова раскинула.

«Пойду-ка, думает, к соседке, может, что и присоветует».

Пришла она к соседке. Соседка повздыхала, поохала, по столу картишки раскинула.

— Да, говорит, плохо твое дело. Прямо, говорит, очень твое дело паршивое. Да ты и сама взгляни: вот король виней, вот осьмерка, а баба виней на отлете. Не врут игральные карты. Имеет мужик чтой-то против тебя. Да только ты и есть сама виноватая. Это знай.

Вы обратите внимание, какая дура была соседка. Где бы ей, дуре, утешить бабу, вне себя баба, а она запела такое:

— Да, запела, сама ты и есть виноватая. Видишь — загрустил мужик, ты потерпи, не таранти. Он тебя, например, нестерпимыми словами, а ты такое: дозвольте, мол, сапожечки ваши снять и тряпочкой наисухонькой обтереть — мужик это любит...

Фу ты, старая дура!.. Такие слова...

Утешить нужно бабу, а она растравила ее до невозможности.

Вскочила баба, трясется.

— Ох, говорит, да что же я такоеча наделала? Ох, говорит, да присоветуй хоть ты-то мне для ради самого господа! На все я теперь соглашусь. Ведь мне и идти-то некуда.

А та, старая дура, тьфу, и по имени-то назвать ее противно, ручищами развела.

— Не знаю, говорит, молодушка. Прямо сказать тебе ничего не могу. В очень большой цене теперь мужик. И красотой одной и качествами не прельстишь его. Это и думать не смей.

Бросилась тут баба вон из избы, выбежала на зады да по заднему проспекту и пошла вдоль села. На село-то ей, бедной, и выйти было стыдно.

И вот видит баба: идет ей навстречу старушка махонькая, неизвестная бабушка. Идет эта бабушка, тихонько катится и чтой-то про себя шепчет.

Поклонилась ей баба наша, заплакала.

— Вздравствуйте, говорит, старушка махонькая, неизвестная бабушка. Вот, говорит, взгляните, пожалуйста, какие дела-делишки на земном свете-то деются.

Взглянула старая бабушка, головенкой своей, может быть, мотнула.

— Да, говорит, деются, деются... Ох, говорит, молодая молодушка, знаю все, что на свете деется: всех людишек передавить надобно — вот что деется. Да только, умоляю тебя, не плачь, не порти очи себе. В деле таком, слеза — помощь никакая. А вот что: есть у меня средства разные, есть травы драгоценного свойства. Есть и словесные заговоры, да только в таком великолепном деле они ничего не стоят. А от такого дела, чтобы человека при себе удержать, есть одно только средство. Будет это средство страшное: особая это роскошная черная кошка. Тую кошку завсегда узнать можно. Ох, любит та кошка в очи смотреть, а как смотрит в очи, так хвостом нарочно качает медленно и спинку свою гнет...

Слушает баба ужасные старухины речи, и млеет у ней сердце.

Конешно, никто не слышал такие речи старухины, кроме бабы нашей, да только все это, безусловно, правильно. Об этом Юлия Карловна тоже говорила. Да и в дальнейшем это вполне выяснилось. И еще в дальнейшем выяснилось, что взять нужно было тую кошку черную, в полночь баньку вытопить и тую кошку живую в котел бросить.

— Умоляю тебя,— просила бабушка,— брось тую кошку безусловно живую, а не дохлую. А как будет все кончено,

вылущи кошачию косточку небольшую, круглую и, умоляю тебя, носи ее завсегда при себе.

Как услышала баба это, ужаснулась, поклонилась старухе низенько.

«Пойду, думает, поклонюсь еще раз Димитрию Наумычу, а если не изменит он своего мнения, так есть у меня средство страшное, роскошное».

6

Пошла баба на село поклониться Димитрию Наумычу, да только пошла она, имейте в виду, зря.

Где же было Димитрию Наумычу изменить свое мнение, если он так и горел и даже в город порывался ехать, закончить дело.

Я к нему тогда зашел. Он уж и лошадь свою запрягал. Он мне многое тогда высказал.

— Никогда бы, говорит, я такую бабу не выгнал, как бог свят. Лучше, говорит, растерзай ты меня на куски и разбросай те куски по полю, но на такое дело никогда бы я не согласился. Очень она, баба, мне в самый раз. Да только больно мне, слушай, богатеньким-то лестно пожить. Ты сам взгляни: ну какой я есть мужик? Только и есть одно удовольствие, что лошадь у меня, а так-то все идет в развалку и на сторону. Ну вот, ты сам, слушай, друг ты мой, ответь мне для ради самого господа, есть у меня, например, корова или нету?

— Нет, говорю, нет у тебя коровы, Димитрий Наумыч. Это я подтверждаю. У тебя, говорю, овцы даже какой-нибудь паршивой — и то нету.

— Ну, говорит, вот видишь! Какой же я мужик после этого?

— Да уж, говорю, без коровы тебе как без рук.

— Так вот, говорит, а вы говорите: баба! Баба что? Только что хороша собой, а больше у ней, слушай, и преимуществ-то нет никаких... Ну, сестру ее, скажем, за красоту убили. В Киеве дело было. Так мне теперь что? Мне из этого и пальтишка даже не сшить. Да и меня, прямо скажу, этим теперь не заинтересуешь.

Так вот он говорит, со мной объясняется, а баба, заметьте, рядом стоит.

Увидел он ее, закричал.

— Чего, закричал, тебе надобно? Уходи! Сделай такое одолжение!

А баба испугалась окрика да говорит не то, что нужно.

— Ухожу, говорит, я, Димитрий Наумыч, еще не знаю куда, наверное, в Киево-Печерскую лавру, так дозвольте мне на прощанье в баньке вашей попариться.

Посмотрел мужик на нее, не хитрит ли баба. Нет, не хитрит.

Подобрел Димитрий Наумыч.

— Ладно, говорит, попарься. В этом, говорит, я не притесняю. Ведь я не зверь какой-нибудь. Я за что тебя выгнал? Очень ты хорошая баба и все такое, да только уж извините — рвань коричневая. Ничего у тебя нет и, сознайся, и не было. Да и родственники, слушай, твои — за сколько лет хоть бы кто плюнул. Хоть бы кто подарок мне сделал для ради смеха. Рубашку бы, например, преподнес к празднику к светлому: носите, дескать, Димитрий Наумыч, себе на утешение... Так нет того.

Не стала баба долго его слушать, повернулась да и пошла, а Димитрий Наумыч сел в телегу, свистнул, гикнул да и был таков.

И вот, представьте себе, едет он в город, а баба тем временем баньку вытопила, кошку попову черную приманила, заперла ее в баньке и ждет ночи.

Встретил я ее, бабу бедную, в тот вечер. По селу она бежала. Стиснула этак вот кошку к груди и бежит и бежит, простоволосая и вроде как страшная.

«Ох,— подумал я,— гибнет баба!» Но только, имейте в виду, дело мое — сторона.

7

А к ночи сделал мужик свое дело, выпил с братом своим в городе самую что ни на есть малость и едет обратно веселенький, песни даже играет. И не чует, не гадает, что с ним такое сейчас стрясется. А стрясется сейчас с ним дело совершенно удивительное — прут, ну ветка, скажем, сухая в колесо попадет, и лошадь гибнет...

Только об этом после. К этому и время еще не подошло. А мне только сказать нужно: если б не упала тогда лошадь, то ничего бы, может быть, и не случилось с бабой, поспел бы Димитрий Наумыч, ну а тут лошадь, представьте себе, упала.

Хорошо. Так вот, едет мужик по лесу, на телеге раскинулся, ручки свои в стороны разбросал. Едет.

А лошадь идет шажком мелким, ее и править не надо.

Да Димитрий Наумыч и не правит. Он, имейте в виду, вожжи даже бросил.

И это верно он поступил: лошадь и днем и ночью завсегда дорогу к дому найдет. Об этом я очень великолепно знаю. В извозчиках я и сам больше года был.

Так вот, идет себе лошадь Димитрия Наумыча шажком, а Димитрий Наумыч вожжи отпустил и про себя песни играет. А ночь, имейте в виду, темнейшая.

Хорошо. Мурлычет он, пьяненький, «Кари глазки», только смотрит, к погосту подъезжает.

И стало мужику не по себе.

«Вот, думает, мать честная, сколько тут людишек позарыто, да и мне места такого не миновать... А я, обратите внимание, такими вещами занят: бабу, например, свою гоню для ради какого-то богатства и роскоши...»

Подъехал он к погосту хмурый, песни свои забыл и лежит на телеге — скучает.

Только чует: смотрит будто на него ктой-то пристально.

— Кто? — крикнул мужик.

— О-о! — закричали ему с погоста.

Хотел мужик подхлестнуть свою лошадь, да только чует — и рукой ему шевельнуть жутко.

«Ну, думает, скорее бы место такое злачное миновать».

Только это он так пожелал себе, вдруг его ктой-то хлясь по роже!

Замер Димитрий Наумыч, похолодел.

А прут, представьте себе, обернулся еще раз в колесе — хлясь обратно по роже. Смертельно закричал Димитрий Наумыч. А лошадь — дура. Лошадь слышит, кричит мужик, думает — на нее,— понесла.

Мужик кричит чужим голосом, а лошадь так и дует, так и прет к дому.

Пронеслись они верст, наверное, пять, Димитрий Наумыч видит: никто его больше по роже не бьет — кричать перестал, в себя пришел.

Пришел в себя, тпр да тпр — не остановит коня.

Ему бы, дураку, нужно «ш-ш» сказать, а он за вожжу. Он за вожжу, а лошадь несомненно в сторону. Лошадь несомненно в сторону, а в стороне, имейте в виду, дерево.

Наскочила лошадь на дерево. Хрясь башкой об дерево и скосилась замертво.

Выпал мужик из телеги, шапку снял.

Да, видит, скончалась лошадь. «Ой, думает, вот беда так беда, такого и бедствия во всей жизни еще не было! Ну, думает, отпущена мне эта беда не иначе как за бабу мою».

Стоит мужик и себе не верит.

И себя-то ему жалко, и лошадь — дело такое драгоценное, мужицкое, и за бабу до того грустно, что и сказать невыносимо. Постоял он, постоял.

«Ну, думает, что есть, то есть. Пойду-ка я на село поскореича, может быть, с бабой моей еще ничего не случилось». Так вот он подумал, заторопился, привязал зачем-то лошадь к дереву, взвалил на себя дугу да сбрую и пошел скорым шагом.

Да только зря он торопился. Было уже поздно. Случилось уже такое, что и во сне не снилось мужику.

8

Начала баба дело свое — черную магию, когда Димитрий Наумыч к погосту подъезжал.

Пришла баба в те часы в баньку, крест и платьишко свои в предбаннике оставила и без ничего в баню вошла. Вошла она в баню, крышку с котла откинула и кошку ищет.

«Где же, думает, кот? Не видно его чегой-то». Смотрит: забился кот под лавку.

Баба ему: кыся, кыся, а он, представьте себе, щерится и в очи смотрит.

Баба протянула руку — он зубами. Изловчилась как-то баба, ухватила его за шкирку, плюхнула в котел и крышкой поскорей прикрыла.

Прикрыла она крышкой и слышит: бьется кошка в котле это ужасно как, даже крышка чугунная вздымается. Налегла баба грудью на котел, а сама от страха сомлела вся, и вот-вот, видит, силушки удержать не хватит. А в котле повертелось, повертелось и заглохло.

Подложила баба дров побольше, отошла от печки и на лавку присела. Ждет. И вот слышит, будто вода ключом кипит. Посмотрела: да, крышка вздымается и ходуном ходит.

«Ну,— думает баба,— сейчас конец».

Подбежала она к котлу, только приподняла крышку, как в лицо ей бросится кот или чего-то такое другое. Всплеснула баба руками и на пол рухнула.

9

Конешно, никто не знает, как в точности это было. Скорей всего баба открыла котел, а ее паром и обожгло. А баба с перепугу подумала, что это в нее кошка бросилась. Взяла и померла с перепугу. А конец делу был такой.

Вышел я утром на село, смотрю: бежит поскорей мужик Димитрий Наумыч, и на нем, представьте себе, честь честью дуга и сбруя.

Очень я удивился, а он — ко мне.

— Не видел ли, кричит, бабы моей?

— Нет, отвечаю, бабы я твоей не видал. А вот вчера, говорю, да, видел, баньку она вечор топила.

Ухватил он тут меня за руку, и мы побежали.

Ворвались в баньку, шагнули за порог, и тут представилась нам такая нестерпимая картина.

Лежит, представьте себе, баба на полу совершенно мертвая. Охнул тут Димитрий Наумыч, схватил себя за голову и говорит:

— Вот, говорит, через свою жадность потерял такую верную супругу!

И, конешно, заплакал горькими слезами.

ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ

1

Ах, милостивые мои государи и дорогие товарищи! Поразительно это, как меняется жизнь и как все к простоте идет.

Скажем, двести лет назад тут, на Невском, ходили люди в розовых и зеленых камзолах и в париках. Дамы этакими куклами прогуливались в широченных юбищах, а в юбищах железные обручи...

Теперь бы и подумать об этом смешно, ну а тогда была эта картина повседневная.

А впрочем, и над нами через сто лет посмеются.

Вот, скажут, как нелегко было существовать им!

Мужчины на горлах воротнички этакие тугие стоячие носили, дамы — корсеты...

И верно. Смешно. Да только и это уже уходит.

Все меняется, все идет к простоте необыкновенной.

И не только это во внешней жизни, но и в человеческих отношениях.

Ну кто, какой человек вызовет меня на дуэль, если я обзову его дураком? Никто.

А раньше за это до крови бились. Да что раньше!

Недавно это было. Недавно еще, скажем, битый офицер, да и не только офицер, любой дворянин битый считал непременным долгом застрелиться или застрелить обидчика.

Я вот вспоминаю старичка древнего. Генерала одного пехотного. Актриска его в сердцах по физиономии дернула. Так что ж вы думаете?

Застрелиться хотел старичок. Плакал, тосковал всю ночь... Ну да только кончилось все благополучно. Пережил старичок. И в дальнейшем помер от дизентерии.

Ах, а смешная это была история! И не то, конечно, смешно, что актриса старичка ударила, а вся история перед тем, вся веселая жизнь генеральская была необыкновенная.

2

Ах, милостивые мои государи! Невозможно без слез вспомнить об этом человеке.

Нынче лежит он на Митрофаньевском. Над ним камень могильный — ангел в воскрылии. Под ангелом надпись: отставной военный генерал Петр Петрович Танана.

Малюсенький это был старичок, птичий. Вместо волос — какие-то перышки. Носик продолжительный, птичий, и звали его повсюду, старичка этого, чижиком.

Были на нем чины огромные и богатство довольно изрядное, а жил он, несмотря на это, до того грустно, что и сказать невозможно.

Пятьдесят лет прожил он, прямо скажу, неслышно, а на пятьдесят первом году, перед смертью, вдруг изменился человек.

Раньше, бывало, генеральша полные сутки орет на него, что павлин, а генерал в ответ ни полсловечка. Генерал в столовой на диване ляжет, шинелькой прикроется и жмется. А тут, на пятьдесят первом году, стал брыкаться. Генеральша, например, голосом донимает, а он в людскую.

Там у Васьки Дидюлина, у камердинера своего, сядет на кровать и только усмехнется горько:

— Вот, скажет, Вася, картина семейной жизни.

А Васька Дидюлин головой потрясет.

— Да, скажет, неинтересно вы живете, богатые люди.

А генерал иногда с ним спорить начнет:

— Что ты, брат Дидюлин. Мы, богатые люди, тоже веселиться можем, только нам нельзя все сразу. Ты вот погоди. Дай срок. Дотерпи до лета. Летом мы с тобой на Кавказ поедем. Повеселимся ужасно как. Все равно за тихую жизнь мне никто спасибо не сказал. Ну а нынче желаю пожить разгульно. До того буду яростно жить, что если бог есть на небе или, например, херувимы, так они содрогнутся.

И вот к весне генерал и Дидюлин стали в путь собираться.

3

А перед отъездом зовет генерал Дидюлина в комнату.

— Вот, говорит, что, Вася. Сейчас мы с тобой сходим по одному щепетильному делу. Пока генеральша спит у себя в креслах, бери поскорей эту корзину с пищей и идем.

Взяли они корзину и пошли.

Петербургская сторона. У черта на рогах... В шестнадцатом этаже... Звонят.

Старушонка дверь отворяет.

— Что, спрашивает, нужно? Я пенсионерка и держу меблированные комнаты.

Генерал отвечает:

— Нам нужно видеть мамзель Зюзиль по щепетильному делу.

— Это, спрашивает, циркачку-то?

— Да. Наездницу и актрису мамзель Зюзиль.

И вот входят генерал и Дидюлин в комнаты. У зеркала циркачка сидит. Вид у ней не ахти какой. Даже удивительно, как генерал заинтересовался ей.

Увидела генерала, руками всплеснула.

— Ах, ах, говорит, не подходите, генерал, я раздетая.

А генерал:

— Ничего, что раздетая, я по щепетильному делу.

— Ну, так, отвечает, садитесь тогда в сторонку и произносите ваше дело. А я навьюшечку тем временем сниму, прическу причешу и снова буду красивая и изысканная.

Генерал башлычок свой развернул. Подходит.

— Имею, говорит, честь отрекомендоваться — военный генерал Петр Петрович Танана. Давеча сидел в первом

ряду кресел и видел всю подноготную. Я, военный генерал, восхищен и очарован. Ваша любовь, мои же деньги — не желаете ли проехаться на Кавказ? Нужно жить да радоваться. Развязывай, брат Дидюлин, корзину.

У циркачки руки трясутся.

— Ах, ах, отвечает, мерси, генерал, не тревожьтесь беспокоиться. Не могу я так — раз, раз, по-воробьиному, решиться на такое щепетильное дело. Я очень порядочная и за такие слова могу враз выгнать человека из помещения.

Генерал встает.

— Нету, говорит, не выгоняйте, умоляю вас. Я военный генерал Петр Петрович Танана, и всякие обиды и в особенности оскорбления действием мне невозможно перенести.

— Ах, ах,— говорит циркачка,— извиняюсь, генерал, я не хотела вас обидеть.

— Ну-с,— говорит генерал,— это ничего. Сердце у меня нежное и характер кроткий. Беги, брат Дидюлин, в полпивную, неси полдюжины пива. Нужно жить да радоваться.

Побежал Дидюлин в полпивную, возвращается — сидят у зеркала генерал с циркачкой, будто новобрачные.

4

Вскоре после того они и поехали.

Кисловодск. Высшее человеческое парение.

Вот генерал циркачке и говорит:

— Ну, машер, машер, приехали. Вот взгляните. Кисловодск. Кругом восхитительные места, кавказская природа, а это курсовые ходят.

А циркачка:

— Ну, говорит, и пущай себе ходят. В этом ничего нет удивительного. Давайте лучше квартиру снимать.

Снял генерал квартиру, а циркачка через улицу комнату. Живут.

Только замечает генерал: дама мамзель Зюзиль по этим местам не слишком шикарная, даже вовсе не шикарная. Одним словом, стерва.

Генерал, например, с ней под ручку идет, а в публике смех. Тут кругом высшее общество, а она гогочет и ногами вскидывает.

Вот генерал Дидюлину и говорит:

— Ну, говорит, брат Дидюлин, я военный генерал Петр

Петрович Танана, а мне с циркачкой вместо веселья одно лишь оскорбление выходит. Тут кругом высшее общество, а она, дура такая, бисерный подзатыльник носит, гогочет и обнажается.

Дидюлин ему и советует:

— А вы, говорит, гоните ее, и разговор весь.

Вот генерал и согласился.

Приходит циркачка на другой день, а Дидюлин:

— Пущать, говорит, не велено. Иди, говорит.

— Как же, говорит, не велено? Если генерал от меня в полном восхищении.

— Ну,— говорит Дидюлин,— это вам как угодно. Приказано гнать в шею.

Как услышала циркачка такие слова — затряслась. Визжит в три горла. Даже соседи заинтересовались.

— Кто это, спрашивают, визжит в три горла?

А циркачка:

— Передайте, кричит, генералу, что я ему, курицыну сыну, за такое нахальство голову вырву при первой встрече.

Покричала еще циркачка и ушла.

А очень тут испугался генерал. В комнате у себя заперся, шторку опустил.

— Ну, говорит, брат Дидюлин, вонючий случай. Дама она настойчивая, что сказала — сделает. А если сделает, мне помереть придется. Мне, военному генералу, невозможно перенести оскорбления. Лучше, говорит, я из комнаты никуда не выйду. А ты ко мне никого не впускай и дверь на цепке держи.

5

Три дня прожил генерал в комнате, не вылезая. На четвертый день осмелел — шторку поднял и сидит у окна, обедает.

И видит: личность этакая штуковатая к окну подходит. Человек какой-то.

И шут его разберет — не то кавказец, не то русский. На подбородок посмотришь — кавказец. Подбородок пикой. На нос взглянешь — безусловно русский. Нос обыкновенный русский, крылечком выступает.

Тут и генерал заинтересовался таким смешением, из окна высунулся, вместо того чтобы шторку опустить.

А тот ближе подходит.

— Здравия, говорит, желаю. Имею, говорит, к вам очень много чувств, дайте, говорит, за мои чувства тарелку супу. Я вам за едой дельце расскажу.

Генерал испугался.

— Вы, говорит, ко мне не подходите близко и в лицо не дуйте — я военный генерал Танана, и мне это оскорбительно. Говорите на почтительном расстоянии.

— Ах, говорит, так! Ну, так извольте. После этого вы мне прямой враг. Вы не смотрите, что нос у меня обыкновенный, нос этот мне от матушки достался, а я настоящий гордый лезгин и за честь женщины всегда вступлюсь. Объявляю вам, надменному генералу, что если вы не удовлетворите капиталом обиженную мамзель Зюзиль, так она оскорбит вас действием публично. А что до меня, то заявляю: выжимаю левой рукой три пуда, рука у меня тяжелая. Были даже смертельные исходы.

И ушел.

Генерал сомлел, шторку опустил, сидит и трясется. Дидюлина зовет.

— Ну, говорит, брат Дидюлин, вонючий случай. Делу дан неприятный оборот. Что делать, я и ума не приложу. Чувствую только, что живым мне теперь не быть. Ну, ударит она при публике — мне крышка, стреляться нужно. А если капитал ей дать, то опять-таки — какой капитал? Мало дашь — все равно ударит. Много дашь — передашь еще. Жалко. Погиб я теперь, Дидюлин. Погубила меня веселая жизнь.

А Дидюлин ему и говорит:

— А вы, говорит, дайте ей три катеньки и еще пообещайте, а там видно будет. Может быть, мы соберемся да и в сторону.

Генерал вынул три бумаги.

— Ладно, говорит, беги. Это ты прелестно придумал.

Вот Дидюлин и побежал.

6

А надо было так случиться, что, не доходя циркачки, армянская полпивная была. Духан, одним словом.

Вот Дидюлин бежит, деньги у него между пальцами шуршат, и думает он:

«Не малюсенькие, думает, деньги, мать честная. Зайти,

что ли, выпить стаканчик? С циркачки и двух бумаг больно хватит».

Вот он и зашел. Выпил и еще выпил и все на свете забыл. Гуляет на все сто рублей.

А генерал у окна сидит и природой любуется. Только проходит час и два. Дело к вечеру. Нет Дидюлина.

Вот генерал и думает:

«Затекли ноги. Пройтись, что ли, по улице?..»

Вышел он на улицу — хорошо. Идет по улице — превосходно. Видит — парк.

«Зайду, думает, в парк. Волков бояться — в лес не ходить».

Зашел в парк. Кругом духовая музыка.

Вот генерал и сам не заметил, как за столик сел... Потребовал себе еды. Сидит, кушает, музыкой восхищается.

«Ну, думает, ничуть не страшно».

Только вдруг видит: циркачка идет и лезгин рядом.

«Неужели,— думает генерал,— мало ей трех катенек?»

А циркачка подходит к столу.

— Что, говорит, не узнали, генерал?

— Нет, отчего же,— отвечает генерал,— узнал, машер, машер... И того, говорит, лезгина узнал. Очень симпатичная личность.

— Ах,— говорит циркачка,— личность?

И с этими словами генерала по сухонькой щеке наотмашь.

Упал генерал в траву и лежит битый в тревожной позе. А лезгин схватил скатерть, сдернул — все бланманже на пол рухнуло.

Захохотали они оба и ушли.

Стали тут курсовые подходить толпами.

Собрали генерала с травы, положили на скатерть и домой отнесли.

7

К ночи Дидюлин домой явился пьяный.

Пришел к генералу.

— Так и так. Прогулял денежки.

Ничего ему генерал на это не сказал, только кивнул головой.

— Подай, говорит, сюда огнестрельное оружие.

Дидюлин, пьяный, оружие подал — и к себе.

Спать сразу свалился.

Только наутро вскакивает, вспоминает все.

«Ну, думает, помер генерал. Вечный покой».

Вбегает в комнату, смотрит: сидит генерал на кровати и тоненько так смеется. Весело.

— А, говорит, брат Дидюлин. Я, говорит, на тебя не сержусь. Они хитры, но и я хитер. Если бы лезгин меня ударил, то да — я бы застрелился. Ну а тут актриска ударила. Баба. А баба не считается... Ах ты, дураки какие!

На другой день генерал и Дидюлин уехали.

А в дороге покушал генерал через меру и помер от дизентерии.

ЛЮБОВЬ

1

Разбогател Гришка Ловцов. Пять лет в Питере не был — мотался бог весть где, на шестой приехал — с вокзала за ним две тележки добра везли.

Дивятся люди на Косой улице.

— Вот так Гришка! Широкий парень!

А Григорий Палыч помалкивает. Ходит вокруг тележек, разгружает добро, каблучками постукивает.

В комнаты вошел Гришка — фуражку не снял, только сдвинул на широкий затылок, аж всю бритую шею закрыл. Дым под образа колечком пустил.

— Здрасте, говорит, мамаша, приехал я.

Очень испугалась старушка.

— Да ты ли, Гришенька?

Заплакала.

— Прости, говорит, Гришенька, попутал поп — нечистый хвост — панихидку уж я по тебе у Никол-угодника...

Усмехнулся Гришка.

— Ничего, говорит, мамаша. И плакать нечего.

Смешно старушке стало — мамашей величает. Да не рассмеялась. Взглянула кривым глазом на сына и обмерла. Будто и не Гриша. Да и впрямь, будто не Гришка. Чудно!

А Гришка за столом пальцами поигрывает. На одном пальчике колечко с зеленым камушком, на другом — колечко, но без камушка, а за рукавом браслет, цепное золото.

Испугалась старушка снова.

— Да что ты, Гришенька, одет-то как? Нынче барская-то жизнь окончилась.

Сказал Гришка старухе:

— Безусловно кончилась. Я, мамашенька, и приканчивал. Да не в этом штука. Барская жизнь кончилась — новая началась. А покуда, пока не пришло иное времечко,— поживем, мамаша, в Питере-то. Есть у нас кой-какое добришко и денежки.

Заплакала старушка — выжила из ума. Завозился Гриша у желтого сундучка.

А под вечер Гришкины товарищи пришли. Очень даже напакостили на полу и ковровую дорожку совсем смяли. Гришке наплевать, а старуха — убирай за ними, за стервецами. Да и не убрать — сильная гульба пошла.

В пьяном виде Гришка очень бранил французов.

— Сволочи они, мамаша! — кричал он старухе в другую комнату.— И полячки — сволочи!

Тихонько охала старуха. Посмотрит, ох, посмотрит старуха ночью родимую точечку на правом Гришкином плече.

Но до утра гуляли гости и бранились яростно, играя в очко гнутыми картами. А под утро снова пили.

Гришка в фуражке, а под фуражкой веером денежные билеты, хмельной и красивый, плясал чудные танцы.

— Эх! Эх! Не тот Питер сейчас, не тот... Негде потрепаться молодчикам!

2

Две недели живет Гришка в городе — сыт, пьян и нос в табаке.

А и славный же парень Гришка! Широкий до чего парень, черт побери его душу!

То у Гриши соберутся, кушают-едят, то Гриша к кому-нибудь на пирог званый.

А то и к «Воробью» вечером. Безусловно, не тот сейчас Питер, но есть кое-где замечательные места. Например: замечательное место — «Воробей».

Это в Гавани. Дом как дом, с мезонином и палисадничком. Днем старуха шебуршит горшками, стряпает. А больше ничего и не видать.

А вечером — кабаре.

Денежки припасай, и все будет. Денежки только припасай. На ночь — сотню отдай — не горюй — любая девочка!

Два раза гулял Гришка у «Воробья» — текли денежки. На третий раз похабный случай вышел: побили матроса за контрреволюцию.

Грозил матрос донести, хвалился знакомством «под шпилем». Да только сам виноват.

Сидит в дезбелье у Катюши и треплется. И мысли выражает:

— Нынче, говорит, я на все очень плюю, и, например, на политику тоже. Мне жить охота, а политика заела мою молодость.

А Гришка рядом у Настеньки.

— Нравишься, говорит, ты мне, Настенька. Очень даже нравишься. Очень ты личностью похожа на одну любимую особочку. А имя той особочки — Наталья Никаноровна.

А тут, значит, матрос со словами о политике. Гришка — туда.

— Это, говорит, кто так выражается про политику? А ну-ка, клеш, выходи!

А клеш смеется и не покоряется.

Обиделся Гришка.

— Ты, говорит, может быть, и про революцию так же скажешь?

— Да, говорит, так же.

Гришка тут и посерел весь.

— Ах, ты, кричит, волчья сыть, белогвардейщина!

Ударил матроса. А тут еще ребята с Косой улицы случились.

— Бей, кричат, его, Жоржика!

Ударили его и в грудь, и по животу, и брюки — казенный клеш — на видном месте испортили.

Гришка после этого расстроился и ночевать не остался — домой пошел.

А утром к нему Иван Трофимыч жалует.

— Ты что же, говорит, Гриша?

А Гриша ему такое:

— А что ж, я не могу и погулять у себя? Я, Иван Трофимыч, не афонский какой-нибудь монашек.

— Да ну? — удивился Иван Трофимыч.— Да я, Гриша, тебе только так, такочки. Любя. Голову, говорю, не защеми. Вот что. А вечером, Гриша, приходи-ка ко мне, невеста есть для тебя роскошная.

Не пошел Гриша вечером к Иван Трофимычу. Долго ходил по комнате очень серьезный и думал:

«А не жениться ли мне и в самом деле? Пожить, значит, семейной жизнью...»

3

Утром Гриша — по своим делам, а мамаша чаи распивает с сахаром.

Жует старушка белый хлеб, разговаривает с соседками:

— Гришенька мой жениться придумал. Ищи, говорит, мать, невесту.

Охают соседки, дуют в блюдечки.

— Да что ты, Савишна?

— Да. Ей-богу, моя правда! Хочу, говорит, чтоб и красивенькая была и чтоб зря не трепалась.

— Что ж,— хрустят сахаром,— что ж, он это правильно требует. Да только нынче-то девки пошли очень бесстыжие. Косы пообстригли. Табак тоже легкий курят. Уж и подошло же времечко! Ох и пришел последний час...

Да, очень много у баб всякого разговору. До вечера. А вечером Гриша приходит, посмеивается, шутит со старухой шутки, невесту требует.

Но только раз Гриша пораньше пришел. Сел, задумался и зеленым камушком не любуется.

— А что, спрашивает, мамаша, помнишь ли дочку Никанора Филиппыча?

— Это Наталюшку-то, дочку дилектора?

— Ее, мать.

— Чего ж, говорит, не помнить. Очень даже помню. Покойника Никанор Филиппыча, царствие небесное, до смерти убили в леворюцию. А через год Наталюшка замуж пошла за инженера за длинноусого.

— Замуж?! — вскричал Гришка.— Ну да ничего. Желаю, мамаша, жениться на Наталье Никаноровне. Встретил ее сегодня. Узнала. Щечками вспыхнула. Хотел в ножки броситься, поклониться. Одумался. «Дай, думаю, у старухи узнаю». Так замуж, говоришь?

Вечером перьями Гриша скрипит, пишет что-то. К ночи за чаем вытаскивает это самое, что писал.

— Вот, говорит, мамаша, письмишко написано: «Лети, лети, письмецо, в белые ручки Натальи Никаноровны. Извиняюсь дерзостью письма и вспоминаю любимую особочку.

Некогда, шесть лет назад, я, Гриша Ловцов, раб и прихвостень батюшки вашего, Никанора Филиппыча, тайную к вам имел любовь и три года помнил загорелые щечки и приятные ручки. Нынче забыл все насмешки ваши, нынче предлагаю свою жизнь в полном земном счастье. Ежели

«да» скажете — прибегу собачкой, «нет» — так до свиданья, Гриша Ловцов, только тебя в Питере и видели. Прощай тогда, ясочка, Наталья Никаноровна. Эх, сгорел Гришка, огнем сгорел. Тому подобного знакомства!»

А? Каково, мамаша? Письмишко-то каково, говорю, написано! Будет моей Наталюшка!

4

По улице бежит человек без шапки.

«Вор,— думают прохожие,— мошенник, наверное». Но это не вор, это Гриша Ловцов бежит на решительное свиданье с ясочкой.

В записке всего три слова было: «Приходите, Гриша, поскорей». Вот и бежит Гриша Ловцов, проглатывая холодный ветер.

На ходу думать плохо. На ходу одна мысль в голове гудит на всякие голоса: плохо ясочке! К чему бы такая экстра?

А ясочке и в самом деле плохо. Сидит она у бледного окна, плачет, слезы капают на Гришино письмо.

Много раз перечла Наталья Никаноровна письмо это. Много раз подходила к зеркалу. Что ж! Она и в самом деле очень хороша. Так ли ей жить, как сейчас?

В сумерках всегда острей печаль, и в сумерках Наталье было жаль себя.

А тихий звон часов и брошенная книга на полу вдруг стали невыносимы.

«Уйду!» — вдруг подумала Наталья Никаноровна.

А в это время Гриша через три ступеньки — в пятый этаж. Дух перевел. За звонок дернул. Дверь открыла Наталья Никаноровна.

А Гриша и не видит ничего.

— Здесь ли, спрашивает, проживает Наталья Никаноровна?

Улыбнулась — бровью повела Наталья.

— Проходите, говорит, Гриша, в ту горницу.

— Ага! — закричал Гриша и взял Наталью за руку.— Идем, ясочка. Идем сейчас. Ну что думать-то? Все будет. Все на свете...

Ох, плохо знает Гришка женское сердце! Так ли нужно сказать? Так ли подойти?

— Вот как, Гриша? — с сердцем молвила Наталья Никаноровна.— Купить меня думаете? Так знайте — не

за деньги я к вам решила. Не за деньги. Слово даю. Причина такая есть, да не понять вам. Ну да все равно, едем!

В дверях стоял человек с длинными усами и острым носом. Был это супруг Натальи Никаноровны.

— Едешь? — спросил он тихо и поправил от волнения усы свои длинные.— Едешь? — повторил и больно сжал ее руки.— Слушай, Наталья... Вот сейчас, здесь, я убью себя... Не веришь?.. Вот сосчитаю до пяти, и если не передумаешь...

И стал считать, и когда сказал «четыре» и голос дрогнул его, Наталья вдруг рассмеялась. Звонко, оскорбительно. Закинула голову назад и смеялась.

И за руку Гришу взяла, и засмеялась снова, и тихонько и не глядя на мужа вышла.

А по лестнице бежали они быстро и слышали за собой торопливый бег.

— Постойте! — кричал длинноусый.— Господи, да что ж это! Постойте же! Наталя!

На улице, на углу, у аптеки, догнал их.

— Что? — спросила Наталья.

— Не веришь? — удивился длинноусый, нагнулся к ее ногам и поцеловал грязный снег.

— Нет,— молвила Наталья и пошла прочь.

5

Дивья тоже на Косой улице! Живет у Гришки дочь Никанора Филиппыча. Смешно очень!.. Дивятся люди, в окна засматривают.

А Гришка ходит — хвост трубой, любуется, подношения Натаденьке делает.

— Колечко это тебе, ясочка, за то, что длинноусому не поверила. А это за то, что невеста моя.

Утром на службу Гриша, а старухе приказ наистрожайший: ходить за Наташенькой, забавлять ее и ни в чем не препятствовать. Старуха очень ошалела, ходит за Натальей, глазом шевелит, а сама молчок. О чем и говорить — неведомо. Только утром про сны разговаривает:

— Будто, говорит, ударил кто под ложечку... Гляжу — мужчина с русой бородой, и топор в руке. Это под пятницу-то, красавица! Вскочила я, крестом осеняюсь, крестом отмахиваюсь, а ен пырх — и нет его... Лампадку будто затеплила перед царицей-заступницей... Глядь в зеркало

нечаянно, а личности-то у меня и нет. Пустое место. Рукой шарю — нету личности. А в зеркале фига дразнится.

Наталья Никаноровна молча слушает да про свое думает, а старушка глазом обижается — ведь под пятницу все-таки.

А вечером Гриша со службы. Чистый, причесанный, и даже духами от него воняет. Ручку у Наталюшки Гришка поглаживает, нежит ручку-то и про свадьбу разговаривает.

— Свадьбу, говорит, сыграем и ну из Питера, ясочка. На людей посмотрим, по Волге поедем на пассажирском... Барские твои привычки сохраним. Живи, ясочка.

Молчит Наталья. Что ж? Не привыкла, стало быть.

— Эх, ясочка! Очень тебя люблю! Скажи — все сделаю... Свадьбу такую справим — дым в небо. Всех пригласим. Сам пойду, умолю. Профессора одного знаю, писателя одного знаю тоже. Не скучно будет Натальюшке. А?

Молчит Наталья, ласкает Гришкину голову.

6

На высоком шкафу стоит лампа, крутит огненным языком, подпрыгивает. В комнате танец краковяк танцуют. Серьезный танец краковяк. Танцуют, молчат, никто и не улыбается.

А очень великолепно старик на гармонии играет. Да только невесело. Нельзя слепцов на свадьбу звать — душу всю вывернут. Ведь ишь ты, гадина, как тонко перебирает!

Ходит Гришка с невестой, с женой теперь то есть, гостям улыбается, а душа гудит.

И с чего б это было так невесело?

Все расчудесно вышло, благородства тоже во всем немало. Вот и старичок в сюртуке — не кто-нибудь — профессор Блюм мудрит с рыжим студентом.

А рядом в комнате старуха с девкой босой стол прибирают. На столе даже цветок есть — кому любопытно понюхать.

— Пожалуйста, дорогие гости, не побрезгуйте!

Сели за стол, да плохо сели. Молча пироги жуют. А как выпили раз-другой — смех пошел по столу. Смеются все, и причин уважительных нету.

И профессор Блюм улыбается, к рыжему студенту льнет.

— Сам, говорит, был таким. Люблю очень студентов. Выпьем за науку и за просвещение.

И вдруг Наташенька тоже стакан свой поднимает и улыбается.

Молчала все, а тут и я, дескать, с вами.

Обидно очень Гришке.

Да и рыжий на Наташеньку что-то засматривается. По-своему ей глазом мигает, да, может быть, и ножку, гадина, под столом ей жмет...

Ох а и противен же до чего Гришке этот рыжий! Так бы вот в зынзыло и дал!

Гришка с профессором беседует тонко, а сам на студента глазом:

— Вы, говорит, профессор, за науку выпиваете, а между прочим — тьфу ваша наука!

Профессору и крыть нечем. Сидит на стуле, беспокоится, ртом дышит. А Гришка ему все серьезное:

— Да-с. Я науку вашу очень презираю. Смешно! Про землю, например, скажем: шар и, так сказать, вертится... А что вы за такие за правильные люди, что как раз и угадали? Вот, скажем, через пятьдесят лет или, может быть, меньше возьмет кто-нибудь и объявит по науке вашей: а земля-то, скажет, и не вертится, да и не шар, да и... черт его знает, что скажет. Тьфу на вас!

Тут все на профессора уставились, дескать, вот так Гришка, широкий парень!

А тут еще дьякон Гавриил словечко вставил.

— Мы, говорит, интеллигенция, хотя и очень уважаем вас, Григор Палыч, так сказать, почитаем совершенно, однако земля досконально есть круг, установленный наукой и критикой.

Сказал и на профессора этак вот ручкой.

Тонкая бестия этот дьякон Гавриил!

Да, крупный разговор вышел, ученый. Гришка то на профессора, то на студента глазом. А студент ничего — рыбу кушает. Не жалко, конечно, пускай кушает, а только зловредный же этот рыжий!

А профессору, должно быть, очень обидно за науку стало. Григорь-то Палычу он ни словечка — видит, сидит человек с круглыми глазами — так он дьякону Гавриилу. И с чего бы это он дьякону Гавриилу?

— Вы, говорит, со своей гнусной философией тово...

А Гришка со стула вдруг, по столу кулаком.

— Бей, кричит, их... рыжую интеллигенцию!

Сгрудились гости, присели иные...

— Эх! — закричал Гришка и насел на студента.

7

Длинноусый шел на вокзал. Сегодня они уезжают из Питера.

«Этакая ведь скверная штука,— думает длинноусый.— С чего бы мне идти? Зря иду. Ей-богу, зря. Я вот на них взгляну одним глазком и уйду. Не из романтизма взгляну, не глазом, так сказать, любви... хе-хе, а издали, из великого любопытства... Гм... Я даже радуюсь. Мне, милостивые государи мои, на многое совершенно наплевать, мне, милостивые государи, смешны даже в некотором роде высокие чувства любви. Подумаете — врет? Вот, скажем, и Наталья подумает про меня — погиб из-за великой любви. Даже вот убиться хотел... Вздор! Совершенный вздор! То есть, может быть бы и убился, если б, скажем, поверила... Вздор, сударь мой. Шарлатанство. Женская, так сказать, природа требует остроты, так вот — пожалуйста... хе-хе... А мне смешно! Честное слово, смешно! Ну что я могу поделать — смешны всякие трагические чувства... Конечно, плохо, что она с Гришкой. Я даже снова готов на всякие потрясения, но любовь... хе-хе...»

Тут длинноусый остановился у вокзала.

— Подождем! — сказал он громко.— Посмотрим, понаблюдаем. Они непременно под руку пойдут. Все-таки Гришке-то лестно. А она с этакой тонкой улыбочкой. У ней вечно этакая тонкая улыбочка. Накануне вот приходит. «Что?» — спрашиваю. «Не могу, говорит, с тобой жить. (А у самой этакая улыбочка.) Не могу, говорит, больше жить. Неживой ты. Ну сделай что-нибудь человеческое. Убей меня, что ли! Гришку, наконец, убей!» Гм... Тонкая первопричина, тончайшая. Конечно, острота чувств... Да не в этом корень. Тут, можно сказать,— историческая перспектива. Тут ух как широко! Тут, можно сказать,— история. Да-с, история и инстинкт женщины. Скажем, через сорок лет голубую кровь, хе-хе, им перельем. Вот оно что. Может, я и не сопротивляюсь из-за этого. Ну, куда ты, баба, прешь? Толкнуть можешь. Видишь, человек по делу стоит.

И точно: баба с мешком и корзиной пихнула длинноусого в живот.

— Дура! — сказал длинноусый.— Этакая чертова баба!

А за бабой в двух шагах двое под руку.

Они!

— А,— улыбнулся Гришка,— вы здесь?

Не ответил ничего длинноусый и пошел за ними вслед.

Идут вдоль вагонов — не обернутся. И длинноусый сзади.

— Здесь,— сказал Гришка и вошел в вагон.

— Наталья!

— Что?

— Не веришь? — поглядел ей в глаза длинноусый.

— Нет,— молвила Наталья и вошла в вагон.

«Под вагон, что ли, упасть? — уныло подумал длинноусый, когда поезд, железом лязгая, двинулся с места.— Вот под тот».

Постоял длинноусый с секунду, поднял глаза, а в окне Гришка с Наташей. Наталья — та спиной, а Гришка ухмыляется и этак ручкой делает, дескать — прощайте, счастливо оставаться!

Постоял длинноусый, постоял и поплелся тихонько к выходу.

ГРИШКА ЖИГАН

Поймали Гришку Жигана на базаре, когда он старостину лошадь купчику уторговывал.

Ходил Гришка вокруг лошади и купцу подмигивал.

— Конь-то каков, господин купчик! Королевский конь! Лучше бы мне с голоду околеть, чем такого коня запродать. Ей-богу, моя правда. Ну а тут вижу — человек хороший. Хорошему человеку и продать не стыдно. Особенно если купчику благородному.

Купец смотрел на Гришкину лошадь недоверчиво. Лошадь была мужицкая — росту маленького и сама пузатая.

— А зубы-то... Зубы-то, господин купчик, каковы! Ведь это же, взгляните, королевские зубы!

Гришка приседал на корячки, ходил вокруг лошади без всякой на то нужды, даже наземь ложился под брюхо лошади. И хвалил брюхо.

А купчик медлил и спрашивал:

— Ну а она, боже сохрани, не краденая?

— Краденая? — обижался Гришка.— Эта-то лошадь краденая! У краденой лошади, господин купчик, взор не такой. Краденая лошадь завсегда глазом косит. А тут, обратите внимание, какой взор. Чистый, королевский взор. И масть у ней королевская.

— Да ты много не рассусоливай,— сказал купчик.— Ежели она есть краденая, так ты мне и скажи: краденая,

мол, лошадь. А то ходит тут, говорят, вор и конокрад, Гришка Жиган... Так уж не ты ли это и будешь? А? Как звать-то тебя?

— Это меня-то? Гришей меня зовут. Это точно. Да только, господин купчик, я воровством имя такое позорить не буду. На это я никогда не соглашусь... А зовут, да, Гришей зовут. Могу и пачпорт вам показать... Ну, что же, берете коня-то? Королевский конь. Ей-богу, моя правда.

А в это время мужички со старостой во главе подошли к базару.

— Вот он,— тонко завыл староста,— вот он, собачий хвост, вор и конокрад — Гришка Жиган! Бейте его, людишки добрые!

Стоит Гришка и бежать не думает, только лицом слегка посерел. Знает, бежать нельзя. Поймают и сразу бить будут. А сгоряча бьют до смерти. Опешили мужики. Как же так — вор, а не бежит и даже из рук не рвется. Потоптались на месте, насели на Гришку и руки ему вожжой скрутили. А в городе бить человека неловко.

— Волоките его за город,— сказал староста,— покажем ему, вору, сукину сыну, как чужих коней уворовывать!

Повели Гришку за город. Прошли с полверсты.

— Буде! — остановился Фома Хромой. И пиджак скинул.

— Начнем, братишки.

Видит Гришка, дело его плохое: бить сейчас будут. А вора-конокрада бьют мужички до смерти — такой закон.

— Братцы,— сказал Гришка,— а чья земля эта будет? Земля-то ведь эта казенная будет. Нельзя здесь меня бить. Такого и закону нет, чтоб на казенной земле человека били. И вам до суда дело, и мне вред.

Староста согласился.

— Это он верно. Затаскает судья, если, например, до смерти убьем человека. Волокнем его, братишки, на село. Там и концы в воду.

Повели Гришку на село.

— Братцы,— тихо спросил Гришка,— за что же бить-то будете? Под суд меня, вора и конокрада, надобно. Суд дело разберет. Да только каждый суд оправдает меня. Любой суд на лошадь взглянет и оправдает. Скверная лошаденка, шут с ней совсем. От нее и радости-то никакой нет.

— Да что ж это он,— удивился староста,— что ж это он, православные, лошадь-то мою хает? Этакая чудная лошадь, а он хает... Ты что ж это, хвост собачий, лошадь мою хаешь?

— Ей-богу, моя правда,— сказал Гришка.— Поступь у ней, посмотрите, какая. На такую лошадь и сесть противно. Как на нее только сядешь — она, дура такая, задом крутит. Шут ее знает почему, но крутит задом. От нее и болезни могут произойти: грыжа, например, болезнь... От села до базара четыре версты, всякий знает, а у меня пот градом — измучила совсем, чертова анафема! Так и крутит задом, так и крутит... Да я вам даже показать могу...

Фома Хромой подошел к Гришке и ударил его.

— Чего зубы-то заговариваешь, сука старая! Если ты есть вор, так и веди себя правильно. Не заговаривай.

Повели Гришку дальше. Уж и село близко — церковь видна.

— Братцы,— смиренно сказал Гришка,— а братцы... А ведь бить-то меня зря будете. Все равно скоро конец свету.

Мужики шли молча.

— Вот что,— опять начал Гришка,— ходит тут такой юродивый, блаженненький Иванушка-братец... Не я, а он эти слова говорит. «Да, говорит, будет в этих местах великое землетрясение и огненный вихорь».

— Да ну? — тихо удивился Фома Хромой.— Врешь?

— Ей-богу, моя правда. Да что мне теперь скрывать? Мне и скрывать теперь нечего. Он и число назначил. Какое у нас число сегодня?

— Осьмое число,— ответили мужики.

— Осьмое. Правильно. Ну а тут на девятое назначено. Завтра, значит, и будет. В полдень пожелтеет небо, настанет вихорь, и град падет на землю, и град сей будет крупнейший, с яйцо с куриное и даже больше... И будет бить этот град все насквозь. И человека, и скот домашний — корову, например, или курицу...

— И железо? — спросил староста.— Крыша у меня если, скажем, железная?

— Драгоценные есть ваши слова,— сказал Гришка,— и железо.

Мужики остановились.

— Ну а попа,— спросил кто-то,— может ли, например, поп уцелеть?

— Нет,— ответил Гришка,— и поп не может уцелеть...

— А ведь это верно,— раздумчиво сказал Фома Хромой,— ходила тут схимонашенка такая... Подтверждала эти слова. Только про град-то это он врет. Про град она ничего не говорила. А землетрясение — это верно. И вихорь огненный.

— Ну а что же,— спросили мужики Гришку,— что же такое делать, если, например, кто спастись хочет?..

— Да врет он! — вдруг закричал староста.— Врет ведь, собачий хвост! Зубы дуракам заговаривает. Бейте его, людишки добрые!

Мужички не двигались.

— Нельзя бить,— строго сказал Фома Хромой.— Обождать нужно. Обождем до завтра, братишки. Убить человека завсегда не поздно. Только про град-то он врет, собачий хвост. Ничего схимонашенка про такое не говорила.

— Безусловно, врет,— сказал староста,— ей-богу, врет. И про железо врет.

— Так завтра, что ли, Гришка, обещаешь ты? — спросил Фома Хромой.

— Завтра. Пожелтеет в полдень небо, настанет вихорь, и град падет на землю, и град сей...

— Ладно,— сказали мужички,— обождем до завтра.

Развязали Гришке руки и повели в село. А в селе заперли Гришку на старостином дворе в амбаре и караульщика приставили.

К вечеру все село знало о страшном пророчестве. Приходили бабы на старостин двор с хлебом и с яйцами, кланялись Гришке и плакали.

А у Фомы Хромого народу собралось множество. Сидел Фома Хромой на лавке и говорил такое:

— Если б не эта схимонашенка, да я бы первый сказал — врет он, собачий хвост. Ну а тут схимонашенка... У кого еще была схимонашенка?

— У меня, Фома Васильевич, была. У меня и есть,— сказала баба простоволосая.— К вечеру сижу я преспокойно... Стучит ктой-то...

— Да,— перебил Фома Хромой,— небо пожелтеет, настанет вихорь...

Назавтра мужички в поле не вышли. А день был ясный.

Ходили мужички по селу, на старостин двор заходили и пересмеивались.

— Сидит еще пророк-то?

— Сидит.

— Соврал, собачий хвост. Как пить дать, соврал. А ведь каково складно вышло! Ах ты, дуй его горой! Такого и бить-то жалко.

И только Фома Хромой не смеялся.

Ходил Фома Хромой в одиночку, хмурился, выходил в поле и смотрел на небо.

А небо было ясное.

В полдень услышали крик на селе. Кричал Фома Хромой.

— Туча!

И точно. Из-за казенного лесу низко шла туча. Была эта туча небольшая и серая. И ветер гнал ее быстро.

Все село высыпало на зады и в поля. И дивится.

— Да, туча!

Но не пожелтело небо и вихорь не настал — прошла туча над селом быстро и скрылась.

День был ясный.

Бросились мужички на старостин двор. Хвать-похвать — амбар открыт, а Гришки нету. Исчез Гришка.

А вместе с Гришкой исчез и конь старостин королевской масти.

РЫБЬЯ САМКА

(Рассказ отца дьякона Василия)

1

Неправильный это стыд — стесняться поповского одеяния, а на улице все же будто и неловкость какая и в груди стеснение.

Конечно, за три года очень ошельмовали попов. За три-то года, можно сказать, до того довели, что иные и сан сняли, и от бога всенародно отреклись. Вот до чего довели.

А сколь великие притеснения поп Триодин претерпел, так и перечесть трудно. И не только от власти государственной, но и от матушки претерпел. Но сана не сложил и от бога не отрекся, напротив, душой даже гордился — гонение, дескать, на пастырей.

Утром вставал поп и неукоснительно говорил такое:

— Верую, матушка.

И только потом преуспевал во всех делах.

И можно ли подумать, что случится подобная крепость в столь незначительном человеке? Смешно. Вида-то поп никакого не имел. Прямо-таки никакого вида. При малом росте — до плечика матушке — совершенно рыжая наружность.

Ох и не раз корила его матушка в смысле незначительности вида! И верно. Это удивительно, какая пошла нынче

мелочь в мужчинах. Все бабы в уезде довольно крупные, а у мужчин нет такого вида. Все бабы запросто несут мужскую, скажем, работишку, а мужчины, повелось так, по бабьему даже делу пошли.

Конечно, таких мужчин расстреливать даже нужно. Но и то верно: истребили многих мужчин государственными казнями и войной. А остался кто — жизнь засушила тех.

Есть ли, скажем, сейчас русский человек мыслящий, который бы полнел и жиры нагуливал? Нет такого человека.

Конечно, попу это малое утешение, и поп говаривал:

— Коришь, матушка, коришь видом, а в рыбьей жизни, по Дарвину, матушка, рыбья самка завсегда крупнее самца и даже пожирает его в раздражении.

А на такие поповы слова матушка крепко ставила тарелку или, например, чашечку, скажем, и, чего неведомо самой, обижалась.

2

И вот уж третий год пошел, как живет поп с женой разно.

И где бы матушке с душевной близостью подойти к попу, дескать, воистину трудно тебе, поп, от гонений, так вот, прими, пожалуйста, ласку, так не того — не такóва матушка. Верно: годы матушкины не преклонные, но постыдно же изо дня в день нос это рисовой пудрой и к вечеру виль хвостом.

А попу какое утешение в жизни, если поколеблены семейные устои?

Попу утешение — в преферансик, помалу, по нецерковным праздникам, а перед преферансиком — словесная беседа о государственных и даже европейских вопросах и о невозможности погибели христианской эпохи.

Чувствовал поп очень большую сладость в словах. И как это всегда выходит замечательно. Сначала о незначительном, скажем, хлеб в цене приподнялся — житьишко неважное, значит. А житьишко неважное — какая тому причина. Слово за слово — играет попова мысль: государственная политика, советская власть, поколеблены жизненные устои.

А как сказано такое слово: советская... так и пошло, и пошло. Старые счеты у попа с советскими. Очень уж много обид и притеснений. Было такое даже, что пришли

раз к нему ночью, за бороденку схватили и шпалером угрожали.

— Рассказывай, говорят, есть ли мощи какие в церкви, народу, дескать, нужно удостовериться в обмане.

И какие святые мощи могут быть в церкви, если наибеднейшая церковка во всем Бугрянском уезде?

— Нету,— говорит поп,— нет никаких святых мощей, пустите бороденку, сделайте милость.

А те все угрожают и шпалером на испуг действуют.

И не поверили попу.

— Веди, говорят, нас, одначе, разворачивай церковное имущество.

И повел их поп в церковь.

А ночное уж было дело. И чудно как-то вышло: и ведет, и ведет их поп по городу, а церкви нет. Испуг, что ли, бросился в голову — не по тем улицам поп пошел. Только вдруг сладость необычайная разлилась по жилам.

«Дело,— подумал поп,— подобное Сусанину».

И повел их аж в конец города, за толкучку. А те разъярились, вновь за бороденку сгрябчили и сами уж указали дорогу.

Ночью развернули имущество церковное, нагадили табачищем и наследили, но мощей не нашли.

— А, сказали, поповская ряса, нет мощей, так учредим, знаешь ли, в церкви твоей кинематограф.

С тем и ушли.

— И как же так — кинематограф? — говорил поп матушке.— Возможно ли учредить в церкви кинематограф? Не иначе, матушка, подобное для испуга сказано. Ведь не допустит же приход, хоть и ужасно в нем поколебалась религиозная вера, не допустит приход до этого.

Вот тут бы матушке и подойти с душевной близостью, да нет — свои дела у матушки. И какие такие, скажите, дела у матушки? Вот, пожалуйста, оделась, вот ушла — и слова не скажи. Нет никакого пристрастия к семейной жизни.

Но не только в поповом доме подобное, а все рассказывают: «Глядит, говорят, баба в сторону». И что такое приключилось с русской бабой?

3

А что ж такое приключилось с русской бабой? Смешного нет, что русская баба исполняет мужскую работишку и что баба косу, скажем, себе отрезала.

Вот у китайцев вышел такой критический год: всенародно китайцы стали отрезать косы. Ну что ж? Значит, вышла коса из исторической моды. Смешного ничего нет.

Да не в том штука. А штука в том: великое бесстыдство и блуд обуял бабу. И не раз выходил поп к народу в облачении и горькие слова держал:

— Граждане и прихожане и любимая паства. Поколебались семейные и супружеские устои. Тухнет огонь семейного очага. Опомнитесь в безверии и в сатанинском бесстыдстве.

И все поп такие прекрасные слова подбирал, что ударяли они по сердцу и вызывали слезы. Но блуд не утихал.

И никогда еще, как в этот год, не было в народе такого бесстыдства и легкости отношений. Конечно, всегда весной бывает этакая острота в блуде, но пойдите, пожалуйста, в военный клуб, послушайте, какие нестерпимые речи около женского класса. Это невозможно.

И что поделать? Ведь если попова жена — нос рисовой пудрой и поп не скажи слова, то можно ли что поделать? И хоть понимал это поп очень, однако горькие речи держал неукоснительно.

И вот в такую-то блудную весну вселили к попу дорожного техника. Это при не преклонных-то матушкиных годах.

Стоек был поп и терпелив, но от удара такого потерял поп жизни не меньше как десять лет. Очень уж красивый и крупный был железнодорожный техник.

И при красоте своей был техник вежлив необычайно и даже мог беседовать на разные темы. И, беседуя на разные темы, интересовался тонкостями, к примеру: как и отчего повелось в народе, что при встрече с духовным попом прохожий делает из пальцев шиш.

Но, беседуя на разные темы и интересуясь тонкостями, оборачивал техник слова непременно к женскому классу и про любовь.

И пусть бы даже мог техник беседовать про европейские вопросы, не смог бы поп отнестись к нему любовно. Очень уж опасен был этот техник.

— Узко рассуждая,— говорил поп,— не в европейском размере, ну к чему такое гонение на пастырей? К чему, скажем, вселять железнодорожных техников? Квартиренка, сами знаете, не огромная, неравно какой карамболь выйдет или стеснение личности.

И на такие поповы слова качали головами собеседники,

дескать, точно: сословию вашему туго, сословию вашему стеснение...

А матушка нахально поводила плечиком.

4

И точно: вышел у попа с дорожным техником карамболь.

А случилось так, что пришли к попу партнеры и приятели его жизни — дьякон Веньямин и городской бывшего четырехклассного мужского училища учитель Иван Михайлович Гулька.

Началась, конечно, словесная беседа о незначительном, а потом о гонении на пастырей. А дьякон Веньямин — совершенно азартный дьякон и отвлеченной политикой нимало не интересуется.

Поп про нехристианскую эпоху, а дьякон Веньямин картишками любуется — дама к даме картишки разбирает... И чуть какая передышка в словах, он уж такое:

— Что ж, говорит, не теряя драгоценного времечка...

Беседу они прервали, сели за стол и картишки сдали. А поп тут и объявил: восемь игры, кто вистует?

И сразу попу такой невозможный перетык вышел: дьякон Веньямин бубну кроет козырем, а учитель Гулька трефу почем зря бьет.

Очень тут заволновался поп и, под предлогом вечернего чая, вышел попить водички.

Выпил ковшичек и, идучи обратно, подошел к дверям матушки.

— Матушка,— сказал поп,— а матушка, не обижайся только, я насчет вечернего чая.

А в комнате-то матушки и не было. Поп на кухню — нет матушки, поп сюда-туда — нету матушки.

И заглянул тогда поп к технику. С дорожным техником в развратной позе сидела матушка.

— Ой,— сказал поп и дверь прикрыл тихонечко. И, на носочках ступая, пошел к гостям доигрывать.

Пришел и сел, будто с ним ничего не случилось.

Играет поп — лицо только белое. Картишки сдаст, головой мотнет, пальцами по столу потюкает, а сам такое:

— Сожрала нас рыбья самка.

И какая такая, скажите, рыбья самка?

И вдруг повезло попу. Учитель Гулька, скажем, туза бубен, а поп козырем, учитель Гулька марьяж виней отыг-

рывает, а поп козырем. И идет и идет к попу богатеющая карта.

И выиграл поп в тот вечер изрядно. Сложил новенькие бумажки и тяжко так улыбнулся.

— Это все так, сказал, но к чему такое гонение? К чему вселять дорожных техников?

А дьякон Веньямин и учитель Гулька обиделись.

— Выиграл, говорят, раздел нас поп, а будто и недоволен. И чайком даже, поповская ряса, не попотчевал.

Обиженные ушли гости, а поп убрал картишки, прошел в спальную комнату и, не дожидаясь матушки, тихонько лег на кровать.

5

Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу.

Вот смешна, скажем, попова грусть, смешно, что попова жена обещала технику денег, да не достать ей, смешно и то, что сказал дорожный техник про матушку: старая старуха. А сложи все вместе, собери-ка в одно — и будет великая грусть.

Поп проснулся утром, крестик на груди потрогал.

— Верую, сказал, матушка.

А сказав «матушка» — вспомнил вчерашнее.

— Ой, рыбья самка! Сожрала, матушка. И не то плохо, что согрешила, а то плохо, что обострилось теперь все против попа, все соединилось вместе, и нет ему никакой лазейки.

Оделся поп, не посмотрел на матушку и вышел из дому, не пивши чая.

Эх! И каково грустно плачут колокола, и какова грустная человеческая жизнь. Вот так бы попу лежать на земле неживым предметом либо такое сделать геройское, что казнь примешь и спасешь человечество.

Встал поп и тяжкими стопами пошел в церковь.

К полдню отслужив обедню, поп, по обычаю, слово держал:

— Граждане, сказал, и прихожане и любимая паства. Поколебались и рухнули семейные устои. Потух огонь в семейном очаге. Свершилось. И, глядя на это, не могу примириться и признать государственную власть...

Вечером пришли к попу молодчики, развернули его утварь и имущество и увели попа.

СТАРУХА ВРАНГЕЛЬ

1. ТОНКОЕ ДЕЛО

По секретнейшему делу идет следователь Чепыга, по делу государственной важности. И, конечно, никто не догадается, что это следователь. В голову никому не придет, что это идет следователь.

Вышел человек подышать свежим воздухом — и только. А может, и на любовное свидание вышел. Потише, главное. Потише идти, и лицо чтоб играло, пело чтоб лицо — весна и растворение воздухов.

Иначе — пропал тончайший план. Иначе каждый скажет: «Эге, вот идет следователь Чепыга по секретнейшему делу!»

— Красоточка,— сказал Чепыга девушке с мешком.— Красоточка! — подмигнул ей глазом.

Фу-ты, как прекрасно идет! Тоненько нужно тут. Тоненько. А потом такое: а дозвольте спросить, не состоите ли вы в некотором родстве... Хе-хе...

Тут Чепыга остановился у дома. Во двор вошел. Во дворе — желтый флигель. На флигеле — доска. На доске — «Домовый Комитет».

— Прекрасно! — сказал Чепыга.— В каждом доме — комитет, в каждом доме, в некотором роде, государственное управление. Очень даже это прекрасно! Теперь войдем в комитет. Тек-с. Послушаем.

Два человека разговаривали негромко.

— Ну а о политике военных действий что, Гаврила Васильич? — спросил тенорок.

— О политике военных действий? Гм... С юга генералы наступают.

«Очень хорошо! — обрадовался Чепыга.— Войдем теперь».

В комнату вошел и спросил, сам голову набок:

— Уполномоченного Малашкина мне. По секретному. Ага! Вы гражданин Малашкин? Очень прекрасно. А дозвольте спросить, кто в квартире тридцать шестой проживает? Да-с, в тридцать шестой квартире. Именно в тридцать шестой.

У Гаврилы Васильича острый нюх. Гаврила Васильич почтительно:

— Старуха проживает. Старуха и актер проживают.

— Ага, актер? — удивился Чепыга.— Почему же актер?

— Актер-с. Как бы сказать — жильцом и даже на иждивении.

— Гм... На иждивении? Расследуем и актера. Ну а в смысле старухи, не состоит ли старуха в некотором родстве, ну, скажем, с генералами с бывшими или с сенаторами? Да, вот именно, с сенаторами не состоит ли в родстве?

— Неизвестно,— ответил Гаврила Васильич.— Старуха, извиняюсь, небогатая. Сын у ней на войне пропал. Жалкует и к смерти готовится. У ней и местечко на Смоленском заказано. Тишайшая старуха.

А следователь свое:

— Расследуем старуху. По долгу, говорит, государственной важности расследуем и старуху, и актера. Прошу, гражданин Малашкин, сопровождать.

2. СЛЕДСТВИЕ

Актер лежал на кровати и ждал Машеньку. Если не сробеет, то придет сегодня Машенька.

Актер лежал на кровати как бы с некоторой даже томностью.

— Ентре, Машенька,— сказал актер, когда Чепыга постучал в дверь костяшками.— Ентре, пожалуйста.

«Тут нужно чрезвычайно тоненько повести дело»,— подумал Чепыга и к актеру вошел.

— Извиняюсь! — обиделся актер.

А следователь прямо-таки волчком по комнате.

— Дозвольте, говорит, пожать ручку. Собственно, к старухе я. Однако некоторое отсутствие старухи принуждает меня...

— Ничего,— сказал актер,— пожалуйста. Только сдается мне, что старуха пожалуй что и дома.

— Нету-с. То есть придет сейчас. А дозвольте пока, из любопытства я, спросить, не состоите ли вы в некотором родстве с подобной старухой?

— Не состою,— ответил актер.— Я, батенька мой, артист, а старуха, ну, как бы вам сказать,— зритель.

— Тек-с, очень хорошо! — удивился Чепыга.— Гм... Зритель... Вижу образованнейшего человека... Так, может быть, вы с сенаторами какими-нибудь в родстве?

Тут актер и с кровати приподнялся и в Чепыгу дым струйкой.

— Угу, говорит, с сенаторами... А насчет старухи какое

тут родство: темная старуха — и артист. Я, батенька мой, человек искусства.

— Вижу образованнейшего человека,— бормотал Чепыга.— И книг чрезвычайное множество... И книги эти читать изволите по профессии?

— М-да,— сказал актер,— читаю и книги по профессии. К «Ниве» тут приложение — писатель Максим Горький.

— Тек-с, русская литература. Нý а касаясь иностранной, южной, может быть, новиночки, через передачу. Из любопытства опять-таки.

— Из иностранной — роль Гамлета, английского писателя.

— Удивительно, совершенно удивительно...

«Гм, однако, какого же вздору я нагородил,— подумал Чепыга.— И он-то как глаз отводит. Вот умная бестия! Гм, и к чему бы это мне про книги? Да, касаясь южной новиночки, через передачу. Опутать может. Ей-богу, опутает».

«Восьмой час,— подумал актер, вздыхая.— Сробеет Машенька. Непременно сробеет... А молодой-то человек общительный — про книги интересуется».

— Вы, кажется, про книги интересуетесь? — спросил он Чепыгу.— Так вот тут — Гамлет. Я, знаете, все больше на трагических ролях. Мне все говорят: «Наружность, говорят, у вас трагическая». И я, действительно, не могу, знаете ли, шутом каким-нибудь... Я все больше по переживаниям...

«Ох,— испугался Чепыга,— плохо! Нельзя так. Не такой это человек, чтобы тоненько. Тут напрямик нужно».

Застегнул Чепыга пиджак на две пуговицы и встал.

— По делу, говорит, службы должен допросить вас и установить.

Испугался актер.

— Как? За что же установить? За что же допросить, господин судебный следователь, извиняюсь?

«Сгрябчит,— подумал актер,— как пить дать, сгрябчит...»

А следователь и руки потирает.

— Не состоите, значит? Значит, так-то вот и не состоите? А если, скажем, старуха призналась, выдала... Если, скажем, пришла сегодня старуха, гуляючи пришла и, дескать, так и так — выдала...

— Не состою, господин следователь.

— Гм,— сказал Чепыга,— прекрасно. Фу-ты, как прекрасно! А не скажете ли мне, касаясь сборищ тайных

у старухи, тайных собраний. И не приходил ли кто к старухе в смысле передачи корреспонденции?

У актера очень дрожали руки.

— Приходили, господин следователь. Супруга уполномоченного Малашкина приходила... Только я, господин следователь, с детских лет предан искусству. А к старухе, точно, Малашкина приходила. Сегодня и приходила. Сначала про жизнь, господин следователь, дескать, плохая жизнь. Так и сказала: «Плохая, говорит, господин судебный следователь, жизнь». А потом о политике военных действий, дескать, с юга, извиняюсь, наступают, господин следователь. А Малашкина все старухе такое: «Чего ж, говорит, господин судебный следователь, от счастья своего отказываться?» А старуха отмахивается, отвергает, одним словом: «Не может, говорит, быть того, чтоб Мишенька мой в генералы вышел». Так и сказала: «В генералы, говорит, господин следователь, вышел».

— Дальше,— строго сказал Чепыга.

— А дальше, господин следователь, в комнате шу-шу-шу, а о чем, извиняюсь, не слышал. А я, господин следователь, со старухой не состоял и не состою и, не касаясь политики, с детских лет по переживаниям. Старуха же так и сказала: «Плохая, говорит, жизнь». А если я дымом в лицо, господин судебный следователь, недавно побеспокоил вас, струйкой, по легкомыслию,— извиняюсь.

Следователь Чепыга любовно смотрел на актера.

3. ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

— Тру-ру-рум,— тихо сказал Малашкин и в комнату вошел.— Тру-ру-рум... А я на секундочку взошел. Я к вам, господин следователь, пожалуйста. По освобождении от дел государственных — ко мне, господин следователь. На чашечку с сахаром. Только извиняюсь, совершеннейше вздорный слух, касаясь супруги моей. Совершенный вздор, господин следователь. По злобе характера подобное можно сказать. И, между прочим, не пойдет супруга моя к явной преступнице. Да и вообще ни с кем-то она не знается и видеть никого не может. Бывало, сам принуждаю: «Пойди, говорю, к кому-нибудь, отведи душу от земных забот».— «Нет, говорит, Гавря, не пойду, говорит, видеть не могу старухи этой!» Подобное по злобе только можно сказать... Так, значит, на чашечку с сахаром. Тру-ру-рум, господин следователь. А вам, гражданин ак-

тер,— стыдно-с! Вы собирайтесь. Они, господин следователь, из бывших потомственных почетных граждан, так сказать — барин. Вы, почетный актер, собирайте манатки. Следователь вас сейчас арестует.

— Да,— сказал Чепыга,— арестую. По делу службы арестую. Вы, гражданин Малашкин, за ним последите, а я сейчас. Я сейчас... очная ставка... Алиби... Лечу...

Актер, качаясь, сидел на кровати.

— Эх, говорит, Малашкин, Малашкин, и что я тебе худого сделал, Малашкин? Почетный, говорит, гражданин и барин... Убийца ты, Малашкин! Грех ты большой взял на душу. Сгрябчут ведь теперь меня, Малашкин. И за что? За что, пожалуйста, сгрябчут? С детских лет служу чистому искусству... С детских лет и не касаясь политики...

Малашкин на актера не смотрел.

4. ПАУТИНА

Мышино-тихая пришла старуха и села в угол. А следователь рукой по воздуху — дескать, вот наисерьезнейший момент. Следователь волчком по комнате. Следователь ныряет и плавает. Следователь то к Малашкину, и ему быстренько:

— Попрошу слушать. Попрошу слушать и, слушая, подписом заверить показанное.

То к старухе, и даже с некоторой нежностью в голосе:

— Дозвольте установить, спросить, так сказать, о драгоценном здравии ваших родственников. И кто подобные? И где проживают? И переписочку не ведут ли некоторую?

Неподвижная сидела старуха в углу. У старухи серые глаза, и платье серое, и сама старуха — серая мышь. И идет как мышь, и сидит как мышь. И никак не поймет старуха, какой толк в словах тонконогого.

А тонконогий в волнении необычайном.

— Да, говорит, именно я так и хотел сказать: переписочка. Письмишко какое-нибудь. Письмишко от известного вам лица... Скажем, родственник вам генерал... ну... ша... ша... приблизительно. Из любопытства я. Ну пожалуйста! Родственник. Ну а как родственнику не написать? Непременно напишет. Не такой он человек — родственник, чтоб письма не написать. Ну и вот. Вот вам и письмишечко от известного лица. Он вам письмишечко о событиях, дескать — наступаю... Вы ему цидулочку, дескать — ага

и так далее. Вы ему цидулочку, а он вам письмишко. И ведь совершенно, как видите, кругленькая выходит переписка. И корреспонденция через передачу. И кто передача? И что через передачу? Пожалуйста. Не так ли? Фу, ведь беспокоитесь же — как-то он там... Болезни ведь всякие, печали и воздыхания...

— Беспокоюсь,— заплакала вдруг старуха,— как-то это он там. Беспокоюсь... Сердце прямо-таки сгнило, до того беспокоюсь... Болезни и воздыхания. Вот спасибо-то вам, молодой человек! Вот спасибо-то!

Пело, играло лицо следователя Чепыги.

«Ох! И до чего кругленько и как кругленько выходит все...»

А Чепыга опять волчок, Чепыга опять плавает и ныряет. Чепыга к актеру с неизъяснимым восторгом:

— Ой, говорит, не угодно ли? И вы отвергаете, и вы родством таким пренебрегаете? Обидели вы меня, молодой человек. Весьма и очень обидели. Ну так я сейчас.

И опять старухе.

— Дозвольте, разрешите еще словечко... Этот прекраснейший молодой человек... Ну да, я так и хочу сказать, родственник ли вам он будет?

— Нет,— ответила старуха,— нет, не родственник. Но я, молодой человек, к нему как мать родная. Ему я заместо матери. Спасибо вам, молодой человек!

— Ох! — задрожал актер.— Ох, господин следователь, врет ведь старая старуха... Не знаю я ее. Темная старуха и зритель... А я сам по себе, с детских лет по переживаниям.

— Довольно,— строго сказал Чепыга.— Оба арестованы. Прошу, гражданин Малашкин, сопровождать.

5. РАЗНОТЫК

Посадили старуху и актера пока что в общую камеру. А в камере той сидел еще один человек. Был он совершенно не в себе. Кричал, что ни сном ни духом не виноват, масла же, дескать, у него точно было четыре фунта и мука белая для немощи матери. «Не для цели торговли, господа, а для цели матери».

Человек этот привел актера в совершенное уныние. Актер вовсе ослаб, похудел и сидел на койке, длинно раскачиваясь.

«За что же схватили, господи? Тоже ведь ни сном ни духом. И хорошо, если суд. Судить будут. Слово дадут

сказать. Так и так, народные судьи, пожалуйста... А если к стеночке? В подвал и к стеночке?»

Нехорошо было актеру, мутно.

«Что ж, если и суд? Ну что сказать? Пропал. Ни беса ведь не смыслю по юридической... Господа судьи... Присяжные заседатели...»

Не шли слова. Все разнотык. Все разнотык лезет, а плавности никакой.

«Господа народные судьи, чувствую с детских лет пристрастие к чистому искусству Мельпомены, которая... И не касаясь политики... Разнотык. Совершенный разнотык! Могут расстрелять. И за что же, господи, расстрелять? В темницу ввергли и расстреляли. Ругал, скажут, государственную власть, поносил... Да ведь никто же не слышал... Малашкин это. Малашкин это донес. Ох, Малашкин, убийца! Этакую штуку ведь сказал: почетный, говорит, гражданин и барин... Ага, скажут, барин... Поставьте-ка, скажут, барина харей к стенке... А ведь я, может быть, всей душой и не касаясь политики...

Господа народные заседатели, чувствуя к искусству Мельпомены, которая... и не касаясь политики... с детских лет по переживаниям.

Плохо. Очень просто, что расстреляют. Мамаша покойная плакала: кончи, говорит, Васенька, гимназию — по юридической пойдешь... Так нет — в актеры. А очень великолепно по юридической. Дескать, господа народные заседатели, пожалуйста».

Решил актер, что расстреляют его непременно. И с тем заснул.

А ночью пришли к нему люди в красных штанах. Надели на голову дурацкий колпак и за ногу потащили по лестнице.

Актер кричал диким голосом:

— За что же за ногу? Господа народные заседатели, за что же за ногу?!

А утром проснулся актер и похолодел.

«Сегодня конец... А может, и не жалко жизни? А ведь и не жалко жизни. Да только Машенька придет. Машенька плакать будет. А он у стенки встанет. В подвале. Не завязывайте, скажет, глаза, не надо. Все. С детских лет, господа народные судьи...»

В серо-заляпанное окно бил дождь. И капли дождя сбегали по стеклу и мучили актера.

Старуха тихо сидела на койке и бездумно смотрела в окно.

А черный человек ходил меж койками и все свое, все свое:

— И ведь, господа, не для цели торговли, для цели матери.

6. КОНЕЦ СТАРУХИ

Через три дня их выпустили.

Да, открыли камеру и выпустили.

— Идите, сказали, куда пожелаете.

И вышли они на улицу.

Тихонько, мышью вернулась старуха домой и заперлась в комнате. А томно-похудевший актер ходил до вечера по знакомым и говорил трагически:

— Поставили меня, а я такое: не завязывайте, говорю, глаза, не надо. Курки щелкнули гулко. Только вдруг вбегает черный такой человек. Этого, говорит, помиловать, остальных казнить. И руку мне пожал. Извините, говорит, что так вышло.

А вечером к актеру Машенька пришла. Актер плакал и целовал Машенькины пальцы.

— Оборвалось, говорил, Машенька, что-то в душе. Надломилось. Не тот я теперь человек. Не нужно мне ни славы, ни любви. Познал жизнь воистину. Раньше многое терпел в достижении высокой цели. Славы жаждал. А теперь, Машенька, уйду со сцены — ни любви, ни славы не нужно. Раньше терпел от Зарницына. Прохвост Зарницын, Машенька. Думает — режиссер, так и все позволено. Гм, руки, говорит, зачем плетью держите? Эх, Машенька, усилить нужно, трагизм положения усилить нужно! Положи руки в карман — шутовство и комедия. Не понимают. Терпел, а сейчас не могу. Пропал я, Машенька! Жизнь познал и смерти коснулся. И умри я, Машенька, ничто не изменится.

Ночью, когда актер целовал Машеньку и говорил, что еще прекрасна жизнь и еще радость и слава впереди, ночью за стеной тихо померла старуха.

И никто не удивился и не пожалел — напротив, улыбнулись: одной, дескать, старушкой меньше. А похоронили старуху не на Смоленском, где было местечко заказано, а почему-то на Митрофаньевском.

РАССКАЗ ПРО ПОПА

Утро ясное. Озеро. Поверхность этакая, скажем, без рябинки. Поплавок. Удочка.

Ах, ей-богу, нет ничего на свете слаще, как такое препровождение времени!

Иные, впрочем, предпочитают рыбу неводом ловить, переметами, подпусками, мережками, английскими со звонками приспособлениями... Но пустяки это, пустяки. Простая, натуральная удочка ни с чем не сравнима.

Конечно, удочка нынче разная пошла. Есть и такая: с колесиками вроде бы. Леска на колесико накручивается. Но это тоже пустяки. Механика. Ходит, скажем, такой рыбарь по берегу, замахнется, размахнется, шлепнет приманку и крутит после.

Пускай крутит. Пустяки это. Механика. Не любит этого поп Семен. Попу Семену предпочтительней простейшая удочка. Чтоб сидеть при ней часами можно, чтоб сидеть, а не размахиваться и не крутить по-пустому, потому что, если крутить начнешь, то в голове от того совершенные пустяки и коловращение. Да и нету той ясности и того умиротворения предметов, как при простой удочке.

А простая, натуральная удочка... Ах, ей-богу! Сидишь мыслишь. Хочешь — о человеке мыслишь. Хочешь — о мироздании. О рыбе хочешь — о рыбе мыслишь. И ни в чем нет тебе никакого запрета. То есть, конечно, есть запрет. Но от себя запрет. От себя поп Семен наложил запрет этот.

Обо всем поп Семен проникновенно думал, обо всем имел особое суждение и лишь об одном не смел думать — о боге. Иной раз воспарится в мыслях — черт не брат. Мироздание — это, мол, то-то и то. Зарождение первейшей жизни — органическая химия. Бог... Как до бога доходил, так и баста. Пугался поп. Не смел думать. А почему не смел, и сам не знал. В трепете перед богом воспитан был. А отрывками, впрочем, думал. Тихонечко. Мыслишку одну какую-либо допустит — и хватит. Трясутся руки. А мыслишка — какой это бог? Власть ли это созидающий или иное что.

И после сам себе:

— Замри, поп Семен. Баста! Не моги про это думать...

И про иное думал. Отвлекался другими предметами.

А кругом — предметов, конечно, неисчислимое количество. И о каждом предмете свой разговор. О каждом предмете — разнохарактерное рассуждение. Да и верно: любой предмет, скажем, взять... Нарочно взять червячишку

дождевого самого поганенького. И тотчас двухстороннее размышление о червячишке том.

Прежде — откуда червяк есть? Из прели, из слизи, химия ли это есть органическая или тоже своеобразной душонкой наделен и богом сделан?

Потом о червяке самом. Физиология. Дышит ли он, стерва, или как там еще иначе... Неизвестно, впрочем, это. Существо это однообразное, тонкое — кишка вроде бы. Не то что грудкой, но и жабрами не наделен от природы. Но дошла ли до этого наука или наука про это умалчивает — неизвестно.

Ах, ей-богу — великолепные какие мысли! Не иначе как в мыслях познается могущество и сила человека...

Дальше — поверхностное рассуждение, применимое к рыбной ловле... Какой червяк рыбе требуется? А рыбе требуется червяк густой, с окраской. Чтоб он ежесекундно бодрился, сукин сын, вился чтоб вокруг себя. На него, на стервеца, плюнуть еще нужно. От этого он еще пуще бодрится, в раж входит.

Вот, примерно, такое могущественное, трехстороннее рассуждение о поганом червяке и также о всяком предмете, начиная с грандиозных вещей и кончая гнусной, еле живущей мошкой, мошкарой или, скажем, каракатицей.

От мыслей таких было попу Семену величайшее умиротворение и восторг даже.

Но бог... Ах, темная это сторона! Вилами все на воде писано... Есть ли бог или нету его? Власть ли это? А ежели власть, то какая же власть, что себя ни в какой мере не проявит? Но:

— Замри, поп Семен, баста!

И, может быть, так бы и помер человек, не думая про бога, но случилось незначительное происшествие. Стал после того поп сомневаться в истинном существовании бога. И не то чтобы сам поп Семен дошел до этого путем своих двухсторонних измышлений — какое там! Встреча. С бабой была встреча. С бабой был разговор. От разговора этого ни в какой мере теперь не избавиться. Сомненья, одним словом.

А пришел раз поп к озеру. Утро. Тихая такая благодать. Умиротворение... Присел поп Семен на бережок...

«Про что же, думает, сегодня размышлять буду?»

Червяка наживил. Плюнул на него. Полюбовался его чрезмерной бодростью. Закинул леску.

— Ловись, сказал, рыбка большая, ловись и маленькая.

И от радости своего существования, от сладости бытия засмеялся тихонечко.

Вдруг слышит смех ответный. Смотрит поп: баба перед ним стоит. Не баба, впрочем, не мужичка то есть, а заметно, что из города.

«Тьфу на нее,— подумал поп.— Что ей тутотко приспичило?»

А она-то смеется, а она-то юбкой вертит.

— Пи-пи-пи... А я, говорит, поп, учительница. В село назначена. Значит, будем вместе жить. А пока — гуляю, видишь ли. Люблю, мол, утром.

— Ну что ж, и гуляйте,— сказал тихонько поп.

Смеется.

— Вот, говорит, вы какой! Я про вас, про философа, кой-чего уже слышала.

«Ну и проходите, мол, дальше!» — подумал поп.

И такое на него остервенение напало — удивительно даже. Человек он добрый, к людям умилительный, а тут — неизвестно что. Предчувствие, что ли.

— А чего, говорит, слышала?

— Да разное.

Она на него смотрит, а он сердится.

— Чего, говорит, смотрите? На мне узоров нету...

И такая началась между ними нелюбезная беседа, что непонятно, как они уж дальше говорить стали.

Только поп слово, а она десять и даже больше. И все о наивысших материях. О людях — о людях. О церкви — о церкви. О боге — о боге... И все со смешком она, с ехидством. И все с вывертами и с выкрутасами всякими.

Растерялся даже поп. Неожиданность все-таки. Больше все его слушали, а тут — не угодно ли — дискуссия!

— Церковь? И церкви вашей не верю. Выражаю недоверие. Пустяки это. Идолопоклонство. Бог? И бога нету. Все есть органическая химия.

Поп едва сказать хочет:

— Позвольте, мол, то есть как это бога нет? То есть как это идолопоклонство?

А она:

— А так, говорит, и нету. И вы, говорит, человек умный, а в рясе ходите... Позорно это. А что до храмов, то и храмы вздор. Недомыслие. Дикарям впору. Я, мол, захожу в храмы, а мне смешно. Захожу как к язычникам. Иконы, ризки там всякие, святые — идолы. Лампадки — смешно. Свечи — смешно. Колокола — еще смешнее. Позорно это, поп, для развитых людей.

И ничего так не задело попа, как то, что с легкостью такой неимоверной заявила про бога: нету, дескать. Сами-то не верите. Или сомневаетесь.

— То есть как же,— сказал поп,— сомневаюсь?

И вдруг понял с ясностью, что он и точно сомневается. Оробел совсем поп. Копнул в душе раз — туман. Копнул два — неразборчивость. Не думал об этом. Мыслей таких не было. И точно: какой это бог? Природа, что ли? Существо?

Раскинул поп мозгами. Хотел двухсторонне размыслить по привычке, а она опять:

— Идолопоклонство... Но, говорит, вот что. Если есть бог, то допустит ли он меня преступление перед ним совершить, а? Допустит? Отвечай, поп.

— Не знаю,— сказал поп.— Может, и не допустит... Ведьма ты... Вот кто ты. Уйди отсюда.

Засмеялась.

— Пойдем, говорит, поп, в церковь, я плюну в царские врата.

Раскидал поп червяков. Удилище бросил. Ничего на это учительнице не сказал и пошел себе.

И сам не заметил, как пошел с великим сомнением. Точно: что за пустяки... Ежели бог есть — почему он волю свою не проявит? Почему не размозжит на месте святотатку? Что за причина не объявить себя хоть этим перед человечеством? А ведь тогда бы и сомненья не было. Каждый бы тогда поверил. А так... Может, и точно, бога нету?.. Идолопоклонение.

И заболел поп с тех пор. Заболел сомнением. Не то что покой свой потерял, а окружающих извел до невозможности. Матушку тоже извел до невозможности. Ненормальный стал.

Рыбу ли удит:

«Ежели, думает, ерш — бог есть. Ежели не ерш — не́ту».

Плачет матушка обильно, на попа глядючи. Был поп хоть куда, мудрил хотя, о высоких предметах любил выражаться, а тут — сидит у окна, ровно доска.

«Ежели, думает, сейчас мужик пройдет — есть бог, ежели баба — нету бога...»

Но всякие прохожие проходили, и мужики и бабы,— а поп все сомневался.

И задумала уж матушка прошение в уезд писать, да случилось такое: просветлел однажды поп. Пришел он раз ясный, веселый даже, моргает матушке.

— Вот, говорит, про бога, матушка, это у меня точно —

сомнение. Не буду врать. Но ежели есть бог, то должен он мне знаменье дать, что он точно существует. Кивнуть мне должен, мигнуть; дескать, точно, существую, мол, и управляю вселенной. Ежели он знаменья не даст — нету его.

— Пустяки это,— сказала матушка.— Чего тебе до бога? Мигнуть... Ох, болен ты, поп...

— Как чего? — удивился поп.— Вопрос этот поднапрел у меня. Я поверю тогда. А иначе я и службу исполнять не в состоянии. Может, идолопоклонение это, матушка.

Промолчала матушка.

Стал с тех пор поп знаменья ждать. Опять извелся, расстроился, вовсе бросил свое рыбачество. Ходит как больной или в горячке, во всякой дряни сокровенный смысл ищет. Дверь ли продолжительно скрипнет, кастрюлька ли в кухне рухнет, кошка ли курнавчит — на все подозрение. Мало того: людей останавливать стал. У мужиков ответа просить начал. Остановит кого-либо:

— Ну, спрашивает, брат, есть ли, по-твоему, бог или бога нету?

Коситься стали мужички. Хитрит, что ли, поп? Может, тайную цель в этом имеет?

И дошло однажды до крайних пределов — метаться стал поп. Не в состоянии был дожидаться знаменья. Ночью раз раскидался в постели, горит весь.

«Что ж это, думает, нету, значит, бога. Обман. Всю жизнь, значит, ослепление. Всю жизнь, значит, дурачество было... Ходил, ровно чучело, в облачении, кадилом махал... Богу это нужно? Ха! Нужно богу? Бог? Какой бог? Где его знаменье?»

Затрясся поп, сполз с постели, вышел из дому тайно от матушки и к церкви пошел.

«Плюну,— подумал поп,— плюну в царские врата...»

Подумал так, устрашился своих мыслей, присел даже на корячки и к церкви пополз.

Дополз поп до церкви.

«Эх, думает, знаменье! Знаменье прошу... Если ты есть, бог, обрушь на меня храм. Убей на месте...»

Поднял голову поп, смотрит — в церкви, в боковом окне — свет.

Потом облился поп, к земле прильнул, пополз на брюхе. Дополз. Храм открыт был. В храме были воры.

На лесенке, над иконой чудотворца, стоял парень и ломиком долбил ризу. Внизу стоял мужик — поддерживал лесенку.

— Сволочи! — сказал парень.— Риза-то, брат, ника-

кая — кастрюльного золота. Не стоит лап пачкать... И тут бога обманывают...

Поп пролежал всю ночь в храме.

Наутро поп собрал мужичков, поклонился им в пояс, расчесал свою гриву медным гребешком и овечьими ножницами обкорнал ее до затылка.

И стал с тех пор жить по-мужицки.

МЕТАФИЗИКА

Удивительно, как это некоторые девицы на конторщика Винивитькина засматриваются.

Конечно, конторщик Винивитькин — мужчина изысканный, но все же поразительное это явление. Ну, если б две девицы или, скажем, три, а то ведь все. Смешно даже.

Надюша-переписчица и та намеки делает. Егозит. Давеча ведь какую туманную аллегорию пустила...

— Одного, говорит, писателя обожаю... Лермонтова, говорит, обожаю за его чудный слог.

И при этих словах на него, на Винивитькина, взглянула.

Хе-хе... Намекает... Туманная аллегория. Знаем мы этого Лермонтова.

Ну, скажи подобные слова простачку. Губы распустит простачок. Ни черта в аллегориях не поймет. А Винивитькин всю подноготную видит.

Отбою нет Винивитькину от девиц. Надоело отмахиваться. Ну а уж если, например, выбор делать, так со всего учреждения, со всей «Губмогилы» непременно полное предпочтение Надюше отдать нужно.

Прелестная это девица. Очень даже изысканная барышня. Она и собой великолепна, и из дворяночек. С такой-то нигде не позорно показаться. Такую-то и обождать после службы можно.

Да что говорить? Ждет Винивитькин. Ежедневно ждет. Нынче тоже пойдет Винивитькин с Надюшей плечо к плечику. Сейчас и выйдет куколка. Носишко только попудрит и выйдет.

Да-с, дворяночка, а ведь как егозит. Чувствует, шельма, что он, Винивитькин, осчастливить ее может. Да только насчет серьезного шага — атанде-с. Обождать нужно. А только прогулки ради — пожалуйста. Очень даже это приятно и все такое...

А великолепная штука это — равенство. Раньше и не

посмотрела бы Надюша на Винивитькина, а нынче, виноват, нынче конторщик Винивитькин дворяночку эту за прелестную ручку, и пожалуйста.

Умные люди революцию делали. И ему, Винивитькину, кой-что достанется. Немногое, конечно, но достанется.

Да что толковать? Надюша достанется.

А и любит же она его, шельма. Ах как любит мучительно. Ишь ты, как носишко свой продолжительно пудрит. Понравиться хочет. Что ж? Можно и обождать. Локончик, может, какой-нибудь раскуделился. И локончик этот для него, для Винивитькина, в порядок привесть нужно.

Что ж? Обождет Винивитькин. Свободный он человек. До четырех — да, перо и книги, а после-то Винивитькин — свободный орел. Вот захочет — закурит сейчас. Вот, пожалуйста, и папиросочка. Захочет — на приступочку сядет, плюнет, наконец. И никто ему ни полсловечка не скажет. Гм, никто... Да сам комиссар «Губмогилы» ничего не может сказать. Свободный орел.

А если, скажем, и точно: выйдет сейчас комиссар...

— А зачем, мол, скажет, ты, Винивитькин, сидишь на казенной приступочке или, например, плюнул?

Пожалуйста. Полный ответ готов:

— Так и так, товарищ комиссар. В служебное время — да, перо и книги. А тут — виноват. Мое право. Не позволю, товарищ комиссар. Тут я орел гордый.

Хе-хе. Хорошо сказано. Плотно сказано.

Ну, а если товарищ комиссар такое скажет:

— А зачем, мол, скажет, ты, Винивитькин, девицу ждешь? Укажи цель и потребность. И что про любовь, например, думаешь? Дозволено ли это чувство? Не является ли оно бессмысленной метафизикой и поповской выдумкой?

Опять-таки скажет Винивитькин:

— Цели, мол, никакой не преследую, что же касается любви, то нынче любви никакой нету, а просто есть половое развлечение. Вообще же чувство любовь — это метафизика, а церковь — вздор и поповская выдумка.

Хе-хе... Плотно сказано...

Ну, а если товарищу комиссару вожжа под хвост, и скажет он... персонально полюбопытствует:

— А зачем, мол, скажет, ты, Винивитькин, плут и ипохондрик, именно эту, переписчицу Надюшу, ждешь? И что, рассуждая о конечном результате, о браке думаешь?

Ответит Винивитькин такое:

— А почему бы, ответит, не ждать Надюши, если ему,

конторщику восьмого разряда, девица эта всем эстетическим запросам удовлетворяет? Рассуждая же о браке, конечный результат — брак гражданский без участия церковной метафизики.

Хе-хе, размечтался Винивитькин. А в мечтаниях и время быстро проходит.

Ну, а если товарищ комиссар в глубину копнется... Если товарищ комиссар, например, спросит о дворянском происхождении Надюши?.. И дозволено ли ему, Винивитькину, усть-ижорскому мещанину...

Хе-хе... Замри, Винивитькин. Вот, пожалуйста, идет куколка. Носишко попудрила и идет. Топает ножками.

Точно: Надюша по лестнице шла. Да только не одна, а с комиссаром под руку. Покачнулся Винивитькин, побледнел... А они мимо прошли плечо к плечику. Комиссар Винивитькина увидел. Пальцами заинтересовался, пальцы свои стал рассматривать. А Надюша и носишко в сторону.

Ну что ж? Большому кораблю — плаванье большое. Да только обидно очень — не посмотрела Надюша. А стоял Винивитькин довольно в презрительной позе.

Ах, несуразное вышло, смешное вышло. И что, например, сделать? Догнать? Крикнуть что-нибудь похабное?

Стоит Винивитькин на дороге, руками машет, советуется сам с собой. Баба шла. Баба эта пребольно пихнула его в бок.

— Ну, мымра,— сказала баба,— думаешь, надел американские сапоги, так и беременных людей руками задевать можешь.

— Пихайте меня,— ответил Винивитькин,— пихайте. Нынче и личность не считается.

И побежал вдруг Винивитькин.

Перегнал комиссара с Надюшей.

— До свиданья, товарищ комиссар,— сказал.

И пошел, руками размахивая.

МАДОННА

2 декабря

Сегодня день для меня, прямо скажу, необыкновенно приятный. Сегодня товарищ Груша позвал меня в кабинет и сказал:

— Ну, Винивитькин, сердечно и от души тебя по-

здравляю: переводишься ты в девятый разряд, и, того-этого, прибавка тебе следует — пятьдесят процентов.

Хе-хе — девятый разряд! Ведь это что же? Это, можно сказать, положение! Это превосходное положение по службе. Я думаю, всякий человек девятого разряда достичь старается. Я думаю, девятый разряд — ну, не меньше будет, как в старое время надворный советник. Нет, никак не меньше! Восьмой разряд — это дрянь, пустяки сущие — вроде бы коллежского регистратора, а девятый разряд... Да, девятый разряд — это уже положение. В прежнее время Степаныч сразу бы начал передо мной дверь в обе половинки открывать. Откроет и — «пожалуйте, дескать, ваше высокоблагородие». Не благородие, заметьте, не просто благородие, а — ваше высокоблагородие. Тонкость, а какая, как бы сказать, изумительная, благородная тонкость.

Ну да почет почетом, а и пятьдесят процентов не жук майский. Пятьдесят процентов! Это, скажем, питание улучшается — раз, это прихоть можно какую-нибудь себе позволить — два, это страстишку какую-нибудь там, того-этого, удовлетворить можешь — три...

Ах, черт! Превосходная штука жизнь! Как подумаешь, что и ты участник, так сказать, течения жизни, колесико одно жизненного вращения, равноправный вроде бы пайщик человеческих переживаний — слезы подступают к горлу, рыдать хочется от неизмеримого счастья.

Да, превосходная вещь это — жизнь. И люди превосходные, бескорыстные... Главное, за что я люблю людей, это за их бескорыстие. Бескорыстие — это все в человеке. Вот, скажем, в девятый разряд не Сережку Петухова перевели, а меня... А почему меня? Бескорыстная оценка моей служебной деятельности. Ведь это, скажем, не один товарищ Груша перевел меня в девятый разряд, это, наверное, комиссия заседала, комиссия какая-нибудь либо комитет из благороднейших, избраннейших людей... Один какой-нибудь из комиссии, возможно, сдуру крикнул — Сережку, дескать, Петухова в девятый разряд перевесть нужно, а все остальные — нет, нет! Винивитькина! Винивитькин, дескать, способный человек, одаренный.

Ах, я очень люблю, когда меня уважают. В такие минуты чувствуешь, что ты действительно участник течения жизни, колесико одно жизненного вращения...

Чудно, чудно хорошо!

3 декабря

Нынче после службы долго гулял по Невскому. Раньше-то и внимания не обращал — что это за такой Невский, какие на нем люди ходят и магазины какие. Ну а нынче, так сказать, к тайне прикоснулся. Увидел досконально, как приятно, в сущности, быть человеком. Ведь вот проходишь по Невскому и видишь и чувствуешь, что все для твоих удобств приуготовлено, каждая мелочь, всякий, скажем, квадратик тротуара для твоих ног устроен. А на тротуарах этих разнообразнейшие люди фланируют и спешат некоторые... И все перед тобой чуть что — извиняются... А ты идешь этаким испанцем, небрежной, что ли, походкой и всё — пардонк, гражданин, пардонк, сударыня. И все сторонятся. Все такие благородные, бескорыстные люди. А кругом магазины, кругом блеск огней, кругом женщины так и щебечут, так и поют, кругом необыкновенное кипение жизни. Европа! Совершеннейшая Европа!

Да-с! Деньги получу и сам начну жить... хе-хе.

5 декабря

Деньги получу и сразу вступаю на поприще жизни. Пора. Пять лет жил как свинья. Да пять ли лет — а не десять? А не всю жизнь? Эх-хе-хе... Всю жизнь...

Давеча вот в душевном треволнении слишком много приписал лишнего... Конечно, жизнь эта, точно, хороша, однако же не так уж хороша, как сразу подумать можно. В самом деле: все время жил как свинья, в театры не ходил, в обществе не бывал, а с дамами позабыл даже, когда и разговаривал. А все это на душу действует, от этого душа грубеет. Общество — это великая вещь. Я вот деньги получу — журфикс какой-нибудь устрою... А? Ну, хоть и не журфикс, а кой-кого приглашу. Общество всегда человека облагораживает... Многих-то, конечно, не стоит приглашать, а двоих-троих непременно приглашу. Или бо уж одного? Девицу, скажем, какую-нибудь. Девицы тоже могут облагородить душу...

Да, в самом деле, лучше-ка я девицу приглашу. Тоже ведь, позовешь того же Сережку Петухова, а ведь он, сукин сын, не за твои душевные данные придет, а он пожрать придет... Нажрет, напьет, чего-нибудь там разобьет да еще после издеваться будет.

Нет, позову-ка я и в самом деле девицу. И расходов куда как меньше, и благородней, если на то пошло. И корыстных расчетов никаких — полфунта монпансье, и все довольны.

Только вот кого я приглашу? Варьку приглашу. Ей-богу, Варьку Двуколкину приглашу. Все-таки — фигура, грация... Завтра намекну... Буржуйку, скажу, затоплю — уют, поэзия. А поэзия — это прежде всего.

6 декабря

Нынче после службы сказал Варьке Двуколкиной. В коридоре ее встретил, говорю: вот, дескать, того-этого — буржуйку затоплю, уют, поэзия...

А она, дура, говорит:

— Вы, говорит, если мной увлекаетесь настолько или влюблены, так лучше бы в «Палас» сводили либо в Академический билет приобрели. Чего, говорит, я буржуйки вашей не видела?..

Дура. Со слов видно, что совсем дура. Во-первых, денег я еще не получил, а после — нетактично даже с девицыной стороны самой напрашиваться. Ну и шут с ней! В ней, по правде сказать, ровнехонько ничего хорошего нет. Только что фигура, а так-то ни кожи, ни грации. Сидит, как лошадь... Да если присмотреться поближе, так и фигуры никакой. Да ей-богу никакой! Бревно. Вовсе бревно. Нет, не люблю я таких, шут с ними с такими. Им только корыстные цели подавай, а так, они и нос в сторону, и зевают, и скучно им... Шут с ними с такими. Думает — отказала, так я и помру. Дура! Сразу видно, что дура. Ни кожи, ни грации...

Ха, помру! Да я только свистну, и сотня ко мне сбежит. Нынче это чересчур просто. Нынче что касается любовных там каких-нибудь историек — черт знает как просто. Только захотеть нужно. Давеча вот Сережка Петухов презанятную историйку такую рассказывал... В театр он пришел и в театре том с дамой познакомился. И ведь не какая-нибудь дама, а порядочная, черт знает какая порядочная. Ну, и нынче влюблена в него, как муха.

А я вот тоже давеча встретил — красавица, мадонна, костюм превосходный, меха разные, боты... Тоже мимо прошла — посмотрела.

Да, нынче нравственность чересчур упала. Сережка Петухов говорит, что будто это всегда после революций. Ну да мне наплевать, прямо скажу, мне даже еще лучше, что

упала. Ей-богу, лучше. Да я думаю, что и всем лучше, да только прикидываются, подлецы. А я через это к жизни прикоснусь... Хе-хе...

8 декабря

Деньги получил! Вот они. Бумажки, тряпочки, а каково, того-этого, приятные тряпочки. Вот я их сейчас спрячу. Пускай в столе лежат.

А Варька-то Двуколкина какая дура! Рассчитывала, что я, того-этого, снова к ней обращусь, снова к ней сунусь. Вот, дескать, Варечка, билет в «Палас», а вот в оперу, а вот... Хе-хе... Мимо прошел. Дудочки, не на такого напала... Им только корыстные цели подавай.

Нет-с. Никак нет-с, не пропаду, Варечка, не помру — оставьте беспокоиться... Я только свистну... А может, я и свистнул. А может, черт меня раздери совсем, и есть у меня, того-этого, на примете, в поле зрения, так сказать... Да-с, Варечка, есть, есть. Прогадали, милочка, прогадали, лапочка, прогадали, поторопились со своими целями корыстными.

Есть у меня! Цимес, ландыш китайский, принцесса, мадонна сикстинская... Сон, сон прямо-таки. Вчера еще не было, а нынче есть. Вчера еще сомненья были: вдруг да и точно пропаду, вдруг да и точно без меня кипение жизни происходит. Хе-хе. Ах, как приятно, как приятно чувствовать себя участником, равноправным колесиком жизни!

И как случилось-то? Обидно даже, что так просто случилось. То есть, конечно, еще ничего не случилось, ничего не произошло. Но случится, но произойдет. Оттого что причина на это есть. Встреча есть. Встреча эта, может, на всю жизнь в моей памяти останется... Нет, не могу... Сон, прямо-таки сон. Вышел на Морскую давеча (я всегда теперь от Гороховой по Морской хожу). Так вышел на Морскую, смотрю — чудо. Идет та же, что давеча встретил, идет. Боты... меха... глаза... грация. Цимес, ландыш китайский, мадонна! Только давеча, вчера то есть, хотя и посмотрела она на меня, но ничего особенного во взгляде ее не значилось, а нынче поравнялась, гляжу: плечиком — виль, ножками — дрыг, глазками того-этого... И все так грациозно, так приятно. Чудно! Чудно хорошо!

Однако не подошел. Не время. Завтра подойду. Завтра непременно подойду. Чего-нибудь скажу и подойду. Сережка Петухов говорит, что дамы нахальство обожают. Чем

нахальней, тем лучше. Так вот нахально и подойду. Завтра! Завтра! Завтра вступаю на поприще, так сказать, жизни, приобщаюсь к тайнам ее.

Питался хорошо. Съел в Пепо две порции гуся.

9 декабря

Нынче что-то ее не встретил. Шесть раз прошел по Морской — нету. Ну да ничего: сегодня не встретил, завтра встречу. Я пять лет ждал, пять лет как свинья жил. Чего ж мне сутки-то не обождать? Обожду. Завтра еще и лучше. Завтра могу с ней в ресторан или, например, в кабаре пройтись. Завтра ведь я еще разницу получу, за экстру получу, долг мне Сережка Петухов отдаст. А вдруг — не отдаст? Отдаст. Скажу, дескать, ужасно как требуются деньги. Нужда, скажу, в презренных дензнаках. А причина, хе-хе,— шерше ля фам... Шерше ля фам! Этакое, правда, великолепное изречение! Французы это придумали. Ах, французы, французы! Культурная, цивилизованная нация. У них женщина в очень почетном месте... Это у нас женщина вроде бы домашней хозяйки, а там, того-этого, обаяние к ним, любовь.

Конечно, что касается любви, то я не того, не доверяю этому чувству, сомневаюсь, прямо скажу, в нем. Люди с высшим образованием, приват-доценты какие-нибудь, конечно, отрицать начнут, скажут, что любовь, точно, существует, однако, может, она и точно существует, как отвлеченное явление, да только мне наплевать на это, прямо скажу. Я за пять лет революции, можно сказать, на опыте проследил: ежели питание, скажем, посредственное, неважное питание, то никакой любви не существует, будь хоть вы знакомы с наивеликолепнейшей дамой, а чуть питание улучшается, чуть, скажем, гуся с кашей съел, поросенка вкусил — и пожалуйста — поэзии хочется, звуков — любовное томление, одним словом.

Ну а что касается дамы той, что давеча я на Морской встретил, так любви, конечно, к ней я не имею, но она мне нравится очень, очень.

Завтра жду с нетерпением. Питался хорошо. Съел у Палкина три порции гуся.

11 декабря

Есть... Пришла... Цимес! Ландыш китайский! Сон, совершеннейший сон! Только на Морскую вышел — идет... Чего уж я ей сказал, не помню. «Здравствуйте», кажется, сказал. А она улыбнулась сразу, чудно, чудно улыбнулась. Я про театр ей намекаю, а она не хочет. Ландыш испанский, мимоза! Не хочет! Это из бескорыстия она не хочет. В расход ей, видите ли, неловко меня вгонять. Ах, я всегда мечтал встретить бескорыстную особу!..

Пишу это, покуда она, гуленька, в порядок себя приводит, галошки снимает, прическу того-этого.

Ну снимай, снимай, я люблю, чтоб это все было, того-этого, приятно, чтоб грация во всем была. Другому это все как-нибудь, а я человек все-таки культурный, мне обстановка нужна, поэзия.

Вот сбоку на нее смотрю — королева Изабелла прямо-таки, мадонна. Варька Двуколкина в подметки ей не годится. Варька Двуколкина перед ней дрянь, сопля, пуговица. Ей только корыстные цели подавай... А тут... Даже страшно становится, чего это она свой чудный взор на меня обратила. Красавица! Грации-то сколько, грации! Ей-богу, княгиня это какая-нибудь бывшая... Может, обнимешь ее, а она в слезы.

— Нахал, скажет, сукин сын. Я не для этого, скажет, пришла. Я, скажет, сукин сын, какая-нибудь там княгиня Трумчинчинская бывшая...

Ах, шут меня раздери совсем... Ей-богу, княгиня это... Чш... кончаю писать. Идет... Боюсь, чего и говорить с ней буду, не знаю. Я пять лет с порядочными дамами не разговаривал.

12 декабря

Все пропало. Дурак я. Стелька сапожная!

Утром она встает, уходит и —

— Пять рублей, говорит.

— Как? Что?

— Да, говорит, не меньше.

Я к столу. Деньги вынул, дал ей и только после вспомнил — больше дал, шесть... две по тройке... На лестнице ее, гадину, догнал.

— Там, говорю, шесть.

Смеется.

— Ну, говорит, у меня кстати и сдачи нет. Пусть это на второй раз останется.

Дурак я, дурак. Курица гнусная, тетерька. Орлом полететь захотел. Орлом! Смешно даже. Издеваться над собой хочется. Орлом! Про любовь начал ей говорить, спрашивать начал.

— Как это, говорю, вы так сразу полюбили меня и обратили свое полное внимание на меня?

А она:

— Так, говорит, и полюбила. Мужчина, вижу, без угрей, без прыщей, ровный мужчина.

Ровный! Стелька я сапожная! Дрянь! И как это я ничего не заметил?

Хм... А если б и заметил? Да если б и заметил, так все равно... Иные, конечно, и орлом летают, а тут...

Да. Подлая штука жизнь. Никогда я ею особенно не увлекался. Подлость в ней какая-то есть. Особенная какая-то подлость! Заметьте: если падает на пол хлеб, намазанный маслом, так он непременно падает маслом... Особая, гнусная подлость.

Тьфу, какая подлость!

УЧИТЕЛЬ

Учитель второй ступени Иван Семенович Трупиков одернул куцый свой пиджачок, кашлянул в руку и робкими шагами вошел в класс.

— Вы опять опоздали? — строго спросил дежурный ученик.

Иван Семенович сконфузился и, почтительно здороваясь с классом, тихо сказал:

— Это трамвай, знаете ли... Это я на трамвай не попал... Прямо беда с этим видом передвижения...

— Отговорочки! — усмехнулся дежурный.

Учитель робко присел на кончик стула и зажмурил глаза. Странные воспоминания теснились в его уме.

Вот он, учитель истории, входит в класс, и все ученики почтительно встают. А он, Иван Семенович, крепким строгим шагом идет, бывало, к кафедре, открывает журнал и... необыкновенная тишина водворялась тогда в классе.

И тогда он, учитель, строго смотрел в журнал, потом на учеников, потом опять в журнал и называл фамилию.

— Семенов Николай.

Учитель вздрогнул, открыл глаза и тихо сказал:

— Товарищ Семенов...

— Чего надо? — спросил ученик, рассматривая альбом с марками.

— Ничего-с,— сказал учитель.— Это я так. Не придавайте значения.

— Чего так?

— Ничего-с... Это я хотел узнать — здесь ли молодой товарищ Семенов...

— Здесь! — сказал Семенов, разглядывая на свет какую-то марку.

Учитель прошелся по классу.

— Извиняюсь, молодые товарищи,— сказал он,— на сегодня вам задано... то есть я хотел сказать... предложено прочитать — реформы бывшего Александра I. Так, может быть, извиняюсь, кто-нибудь расскажет мне о реформах бывшего Александра I?.. Я, поверьте, молодые товарищи, с презрением говорю об императорах.

В классе засмеялись.

— Это я так,— сказал учитель.— Это я волнуюсь, молодые товарищи. Не истолковывайте превратно моих слов. Я не настаиваю. Я даже рад, если вы не хотите рассказывать... Я волнуюсь, молодые товарищи...

— Да помолчи ты хоть минуту! — раздался чей-то голос.— Трещит, как сорока.

— Молчу... Молчу...— сказал учитель.— Я только тихонь-ко. Я тихонько только хочу спросить у молодого товарища Семечкина: какие он извлек политические новости из газеты «Правда»?

Семечкин отложил газету в сторону и сказал:

— Это что? Газету, по-вашему, убрать? Да я, черт возьми...

— Ничего-с, ничего-с... Ей-богу, ничего... То есть я про бога ничего такого не сказал. Не истолковывайте превратно.

Учитель в волнении заходил по классу.

— Да не мелькай ты перед глазами! — сказал кто-то.— Встань к доске.

Учитель встал к доске и, сморкаясь в полотенце, тихонько захныкал.

СВИНОЕ ДЕЛО

Эх, братишки, рука дрожит, перо из пальцев вываливается — негодование, одним словом, у меня на душе по поводу одного происшествия!

Ведь есть же падаль такая, как Володька Гуськов! Фатишка, представьте себе, трехсотый курит, ходит — носки нарочно врозь, галстук у него голубой с прожилками... И агентом на Орловской служит.

Ну да ничего: закатали нынче этого агента на пять лет со строжайшей изоляцией.

А дело было — свиное.

Свинья была у Ивана Семеныча. Превосходная свинья, и этакая жирная, что и выразить невозможно. От жиру своего она все время на заду сидела. А уж если и поднималась куда, так гудело у ней изнутри и задом она своим, что метлой, по двору гребла.

Да. Замечательская была свинья. Иван Семеныч до того на нее радовался, что и работать не мог, работа из рук валилась. Сядет он, бывало, на крыльцо, очи в крышу и мечтает.

«Зарежу, мечтает, ее к лету. Пуд проем, пуд загоню, пуд посолю... Да еще множество пудов остается».

Но только не зарезал ее Иван Семеныч — иное вышло.

Сидел он раз на крыльце и с бабой своей по поводу свиньи вслух мечтал. И не заметил совсем, как свинья эта со двора ушла.

А жил Иван Семеныч вовсе недалеко от полотна — рукой подать.

Вот свинья вышла со двора, хрю да хрю, видит — полотно, и на заду поперла к самой то есть насыпи. И шут ее знает, как она, при подобной комплекции, угодила на рельсы! А время было к четырем — пассажирский шел.

Машинист видит, что на рельсах неблагополучно — насыпь кто-то рылом роет,— свистит... Свинья и в ус не дует — лежит, что королева, и рельсы нюхает. Шмякнуло тут ее в бок и по рылу и разорвало на три половинки. Не хрюкнула даже.

А в эту секунду самую Иван Семеныч с бабой своей едва не повздорил из-за свиньи. Куда ему, видите ли, свиную голову подевать: то ли продать, то ли студень из нее сделать, то ли что... Баба все на студень напирает, студня ей охота, а Иван Семенычу желательно деньжонок понабрать.

Баба все свое:

— Студень, Иван Семеныч, студень... Ей-богу, студень.

А Иван Семеныч не хочет студня.

— Нет, говорит, баба, ты посмотри, какая голова. За такую голову ужасно много дадут. А ты говоришь — студень...

Захотел Иван Семеныч еще раз на свиную голову посмотреть, оглянулся — нету свиньи.

— Ой, говорит, баба, а где же свинья?

Вскочили они оба, бросились со двора.

— Прося, прося...

Вдруг видят след, что тропинка, проложен от свиного зада. Бросились они по следу. Полотно. А вокруг толпа стоит и любуется.

Закричали они оба в голос, растолкали толпу, собрали свинью, взвалили ее на плечи и с ревом понесли к дому.

Но пришла беда — отворяй ворота. Не успел Иван Семеныч с бабой своей всласть поплакать, как вдруг железнодорожный агент Володька Гуськов к ним на двор заявился.

— Это, говорит, кто из вас беспорядки нарушает, а? Это, говорит, кто свиные остатки с рельсов снял без разрешения на то законных властей? А?

Оробел Иван Семеныч, лепечет непонятное, а баба за него отвечает:

— Позвольте, батюшка, это наши свиные остатки. Весь народ подтвердить может.

— А,— говорит Володька,— ваши остатки? А может быть, тут убийство произошло или самоубийство? Может быть, вы поезд животным опрокинуть хотели, а? Встань, говорит, баба, передо мной в струнку!

Тут и баба оробела. Встала она, по возможности, в струнку.

— Ваше, говорит, вашество, ваше степенство, по глупости свинья на рельсу взошла...

— А, по глупости? А знаешь ли ты, дура баба, уголовный кодекс Всероссийского судопроизводства? Да я вас могу за подобное уголовное преступление в тартарары без применения амнистии... Да вы знаете, кто я такой? Да меня, может, вся Москва знает. Да я вас, растакие такие, к высшей мере могу без амнистии.

Покричал еще Володька, покричал, а после и говорит:

— Ладно, говорит, помилую на этот раз. Неси ко мне на квартиру половину свиных остатков.

Охнул Иван Семеныч, и баба охнула. Взвалили они на плечи изрядный оковалок, пуда на три, и понесли к Володьке.

А съел Володька немного — фунтов пять, что ли. Да и тех не доел — арестовали.

А давеча я в «Правде» прочел: на пять лет Володьку со строгой изоляцией. Правильно!

ДИСЦИПЛИНА

Ужасно я люблю всякие путешествия. Меня, братцы мои, хлебом не корми, позволь мне только поехать куда-нибудь. Поездом или пароходом — мне это все равно. Главное, чтоб были два или три приятных собеседника. С ними я согласен хоть в Патагонию ехать. Очень мне нравится беседовать с незнакомыми.

В свое время я очень много ездил. А когда бесплатно было, я и с поезда не вылезал.

А трудно тогда приходилось. Пассажир был злой, неразговорчивый, чуть что — ногами пихался. И вообще — давка, безобразие. Мне даже раз на желудок мешок с крупчаткой уронили. Конечно, я сам виноват. Я на пол прилег. Ужасно утомился — стоял три ночи, ну и прилег. Предупредил еще:

— Братцы, говорю, я на пол прилег, не наступите на лицо.

На лицо не наступили, но от толчка с полки мешок упал. И спасибо, братцы, что небольшой мешок упал. Рядом стоял пуда на два.

А то однажды стеарином мне в глаз капнули. Это обер капнул. Наклонился он, собачий нос, надо мной, со свечкой.

— Ваш, говорит, билет?

И капнул. Нечаянно, говорит. А мне от этого не легче. У меня до сих пор на глазу отметина осталась. Вот ежели приподнять веко, то на роговой оболочке каждый гражданин может увидеть желтоватое пятно величиной с горошину.

Да. Трудно тогда было. С теперешним положением сравненья нету.

Я вот на днях в Лугу ездил. Чудесно ехать. Порядок, европейская аккуратность, чистота. Жаль только, пассажиры мне плохие попались. Не очень разговорчивые. Один носом клюет — спать ему, видите ли, хочется, другой — мужичок — кушает всю дорогу. Да как кушает! Срежет кусок хлеба, масла на него наворотит и жует. Потом опять. Это он заснуть боялся.

Был еще третий — старикан. Тоже дрянь пассажир. Из него, из собаки, слова клещами нужно выжимать. Я уж к нему и так, и так — молчит. Начал я ему рассказывать, как мука на меня упала,— молчит. Показал я ему пятно на роговой оболочке. Пятно он осмотрел, но ничего такого интересного не сказал.

Наконец после одной большой станции говорю ему:

— Уважаемый гражданин, а великолепно теперь в поездах ехать. Не правда ли? Порядок. Едешь будто по германской территории.

— Чего? — спрашивает.

— Словно, говорю, по германской земле едешь... С чего бы это изменение такое?

— А это, говорит, дисциплина. Русскому человеку невозможно без дисциплины.

— Это, говорю, верно. Золотые слова. В каждом деле прежде всего дисциплина. Будь то военное дело или даже водный транспорт.

— Да,— отвечает старик.— Только русский человек неправильно дисциплину понимает.

— То есть, говорю, как же неправильно, если такой порядок?

— А так...

И не успел тут старик слов договорить, как встает вдруг мужичок со своего места.

— Вы, говорит, про что разговариваете? Я, говорит, этого слова — д и с ц и п л и н а — слышать не могу...

— А что? — спрашиваем.

— Вы, говорит, про Ваську Чеснокова слышали? Черный такой мужик?

— Нет, говорим.

— Ну так, говорит, это его и убили по дисциплине этой.

— Да ну? — спрашиваю.

— Да, говорит, ей-богу. В германскую войну. На фронте... Пригнали нас в окопы, а мы ни уха ни рыла в военном деле... А тут Лешку Коновалова... Вы Лешки не знали ли?

— Нет.

— Ну так вот. Лешку Коновалова часовым поставили. А начальник строгий был. Начальник подошел к Лешке, харей его повернул к противнику и говорит:

— Вот, говорит, за бугром противник. Ежели кто из-за бугра покажется — лепи туда пулей.

А случилось, что за бугор Васька Чесноков пошел. Там он картошку рыл. Трава высокая — немцу не видно. Возвращается.

А часовой Лешка видит, что фигура из-за бугра прет, ружье вскинул. Только смотрит: знакомая фигура — Васька Чесноков.

— Эу! — закричал Лешка.— Васька, ты?

Тот руками машет. Я, дескать.

Заплакал Лешка, выстрелил...

— Ну и что же? — спросил я.

— Ну и убил...

Мужичок отрезал кусок хлеба и принялся снова жевать.

Старичок засмеялся.

— Вот, говорит, не угодно ли!

Я говорю:

— Это не доказательство. Это глупость. Вот вы, говорю, хотели что-то рассказать.

— Да, говорит, хотел, да некогда. Сходить мне сейчас.

Взял он корзинку и на площадку вышел.

Поезд, конечно, остановился. А я стал в окно смотреть.

И вижу: выходит на платформу дежурный. Красивый такой мужчина, в галифе.

Вышел он, прутиком по сапогу хлопает, усишки подвивает. На дам косится.

Прислонился к забору.

— Эй, кричит, Игнат!

Подходит к нему сторож.

— Игнат,— говорит дежурный,— принеси-ка, брат, папиросы. На столе у меня лежат.

Игнат бросился в вокзал.

«Дисциплина,— подумал я.— А пожалуй что старик и прав: неправильно многие дисциплину понимают...»

Поезд наш пошел дальше.

Больше мне ни с кем поговорить не пришлось.

ПЛОХАЯ ВЕТКА

По Новоторжской ветке я больше не поеду. Шут с ней. Плохая ветка. Там я едва не разбился. И там же с меня еще штраф взяли.

И за что? За то, что я, братцы, на нижнем месте сидел. А разве я виноват? Я кассирше объяснял толком:

— Я, говорю, человек грузный, мне, говорю, многоуважаемая, не давайте верхнее место. Я разбиться могу.

А она, братцы, напротив того, верхнее место дала.

«Ну ладно, соображаю, с кем-нибудь я обменяюсь в вагоне».

Сел в вагон я, а меняться не с кем — пустой вагон.

«Ну, думаю, тем лучше. Повезло, думаю, мне на Новоторжской ветке. Всегда буду на ней ездить».

Сел я на нижнее место и, извиняюсь, задремал. Вдруг контроль идет.

— Ваш, говорит, билет?

Подаю билет. Контроль внимательно осмотрел билет и нахмурился.

— У вас, говорит, лежачее место. Полезайте наверх, а то я вас оштрафую.

Я говорю:

— Батюшка, уважаемый контроль, не хочется мне наверх. Чего я буду сидеть там, как кура. Позвольте мне внизу посидеть.

— Не могу, говорит, позволить. А ежели вы мне взятку сейчас предложите, то я могу вас упечь, куда Макар телят не гонял.

Он думал, что я растеряюсь, задрожу, а я хоть бы что. Отбрил даже его.

— Вы, говорю, не стращайте меня и не возвышайте голос, от этого у вас печенка может лопнуть. А ежели наверх нужно, то ладно, сейчас полезу.

Полез. Два раза я, братцы мои, обрывался. Наконец влез. Проехал два перегона — нет, не могу больше — тошнит и к тому же упасть боюсь от толчка.

Слез я тихонечко, присел на нижнее место. Вдруг опять контроль.

— Ага, говорит, ты опять здесь. Плати штраф.

Заплатил я штраф.

«Ну, думаю, хотя теперь поеду спокойно».

Не тут-то было.

— Нет,— говорит контроль,— штраф штрафом, а ежели место лежачее — лезь наверх.

Влез я, братцы, снова наверх. Лежу, боюсь даже до ветру сойти.

А в Лихославле собрал я свои манатки да и поскорей прочь из вагона. А там нанял лошадей да и ходу, ходу...

Не езжайте, братцы, по Новоторжской ветке! Плохая ветка.

ПОПУГАЙ

Нынче нам, братцы мои, великолепное житье. Все-таки еда хорошая: щи там или что другое... Мясо опять же. А которым по праздникам бабы, может, и пироги с капустой пекут. Вот оно какое великолепие!

На таких харчах мы, братишки, и позабывать стали, что это за голод такой. Позабывать начали, как это мы голодовали раньше, скажем, в девятнадцатом году.

А ведь и голодовали же мы, братцы, в свое время! Хлеб был в диковинку. Вспомнить удивительно.

А впрочем, не все, скажем, голодовали. Которые мужички, крестьяне то есть,— не плохо те жили. Все им из города везли: инструмент и драгоценные изделия и ценности всякие.

Уж и покланялся же город деревне. Покланялись городские мужичкам. А шельма же, братцы, мужичок наш, полюбовно будет это сказано! Ах ты, шельма какая!

Баба моя — кокетка, надо сказать,— зеркало повезла раз в деревню. Небольшое такое зеркальце, но, скажем, рожу всю видно. Повезла, братцы мои. Думала, к празднику мало-мальски пуд мучки сволокет назад. Плакалась еще, дура такая: как это, говорит, тяжесть такую повезу.

Приехала в одну деревню. Куда там!

Часишки, зеркала, рояли — в каждой избе. А тут, извините за выражение, небольшое зеркальце.

Ткнулась баба моя в одну избу — шесть куриных яиц дают. В другую ткнулась — опять шесть куриных. Вот, думает, клюква.

— Куда же, спрашивает, мне куриные яйца в дорогу? Дайте хоть крупы какой-нибудь или мучки, что ли.

Не дают.

— А нет, говорят, за зеркала у нас официальный тариф — на куриные яйца.

Так и вернулась баба моя ни с чем.

Мужик-то, впрочем, один прельстился зеркалом.

— Эх, говорит, жалко, что махонькое зеркальце. Я бы, говорит, для тебя нарушил все нормы, дал бы тебе крупой. Ну да неподходящее зеркальце. Мне, говорит, такое надо, чтоб и ноги видать было.

И зачем ему, братцы мои, ноги нужно видать?

Ах, шельма какой мужик!

А я вот тоже раз съездил. За Вологду. Смешно вспомнить. Попугая вез.

И ни за что бы я не поехал, да опять-таки баба моя пристала.

Баба моя — кокетка, надо сказать,— от хлеба с малороссийским сальцем нипочем не откажется... Пристала и пристала. Поезжай да поезжай.

Ну и соседи тоже:

— Поезжайте, говорят, Семен Семеныч. Вы человек разговорчивый — вкрутите мужичкам.

А мне что? Я и поехал.

А перед отъездом-то разговоры всякие были. Чего везти

в деревню. Одни говорят: ленты вези, кружева. Другие — ситчик попестрей. Третьи — бусы. Что дикарям, ей-богу.

Пошел я на толкучку. Думаю, куплю-ка, в самом деле, такую вещь, чтобы сразу в рожу кидалось.

Вот и купил, братцы мои, попугая в клетке.

Сидит, представьте себе, на толчке многоуважаемая дама такая (может быть, бывшая графиня) и домашним барахлом торгует. И тут же при ней клетка, а в клетке попка. И сидит эта попка на кольце, качается и орет по-французски: шармант, что в переводе на русский язык — прелестно значит.

Вот, братцы мои, я и приобрел птицу эту. То-то, думаю, удивлю деревню.

И удивил, слов нету.

А купил я эту попку за недорого. Хлебом, не помню — восемь, не помню — десять фунтов дал.

И вскоре после этого и поехал. В теплушке ехал. Разговор, помню, поднялся вокруг меня, смех.

— Куда, спрашивают, везешь птицу? Зачем?

— Везу, говорю, в деревню на хлеб менять. Почем, спрашиваю, попугаи в этих местах ходят? В какой цене? Не продешевить чтобы.

Смеются.

— Товар, говорят, неизвестный.

Предложил мне тут какой-то субчик полпуда ядрицы за птицу, да не отдал я.

Приехал в одну деревню. Народ вокруг меня столпился. Хохочут. Ребята тоже хохочут. Прутьями дразнят птицу. Под перья ей дуют.

«Ну, думаю, понравился товар».

Принялся я с бабой одной торговаться и совсем было в цене сошелся, да явился какой-то инвалид, что ли. Из армии.

— Стоп, говорит, братцы! Обман. Попка эта — ненастоящая. Настоящая попка «дурак» орет, а эта, говорит, что-то невнятно произносит.

Ну и смутил сделку, чертов инвалид. Пуд только стала давать баба.

Дальше я пошел.

В одну, в другую деревню — не берут. Хохочут, под перья дуют, а не берут. А которые бы и взяли, да обижаются, зачем «дурак» не произносит.

Два дня мотался я, братцы мои, с птицей, запарился, утомился — сказать невозможно. Прямо бы за полпуда отдал. Но и полпуда перестали давать.

— Вид, говорят, у птицы плохой.

А это верно: птица тоже запарилась. Все-таки дорога, да и под перья дули, да и ронял я ее раза два.

И вот посоветовал мне один старичок в дальнюю деревню идти. «А то, говорит, народ тут при железной дороге балованный, чего хотят — сами не знают».

Вот я и пошел.

А путь дальний. Жара. Пылища в нос бьет. Чересчур я тогда утомился. Вижу, и птица моя утомилась до невозможности. С кольца своего сошла, сидит внизу, нахмурившись, и хлеб не клюет.

«Ну, думаю, не скончалась бы раньше времени. Плохой вид. Вот, думаю, глупость какая будет, ежели так».

А сам все нажимаю, все быстрей да быстрей.

И вот пришел к вечеру в нужную деревню.

— Ну, говорю, попка, подбодрись.

В одну избу зашел.

— Не нужно ли, говорю, попугая?

— Нужно,— говорит мужик.— А почем товар? Покажи.

Стал я ему попку показывать, смотрю: лежит моя птица брюхом кверху, и лапки у ней врозь.

Обиделся мужик.

— Что ж, говорит, это ты дохлой птицей торгуешь?

Ох, чуть я не прослезился тогда. Вывалил попку из клетки, клетку бросил.

А мужик хохочет надо мной.

— Перестань, говорит, клетку бросать. Я тебе за нее шесть куриных яиц дам.

И дал.

— А жалко, говорит, что скончалась птица. Я бы, говорит, за нее четыре пуда дал. Мне, говорит, очень последнее время попугаи нужны. Если, говорит, у тебя еще будут продажные попки — валяй, приноси.

Я говорю:

— Ладно. Принесу. Держи карман шире.

В общем, я вернулся домой в полном огорчении и больше в деревню не ездил.

СЕНАТОР

Из Гусина я выехал утром... Извозчик мне попался необыкновенный — куда как бойчее своей лошади.

Лошаденка трусила особенной деревенской трухлявой

рысью с остановками, тогда как извозчик ни на одну секунду не засиживался на месте: он привставал, гикал, свистел в пальцы, бил кнутовищем свою гнедую кобылку, стараясь попасть ей по бокам и по животу, иногда даже выпрыгивал из саней и, по неизвестной причине, бежал рядом с кобылкой, ударяя ее время от времени то ладонью, то ногой по брюху.

Я не думаю, что делал это он от холода. Мороз, помню, был незначительный, да и ехали мы недолго, с полчаса, что ли. Думаю, что делал это он по необыкновенной энергичности своего характера.

Когда мы подъезжали к какой-то деревушке, извозчик мой обернулся и, кивнув головой, сказал:

— Лаптенки это...

Потом засмеялся.

— Чего смеешься? — спросил я.

Он засмеялся еще пуще. Затем высморкался, ловко надавив нос одним пальцем, и сказал:

— Сенатор... сенатор тут в Лаптенках существует...

— Сенатор? Какой сенатор? — удивился я.

— Обыкновенно какой... сенатор... Генерал, значит, бывший...

— Да зачем же он тут живет? — спросил я.

— А живет...— сказал извозчик.— Людей дюже пугается — вот и живет тут. С перепугу то есть живет. После революции.

— А чего ж он тут делает?

Извозчик мой рассмеялся и ничего не ответил.

Когда мы въехали в Лаптенки, он снова обернулся ко мне и сказал:

— Заехать, что ли? Погреться нужно бы...

— Не стоит,— сказал я.— Приедем скоро.

Мы двинулись дальше.

— Гражданин,— сказал извозчик просительно,— заедем... Мне на сенатора посмотреть охота.

Я рассмеялся.

— Ну ладно. Показывай своего сенатора.

Мы остановились у черной, плохонькой избы, сильно приплюснутой толстенькой соломенной крышей. Извозчик мой в одну секунду выскочил из саней и открыл ворота, не спросив ничего у хозяев. Сани наши въехали во двор.

Я вошел в избу.

Может, оттого, что я давно не был в деревне, изба эта показалась мне необыкновенно грязной. Маленькое оконце, сплошь заляпанное тряпками и бумагой, едва пропускало

свет в избу. В избе баба стирала белье в лоханке. Рядом с лоханкой сидел старичок довольно дряхлого вида. Он внимательно, с интересом смотрел, как мыльная пена, вылетая из лоханки, ударялась в стену кусками и со стены сползала медленно, оставляя на ней мокрые полосы.

В избе было душно. Несмотря на это, старичок одет был крепко: в валенках, нагольном тулупе, даже в огромной меховой шапке.

Сам старичок был малюсенький — ноги его, свешиваясь с лавки, не доставали земли. Сидел он неподвижно.

Я поздоровался и просил побыть в избе минут пять — прогреться.

— Грейтесь! — коротко сказала баба, едва оборачиваясь в мою сторону.

Старичок промолчал. Он, впрочем, сурово взглянул на меня, но после снова принялся следить за мыльной пеной.

Я недоумевал.

«Уж не этот ли старикан — сенатор?» — думал я.

В это время в избу вошел мой извозчик.

Он поздоровался с бабой и подошел к старику.

— Господину сенатору с кисточкой,— сказал он, протягивая ему руку.

Старичок подал нехотя свою сухонькую ручку. Извозчик засмеялся, подмигнул мне и сказал тихо:

— Это и есть...

Должно быть, услышал это старичок. Он заерзал на скамье и заговорил вдруг каким-то странным мужицким говорком, сильно при этом окая:

— Вре-е... Вы не слухайте ево, господин... Меня тут все дражнят... сенатором... А чего это за слово — мне неведомо. Ей-бо...

Баба бросила вдруг стирать, утерла лицо передником и рассмеялась. Извозчик мой засмеялся тоже.

Я уж подумал было, что это и в самом деле так: дразнят старика, однако меня смутила его странная, как бы нарочная мужицкая речь. Мужики здесь так не говорили. Да и подозрительно было оканье и сухие, белые, не мужицкие руки.

— Послушайте,— сказал я, улыбаясь,— а я ведь вас где-то видел. Кажется, в Питере...

Старик необыкновенно смутился, заерзал на лавке, но сказал спокойно:

— В Питере?.. Нетути, не был я в Питере...

Извозчик ударил себя по ляжкам, присел и захохотал

громко, захлебываясь. И, не переставая смеяться, он все время подталкивал меня в бок, говоря:

— Ой, шельма! Ой, умереть сейчас, шельма какая! Ой, врет как...

Баба смеялась тихо, беззвучно почти — я видел, как от смеха дрожали ее груди.

Старик смотрел на извозчика с бешенством, но молчал. Я присел рядом со стариком.

— Бросьте! — сказал я ему.— Ну чего вы, право... Я человек частный, по своему делу еду... К чему вы это передо мной-то? Да и что вы боитесь? Кто вас тронет? Человек вы старый, безобидный... Нечего вам бояться.

Тут произошла удивительная перемена со старичком. Он поднялся с лавки, скинул с себя шапку, побледнел. Его лицо перекосилось какой-то гримасой, губы сжались, профиль стал острый, птичий, с неприятно длинным носом. Старик казался ужасно взволнованным.

— Тек-с,— сказал он совершенно иным тоном,— полагаете, что никто не тронет? Никто?

— Да, конечно, никто.

Старичок подошел ко мне ближе. В своем волнении он окончательно потерял все мужицкое. Он даже стал говорить по-иному — не употребляя мужицких слов. Мне было ясно: передо мной стоял интеллигентный человек.

— Это меня-то никто не тронет? Меня? — сказал он почти шепотом.— Да меня, может, по всей России ищут.

Старик надменно посмотрел на меня.

Мне стало вдруг неловко перед ним. В самом деле: к чему я с ним заговорил об этом? Ему, видимо, нравилась его роль — тайного, опасного человека, которого разыскивает правительство. Сейчас этот тихий старичок казался почти безумным.

— Меня? — шипел старик.— Меня... (тут он назвал совершенно мне неизвестную фамилию).

— Простите,— пробормотал я,— я не хотел вас обидеть... И, конечно, если вас разыскивают...

Я поднялся с лавки, попрощался и хотел уйти.

— Позвольте! — сказал мне старик.— Что про меня в газетах пишут?

— В газетах? Ничего.

— Не может быть,— закричал старичок.— Вы, должно быть, газет не читаете.

— Ах да, позвольте,— сказал я,— что-то такое писали...

Старичок взглянул на меня, потом на хозяйку, на моего извозчика и, довольный, рассмеялся.

— Воображаю,— протянул он,— какую галиматью пишут. Что ж это, разоблачения, должно быть?

— Разоблачения,— сказал я.

— Воображаю...

Я вышел во двор. Когда мы выезжали со двора, старичок бросился к саням, снял шляпу и сказал:

— Прощайте, господин. Счастливый путь-дороженька. А про сенатора — врут... Ей-бо, врут... Дражнят старика...

Он еще что-то бормотал, я не расслышал — сани наши были уже на улице.

Извозчик мой тихонько смеялся.

— А что,— спросил я его,— как же он тут живет? У кого? Кто его держит?

— Сын... Сын его держит,— сказал извозчик, давясь от смеха.

— Как сын... какой сын?

— Обыкновенно какой... Родной сын. Мужик. Крестьянин. Я не здешний, не знаю сам... Люди говорят... На воспитанье будто сенатор сына сюда отдал. К бабке Марье... Будто он в прежнее время его от актриски одной прижил... Неизвестно это нам... Мы не здешние...

— А ведь старик пожалуй что безумный,— сказал я.

— Чего-с?

— Сумасшедший, говорю, старик-то. Вряд ли его кто разыскивает.

— Зачем сумасшедший? — сказал извозчик.— Не сумасшедший он. Нет. Хитровой только старик. Хитрит, сукин сын. Мы, бывало, к ним соберемся и давай крыть старика: какой есть такой? документы? объясняй из прежнего. Затрясется старик, заплачет. Ну да нам что... Пущай живет... Может, ему год жизни осталось. Нам что...

Извозчик хлестнул кнутовищем, потом выскочил из саней и побежал рядом со своей кобылкой.

ВОР

Был Васька Тяпкин по профессии карманник. В трамваях все больше орудовал.

А только не завидуйте ему, читатель,— ничего не стоящая это профессия. В один карман влезешь — дерьмо: зажигалка, может быть; в другой влезешь — опять дерьмо:

платок, или, например, папирос десяток, или, скажем, еще того чище — счет за электрическую энергию.

Так, баловство, а не профессия.

А которые поценнее вещи — бумажник там или часы, что ли,— дудки.

Неизвестно, где нынче содержат пассажиры это.

А и подлый же до чего народ пошел! Гляди в оба, как бы из твоего кармана чего не стырили. И стырят. Очень просто. На кондукторшину сумку, скажем, засмотрелся — и баста — стырили уж. Елки-палки...

Ну а что касается ценностей, то не иначе как пассажиры по подлости своей на груди их носят или на животе, что ли. Места эти, между прочим, нежные, щекотки нипочем не выносят. Пальцем едва колупнешь — крики: ограбили, дескать. Смотреть противно.

Эх, ничего не стоящая профессия!

Оптик один полупочтенный из налетчиков посоветовал Ваське Тяпкину от чистого сердца переменить профессию. Переменить то есть специальность.

— Время, говорит, нынче летнее. Поезжай-ка, говорит, братишка, в дачные окрестности. Облюбуй какую-нибудь дачу и крой после. И, между прочим, воздухом дыши. Ваш брат тоже туберкулезом захворать может. Очень просто.

«Это верно,— подумал Васька.— Работаешь ровно слон, а ни тебе спасибо, ни тебе благодарности. Поеду-ка я и в самом деле в дачные окрестности. Воздух все-таки, и работа иная. Да и запарился я — туберкулезом захворать можно».

Так Васька и сделал. Поехал в Парголово.

Походил по шоссе, походил по улицам — воздух, действительно, великолепный, дачный, слов нет, а разжиться нечем. И жрать к тому же на воздухе приспичило, только давай, давай — будто дыра в пузе: съел, а еще просится.

Стал Васька дачу облюбовывать. Видит, стоит одна дача жилая и на взгляд превосходная. На заборе заявление: медик Корюшкин, по женским болезням.

«Ежели медик,— думает Васька,— тем лучше. Медики эти завсегда серебро в буфете держат».

На сегодня залег Васька в кусты, что у медика в саду за клумбами, стал следить, что вокруг делается. А делается: нянька в сад с пятилетним буржуйчиком гулять вышла. Нянька гуляет на припеке, а парнишка по саду мечется, в игры играет. Игр этих у него до дьявола: куклы, маховички разные заводные, паровозики... А одна игра совсем любопытная — волчок, что ли. Заводом заведешь его —

гудит это ужасно как и сам по земле, что карусель, крутится.

И до того Ваську эта игра заинтриговала, что едва он из кустов не выпал. Сдержался только.

«Неполным заводом, думает, они, идолы, крутят. Ежели бы полным заводом — вот понес бы шибко».

А нянька распарилась на припеке, лень ей, видите ли, крутить.

— Крути, крути сполна,— шепчет про себя Васька.— Крути, дура такая... Сук тебе в нос...

Ушла нянька с парнишкой. Вышел и Васька из кустов. Пошел во двор, посмотрел что и как. Каждую мелочь знать все-таки нужно: где труба, а где, вообще, и кухня. После в кухню заявился. Услуги свои предложил. Отказали.

— Катись, говорят, сопрешь еще что. По роже видно.

А ведь верно: угадали, елки-палки,— спер Васька топор на обратном ходу. Ну да не говори под руку...

Назавтра Васька опять в кусты. Лежит, соображает, как начать.

«Лезть надо, думает, в окно. В столовую. Ежели окно на сегодня закрыто — не беда. Обожду. Завтра, может быть, забудут закрыть. Надо мной не каплет».

Всякую ночь подходил Васька к дому, трогал окно — не поддастся ли. Через неделю поддалось — закрыть забыли.

Скинул Васька пиджачок для легкости, успокоил в животе бурчанье и полез.

«Налево, думает, стол, направо буфет. Серебро в буфете».

Влез Васька в комнату — темно. Ночь хотя и светлая, а в чужих апартаментах трудно разобраться. Пошарил Васька руками — буфет, что ли. Открыл ящик. Пустяки в ящике — дерьмо: игрушки детские. Тьфу ты, бес. Действительно: куклы, маховички...

«Эх, елки-палки! — подумал Васька.— Не туда, честное слово, залез. Не иначе как в детскую комнату я залез. Елки-палки».

Руки опустил даже Васька. Хотел было в соседнюю комнату идти — страшно. С расположения сбился. К медику еще влезешь — ланцетом по привычке чикнет.

«Эх, думает, елки-палки. Соберу хоть игрушки. Игрушки, между прочим, тоже денег стоят».

Стал Васька выкладывать из ящика игрушки — волчок в руки попал. Тот самый, что в саду пускали давеча.

Улыбнулся Васька.

«Тот самый, думает. Пущу, ей-богу, после. Обяза-

тельно. Заведу на полный ход. А сейчас поторопиться нужно, товарищи».

Стал Васька торопиться, рассыпал что-то, зазвенело на полу.

Только смотрит — на кровати парнишка зашевелился. Встал. Пошел к нему босенький.

Оробел сначала Васька.

— Спи,— сказал.— Спи, елки-палки.

— Не трогай! — закричал мальчик.— Не трогай игрушки.

«Ах ты,— думает Васька,— засыпаться так можно».

А мальчик орет, плакать начинает.

— Спи, шибздик! — сказал Васька.— Раздавлю, как вошку.

— Не трогай. Мои игрушки...

— Врешь,— сказал Васька, пихая в мешок игрушки,— были, это точно, твои, а теперь ищи-свищи...

— Чего?

— Ищи, говорю, свищи.

Выкинул Васька мешок за окно и сам прыгнул. Да неловко прыгнул — грудь зашиб.

«Эх, подумал, елки-палки, так и туберкулезом захворать можно».

Присел Васька на клумбу, потер грудь, отдышался.

«Бежать, думает, скорее нужно».

Вскинул мешок на плечи, хотел бежать, про волчок вдруг вспомнил.

— Стоп! — сказал Васька.— Где волчок? Не забыл ли я волчок? Елки-палки.

Пощупал мешок — здесь. Вынул Васька волчок. Пустить охота, не терпится.

«А ну, думает, попробую заведу».

Закрутил он на полный ход, пустил. Гудит волчок, качается.

Засмеялся Васька. Прилег наземь от смеха.

«Вот, думает, когда полным ходом дует. Елки-палки».

Еще не докрутился волчок, как закричали вдруг в доме:

— Вор... Держи вора!

Вскочил Васька, хотел бежать — бяк по голове кто-то. Да не шибко ударили. Неопытно. Рухнул хотя Васька на землю, но вскочил после.

«Палкой, думает, ударили, что ли. Палкой, наверное, или смоляной веревкой».

Побежал Васька, закрывши рукой голову.

Пробежал версту, вспомнил: пиджак забыл.

Чуть не заплакал с досады Васька. Присел в канаву.

«Эх, думает, елки-палки. Переменить профессию надо. Ничего не стоящая профессия, хуже первой. Последнего, скажем, пиджачка лишился. Поступлю-ка я в налетчики. Елки-палки».

И пошел Васька в город.

СОБАЧИЙ СЛУЧАЙ

Жил такой Вася Семечкин. Безработный. Уволили его по сокращению штатов, а он и в ус не дует.

— Пущай, говорит, буду-ка я человеком свободной профессии.

Стал он думать, чем ему промышлять, дровами или чем другим. Да случай вышел.

Проживал в четвертом номере всемирно ученый старичок. И занимался этот старичок разнообразными опытами, все больше над собаками. То пришьет им какую-либо кишку, то сыворотку привьет, то прививку холерную, а то и просто хвост отрежет и интересуется: может ли животное без хвоста жить. Одним словом — опыты.

Но однажды встретил всемирно ученый старичок Ваську во дворе и говорит ему:

— Нет ли у вас какой-нибудь собачки для ученых опытов? Я, говорит, за каждую собачку плачу трешку.

Обрадовался Васька. Сразу смекнул.

— Есть, говорит, вы угадали. Это, говорит, даже моя специальность — доставать опытных собачек. Пожалуйста. Завсегда ко мне обращайтесь.

Ударили они по рукам и разошлись.

Первая собачка пропала у управдома. Ужасно тогда грустил управдом. Накинул даже на квартиры и хотел на воду накинуть, да были перевыборы — поперли его.

Вторая собачка исчезла в седьмом номере. И такая это была паршивенькая собачка, болонка — глаз у ней красный, отвратительный, шерсть висячая. Омерзительная собачка. И кусачая к тому же. У Васьки до сих пор шрам на руке.

Третью собачку Васька поймал на улице. А там и пошло, и пошло.

Только раз всемирно ученый старичок сказал Ваське:

— Что ты, говорит, голубчик, мне все паршивеньких собак достаешь? Нынче я опыт произвожу над предстательной железой, и нужна мне для этого собака особо

крепкая, фигурная, чтоб хвост у ней был дыбом, чтоб она, стерва, бодрилась бы под ножом.

И вот пошел Васька с утра пораньше такую собаку искать. Прошел четыре квартала — нету. По пути только маленькую сучку в мешок пихнул.

Идет по Карповке, смотрит: стоит у тумбы этакая значительная собачища и воздух нюхает.

Обрадовался Васька. И верно: особо фигурная собака, бока гладкие, хвост трубой и все время бодрится.

Подошел к ней Васька, хлеб сует.

— Собачка, собачка...

А она урчит и хвостом отмахивается. Начал Васька мешок развязывать, а она за руку его — тяп. И держит.

Васька рвется — не пущает. Народ стал собираться, публика. Вдруг кто-то и говорит:

— Братцы, да это уголовная собака Трефка.

Как услышал это Васька, упал с испугу. Мешок выронил. А из мешка сучка выпала.

— Ага! — закричал народ.— Да это, братцы, собачник. Хватай его!

Схватили Ваську и повели в милицию.

А после судили его. Оправдали все-таки. Во-первых — безработный, с голоду. Во-вторых — для науки.

— Впредь, сказали, не делай этого.

Стал с тех пор Васька дровами промышлять.

ГОРЬКАЯ ДОЛЯ

24 февраля 1923 г.

Дорогая Капочка!

Итак, я жена Подподушкина. Жена знаменитого художника Сергея Подподушкина. Я счастлива неимоверно! Целые дни мы с Сергеем витаем в разных мечтах и фантазиях. Я живу в каком-то заколдованном мире. Мне даже странно, что кроме меня и Сергея существуют какие-то люди, происходят какие-то революции, какие-то извержения Этны... Я живу, как сказочная нимфа. Сергей называет меня ярким пятном на фоне своих идеалов.

Твоя Анна Подподушкина

10 марта 1923 г.

Дорогая Капочка!

Посылаю тебе мой новый адрес. С Сергеем я разошлась.

По правде сказать — я очень тому рада. Конечно, все эти фантазии и грезы хороши, но они недостойны для развитого человека.

Дорогая Капочка, ты можешь поздравить меня — я выхожу замуж за известного хирурга Деримбасова. Я всегда увлекалась медициной. Это такая жуть — разбираться в человеческом организме. Только подумать, что тут, за покровом кожи, протекают какие-то жилки, двенадцатиперстная кишка, бронхи, ребра... Ах, это так величественно и глубоко! До знакомства с Деримбасовым я никогда не думала, что у меня есть какая-то двенадцатиперстная кишка. Я счастлива неимоверно.

Твоя Анна Деримбасова

26 марта 1923 г.

Дорогая Капочка!

За Деримбасова я не вышла замуж. Это целая история. Видишь ли, Деримбасов лечил одного инженера, делал ему удаление аппендицита. Он теперь страшно мной увлекся. Мы на днях уезжаем с ним на Волховстрой. Он там ставит какой-то, знаешь ли, кессон. Ах, это так величественно — ставить кессон! Я счастлива неимоверно.

Твоя Анна

29 апреля 1923 г.

Дорогая Капочка!

Прости, что давно не писала. Произошла такая масса событий. Ни на какой Волховстрой я, представь себе, не ездила. То есть я перед отъездом встретила одного знакомого, Левушку Шишмана, который с детства мной увлекался. Я счастлива неимоверно.

Хорошо, что я не поехала на этот дурацкий Волховстрой. Ну что бы я там делала? Я даже не знаю, что такое кессон... А Левушка очень, очень мил. Он буквально носит меня на руках и одевает, как перышко. Наши дела ничего. Мы немножко работаем на валюте и немножко на картинах. Конечно, наши дела могли быть и лучше, но ты сама понимаешь, можно ли сейчас работать при большевиках. Большевиков я ненавижу всеми фибрами.

Твоя Анна Шишман

17 мая 1923 г.

Дорогая Капочка!

Оказывается, Левка был арестован не за спекуляцию, а за взятку. Это уж, знаешь ли, свинство с его стороны. Если правительство борется против взяток, то это, выходит, государственное преступление. Мне его ничуть не жаль. Ваня говорит, что это дело пахнет строгой изоляцией. А на мой взгляд, если это государственное преступление, то это даже мало.

Ах да! Я тебе забыла сказать, что Ваня — это, знаешь ли, один агент. Он очень отзывчивый и симпатичный. Он сразу стал ко мне приходить, и мы подолгу беседовали с ним о политике и вообще о социальных идеях. Я счастлива неимоверно. Ах, это так грандиозно и так величественно — эти социальные идеи! Я фашистов ненавижу всеми фибрами. Советую, Капочка, и тебе ненавидеть.

Твоя Анна Лахудрина

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА

Некоторые думают, что управдомом быть — пустое дело. Некоторые товарищи предполагают, что должность управдома — это вроде бы делопроизводителя по письменной части: деньги получить, удостоверения гражданам выдать, расценку произвести.

Ах, какие это пустяки! Должность управдома — серьезнейшая, государственная должность. Она труднее, нежели должность директора пищевого треста.

Мало того, что управдом должен быть человек башковитый, он должен быть философом, психологом, проницателем. Каждого своего квартиранта управдом вот как должен знать! Насквозь должен знать, все кишки его видеть. А то как же иначе? В 43-й квартире — безработный. А безработный этот, сук ему в нос, ежедневно в пивные ходит, в кабаре. Ночью на машинах приезжает, дворнику Семену пятерки дает. Не жалко, конечно, пускай дает, но зато управдом Конючкин и плату на него возвел соответствующую.

Ну да с мужчинами это просто, а вот с бабами каково. Скажем, женщина... А шут ее разберет, какая она есть? Чулочки там, ботинки, шляпки — а может, она веселящаяся? А если она веселящаяся, то и квартира ее подозрительная, о которой по декрету донести нужно.

Тоже вот 48-я квартира. Подозрительно. Две девицы

проживают — Манюшка Челькис и еще одна гражданка с эстонской фамилией: Эпитафия. Может, они и есть веселящиеся. Управдом Конючкин давно к ним присматривается — не понять только: будто и подозрительные, а будто и нет.

С ума сойти управдому Конючкину! Суетливая до чего должность!

И добро бы еще семейная жизнь была хороша. Какое там! Семейная жизнь у управдома Конючкина ничего не стоящая: раздоры, распри, полное несходство характеров.

Тоже вот — блины.

Управдом Конючкин любит блин поджаренный, с хрустом, причем с солененьким, а жена управдома Марья Петровна блин обожает рыхлый, бледный, да еще, противно сказать, со снетками, тьфу на них! От этого тоже распри и семейные неурядицы.

В среду на масленой управдом Конючкин до того дошел, что и кушать не захотел. Сидит за столом и на блины не смотрит — противно. Марья Петровна так супруга своего и точит: и зачем не ест, и зачем выражение лица имеет грустное, и зачем, вообще, молодость ее заел.

Управдом Конючкин даже сплюнул со злости и из квартиры вышел.

И вышел он на лестницу, на ступеньку сел. И сел он по случайности напротив квартиры 48. Только слышит вдруг пенье, шум, разгул вообще.

«Подозрительная, думает, квартира. Хорошо бы девиц этих с поличным накрыть, с уликами».

Постучал Конючкин в дверь. Девица Эпитафия открыла.

— Тово-с,— сказал управдом,— разрешите канализацию и водопровод проверить.

— Пожалуйста,— сказала Эпитафия.— Да вы бы, гражданин Конючкин, за стол бы присели. Это вот — мои гости, это вот вино, а вот блины.

Взглянул управдом на блины и замер. Никогда он таких блинов не видел. Чудные, великолепные блины и с большим хрустом.

Растерялся управдом, сел, скушал парочку блинов.

«Эх, думает, не по должности поступаю. Ну да ладно, по крайней мере узнаю точно — веселящиеся девицы или нет».

Съел он еще и еще и выпил после, и к двенадцати часам на коленях у него сидела Манька Челькис и пела «Марусю». Управдом ей подпевал хриплым голосом.

Ночью он спал на диване. Один или с кем — не помнит.

Утром проснулся хмурый, подумал:

«Донесу. Квартира точно подозрительная».

И стал одеваться.

А когда он хотел уходить, Манька ему сказала:

— Ежели ты задумал донести или что — берегись. Мне теперь все равно — разглашу, ославлю на весь дом и должности лишу. А пока пиши расписку: деньги, мол, за квартиру получил полностью и вперед за три месяца.

— Позвольте,— сказал управдом,— за три месяца это выходит по свободной профессии... Позвольте, это же много выходит... двести выходит. Позвольте хотя за два месяца написать? За что же?

— Пиши за три! — строго сказала Манька.

И управдом написал.

Ах, до чего трудная должность управдома! В особенности на масленой.

СИЛА ТАЛАНТА

Успех актрисы Кузькиной был потрясающий. Публика била ногами, рычала. Поклонники актрисы кидали на сцену цветы, кричали:

— Кузькина! Ку-узькина!

Один из наиболее юрких поклонников пытался проникнуть на сцену через оркестр, но был остановлен публикой. Тогда он бросился в боковую дверь с надписью: «Посторонним воспрещается» — и скрылся.

Актриса Кузькина сидела в артистической уборной и думала.

Ах, именно о таком успехе она и мечтала. Потрясать сердца. Облагораживать людей своим талантом...

Но тут в дверь постучали.

— Ах,— сказала актриса,— войдите.

В комнату стремительно вошел человек. Это был юркий поклонник. Он до того был боек в своих движениях, что актриса не могла даже его лица рассмотреть.

Он бросился перед ней на колени и, промычав: «Влюблен... потрясен», схватил брошенный на пол сапог и стал покрывать его поцелуями.

— Позвольте,— сказала актриса,— это не мой сапог, это комической старухи... Вот мой.

Поклонник с новой яростью схватил актрисин сапог.

— Второй...— хрипел поклонник, ползая на коленях.— Где второй?

«Господи! — подумала актриса.— Как он в меня влюблен!»

И, подавая ему сапог, робко сказала:

— Вот второй... А вон там мой лиф...

Поклонник схватил сапоги и лиф и торжественно прижал их к груди.

Актриса Кузькина откинулась в кресле.

Господи! Что можно сделать силой таланта! Довести до невменяемости... Успех! Какой успех! Поклонники врываются к ней, целуют ее обувь. Счастье! Слава!

Потрясенная своими мыслями, она закрыла даже глаза.

— Кузькина! — громко закричал режиссер.— Выход!

Актриса очнулась. Поклонника с сапогами уже не было. После выяснилось: кроме сапог и лифа, из уборной исчезла коробка с гримом, парик и — что всего ужасней — один сапог комической старухи, другого поклонник не нашел.

Другой лежал под креслом.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРУГ

Жил такой человек, Петр Петрович, с супругой своей, Катериной Васильевной. Жил он на Малой Охте. И жил хорошо. Богато. Хозяйство, и гардероб, и сундуки, полные добра... Было у него даже два самовара. А утюгов и не счесть — штук пятнадцать.

Но при всем таком богатстве жил человек скучновато. Сидел на своем добре, смотрел на свою супругу и никуда не показывался. Боялся из дома выходить, в смысле кражи. Даже в кинематограф не ходил. А то, думает, в его отсутствие разворуют вещички.

Ну а однажды получил Петр Петрович письмо по почте. Письмо секретное. Без подписи. Пишет кто-то:

«Эх, ты, пишет, старый хрен, степа — валеный сапог. Живешь ты с молодой супругой и не видишь, чего вокруг делается. Жена-то твоя, дурень старый, крутит с одним обывателем. Как я есть твой неизвестный друг и все такое, то сообщаю: ежели ты, старый хрен, придешь в Сад трудящихся в семь часов вечера в субботу, двадцать девятого июля, то глазами удостоверишься, какая есть твоя супруга гулящая бабочка. Протри глаза, старый хрен. С глубоким почтением „Неизвестный друг“».

Прочел это письмо Петр Петрович и обомлел. Стал вспоминать как и что. И вспомнил: получила Катерина Васильевна два письма, а от кого — не сказала. И вообще вела себя подозрительно: к мамаше зачастила и денег требовала на мелкие расходы.

«Ну клюква! — подумал Петр Петрович.— Пригрел я змею... Но ничего, не позволю над собой насмехаться. Выслежу, морду набью — и разговор весь».

В субботу, двадцать девятого июля, Петр Петрович сказался больным. Лег на диван и следит за супругой. А та — ничего, хозяйством занимается. Но к вечеру говорит:

— Мне, говорит, Петр Петрович, нужно к мамаше сходить. У меня, говорит, мамаша опасно захворала.

И сама нос пудрой, шляпку на затылок и пошла.

Петр Петрович поскорей оделся, взял в левую руку палку, надел калоши — и следом за женой.

Пришел в Сад трудящихся, воротничок поднял, чтоб не узнали, и ходит по дорожкам. Вдруг видит — у фонтана супруга сидит и в даль всматривается. Подошел.

— А, говорит, здравствуйте. Любовника ожидаете? Так-с, вам, говорит, Катерина Васильевна, морду набить мало...

Та в слезы.

— Ах, говорит, Петр Петрович, Петр Петрович! Не подумайте худого... Не хотела я вам говорить, но приходится...

И с этими словами вынимает она из рукава письмо.

А в письме, в печальных тонах, написано о том, что она, Катерина Васильевна, одна может спасти человека, который погибает и находится в жизни на краю пропасти. И этот человек умоляет прийти Катерину Васильевну в Сад трудящихся в субботу, двадцать девятого июля.

— Странно, говорит. Кто же пишет?

— Я не знаю,— отвечает Катерина Васильевна.— Я пожалела и пришла. А какой это человек — я не знаю.

— Так-с,— говорит Петр Петрович,— пришла. А ежели пришла, так и сиди и не двигайся. Я, говорит, за фонтан спрячусь. Посмотрю, что за фигура. Я, говорит, намну ему бока.

Спрятался Петр Петрович за фонтан и сидит. А супруга напротив — бледная и еле дышит. Час проходит — никого. Еще час — опять никого. Вылезает тогда Петр Петрович из-за фонтана.

— Ну, говорит, не хнычьте, Катерина Васильевна. Тут,

безусловно, кто-нибудь подшутил над нами. Идемте домой, что ли... Нагулялись... Не ваш ли братец-подлец подшутил?

Покачала головой Катерина Васильевна.

— Нет, говорит, тут что-нибудь серьезное. Может, неизвестный человек испугался вас и не подошел.

Плюнул Петр Петрович, взял жену под руку и пошел.

И вот приезжают супруги домой. А дома — разгром. Сундуки и комоды разворочены, утюги раскиданы, самоваров нет — грабеж. А на стене булавкой пришпилена записка:

«Вас, чертей собачьих, иначе никаким каком из дома не вытащишь. Сидят, как сычи... А костюмчики твои, старый хрен, не по росту мне. Рост у тебя, старый хрен, паршивый и низенький. Это довольно подло с твоей стороны. А супруге твоей — наше нижайшее с кисточкой и с огурцом пятнадцать».

Прочли супруги записку, охнули, сели на пол и ревут, как маленькие.

МЕМУАРЫ СТАРОГО КАПЕЛЬДИНЕРА

Мне все говорят: почему бы вам, Григорий Палыч, записки этакие не написать — мемуары вроде бы про артистов. Вы человек семейный, впечатлительный и не чужды культурного просвещения. Вы двадцать лет капельдинером состояли и к сцене соприкасалися.

И это верно: я двадцать лет служил искусству и того знаю, чего, прямо скажу, не всякий артист знает. Иной артистишка — дрянь, совершенная мелюзга, а нос перед тобой дерет. Вроде как наш театральный парикмахер Ферофонт: я, дескать, артист, а ты, мол, кто такой? Больно слушать. Но только врешь, брат. Про таких артистов я не упомяну, а буду я писать про замечательных артистов.

Вот Шаляпин — артист, прямо скажу, хороший. Он бас очень даже замечательный. Так сказать, знаменитый и исторический голос-бас на всем полушарии.

Но, конечно, голос у него не такой уж чересчур громкий, как некоторые воображают себе. Некоторые представляют или введены в сомнение, что голос у него такой

чересчур громкий, что зеркала будто дребезжат и занавес вьется. Так это, прямо скажу, ничего подобного. Голос у него очень даже обыкновенный, и ежели мне, например, в фойе выйти, так и едва слышно. А ежели, извиняюсь, до ветру пройтись, так и того... не слышно, прямо скажу.

Ну а публика дура. Публика думает невесть что и прет, и прет, даже обидно. А которые без билета, охотно хорошо дают.

А вот был у нас бас — Иван Кириллыч Васин. Вот это, прямо скажу, очень даже замечательный бас. Прежде он в соборе даже выступал. Ну а после к нам в хор перевелся. Вот от такого голоса было действительно сотрясение предметов. Это многие подтвердят. Некоторых он даже в ужас вгонял, которые неопытные.

Но в хоре ему ходу не давали. Не позволяли ему даже проявить свой голос в полной своей мере. Но только он один раз из гордости взял ноту. Это мы «Русалку» тогда ставили. Шаляпин, Федор Иванович,— арию, а он, Кириллыч наш, как рявкнет, как рявкнет, собачий хвост... Куда там... Покрыл, прямо скажу, и оркестр, и Шаляпина. В одну минуту доказал, что он за какой бас. Ну, только за минуту гордости потерпел — очень его матевировали и после службы поперли. Да. А был бас замечательный.

Глазунов — хороший композитор и капельмейстер. Он мужчина полный и представительный. Некоторые утверждают, будто крупнее его и нету, но это говорят необдуманно.

Я сам знал бывшего помещика одного. Так куда там. Вот это был действительно крупный мужчина. Он хоть повыше будет слегка, но зато в полноту сравненья нету. А весом, прямо скажу, больше девяти пудов. Он так и на карточках на визитных печатал: помещик и потомственный дворянин Исидор Сидорович Лысаков, вес — 9 п. 20 ф.

Но, конечно, и в данном случае я не спорю. Глазунов — мужчина, прямо скажу, крупный.

А Вагнера я не люблю. Непонятный композитор. Много чересчур в барабан бьют, а толку нету. Я в такие спектакли всегда лучше ухожу или меняюсь. А один раз, мы «Тангейзера» ставили, я ушел, а у меня зрители бинокль сперли. А с бинокля всегда прямой доход. А ежели балет

ставим, так только давай, давай. Неприятности, прямо скажу.

Говорят, будто Юрьев еще хороший артист — не знаю и утверждать боюсь — он у нас в театре не поет.

Григ. Липкин

СВИНСТВО

Ведь вот свинство какое: сколько сейчас существует поэтов, которые драгоценную свою фантазию растрачивают на рифмы да стишки... Ну чтоб таким поэтам объединиться да и издать книжонку на манер наших святцев с полным и подробным перечислением новых имен... Так нет того — не додумались.

А от этого с Иван Петровичем произошла обидная история.

Пришел раз Иван Петрович к заведывающему по делам службы, а тот и говорит:

— Ах, молодые люди, молодые люди! На вас, говорит, вся Европа смотрит, а вы чего делаете?

— А чего? — спрашивает Иван Петрович.

— Да как чего? Вот взять тебя... Ты, например, младенца ждешь... А как ты его назовешь? Небось Петькой назовешь?

— Ну, говорит, а как же назвать-то?

— Эх, молодые люди, молодые люди! — говорит заведывающий.— По-новому нужно назвать. Нужно быть революционером во всем... На вас вся Европа смотрит...

— Что ж,— отвечает Иван Петрович,— я не против. Да только фантазия у меня ослабла. Недостаток, так сказать, воображения... Вот вы, человек образованный, просвещенный, восточный факультет кончили,— посоветуйте. У вас и фантазия, и все такое...

— Пожалуйста,— говорит заведывающий.— У меня фантазии хоть отбавляй. Это верно. Вали, назови, ежели дочка — Октябрина, ежели парнишка — ну... Ну, говорит, как-нибудь да назови. Подумай... Нельзя же без имени ребенка оставить... Вот хоть из явления природы — Луч назови, что ли.

А имя такое — Луч — не понравилось Иван Петровичу.

— Нет, говорит, Луч с отчеством плохо — Луч Иваныч... Лучше, говорит, я после подумаю. Спасибо, что на девчонку надоумили.

Стал после этого Иван Петрович задумываться — как бы назвать. Имен этих приходило в голову множество, но

все такие имена: то они с отчеством плохи, а то и без отчества паршиво звучат.

«Ладно,— решил Иван Петрович,— может, на мое счастье, девчонка народится... Ну а ежели мальчишка, там подумаю. В крайнем случае Лучом назову. Шут с ним. Не мне жить с таким именем...»

Много раз собирался Иван Петрович подумать, да по легкомыслию своему все откладывал — завтра да завтра.

«Чего, думает, я башку раньше времени фантазией засорять буду».

И вот наконец наступило событие. Родилась у Иван Петровича двойня. И все мальчики.

Сомлел Иван Петрович. Два дня с дивана не поднимался — думал, аж голова распухла. А тут еще супруга скулит и торопит:

— Ну как? Ну как?

А Иван Петрович плашмя лежит и руками отмахивается — не приставай, дескать, убью.

А сам самосильно думает:

«Стоп, думает. По порядку буду... Одного назову, ежели это есть мальчик,— Луч, Луч Иваныч. Заметано... Хоть и плохо — сам виноват. Был бы девочкой — другое дело... Другого, ежели это тоже есть мальчик, а не девочка, назову, ну... Эх, думает, хоть бы одна девчонка из двух...»

Пролежал Иван Петрович два дня на диване, и вместо имен стали ему в голову всякие пустяки лезть — вроде насмешки: Стул, Стол Иваныч, Насос Иваныч, Картина Ивановна...

И побежал Иван Петрович с перепугу к заведывающему.

— Выручайте, кричит, вы меня подкузьмили!

— А что? — спрашивает.

— Да как же что! Вся Европа на меня смотрит, а у меня все мальчики... Ну как я их назову?!

Думал, думал заведывающий.

— Вот, говорит, Луна, например, неплохое имя...

Заплакал Иван Петрович.

— Я, говорит, про Луну думал уж. Луна — это женский род... У меня все мальчики.

Стал опять думать заведывающий.

— Нет, говорит, увольте. Фантазии у меня действительно много, но направлена она в иную сторону... Пойдем, говорит, старик, выпьем с горя.

Пошли они в пивную, а там в трактир, а там опять в пивную. И запил Иван Петрович.

Пять дней домой не являлся, а как явился, так уж все

было кончено: одного парнишку назвали Колей, а другого Петей. Этакое свинство.

Вот какая это была история.

А во всем виноваты поэты. У них фантазия.

ЕВРОПА

Любит русский человек побранить собственное отечество. И то ему, видите ли, в России плохо, и это не нравится. А вот, дескать, в Европе все здорово. А что здорово — он и сам не знает.

А ежели он будет говорить про омолаживанье, то плюньте ему в глаза.

Поехал тут один гражданин омолаживаться. А что получилось?.. Пустяки...

А так было. Жил один гражданин в нашем доме в шестом номере. И был этот гражданин до того старенький, что перестал он даже за квартиру платить.

— Чего, говорит, мне деньги переводить зря? Я, говорит, одной ногой в гроб смотрю. Небось, скоро помру — с меня взятки гладки.

Так и не платил.

Уж комендант дома и угрожал старичку, и требовал, и по совести урезонивал, и ябеды писал — не помогает. Старичок только усмехается.

— Сами, говорит, виноваты, что не плачу. Дураки вы, некультурные вы люди. Жил бы я в Европе — омолодили бы меня там и снова бы я стал платить. Даже, говорит, на ремонт крыши бы дал. А так — не желаю.

Так и не платил. И мало того, что не платил, а еще и задирал всех жильцов. Издевался над их некультурностью. И все насчет Европы скулил.

Наконец кто-то посоветовал старичку в Европу ехать.

Так старичок и сделал. Достал себе паспорт, распродал имущество и к осени выехал. Даже не попрощался ни с кем.

И вот поехал старичок в Берлин. И пишет из Берлина письмо в Россию. Вроде как хвалится:

«Сидю, говорит, в Берлине. И на днях буду омолаживаться. А медицина тут поставлена очень отлично — каждая кишка на учете. А как омоложусь, так и деньги вышлю за квартиру за все время. И может быть, на ремонт. До свиданья».

И вот принялся старичок ходить к знаменитым профессорам. Пошел к одному, к другому, к пятому — нет. Не

берутся омолаживать. Один профессор над крысами производит опыты, другой профессор теорией вопроса занят, третий опять на практике крыс омолаживает.

Даже злость взяла старичка.

— Что ж это,— говорит он одному профессору.— Крысы да крысы... Это выходит, что я зря проехался. Что ж, говорит, вы ваньку валяете. Едят вас мухи. Раззвонили на всю планету, а как до дела, так и не можете. Над крысами только...

— Нет,— говорит профессор,— не только над крысами, а и над кроликами, и над морскими свинками, и даже над обезьянами... Но есть всемирно известные профессора, которые и человеков омолаживают.

Дал тут профессор старичку адрес одного знаменитого ученого, который проживал в Гамбурге.

Вот старичок собрался и выехал туда.

А оттуда пишет письмо в Россию.

«Сидю, говорит, в Гамбурге. И скоро буду омолаживаться. Как омоложусь, так и деньги вышлю. Раньше не могу из принципа. До свиданья».

Написал старичок письмо и пошел к знаменитому ученому.

— Здравствуйте, говорит. Вот, говорит, желаю омолодиться. Осчастливьте. Впрысните сыворотку.

— Можно,— говорит ученый,— это вам будет стоить триста английских фунтов.

Подсчитал старичок свои карбованцы, охнул, схватился за голову.

— Ох, говорит, знаменитый профессор, не хватает у меня пол английского фунта, извиняюсь.

— Ну ничего,— говорит ученый,— пущай так. Мне полфунта не расчет. Раздевайтесь.

Разделся старичок и думает:

«Вот, думает, едят его мухи. Он меня омолодит, а я потом с голоду помру без копейки денег. Все ему отдам...»

Подумал-подумал и стал одеваться.

— До свиданья, говорит, я в другой раз зайду. Подумаю.

— Что ж вы вола вертите? — сказал профессор, бросая препарат на стол.

Старичок бочком-бочком да и на лестницу. Бежит по лестнице, вдруг слышит — сзади какой-то человек цыкает.

— Тс,— говорит человек,— вам чего, омолодиться? Я, говорит, устрою. Вот вам адрес ученого. Он хотя и не очень знаменит, но возьмет с вас недорого.

Вот на другой день старичок и пошел к ученому. И действительно, взял этот ученый со старичка недорого, впрыснул ему что следует, а через два дня старичок и ноги протянул — помер.

А с чего помер — неизвестно. Может, ему не в то место впрыснули, куда следует, а может, старичок и сам помер от потрясения.

Вот. А вы говорите — Европа!

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Делопроизводитель Нюхательного треста Игорь Владимирович Козьепупов лежал у себя в комнате на кушетке и весело улыбался. Рядом в соседней комнате, у жены Машеньки, сидят гости. Вернее, не гости, а гость... Какой-то товарищ Ручкин. Машенькин сослуживец.

«Сидит,— думает Козьепупов.— Пускай сидит. Мне от этого ни холодно, ни жарко... Я все-таки новый человек. Современный человек. Так сказать — дитя своего века... Другой муж в три шеи погнал бы этого чертова Ручкина. А я — пожалуйста. Сиди, говори, что хочешь, шепчись... Замыкайся на все запоры... Целуйся... Шут с вами — мне все равно. Я новый человек. Человек новой эпохи».

В соседней комнате гудел густой голос товарища Ручкина. Однако слов нельзя было разобрать.

«Гудит,— думает Козьепупов.— Гуди, собачий нос, гуди. Скажи спасибо, что на такого мужа напал. Другой бы муж за манишку да по лестнице, да по лестнице. Башкой паршивой по лестнице — не лазь, дескать, к чужим женам...»

Козьепупов присел на кушетку и закурил.

«Да-а,— сказал он про себя,— как ни говори, а новые отношения между полами. Полнейшее социальное равенство... Я хоть и делопроизводитель, но я передовой человек. Я даже, ей-богу, к самому себе уважение чувствую. Я новый человек — не знающий ни ревности, ни мещанской собственности... Ведь другой человек мог бы и кислотой плеснуть в поганую рожу этого Ручкина... А по правде сказать, и стоит... Интересно знать, о чем это дерьмо беседует с Машенькой?»

Козьепупов встал с кушетки и тихонько подошел к двери.

— Марья Михайловна,— густо говорил товарищ Ручкин,— вы прелестная дамочка... Дозвольте в ручку поцеловать...

Козьепупов замер у двери.

«Сволочь какая! — удивился он.— А? Дозвольте поцеловать... Другой бы муж за такие слова все кишки бы выпустил, с пятого этажа бы выкинул...»

Козьепупов в волнении отошел от двери и снова прилег на кушетку. Но теперь ему не лежалось.

«Этакая скотина,— думал Козьепупов.— Два часа сидит. Да еще гудит, как прохвост... Хоть бы подумал, что муж в соседней комнате... Я, знаете ли, хоть и новый человек, но если он еще десять минут просидит, то я ему пропишу пфеферу. Я ему все кишки выпущу... Я его, собачьего прохвоста, в зубной порошок разотру».

Козьепупов вскочил с кушетки и принялся шагать по комнате, нарочно стуча каблуками.

— Маша! — вдруг крикнул Козьепупов визгливым голосом.— Маша! Поздно уж... Спать пора!

Густой голос Ручкина прервался на полслове. В комнате стало тихо. Через минуту в дверях показалась Машенька.

— Это нетактично! — сказала она.— Это свинство. Где твои убеждения?..

— А-а, нетактично? — заорал Козьепупов, брызгая слюной.— Нетактично!

Он схватил жену за руку и потащил в комнату, где сидел гость.

— Нетактично! — орал Козьепупов, тыча пальцем в товарища Ручкина.— А два часа сидеть тактично? Я, извиняюсь, товарищ, не из ревности... Я новый, передовой человек, но я покажу, что тактично. Я покажу, где раки зимуют! Вон отсюда! Пошел вон отсюда, дурак собачий...

Гость съежился и, забормотав непонятное, вышел из комнаты, испуганно оглядываясь.

Машенька тихо плакала.

ПИСАТЕЛЬ

Конторщик Николай Петрович Дровишкин давно мечтал сделаться корреспондентом. Он послал даже раз в газету «Красное чудо» письмо с просьбой принять в рабкоры. Но ответа еще не было. И талант Дровишкина пропадал в бездействии.

А Дровишкин был очень талантливый человек. И главное — отличался красноречием. Все знакомые даже удивлялись.

— Голубчик,— говорили знакомые,— да с вашим талантом в газеты нужно писать.

В ответ Дровишкин только усмехался.

«Уж только бы мне попасть в газету,— думал Дровишкин.— Уж я бы написал. Уж я бы с моим талантом черт его знает что бы написал».

И вот однажды, развернув дрожащими руками «Красное чудо», Дровишкин прочел: «Ник. Дровишкину.— Пишите о быте. Ваш № 915».

От радости Дровишкин едва не задохнулся.

— Есть! Принят! Корреспондент «Красного чуда» Николай Дровишкин!

И, едва досидев до четырех, Дровишкин вышел на улицу, презрительно взглянув на начальство.

На улице восторг Дровишкина немного утих.

«О чем же я буду писать? — подумал Дровишкин, останавливаясь.— Как о чем? О быте... Вот, например... Ну что бы? Ну вот, например, милиционер стоит... Почему он стоит? Может, его солнце печет, а сверху никакой покрышки нету... Гм, нет, это мелко...»

Дровишкин пошел дальше и остановился у окна колбасной.

«Или вот о мухах... Мухи на колбасе... Потом трудящиеся кушать будут...»

Дровишкин укоризненно покачал головой и зашел в лавку.

— Как же это так, братцы? — сказал он приказчику.— Мухи у вас на окнах...

— Чего-с?

— Нет, я так. Трудящиеся, говорю, потом кушать будут. После мух... Дайте-ка мне того... полфунтика чайной...

Дровишкин помялся у дверей, положил колбасу в карман и вышел из лавки.

«Нет,— подумал он,— о мухах нельзя — мелко. Нужно взять что-нибудь этакое крупное. Какое-нибудь общественное явление. Факт значительный».

Но ничего значительного Дровишкину не приходило в голову. Даже люди, проходящие мимо него, были самые обыкновенные люди, совершенно непригодные для замечательной статьи.

Настроение у Дровишкина упало.

«О погоде, что ли, написать? — уныло подумал он.— Или про попа, что ли...»

Но, вспомнив, что поп приходится дальним родственником жены, махнул рукой и пошел к дому.

Дома, закрывшись в своей комнате, Дровишкин принялся писать. Писал он долго. И когда кончил — уже начинало светать.

Разбудив жену, Дровишкин сказал:

— Вот, Веруся, послушай-ка. Я хочу знать твое мнение. Это явление из жизни...

Дровишкин сел против жены и стал читать глухим голосом. Статья начиналась туманно, и смысл ее даже самому Дровишкину был неясен, но зато конец был хлесткий:

«И вместо того, чтобы видеть перед окнами ландшафт природы, трудящиеся порой лицезреют перед глазами мокрое белье, которое повешено для просушки. За примером ходить недалеко. Не далее как сегодня, вернувшись после трудового дня, я увидел вышеуказанное белье, среди которого были и дамские принадлежности, и мужское исподнее, что, конечно, не отвечает эстетическим запросам души.

Пора положить этому предел. То, что при старом режиме было обычным явлением, того не должно быть теперь».

— Ну как? — спросил Дровишкин, робко взглянув на жену.— Хорошо?

— Хорошо! — сказала жена.— Только, Коля, ты про какое белье говоришь? Это ведь наше белье перед окнами...

— Наше? — охнул Дровишкин.

— Ну да. Не узнал? Там и твое исподнее.

Дровишкин опустился перед женой и, уткнувшись носом в ее колени, тихонько заплакал.

— Верочка! — сказал Дровишкин, сморкаясь.— Кажется, все у меня есть: и слог красивый, и талант, а вот не могу... И как это пишут люди?

АГИТАТОР

Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню.

— Ну что ж, товарищ Косоносов,— говорили ему приятели перед отъездом,— поедете, так уж вы, того, поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам: вот, мол, авиация развивается... Может, мужички на аэроплан сложатся.

— Это будьте уверены,— говорил Косоносов,— поагитирую. Что другое, а уж про авиацию, не беспокойтесь, скажу.

В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в Совет.

— Вот,— сказал он,— желаю поагитировать. Как я есть приехадши из города, так нельзя ли собрание собрать?

— Что ж,— сказал председатель,— валяйте, завтра соберу мужичков.

На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая.

Косоносов вышел к ним, поклонился и, с непривычки робея, начал говорить дрожащим голосом.

— Так вот, этого...— сказал Косоносов,— авияция, товарищи крестьяне... Как вы есть народ, конечно, темный, то, этого, про политику скажу... Тут, скажем, Германия, а тут Китай. Тут Россия, а тут... вообще...

— Это ты про что, милый? — не поняли мужички.

— Про что? — обиделся Косоносов.— Про авияцию я. Развивается, этого, авияция... Тут Россия, а тут Китай.

Мужички слушали мрачно.

— Не задёрживай! — крикнул кто-то сзади.

— Я не задёрживаю,— сказал Косоносов.— Я про авияцию... Развивается, товарищи крестьяне. Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю...

— Непонятно! — крикнул председатель.— Вы, товарищ, ближе к массам...

Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал:

— Так вот, этого, товарищи крестьяне... Строят еропланы и летают после. По воздуху то есть. Ну, иной, конечно, не удержится — бабахнет вниз. Как это летчик товарищ Ермилкин. Взлететь взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь...

— Не птица ведь,— сказали мужики.

— Я же и говорю,— обрадовался Косоносов поддержке,— известно — не птица. Птица — та упадет, ей хоть бы хрен — отряхнулась и дальше... А тут накось, выкуси... Другой тоже летчик, товарищ Михаил Иваныч Попков. Полетел, все честь честью, бац — в моторе порча... Как бабахнет...

— Ну? — спросили мужики.

— Ей-богу... А то один на деревья сверзился. И висит, что маленький. Испужался, блажит, умора... Разные бывают случаи... А то раз у нас корова под пропеллер сунулась. Раз-раз, чик-чик — и на кусочки. Где роги, а где вообще

брюхо — разобрать невозможно... Собаки тоже, бывает, попадают.

— И лошади? — спросили мужики.— Неужто и лошади, родимый, попадают?

— И лошади,— сказал Косоносов.— Очень просто.

— Ишь черти, вред им в ухо,— сказал кто-то.— До чего додумались! Лошадей крошить... И что ж, милый, развивается это?

— Я же и говорю,— сказал Косоносов,— развивается, товарищи крестьяне... Вы, этого, соберитесь миром и жертвуйте.

— Это на что же, милый, жертвовать? — спросили мужики.

— На ероплан,— сказал Косоносов.

Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.

СТАРАЯ КРЫСА

Подписка на аэроплан шла успешно.

Один из конторщиков, старый воздушный спец, дважды поднимавшийся на колбасе, добровольно ходил по всем отделам и агитировал:

— Товарищи,— говорил спец,— наступает новая эра... Каждое учреждение будет обладать воздушным передвижением в лице аэроплана... Ну и этого... подписывайтесь...

Служащие подписывались охотно. Никто не спорил со спецом. Только в одной канцелярии, в счетном отделе, спецу пришлось столкнуться с упорным человеком. Этот упорный человек был счетовод Тетерькин.

Счетовод Тетерькин иронически усмехнулся и спросил спеца:

— На аэроплан? Гм... А какой же это будет аэроплан? Как же я так — здорово живешь — брошу на него деньги? Я, батенька, старая крыса.

— Позвольте,— кипятился спец,— аэроплан. Ну, обыкновенный аэроплан...

— Обыкновенный,— горько усмехнулся Тетерькин.— А может, он тово, непрочный будет? Может, на нем полетишь, а его ветром шибанет, и пропали денежки? Как же я так, сдуру, ухлопаю на него деньги?.. Я супруге швейную машину покупал, так я, имейте в виду, каждое колесико ощупал... А тут как же? Может, в нем пропеллер не тово, не крутится? А?

— Позвольте,— орал спец,— государственный завод строить будет! Завод!.. Завод!..

— Завод,— иронизировал Тетерькин.— Что ж что завод? Я хоть на колбасе и не поднимался, но я, батенька, старая крыса, знаю. Другой завод денежки возьмет, а толку нету... Да вы не машите на меня руками. Я заплачу. Мне не жалко заплатить... Я ради справедливости говорю. А заплатить... Извольте. Вот я могу даже за Михрютина заплатить — в отпуску он... Пожалуйста.

Тетерькин вынул кошелек, отсчитал по курсу рубль золотом за себя и четвертак за Михрютина, расписался, снова пересчитал деньги и подал спецу.

— Нате... Только условие, батенька: я сам на завод пойду. Все-таки свой глаз — алмаз, а чужой — стеклышко.

Тетерькин долго еще бубнил себе под нос, потом принялся за счеты. Но работать от волнения не мог.

Два месяца после того он не мог работать. Он, как тень, ходил за спецом, подкарауливал его в коридорах, интересовался, как идет подписка, кто сколько дал и где будут строить аэроплан.

Когда деньги были собраны и аэроплан заказан, счетовод Тетерькин, мрачно посмеиваясь, пошел на завод.

— Ну как, братцы? — спросил он рабочих.— Идет дело?

— А вам что? — спросил инженер.

— Как что? — удивился Тетерькин.— Я ухлопал деньги на аэроплан, а он спрашивает... Тут, батенька, аэроплан у вас строится для учреждения... Мне посмотреть нужно.

Тетерькин долго ходил по залу, рассматривал материал, пробовал его даже зубами и качал головой.

— Вы уж того, братцы,— говорил он рабочим,— прочный стройте... Я старая крыса, знаю вас... Все вы мошенники. Сделаете, а потом чего-нибудь этого... пропеллер не будет крутиться... Уж пожалуйста, я, так сказать, материально заинтересован.

Тетерькин обошел еще раз помещение, пообещал зайти и ушел.

Ходил он после того на завод ежедневно. Иногда успевал забежать два раза. Он спорил, ругался. Заставлял менять материал и иногда рассматривал чертежи в кабинете инженера.

— Послушайте,— сказал раз инженер, мучаясь своей деликатностью,— вы уж, пожалуйста, как бы сказать... Мы сделаем, не беспокойтесь... Не ходите зря... иначе мы долж-

ны отказаться от заказа... Вы, как представитель, сами понимаете...

— Позвольте,— сказал Тетерькин,— какой же я представитель? Выдумали тоже. Я частный человек. Ухлопал свои денежки на аэроплан...

— А,— закричал инженер,— не представитель! А сколько, черт раздери, вы ухлопали?

— Сколько?.. Да рубль золотом я ухлопал.

— Как рубль? — испугался инженер.— Рубль?

Инженер открыл стол и бросил Тетеркину деньги.

— Нате, черт раздери вас, нате...

Тетерькин пожал плечами.

— Как вам угодно. Не хотите — не надо. Я не настаиваю. Я и в другом месте закажу. Я старая крыса.

Тетерькин пересчитал деньги, спрятал в карман и ушел. Потом вернулся.

— Еще за Михрютина...— сказал Тетерькин.

— За Михрютина? — дико заорал инженер.— За Михрютина, старая крыса?!

Тетерькин испуганно прикрыл дверь и торопливо пошел к выходу.

— Пропали денежки,— шептал Тетерькин.— Четвертак зажилил, прохвост... А еще инженер...

ЧЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН

(Письмо в милицию)

Состоя, конешно, на платформе, сообщаю, что квартира № 10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит гражданка Гусева и дерет окромя того с трудящихся три шкуры. А когда, например, нетути денег или вообще нехватка хушь бы одной копейки, то в долг нипочем не доверяет, и еще, не считаясь, что ты есть свободный обыватель, пихают в спину.

А еще сообщаю, как я есть честный гражданин, что квартира № 3 тоже, без сомнения, подозрительна по самогону, в каковой вкладывают для скусу, что ли, опенки или, может быть, пельсинные корки, отчего блюешь сверх нормы. А в долг, конешно, тоже не доверяют. Хушь плачь!

А сама вредная гражданка заставляет ждать потребителя на кухне и в помещение, чисто ли варят, не впущает. А в кухне ихняя собачонка, системы пудель, набрасывается на потребителя и рвет ноги. Эта пудель, холера ей в бок,

и мене ухватила за ноги. А когда я размахнулся посудой, чтоб эту пудель, конешно, ударить, то хозяйка тую посуду вырвала у меня из рук и кричит:

— На, говорит, идол, обратно деньги. Не будет тебе товару, ежели ты бессловесную животную посудой мучаешь.

А я, если на то пошло, эту пудель не мучил, а размахивался посудой.

— Что вы, говорю, вредная гражданка! Я, говорю, не трогал вашу пудель. Возьмите свои слова обратно. Я говорю: недопустимо, чтоб пудель рвал ноги.

А гражданка выкинула мне деньги взад, каковые и упали у плите. Деньги лежат у плите, а ихняя пудель насуслила их и не подпущает. Хушь плачь.

Тогда я, действительно, не отрицаю, пихнул животную ногой и схватил деньги, среди каковых один рубль насуслен и противно взять в руки, а с другого объеден номер, и госбанк не принимает. Хушь плачь.

Тогда я обратно, не отрицаю, пихнул пудель в грудку и поскорее вышел.

А теперича эта вредная гражданка меня в квартиру к себе не впущает, и дверь все время, и когда ни сунься, на цепке содержит. И еще, стерва, плюется через отверстие, если я, например, подошедши. А когда я на плевки ихние размахнулся, чтоб тоже по роже съездить или по чем попало, то она, с перепугу, что ли, дверь поскорее хлопнула и руку мне прищемила по локоть.

Я ору благим матом и кручусь перед дверью, а ихняя пудель заливается изнутре. Даже до слез обидно. О чем имею врачебную записку, и, окромя того, кровь и теперя текеть, если, например, ежедневно сдирать болячки.

А еще, окромя этих подозрительных квартир, сообщаю, что трактир «Веселая Долина» тоже, без сомнения, подозрителен. Там меня ударили по морде и запятили в угол.

— Плати, говорят, собачье жало, за разбитую стопку.

А я ихнюю стопку не бил, и, вообще, очень-то нужно мне бить ихние стопки.

— Я, говорю, не бил стопку. Допустите, говорю, докушать бутерброть, граждане.

А они меня тащат и тащат и к бутербротю не подпущают. Дотащили до дверей и кинули. А бутерброть лежит на столе. Хушь плачь.

А еще, как честный гражданин, сообщаю, что девица Варька Петрова есть подозрительная и гулящая. А когда я к Варьке подошедши, так она мной гнушается.

Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите.

Теперича еще сообщаю, что заявление мной проверено, как я есть на платформе и против долой дурман, хоша и уволен по сокращению за правду.

А еще прошу, чтоб трактир «Веселую Долину» пока чтоб не закрывали. Как я есть еще больной и не могу двинуться. А вскоре, без сомнения, поправлюсь и двинусь. Бутерброть тоже денег стоит.

ПРОТОКОЛ

Дежурный милиционер обмакнул перо в чернильницу и сказал:

— Тс, граждане... не напирайте... по порядку говори... который кого пихнул?

— Это он его пихнул,— сказала тетка, протискиваясь к столу.— Он его пихнул... У-у, говорит, чертова мама.

Человек с мешком, на которого показала тетка, стоял спокойно, мрачно посапывая носом. Рядом стояли потерпевший и несколько свидетелей.

Потерпевший разводил руками и сконфуженно бормотал:

— Да рази я что?.. Да я ничего... Это народ хочет... Свидетели.

— Он его пихнул,— снова сказала тетка.— Пихнул, а после и говорит: у-у, чертова мама... Я насупротив в трамвае сидела, конечно. Я к племяннику ехала в село Смоленское.

— Тс...— сказал дежурный,— обождь, тетка.

— Чего обождь? — огорчилась тетка.— Чего обождь-то? Прошло то время, чтоб днем народ пихали. Напихались.

— Тс... Засохни,— сказал дежурный, снова обмакивая перо.— Ты кто такая?

— Я-то? — спросила тетка.— Свидетели мы... К племяннику ехали... Это немыслимо, чтоб днем пихать. Может, он до смерти бы пихнул... А может, у меня племянник в комячейке служит...

— Обожди, тетка,— сказал милиционер,— не тебя ведь пихнули... Спросят тебя. Вали помалкивай.

— А хотя бы и не меня...

— Тс... Вас пихнули? — спросил милиционер потерпевшего.

— Меня...— сказал потерпевший.— Да только я что...

Я ничего. Ну, пихнули. Эка штука. В трамвае ведь. Это свидетели требуют: иди, говорят, обязательно в милицию.

— Извиняюсь, пардон,— сказал один из свидетелей.— Я тоже видел... Нельзя допустить... Протокол чтобы...

— Я же и говорю,— снова запела тетка,— протокол, обязательно даже протокол... А гражданин милиционер на меня цыкает... Я до самого центра дойду... Это немыслимо, чтобы среди дня...

Милиционер в третий раз обмакнул перо и принялся писать протокол, время от времени спрашивая: фамилья... пол... бывшее звание... Писал дежурный долго, старательно выводя буквы. Потом спросил:

— А где было? В каком месте?

— В трамвае,— сказала тетка,— в трамвае, товарищ. Я же и говорю: в трамвае, батюшка... Я в село Смоленское ехала. Где ж еще иначе... К племяннику я ехала...

— Место, улица?

— По Семеновской проезжали...

— Фю-ю,— сказал милиционер, кладя перо.— По Семеновской? Не наш это район. Это, граждане, второй район. Вали туда...

— Как это? — спросили свидетели.— Уж раз написано, так чего же...

— Во второй район.

— А если б меня убили?

— Где убили?

— Где еще... На Семеновской...

— Второй район.

— И пойдем! — воскликнула тетка.— И пойдем, граждане. Это немыслимо, чтоб оставить... Где потерпевший?

Потерпевшего не было. Он исчез, воспользовавшись заминкой. Молчавший до сего времени гражданин с мешком возмутился.

— Ты что ж это,— сказал он, обращаясь к тетке,— ты что ж это юбкой-то вертишь?

— Кто вертит? — запела тетка, снова устанавливая свою корзину на стол.— Кто вертит-то?

— Да ты вертишь. Первая начала бузу, чертова мама...

Тетка всплеснула руками.

— Граждане, да что ж это,— сказала она,— ругает ведь.

— Вот теперь можно,— сказал милиционер, обмакнув в четвертый раз перо.— Теперь наш район. Писать, что ли, протокол?

— Позвольте,— воскликнула тетка,— да за что же про-

токол-то? Товарищ милиционер, будьте благодетелем... За что же... Мы чинно, мирно беседуем...

Тетка взяла корзину и пошла к выходу. Свидетели исчезли постепенно. Гражданин с мешком остался один. Он долго и без всякой на то нужды расспрашивал милиционера, где второй район, потом махнул рукой и, мрачно посапывая носом, вышел.

БЕДА

Егор Иваныч, по фамилии Глотов, мужик из деревни Гнилые Прудки, два года копил деньги на лошадь. Питался худо, бросил махорку, а что до самогона, то забыл, какой и вкус в нем. То есть как ножом отрезало — не помнит Егор Иваныч, какой вкус, хоть убей.

А вспомнить, конечно, тянуло. Но крепился мужик. Очень уж ему нужна была лошадь.

«Вот куплю, думал, лошадь и клюкну тогда. Будьте покойны».

Два года копил мужик деньги и на третий подсчитал свои капиталы и стал собираться в путь.

А перед самым уходом явился к Егору Иванычу мужик из соседнего села и предложил купить у него лошадь. Но Егор Иваныч предложение это отклонил. И даже испугался.

— Что ты, батюшка! — сказал он.— Я два года солому жрал — ожидал покупки. А тут на-кося — купи у него лошадь. Это вроде как и не покупка будет... Нет, не пугай меня, браток. Я уж в город лучше поеду. По-настоящему чтобы.

И вот Егор Иваныч собрался. Завернул деньги в портянку, натянул сапоги, взял в руки палку и пошел.

А на базаре Егор Иваныч тотчас облюбовал себе лошадь.

Была эта лошадь обыкновенная, мужицкая, с шибко раздутым животом. Масти она была неопределенной — вроде сухой глины с навозом.

Продавец стоял рядом и делал вид, что он ничуть не заинтересован, купят ли у него лошадь.

Егор Иваныч повертел ногой в сапоге, ощупал деньги и, любовно поглядывая на лошадь, сказал:

— Это что ж, милый, лошадь-то, я говорю, это самое, продаешь ай нет?

— Лошадь-то? — небрежно спросил торговец.— Да уж продаю, ладно. Конечно, продаю.

Егор Иваныч тоже хотел сделать вид, что он не нуждается в лошади, но не утерпел и сказал, сияя:

— Лошадь-то мне, милый, вот как требуется. До зарезу нужна мне лошадь. Я, милый ты мой, три года солому жрал, прежде чем купить ее. Вот как мне нужна лошадь... А какая между тем цена будет этой твоей лошади? Только делом говори.

Торговец сказал цену, а Егор Иваныч, зная, что цена эта не настоящая и сказана, по правилам торговли, так, между прочим, не стал спорить. Он принялся осматривать лошадь. Он неожиданно дул ей в глаза и в уши, подмигивая, прищелкивая языком, вилял головой перед самой лошадиной мордой и до того запугал тихую клячу, что та, невозмутимая до сего времени, начала тихонько лягаться, не стараясь, впрочем, попасть в Егор Иваныча.

Когда лошадь была осмотрена, Егор Иваныч снова ощупал деньги в сапоге и, подмигнув торговцу, сказал:

— Продается, значится... лошадь-то?

— Можно продать,— сказал торговец, несколько обижаясь.

— Так... А какая ей цена-то будет? Лошади-то?

Торговец сказал цену, и тут начался торг.

Егор Иваныч хлопал себя по голенищу, дважды снимал сапог, вытаскивая деньги, и дважды надевал снова, божился, вытирал рукой слезы, говорил, что он шесть лет лопал солому и что ему до зарезу нужна лошадь — торговец сбавлял цену понемногу. Наконец в цене сошлись.

— Бери уж, ладно,— сказал торговец.— Хорошая лошадь. И масть крупная, и цвет, обрати внимание, какой заманчивый.

— Цвет-то... Сомневаюсь я, милый, в смысле лошадиного цвету,— сказал Егор Иваныч.— Неинтересный цвет... Сбавь немного.

— А на что тебе цвет? — сказал торговец.— Тебе что, пахать цветом-то?

Сраженный этим аргументом, мужик оторопело посмотрел на лошадь, бросил шапку наземь, задавил ее ногой и крикнул:

— Пущай уж, ладно!

Потом сел на камень, снял сапог и вынул деньги. Он долго и с сожалением пересчитывал их и подал торговцу, слегка отвернув голову. Ему было невыносимо смотреть, как скрюченные пальцы разворачивали его деньги.

Наконец торговец спрятал деньги в шапку и сказал, обращаясь уже на «вы»:

— Ваша лошадь... Ведите...

И Егор Иваныч повел. Он вел торжественно, цокал языком и называл лошадь Маруськой. И только когда прошел площадь и очутился на боковой улице, понял, какое событие произошло в его жизни. Он вдруг скинул с себя шапку и в восторге стал давить ее ногами, вспоминая, как хитро и умно он торговался. Потом пошел дальше, размахивая от восторга руками и бормоча:

— Купил!.. Лошадь-то... Мать честная... Опутал его... Торговца-то...

Когда восторг немного утих, Егор Иваныч, хитро смеясь себе в бороду, стал подмигивать прохожим, приглашая их взглянуть на покупку. Но прохожие равнодушно проходили мимо.

«Хоть бы землячка для сочувствия... Хоть бы мне землячка встретить»,— подумал Егор Иваныч.

И вдруг увидел малознакомого мужика из дальней деревни.

— Кум! — закричал Егор Иваныч.— Кум, поди-кось поскорей сюда!

Черный мужик нехотя подошел и, не здороваясь, посмотрел на лошадь.

— Вот... Лошадь я, этово, купил! — сказал Егор Иваныч.

— Лошадь,— сказал мужик и, не зная, чего спросить, добавил: — Стало быть, не было у тебя лошади?

— В том-то и дело, милый,— сказал Егор Иваныч,— не было у меня лошади. Если б была, не стал бы я трепаться... Пойдем, я желаю тебя угостить.

— Вспрыснуть, значит? — спросил земляк, улыбаясь.— Можно. Что можно, то можно... В «Ягодку», что ли?

Егор Иваныч качнул головой, хлопнул себя по голенищу и повел за собой лошадь. Земляк шел впереди.

Это было в понедельник. А в среду утром Егор Иваныч возвращался в деревню. Лошади с ним не было. Черный мужик провожал Егор Иваныча до немецкой слободы.

— Ты не горюй,— говорил мужик.— Не было у тебя лошади, да и эта не лошадь. Ну, пропил — эка штука. Зато, браток, вспрыснул. Есть что вспомнить.

Егор Иваныч шел молча, сплевывая длинную желтую слюну.

И только когда земляк, дойдя до слободы, стал прощаться, Егор Иваныч сказал тихо:

— А я, милый, два года солому лопал... зря...

Земляк сердито махнул рукой и пошел назад.

— Стой! — закричал вдруг Егор Иваныч страшным голосом.— Стой! Дядя... милый!

— Чего надо? — строго спросил мужик.

— Дядя... милый... братишка,— сказал Егор Иваныч, моргая ресницами.— Как же это? Два года ведь солому зря лопал... За какое самое... За какое самое это... вином торгуют?

Земляк махнул рукой и пошел в город.

ЖЕРТВА РЕВОЛЮЦИИ

Ефим Григорьевич снял сапог и показал мне свою ногу. На первый взгляд, ничего в ней особенного не было. И только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины.

— Заживают,— с сокрушением сказал Ефим Григорьевич.— Ничего не поделаешь — седьмой год все-таки пошел.

— А что это? — спросил я.

— Это? — сказал Ефим Григорьевич.— Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться: и я, дескать, участвовал в революции, и я, мол, кровь проливал и собой жертвовал. Ну а у меня все-таки явные признаки. Признаки не соврут... Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой — я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен революционным мотором.

Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал:

— Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так чтобы как прохожий или там какая-нибудь мелкая пешка, по своей невнимательности или слабости зрения, напротив — я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию. Вы бывшего графа Орешина не знали?

— Нет.

— Ну так вот... У этого графа я и служил. В полотерах... Хочешь не хочешь, а два раза натри им пол. А один раз, конечно, с воском. Очень графы обожали, чтобы с воском. А по мне, так наплевать — только расход лишний. Хотя, конечно, блеск получается. А графы были очень богатые и в этом смысле себя не урезывали.

Так вот такой был, знаете ли, случай: натер я им полы, скажем, в понедельник, а в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция, а во вторник, за четыре дня до революции, бежит ко мне ихний швейцар и зовет:

— Иди, говорит, кличут. У графа, говорит, кража и пропажа, а на тебя подозрение. Живо! А не то тебе голову отвернут.

Я пиджачишко накинул, похряпал на дорогу — и к ним.

Прибегаю. Вваливаюсь, натурально, в комнаты.

Гляжу — сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками бьет.

Увидела она меня и говорит сквозь слезы:

— Ах, говорит, Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики, девяносто шестой пробы, обсыпанные брильянтами?

— Что вы, говорю, что вы, бывшая графиня! На что, говорю, мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, говорю. Извините за выражение.

А она рыдает.

— Нет, говорит, не иначе как вы сперли, комси-комса.

И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает:

— Я, говорит, чересчур богатый человек, и мне раз плюнуть и растереть ваши бывшие часики, но, говорит, это дело я так не оставлю. Руки, говорит, свои я не хочу пачкать о ваше хайло, но подам ко взысканию, комси-комса. Ступай, говорит, отселева.

Я, конечно, посмотрел в окно и вышел.

Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики.

И лежу я день и два — пищу перестал вкушать и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики.

И вдруг — на пятый день — как ударит меня что-то в голову.

«Батюшки, думаю, да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре, думал, медальон, и пихнул».

Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав даже, побежал на улицу. А жил бывший граф на Офицерской улице.

И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? С чего бы энто, думаю.

Спрашиваю у прохожих. Отвечают:

— Вчера произошла Октябрьская революция.

Поднажал я — и на Офицерскую.

Прибегаю к дому. Толпа. И тут же мотор стоит. И сразу меня как-то осенило: не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит... Ну ладно. Подошел я ближе, спрашиваю:

— Чего тут происходит?

— А это,— говорят,— мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем. Ликвидируем этот класс.

И вдруг вижу я — ведут. Бывшего графа ведут в мотор. Растолкал я народ, кричу:

— В кувшинчике, кричу, часики ваши, будь они прокляты! В кувшинчике с пудрой.

А граф, стерва, нуль на меня внимания и садится.

Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как зашуршит в тую минуту, как пихнет меня колесьями в сторону.

«Ну, думаю, есть одна жертва».

Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел сапог и сказал:

— Вот-с, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал в свое время и являюсь, так сказать, жертвой революции. Конечно, я не то чтобы этим задаюсь, но я не позволю никому над собой издеваться. А между прочим, председатель жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных метрах, да еще тое место, где комод стоит,— тоже. Да еще издевается: под комодом, говорит, у вас расположено около полметра пола. А какие же это полметра, ежели это место комодом занято? А комод — хозяйский.

АРИСТОКРАТКА

Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, говорю, ты, гражданка? Из какого номера?

— Я, говорит, из седьмого.

— Пожалуйста, говорю, живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действуют?

— Да, отвечает, действуют.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно.

Ну а раз она мне и говорит:

— Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, говорю, действует ли тут водопровод?

— Не знаю, говорит.

И сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг нее и предлагаю:

— Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое что на

три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье.

Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет, говорит, мы привыкшие.

И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, говорю, взад!

А она испужалась. Открыла рот. А во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, говорю, к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.

— С вас, говорит, за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как, говорю, за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.

— Нету, отвечает, хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.

— Как, говорю, надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.

Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось,— народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушайте, говорю, гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай, говорит, я докушаю.

И докушал, сволочь. За мои-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.

А я говорю.

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО

Бывший швейцар Ефим Щуркин два года мотался по всем учреждениям — искал службу. И наконец нашел по своей специальности.

Устроил ему место родной племянник Мишка Гусев. Ефим Щуркин в свое время его по щекам бил и за уши рвал, а теперь это шишка, не переплюнешь.

Очень интересно Щуркину было разговаривать с Мишкой. Сидел Мишка в кабинете и курил папироски. А Щуркин стоял возле и, пытаясь разговаривать с легкостью, почтительно кланялся.

Но легкий разговор не удавался. Мишка Гусев вел себя строго и для солидности не выпускал даже пера из рук.

— Что ж, товарищ дядя,— говорил Мишка строгим голосом,— валяйте, устраивайтесь. Место это легкое, нетрудное. А которые люди думают, что эта должность унижает человеческое достоинство, то напротив того... Смотря как держать себя...

— Я держать себя знаю,— уныло сказал Щуркин.— Я пятнадцать лет в швейцарах был...

— Это не разговор,— нахмурился Мишка.— Что было, то забудьте. Вы, как есть бывший швейцар, должны знать, что теперя не та механика... И глядите, товарищ дядя, чтоб на чай не брать. И почтительность чтоб не распущать, как раньше. Конечно, это не то чтоб по роже людей бить, но достоинство свое не унижайте и соответствуйте своему назначению.

— Ты меня не учи,— сказал Щуркин,— я сам знаю свое достоинство.

— А если так, то валяйте, товарищ дядя,— приступайте к своим обязанностям.

Мишка обмакнул перо в чернильницу, желая этим показать, что аудиенция кончена.

Щуркину хотелось еще поговорить кое о чем таким же строгим официальным тоном, но он не посмел и, кашлянув, вышел из кабинета, осторожно ступая на носки.

А на другой день Ефим Щуркин приступил к своим обязанностям.

Он вычистил кирпичом дверные ручки, обтер сырой тряпкой зашарканную лестницу и, мрачно посмеиваясь в усы, присел на табурет подле дверей.

«Ладно,— думал Щуркин про своего племянника,— молодой, а учить меня вздумал. Достоинство, говорит, не потеряй. А я сам знаю свое достоинство. Я, товарищ Мишка Гусев, никому не позволю себя унизить. А которые, может, думают, что двери им настежь открывать буду,— забудьте... Я свое достоинство наобум знаю. Оставьте беспокоиться, товарищ Мишка...»

Четырех часов Ефим Щуркин ждал с нетерпением. В четыре часа служащие кончали работу.

— Ладно уж, выходи,— бормотал Щуркин.— Выходи, кончай работу. По роже мы вас бить не станем, но унизить не допустим... Выходи уж.

В четыре ровно Щуркин взял газету и, присев на табурет, вытянул свои ноги. И принялся читать.

Служащие сначала выходили по одному.

— Выходи, выходи,— бормотал Щуркин, подмигивая,— жди, что двери открою, ожидай кукиш с маслом...

Служащие с удивлением смотрели на развалившуюся фигуру и осторожно обходили протянутые щуркинские ноги. Один из служащих, слегка споткнувшись, извинился и шмыгнул в дверь.

«Извиняются,— радостно подумал Щуркин.— А небось раньше бы в рожу дал. Будет, прошло времечко».

Служащие выходили все гуще, мелькали перед щуркинскими глазами, хлопали тяжелой дверью.

— Мелькай, мелькай,— бормотал Щуркин.— Это ваше дело — мелькать... Устраивай сквозняки́. Простужай человека. Унижай личность...

Какой-то служащий, перешагнув через ноги Ефима Щуркина, вышел на улицу, не прикрыв за собой дверь.

— Двери! — заорал Щуркин, выбегая вслед за служа-

щим.— Двери закрывай! Тут вам нет горничных. Черт собачий.

Служащий испуганно обернулся и, покорно закрыв двери, пошел дальше, с беспокойством оглядываясь назад.

— Так его,— весело смеялся Щуркин.

Маленькая девица-машинистка, наряженная обезьяной, подошла к двери и осторожно потрогала ее пальцем, пытаясь открыть. Дверь не поддавалась.

— Обожди,— сказал Щуркин, прижимая дверь ногой.— Обожди тут. Наберется партия в десять человек — пущу тогда.

У девицы от обиды задрожал подбородок, и Щуркин, боясь, что она заплачет, нехотя выпустил ее.

«Надо будет записку присобачить к дверям,— подумал Щуркин,— дескать, так и так — выходить партиями».

Щуркин пошел в свою каморку и, достав бумагу, принялся выводить:

«Выходить партиями. По десять персон. Привратник Ефим Щуркин».

Однако записку эту Щуркину не удалось присобачить к дверям. Он был вызван к Мишке Гусеву.

Мишка Гусев долго Щуркина не задерживал. Он дал ему денег и строгим официальным тоном приказал ехать в деревню.

Щуркину хотелось поговорить на официальные темы, но он снова не посмел и, вернувшись к себе, принялся собирать свои вещи, бросая их в мешок и сплевывая от обиды туда же.

ЖЕНИХ

На днях женился Егорка Басов. Взял он бабу себе здоровую, мордастую, пудов на пять весом. Вообще, повезло человеку.

Перед тем Егорка Басов три года ходил вдовцом — никто не шел за него. А сватался Егорка чуть не к каждой. Даже к хромой солдатке из местечка. Да дело расстроилось из-за пустяков.

Об этом сватовстве Егорка Басов любил поговорить. При этом врал он неимоверно, всякий раз сообщая все новые и удивительные подробности.

Все мужики наизусть знали эту историю, но при всяком удобном случае упрашивали Егорку рассказать сначала, заранее давясь от смеха.

— Так как же ты, Егорка, сватался-то? — спрашивали мужики, подмигивая.

— Да так уж,— говорил Егорка,— обмишурился.

— Заторопился, что ли?

— Заторопился,— говорит Егорка.— Время было, конечно, горячее — тут и косить, тут и носить, и хлеб собирать. А тут, братцы мои, помирает моя баба. Сегодня она, скажем, свалилась, а завтре ей хуже. Мечется, и бредит, и с печки падает.

— Ну,— говорю я ей,— спасибо, Катерина Васильевна, без ножа вы меня режете. Не вовремя помирать решили. Потерпите, говорю, до осени, а осенью помирайте.

А она отмахивается.

Ну, позвал я, конечно, лекаря. За пуд овса. Лекарь пересыпал овес в свой мешок и говорит:

— Медицина, говорит, бессильна что-либо предпринять. Не иначе как помирает ваша бабочка.

— От какой же, спрашиваю, болезни? Извините за нескромный вопрос.

— Это, говорит, медицине опять-таки неизвестно.

Дал все-таки лекарь порошки и уехал.

Положили мы порошки за образа — не помогает. Брендит баба, и мечется, и с печки падает. И к ночи помирает.

Взвыл я, конечно. Время, думаю, горячее — тут и носить, тут и косить, а без бабы немыслимо. Чего делать — неизвестно. А ежели, например, жениться, то опять-таки на ком это жениться? Которая, может, и пошла бы, да неловко ей наспех. А мне требуется наспех.

Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал.

Приезжаю в местечко. Хожу по знакомым.

— Время, говорю, горячее, разговаривать много не приходится, нет ли, говорю, среди вас какой ни на есть захудалой бабочки, хотя бы слепенькой. Интересуюсь, говорю, женитьбой.

— Есть, говорят, конечно, но время горячее, браком никто не интересуется. Сходите, говорят, к Анисье, к солдатке, может, ту обломаете.

Вот я и пошел.

Прихожу. Смотрю — сидит на сундуке баба и ногу чешет.

— Здравствуйте, говорю. Перестаньте, говорю, чесать ногу — дело есть.

— Это, отвечает, одно другому не мешает.

— Ну, говорю, время горячее, спорить с вами много не приходится, вы да я — нас двое, третьего не требуется, окрутимся, говорю, и завтра выходите на работу снопы вязать.

— Можно, говорит, если вы мной интересуетесь.

Посмотрел я на нее. Вижу — бабочка ничего, что надо, плотная, и работать может.

— Да, говорю, интересуюсь, конечно. Но, говорю, ответьте мне, все равно как на анкету, сколько вам лет от роду?

— А лет, отвечает, не так много, как кажется. Лета мои не считаны. А год рождения, сказать — не соврать, одна тыща восемьсот восемьдесят шестой.

— Ну, говорю, время горячее, долго считать не приходится. Ежели не врете, то ладно.

— Нет, говорит, не вру, за вранье бог накажет. Собираться, что ли?

— Да, говорю, собирайтесь. А много ли имеете вещичек.

— Вещичек, говорит, не так много: дыра в кармане да вошь на аркане. Сундучок да перина.

Взяли мы сундучок и перину на телегу. Прихватил я еще горшок и два полена, и поехали.

Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундучке трясется и планы решает — как жить будет, да чего ей стряпать, да не мешало бы, дескать, в баньку сходить — три года не хожено.

Наконец приехали.

— Вылезайте, говорю.

Вылезает бабочка с телеги. Да смотрю, как-то неинтересно вылезает — боком и вроде бы хромает на обе ноги. Фу ты, думаю, глупость какая!

— Что вы, говорю, бабочка, вроде бы хромаете?

— Да нет, говорит, это я так, кокетничаю.

— Да как же, помилуйте, так? Дело это серьезное, ежели хромаете. Мне, говорю, в хозяйстве хромать не требуется.

— Да нет, говорит, это маленько на левую ногу. Полвершка, говорит, всего и нехватка.

— Пол, говорю, вершка или вершок — это, говорю, не речь. Время, говорю, горячее — мерить не приходится. Но, говорю, это немыслимо. Это и воду понесете — расплескаете. Извините, говорю, обмишурился.

— Нет, говорит, дело заметано.

— Нет, говорю, не могу. Все, говорю, подходит: и мор-

доворот ваш мне нравится, и лета — одна тыща восемьсот восемьдесят шесть, но не могу. Извините — промигал ногу.

Стала тут бабочка кричать и чертыхаться, драться, конечно, полезла, не без того. А я тем временем выношу полегоньку имущество на двор.

Съездила она меня раз или два по морде — не считал, а после и говорит:

— Ну, говорит, стручок, твое счастье, что заметил. Вези, говорит, назад.

Сели мы в телегу и поехали.

Только не доехали, может, семи верст, как взяла меня ужасная злоба.

«Время, думаю, горячее, разговаривать много не приходится, а тут извольте развозить невест по домам».

Скинул я с телеги ейное имущество и гляжу, что будет. А бабочка не усидела и за имуществом спрыгнула. А я повернул кобылку — и к лесу.

А на этом дело кончилось.

Как она дошла домой с сундуком и с периной, мне неизвестно. А только дошла. И через год замуж вышла. И теперь на сносях.

ПОСЛЕДНЕЕ РОЖДЕСТВО

Давненько я не праздновал рождества.

В последний раз это было лет семь назад.

Перед самым рождеством выехал я к своим родным в Петроград. Мне не повезло: на какой-то пустяковой станции пришлось ночевать. Поезд опаздывал часов на двенадцать.

А станция была действительно пустяковая — не было даже буфета.

Сторож, впрочем, хвалился, что буфет «обнакновенно есть, но покеда», по случаю праздников,— нет. Утешение было среднее.

На этой станции нас, горемычных путников, было человек двенадцать. Тут был и какой-то купец-рыбник с бородой, два студента, и какая-то женщина в старомодной ротонде, с двумя чемоданами, и прочий неизвестный мне люд.

Все покорно сидели за столом в маленькой зальце, и только в купце бушевала злоба. Он вскакивал из-за стола,

бежал в дежурную, и нам было слышно, как голос его злобно повизгивал и повышался.

Кто-то из начальства отвечал спокойно:

— Не могу знать... В восемь утра... Не раньше.

Среди пассажиров был еще очень опрятного вида старичок в шубке и в высокой меховой шапке. Сначала старичок, добродушно посмеиваясь, утешал пассажиров, ласково глядя им в глаза, потом принялся подпевать тихим козлиным тенорком: «Рождество твое, Христе боже наш».

Это был старичок совершенно набожного вида. Добродушие и кротость были заметны во всяком его движении.

Он сидел на стуле и, покачиваясь в такт, пел «Рождество твое». Но вдруг сорвался со стула и исчез со станции... Через несколько минут он вернулся, держа в руке еловый сучок.

— Вот! — сказал старичок с восторгом, подходя к столу.— Вот, милостивые государи, и у нас елка.

И старичок принялся втыкать елку в графин, тихо подпевая: «Рождество твое, Христе боже наш».

— Вот, милостивые государи,— снова сказал старичок, несколько отходя от стола и любуясь своей работой.— В этот торжественный день, по чьим-то грехам, вынуждены мы тут сидеть яко благ, яко наг...

Пассажиры с неудовольствием и раздражением смотрели на суетливую фигурку старика.

— Да,— продолжал старичок,— по чьим-то грехам... Православные христиане, этот торжественный день мы, конечно, привыкли проводить среди своих друзей и приятелей. Мы привыкли смотреть, как наши маленькие детки прыгают в неописуемом восторге вокруг рождественской елки... Нам нравится, милостивые государи, по человеческим слабостям, откушать в этот день и ветчинки с зеленым горошком, и кружок-другой колбасы, и ломтик гуся, и рюмашечку чего-нибудь этого...

— Тьфу! — сказал рыботорговец, с омерзением глядя на старичка.

Пассажиры задвигались на стульях.

— Да, милостивые государи,— продолжал старичок тончайшим голосом,— привыкли мы проводить этот день в торжестве, но если нет, то не пойдешь против бога... Говорят, тут неподалеку существует церковка... Пойду я туда... Пойду, милостивые государи, пролью слезу и поставлю свечечку...

— Послушайте,— сказал торговец,— а может, тут чем разжиться можно? Может, в самом деле, тут этого... ветчинки раздобыть можно? Ежели расспросить.

— Полагаю, что можно,— сказал старичок,— за деньги, милостивые государи, все можно. Ежели собраться...

Купец вынул бумажник и, хлопнув об стол, стал отсчитывать. Пассажиры с радостью заворочались на стульях, вытаскивая свои деньги...

Через несколько минут, подсчитав собранные деньги, старичок с восторгом объявил, что хватит за глаза и на еду, и на питье, и на прочее.

— Только вы недолго,— сказал торговец.

— Поставлю свечечку,— сказал старичок,— пролью слезу, расспрошу у православных христиан, где купить, и назад... За кого, милостивые государи, поставить свечечку?

— Поставьте за меня,— сказала женщина в ротонде, роясь в кошельке и протягивая деньги.

Денег от нее старичок не взял.

— Нет, сударыня,— сказал он,— позвольте уж мне из своих скромных средств сделать христианское дело. За кого еще?

— Ну и за меня тогда,— сказал купец, пряча свой бумажник.

Старичок кивнул головой и вышел. «Рождество твое, Христе боже наш»,— услышали мы его голос.

— Какой божественный старичок! — сказал торговец.

— Удивительный старичок,— поддержал кто-то.

И пассажиры с восторгом стали рассуждать о старичке.

Прошел час. Потом два. Потом часы пробили пять. Старичок не шел. В семь часов утра его тоже не было.

Половина восьмого — подали поезд, и пассажиры бросились занимать места.

Поезд тронулся.

Было еще темновато. Вдруг мне показалось, что за углом станции мелькнула знакомая фигура старичка.

Я бросился к окну. Старичок скрылся.

Я вышел на площадку — и вдруг явственно услышал знакомый козлиный тенорок: «Рождество твое, Христе боже наш».

Это было мое последнее рождество.

Сейчас к религии я отношусь как-то скептически.

СОБАЧИЙ НЮХ

У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.

Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.

— Шуба-то, говорит, больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду.

И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища — коричневая, морда острая и несимпатичная.

Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону — и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает.

Рухнула бабка на колени перед агентом.

— Да, говорит, попалась. Не отпираюсь. И, говорит, пять ведер закваски — это так. И аппарат — это действительно верно. Все, говорит, находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.

Ну, народ, конечно, ахнул.

— А шуба? — спрашивают.

— Про шубу, говорит, ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное — это так. Ведите меня, казните.

Ну, увели бабку.

Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «пс» и отошел.

Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.

Побелел управдом, упал навзничь.

— Вяжите, говорит, меня, люди добрые, сознательные граждане. Я, говорит, за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.

Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И теребит его за штаны.

Побледнел гражданин, свалился перед народом.

— Виноват, говорит, виноват. Я, говорит, это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!

Растерялся народ.

«Что, думает, за такая поразительная собака?»

А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту.

— Уводи, говорит, свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай, говорит, пропадает енотовая шуба. Пес с ней...

А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.

Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.

Заблекотал купец, побледнел.

— Ну, говорит, бог правду видит, если так. Я, говорит, и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, говорит, братцы, не моя. Шубу-то, говорит, я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю!

Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих — кто подвернулся — и держит.

Покаялись эти. Один казенные денежки в карты проиграл, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко.

Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.

И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой.

— Кусайте, говорит, меня, гражданка. Я, говорит, на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру...

Чего было дальше — неизвестно. Я от греха поскорее смылся.

БАРОН НЕКС

Я, братцы мои, никогда особенно не любил баронов и графов, но в своей жизни я все-таки встретил одного умилительного барончика. Я и теперь, как вспомню о нем, так смеюсь, будто меня щекотят под мышками.

Фамилия-то у него немецкая, но был он русский человек по всем статьям. И даже мужиков любил.

А поехал я к нему в имение, в Орловскую губернию. И не один я, а трое нас поехало — спецов-водопроводчиков: я, Василь Тарасович да еще мастерок мальчишка Васька.

Приехали. Делов, видим, на копейку — трубы провести по саду. Только и всего. Втроем, положа руку на сердце, и делать нечего. А условие — на месяц.

Ладно. Работаем. Пища не плохая, чудная. Воздух и все такое — сущая благодать.

Но только проходит три дня — начали мы между собой обижаться и роптать. Что такое? Не отстает от нас барон ни на шаг. Утром мы на работу — тут барон. Мы в сторону — и барон в сторону. Ходит мелкими шажками по аллейкам и цветы нюхает.

Хорошо. Мы на кухню — барон за нами. Мы за стол — и он садится. И сидит, что заяц. И на нас смотрит.

«Тьфу ты, думаем, в рот ему клоп! Неужели же не доверяет и следит, чтоб свинцовую трубу у него не сперли?»

Вот раз мы вышли на работу, а Василь Тарасович подмигнул нам и вдруг к барону подходит. А в руке у него лопата.

Становится он к барону грудь к груди и говорит:

— Здравствуйте. Всем, говорит, мы довольны и премного вам благодарны, и все нам тут вокруг нравится, и делов на копейку, но, говорит, ежели вы к нам недоверие имеете и над нами держите контроль в смысле свинцовых труб, то мы к тому не привыкши. Раз условие — исполним. А вам нечего ходить позади да цветки нюхать.

Сказал — и лопату влево бросил: дескать, счастливо оставаться, прощайте.

Смотрим — барон осунулся сразу, заморгал очками и говорит тихим басом:

— Что вы, говорит, братцы. Да рази я что? Я ничего. Рази я контроль держу? Нет, говорит, просто чувствую я себя в вашем мужицком обществе молодцом. У меня, говорит, и аппетит является, и сон, и бодрость. Вы, говорит, уж позвольте мне вокруг вас находиться! Уж не обижайтесь!

Мы, конечно, посмеялись.

— Ладно, говорим. Ежели с этой стороны — пожалуйста. Дело ваше хозяйское.

А с того дня и пошло все в гору, да круче. Дали мы согласие на свою голову. Утром, едва встали, глаза продрали — является наш барон.

— Не пора ли, говорит, братишки? Здравствуйте.

И сам от нетерпения ручки свои трет и волнуется. И торопит.

Попьем чаю, выйдем на работу — барон уж тут. Интересуется ходом работы. И все пустяками. Только мешает.

Поработаем — пожалуйте, граждане, кушать. Присаживайтесь. Не стесняйтесь. Будьте как дома. Стол роскошный. И все скоромное — щи или там лапша. И все с мясом.

Ну а барон, конечно, тут же трется.

— Кушайте, говорит, дорогие приятели. Я, говорит, люблю, когда мастеровые мужики кушают. От этого, говорит, у меня аппетит является и сон.

Насмотрится на нас, как мы лопаем, и велит себе прибор нести. Начинает кушать с нами. Да только где ж ему с нами? Старичок он нежный, болезненный, ложку хлебнет, непременно обожжется, захаркает и дышит после, что жаба.

Смотреть на него неловко.

Покушали. Ладно. Пожалуйте на траву ложиться. А барон тут же. Хлопочет.

— Ложись, говорит, ребята, под вишнями.

Ну ляжем — нам что!

— Дыши, говорит, полным ртом и выдыхай испорченный воздух. Это, говорит, полезно по гигиене.

И сам ляжет на спину и дышит ртом.

Ах, в рот ему клоп!

Ну, начнем и мы, ради смеха, дышать. Дышим. Полон рот насекомой дряни наберется. Поплюемся, после посмеемся и спать.

Проснулись — купаться, граждане. К пруду пожалуйте. Хочешь не хочешь — лезь.

Мы купаемся, а барон тут же полощется на берегу и хохочет от счастья.

И вот прожили мы таким образом две недели. И развезло нас, что кабанов. Ходим жирные, скучаем и работать не можем. А барон рад и доволен.

Сперва и мы радовались. Дескать, вот какое райское место нашли. Все было смешно и в диковину. Ну а после наскучило. И до того наскучило — дышать нечем, до краев дошло. Дни считаем, когда кончим.

А тут еще барон придумал последнюю моду: велит вечером по аллеям ходить мелким шагом. Ходим мы по аллеям, что лошади, а уйти не можем — обижается.

Нам-то еще ничего — ну ходим и ходим, а вот мастерок наш чуть не плачет. Мальчишка небольшой, шестнадцатилетний, ему бы, подлецу, в рюшки играть, а тут, извините за выражение, ходи по аллеям.

И, конечно, дошло до краев. Бывало, мальчишка как увидит барона, так затрясется весь, зубами заскрипит.

— Я, говорит, ему, старому сычу, покажу! Я, говорит, ему, черту драповому, напакощу.

И действительно, стал мастерок барону пакостить. То клумбу с цветами ногами вытопчет, то на веранду лягуху выпустит, то перед барскими окнами в кусты сядет. Хоть плачь...

Видим — не может так продолжаться.

Поднажали мы поскорей с работой, кончили в три дня и докладываем:

— Окончили. С вас приходится.

А барон чуть не плачет.

— Оставайтесь, говорит, голубчики. Мне, говорит, еще нужно трубы проложить. А мастерок пущай пакостит — я потерплю.

— Нет, говорим, дудки.

— Ну, говорит, приезжайте тогда на другое лето. Вот вам задаток.

Взяли мы задаток, покушали, полежали в траве, собрали манатки и тронулись. Поехали. До свиданья! Счастливо оставаться! Не скучайте!

И вот едем мы в поезде и до самой Москвы толкуем про барона, вспоминаем и над Васькой издеваемся. А у самой Москвы Васька нам и говорит:

— Вы, говорит, надо мной не смейтесь. Я, говорит, все же чертова старика прищемил. Я, говорит, ему напакостил.

— Да что ты? — спрашиваем.

— Ей-богу! Я, говорит, на самое прощанье в его конюшню влез да трем лошадям хвосты начисто остриг.

Ах, в рот ему клоп!

Ну, потрепали мы Ваську за вихры, а самим смешно. Тем дело и кончилось.

А может, Васька и соврал, сукин кот. Может, он из гордости сказал. Неизвестно это.

Только на другое лето к барону не поехали.

ЧЕРТ

Ну, братцы, расскажу я вам историю, да только, чур, не смеяться надо мной. Историю эту, ей-богу, я не выдумал. Да у меня такой и фантазии никогда не было. А историю эту мне рассказал землячок мой, военный летчик Прокопченко, Семен Афанасьевич.

А история эта насчет бабки Анисьи.

Шла, видите ли, бабка Анисья из монастыря. Из Почаевской лавры. С богомолья. Шла, конечно, пешком. А до дому, до деревни Стружки, было от монастыря верст этак тридцать с гаком. Гаку три версты.

Вот бабка Анисья прошла сгоряча пятнадцать верст, а на шестнадцатой версте свалилась.

А еще бы: накланялась бабка угодникам в монастыре самосильно. Мало того, что святым, а и всем праведникам и даже каждому мало-мальски заметному священномученику в отдельности. Даже преподобному Марою. Смешно даже. Зато никому никакой обиды.

Ну и, конечно, от поклонов раскачало бабку. И до того ее, милую, раскачало, что на шестнадцатой версте шагу она шагнуть не может, хоть коровой кричи. Ну прямо-таки расхлябался весь скелет бабкин до невозможности. Закланялась через меру.

Свалилась бабка на шестнадцатой версте в виду деревни Тычкино, полностью раскрыла рот для воздуха и лежит возле самой канавы, скучает.

«Ишь ты, думает, клюква. Перехватила, думает, я в смысле поклонов. Нельзя же всем святым, в рот им ситный... Себе дороже».

И вот лежит бабка возле канавы. Налево — деревня Тычкино. Направо — овес. Ежели прямо — лес, лес и болото.

И очень обидно стало бабке, что свалилась она подле болота, на чужой стороне, возле деревни Тычкино.

«Ох,— думает бабка,— ежели я тут скончаюсь, то мне, конечно, зачтется. Бог-то все видит. Но только мне тут немыслимо худо скончаться. Это и корова может меня панюхаться. И баран может ногой пихнуть. Мало ли что. Ох, думает, дала бы я полжизни, только б мне очутиться в Стружках! Да что полжизни. Черту бы самому душонку продала. Нехай уж. Только мне тут немыслимо помирать: деревня чужая, лес, болото, пакость болотная... Тьфу!»

Только так бабка подумала, вдруг слышит этакий удивительный шум и стрекот.

Оглянулась бабка — что за пустяки? Глазам бабка не верит. Перед самой то есть канавой, на мужицком овсе, стоит этакое большое сооружение. Дом не дом, машина не машина, автомобиль не автомобиль, а на колесах и вроде как едет.

«Мобиль,— подумала бабка и вдруг испугалась.— Ой, думает, мать честная, пресвятая богородица-дево, радуй-

ся... Как же это мобиль-то с шаше съехал и стоит вблизи канавы? Фу ты, думает, пропасть».

Села бабка наземь, обтерла глаза — не обмишурилась ли, думает. Да нет. Стоит машина на овсе, а под машиной на пузе елозит какой-то представительный мужчина. С бородой.

Воззрилась бабка на мужчину, а тот молчит, что тень. Худо стало бабке, оттого что тот молчит. И сказала тогда бабка с сердцем:

— Ты что ж, это, батюшка, молчишь-то, сукин кот? Ты что ж это на хрестьянском овсишке на пузе плаваешь? Это я могу, если надо, крестьянам тыкинским пожалиться. Это, батюшка, не показано, чтоб на овсе с мобилем елозили... Ты, может, уронил что?

А мужчина встал, посмотрел в канаву и говорит басом:

— Уронил. Загогулинку уронил. А ты, мамаша, брось жалиться. Я, говорит, сейчас сойду. Какая моя вина, ежели порча вышла. А ты чего, между прочим, лежишь-то?

Легче стало бабке, оттого что мужчина голос подал.

— Ох, говорит, батюшко, да как же мне не лежать, если лежать приходится. Перекланялась я, батюшко, в монастыре-то. Перекланялась, и, конечно, сломило меня вблизи деревни Тычкино. Весь шкелет растрясло. Кости из состава вышли. И лежу я, батюшко, возле канавы. Ты бы меня, батюшко, провез бы на мобиле-то...

— Что ж,— сказал мужчина,— можно. А куда везть-то тебя?

— Да я ж и говорю: в Стружки, батюшко. Этак все по шаше, по шаше, а после, конечно, влево... Первая-то изба Марьи, вторая будет Петровича, а моя притулилась подле...

— Знаю,— сказал мужчина.— Садись, мамаша.

Посадил он бабку в мобиль, ремнем ее прикрутил, чтоб на повороте не выпала.

— Держись, говорит, мамаша.

— Вот спасибо,— сказала бабка.— Да только ты не шибко, батюшко. Я не могу, чтоб шибко... По шаше все... Дорога, она легкая...

Сел мужчина. Да вдруг как застучит что-то. Да вдруг как пихнет вперед. Как сорвется с земли... А внизу канава. Внизу деревня Тычкино, лес... И поплыло все...

Ойкнула бабка, взялась за подрамок рукой и замерла. Хотела креститься — руки не поднять. Хотела ногой шевельнуть — ноги не согнуть. Хотела из кармана пузырек вынуть с ижехерувимскими каплями — а кармана нету.

И ничего нету. «Черт»,— подумала бабка и замерла, что неживая.

И вдруг три минуты прошло — пожалуйста, приехали, вылезайте — родная деревенька Стружки.

Встала машина в поле. Народ, конечно, сбежался. Дивятся. Хохочут. Бабку за юбку теребят. А бабка и ногами не отбивается — сидит, что падаль. И сходить не хочет. Только глазами крутит.

Сняли родные племянники бабку с машины, домой отнесли. Положили на лавку. Лежит бабка на лавке и кушать не просит.

Вот и все. Вот, пожалуй что, и вся история о том, как бабка Анисья летала на воздушном аэроплане. А впрочем, не вся.

Когда землячок мой, военный летчик Прокопченко, Семен Афанасьевич, досказал до этого места, то спросил нас:

— А ну, братья, чего, думаете, произошло с бабкой?

Тогда, конечно, один из нас, настроенный пессимистически и грустно, высказал предположение, что померла бабка. Другой, учитель второй ступени, подумал, что бабка записалась в партию. А я сказал, дескать, бабка в бога перестала верить или приняла католичество.

Но все это было не так. Оказалось, что через день после того пришла бабка в себя, очухалась, расспросила строгим образом у племянников, как это она появилась дома, и, горько заплакав, помолилась на все иконы и велела везти себя в монастырь. Там она живет и посейчас. А нам наплевать.

МОНАСТЫРЬ

В святых я, братцы мои, давненько не верю. Еще до революции. А что до бога, то в бога перестал я верить с монастыря. Как побывал в монастыре, так и закаялся.

Конечно, все это верно, что говорят про монастыри — такие же монахи люди, как и мы прочие: и женки у них имеются, и выпить они не дураки, и повеселиться, но только не в этом сила. Это давно известно.

А вот случилась в монастыре одна история. После этой истории не могу я спокойно глядеть на верующих людей. Пустяки ихняя вера.

А случилось это, братцы мои, в Новодеевском монастыре.

Был монастырь богатый. И богатство свое набрал с посетителей. Посетители жертвовали. Бывало, осенью, как напрут всякие верующие, как начнут лепты вносить — чертям тошно. Один вносит за спасение души, другой — за спасение плавающих и утопающих, третий так себе вносит — с жиру бесится.

Многие вносили — принимай только. И принимали. Будьте покойны.

Ну а, конечно, который внесет — норовит уж за свои денежки пожить при монастыре и почетом пользоваться. Да норовит не просто пожить, а охота ему, видите ли, к святой жизни прикоснуться. Требует и келью отдельную, и службу, и молебны.

Ублаготворяли их. Иначе нельзя.

А только осенью келий этих никак не хватало всем желающим. Уж простых монахов вытесняли на время по сараям, и то было тесно.

А сначала было удивительно — с чего бы это народ сюда прет? Что за невидаль? Потом выяснилось: была тут и природа богатая, климат, и, кроме того, имелась приманка для верующих.

Жили в монастыре два монаха-молчальника, один столпник и еще один чудачок. Чудачок этот мух глотал. И не то чтобы живых мух, а настойку из мух пил натощак. Так сказать, унижал себя и подавлял свою плоть.

Бывало, с утра пораньше народ соберется вокруг его сарайчика и ждет. А он, монах то есть, выйдет к народу, помолится, поклонится в пояс и велит выносить чашку. Вынесут ему чашку с настойкой, а он снова поклонится народу и начнет пить эту гнусь.

Ну, народ, конечно, плюется, давится, которые слабые дамы блюют и с ног падают, а он, сукин сын, вылакает гнусь до дна, не поморщится, перевернет чашку, дескать, пустая, поклонится — и к себе. Только его и видели до другого дня.

Один раз пытались верующие словить его, дескать, не настоящая это настойка из мух. Но только верно — честь честью. Монах сам показал, удостоверил и сказал народу:

— Что я, бога, что ли, буду обманывать?

После этого слава о нем пошла большая.

А что до других монахов — были они не так интересны. Ну хотя бы молчальники. Ну молчат и молчат. Эка неви-

даль! Столпник — тоже пустяки. Стоит на камне и думает, что святой. Пустяки!

Был еще один такой — с гирькой на ноге ходил. Этот нравился народу. Одобряли его. Смешил он верующих. Но только долго он не проходил — запил, гирьку продал и ушел восвояси.

А все это, конечно, привлекало народ. Любопытно было. Оттого и шли сюда. А шли важные люди. Были тут и фоны, и бароны, и прочая публика. Но из всех самый почтенный и богатый гость был московский купчик Владимир Иванович.

Много денег он всадил в монастырь. Каялся человек. Грехи замаливал.

— Я,— говорил он про себя,— всю жизнь грешил, ну а теперь пятый год очищаюсь. И надеюсь очиститься.

А старенький был этот человек! Бороденка была у него совсем белая. И, на первый взгляд, он был похож на святого Кирилла или Мефодия. Чего такому-то не каяться?

А приезжал он в монастырь часто.

Бывало, приедет, остановит коляску версты за три и прет пешком.

Придет вспотевший, поклонится братии, заплачет. А его под ручки. Пот с него сотрут, и водят вокруг, и шепчут на ухо всякие пустяки.

Ну, отогреется, проживет недельку, отдарится и снова в город. А там опять в монастырь. И опять кается.

А каялся он прямо на народе. Как услышит монастырский хор — заплачет, забьется: «Ах я такой! Ах я этакий!» Очень на него хор действовал. Жалел только старик, что не дамский это монастырь.

— Жаль, говорил, что не дамский, а то я очень обожаю самое тонкое пение сопран.

Так вот, был Владимир Иванович самый почтенный гость. А от этого все и случилось.

Продавалось рядом с монастырем имение. Имение дворянское. «Дубки». Имение удобное — земли рядом. Вот игумен и разгорелся на него. Монахи тоже.

Стал игумен вместе с экономом раскидывать — как бы им подобрать к своим рукам. Да никак. Хоть и денег тьма, да купить нельзя. По закону не показано. По закону мог монастырь землю получить только в дар. А покупать нельзя было.

Вот игумен и придумал механику. Придумал он устроить это дело через Владимира Иваныча. Посетитель почтенный, седой — купит и подарит после. Только и делов.

Ну, так и сделали.

А купчик долго отнекивался.

— Нет, говорил, куда мне! От мирских дел я давно отошел, мозги у меня не на то самое направлены, а на очищение и на раскаяние — не могу, простите.

Но уломали. Мраморную доску обещали приклепать на стене с заглавием купчика. Согласился купчик.

И вот дали ему семьдесят тысяч рублей золотом, отслужили молебствие с водосвятием и отправили покупать.

Покупал он долго. Неделю. И приехал назад в монастырь вспотевший и вроде как не в себе. Приехал утром. С экипажа не слез, к игумену не пошел, а велел только выносить свои вещи из кельи.

Ну а монахи, конечно, сбежались — увидели. И игумен вышел.

— Здравствуйте, говорит. Сходите.

— Здравствуйте, говорит. Не могу.

— Отчего же, спрашивает, не можете? Не больны ли? Как, дескать, ваше самочувствие и все такое?

— Ничего,— говорит Владимир Иванович,— спасибо. Я, говорит, приехал попрощаться да вещички кой-какие забытые взять. А сойти с экипажа не могу — ужасно тороплюсь.

— А вы,— говорит игумен,— через не могу. Какого черта! Нужно нам про дело поговорить. Купили?

— Купил,— отвечает купчик,— обязательно купил. Такое богатое имение не купить грешно, отец настоятель.

— Ну, и что же? — спрашивает игумен.— Оформить надо... Дар-то...

— Да нет,— отвечает купчик.— Я, говорит, раздумал. Я, говорит, не подарю вам это имение. Разве мыслимо разбрасываться таким добром? Что вы?

Чего тут и было после этих слов — невозможно рассказать. Игумен, конечно, ошалел, нос у него сразу заложило — ни чихнуть, ни сморкнуться не может. А эконом — мужчина грузный — освирепел, нагнулся к земле и, за неимением под рукой камня, схватил гвоздь этакий длинный, барочный и бросился на Владимира Иваныча. Но не заколол — удержали.

Владимир Иванович побледнел, откинулся в экипаже.

— Пущай, говорит, пропадают остальные вещи.

И велел погонять.

И уехал. Только его и видели.

Говорили после, будто он примкнул к другому монасты-

рю, в другой монастырь начал жертвовать, но насколько верно — никто не знает.

А история эта даром не прошла. Которые верующие монахи стали расходиться из монастыря. Первым ушел молчальник.

— Ну, говорит, вас, трамтарарам, к чертям собачьим!

Плюнул и пошел, хотя его и удерживали.

А засим ушел я. Меня не удерживали.

РАССКАЗ ПЕВЦА

Искусство падает, уважаемые товарищи! Вот что.

Главная причина в публике. Публика пошла ужасно какая неинтересная и требовательная. И неизвестно, что ей нужно. Неизвестно, какой мотив доходит до ее сердца. Вот что.

Я, уважаемые товарищи, много пел. Может, Федор Иванович Шаляпин столько не пел. Пел я, вообще, и на улицах, и по дворам ходил. А что теперешней публике нужно — так и не знаю.

Давеча со мной такой случай произошел. Пришел я во двор. На Гончарной улице. Дом большой. А кто в нем живет — неизвестно по нынешним временам.

Спрашиваю дворника:

— Ответь, говорю, любезный кум, какой тут жилец живет?

— Жилец разный. Есть, говорит, и мелкий буржуй. Свободная профессия тоже имеется. Но все больше из рабочей среды: мелкие кустари и фабричные.

«Ладно, думаю. Кустарь, думаю, завсегда на „Кари глазки“ отзывается. Спою „Кари глазки“».

Спел. Верчу головой по этажам — чисто. Окна закрыты, и никто песней не интересуется.

«Так, думаю. Может, думаю, в этом доме рабочие преобладают. Спою им „Славное море, священный Байкал“».

Спел. Чисто. Никого и ничего.

«Фу ты, думаю, дьявол! Неужели, думаю, в рабочей среде такой сдвиг произошел в сторону мелкой буржуазии? Если, думаю, сдвиг, то надо петь чего-нибудь про любовь и про ласточек. Потому буржуй и свободная профессия предпочитают такие тонкие мотивы».

Спел про ласточек — опять ничего. Хоть бы кто копейку скинул.

Тут я, уважаемые товарищи, вышел из терпения и начал петь все, что знаю. И рабочие песни, и чисто босяцкие, и немецкие, и про революцию, и даже «Интернационал» спел.

Гляжу, кто-то бумажную копейку скинул.

До чего обидно стало — сказать нельзя. Голос, думаю, с голосовыми связками дороже стоит.

«Но стоп, думаю. Не уступлю. Знаю, чего вам требуется. Недаром два часа пел. Может, думаю, в этом доме, наверно, религиозный дурман. Нате!».

Начал петь «Господи помилуй» — глас восьмой.

Дотянул до середины — слышу, окно кто-то открывает.

«Так, думаю, клюнуло. Открываются».

Окно, между тем, открылось, и хлесь кто-то в меня супом.

Обомлел я, уважаемые товарищи. Стою совершенно прямой и морковку с рукава счищаю. И гляжу, какая-то гражданка без платка в этаже хохочет.

— Чего, говорит, панихиды тут распущаешь?

— Тс, говорю, гражданочка, за какое самое с этажа обливаетесь? В чем, говорю, вопрос и ответ? Какие же, говорю, песни петь, ежели весь репертуар вообще спет, а вам не нравится?

А она говорит:

— Да нет, говорит, многие песни ваши хороши и нам нравятся, но только квартирные жильцы насчет голоса обижаются. Козлетон ваш им не нравится.

«Здравствуйте, думаю. Голос уж в этом доме им не нравится. Какие, думаю, пошли современные требования».

Стряхнул с рукава морковку и пошел.

Вообще искусство падает.

ЛЮБОВЬ

Вечеринка кончилась поздно.

Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном:

— Обождите, радость моя... Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле... Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое, а вы идете... Обождите

первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши... Так ведь и захворать можно по морозу...

— Нет,— сказала Машенька, надевая калоши.— И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?

— Так я вспотевши же,— говорил Вася, чуть не плача.

— Ну одевайтесь!

Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку.

Было холодно. Светила луна. И под ногами скрипел снег.

— Ах, какая вы неспокойная дамочка,— сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль.— Не будь вы, а другая — ни за что бы не пошел провожать. Вот, ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошел.

Машенька засмеялась.

— Вот вы смеетесь и зубки скалите,— сказал Вася,— а я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы, и лежите до первого трамвая — и лягу. Ей-богу...

— Да бросьте вы,— сказала Машенька,— посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам! Какая чудная красота!

— Да, замечательная красота,— сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома.— Действительно, очень красота... Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства... Вот многие ученые и партийные люди трицают чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой моей смерти и до самопожертвования. Ей-богу... Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, затылком об тую стенку — ударюсь.

— Ну, поехали,— сказала Машенька не без удовольствия.

— Ей-богу, ударюсь. Желаете?

Парочка вышла на Крюков канал.

— Ей-богу,— снова сказал Вася,— хотите вот — брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу доказать...

Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.

— Ах! — закричала Машенька.— Вася! Что вы!

Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря.

— Чего разорались? — тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.

Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке.

Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.

— Ну ты, мымра,— сказал человек глухим голосом.— Скидавай пальто. Да живо. А пикнешь — стукну по балде, и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай!

— Па-па-па,— сказал Вася, желая этим сказать: позвольте, как же так?

— Ну! — человек потянул за борт шубы.

Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.

— И сапоги тоже сымай! — сказал человек.— Мне и сапоги требуются.

— Па-па-па,— сказал Вася,— позвольте... мороз...

— Ну!

— Даму не трогаете, а меня — сапоги снимай,— проговорил Вася обидчивым тоном,— у ей и шуба, и калоши, а я сапоги снимай.

Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал:

— С ее снимешь, понесешь узлом — и засыпался. Знаю, что делаю. Снял?

Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.

— У ей и шуба,— снова сказал Вася,— и калоши, а я отдувайся за всех...

Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал:

— Сиди и не двигайся и зубами не колоти. А ежели крикнешь или двинешься — пропал. Понял, сволочь? И ты, дамочка...

Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез.

Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием посматривая на свои ноги в белых носках.

— Дождались,— сказал он, со злобой взглянув на Машеньку.— Я же ее провожай, я и имущества лишайся. Да?

Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким, пронзительным голосом:

— Караул! Грабят!

Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.

ХОЗРАСЧЕТ

На праздниках бухгалтер Горюшкин устроил у себя званый обед. Приглашенных было немного.

Хозяин с каким-то радостным воплем встречал гостей в прихожей, помогал снимать шубы и волочил приглашенных в гостиную.

— Вот,— говорил он, представляя гостя своей жене,— вот мой лучший друг и сослуживец.

Потом, показывая на своего сына, говорил:

— А это, обратите внимание, балбес мой... Лешка. Развитая бестия, я вам доложу.

Лешка высовывал свой язык, и гость, слегка сконфуженный, присаживался к столу.

Когда собрались все, хозяин, с несколько торжественным видом, пригласил к столу.

— Присаживайтесь,— говорил он радушно.— Присаживайтесь. Кушайте на здоровье... Очень рад... Угощайтесь...

Гости дружно застучали ложками.

— Да-с,— после некоторого молчания сказал хозяин,— все, знаете ли, дорогонько стало. За что ни возьмись — кусается. Червонец скачет, цены скачут.

— Приступу нет,— сказала жена, печально глотая суп.

— Ей-богу,— сказал хозяин,— прямо-таки нету приступу. Вот возьмите такой пустяк — суп. Дрянь. Ерунда. Вода вроде бы. А нуте-ка, прикиньте, чего эта водица стоит?

— М-да,— неопределенно сказали гости.

— В самом деле,— сказал хозяин.— Возьмите другое — соль. Дрянь продукт, ерунда сущая, пустяковина, а нуте-ка, опять прикиньте, чего это стоит.

— Да-а,— сказал балбес Лешка, гримасничая,— другой гость, как начнет солить, тык тока держись.

Молодой человек в пенсне, перед тем посоливший суп, испуганно отодвинул солонку от своего прибора.

— Солите, солите, батюшка,— сказала хозяйка, придвигая солонку.

Гости напряженно молчали. Хозяин со вкусом ел суп, добродушно поглядывая на своих гостей.

— А вот и второе подали,— объявил он оживленно.— Вот, господа, возьмите второе — мясо. А теперь позвольте спросить, какая цена этому мясу? Нуте-ка? Сколько тут фунтов?

— Четыре пять осьмых,— грустно сообщила жена.

— Будем считать пять для ровного счету,— сказал хозяин.— Нуте-ка, по полтиннику золотом? Это, это на человека придется... Сколько нас человек?..

— Восемь,— подсчитал Лешка.

— Восемь,— сказал хозяин.— По полфунта... По четвертаку с носа минимум.

— Да-а,— обиженно сказал Лешка,— другой гость мясо с горчицей жрет.

— В самом деле,— вскричал хозяин, добродушно засмеявшись,— я и забыл — горчица... Нуте-ка, прикиньте к общему счету горчицу, то, другое, третье. По рублю и набежит...

— Да-а, по рублю,— сказал Лешка,— а небось, когда Пал Елисеевич локтем стеклище выпер, тык небось набежало...

— Ах да! — вскричал хозяин.— Приходят, представьте себе, к нам раз гости, а один, разумеется нечаянно, выбивает зеркальное стекло. Обошелся нам тогда обед. Мы нарочно подсчитали.

Хозяин углубился в воспоминания.

— А впрочем,— сказал он,— и этот обед вскочит в копеечку. Да это можно подсчитать.

Он взял карандаш и принялся высчитывать, подробно перечисляя все съеденное. Гости сидели тихо, не двигаясь, только молодой человек, неосторожно посоливший суп, поминутно снимал запотевшее пенсне и обтирал его салфеткой.

— Да-с,— сказал наконец хозяин,— рублей по пяти с хвостиком...

— А электричество? — возмущенно сказала хозяйка.— А отопление? А Марье за услуги?

Хозяин всплеснул руками и, хлопнув себя по лбу, засмеялся.

— В самом деле,— сказал он,— электричество, отопление, услуги... А помещение? Позвольте, господа, в самом деле, помещение! Нуте-ка — восемь человек, четыре квадратные сажени... По девяносто копеек за сажень... В день, значит, три копейки... Гм... Это нужно на бумаге...

Молодой человек в пенсне заерзал на стуле и вдруг пошел в прихожую.

— Куда же вы? — закричал хозяин.— Куда же вы, голубчик, Иван Семенович?

Гость ничего не сказал и, надев чьи-то чужие калоши, вышел не прощаясь. Вслед за ним стали расходиться и остальные.

Хозяин долго еще сидел за столом с карандашом в руках, потом объявил:

— По одной пятой копейки золотом с носа.

Объявил он это жене и Лешке — гостей не было.

ТРИ ДОКУМЕНТА

Жизнь штука хитрая. Иные полагают, что в жизни все просто и ясно, но это не так. Это совсем не так, дорогие товарищи!

Вот возьмем для примеру конторщика Костю Печенкина.

В прошлом году, в эту пору, возвращаясь слегка под хмельком, Костя Печенкин был ограблен. С него сняли шубу, избили и после отпустили с миром.

Небось простодушный читатель подумает, что Костя Печенкин нынче опустился, ходит в рваной летней шинелишке, без галош и кашляет от хронического бронхита. Ничуть не бывало.

Нынче Костя Печенкин герой и молодец. Он ходит в новом зимнем пальто с бобровым воротником, в новых галошах на байке, и кашне у него новое в полоску. При этом Костя Печенкин любит поговорить о своем ночном приключении. И говорит не без гордости и щегольства.

Мало того: говорят, что Костя Печенкин на днях женился на Лидочке Лыткиной. И это, говорят, произошло в связи с историей.

«С чего бы это так Костя возвеличился?» — удивится простодушный читатель.

С чего? Эх, дорогие товарищи! Костя Печенкин жить умеет — вот с чего. Вот возьмем сейчас Костину историю, да копнем вглубь, да обернем медаль оборотной стороной! Нуте-ка, чего получится?

А вот чего:

Заявление

Состоя во вверенной вам канцелярии, сообщаю, что, возвращаясь вчера после трудового дня, я был остановлен каким-то социально-опасным преступником, который, подойдя ближе, велел снять зимнее с барашковым воротником пальто. Удивившись наглому требованию, я удивленно посмотрел, заявив, что при мне нет казенных денег, а если бы они и были, то я не отдал бы и лучше смерть.

Тогда взбешенный неудачей преступник снова велел

снимать единственное пальто. Не растерявшись и сняв пальто, я остался в одном легоньком пиджаке, каждую минуту рискуя простудиться и тем самым манкировать в дальнейшем службой.

Сняв с меня еще и галоши государственной резиновой фабрики — и, так сказать, народное достояние,— преступник обратился в бегство.

Закричав через полчаса о помощи, я был поднят прохожим и отвезен домой.

Оставшись в настоящее время совершенно раздетый вместе с моей престарелой матерью и не надеясь на бога как на религиозный предрассудок, я обращаюсь с покорнейшей просьбой о выдаче мне из казенных сумм субсидии на предмет покупки зимнего пальто хотя бы без воротника.

Конст. Печенкин

Письмо к матери

Ну и ну, дорогая мамаша, чего только происходит в Петрограде — это ужасно. В прошлом году вы писали мне, что вы нездоровы и больны, так — ка́к теперь ваше самочувствие? Поздравляю вас, кроме того, с прошедшими праздниками. Мне эти праздннчки ударили по карману. Я, дорогая мамаша, возвращаясь после службы, был остановлен и ограблен преступниками. И избит ими до бесчувствия.

А один из преступников, сняв с меня галоши, ударил по лицу. Удар пришелся по рту, отчего хлынула кровь у вашего, так сказать, единоутробного сына.

В настоящее время, оставшись совершенно раздетый вместе со своей престарелой матерью и надеясь исключительно на милость и милосердие божие, я, дорогая мамаша, прошу вас прислать мне кое-что из теплого белья и нет ли еще шерстяных носков. За присланные же в прошлом году вязаные подштанники — благодарю и спасибо.

Ваш сын *Конст. Печенкин*

Письмо к девице

Здравствуйте, дорогая и милая Лидочка! Вчера, возвращаясь после вечера, проведенного с вами, я был остановлен какой-то бандой преступников, которые с дикими криками и ревом набросились на меня с требованием снимать верхнее платье.

Не растерявшись и сбросив с ноги галошу, я принялся избивать ею направо и налево, наводя буквально панику на грабителей, которые стали разбегаться, как крысы.

Тогда, страшно распарившись и сбросив с себя шубу, я бросился в погоню за одним из бандитов, который скрылся в каком-то переулке.

Вернувшись назад, шубы уже не было. Светила луна, и мороз достигал 15 градусов.

Тогда, подняв воротник пиджака, я пустился к дому, благодаря провидение за то, что вас не было со мной. Впрочем, я сумел бы защитить вашу жизнь.

Дорогая Лидочка, оставшись в настоящее время совершенно раздетый вместе со своей престарелой... Впрочем, что же это я? Да, так в настоящее время сижу дома, не имея возможности выйти. Зайдите, дорогая, навестите болящего.

Костя Печенкин

Вот и все, дорогой читатель. А против Кости мы зла не имеем. Женится? Пожалуйста! Государству нужно новое здоровое поколение. Мы против Кости ничего не имеем и не хотим ему портить карьеры. Пусть его. Мы только хотели показать, какая, в сущности, жизнь хитрая штука.

Эх, товарищи, трудно жить человеку на свете!

ПАУТИНА

Вот говорят, что деньги сильней всего на свете. Вздор. Ерунда.

Капиталисты для самообольщения все это выдумали.

Есть на свете кое-что покрепче денег.

Двумя словами об этом не рассказать. Тут целый рассказ требуется.

Извольте рассказ.

Высокой квалификации токарь по металлу, Иван Борисович Левонидов, рассказал мне его.

— Да, дорогой товарищ,— сказал Левонидов,— такие дела на свете делаются, что только в книгу записывай.

Появился у нас на заводе любимчик — Егорка Драпов. Человек он арапистый. Усишки белокурые. Взгляд этакий вредный. И нос вроде перламутровой пуговицы.

А карьеру между тем делает. По службе повышается, на легкую работу назначается и жалованье получает по высшему разряду.

Мастер с ним за ручку. А раз даже, проходя мимо Егорки Драпова, мастер пощекотал его пальцами и с уважением таким ему улыбнулся.

Стали рабочие думать что и почему. И за какие личные качества повышается человек.

Думали, гадали, но не разгадали и пошли к инженеру Фирсу.

— Вот, говорим, любезный отец, просим покорнейше одернуть зарвавшегося мастера. Пущай не повышает своего любимца Егорку Драпова. И пальцем пущай не щекотит, проходя мимо.

Сначала инженер, конечно, испугался — думал, что его хотят выводить на свежую воду, но после обрадовался.

— Будьте, говорит, товарищи, благонадежны. Зарвавшегося мастера одерну, а Егорку Драпова в другое отделение переведу.

Проходит между тем месяц. Погода стоит отличная. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. А любимчик — Егорка Драпов — карьеру между тем делает все более заманчивую.

И не только теперь мастер, а и сам любимый спец с ним похохатывает и ручку ему жмет.

Ахнули рабочие. И я ахнул.

«Неужели же, думаем, правды на земле нету? Ведь за какие же это данные повышается человек и пальцами щекотится мастером?»

Пошли мы небольшой группой к красному директору Ивану Павловичу.

— Вы, говорим, который этот и тому подобное. Да за что же, говорим, такая несообразность?

А красный директор, нахмурившись, отвечает:

— Я, говорит, который этот и тому подобное. Я, говорит, мастера и спеца возьму под ноготь, а Егорку Драпова распушу, как собачий хвост. Идите себе, братцы, не понижайте производительность.

И проходит месяц — Егорка Драпов цветет, как маков цвет или, скажем, хризантема в саду. Балуют его и милуют и ручку со всех сторон наперерыв ему жмут. И директор жмет, и спец жмет, и сам мастер, проходя мимо, щекотит Егорку Драпова.

Взвыли тут рабочие, пошли всей гурьбой к рабкору Настину. Плачутся:

— Рабкор ты наш, золото, драгоценная головушка. Ругали мы тебя, и матюкали, и язвой называли: мол, жалобы зачем в газету пишешь. А теперича, извините и простите... Выводите Егорку Драпова на свежую воду.

— Ладно,— сказал Настин.— Это мы можем, сейчас

поможем. Дайте только маленечко сроку, погляжу, что и как и почему человек повышается. Хвост ему накручу — будьте покойны.

И проходит месяц. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. Птички по воздуху порхают и бабочки крутятся.

А Егорка Драпов цветет жасмином или даже пестрой астрой распущается.

И даже рабкор Настин, проходя однажды мимо, пощекотал Егорку и дружески ему так улыбнулся.

Собрались тут рабочие обсуждать. Говорили, говорили — языки распухли, а к результату не пришли.

И тут я, конечно, встреваю в разговор.

— Братцы, говорю, я, говорю, первый гадюку открыл, я ее и закопаю. Дайте срок.

И вдруг на другой день захожу я в Егоркино отделение и незаметно становлюсь за дверь. И вижу. Мастер домой собирается, а Егорка Драпов крутится перед ним мелким бесом и вроде как тужурку подает.

— Не застудитесь, говорит, Иван Саввич. Погодка-то, говорит, страсть неблагоприятная.

А мастер Егорку по плечу стукает и хохочет.

— А и любишь, говорит, ты меня, Егорка, сукин сын.

А Егорка Драпов почтительно докладывает:

— Вы, говорит, мне, Иван Саввич, вроде как отец родной. И мастер, говорит, вы отличный. И личностью, говорит, очень, говорит, вы мне покойную мамашу напоминаете, только что у ей усиков не было.

А мастер пожал Егоркину ручку и пошел себе.

Только я хотел из-за двери выйти, шаг шагнул — рабкор Настин прется.

— А, говорит, Егорушка, друг ситный! Я, говорит, знаешь ли, такую давеча заметку написал — ай-люли.

А Егорка Драпов смеется.

— Да уж, говорит, ты богато пишешь. Пушкин, говорит, и Гоголь дерьмо против тебя.

— Ну спасибо,— говорит рабкор,— век тебе не забуду. Хочешь, тую заметку прочту?

— Да чего ее читать,— говорит Егорка,— я, говорит, и так, без чтения в восхищении.

Пожали они друг другу ручки и вышли вместе. А я следом.

Навстречу красный директор прется.

— А, говорит, Егорка Драпов, наше вам... Ну-ка, говорит, погляди теперича, какие у меня мускулы.

И директор рукав свой засучил и показывает Егорке мускулы.

Нажал Егорка пальцем на мускулы.

— Ого, говорит, прибавилось.

— Ну спасибо,— говорит директор,— спасибо тебе, Егорка.

Тут оба-два — директор и рабкор — попрощались с Егоркой и разошлись.

Догоняю я Егорку на улице, беру его, подлеца, за руку и отвечаю:

— Так, говорю, любезный. Вот, говорю, какие паутины вы строите.

А Егорка Драпов берет меня под руку и хохочет.

— Да брось, говорит, милый... Охота тебе... Лучше расскажи, как живешь и как сынишка процветает.

— Дочка, говорю, у меня, Егорка. Не сын. Отличная, говорю, дочка. Бегает...

— Люблю дочек,— говорит Егорка.— Завсегда, говорит, любуюсь на них и игрушки им жертвую...

И проходит месяц. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. А Егорка Драпов цветет, как маков цвет или, скажем, хризантема в саду.

А вчера, проходя мимо, пощекотал я Егорку Драпова.

Черт с ним. Хоть, думаю, и подлец, а приятный человек.

Полюбил я Егорку Драпова.

ДИКТОФОН

Ах, до чего все-таки американцы народ острый! Сколько удивительных открытий, сколько великих изобретений они сделали! Пар, безопасные бритвы «Жиллет», вращение Земли вокруг своей оси — все это открыто и придумано американцами и отчасти англичанами.

А теперь извольте: снова осчастливлено человечество — подарили американцы миру особую машину — диктофон.

Конечно, может, эта машина несколько и раньше придумана, но нам-то прислали ее только что, а именно в 1920 году.

Это был торжественный и замечательный день, когда прислали эту машинку.

Масса народу собралось посмотреть на эту диковинку.

Многоуважаемый всеми Константин Иванович Деревяшкин снял с машины чехол и благоговейно обтер ее

тряпочкой. И в ту минуту мы воочию убедились, какой это великий гений изобрел ее. Действительно: масса винтиков, валиков и хитроумных загогулинок бросилась нам в лицо. Было даже удивительно подумать, как эта машинка, столь нежная и хрупкая на вид, может работать и соответствовать своему назначению.

Ах, Америка, Америка — какая это великая страна!

Когда машина была осмотрена, многоуважаемый всеми товарищ Деревяшкин, похвально отозвавшись об американцах, сказал несколько вступительных слов о пользе гениальных изобретений. Потом было приступлено к практическим опытам.

— Кто из вас,— сказал Константин Иванович,— желает сказать несколько слов в этот гениальный аппарат?

Тут выступил уважаемый товарищ Тыкин, Василий. Худой такой, длинный, по шестому разряду получающий жалованье плюс за сверхурочные.

— Дозвольте, говорит, мне испробовать.

Разрешили ему.

Подошел он к машинке не без некоторого волнения, долго думал, чего бы ему такое сказать, но ничего не придумал и, махнув рукой, отошел от машины, искренно горюя о своей малограмотности.

Затем подошел другой. Этот, недолго думая, крикнул в открытый рупор:

— Эй ты, чертова дура!

Тотчас открыли крышку, вынули валик, вставили его куда следует — и что же? — доподлинно и точно валик передал всем присутствующим вышеуказанные слова.

Тогда восхищенные зрители наперерыв протискивались к трубе, пробуя говорить то одну, то другую фразу или лозунг. Машинка послушно записывала все в точности.

Тут снова выступил Василий Тыкин, получающий жалованье по шестому разряду плюс сверхурочные, и предложил кому-нибудь из общества неприлично заругаться в трубу.

Многоуважаемый Константин Иванович Деревяшкин сначала категорически воспретил ругаться в рупор и даже топнул ногой, но потом, после некоторого колебания, увлеченный этой идеей, велел позвать из соседнего дома бывшего черноморца — отчаянного ругателя и буяна.

Черноморец не заставил себя ждать — явился.

— Куда, спрашивает, ругаться? В какое отверстие?

Ну указали ему, конечно. А он как загнет, как загнет,

аж сам многоуважаемый Деревяшкин руками развел — дескать, здорово пущено, это вам не Америка.

Засим, еле оторвав черноморца от трубы, поставили валик. И действительно, аппарат опять в точности и неуклонно произвел запись.

Тогда все снова стали подходить, пробуя ругаться в отверстия на все лады и наречия. Потом стали изображать различные звуки: хлопали в ладоши, делали ногами чечетку, щелкали языком — машина действовала безотлагательно.

Тут действительно все увидели, насколько велико и гениально это изобретение.

Единственно только жаль, что эта машинка оказалась несколько хрупкая и неприспособленная к резким звукам. Так, например, Константин Иванович выстрелил из нагана, и, конечно, не в трубу, а, так сказать, сбоку, чтобы для истории запечатлеть на валик звук выстрела — и что же? — оказалось, что машинка испортилась, сдала.

С этой стороны лавры американских изобретателей и спекулянтов несколько меркнут и понижаются.

Впрочем, заслуга ихняя все же велика и значительна перед лицом человечества.

КРУГОМ 16

На днях приехал из деревни Вася Ершов.

Ершовых, конечно, в Советской, как собак нерезаных.

Ну а который мой Ершов — единственный один Василий Иванович — старый опытный спец, в кооперативе продавец и хлебопек, между прочим.

Приехал.

Прожил он в деревне год два месяца у своих родственников. Отдохнул, округлился, жирком налился. Хотел еще дольше жить, да совесть замучила.

«Нет, думает, надо взад вертаться. Довольно саботировать, довольно свое дарованье в землю зарывать. Надо по специальности пожить. А то перед народом как-то неловко и совестно».

Спекли Ершову родственники пирог с капустой. Взял Ершов пирог с капустой. И поехал.

«Обрадуются, думает, в Ленинграде. А, скажут, Василь Иваныч приехал по специальности!»

Приехал мой Ершов. Подыскал местечко.

— Ладно уж, говорит, берите меня, старого опытного спеца. Ваше счастье.

— Можно взять, отвечают. Только в союз запишитесь прежде.

Стукнул себя Ершов, Василий Иванович, по лбу.

«Действительно, думает, шляпа я дурная. Перезабыл порядки. Надо же в союз прежде».

Побежал Ершов, Василий Иванович, в союз.

— Здорово, говорит, други! Старый, говорит, опытный спец перед вами. Совесть, говорит, замучила — вот и прибыл. Желаю вновь записаться.

— Можно,— отвечает заведывающий.— Отчего нет? Поступай, браток, на службу и записывайся.

Хлопнул себя Ершов, Василий Иванович, по лбу.

«Эх, думает, старый я хрен, чертова мама! Действительно же прежде на службу надо».

Побежал на службу. А ему говорят:

— Раз вы не в союзе — не можем взять.

Побежал Ершов в союз. А ему отвечают:

— Раз вы не на службе — не можем взять. Какой же вы член, если вы не работаете? Сами посудите.

«Действительно,— подумал Ершов,— какой же я член, если я не работаю».

И побежал на службу.

Бегает Василий Иванович Ершов по сие время.

Пирог с капустой почти съеден. Чего будет дальше — неизвестно.

А ты, читатель, если увидишь на улицах Ленинграда бегущего человека, на лице которого написано крайнее удивление и испуг, то знай — это и есть мой Ершов, Василий Иванович.

Пожалей его, дорогой читатель! Попал, бедняга, в непромокаемое. Кругом — шестнадцать.

Странные вещи творятся на свете!

КИТАЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Удивительно, товарищи, как меняется жизнь и как все к простоте идет.

Скажем, двести лет назад тут, на Невском, ходили люди в розовых и зеленых камзолах и в париках. Дамы этакими

куклами прогуливались в широченных юбищах, а в юбищах железные обручи...

Теперь, конечно, об этом и подумать смешно, ну а тогда эта картина была повседневная.

А впрочем, братцы, и над нами посмеются лет через сто.

Вот, скажут, как нелегко было существовать им: мужчины на горлах воротнички этакие тугие, стоячие носили, дамы — каблучки в три вершка и корсеты.

И верно: смешно. Да только и это уж уходит и ушло.

Все меняется, все идет к простоте необыкновенной.

И не только это во внешней жизни, но и в человеческих отношениях.

Раньше для того, чтобы жениться человеку, приходилось ему делать черт его что. И смотрины-то он делал, и свах зазывал, и с цветками по пять раз в сутки хаживал, и папашу невесты уламывал, и мамашу улещивал, и теткины ручищи целовал, и попу богослужение заказывал... тьфу!

Ну а теперь это куда как проще. Небось сами знаете... Полфунта монпасье, тары да бары, комиссариат — и все довольны.

Да, братцы мои, все меняется. И лишь одно не меняется, лишь одно крепко засело в нашей жизни — это китайская церемония.

Думаете какая? А вот какая. Чего мы делаем при встрече? При встрече-то, братцы мои, мы за ручку здороваемся, ручки друг другу жмем и треплем.

А смешно! Вот, братишки, берите самый большой камень с мостовой и бейте меня этим камнем по голове и по чем попало — не отступлюсь от своих слов: смешно. Ну вот так же смешно, как если бы при встрече мы терлись носами по китайскому обычаю.

И мало того, что смешно, а и не нужно и глупо. И драгоценное время отнимает, ежели встречных людишек много. И в смысле заразы нехорошо, небезопасно.

Эх-хе-хе, братишки! Глупое это занятие — при встрече руку жать!

Конечно, бывали такие люди, делали они почин — не здоровались за руку, но только ничего из того не выходило. Не время было, что ли...

Как помню я, братцы мои, лет этак десять назад. Приехал один немчик в Россию. По коммерческим обстоятельствам. Ну, немчик как немчик — ноги жидкие, усишки, вообще, нос.

И была у этого немца манеришка — не здороваться за руку. Так, рыльцем кивнет, и хватит.

И задумал он такую манеришку привить России. Прививал он, прививал, месяц и два, а на третий заскочило.

Привели раз немца в «Коммерческий» — знакомиться с Семен Саввичем, с кожевни́ком, с сенновцем.

Ну — здрасте, здрасте... Немец рыльцем кивнул, а Семен Саввич хлесь его в личность.

— Ты что ж, говорит, бульонное рыло, не здоровкаешься? Гнушаешься?

Ну, ударил. Немчик — человек сентиментальный — заплакал. Лепечет по-ихнему: гобль, гобль...

А купчик официанта кличет.

— Дай-ка, говорит, братец, ему еще раз по личности, я, говорит, тебе после отдам.

Ну, официант развернулся, конечно,— хлесь обратно.

Немец чин-чином с катушек и заблажил: гобль-гобль.

Чего дальше было — неизвестно. Известно только, что прожил немец после того в России месяц и уехал в Испанию. А перед отъездом знакомому и незнакомому первый протягивал руку и личность держал боком.

Вот какая это была история.

Но, конечно, это было давно. И другие были тогда обстоятельства. И жизнь другая. И до того, братцы мои, другая, что, на мой ничтожный взгляд, только сейчас и подошло время отменить китайские церемонии.

А ну, братцы, начнем. Небось теперь по личности никто не хлеснет... А я начну первый. Приду, скажем, завтра к дяде Яше. Здорово, скажу, брат. А руки не подам.

Чего дядя Яша со мной сделает — сообщу, братцы мои, после.

ТЕТКА МАРЬЯ РАССКАЗАЛА

Пошла я, между прочим, в погреб. Взяла, конечно, горшок с молоком в левую руку и иду себе.

Иду себе и думаю:

«Паутина, думаю, в угле завелась. Сместь надо».

Повела я поверху головой, вдруг хрясь затылком об косяк. А косяк низкий.

А горшок хрясь из рук. И текеть молоко.

А в глазах у меня мурашки и букашки, и хрясь я тоже об пол. И лежу, что маленькая.

После пришла в себя.

«Так, думаю, мать честная, пресвятая. Едва я, думаю, от удара не кончилась».

Пришла я домой, голову косынкой обернула и пилюлю внутрь приняла. Пилюли у меня такие были... И живу дальше.

И начало, милые, с тех пор у меня дрожать чтой-то в голове. И дрожит, и болит, и на рвоту зовет.

Сегодня, например, голова болит, завтра я блюю. Завтра блюю, послезавтра обратно голова болит. И так она, сукин сын, болит, что охать хочется и на стенку лезть.

Ладно. Болит она, сукин сын, месяц. И два болит. И три болит. После Авдотья Петровна ко мне заявляется и пьет кофей.

Сем-пересем. Как, и чего, и почему. А я и говорю ей:

— Голова-то, говорю, Авдотья Петровна, не отвинчивается — в карман не спрячешь. А если, говорю, ее мазать, то опять-таки чем ее мазать? Если куриным пометом, то, может, чего примешивать надо — неизвестно.

А Авдотья Петровна выкушала два стакана кофея, кроме съеденных булок, и отвечает:

— Куриный, говорит, помет или, например, помет козий — неизвестно. Удар, говорит, обрушился по затылку. Затылок же дело темное, невыясненное. Но, говорит, делу может помочь единственное одно лицо. А это лицо — ужасно святой жизни старец Анисим. Заявись между тем к нему и объяснись... А живет он на Охте. У Гусева.

Выпила Авдотья Петровна еще разгонный стакашек, губы утерла и покатилась.

А я, конечно, взяла, завернула сухих продуктов в кулек и пошла на другой день к старцу Анисиму. А голова болит, болит. И блевать тянет. Пришла.

Комната такая с окном. Дверь деревянная. И народ толкется. И вдруг дверь отворяется и входит старец святой Анисим.

Рубашка на нем сатиновая, зубы редкие и в руках жезло.

Подала я ему с поклоном сухими продуктами и говорю как и чего. А он вроде не слушает и говорит загадками:

— На бога надейся, сама не плошай... Не было ни гроша, вдруг пуговица...

А кулек между тем взял и подает своей сиделке.

— Анисим, говорю, не замай. Либо, говорю, кулек назад отдай, либо объясни ровней как и чего.

А он скучным взором посмотрел и отвечает:

— Все, говорит, мы у бога на примете... Чем ушиблась, тем и лечись.

«Ах ты, думаю, клюква! Чего ж это он говорит такое?» Но спорить больше не стала и пошла себе.

Дома думала, и плакала, и не решалась загадку разгадать. А после, конечно, решилась и стукнулась. Стукнулась затылком о косяк и с катушек долой свалилась. И «мя» сказать не могу.

А после свезли меня в больницу. И что ж вы думаете, милые мои? Поправилась. Слов нет: башка по временам болит и гудит, но рвоту как рукой сняло...

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

В этом деле врать не годится. Если ты видел Владимира Ильича — говори: видел там-то, при таких-то обстоятельствах. А если не видел — молчи и не каркай по-пустому. Так-то будет лучше для истории.

А что Иван Семеныч Жуков хвалился, будто он на митинге видел Владимира Ильича и будто Ильич все время смотрел ему в лицо, то это вздор и сущая ерунда. Не мог Ильич смотреть ему в лицо,— лицо как лицо, борода грубая, тычком, нос простой и заурядный. Не мог Ильич смотреть на такое лицо, тем более что Иван Семеныч Жуков нынче ларек открыл — торгует, и, может, у него гири неклейменые.

За такое вранье я еще при встрече плюну в бесстыжие глаза этого Жукова.

Вообще от такого вранья только путаница может произойти в истории.

Я вот видел нашего дорогого вождя, Владимира Ильича Ленина, не вру.

Я, может, специально от Мартынова пропуск в Смольный достал. Я, может, часа три как проклятый в коридорах ходил — ждал. И ничего — не хвастаюсь. А если и говорю теперь, то для истории.

А встал я в коридоре ровно в три часа пополудни. Встал и стою что проклятый. А тут возле меня мужчина в меховой шубе стоит и ногами дергает от холода.

— Чего, спрашиваю, стоите и ногами дергаете?

— Да, говорит, замерз. Я, говорит, шофер Ленина.

— Ну? — говорю.

Посмотрел я на него — личность обыкновенная, усишки заурядные, нос.

— Разрешите, говорю, познакомиться.

Разговорились.

— Как, говорю, возите? Не страшно ли возить? Пассажир-то не простой. А тут вокруг столбы, тумбы — не наехать бы, тьфу-тьфу, на тумбу.

— Да нет, говорит, дело привычное.

— Ну, смотрите, говорю, возите осторожно.

Ей-богу, так и сказал. И не хвастаюсь. А если и говорю, то для истории. А шофер, хороший человек, посмотрел на меня и говорит:

— Да уж ладно, постараюсь.

Ей-богу, так и сказал. «Постараюсь»,— говорит.

— Ну, говорю, старайся, братишка.

А он махнул рукой — дескать, ладно.

— То-то, говорю.

Хотел я записать наш исторический разговор — бац — карандаша нету. Роюсь в одном кармане: спички, тонкая бумага на завертку, нераскуренная пачка восьмого номера, а карандаша нету. Роюсь в другом кармане — тоже нету.

Побежал я во второй этаж, в канцелярию — дали огрызок. Возвращаюсь поскорей назад — нету шофера. Сейчас тут стоял в шубе и ногами дергал, а сейчас нету. И шубы нету.

Я туда, сюда — нету.

Выбегаю на улицу — шофер на машине сидит, машина шумит и трогается. А в машине — дорогой вождь, Владимир Ильич, сидит, и воротничок поднят.

Приложил я руку к козырьку, хотел закричать ура, но забоялся часового и отошел влево.

Отошел — и не хвастаюсь. Не кричу налево и направо — дескать, и я видел Ильича.

Ну видел и видел. Про себя счастлив, а которые люди хотят от меня подробностей узнать, пущай прямо ко мне обращаются.

СЧАСТЬЕ

Иной раз хочется подойти к незнакомому человеку и спросить: ну, как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое.

С тех пор как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю.

Иные шуточкой на это отделываются — дескать, жи-

ву — хлеб жую. Иные врать начинают — дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по шестому разряду, семьей доволен.

И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. А ответил мне дорогой мой приятель, Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик. Человек сам немудреный. И с бородой.

— Счастье-то? — спросил он меня.— А как же, обязательно счастье было.

— Ну, и что же,— спросил я,— большое счастье было?

— Да уж большое оно или оно маленькое — неизвестно, а только оно на всю жизнь запомнилось.

Иван Фомич выкурил две папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать.

— А было это, дорогой товарищ, лет, может, двадцать или двадцать пять назад. И был я тогда красивый и молодой, усики носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье привалит. А года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дите родила. И как жена в свое время скончалась. И как дите тоже скончалось. Все шло тихо и гладко. И особенного счастья в этом не было.

Ну а раз, 27 ноября, вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю.

Сижу и пью с блюдечка. И думаю: вот, дескать, года идут своим чередом, а счастья-то и незаметно.

И только я так подумал — слышу разные возгласы. Оборачиваюсь — хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть. А его хозяин из-за столика выбивает и не дозволяет сесть.

— Нету, кричит, вашему брату солдату не дозволено в трактирах за столики присаживать. Мне за его штраф плати. Ступай себе, милый.

А солдат пьяный и все присаживается. А хозяин его выбивает. А солдат родителей вспоминает.

— Я, кричит, такой же, как и не вы! Желаю за столик присесть.

Ну, посетители помогли — выперли солдата. А солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стекло. И тёку.

А стекло зеркальное — четыре на три, и цены ему нету.

У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть.

— Что ж это, кричит, граждане? Разорил меня солдат. Сегодня суббота, завтра воскресенье — два дня без стекла. Стекольщика враз не найти, и без стекла посетители обижаются.

А посетители, действительно, обижаются:

— Дует, говорят, из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут эвон дыра какая.

Вдруг я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкою чайник, чтоб он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину.

— Я, говорю, любезный коммерсант, стекольщик.

Ну, обрадовался он, пересчитал в кассе деньги и спрашивает:

— А сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить?

— Нету, говорю, любезный коммерсант, из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло четыре на три. А цена тому зеркальному стеклу будет семьдесят пять целковых и бой мне. Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса.

— Что ты,— говорит хозяин,— объелся? Садись, говорит, обратно за столик и пей чай. За такую, говорит, сумму я лучше периной заткну отверстие.

И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину.

И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается то наружу, то вовнутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются — дескать, темно, и некрасиво чай пить.

А один, спасибо, встает и говорит:

— Я, говорит, на перину и дома могу глядеть, на что мне ваша перина?

Ну, хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом и дает деньги.

Чаю я не стал допивать, зажал деньги в руку и побежал.

Прибегаю в стекольный магазин — магазин закрывается. Умоляю и прошу — впустили.

И все, как я и думал, и даже лучше: стекло четыре на три тридцать пять рублей, за переноску — пять, итого сорок.

И вот стекло вставлено.

Допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку,

после — рататуй. Съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. А в руке чистых тридцать рублей. Хочешь — на них пей, хочешь — на что хочешь.

Эх и пил же я тогда! Два месяца пил. И покупки, кроме того, сделал: серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег.

— Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьишко. Но только раз. А вся остальная жизнь текла ровно, и большого счастья не было.

Иван Фомич замолчал и снова, неизвестно для чего, подмигнул мне.

Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни такого счастья не было.

Впрочем, может, я не заметил.

ТВЕРДАЯ ВАЛЮТА

— Чтой-то мне не нравится, граждане, твердая валюта,— сказал Григорий Иванович.— Ничего в ней нету хорошего. Одно сплошное беспокойство выходит гражданам.

Скажем, двугривенный. Звенит, слов нету, а положил его в карман — и поминай как звали: небольшая дырочка в кармане, и вывалилась ваша твердая валюта к чертовой бабушке. А потом лижи пол языком, надевай бинокли на нос, отыскивай.

А если валюта мягкая, то опять-таки ничего в ней хорошего. Одно сплошное беспокойство выходит гражданам. Ну, бумажка и бумажка, а присел за стол, сыграл в очко — и нету вашей бумажки.

Не нравится мне такая валюта, не симпатична.

А уж если на такую валюту покупать пошел, то до того скучно, до того нету интереса, что и покупать не хочется.

Ну, пришел в лавочку. Приказчик этакий стоит с бородой, нож точит. Ну, здравствуйте! Чего, дескать, вам нужно? Ну, возьмешь обрезков, заплатишь в кассу. И все. И ничего больше. Ни поторговаться, ни на товар плюнуть. С приказчиком сцепиться — и то нельзя.

Эх, скучно! До того мне, товарищи, с этой теперешней валютой скучно, так и сказать нельзя. Я, товарищи, вообще иду теперь против капитализма и денежного обращения. Я стою за денежный порядок восемнадцатого года.

Тоже была там валюта. Вроде володи. Если колечко или портсигар — твердая, если шляпа или штаны — мягкая.

А очень отлично было и хорошо.

Повезешь мужичкам штаны. Выложишь им эти штаны, помахаешь в воздухе, зажмешь пальцем кое-какую дыру — и пожалуйте, налетайте, граждане, волоките в обмен припасы. Иной раз до того товару навезешь в город, что даже совестно, зачем деревню объегорил.

Конечно, некоторые граждане, может быть, скажут, что неудобно было с такой валютой — возня и неприятности. Это пустяки. Очень было даже удобно и хорошо. А что неприятности, то в любом деле бывают неприятности.

Была у нас одна неприятность. Это когда мы рояль везли. Небольшой этакий рояльчик, но со струнами, с крышкой и с педальками.

А стоял этот рояль в пустой генеральской квартире. Что ж, думаем, зря гниет народное достояние. И с разрешения нижних жильцов выперли мы этот небольшой рояльчик на свет божий. Ну и повезли втроем.

Конечно, трудно было. Запарились. Пот льет, штаны прилипают, беда. Еле в теплушку вперли.

А народу смешно. Хохочут. Интересуются, куда музыку везем. А везем в Череповецкую на масло.

Привезли в Череповецкую. Волокем в одну деревню. Не берут. Один мужик было взял, да в его избенку рояль не лезет. Уж мы и так и этак — никак. Хотели стенку разбирать — заартачился серый, не позволил.

И цену хорошую дает, и рояль ему иметь хочется, а никак.

Я говорю:

— Ты, милый, не расстраивайся. Не лезет, не надо. Пущай во дворе стоять будет на вольном воздухе. Еще и лучше.

Так нет, не хочет.

Я говорю:

— Не хочешь, не надо. Не расстраивайся. Можем мы тебе над рояльчиком навесик вроде беседки устроить.

Нет. Боится, что корова пугаться будет.

Не хочет, не надо. Волокем рояльку в другую деревню. В другой деревне опять беда — не лезет музыка ни в одну избу.

Стали совещаться, чего делать. Решили не оптом, а в розницу продавать — кому педали, кому струну, кому что.

Ничего, разбазарили.

А что неприятность, то неприятность после вышла. Когда вернулись, к ответу потянули.

А на суде выяснилось, отчего рояль в избу не влезал. Надо было ножки откручивать. Век живи — век учись.

Только вот и была одна неприятность с этой твердой валютой, а то все сходило чинно, чисто и благородно.

Хорошо было и весело, не то что с теперешней валютой.

СТАРЫЙ ВЕТЕРАН

Тут недавно праздник был — юбилей Красной Армии. Хотел я свои воспоминания в какой-нибудь орган пристроить — не берут, черти липовые, не хочут. Ходил, ходил — ни в какую: отказывают.

Я говорю:

— Если денег, например, нету у вас в органе, то я обожду, надо мной не каплет. Печатайте.

А они насчет денег ничего утвердительного не говорят, но печатать отказывают.

Дозвольте уж мне, уважаемые редакторы, поместить в вашем полупочтенном органе свои славные воспоминания про Красную Армию, и как, знаете ли, меня забрали в ее ряды и как после того погнали на фронт.

Чудные и светлые воспоминания!

В настоящее время, когда государство перешло на мирное строительство, я тоже по-прежнему торгую на рынке орешками и сластями. Но в эти торжественные дни, как старый боевой конь при звуках военной трубы, я записываю свои воспоминания, хотя супруга Дарья Васильевна лезет драться по морде и умышленно опрокидывает пузырек с чернилами, требуя, чтоб я прекратил писание.

Уважаемые редакторы, извините ей, старой бабе,— не ведает, что творит. Не понимает она всей военной славы. И где же ей понять?

Это я в свое время действительно ходил по улицам, присоединяясь к какой-нибудь демонстрации и громко крича ура.

А раз, проходя по улице Герцена со стягами, я увидел такую картину. Смотрю, будто на углу народ скопился и жадно что-то читает.

Подхожу.

— Чего, спрашиваю, пишут? Не дорогие ли лозунги напечатаны?

— Нету, говорят, это не лозунги, это в Красную Армию берут.

Екнуло у меня сердце от предчувствия и задрожали руки. Попался, думаю, забрили.

Но вслух говорю равнодушно:

— Да ну, говорю, какие же года берут? Неужели же и восемьдесят третий год берут?

— Да, говорят, берут.

— Позвольте, говорю, а может, я нездоровый, может, я и ружье не подыму, как же так?

— Не знаем, говорят, обратитесь в военный комиссариат.

Побежал я в комиссариат. А настроение плохое, хоть в речку с моста. Но бодрюсь. Не сдамся, думаю, даром.

Прихожу.

Сидит этакий белобрысенький, в картузе и из пузырька пишет.

— Здравствуйте, говорю. Берут, говорю, восемьдесят третий год или это сущие враки?

— Да, говорит, берут.

— Позвольте, говорю, может, я больной, может, у меня внутри черт его знает чего делается?!

— Подавайте, говорит, на врачебную комиссию.

— Пожалуйста, отвечаю.

Записал он меня на комиссию и просит уйти честью. Ну, ушел.

Вышел на улицу. Опять демонстрации ходят. Пошел и я за стягами. Иду, кричу дорогие лозунги, вдруг женин папашка навстречу прется.

— Мое, говорит, вам. Не берут ли, говорит, в армию?

— Берут, говорю, чего и делать, не знаю.

А женин папашка отвечает:

— Можно, говорит, ногу ляписом прижечь или же купоросом.

— Да уж, говорю, я про это думал. Небось чересчур больно и попасться можно.

— Да уж, говорит, не без того.

Хотел я за эти слова жениному папашке по роже ударить, но удержался. Думаю: не ведает, что творит.

Попрощался с ним грустно и домой пошел.

Прихожу домой и обдумываю, чего делать.

А была у меня болезнь: в восемнадцатом году объелся я пшеном. Очень даже сильно меня рвало и несло. И были свидетели — жена и квартирный жилец Егор Пятин.

Ладно, думаю, возьму их в свидетели.

И вот наступила комиссия. Беру свидетелей и иду.

Являюсь.

Вызывают фамилию на Кы — Кукушкин. Подхожу. Почтительно здороваюсь за руки.

— Чем, говорят, страдаете? Все ли на руках пальцы?

— Пальцы, говорю, все, можете проверить, а животом действительно страдаю и по ночам блюю.

Пощупали живот и говорят:

— Здоровый. Подходи, который следующий.

— Позвольте, говорю, как это здоров? У меня, говорю, свидетели есть.

И зову свидетелей.

Являются жена и Егор Пятин. Здороваются с комиссией.

А врачи как один руками машут и не хотят здороваться. И не только не хотят здороваться, а и слушать их не желают.

Хотел я старшему из комиссии в бороденку плюнуть — удержался. Не ведает, думаю, что творит.

Ну, вижу, сорвалась вся музыка. Надо, думаю, поступать в армию. И тут же поступил.

Ну, поступил. Две недели проходит — пожалуйте, гражданин Кукушкин, на фронт, честью просим.

Поехали на фронт.

Приехали. Пули, конечно, летают, пушки, бомбометы... А один из командиров, спасибо ему, устроил меня в обоз на двуколке ездить.

И пробыл я в армии полгода. А когда отступали мы от Нарвы, я сильно погнал клячонку, а она меня скинула из двуколки. А другая клячонка, не нашего только полка, наступила мне на ногу.

Но уволили меня по другой причине — года вышли. Зря чертова кляча наступила на ногу.

ФОМА НЕВЕРНЫЙ

Фома Крюков три года не получал от сына писем, а тут извольте — получайте, Фома Петрович, из города Москвы, от родного сына пять целковых.

«Ишь ты,— думал Фома, рассматривая полученную повестку.— Другой бы сын небось три рубля отвалил бы, и хватит. А тут извольте — пять целковых. При таком обороте рублишко и пропить можно».

Фома Крюков попарился в бане, надел чистую рубаху, выпил полбутылки самогона и поехал на почту.

«Скажи на милость,— думал Фома дорогой,— пять

целковых! И чего только не делается на свете! Батюшки-светы! Царей нету, ничего такого нету, мужик в силе... Сын-то, может, державой правит... По пять рублей денег отцу отваливает... Или врут люди насчет мужиков-то? Ой, врут! Сын-то, может, в номерных, в гостинице служит!»

Фома приехал на почту, подошел к прилавку и положил извещение.

— Деньги,— сказал Фома,— деньги мне от сына дополучить.

Кассир порылся в бумагах и положил на прилавок полчервонца.

— Так! — сказал Фома.— А письма мне сын не пишет?

Кассир ничего не ответил и отошел от прилавка.

«Не пишет,— подумал Фома.— Может, после напишет? Можем ждать, если, скажем, есть деньги».

Фома взял деньги, посмотрел на них с удивлением и вдруг стукнул ладонью по прилавку.

— Эй, дядя! — закричал Фома.— Какие деньги суешь-то, гляди?!

— Какие деньги? — сказал кассир.— Новые деньги...

— Новые? — переспросил Фома.— Может, они, это самое, липовые, а? Думаешь, выпившему человеку все сунуть можно? Знаки-то где?

Фома посмотрел на свет, повертел в руке, потом опять посмотрел.

— Ну? — с удивлением сказал Фома.— Это кто там такой есть? Изображен-то... Не мужик ли? Мужик. Ей-богу, мужик. Ну? Не врут, значит, люди. Мужик изображен на деньгах-то. Неужели же не врут? Неужели же мужик в такой силе после революции?

Фома снова подошел к прилавку.

— Дядя,— сказал Фома,— изображен-то кто? Извини за слова...

— Уходи, уходи! — сказал кассир.— Получил деньги и уходи к лешему... Где изображен-то?

— Да на деньгах!

Кассир посмотрел на мужика и сказал усмехаясь:

— Мужик изображен. Ты, ваше величество, заместо царя изображен. Понял?

— Ну? — сказал Фома.— Мужик? А как же это я, дядя, ничего не знаю и ничего не ведаю? И землю пахаю. И все у нас пахают и не ведают.

Кассир засмеялся.

— Ей-богу,— сказал Фома.— Действительно, подтверждают люди: деятели, говорят, теперь крестьянские.

И крестьянство в почете. А как на деле, верно ли это или врут люди — неизвестно... Но если на деньгах портрет... Неужели же не врут?

— Ну, уходи, уходи,— снова сказал кассир.— Не путайся тут.

— Сейчас,— сказал Фома.— Деньги только дай спрятать, с портретом, ха... А я, дядя, имей в виду, царей этих самых и раньше не любил... Ей-богу...

Фома с огорчением посмотрел на сердитого кассира и вышел.

«Скажи пожалуйста,— думал Фома,— портрет выводят... Неужели же мужику царский почет?»

Фома погнал лошадь, но у леса вдруг повернул назад и поехал в город.

Остановился Фома у вокзала, привязал лошадь к забору и вошел в помещение.

Было почти пусто. У дверей, положив под голову мешок, спал какой-то человек в мягкой шляпе.

Фома купил на две копейки семечек и присел на окно, но, посидев минуту, подошел к спящему и вдруг крикнул:

— Эй, шляпа, слазь со скамьи! Мне сесть надо...

Человек в шляпе раскрыл глаза, оторопело посмотрел на Фому и сел. И, зевая и сплевывая, стал свертывать папироску. Фома присел рядом, отодвинул мешок и стал со вкусом жевать семечки, сплевывая шелуху на пол.

«Не врут,— думал Фома.— Почет все-таки заметный. Слушают. Раньше, может, в рожу бы влепили, а тут слушают, пугаются. Ишь ты, как все случилось, незаметно приключилось... Скажи на милость... Не врут».

Фома встал со скамьи и с удовольствием прошелся по залу.

Потом подошел к кассе и заглянул в окошечко.

— Куда? — спросил кассир.

— Чего куда?

— Куда билет-то, дура-голова?

— А никуда,— равнодушно сказал Фома, разглядывая помещение кассы.— Могу я посмотреть внутре кассу ай нет?

— А никуда,— сказал кассир,— так нечего и рыло зря пялить.

— Рыло? — обиженно сказал Фома.— Кому говоришь-то?

— Ишь, пьяная морда! — сердито сказал кассир.— Тоже в окно глядит... Черт серый... Насосался...

Фома нагнулся к окошечку и вдруг плюнул в кассира и быстро пошел к выходу.

Фому схватили, когда он отвязывал лошадь. Он вырывался, кричал, пытался даже укусить сторожа за щеку, но его неумолимо волокли к дежурному агенту.

Там, слегка успокоившись, Фома пытался что-то объяснить, размахивал руками, вынимал из шапки деньги и предлагал агенту взглянуть на них.

Но агент, ежесекундно макая перо в пузырек, писал протокол об оскорблении действием кассира при исполнении служебных обязанностей. И еще о том, что Фома, находясь явно в нетрезвом виде, ел в закрытом помещении семечки и плевал на пол.

Фома поставил под протоколом крестик и, вздыхая и дергая головой, вышел из помещения.

Отвязал лошадь, сел в телегу, достал из шапки деньги и посмотрел на них. Потом махнул рукой и сказал:

— Врут, черти...

И погнал лошадь к дому.

МЕДИК

Нынче, граждане, в народных судах все больше медиков судят. Один, видите ли, операцию погаными руками произвел, другой — с носа очки обронил в кишки и найти не может, третий — ланцет потерял во внутренностях или же не то отрезал, чего следует, какой-нибудь неопытной дамочке.

Все это не по-европейски. Все это круглое невежество. И судить таких врачей надо.

Но вот за что, товарищи, судить будут медика Егорыча? Конечно, высшего образования у него нету. Но и вины особой нету.

А заболел тут один мужичок. Фамилия — Рябов, профессия — ломовой извозчик. Лет от роду — тридцать семь. Беспартийный.

Мужик хороший — слов нету. Хотя и беспартийный, но в союзе состоит и ставку по третьему разряду получает.

Ну, заболел. Слег. Подумаешь, беда какая. Пухнет, видите ли, у него живот и дышать трудно. Ну, потерпи! Ну, бутылочку с горячей водой приложи к брюху — так нет. Испугался очень. Задрожал. И велит бабе своей, не жалеючи никаких денег, пригласить наилучшего знаменитого

врача. А баба что? Баба всплакнула насчет денег, но спорить с больным не стала. Пригласила врача.

Является этакий долговязый медик с высшим образованием. Фамилия Воробейчик. Беспартийный.

Ну, осмотрел он живот. Пощупал чего следует и говорит:

— Ерунда, говорит. Зря, говорит, знаменитых врачей понапрасну беспокоите. Маленько объелся мужик через меру. Пущай, говорит, клистир ставит и курей кушает.

Сказал и ушел. Счастливо оставаться.

А мужик загрустил.

«Эх, думает, так его за ногу! Какие дамские рецепты ставит. Отец, думает, мой не знал легкие средства, и я знать не желаю. А курей пущай кушает международная буржуазия».

И вот погрустил мужик до вечера. А вечером велит бабе своей, не жалея никаких денег, пригласить знаменитого Егорыча с Малой Охты.

Баба, конечно, взгрустнула насчет денег, но спорить с больным не стала — поехала. Приглашает.

Тот, конечно, покобенился.

— Чего, говорит, я после знаменитых медиков туда и обратно ездить буду? Я человек без высшего образования, писать знаю плохо. Чего мне взад-вперед ездить?

Ну, покобенился, выговорил себе всякие льготы: сколько хлебом и сколько деньгами — и поехал.

Приехал. Здравствуйте.

Щупать руками желудок не стал.

— Наружный, говорит, желудок тут ни при чем. Все, говорит, дело во внутреннем. А внутренний щупай — болезнь от того не ослабнет. Только разбередить можно.

Расспросил он только, чего первый медик прописал и какие рецепты поставил, горько про себя усмехнулся и велит больному писать записку — дескать, я здоров, и папаша покойный здоров, во имя отца и святого духа.

И эту записку велит проглотить.

Выслушал мужик, намотал на ус.

«Ох, думает, так его за ногу! Ученье свет — неученье тьма. Говорило государство: учись — не учился. А как бы пригодилась теперь наука».

Покачал мужик бороденкой и говорит через зубы:

— Нету, говорит, не могу писать. Не обучен. Знаю только фамилие подписывать. Может, хватит?

— Нету,— отвечает Егорыч, нахмурившись и теребя усишки.— Нету. Одно фамилие не хватит. Фамилие, гово-

рит, подписывать от грыжи хорошо, а от внутренней полная записка нужна.

— Чего же,— спрашивает мужик,— делать? Может, вы за меня напишете, потрудитесь?

— Я бы,— говорит Егорыч,— написал, да, говорит, очки на рояли забыл. Пущай кто-нибудь из родных и знакомых пишет.

Ладно. Позвали дворника Андрона.

Дворник даром что беспартийный, а спец: писать и подписывать может.

Пришел Андрон. Выговорил себе цену, попросил карандаш, сам сбегал за бумагой и стал писать.

Час или два писал, вспотел, но написал:

«Я здоров и папаша покойный здоров во имя отца и святого духа.

Дворник дома № 6. *Андрон*».

Написал. Подал мужику. Мужик глотал, глотал — проглотил.

А Егорыч тем временем попрощался со всеми любезно и отбыл, заявив, что за исход он не ручается — не сам больной писал.

А мужик повеселел, покушал даже, но к ночи все-таки помер.

А перед смертью рвало его сильно и в животе резало.

Ну, помер — рой землю, покупай гроб — так нет. Пожалела баба денег — пошла в союз жаловаться: дескать, нельзя ли с Егорыча деньги вернуть.

Денег с Егорыча не вернули — не таковский, но дело всплыло.

Разрезали мужика. И бумажку нашли. Развернули, прочитали, ахнули: дескать, подпись не та, дескать, подпись Андронова — и дело в суд. И суду доложили: подпись не та, бумажка обойная и размером для желудка велика — разбирайтесь!

А Егорыч заявил на следствии: «Я, братцы, ни при чем, не я писал, не я глотал и не я бумажку доставал. А что дворник Андрон подпись свою поставил, а не больного — недосмотрел я. Судите меня за недосмотр».

А Андрон доложил: «Я, говорит, два часа писал и запарился. И, запарившись, свою фамилию написал. Я, говорит, и есть убийца. Прошу снисхождения».

Теперь Егорыча с Андроном судить будут. Неужели же засудят?

БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

На первомайском празднике аэропланы летали...

А если человек на аэроплан зазевался, если голову кверху задрал и рот разинул, то примета такая есть — к такому человеку сущие пустяки в карман влезть.

Ну а влез в карман — бери что твоей душе угодно. А душе, скажем, все угодно. Каждый предмет угоден и нравится. Васькиной душе, например, и часишки нравятся, и портсигары очень симпатичны, и колечки — тоже неплохо, если они, конечно, не кастрюльного золота.

На аэропланы же Васька Гусев смотреть не любит — нелюбопытное занятие. Ну летит и летит. На то и сделано, чтоб летало.

Васька Гусев потискался в толпе, вынул у пузатого гражданина портсигар серебряный, срезал у зазевавшегося, сенновского небось, купчика струканцы с цепочкой, залез в какую-то бабью сумочку, выбрал оттуда маленький этакий портсигарчик с пудрой и платок довольно вонючий и переложил все это добришко в свой карман.

После, весело посвистывая, Васька Гусев нырнул в сторонку, прошел два квартала для безопасности и, снова потискавшись в народе, пробрался вперед, встал у тумбы и с интересом стал следить за демонстрацией.

Народ шел по улице с пением и музыкой. Трубачи трубили, народ пел, красные флаги качались в воздухе, а по бокам на панелях плечом к плечу люди теснились и охали.

Васька не охал. Васька стоял на панели и курил папироску. Позади Васьки кто-то сказал вслух:

— А все-таки, братцы, огромаднейший это праздник... Первое то есть мая...

— А конечно,— подтвердил кто-то.— Пасха и та будет помельче...

Васька Гусев тоже хотел присовокупить свое авторитетное мнение насчет праздника — дескать, майский праздник разве можно с чем сравнить, чудаки...

Но сказать это вслух Васька постеснялся.

«Праздник, конечно, большой,— подумал Васька;— а мое дело, между прочим,— маленькое: спер — и за щеку, спер — и до свиданья... А праздник, безусловно, огромадный. В такой праздник даже довольно совестно в карманы влезать».

Васька побренчал серебром в кармане и успокоительно сплюнул.

«У буржуев, между прочим, сперто,— подумал Васька.— У бедноты нипочем бы не спер. Очень уж огромадный праздник. Нельзя».

Васька снова побренчал рукой по карману и вдруг вспомнил, что, кроме всего прочего, еще спер он у девицы серебряный портсигарчик с пудрой.

«Жалко,— подумал Васька.— Зазря девчонку обидел. Пойти поискать ее, что ли? Очень уж огромадный праздник... Да где найти?.. Подсунуть, что ли, кому-нибудь? Товарчик, конечно, маловажный, неинтересный товар. На что он мне сдался...»

Васька пробрался через толпу и нырнул в сторонку.

«Суну кому-нибудь этот самый дамский портсигарчик,— решил Васька.— Ей-богу. Суну бедному человеку. Очень огромадный праздник! Пущай бедный человек придет домой, на квартиру, вывернет карманы, а там портсигарчик. Серебро все-таки... Продать можно... А человек пущай будет пребедный-бедный. Найдет портсигарчик, обрадуется до чего, заплачет... Вот, скажет, какое чудо-юдо со мной приключилось!»

Васька помечтал немного и стал глазами искать бедного человека.

Много было бедных, но у одного сапоги были новешенькие, у другого — штаны приличные в клеточку, у третьего — цепочка из кармана болтается. Таким-то Васька не сунет. Сунет Васька ужасно бедному и безработному человеку.

Васька прошелся по тротуару и вдруг увидел человека, плохо одетого, в рыжих штанах и в рваной гимнастерке. Человек стоял неподвижно и, слегка раскрыв рот, смотрел на аэроплан.

«Безработный,— подумал Васька.— Ему и суну. Ей-богу. Очень уж огромадный праздник».

Васька Гусев подошел к бедняку поближе, нащупал карман в рыжих штанах и сунул туда портсигар.

Портсигар провалился в карман и вдруг с грохотом упал на панель. В рыжих штанах карманов не было.

Человек в рыжих штанах охнул и схватил Ваську за руку.

— Воруют! — закричал он, сжимая Васькины руки.

Тотчас окружили Ваську и стиснули кольцом. От удивления Васька даже не сопротивлялся.

— Ну и ну,— сказал Васька,— карманов-то, братцы, у его нету...

Ваську тискали, мяли и даже кто-то ударил по скуле.

— За что же, братцы? — сказал Васька, сплевывая.— Я же, братцы, сам ему сунул дамский этот портсигарчик.

— Да ну? — удивились в толпе.— Зачем же ты сунул-то?

Человек в рыжих штанах оторопело смотрел на Ваську.

— Да ну? — сказал он тоже.— Ты, парень, небось думал, что карманы у меня есть, да? Нету у меня, парень, карманов-то. Жалею, что нету... Жалко. Лучше бы ты, парень, вот сюда сунул.

Человек без кармана хлопнул по своей гимнастерке и с огорчением добавил:

— Жалко... В этот карманчик надо бы тебе сунуть. На гимнастерке который. Ты гляди, парень: в этот надо было сунуть. Эх, дядя!..

Человек без кармана сконфуженно улыбнулся, махнул рукой и, с грустью покачивая головой, отошел в сторонку.

Ваську повели в милицию, но по дороге отпустили.

ЗАБЫТЫЙ ЛОЗУНГ

(Письмо в редакцию)

Уважаемые товарищи редакторы и дорогие наборщики! Узнав из газеты, что вы выпущаете специальный дамский номер, то прошу присоединить и мой скромный голос.

Потеснитесь слегка, дорогие писатели! Позвольте и мне какое-нибудь местечко сообщить насчет женского вопроса и насчет равноправия.

Как же это так, дорогие товарищи, насчет женского равенства? Неужели же позабыт этот симпатичный лозунг? Неужели же, между прочим, от него ничего не осталось?

Не далее как в восемнадцатом году, при полном восторге, был объявлен этот лозунг — равенство. Это значит, что любая мало-мальски пустяковая дамочка приравнивается мужчине, и если куда с ним идет, то платит на равных основаниях и из своего кармана.

Но не прошло и пяти лет, как лозунг этот позабыт, и перед лицом зрителя встает иная картина. Идешь ли с какой-нибудь дамочкой в театр или посещаешь с ней кинематограф, плати входные и за театр, и за кинематограф. А если дамочка берет с собой малолетнюю сестренку, то и за малолетнюю сестренку. А если увяжется, между прочим, престарелая мамаша, то и за мамашу — так, здоро-

во живешь,— выкладывай денежки. Хотя, между прочим, мамаша слаба глазами и даже через очки ни черта не смыслит, и деньги, значит, выбрасывай зря и на ветер.

Или, например, влезаешь с дамочкой в трамвай — плати кондуктору и за трамвай. А если вынимаешь деньги за одного, то после слез и скандалу не оберешься.

Как же так, дорогие товарищи наборщики? Какое же это, между прочим, равенство? За что же человеку страдать, если в свое время был объявлен дорогой лозунг? И закон обратного хода не имеет?

Потеснитесь еще слегка, уважаемые и маститые писатели! Не сердитесь, дорогие наборщики, что заставляю вас набирать — за вашего же брата, мужика, хлопочу и стараюсь.

Так вот: в восемнадцатом году был объявлен дорогой лозунг, а в девятнадцатом году, не откладывая дела в долгий ящик, принялся я отыскивать подругу жизни, которая бы совпадала с лозунгом. Но такой подруги не нашел.

Некоторые дамочки просто смеялись над лозунгом, говоря, что им не надо такого лозунга. Другие, напротив того, говорили, что лозунг симпатичный, но, между прочим, чуть до дела — так и гони монету: и за вход плати, и место уступай, и монпáсье покупай... Вот вам и лозунг!

Два года я искал и наконец нашел.

Потеснитесь еще слегка, уважаемые писатели! Дозвольте досказать фабулу. Пожирнее набирайте, дорогие наборщики.

Так вот — нашел. Встретил ее в клубе, когда она с пеной на губах защищала этот лозунг.

Конечно, она не была красивая, эта дамочка, но я смотрел не на ее наружность, я смотрел на ее внутренность.

А наружность у ней была скромная — волосики были под ноль отрезаны и одна губа несколько свешивалась книзу, что придавало лицу печальное выражение. Но зато цвет лица был красный и здоровый.

Когда я к ней подошел, то она брызгала слюной и говорила, что никогда не позволит мужчине на себя тратиться.

— Это, говорю, гражданка, до первого случая. Небось когда корабль тонет, то дамы вперед, а мужчина тони и захлебывайся в море.

— Нет, говорит, тонуть, так вместе.

— Ну, говорю, разрешите тогда познакомиться.

Познакомились. Стали с ней всюду бывать. Действительно, платит за себя и презрительно отзывается о других дамах.

Два месяца я с ней походил — делаю официальное предложение.

— Позвольте, говорю, быть вашим спутником в жизни. Вы, говорю, работаете на себя, я на себя. Вы за вход, и я за вход. Очень, говорю, это симпатично и вполне совпадает с лозунгом.

А она говорит:

— Ладно. Только, говорит, все свадебные издержки пополам.

— Пожалуйста, говорю.

Так вот я и женился.

Потеснитесь еще слегка, дорогие писатели! Сейчас доскажу.

Так вот, женился я в мае, а в июне увольняют мою супругу со службы как замужнюю.

А она домой приходит и смеется.

— Вы, говорит, мне супруг, вы и содержите.

Побежал я на ее службу объясняться, а там и слушать не хотят и насчет лозунга улыбаются.

Уважаемые редакторы и дорогие наборщики! Как же это так? За что же я погиб? И за какие грехи мне теперь жить с кикиморой?

Где же дорогой лозунг? Неужели позабыт навеки?

КОЛДУН

Чудеса, граждане! Кругом, можно сказать, пар, электрическая энергия, швейные ножные машинки,— и тут же наряду с этим — колдуны и кудесники.

Совершенные чудеса!

У мужика в деревне сеялка и веялка, и землю свою мужик раздраконивает паровым трактором, и тут же рядом и почти в каждой деревне проживает колдун. Живет, хлеб жует и мужичков поцукивает.

Странные и непонятные вещи!

На днях вот в одной деревне убили колдуна. Ну убили, убили — забыть надо. Так не забыли мужички. Плачут теперь и рыдают и рвут на себе волосенки.

Потому — пугаются, что будет наказание свыше.

А пришел этот колдун перед самой своей гибелью к одному среднему мужику. А примета такая: пришел колдун — значит, жди беды: либо корова скончается, либо другое несчастье.

Пришел колдун и сел за стол. А глаза у самого мутные, усы книзу, и бороденка треплется.

Сидит колдун за столом и почесывает левую руку.

Ну, конечно, в избе испугались. Хозяйка мечется, кряхтит, прет на стол все съедобное. Старуха кланяется между тем колдуну в пояс и наивно спрашивает:

— И чего ты, батюшка, пришел, сел за стол и чешешь левую ручку? Не случится ли какой бедишки или горя?

А колдун, нахмурясь, отвечает:

— Может, бабка, и случится. А случится, так откупишься, божья старушка. Бояться беды нечего.

А хозяин, инвалид Тимошка, цыкает на старушку и сам к колдуну подходит.

— Нечего, говорит, дарма тут сидеть — прохлаждаться. Нечего, говорит, тут ручки чесать — блох у меня разводить. Почесал и хватит — катись колбаской.

Ахнули в избе от нахальной реплики. А колдун посерел, встал, понюхал пустой воздух и вышел.

Ну вышел — вышел. Баба плачет, старушка хрюкает, а Тимошка, выпятив грудь, отвечает:

— Я, говорит, еще премного жалею, что колдуна между глаз не ударил. Я, говорит, колдунов завсегда в переносье бью.

И вот наступила ночь. Баба плачет, старушка хрюкает. А Тимошка на лавке лежит и носом посвистывает.

Вдруг среди ночи баба Тимошку будит.

— Ну, говорит, дождались — несчастье. Слушай!

И верно: со двора из хлева тоненько так теля заливается.

Ну, зажгли фонарь, вышли во двор — верно: стоит теленок посередь хлева, хвостик свой приподнял ввысь и орет, орет — ушам скучно.

Дали телке хлебца моченого — не берет. Дали молока — отказывается.

И орет всю ночь. И утром орет. И в обед орет.

Вечером бабы поднаперли на Тимошку. Велели повалиться ему в ноги колдуну и выпросить прощение.

Тимошка покобенился, но пошел.

Пришел.

— Чего,— спрашивает колдун,— не телка ли орет?

Испугался Тимошка.

— Да, говорит, гражданин колдун, орет телка. Не вели, говорит, казнить, а вели миловать. С меня, говорит, приходится.

— Ладно,— сказал колдун.

И пошел. Он пошел впереди, а Тимошка за ним.

Дошли до дому, а колдун и говорит:

— Как войдем в ворота, отвернися в сторону и шепчи молитвы. Я же потружусь и сам пойду к теленку.

И пошел к теленку.

А Тимошка обождал слегка и за ним. Колдун в хлев, а Тимошка припал к стене и в щелку смотрит, чего колдун ворожить будет.

А колдун между тем взял в руку телячий хвост и вынимает из него булавку.

Закричал тут Тимошка, запер хлев, созвал мужиков и объяснил дело.

Начали колдуна бить.

Били колдуна, били — молчал колдун, но, помирая, сказал:

— Не я всунул в телячий хвост булавку — бог всунул.

С тем и помер.

Ну помер — помер. На сегодня, например, помер — завтра несчастье: у мужика в соседней деревне корова ногой куру задавила.

Месяц или два прошло — бац еще несчастье: шел пьяненький мужик домой, свалился в канаву и ногу себе вывернул. Два эти несчастья случились, и мужички ждут третьего. А третье случится — будут ждать четвертого.

Будет теперь колдун крошить народ человеческий.

ВЕРНАЯ ПРИМЕТА

В приметы во всякие я, товарищи, не верю. Ерунда это.

Ну, скажем, поп идет, для примеру. Ну идет и идет. Оставьте его в покое. Может, он в народный суд идет, или следователь его вызывает. Я почем знаю? Зачем же отсюда выводить всякие умозрения — дескать, встретил попа, значит, худо будет? Ерунда это. Пустяки.

Или, скажем, черная кошка дорогу перебежала... Другой человек увидит кошку и непременно назад лыжи повернет. Испужается. Не пойдет по делу. Пути, дескать, не будет.

Опять-таки вздор. Опять ерунда. Ну бежит кошка — что из того? Ну пихни ее ногой или перебеги на другую сторону и иди спокойно по своим делам. Так нет, назад вертаются.

Я, товарищи, открыто заявляю: не верю я в эти пустяко-

вые приметы... Раз такое было дело. Пригласил нас Иван Иваныч Крюков, — может, знаете, — на свои именины. Баба его, конечно, в день именин крендель этакий огромный спекла. И мелким сахаром сверху обсыпала. И выносит его на блюде. На стол ставит.

А хозяин, заметьте, ручки свои потирает.

— Вот, говорит, обратите ваше такое внимание на этот крендель. Крендель, говорит, этот не простой. Крендель, говорит, с сюрпризом для гостей.

— Ну? — спрашиваем.

— Да, говорит, с сюрпризом. Гривенник, говорит, серебряный в нем запечен. Кому, говорит, гривенник достанется, тот и есть самый счастливый в жизни. Испытаем, говорит, счастье... Примета верная.

Нарезал хозяин крендель. Стали кушать...

А был среди нас вдовец Петрович. Человек ужасно робкий и несчастливый. Не везло ему в жизни: и кобыла у него ногу сломала, и баба у него, знаете, недавно скончалась по болезни, и вообще по всем пунктам не перло человеку.

Так вот этот самый Петрович, как услышал про гривенник — затрясся.

— Эх, говорит, кабы мне гривенник достался. Кабы мне счастье такое привалило.

И сам навалился на крендель, жует — хозяин даже резать не поспевает.

Съел он одиннадцать кусков, на двенадцатом — стоп!

— Угу, говорит, тут, кажется, гривенник. Под языком...

Сунул Петрович палец в рот — вытащить хотел, да от радости, как рыба, вздохнул внутрь и поперхнулся. И проглотил гривенник.

Встал Петрович бледный из-за стола.

— Так, говорит, нельзя, братцы. Надо, говорит, по крупней монеты запекать. Я, говорит, проглотил нечайно...

Принялся народ хохотать над ним. А Петрович не смеется. Стоит очумелый возле стола и воду хлебает из ковшика.

Попил водички, пришел в себя и тоже смеяться начал.

— Хотя, говорит, я и проглотил гривенник, но все-таки счастье ко мне обернулось. Попрет мне теперь в жизни.

Но Петровичу не поперло.

К вечеру он заболел и через два дня помер в страшных мучениях.

А доктора заявили, будто скончался Петрович от гривенника, будто гривенник в кишках засел. Монета все-таки

хотя и некрупная, но новая, шершавая, по краям зазубринки — не проскользнуть.

А хоронили Петровича по гражданскому обряду и без попов. В этом отношении Петровичу поперло.

ПЛОХОЙ ОБЫЧАЙ

В феврале я, братцы мои, заболел.

Лег в городскую больницу. И вот лежу, знаете ли, в городской больнице, лечусь и душой отдыхаю. А кругом тишь и гладь и божья благодать. Кругом чистота и порядок, даже лежать неловко. А захочешь плюнуть — плевательница. Сесть захочешь — стул имеется, захочешь сморкнуться — сморкайся на здоровье в руку, а чтоб в простыню — ни боже мой, в простыню нипочем не позволяют. Порядка, говорят, такого нет.

Ну и смиряешься.

И нельзя не смириться. Такая вокруг забота, такая ласка, что лучше и не придумать. Лежит, представьте себе, какой-нибудь паршивенький человек, а ему и обед волокут, и кровать убирают, и градусники под мышку ставят, и клистиры собственноручно пихают, и даже интересуются здоровьем.

И кто интересуется? Важные, передовые люди — врачи, доктора, сестрички милосердия и опять же фельдшер Иван Иванович.

И такую я благодарность почувствовал ко всему этому персоналу, что решил принести материальную благодарность.

Всем, думаю, не дашь — потрохов не хватит. Дам, думаю, одному. А кому — стал присматриваться.

И вижу: некому больше дать, иначе как фельдшеру Ивану Ивановичу. Мужчина, вижу, крупный и представительный и больше всех старается и даже из кожи вон лезет.

Ладно, думаю, дам ему. И стал обдумывать, как ему всунуть, чтоб и достоинство его не оскорбить, и чтоб не получить за это в рожу.

Случай скоро представился.

Подходит фельдшер к моей кровати. Здоровается.

— Здравствуйте, говорит, как здоровье? Был ли стул?

Эге, думаю, клюнуло.

— Как же, говорю, был стул, да кто-то из больных унес. А ежели вам присесть охота — присаживайтесь в ноги на кровать. Потолкуем.

Присел фельдшер на кровать и сидит.

— Ну,— говорю ему,— как вообще, что пишут, велики ли заработки?

— Заработки, говорит, не велики, но которые интеллигентные больные и хотя бы при смерти, норовят непременно в руку сунуть.

— Извольте, говорю, хотя и не при смерти, но дать не отказываюсь. И даже давно про это мечтаю.

Вынимаю деньги и даю. А он этак любезно принял и сделал реверанс ручкой.

А на другой день все и началось.

Лежал я очень даже спокойно и хорошо, и никто меня не тревожил до этих пор, а теперь фельдшер Иван Иванович словно ошалел от моей материальной благодарности. За день раз десять или пятнадцать припрется он к моей кровати. То, знаете ли, подушечки поправит, то в ванну поволокет, то клизму предложит поставить. Одними градусниками замучил он меня, сукин кот. Раньше за сутки градусник или два поставит — только и всего. А теперь раз пятнадцать. Раньше ванна была прохладная и мне нравилась, а теперь набуровит горячей воды — хоть караул кричи.

Я уже и этак, и так — никак. Я ему, подлецу, деньги еще сую — отстань только, сделай милость, он еще пуще в раж входит и старается.

Неделя прошла — вижу, не могу больше.

Запарился я, фунтов пятнадцать потерял, похудел и аппетита лишился.

А фельдшер все старается.

А раз он, бродяга, чуть даже меня в кипятке не сварил. Ей-богу. Такую ванну, подлец, сделал — у меня аж мозоль на ноге лопнула и кожа сошла.

Я ему говорю:

— Ты что же, говорю, мерзавец, людей в кипятке варишь? Не будет тебе больше материальной благодарности.

А он говорит:

— Не будет — не надо. Подыхайте, говорит, без помощи научных сотрудников.

И вышел.

А теперича снова идет все по-прежнему: градусники ставят один раз, клизму по мере надобности. И ванна снова прохладная, и никто меня больше не тревожит.

Не зря борьба с чаевыми происходит. Ох, братцы, не зря!

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ

Это было в жестком вагоне московского поезда.

Какой-то толстоватый гражданин, отрезая от буханки кусок хлеба, обронил нож.

Соседка толстоватого гражданина с любопытством спросила:

— Чего, батюшка, упало, ножик или вилка?

— Ножик,— нехотя ответил гражданин, шаря рукой по полу.

— Мужчина придет,— сказала гражданка.— Ежели ножик упал, то мужчина...

Мой сосед, человек в зеленых обмотках и с мешком за спиной, вдруг возмутился. Даже почернел от злости.

— Это довольно вам стыдно так говорить, гражданка,— сказал он.— Довольно стыдно в двадцатом веке иметь свои предрассудки и суеверия.

Гражданка испуганно посмотрела на моего соседа.

— Примета такая,— сказала она.— Ежели нож, то мужчина обязательно придет, ежели вилка — дама... А я, товарищ, ничего. Такая примета...

Сосед мой ехидно засмеялся.

— Вот,— сказал он,— не угодно ли! Кругом электрификация, а тут такие предрассудки...

Сосед помолчал, но потом заговорил снова, обращаясь больше ко мне, но так, чтобы и все слышали:

— Да, товарищ, кругом электричество, кругом черт знает какие великие идеи происходят, кругом борьба с религией, а наряду с этим, обратите внимание, полное невежество и мещанские предрассудки.

— Ну, не всегда же,— сказал я.

— А мне от этого не легче,— хмуро сказал сосед.— Я, может, товарищ, от этого со своей супругой расстался.

— Да что вы?

— Ей-богу,— сказал он.— Я хоть и беспартийный человек, а не могу, знаете ли, с мещанкой жить. Я, может, товарищ, шесть лет с ней жил, а теперь не могу. Не такое время... Я ее, подлую, честью просил: брось, говорю, Катерина Васильевна, свои штучки, брось, говорю добром, мещанские предрассудки и суеверия. Так нет. Нож упал — мужчина, видите ли, придет, попа встретила — пути, говорит, не будет, икнула — опять примета... Тьфу!

— Неужели разошлись из-за этого?

— Ей-богу,— сказал сосед,— из-за этого, и вообще,

поведение у ней стало какое-то легкое. А я ее честью просил. Не хочет — не надо. Не могу с дурой жить... А теперь я в Москву еду. А если встречу, например, в Москве настоящую, правильную гражданку без предрассудков, то обязательно на такой женюсь. Да только вряд ли, товарищ, встречу. Сомневаюсь я что-то...

Сосед замолчал, свернул папиросу и закурил.

Потом тихонько икнул и сказал:

— Вспоминает кто-то...

— Это она, жена твоя разведенная, не иначе как вспоминает,— сочувственно отозвалась гражданка.— Както ей теперь, милой, живется?..

— Все может быть. Может, и она вспоминает. А только сама, дура, виновата,— ответил гражданин, сплевывая на пол.

ПАЦИЕНТКА

В сельскую больницу Пелагея приехала за тридцать верст.

Выехала на рассвете и в полдень остановилась у белого одноэтажного дома.

— Хирург-то принимает? — спросила она мужика, сидящего на крыльце.

— Хирург-то? — с интересом спросил мужик.— А ты не больна ли будешь? Животом, что ли?

— Больна,— ответила Пелагея.

— Я, милая, тоже больной,— сказал мужик.— Пшеном объелся... Седьмым записан.

Пелагея привязала лошадь к плетню и вошла в больницу.

Больных принимал фельдшер Иван Кузьмич. Был он маленький, старенький и ужасно знаменитый. Все вокруг знали его, хвалили и называли без причины хирургом.

Пелагея вошла к нему в комнату, низко поклонилась и присела на край стула.

— Больна, что ли? — спросил Иван Кузьмич.

— Больна я,— сказала Пелагея.— То есть вся насквозь больная. Каждая косточка ноет и трясется. Сердце гниет заживо.

— С чего бы это? — равнодушно спросил фельдшер.— С каких пор?

— С осени, Иван Кузьмич. С самой осени. Осенью я заболела. Как, знаете ли, супруг Димитрий Наумыч

приехал из города, так я и заболела. Я стою, например, возле стола и лепешки в муке валяю. Димитрий Наумыч лю ил эти самые лепешки. Где-то, думаю, он теперь, Димитрий Наумыч-то? В городе он советский депутат...

— Позволь, бабонька,— сказал фельдшер,— ври, да не завирайся. Чем больна-то?

— Да я ж и говорю,— сказала Пелагея,— стою возле стола, кручу лепешки... Вдруг тетка Агафья, что баран, прибегает и рукой машет. «Иди, кричит, Пелагеюшка, иди поскорей. Твой-то никак приехал из города и идет будто по улице с мешком и с палкой». Зашлось у меня сердце. Подкосились ноги. Стою дурой и лепешку мну... Бросила после лепешки, выбежала во двор. А во дворе солнце играет, играет. Воздух легкий. А налево, этак у хлева, желтый теленок стоит и хвостишкой мух пугает. Взглянула я на теленка — слезы каплют. Вот, думаю, Димитрий Наумыч-то обрадуется этому самому желтому теленку...

— Позволь,— хмуро сказал фельдшер,— ты дело говори.

— Я ж и говорю, батюшка, Иван Кузьмич. Не сердись только. Дело я говорю... Выбежала я за ворота. Гляжу этак, знаете ли,— налево церковь, коза клоповская ходит, петух ножкой ворошит, а направо, по самой серединке, гляжу — Димитрий Наумыч идет. Глянула я на него. Сердце закатилось, икота подступает. Ой, думаю, мать честная, пресвятая богородица! Ой, думаю, тошненько!

А он-то идет серьезным, мелким шагом. Борода по воздуху треплется. И платье городское на нем. И в штиблетах... Как увидела штиблеты, будто что оторвалось у меня внутри. Ой, думаю, куда ж я такая-то, необразованная, гожусь ему в пару, если он, может, первый человек и депутат советский... Встала я дурой у плетня и ногами не могу идти. Перебираю пальцами плетень и стою. А он-то, Димитрий Наумыч, депутат советский, доходит до меня мелким ходом и здоровается.

«Здравствуйте, говорит, Пелагея Максимовна. Сколько, говорит, лет, сколько зим не виделись с вами...»

Мне бы, дуре, мешок у Димитрия Наумыча схватить, а я гляжу на штиблеты и не двигаюсь. Ой, думаю, отвык от меня мужик. Штиблеты носит. С городскими, может, с комсомолками разговаривает.

А Димитрий Наумыч отвечает басом:

«Ох, говорит, Пелагея, Пелагея, такая-то ты есть. Темная, говорит, ты у меня, Пелагея Максимовна. Про что, говорит, я с тобой теперь разговаривать буду? Я, говорит,

человек просвещенный и депутат советский. Я, говорит, может, четыре правила арифметики насквозь знаю. Дробь, говорит, умею... А ты, говорит, вон какая! Небось, говорит, и фамилию не можешь подписывать на бумаге? Другой бы очень просто бросил бы тебя за темноту и необразованность».

А я стою у плетня и лепечу слова: дескать, конечно, Димитрий Наумыч, бросьте меня такую-то, что вам стоит.

А он берет меня за ручку и отвечает:

«Я шутку пошутил, Пелагея Максимовна. Оставьте думать. Я, говорит, это так. Что вы...»

Снова закатилось у меня сердце, икота подступает.

«Я, говорю, Димитрий Наумыч, будьте спокойны, тоже, конечно, могу дробь узнать и четыре правила. Или фамилию на бумаге подписывать. Я, говорю, не осрамлю вас, образованного...»

Фельдшер Иван Кузьмич встал со стула и прошелся по комнате.

— Ну, ну,— сказал он,— хватит, завралась... Чем болеешь-то?

— Болею-то? Да теперь ничего, Иван Кузьмич. Полегче будто теперь. На здоровье не могу пожаловаться... А он-то, Димитрий Наумыч, говорит: «Пошутил, говорит, я». Вроде как, значит, шутку он выразил.

— Ну да, пошутил,— сказал фельдшер.— Конечно. Порошков, может, тебе дать?

— А не надо,— сказала Пелагея.— Спасибо тебе, Иван Кузьмич, за советы. Мне ехать надо.

И Пелагея, оставив на столе кулек с зерном, пошла к двери. Потом вернулась.

— Дробь-то мне, Иван Кузьмич... Где мне про эту самую дробь-то теперь узнать? К учителю, что ли, мне ехать?

— К учителю,— сказал фельдшер, вздыхая,— конечно. Медицины это не касается.

Пелагея низко поклонилась и вышла на улицу.

ИСПОВЕДЬ

На страстной неделе бабка Фекла сильно разорилась — купила за двугривенный свечку и поставила ее перед угодником.

Фекла долго и старательно прилаживала свечку поближе к образу. А когда приладила, отошла несколько поодаль

и, любуясь на дело своих рук, принялась молиться и просить себе всяких льгот и милостей взамен истраченного двугривенного.

Фекла долго молилась, бормоча себе под нос всякие свои мелкие просьбишки, потом, стукнув лбом о грязный каменный пол, вздыхая и кряхтя, пошла к исповеди.

Исповедь происходила в алтаре за ширмой.

Бабка Фекла стала в очередь за какой-то древней старушкой и снова принялась мелко креститься и бормотать. За ширмой долго не задерживали.

Исповедники входили туда и через минуту, вздыхая и тихонько откашливаясь, выходили, кланяясь угодникам.

«Торопится поп,— подумала Фекла.— И чего торопиться. Не на пожар ведь. Торопыга какой...»

Фекла вошла за ширму, низко поклонилась попу и припала к ручке.

— Как звать-то? — спросил поп, благословляя.

— Феклой зовут.

— Ну рассказывай, Фекла,— сказал поп,— какие грехи? В чем грешна? Не злословишь ли по-пустому? Не редко ли к богу прибегаешь?

— Грешна, батюшка, конечно,— сказала Фекла, кланяясь.

— Бог простит,— сказал поп, покрывая Феклу епитрахилью.— В бога-то веруешь ли? Не сомневаешься ли?

— В бога-то верую. Конечно,— сказала Фекла.— Сын-то приходит, например, выражается, осуждает, одним словом. А я-то верую.

— Это хорошо, матка,— сказал поп.— Не поддавайся легкому соблазну. А чего, скажи, сын-то говорит? Как осуждает?

— Осуждает,— сказала Фекла.— Это, говорит, пустяки — ихняя вера. Нету, говорит, не существует бога, хоть все небо и облака обыщи...

— Бог есть,— строго сказал поп.— Не поддавайся на это... А чего, вспомни, сын-то еще говорил?

— Да разное говорил.

— Разное! — сердито сказал поп.— А откуда все сие окружающее? Откуда планеты, звезды и луна, если бога-то нет? Сын-то ничего такого не говорил — откуда, дескать, все сие окружающее? Не химия ли это?

— Не говорил,— сказала Фекла, моргая глазами.

— А может, и химия,— задумчиво сказал поп.— Может, матка, конечно, и бога нету — химия все...

Бабка Фекла испуганно посмотрела на попа. Но тот положил ей на голову епитрахиль и стал бормотать слова молитвы.

— Ну иди, иди,— уныло сказал поп.— Не задерживай верующих.

Фекла еще раз испуганно оглянулась на попа и вышла, вздыхая и смиренно покашливая. Потом подошла к своему угодничку, посмотрела на свечку, поправила обгоревший фитиль и вышла из церкви.

НЕ НАДО ИМЕТЬ РОДСТВЕННИКОВ

Два дня Тимофей Васильевич разыскивал своего племянника, Серегу Власова. А на третий день, перед самым отъездом, нашел. В трамвае встретил.

Сел Тимофей Васильевич в трамвай, вынул гривенник, хотел подать кондуктору, только глядит — что такое? Личность кондуктора будто очень знакомая. Посмотрел Тимофей Васильевич — да! Так и есть — Серега Власов собственной персоной в трамвайных кондукторах.

— Ну! — закричал Тимофей Васильевич.— Серега! Ты ли это, друг ситный?

Кондуктор сконфузился, поправил, без всякой видимой нужды, катушки с билетиками и сказал:

— Сейчас, дядя... билеты додам только.

— Ладно! Можно,— радостно сказал дядя.— Я обожду.

Тимофей Васильевич засмеялся и стал объяснять пассажирам:

— Это он мне родной родственник, Серега Власов. Брата Петра сын... Я его семь лет не видел... сукинова сына...

Тимофей Васильевич с радостью посмотрел на племянника и закричал ему:

— А я тебя, Серега, друг ситный, два дня ищу. По городу роюсь. А ты вон где! Кондуктором. А я и по адресу ходил. На Разночинную улицу. Нету, отвечают. Мол, выбыл с адреса. Куда, отвечаю, выбыл, ответьте, говорю, мне. Я его родной родственник. Не знаем, говорят... А ты вон где — кондуктором, что ли?

— Кондуктором,— тихо ответил племянник.

Пассажиры стали с любопытством рассматривать родственника. Дядя счастливо смеялся и с любовью смотрел на племянника, а племянник явно конфузился и, чувствуя

себя при исполнении служебных обязанностей, не знал, чего ему говорить и как вести себя с дядей.

— Так,— снова сказал дядя,— кондуктором, значит На трамвайной линии?

— Кондуктором...

— Скажи какой случай! А я, Серега, друг ситный, сел в трамвай, гляжу — что такое? Обличность будто у кондуктора чересчур знакомая. А это ты. Ах, твою семь-восемь!.. Ну, я же рад... Ну, я же доволен...

Кондуктор потоптался на месте и вдруг сказал:

— Платить, дядя, нужно. Билет взять... Далеко ли вам?

Дядя счастливо засмеялся и хлопнул по кондукторской сумке.

— Заплатил бы! Ей-богу! Сядь я на другой номер или, может быть, вагон пропусти — и баста — заплатил бы. Плакали бы мои денежки. Ах, твою семь-восемь!.. А я еду, Серега, друг ситный, до вокзалу.

— Две станции,— уныло сказал кондуктор, глядя в сторону.

— Нет, ты это что? — удивился Тимофей Васильевич.— Ты это чего, ты правду?

— Платить, дядя, надо,— тихо сказал кондуктор.— Две станции... Потому как нельзя дарма, без билетов, ехать...

Тимофей Васильевич обиженно сжал губы и сурово посмотрел на племянника.

— Ты это что же — с родного дядю? Дядю грабишь?

Кондуктор тоскливо посмотрел в окно.

— Мародерствуешь,— сердито сказал дядя.— Я тебя, сукинова сына, семь лет не видел, а ты чего это? Деньги требоваешь за проезд. С родного дядю? Ты не махай на меня руками. Хотя ты мне и родной родственник, но я твоих рук не испужался. Не махай, не делай ветру перед пассажирами.

Тимофей Васильевич повертел гривенник в руке и сунул его в карман.

— Что же это, братцы, такое? — обратился Тимофей Васильевич к публике.— С родного дядю требует. Две, говорит, станции... А?

— Платить надо,— чуть не плача сказал племянник.— Вы, товарищ дядя, не сердитесь. Потому как не мой здесь трамвай. А государственный трамвай. Народный.

— Народный,— сказал дядя,— меня это не касается. Мог бы ты, сукин сын, родного дядю уважить. Мол, спрячь-

те, дядя, ваш трудовой гривенник. Езжайте на здоровье. И не развалится от того трамвай. Я в поезде давеча ехал... Не родной кондуктор, а и тот говорит: пожалуйста, говорит, Тимофей Васильевич, что за счеты... Так садитесь... И довез... не родной... Только земляк знакомый. А ты это что — родного дядю... Не будет тебе денег.

Кондуктор вытер лоб рукавом и вдруг позвонил.

— Сойдите, товарищ дядя,— официально сказал племянник.

Видя, что дело принимает серьезный оборот, Тимофей Васильевич всплеснул руками, снова вынул гривенник, потом опять спрятал.

— Нет,— сказал он,— не могу! Не могу тебе, сопляку, заплатить. Лучше пущай сойду.

Тимофей Васильевич торжественно и возмущенно встал и направился к выходу. Потом обернулся.

— Дядю... родного дядю гонишь,— с яростью сказал Тимофей Васильевич.— Да я тебя, сопляка... Я тебя, сукина сына... Я тебя расстрелять за это могу. У меня много концов...

Тимофей Васильевич уничтожающе посмотрел на племянника и сошел с трамвая.

БОГАТАЯ ЖИЗНЬ

Кустарь Илья Иваныч Спиридонов выиграл по золотому займу пять тысяч рублей золотом.

Первое время Илья Иваныч ходил совсем ошалевший, разводил руками, тряс головой и приговаривал:

— Ну и ну... Ну и штука... Да что же это, братцы?..

Потом, освоившись со своим богатством, Илья Иваныч принимался высчитывать, сколько и чего он может купить на эту сумму. Но выходило так много и так здорово, что Спиридонов махал рукой и бросал свои подсчеты.

Ко мне, по старой дружбишке, Илья Иваныч заходил раза два в день и всякий раз со всеми мелочами и новыми подробностями рассказывал, как он узнал о своем выигрыше и какие удивительные переживания были у него в тот счастливый день.

— Ну что ж теперь делать-то будешь? — спрашивал я.— Чего покупать намерен?

— Да чего-нибудь куплю,— говорил Спиридонов.— Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства... Штаны, конечно...

Илья Иваныч получил наконец из банка целую груду новеньких червонцев и исчез без следа. По крайней мере он не заходил ко мне более двух месяцев.

Но однажды я встретил Илью Иваныча на улице.

Новый светло-коричневый костюм висел на нем мешком. Розовый галстук лез в лицо и щекотал подбородок. Илья Иваныч ежесекундно одергивал его, сплевывая от злости. Было заметно, что и костюм, и узкий жилет, и пышный галстук мешали человеку и не давали ему спокойно жить.

Сам Илья Иваныч очень похудел и осунулся. И лицо было желтое и нездоровое, со многими мелкими морщинками под глазами.

— Ну как? — спросил я.

— Да что ж,— уныло сказал Спиридонов.— Живем. Дровец, конечно, купил... А так-то, конечно, скучновато.

— С чего бы?

Илья Иваныч махнул рукой и пригласил меня в пивную. Там, одергивая розовый галстук, Илья Иваныч сказал:

— Вот все говорят: буржуи, буржуи... Буржуям, дескать, не житье, а малина. А вот я сам, скажем, буржуем побывал, капиталистом... А чего в этом хорошего?

— А что?

— Да как же,— сказал Спиридонов.— Нуте-ка, сами считайте. Родственники и свойственники, которые были мои и женины,— со всеми расплевался. Поссорился. Это, скажем, раз. В народный суд попал я или нет? Попал. По делу гражданки Быковой. Разбор будет. Это, скажем, два... Жена, супруга то есть, Марья Игнатьевна, насквозь все дни сидит на сундучке и плачет... Это, скажем, три... Налетчики дверь мне в квартире ломали или нет? Ломали. Хотя и не сломали, но есть мне от этого беспокойство? Есть. Я, может, теперь из квартиры не могу уйти. А если в квартире сидишь, опять плохо — дрова во дворе крадут. Куб у меня дров куплен. Следить надо.

Илья Иваныч с отчаянием махнул рукой.

— Чего же ты теперь делать-то будешь? — спросил я.

— А я не знаю,— сказал Илья Иваныч.— Прямо хоть в петлю... Я как в первый день получил деньги, так все и началось, все несчастья... То жил спокойно и безмятежно, то повезло со всех концов.

А я как в квартиру с деньгами вкатился, так сразу вижу, что неладно что-то. Родственники, конечно, вижу, колбасятся по квартире. То нет никого, а то сидят на всех

стульях. Поздравляют. Я, конечно, дал каждому для потехи по два рубля.

А Мишка, женин братишка, наибольше колбасится.

— Довольно, говорит, стыдно по два рубля отваливать, когда, говорит, капиталец есть.

Ну, слово за слово, руками по столу — драка. Кто кого бьет — неизвестно. А Мишка снял с вешалки мое демисезонное пальтишко и вышел.

Ну, расплевался я с родственниками. Стал так жить.

Купил, конечно, всякого добра. Кастрюли купил, пшена на два года. Стал думать, куда еще деньги присобачить. Смотрю — жена по хозяйству трется, ни отдыху ей, ни сроку.

«Не дело, думаю. Хоть и баба она, а все-таки равноправная баба. Стоп, думаю. Возьму, думаю, ей в помощь небольшую девчонку. Пущай девчонка продукты стряпает».

Ну, взял. Девчонка крупу стряпает, а жена, на досуге, сидит целые дни на сундучке и плачет. То работала и веселилась, а то сидит и плачет. Ей, видите ли, на досуге всякие несчастья стали вспоминаться, и как папа ее скончался, и как она замуж за меня вышла... Вообще полезла ей в голову полная ерунда от делать нечего.

Дал я, конечно, супруге денег.

— Сходи, говорю, хотя бы в клуб или в театр. Я бы, говорю, и сам с тобой пошел, да мне, видишь ли, за дровами последить надо.

Ну, поплакала баба — пошла в клуб. В лото стала играть. Днем плачет — на досуге, а вечером играет. А я за дровами слежу. А девчонка продукты стряпает.

А после председатель заходит и говорит:

— Ты, говорит, что ж это, сукин кот, подростков эксплуатируешь? Почему, говорит, девчонка Быкова не зарегистрирована? Я, говорит, на тебя в народный суд подам, даром что ты деньги выиграл...

Илья Иваныч снова махнул рукой, поправил галстук и замолчал.

— Плохо,— сказал я.

— Еще бы не плохо,— оживился Илья Иваныч.— Сижу, скажем, за пивом, а в груди сосет. Может, сию минуту дрова у меня сперли. Или, может, в квартиру лезут... А у меня самовар новый стоит. И сидеть неохота, и идти неохота. Что ж дома? Жена, конечно, может быть, плачет. Девчонка Быкова тоже плачет — боится под суд идти... Мишка, женин брат, наверное, вокруг квартиры

колбасится — влезть хочет... Эх, лучше бы мне и денег этих не выигрывать!

Илья Иваныч расплатился за пиво и грустно пожал мне руку. Я было хотел его утешить на прощанье, но он вдруг спросил:

— А чего это самое... Розыгрыш-то новый скоро ли будет? Тысчонку бы мне, этово, неплохо выиграть для ровного счета...

Илья Иваныч одернул свой розовый галстук и, кивнув мне головой, торопливо пошел к дому.

ЕВРОПЕЕЦ

Конторщик Сережа Колпаков несколько дней ходил как ошалелый.

Он дважды побывал на городской телефонной станции и солидно и обстоятельно расспросил там о стоимости телефонного аппарата и об условиях установки.

Все было крайне дешево и вполне доступно.

В третий раз Сережа Колпаков пришел на городскую станцию с твердой решимостью заключить условие. Он в третий раз направился в справочное бюро и, чтобы не обмишуриться, вновь принялся солидно расспрашивать о ценах. Кроме того, Сережа пытался еще поговорить о новейших открытиях в телефонном деле, но справочная девица, черствая и сухая эгоистка, погрязшая в своих бумажонках, довольно холодно отнеслась к научным открытиям и даже ехидным тоном попросила не мешать общественной работе.

Тогда Сережа Колпаков, раздосадованный в лучших своих идеях, вынул бумажник, хлопнул им по столу и громко заявил, что он и сам служит в учреждении и отлично понимает, что значит мешать человеку. Но, к сожалению, он должен помешать.

Тут Сережа Колпаков сделал несколько надменное лицо и сказал, что он немедленно желает заключить договор.

Сережу направили к заведывающему, и через полчаса договор был заключен.

— Только, пожалуйста,— говорил Сережа заведывающему слегка дрожащим голосом,— очень прошу поторопиться, уважаемый товарищ. Я занятой, обремененный человек. Мне каждая секунда дорога.

На улицу Сережа Колпаков вышел иным человеком.

Он шел солидным медленным шагом, слегка иронически посматривая на прохожих.

— Свершилось,— шептал Сережа Колпаков.— Долгожданная мечта исполнилась. Наконец-то у Сергея Ивановича Колпакова — телефон. Сергей Иванович Колпаков, служащий восьмого разряда, включен, так сказать, в общую сеть жизни. Сергей Иванович Колпаков, служащий и советский гражданин,— настоящий, истинный европеец с культурными навыками и замашками.

Сергей Иванович снял шляпу, вытер пот со лба и, думая о пользе телефонного дела и вообще о человеческом гении, направился тем же медленным шагом на службу.

Несколько дней прошли как в тумане.

Сергей Иванович мысленно представлял себе, где он поставит телефон. То ему хотелось сделать по-европейски у кровати, то, напротив того,— у стола. Сережа вслух возражал себе, горячился, однако к какому-нибудь результату не пришел.

Но вот наконец наступил торжественный день. На квартиру явился человек, с сумкой и с аппаратом, и весело спросил:

— Где присобачить?

Сережа Колпаков молча, дрожащей рукой показал на стену, у кровати.

И вот телефон поставили.

Сережа Колпаков прилег на кровать, с восхищением посматривая на новый, блестящий аппарат. Потом сел, взял трубку и позвонил.

— Группа «А»? Проба...

Телефонная девица что-то пробурчала, но Сережа не слышал. Он медленно, каждую секунду ощущая в руке трубку, повесил ее и дал отбой. И снова с восторгом откинулся на подушку.

Почти два часа лежал Сергей Колпаков на кровати, не отрывая глаз от блестящей коробки. Потом решил позвонить снова.

Он мысленно стал перебирать в памяти своих знакомых. Однако знакомых было мало. И телефонов у них не было.

Тогда с некоторым даже испугом стал Сережа Колпаков думать и подыскивать хоть какой-нибудь телефон, хоть какое-нибудь место, куда бы можно было позвонить. Однако и места такого не было.

Сережа вскочил с кровати, схватил телефонную книжку и лихорадочно стал ее перелистывать — звонить было некуда.

Тогда Сережа Колпаков позвонил в Коломенскую пожарную часть.

— Что? — спросил чей-то сиплый голос.— Горит?

— Горит,— уныло сказал Сережа.

Он повесил трубку и лег на постель.

Вечером Сережу Колпакова арестовали за хулиганство.

ДРАМА

Вот, братишки, истинное происшествие на днях случилось. И это не только происшествие — это настоящая даже драма из жизни небогатых беспартийных людей на почве религиозных заблуждений.

Тут, конечно, все вокруг виноваты. И сами супруги Тишкины виноваты, и ихняя маменька, беспартийная старушка, виновата, и я, конечно, не без вины.

А в апреле месяце у молодых супругов Тишкиных родилась девчонка. И такой прелестный ребенок восьми с половиной фунтов, что даже посторонним людям от зависти смотреть противно. А про родителей и говорить не приходится. Глаз они с ребетенка своего не сводят и все на весы прикидывают, дескать, вес каков. А вес восемь с половиной фунтов с небольшим походом. С одеяльцем несколько побольше. А ежели подушечку подложить, то и все девять фунтов набегают родителям на утешение, советскому отечеству на пользу.

Так вот, у небогатых супругов Тишкиных родился ребенок, а на третий день после того приезжает из Твери ихняя мамаша.

— Да,— говорит она,— ребенок славный. Такого, говорит, ребенка ежели не крестить — прямо грех перед богом. Надо, говорит, его обязательно крестить.

Ну, молодые супруги, конечно, в слезы. Плачут, рвут на себе волосы и пеплом их посыпают.

— Что вы, говорят, мамаша. Вы, говорят, хотя нам и ближайшая родственница, но лепечете явные пустяки. Не можем, говорят, мы пойти против совести — крестить ребенка по церковным обрядам в купели и с певчими.

А старушка на это отвечает загадочно.

— Да-с,— говорит,— ребенок молодой, может, конечно, без крещения помереть. Если, скажем, его ангельская душенька соскучится без святой водички.

Ну, родители на это, одним словом, совершенно плачут и мучаются и голову пеплом посыпают — дескать, зачем же

помирать ребенку в полном расцвете своих сил и молодости. Лучше уж тогда, действительно, крестить, где бы вот только крестного отца раздобыть.

А я на это отвечаю:

— Если, говорю, ребенку угрожает смертельная опасность, то я могу как комнатный жилец пойти на компромисс и крестить вашего ребенка. Хотя, говорю, это идет против совести и эпохи. А главное, говорю, дорогонько будет стоить. Золотой, говорю, крестик, хотя и в ползолотника, по карману меня шлепнет. Будьте покойны. Кроме того, говорю, кружевные рубашечки даром не раздают по магазинам. Это, говорю, понимать надо и чувствовать.

Ну, родители на это просят в один голос. Дескать, пожалуйста, что за счеты, лишь было бы охоты.

— Можно, говорю. Хотя, говорю, в таком случае, конечно, надо бы вам винца поставить после того, как произойдет в церкви таинство крещения. Я, говорю, хотя и неверующий человек, но, говорю, выпить не дурак. И от выпивки не отказываюсь, хотя, говорю, многие ученые и партийные люди и отрицают вино и никотин, считая это явлением вредным как для благородных частей организма, так и для почек и для селезенки с печенкой — частей неблагородных. И чтоб, говорю, ко всему этому была бы небольшая закусочка.

Ну, родители, конечно, погоревали насчет дороговизны жизни, но спорить очень не стали. И на другой день в церкви бывшей великомученицы Ксении блаженной произошло таинство крещения.

Принесли ребенка, развернули, окунули, записали, заплатили, плюнули и понесли назад.

А когда ребенка развернули, я сразу подумал:

«Не застудили бы, черти, ребенка в холодной атмосфере».

Так, конечно, и вышло. Ребенок заболел и через неделю помер.

А медики в один голос заявили, что ребенок помер от ужасной простуды и от ныряния в воду после теплого одеяльца.

Горе родителей не поддается описанию. Горе крестного тоже не поддается описанию — родители не вернули золотого крестика.

— Нам, говорят, сейчас не до крестика.

Горе горем, а крестик вернуть бы надо.

СЛУЧАЙ В ПРОВИНЦИИ

Многое я перепробовал в своей жизни, а вот циркачом никогда не был.

И только однажды публика меня приняла за циркача-трансформатора.

Не знаю, как сейчас, а раньше ездили по России такие специалисты-трансформаторы. Они, скажем, выходили на эстраду, почтительнейше раскланивались публике, затем, убравшись на одно мгновение за кулисы, снова появлялись, но уже в другом костюме, с другим голосом и в другой роли.

Вот за такого трансформатора однажды меня и приняли.

Это было в революцию, в двадцатом или двадцать первом году.

Хлеб был тогда чрезвычайно дорог.

За фунт хлеба в Питере запрашивали два полотенца, три простыни или трехрядную гармонь.

А потому однажды осенью поэт-имажинист Николай Иванов, пианистка Маруся Грекова, я и лирический поэт Дмитрий Цензор выехали из Питера в поисках более легкого хлеба.

Мы решили объехать с пестрой музыкально-литературной программой ряд южных советских городов.

Мы ехали своим чистым искусством заработать кусок ржаного солдатского хлеба.

И в конце сентября, снабженные всякими мандатами и документами, мы выехали из Питера в теплушке, взяв направление на юго-восток.

Ехали долго.

В дороге подробно распределили свои роли и продумали программу.

Решено было так. Первым номером выступает пианистка Маруся с легкими музыкальными вещицами. Она дает, так сказать, верный художественный тон всему нашему вечеру. Вторым номером — имажинист. Он вроде как усложняет нашу программу, давая понять своими стихами, что искусство не всегда доступно народу.

Засим я — с юмористическими рассказами. И наконец лирический поэт Дмитрий Цензор. Он, так сказать, лаком покрывает всю нашу программу. Он создает впечатление легкого, тонкого вечера.

Программа была составлена замечательно.

— Товарищи! — говорил имажинист.— Мы первые в Советской России на верном пути. Мы сознательно снижа-

емся до масс, мы внедряемся в самую гущу. Этой программой мы докажем, что чистое искусство не пропадет. За нами стоит народ.

Пианистка Маруся молча слушала и, для практики, пальчиками на своих коленях разыгрывала какой-то сложный мотив.

Я покуривал махорку с чаем и печально сплевывал на пол зеленую едкую слюну.

А поэт Дмитрий Цензор говорил мечтательно:

— Чистое искусство народу необходимо... Нам понесут теплые душистые караваи хлеба, цветы, вареные яйца... Денег мы не возьмем. На черта нам дались деньги, если на них ничего сейчас не купишь...

Наконец двадцать девятого числа мы приехали в небольшой провинциальный дождливый город.

На станции нас приветливо встретил агент уголовного розыска. Он долго и внимательно читал наши мандаты, потом взял под козырек, шутливо приветствуя этим русскую литературу.

Он нам по секрету сообщил, что он сам из интеллигентных слоев и что он в свое время кончил два класса местной женской прогимназии и что поэтому он и сам не прочь между двумя протоколами побаловаться чистым искусством.

На наш литературный вечер он обещал непременно прибыть.

Мы остановились у Марусиных знакомых.

Первые дни прошли в необыкновенных хлопотах и в беготне.

Нужно было достать разрешение, получить зал, осветить его и сговориться с устроителем.

Устроитель был тонкий и ловкий человек. Он категорически уперся на своем, говоря, что чистая поэзия вряд ли будет доступна провинциальной публике и поэтому необходимо разжижить нашу программу более понятными номерами — музыкой, пением и цирком.

Это, конечно, очень портило нашу программу. Однако спорить мы не стали — иного выхода не было.

Вечер был назначен на завтра в бывшем купеческом клубе.

Тридцатого сентября, в восемь часов вечера, мы, взволнованные, сидели за кулисами в специально отведенной для нас уборной.

Зал был набит до последнего предела.

Человек сто красноармейцев, множество домашних

хозяек, городских девиц, служащих и людей всевозможных свободных профессий ожидали с нетерпением начала программы, похлопывая в ладоши и требуя поднятия занавеса.

Первым, как помню, выступило музыкальное трио. Затем жонглер и эксцентрик. Успех у него был потрясающий. Публика ревела, гремела и вызывала его бесконечно.

Затем шли наши номера.

Маруся Грекова вышла на эстраду в глухом черном платье.

Когда Маруся появилась на сцене, в публике произошло какое-то неясное волнение. Публика приподнялась со своих мест и смотрела на пианистку. Многие хохотали.

Маруся с некоторой тревогой села за рояль и, сыграв короткую вещицу, остановилась, ожидая одобрения. Однако одобрения не последовало.

В страшном смущении, без единого хлопка, Маруся удалилась за кулисы.

За ней почти немедленно выступил имажинист.

Гром аплодисментов, крики и одобрительный гул не смолкали долго.

Польщенный таким вниманием и известностью даже в небольшом провинциальном городе, имажинист низко раскланялся, почтительно прижимая руку к сердцу.

Он прочел какие-то ядовитые, но неясные стишки и ушел в сильном душевном сомнении — аплодисментов опять-таки не было.

Буквально не было ни единого хлопка.

Третьим, сильно напуганный, выступил я.

Еще более длительные, радостные крики раздались при моем появлении.

Задняя публика вставала на скамейки, напирала на впереди сидящих и рассматривала меня, как какое-то морское чудо.

— Ловко! — кричал кто-то.— Ловко, братцы, запущено!

— Ах, сволочь! — визгливо кричал кто-то с видимым восхищением.

Я, в сильном страхе, боясь за свою судьбу и еле произнося слова, начал лепетать свой рассказ.

Публика терпеливо слушала мой лепет и даже подбадривала меня отдельными выкриками:

— Ах, сволочь, едят его мухи!

— Крой! Валяй! Дави! Ходи веселей!

Пролепетав рассказ почти до конца, я удалился, с трудом передвигая ноги. Аплодисментов, как и в те разы, не

было. Только какой-то высокий красноармеец встал и сказал:

— Ах, сволочь! Идет-то как! Гляди, братцы, как переступает нарочно.

Последним должен был выступить лирический поэт.

Он долго не хотел выступать. Он почти плакал в голос и ссылался на боли в нижней части живота. Он говорил, что он только вчера приехал из Питера, не осмотрелся еще в этом городе и не свыкся с такой аудиторией.

Поэт буквально ревел белугой и цеплялся руками за кулисы, однако дружным натиском мы выперли его на сцену.

Дикие аплодисменты, гогот, восхищенная брань потрясли весь зал.

Публика восторженно гикала и ревела.

Часть публики ринулась к сцене и с диким любопытством рассматривала лирического поэта.

Поэт обомлел, прислонился к роялю и, не сказав ни одного слова, простоял так минут пять. Затем качнулся, открыл рот и, почти неживой, вполз обратно за кулисы.

Аплодисменты долго не смолкали. Кто-то настойчиво бил пятками в пол. Кто-то неистово требовал повторения.

Мы, совершенно потрясенные, забились в своей уборной и сидели, прислушиваясь к публике.

Наш устроитель ходил вокруг нас, с испугом поглядывая на наши поникшие фигуры.

Имажинист, скорбно сжав губы, в страшной растерянности сидел на диване, потом откинул свои волосы назад и твердо сказал:

— Меня поймут через пятьдесят лет. Не раньше. Мои стихи не доходят. Это я теперь вижу.

Маруся Грекова тихо плакала, закрыв лицо руками.

Лирический поэт стоял в неподвижной позе и с испугом прислушивался к крикам и реву.

Я ничего не понимал. Вернее, я думал, что чистое искусство дошло до масс, но в какой-то странной и неизвестной для меня форме.

Однако крики не смолкали.

Вдруг послышался топот бегущих ног за кулисами, и в нашу уборную ворвалось несколько человек из публики.

— Просим! Просим! — радостно вопил какой-то гражданин, потрясая руками.

Мы остолбенели.

Тихим, примиряющим голосом устроитель спросил:

— Товарищи... Не беспокойтесь... Не волнуйтесь... Все будет... Сейчас все устроим... Что вы хотели?

— Да который тут выступал,— сказал гражданин.— Публика очень даже требует повторить. Мы, как делегация, просим... Который тут сейчас с переодеванием, трансформатор.

Вдруг в одно мгновение все стало ясно. Нас четверых приняли за трансформатора Якимова, выступавшего в прошлом году в этом городе. Сегодня он должен был выступать после нас.

Совершенно ошеломленные, мы механически оделись и вышли из клуба.

И на другой день уехали из города.

Маленькая блондинка пианистка, саженного роста имажинист, я и, наконец, полный, румяный лирический поэт — мы вчетвером показали провинциальной публике поистине чудо трансформации.

Однако цветов, вареных яиц и славных почестей мы так и не получили от народа.

Придется ждать.

ОТХОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ

— Папаша мой, надо сказать, был торговцем,— сказал Иван Иванович Гусев.— При царском режиме папаша торговали в Дерябинском рынке... Ну а теперича через эту папашу мне форменная труба получается. Потому не приткнуться. Не берут в государственную службу. Что касается свободных профессий или там какого отхожего промысла, то этого тоже не горазд много.

Мне вот случилась на днях работишка, вроде отхожий промысел,— не сумел воспользоваться.

А промысел этот предложила девица одна. Кет — заглавие. Соседка. Рядом жили.

Так — ее комната, а так — моя. А перегородка тоненькая. И насквозь все слышно: и как девица домой к утру является, и как волосики свои на щипцах завивает, и как пиво пьет, и как с кавалерами на денежные темы беседует. Все насквозь слышно, только что выражения лица не видать.

А раз утром девица встала и стучит кулаком в стенку.

— Эй, говорит, мон шер, нет ли у вас спичек?

— Как же-с,— отвечаю через стенку,— есть. Я, говорю,

хотя и безработный и питаюсь не ахти как, но, говорю, спички есть. Взойдите.

Является. В пенюаре, в безбелье, и туфельки кокетливо надеты на босу ногу.

— Здравствуйте, говорит. Мне завиться нужно, а спичек-то и нет. Я, говорит, сейчас верну вам ваши спички.

— Да уж, говорю, пожалуйста. Я, говорю, человек безработный, без образования, мне, говорю, не по карману спичками швыряться.

Слово за слово — разговорились.

— На какие шиши, спрашиваю, живете и почем за квадратную сажень вносите?

А она на прямой вопрос не отвечает и говорит двусмысленно:

— Раз, говорит, вы человек безработный и голодуете, то, говорит, могу вам от чистого сердца работишку предоставить.

— Какую же, спрашиваю, работишку?

— Да, говорит, альфонсом.

— Можно, говорю, объяснитесь, говорю, короче.

— А очень, говорит, просто. Ежели, говорит, я в ресторан одна являюсь — мне одна цена, а ежели я с мужчиной и мужчина вроде родственника, то цена мне другая и повышается. Вот, говорит, мы и будем вместе ходить. Вместе придем, посидим, а после вы вроде заторопитесь: — ах, дескать, Кет, у меня, может, мамаша больна, мне идти нужно. А через час придете. Ах, дескать, Кет, вот и я, не пора ли нам, Кет, домой тронуться?

— Только и всего? — спрашиваю.

— Да, говорит. Принарядитесь только получше. Пенсне на нос наденьте, если есть. Сегодня мы и пойдем.

— Можно, говорю, работа не горазд трудная.

И вот к вечеру оделся я. Пиджак надел, свитер. Пенсне на нос прилепил — откуда-то она достала. И пошли.

Входим в ресторанное зало. Присаживаемся к столику. Я говорю:

— Дозвольте очки снять. Ни черта, с непривычки, не вижу и могу со стула упасть.

А она говорит:

— Нет. Потерпите.

Сидим. Терпим. Жрать нестерпимо хочется, а вокруг жареных курей носят, даже в носу щекотно.

А она мне шепчет в ухо:

— Пора, говорит, уходите.

Я встаю, двигаю нарочно стулом.

— Ах, говорю, Кет, я тороплюсь, вуаль-вуаля, у меня, говорю, может, родная мама захворала. Вы тут посидите. Я за вами приду.

А она головой кивает, дескать, ладно, катитесь.

Снял я очки и вышел на улицу.

Полчаса походил по улице, замерз как собака, губа на губу не попадает.

Возвращаюсь назад. Гляжу: сидит моя девица за столиком, палец-мизинец отодвинула и жрет что-то. А рядом буржуй к ней наклонился и шепчет в ушную раковину.

Подхожу.

— Ах, говорю, вот и я. Не пора ли, говорю, Кет, нам с вами домой тронуться?

А она:

— Нет, говорит, Пьер, я, говорит, еще посижу немного со знакомой личностью. А вы идите домой.

— Ну, говорю, как хотите. Я и один пойду. Потоптался я, потоптался, а уходить неохота. И жрать к тому же хочется это ужасно как.

— Вот, говорю, я сейчас пойду, только, говорю, присяду на минуточку по-родственному и как альфонс. Замерз как собака.

Она мне глазами мигает, а мне ни к чему.

Посижу, думаю, и уйду. Не просижу, думаю, ихние стулья.

Сел и сижу. А буржуй сконфузился и перестал шептать.

Я говорю:

— Вы не стесняйтесь... Я ейный родственник, шепчитесь себе на здоровье.

А он:

— Помилуйте, говорит, не желаете ли портеру выкушать?

— Можно, говорю. Отчего, говорю, родственнику портеру не выпить. Пожалуйста.

Выпил я портеру и захмелел вдруг — с голоду, что ли. Принялся чью-то котлету есть.

— Не будь, говорю, я родственником, не стал бы я эту котлетину есть. Ну а родственнику отчего не съесть? Родственнику глаз да глаз нужен.

— Помилуйте,— говорит буржуй.— Это что за намеки вы строите?

— Да нет, говорю, какие же намеки? Тоже, говорю, ихнее дамское дело, каждый обмануть норовит. Глаз да глаз нужен.

— То есть, говорит, как обмануть? Как понимать ваши слова?

— Да уж, говорю, понимайте, как хотите. Мне, говорю, некогда объясняться. Мне торопиться надо. А уж вы, будьте любезны, расплатитесь по-настоящему с ней, без обману.

Надел я пенсне на нос, поклонился всем вежливо и вышел.

А теперича девица Кет в морду лезет.

Этак на каждый промысел и морды не напасешься.

ПОЛЕТЕЛИ

Девятая объединенная артель кустарей два года собирала деньги на аэроплан.

И в газетах воззвания печатала, и особые красочные плакаты вывешивала, и дружескую провокацию устраивала. И чего-чего только не делала! Одних специальных собраний устроено было не меньше десятка.

А какой был подъем! Какие были мечты! Планы какие! Сколько фантазии и крови было истрачено на одно лишь название аэроплана!

На собраниях председателя артели буквально закидывали вопросами. Кустари главным образом интересовались: будет ли аэроплан принадлежать всецело Добролету или же он будет являться собственностью артели? И может ли каждый кустарь, внесший некоторую сумму, летать на нем по воздуху?

Председатель, счастливый и возбужденный, говорил охриплым голосом:

— Товарищи, можно! Конечно, можно! Летайте себе на здоровье. Дайте только вот собрать деньги... И тогда полетим... Эх, красота! Простор...

— Главное, что на собственном полетим,— восхищались в артели.— На чужом-то, братцы, и лететь как-то неохота. Скучно на чужом лететь...

— Да уж какое там летанье на чужом,— подтверждали кустари.— На своем, братцы, и смерть красна.

Председатель обрывал отдельные восхищенные выкрики и просил организованно выражать свои чувства.

И все кустари, восхищенные новой идеей и возможностью летать по воздуху, наперерыв просили слова, яркими красками расписывали ближайшие возможности и клеймили несмываемым позором малодушных, не внесших еще на аппарат. Даже секретарь артели, несколько унылый и ме-

ланхолический субъект, дважды отравленный газами в царскую войну, на вопрос председателя высказаться по существу говорил:

— Без аэроплана, товарищи, как без рук. Ну на чем лететь прикажете? На столе не полетишь. А тут захотел куда-нибудь полететь — сел и полетел. Только и делов.

Два года артель с жаром и пылом собирала деньги и на третий год стала подсчитывать собранные капиталы.

Оказалось — семнадцать рублей с небольшими копейками.

На экстренном, чрезвычайном собрании председатель сказал короткую, но сильную речь.

— В рассуждении того,— сказал председатель,— что аэроплан стоит неизмеримо дороже, куда предполагают уважаемые товарищи девать эти вышеуказанные суммы? Передать ли эти суммы Добролету или есть еще какие предложения? Прошу зафиксировать вопрос путем голосования рук.

Голоса разделились.

Одни предлагали деньги внести в Добролет, другие предлагали купить небольшой, но прочный пропеллер из карельской березы и повесить его на стене клуба, над портретами вождей. Третьи советовали закупить некоторое количество бензина и держать его всегда наготове. Четвертые указывали на необходимость произвести ремонт в помещении кухни.

И только несколько человек, из числа явно малодушных, затребовали деньги назад.

Им было возвращено семь рублей.

Остальные десять рублей с копейками решено было передать в Добролет.

Однако казначей распорядился иначе.

В один ненастный осенний вечер казначей артели Иван Бобриков проиграл в карты эти деньги.

На экстренном, чрезвычайном собрании было доложено, что собаку казначея арестуют, имущество конфискуют и вырученные деньги передадут Добролету с отличным письменным пожеланием.

Председатель артели говорил несколько удивленным тоном:

— А на что нам, братцы, собственный аэроплан? В сущности, на кой шут он нам сдался? И куда на нем лететь?

— Да, лететь-то, действительно, как будто и некуда,— соглашались в артели.

— Да я ж и говорю,— подтверждал председатель,—

некуда лететь. Передадим деньги в такую мощную организацию, как Добролет. А собственных аппаратов нам не надо.

— Конечное дело, не надо,— говорили кустари.— Одна мука с этими аэропланами.

— Аэроплан не лошадь,— уныло заявил секретарь,— на лошадь сел и поехал, а тут поди попробуй. И бензин наливай, и пропеллер закручивай... Да еще не в ту дыру плеснут бензин — и пропала машина, пропали народные денежки...

— А главное, лететь-то, братцы, некуда,— с удивлением бормотал председатель.

Закончив вопрос о воздушном флоте и решив деньги передать Добролету, кустари перешли к обсуждению текущих дел.

Собрание заволновалось.

ПЛОХИЕ ДЕНЬГИ

Иван Петрович Мартынов, слесарь с завода «Коммунар», тихонько приоткрыл дверь и хотел осторожно шагнуть, но не удержался и ввалился в комнату на четвереньках.

Жена всплеснула руками и сердито двинула кастрюлей.

— Опять набрался! Опять, ирод, Пилат-мученик, набрался.

— Отнюдь,— сказал слесарь, пытаясь встать на ноги.— Трезвый я, как стеклышко... Гляди, Маша... Могу, если ты хочешь, до плите дойти, могу до кровати... Гляди.

Иван Петрович шагнул в сторону, но не удержался и свалился на кровать.

— Отнюдь,— сказал он, укладываясь на подушку.— Трезвый я, как стеклышко... И все, гляди, Маша, в порядке у меня... Вот он, нос у меня, целый... Вот он, костюмчик, целый... Если про шапку думаешь — вот она, шапка, в кармане... Гляди, Маша... Отнюдь... Как стеклышко... А если про получку — вот она. Гляди, Маша...

Слесарь сунул руку в карман и вытащил несколько мелких знаков.

— Вот она, получка. Гляди, Маша.

Жена села на кровать и в голос заплакала.

Слесарь с удивлением поднял голову с подушки и, вдруг трезвея, присел на кровать.

— Маша,— сказал он,— а Маш... Ты, конечно, не

плачь, Маш... Рази я что? Я малехонько. Малехонько я, Маша. Я как стеклышко... Один, может, стаканчик и будет. Я да Василь Ваныч... Рази я виноват?..

— Кошка виновата,— сказала жена, обиженно подбирая губы.

— Не кошка,— сказал слесарь.— Кошку я не виню. Отнюдь. Я тебе, Маша, по порядку. Утром, конечно, прихожу, а ребята на заводе треплются. Кассир, говорит, Иван Маркыч, за деньгами уехал. Получка, значит... Подхожу к кассе, а кассир Иван Маркыч сидит скучный и на деньги смотрит...

— Ты не мели,— сказала жена.— Раз пьяный, то спи на подушке.

— Я не пьяный,— сказал слесарь.— Я, Маша, как стеклышко. Я только тебе по порядку. Рази я виноват?.. Подхожу к кассе, а кассир Иван Маркыч говорит басом: «Становься, ребята, по три персоны. Деньги, говорит, сегодня плохие — купюры горазд крупные». А я говорю: «Что вы, говорю, Иван Маркыч, над нами делаете? Рази можно? Где ж это, говорю, менять-то будем?» А тут, конечно, подходит Василь Иваныч. «Ты, говорит, не треплись с кассиром. Сию, говорит, минуту возьмем третью персону, ать на улицу, разменяем в лучшем виде...» Рази я виноват, Маша?.. Ну, расписались, получили, вышли. А на улице никто не меняет. Мы в «Народное благо» — нету. Мы к частному купчику — нету. «А, говорит, покупать — так не у мене, а не покупать — так у мене. Вали дальше...» Мы и пошли. Рази я виноват? Ну, пошли. А тут «Вена». Зашли. Закусили, заплатили, выпили. А сдачу нам дают крупно — с десяти пять. Пошли, конечно, менять. Закусили, заплатили, выпили. А сдачу нам дают, в рот им муха,— три. Купюра не горазд крупная, а менять надо. Рази я виноват, Маша?.. Пошли менять три. Закусили, заплатили, выпили... Рази я виноват?.. А после, конечно, подходит какой-то субчик. «Можем, говорит, менять крупные купюры на мелкие. Берем, говорит, всего ничего». А мы говорим: «Поздно, говорим. Вали мимо». Рази я виноват, Маш?.. Я как стеклышко...

Слесарь Иван Петрович снова свалился на подушку и моментально захрапел.

ЖИВОЙ ТРУП

(Истинное происшествие)

Странная история произошла с одним рабочим. До того странная эта история, что, узнавши ее, половина наших подписчиков, наверное, бросит пить.

Но не робей, дорогой подписчик! Бросить пить — это не так страшно. Автор, например, пивший в свое время все, кроме керосина, тоже бросил эту вредную привычку. И ничего. Жить можно.

А рассказывал эту странную историю сам виновник — рабочий одной из ленинградских фабрик. Фамилию свою он просил не печатать. Стесняюсь, говорит. Ну, что ж — фамилию печатать не будем. А для красоты рассказа назовем его хотя бы Федя Жуков.

— Я пива теперь не пью,— сказал Федя Жуков.— Душа не принимает. Хотя ученые профессора и говорят, будто пиво очень даже полезно для организма и будто даже от него толстеет организм, но я с этим не считаюсь.

Конечно, ученый профессор выкушает стаканчик пива в обед да полстаканчика в ужин — ему и полезно, его организм и толстеет. А кто стаканами не считается, тому хуже пива нет ничего.

А я, например, от пива в обморок падаю. И делаюсь все равно как покойник. Дыханье даже у меня прерывается.

А раз в субботу пошли ребята пить. Пошел и я.

Пили, пили. Только вдруг, после пятой, я ужасно окосел и сижу на стуле белый, скучаю.

Ребята, конечно, просят:

— Федя, Федя...

А ихний Федя рот раскрыл и не отзывается.

Извинились ребята перед народом за слабость организма, взяли меня под руки и отвезли домой.

Положили дома на кровать, а на кровати мне хуже.

Женка чересчур испугалась, обтирает мне кожу мокрыми тряпками, а я сомлел и лежу что статуя.

Женка пальто накинула и к врачу.

Коммунальный врач приходит. Осмотрел меня и говорит:

— Что-то, говорит, у него в организме от пива заскочило. Кишка, может, на кишку зашла. Везите его в больницу. Там разберут.

Ну, отвезли меня в больницу.

А дальше я ничего не помню. Как стена железная опустилась передо мной.

Только просыпаюсь я от холода и голода.

Проснулся. Кругом темно.

Почему, думаю, темно? За какое самое это темно? Что, думаю, за пустяки? Где ж это я такое?

Сел. Смотрю: сижу на досках голый, а на ноге номерок 17. А кругом не то больные свалены, не то не поймешь что, не то покойники.

До чего я сомлел, до чего испугался! Где ж это я, думаю? За какое это самое номерок-то у меня на ноге? Или, думаю, я скончался. Или, думаю, врачи обмишурились. Или, думаю, я от пива в обморок свалился, а меня за покойника приняли.

Ах, думаю, да! Ах, думаю, ну!

Хочу спичку чиркануть, осмотреться. Хлопс за карман. А кармана нету — одна нога голая. Хлопс за гимнастерку — живот голый.

Человек я, конечно, очень храбрейший, отчаянный даже, а тут, ничего не скажу, оробел. И сижу на досках голый.

Только вдруг слышу — возле двери в коридоре кто-то ногами чиркает. И после берется за ручку и открывает дверь.

Ах, чего, думаю, мне делать? Может, это сторож идет. Не испугать бы мне его. Тоже в темноте встанешь или крикнешь — помрет с перепугу. Ах, чего мне, думаю, делать?

А дверь сию минуту открылась, и входит сторож. С небольшой такой седоватой бородкой, в картузе.

Ах, чего, думаю, мне делать? И сам, чтоб не испугать напрасно гражданина, не двигаюсь и не кричу и руками не машу, а только тихонечко через губы «тс» делаю.

А сторож как услышит «тс», как завизжит собакой, как свалится на корячки собакой, как попрет к двери.

Ах, думаю, ну! Испугал человека. Теперь, думаю, безразлично.

— Стой, кричу, братишка! Не пугайся! Это я — Федя!

Выбежал я за сторожем, бегу — номерок по ноге хлопает. А сторож оглянулся назад — как припустит теку.

Бегим по коридору — народ с перепугу мухами валится. А мне хоть бы что.

Добежал я до какой-то комнаты. Свалился.

— Братцы, говорю, это я — Федя Жуков! Живой...

Положили меня на кровать, вина стали давать А я вина не принимаю.

— Нету, говорю, будет. Не пью и в рот хмельного не беру.

Так и бросил пить.

А сторож — ничего, отдышался. И даже приходил меня смотреть. Даже мы с ним подружились и выпили по бутылочке портера.

ОСТРЯК-САМОУЧКА

Вчера я проходил по Центральному рынку. Гуся к празднику покупал.

Народу уйма.

Мясной ряд явно выглядел именинником. Длинные столы были завалены всякой требухой: бычьими печенками, селезенками и хвостами.

И на всю эту дрянь, даже на телячьи хвосты, находился свой праздничный покупатель.

Покупатель рылся в требухе, подносил товар к носу, нюхал и яростно хаял продукты, понижая их стоимость и достоинство.

Торговцы и торговки подмигивали покупателям, нечеловечески крякали и махали руками, приглашая взглянуть на «выдающий» товар.

Какая-то гражданка перебранивалась с торговкой.

— Эта-то печенка воняет? — возмущалась торговка.— Нос-то у тебя, милая, заложимши. Нос-то ослобони прежде... Потом и дыши на такую печенку. Это бычья первейшая печенка... Дура ты худая после этого. Не с твоим носом такую печенку нюхать...

Гражданка уже поставила корзинку возле себя, рассчитывая дать достойную отповедь зарвавшейся торговке, но в эту минуту у стола появился высокий курчавый парень со сдвинутым на затылок картузом. За парнем почтительно следовали два шкета, хихикая и потирая руки.

Парень остановился у стола, скучным и серьезным взором посмотрел на требуху, подмигнул торговке и сказал громко:

— Да бросьте вы у ей, граждане, покупать. Не видите, что ли? Мужа она своего старого убила, на куски разрубила и к празднику продает остатки...

Кто-то захихикал. Кто-то с сердцем сплюнул в сторону.

Покупательница растерянно посмотрела на парня и ото-

шла от стола, бормоча что-то. Торговка налилась кровью, с диким изумлением взглянула на парня и вдруг разразилась ужасающей бранью.

Парень передернул плечами и, строгий в своей выдумке, пошел дальше. Два шкета, хрюкая от сдавленного смеха, двинулись за ним.

Парень прошел несколько шагов и остановился перед круглой корзиной со свиными окороками, лапами и кусками морды.

Покупатели рылись и в этой корзине.

Торговец, польщенный вниманием потребителя, тонко выкрикивал:

— Кому надо, кому не надо... Кому что, кому ничего!..

Парень посмотрел в корзину и громко сказал:

— Да бросьте вы, граждане, у его покупать! Не видите, что ли? Жену старую убил, на куски разрубил и продает остатки.

Снова кто-то захохотал. Кто-то сконфуженно крякнул.

Торговец всплеснул руками, оглянулся на покупателя, как бы ища защиты, но ничего не сказал.

А парень двинулся дальше.

Я пошел за ним следом, позабыв про гуся.

Парень обошел весь рынок со своей шуткой и, строгий, не улыбающийся, удалился восвояси.

За ним следовали два шкета, буквально давясь от смеха.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

На днях зашел я к своему знакомому, к Егорову. Он табельщиком на заводе служит.

Прихожу.

Сидит хозяин довольный такой за столом, газету читает. Жена рядом шьет что-то.

Увидел меня хозяин, обрадовался.

— А, говорит, заходи, дружище, заходи... Поздравляй нас...

— С чем же вас поздравлять, Митрофан Семеныч? — спросил я.

— А как же, говорит, с новой жизнью, с новыми переменами, с новыми семейными устоями.

— Не могу догадаться,— сказал я.— Уж не с прибавлением ли семейства?

— Нету,— засмеялся Егоров.— Не то. Не попал в

цель... Да ты супругу лично спроси. Это ее больше касается... Гляди, какая она счастливая сидит и шьет... Словно фея... Пущай она сама тебе скажет про свое семейное счастье.

Я посмотрел на супругу Митрофана Семеныча. А та улыбнулась этак криво и говорит:

— Ах да, говорит, мы теперь, знаете ли, на кухне бросили стряпать... Без плиты обходимся. В столовую ходим.

— Да-с! — воскликнул довольный хозяин.— Баста! Новую жизнь начали. В болото все — плиту, кастрюли, лоханки... Пущай и баба свободу узнает... Такой же она человек, как и я.

Хозяин долго говорил о несомненных выгодах общественного питания, потом стал смеяться.

— И во всем, представьте себе, выгода и польза от этой перемены. Скажем, гости пришли. Ну, сидят, ждут. Прислушиваются — не подают ли на стол. А ты им, чертям, объявляешь между прочим, дескать, а мы, извините, в столовке питаемся. Хотите — идите, не хотите — не надо,— за волосы вас не потащим.

Хозяин захохотал и взглянул на свою жену.

— Да,— повторил он,— полная во всем выгода. Время теперь, скажем. Сколько теперь этого самого свободного времени остается! Уйма... Бывало, придет супруга с работы — мечется, хватается, плиту разжигает... Одних спичек сколько изведет... А тут пришла, и делать ей, дуре, нечего. Шей хоть целый день. Пользуйся свободой.

— Это верно,— подтвердил я,— кухня много отнимает времени.

— Еще бы! — с новым восторгом воскликнул хозяин.— Тут по крайней мере пришла с работы и шей, кончила шить — постирай. Стирать нечего — чулки вязать можешь... А то еще можно заказы брать на шитье, потому времени свободного хоть отбавляй.

Хозяин помолчал, потом задумчиво продолжал:

— А в самом деле. Не брать ли тебе, Мотя, заказов? Шитье, скажем... Рубашки там, куртки, толстовки...

— Да что ж,— сказала жена,— отчего же не брать? Можно брать...

Хозяин, видимо, огорчился таким равнодушным ответом.

— «Можно, можно»,— передразнил он жену.— Ты, Мотя, всегда недовольна. Другая бы прыгала и скакала, что ее раскрепостили, а ты надуешься, как мышь на крупу,

и молчишь... Ведь небось довольна, что не приходится на кухне торчать? Ну отвечай же гостю!

— Отчего же... Конечно,— уныло согласилась жена.

— Еще бы не довольна! Бывало, целый день ты торчала у плиты... Дым, чад, пар, жар, перегар... Фу... Ну шей, шей, Мотя. Пользуйся свободным временем. Надо же и тебе пожить.

Я посмотрел на хозяина. Он говорил серьезно.

— Послушайте,— сказал я,— а ведь хрен редьки не слаще..

— Что-с? — удивился Митрофан Семеныч.

— Я говорю: хрен редьки не слаще. То кухня, то шитье... А может быть, жене вашей газеты почитать охота? Может быть, ей и шить-то не хочется?

— Ну уж вы того,— обиделся хозяин.— Как же ей не шить, когда она баба.

Я встал, попрощался с хозяином и вышел. А когда уходил, то слышал, как хозяин сказал жене:

— Недоволен, черт. Обедать ему не дали, так и скулит, желчь свою на людей пущает... А хочешь обедать — иди в столовку, нечего по гостям трепаться... Ну шей, Мотя, шей, не поднимай зря голову.

ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК

Трудный это русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный.

Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну взять французскую речь. Все хорошо и понятно. Кескесе, мерси, комси — все, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова.

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением.

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились.

Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами.

Началось дело с пустяков.

Мой сосед, не старый еще мужчина с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:

— А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?

— Пленарное,— небрежно ответил сосед.

— Ишь ты,— удивился первый,— то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.

— Да уж будьте покойны,— строго ответил второй.— Сегодня сильно пленарное, и кворум такой подобрался — только держись.

— Да ну? — спросил сосед.— Неужели и кворум подобрался?

— Ей-богу,— сказал второй.

— И что же он, кворум-то этот?

— Да ничего,— ответил сосед, несколько растерявшись.— Подобрался, и все тут.

— Скажи на милость,— с огорчением покачал головой первый сосед.— С чего бы это он, а?

Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:

— Вот вы, товарищ, небось не одобряете эти пленарные заседания... А мне как-то они ближе. Все как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня... Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.

— Не всегда это,— возразил первый.— Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то — да, индустрия конкретно.

— Конкретно фактически,— строго поправил второй.

— Пожалуй,— согласился собеседник.— Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Хотя как когда...

— Всегда,— коротко отрезал второй.— Всегда, уважаемый товарищ. Особенно если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберешься...

На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все смолкло. Только соседи мои, несколько разгоряченные спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед наклонился ко второму и тихо спросил:

— Это кто ж там такой вышедши?

— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.

Оратор простер руки вперед и начал речь.

И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причем второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он все же был прав в только что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-русски!

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Перед магазином егорьевского кредитного общества Иван Егорыч остановился. Он успокоительно похлопал рукой по брюху лошади и сказал ей:

— Входи, Маруська... Входи, не пужайся. Чичас мы тебе хомут купим, дура твоя голова. Не понимаешь своего счастья...

Лошадь тревожно фыркнула одной ноздрей и вошла вместе с хозяином в помещение.

Покупатели радостно удивились. Кто-то с восторгом махнул рукой и сказал:

— Ну-у, лошадь, братцы, в лавку пришедши. Ах, дуй их горой!

Маруська остановилась у прилавка и ткнулась мордой в конторку, рассчитывая на овес.

Заведывающий испуганно отстранился и обидчиво сказал Иван Егорычу:

— Да ты что ж это, бродяга? Ты что ж это с лошадью пришедши?

— Да мне хомут надо-то,— сказал Иван Егорыч.— Примерить чтоб... А лошадь, ты не беспокойся, она тихая. Не пужается посторонних предметов.

Заведывающий отмахнулся от лошадиной морды счетами и с удивлением сказал, обращаясь к покупателям:

— Да что ж это, братцы? Лошадь у меня в магазине... Да что ж это такое будет? Она и нагадить может на полу... И покупателя раздавить...

— Нету,— сказал Иван Егорыч,— она дюже смирная. Гляди, стоит, в конторке роется... Не махай на ее счетами-то. Не имеешь права махать на животную.

Заведывающий побагровел, всплеснул руками и бросился к двери, призывая на помощь милицию.

— Ладно, не расстраивайся,— сказал Иван Егорыч.— Не рви глотку-то — жрать пригодится... Ну нельзя — не надо. Эка штука. Так бы и сказал: нельзя, мол, с лошадью. Я и уйду. Дерьма тоже.

Егорыч потянул лошадь за уздечку, чмокнул губами и сказал:

— Что ли идем, Маруська. Гонят отсюдова, дьяволы.

Иван Егорыч вышел из лавки, плюнул сквозь зубы на дверь и сказал, обращаясь к публике:

— Ну и времечко. Лошадь в лавку не допущают... А давеча мы с ей в пивной сидели — хоть бы хны. Слова никто не сказал. Заведывающий даже лично смеялся искренно. А этот нашелся гусь... Ну времечко.

— М-да,— сказал кто-то из толпы сочувственно,— тяжелые времена.

СВЕТЛЫЙ ГЕНИЙ

Речь о раскрепощении женщин товарищ Фиолетов закончил с необыкновенным подъемом.

Он стукнул кулаком по столу, топнул ногой, откинул назад свои волосы и громко закричал:

— Гражданки! Вы которые эти белые рабыни плиты и тому подобное. И которые деспот муж элемент несознательно относится. И кухня которая эта и тому подобное. Шитье одним словом. Довольно этих про этих цепей. Полное раскрепощение, к свету нога об руку с наукой и техникой.

— Уру! — закричали женщины.— Уру-ру...

Несколько женщин бросились на оратора, сковырнули его с ног и принялись качать, неловко подбрасывая фиолетовское тело под самую электрическую люстру.

«Не ушибся бы»,— думал Фиолетов, испуганно брыкаясь и дергая ногами в белых суровых носках.

Через пять минут, когда Фиолетов начал кусаться, восторженные гражданки поставили его на пол и наперерыв жали ему руки, восхищаясь симпатичной его речью.

Какая-то немолодая гражданка в байковом платке подошла к Фиолетову и, потрясая его руку, робко сказала:

— Вы этот, как его, светлый гений человечества в окне женщины.

Фиолетов накинул на плечи пальто и вышел на улицу, слегка покачиваясь.

Фиолетовское нутро пело и ликовало.

«Да-с,— думал Фиолетов.— Тово-с. Здорово... Светлый гений... А?»

Фиолетов быстро дошел до дому и нетерпеливо принялся стучать в дверь кулаком.

Ему открыла жена.

— Открыли? — ехидно спросил Фиолетов.— Два часа стоишь как собака на лестнице... Наконец открыли.

— Иван Палыч, я враз открыла,— сказала жена.

— Враз, враз! А вам охота, чтоб не враз? Вам охота, чтоб муж восемь часов простаивал на лестнице? Вам охота восьмичасовой рабочий день тратить?! Жрать!

Жена метнулась в кухню и через минуту поставила перед Фиолетовым тарелку с супом.

— Ну конечно,— сказал Фиолетов,— работаешь как собака, как сукина дочь, а тут суп несоленый.

— Посолите, Иван Палыч,— простодушно сказала жена.

— Ага, теперь посолите! — заорал Фиолетов.— По-вашему, мне только и делов, что супы солить? Работаешь как собака, а тут суп солить?!

Жена печально зевнула, перекрестила рот и пересела на другой стул.

— Пересаживаетесь! — завизжал Фиолетов.— Демонстрации мне устраиваете? Довольно мещанской идеологии! Я вам покажу кузькину мать...

Фиолетов уныло покушал, скинул с себя пиджак и сказал:

— Зашить надо. Разорвали, черти, качавши... Нечего без дела-то сидеть.

Жена взяла пиджак и принялась за шитье.

— Да электричество зря не жгите! — крикнул Фиолетов, заваливаясь на постель.— Мне же платить придется... Можете и в темноте зашить. Не узоры писать.

Жена потушила лампочку и неровными стежками стала пришивать пиджак к своей юбке.

Светлый гений, тихо посвистывая носом, спал.

АКТЕР

Рассказ этот — истинное происшествие. Случилось в Астрахани. Рассказал мне об этом актер-любитель.

Вот что он рассказал:

— Вот вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Ну был. В театре играл. Прикасался к этому искусству. А только ерунда. Ничего в этом нет выдающего.

Конечно, если подумать глубже, то в этом искусстве много хорошего.

Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. А средь публики — знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь — подмигивают с партеру — дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь — дескать, оставьте беспокоиться, граждане. Знаем. Сами с усами.

Но если подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортишь.

Вот раз ставили мы пьесу «Кто виноват?». Из прежней жизни. Очень это сильная пьеса. Там, значит, в одном акте грабители купца грабят на глазах у публики. Очень натурально выходит. Купец, значит, кричит, ногами отбивается. А его грабят. Жуткая пьеса.

Так вот, поставили эту пьесу.

А перед самым спектаклем один любитель, который купца играл, выпил. И в жаре до того его, бродягу, растрясло, что, видим, не может роль купца вести. И, как выйдет к рампе, так нарочно электрические лампочки ногой давит.

Режиссер Иван Палыч мне говорит:

— Не придется, говорит, во втором акте его выпущать. Передавит, сукин сын, все лампочки. Может, говорит, ты заместо его сыграешь? Публика-дура — не поймет.

Я говорю:

— Я, граждане, не могу, говорю, к рампе выйти. Не просите. Я, говорю, сейчас два арбуза съел. Неважно соображаю.

А он говорит:

— Выручай, браток. Хоть на одно действие. Может, тот артист после очухается. Не срывай, говорит, просветительной работы.

Все-таки упросили. Вышел я к рампе.

И вышел по ходу пьесы, как есть, в своем пиджаке, в брюках. Только что бороденку чужую приклеил. И вышел. А публика хотя и дура, а враз узнала меня.

— А,— говорят,— Вася вышедши! Не робей, дескать, дуй до горы...

Я говорю:

— Робеть, граждане, не приходится — раз, говорю, критический момент. Артист, говорю, сильно под мухой и не может к рампе выйтить. Блюет.

Начали действие.

Играю я в действии купца. Кричу, значит, ногами от грабителей отбиваюсь. И чувствую, будто кто-то из любителей действительно мне в карман лезет.

Запахнул я пиджачок. В сторону от артистов.

Отбиваюсь от них. Прямо по роже бью. Ей-богу!

— Не подходите, говорю, сволочи, честью прошу.

А те по ходу пьесы это наседают и наседают. Вынули у меня бумажник (восемнадцать червонцев) и к часам прутся.

Я кричу не своим голосом:

— Караул, дескать, граждане, всерьез грабят.

А от этого полный эффект получается. Публика-дура в восхищении в ладоши бьет. Кричит:

— Давай, Вася, давай. Отбивайся, милый. Крой их, дьяволов, по башкам.

Я кричу:

— Не помогает, братцы!

И сам стегаю прямо по рылам.

Вижу — один любитель кровью исходит, а другие, подлецы, в раж вошли и наседают.

— Братцы, кричу, да что ж это? За какое самое это страдать-то приходится?

Режиссер тут с кулис высовывается.

— Молодец, говорит, Вася. Чудно, говорит, рольку ведешь. Давай дальше.

Вижу — крики не помогают. Потому, чего ни крикнешь — все прямо по ходу пьесы ложится.

Встал я на колени.

— Братцы, говорю. Режиссер, говорю, Иван Палыч. Не могу больше! Спущайте занавеску. Последнее, говорю, сбереженье всерьез прут!

Тут многие театральные спецы — видят, не по пьесе слова — из кулис выходят. Суфлер, спасибо, из будки наружу вылезает.

— Кажись, говорит, граждане, действительно у купца бумажник свистнули.

Дали занавес. Воды мне в ковшике принесли. Напоили.

— Братцы, говорю. Режиссер, говорю, Иван Палыч. Да что ж это, говорю. По ходу, говорю, пьесы ктой-то бумажник у меня вынул.

Ну, устроили обыск у любителей. А только денег не нашли. А пустой бумажник кто-то в кулисы кинул.

Деньги так и сгинули. Как сгорели.

Вы говорите — искусство? Знаем! Играли!

ТЕПЕРЬ-ТО ЯСНО

Нынче, граждане, все ясно и понятно.

Скажем, пришла масленица — лопай блины. Хочешь со сметаной, хочешь — с маслом. Никто тебе и слова не скажет. Только, главное, на это народных сумм не растрачивай.

Ну а в 1919 году иная была картина.

В 1919 году многие граждане как шальные ходили и не знали, какой это праздник — масленица. И можно ли советскому гражданину лопать блины? Или это есть религиозный предрассудок?

Как в других домах — неизвестно, а в нашем доме в 1919 году граждане сомневались насчет блинов.

Главное, что управдом у нас был очень отчаянный. А с тех пор как он самогонщицу в № 7 накрыл, так жильцы до того его стали бояться — ужас.

И помню, наступила масленица.

Сегодня, например, она наступила, а вчера я прихожу со службы. И кушаю, что было. А жена вытирала посуду полотенцем и говорит сухо:

— Завтра, говорит, масленица. Не испечь ли, говорит, блинков, раз это масленица?

А я говорю:

— Погоди, говорю, Марья, не торопись, не суйся, говорю, прежде батьки в петлю. Праздник, говорю, масленица невыясненный. Это, говорю, не 1925 год, когда все ясно. Погоди, говорю, сейчас сбегаю во двор, узнаю как и чего. И если, говорю, управдом печет, то, говорю, и нам можно.

И выбежал я во двор. И вижу: во дворе жильцы колбасятся. В страшной такой тоске по двору мечутся. И между собой про что-то шушукаются.

Говорю шепотом:

— Не насчет ли масленицы колбаситесь, братцы?

— Да, отвечают, смотрим, не печет ли управдом. И ежели печет, из кухни чад, то вроде это декрета — можно, значит.

Вызвался я добровольно заглянуть в кухню.

Заглянул вроде как за ключом от проходного. Ни черта в кухне. И горшка даже нет.

Прибегаю во двор.

— Нету, говорю, граждане, чисто. Никого и ничего, и опары не предвидится.

А тут, помню, бежит по двору управдомовский мальчишечка семи лет — Колька.

Поманил я его пальцем и спрашиваю тихо:

— Ребятишка, говорю, будь, говорю, другом. Есть ли, скажи, опара у вас или не предвидится?

А мальчишечка, дитя природы, показал шиш из пальчиков и ходу.

Отвечаю жильцам:

— Расходитесь, говорю, граждане, по своим домам. Масленица, говорю, отменяется.

А тут какой-то гражданин с восьмого номера надел пенсне на нос и заявляет:

— И это, говорит, свобода совести и печати?!

А я отвечаю:

— Ваше, говорю, дело десятое. У вас, говорю, интеллигентный гражданин, и муки-то нету. А вы, говорю, вперед лезете и задаетесь.

А он:

— Я, говорит, не из муки, я, говорит, из принципа.

Я говорю:

— Мне это не касаемо. Встаньте, говорю, назад. Дайте, говорю, женщинам видеть.

Ну, разгорелся классовый спор. А баба в споре завсегда визжит. И тут какая-то гражданка завизжала. А на визг управдом является.

— Что, говорит, за шум, а драки нету?

Тут я вроде делегатом от масс, выхожу вперед и объясняю недоразумение граждан и насчет опары.

А управдом усмехнулся в душе и говорит:

— Можно, говорит, пеките. Только, говорит, дрова в кухне не колите. А что, говорит, касаемо меня, то у меня муки нету, оттого и не пеку.

Похлопали жильцы в ладоши и разошлись печь.

Прошло шесть лет.

А многие граждане и посейчас в тоске колбасятся и не знают, можно ли советскому гражданину блины кушать или это есть религиозный предрассудок.

Не далее как вчера пришла ко мне в комнату хозяйка и говорит:

— Уж, говорит, и не знаю... Ванюшка-то, говорит, мой — ответственный пионер. Не обиделся бы на блины. Можно ли, говорит, ему их кушать? А?

Вспомнил я нашего управдома и отвечаю:

— Можно, говорю, гражданка. Кушайте. Только, говорю, дрова в кухне не колите и народные суммы на это не растрачивайте.

Так-то, граждане. Лопайте со сметаной.

СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА

В селе Усачи, Калужской губернии, на днях состоялись перевыборы председателя.

Городской товарищ Ведерников, посланный ячейкой в подшефное село, стоял на свежеструганых бревнах и говорил собранию:

— Международное положение, граждане, яснее ясного. Задерживаться на этом, к сожалению, не приходится. Перейдем поэтому к текущему моменту дня, к выбору председателя заместо Костылева Ивана. Этот паразит не может быть облечен всей полнотой государственной власти, а потому сменяется...

Представитель сельской бедноты, мужик Бобров, Михайло Васильевич, стоял на бревнах подле городского товарища и, крайне беспокоясь, что городские слова мало доступны пониманию крестьян, тут же, по доброй своей охоте, разъяснил неясный смысл речи.

— Одним словом,— сказал Михайло Бобров,— этот паразит, распроязви его душу — Костылев, Иван Максимович,— не могит быть облегчен и потому сменяется...

— И заместо указанного Ивана Костылева,— продолжал городской оратор,— предлагается избрать человека, потому как нам паразитов не надобно.

— И заместо паразита,— пояснил Бобров,— и этого, язви его душу, самогонщика, хоша он мне и родственник со стороны жены, предлагается изменить и наметить.

— Предлагается,— сказал городской товарищ,— выставить кандидатуру лиц.

Михайло Бобров скинул с себя от полноты чувств шапку и сделал жест, приглашая немедленно выставить кандидатуру лиц.

Общество молчало.

— Разве Быкина, что ли? Или Еремея Ивановича Секина, а? — несмело спросил кто-то.

— Так,— сказал городской товарищ,— Быкина... Запишем.

— Чичас запишем,— пояснил Бобров.

Толпа, молчавшая до сего времени, принялась страшным образом галдеть и выкрикивать имена, требуя немедленно возводить своих кандидатов в должность председателя.

— Быкина Васю! Еремея Ивановича Секина! Миколаева...

Городской товарищ Ведерников записывал эти имена на своем мандате.

— Братцы! — закричал кто-то.— Это не выбор — Секин и Миколаев... Надоть передовых товарищей выбирать... Которые настоящие в полной мере... Которые, может, в городе поднаторели — вот каких надоть... Чтоб все насквозь знали...

— Верно! — закричали в толпе.— Передовых надоть... Кругом так выбирают.

— Тенденция правильная,— сказал городской товарищ.— Намечайте имена.

В обществе произошла заминка.

— Разве Коновалова Лешку? — несмело сказал кто-то.— Он и есть только один приехавши с городу. Он это столичная штучка.

— Лешку! — закричали в толпе.— Выходи, Леша. Говори обществу.

Лешка Коновалов протискался через толпу, вышел к бревнам и, польщенный всеобщим вниманием, поклонился по-городскому, прижимая руку к сердцу.

— Говори, Лешка! — закричали в толпе.

— Что ж,— несколько конфузясь, сказал Лешка.— Меня выбирать можно. Секин или там Миколаев — разве это выбор? Это же деревня, гольтепа. А я, может, два года в городе терся. Меня можно выбирать...

— Говори, Лешка! Докладывай обществу! — снова закричала толпа.

— Говорить можно,— сказал Лешка.— Отчего это не говорить, когда я все знаю... Декрет знаю или какое там распоряжение и примечание. Или, например, кодекс... Все это я знаю. Два года, может, терся... Бывало, сижу в камере, а к тебе бегут. Разъясни, дескать, Леша, какое это есть примечание и декрет.

— Какая камера-то? — спросили в толпе.

— Камера-то? — сказал Лешка.— Да четырнадцатая камера. В Крестах мы сидели...

— Ну! — удивилось общество.— За что же ты, парень, в тюрьмах-то сидел?

Лешка смутился и растерянно взглянул на толпу.

— Самая малость,— неопределенно сказал Лешка.

— Политика или что слямзил?

— Политика,— сказал Лешка.— Слямзил малость...

Лешка махнул рукой и сконфуженно смылся в толпу.

Городской товарищ Ведерников, поговорив о новых тенденциях избирать поднаторевших в городе товарищей, предложил голосовать за Еремея Секина.

Михайло Бобров, представитель бедняцкого элемента,

разъяснил смысл этих слов, и Еремей Секин был единогласно избран при одном воздержавшемся.

Воздержавшийся был Лешка Коновалов. Ему не по душе была деревенская гольтепа.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Со станции Лески повез меня Егорка Глазов. Разговорились.

— Ну как,— спросил я Егорку,— народ-то у вас в уезде сознательный?

— Народ-то? — сказал Егорка.— Народ-то сознательный. Чего ему делается?

— Ну а бабы как?

— Бабы-то? Да бабы тоже сознательные. Чего им делается?

— И много их, баб-то сознательных?

— Да хватает,— сказал Егорка.— Хотя ежели начисто говорить, то не горазд много. Глаза не разбегаются. Маловато вообще. Одна вот тут была в уезде... Да и та неизвестно как... может, кончится.

— Чего же с ней?

— Да так,— неопределенно сказал Егорка.— Супруг у ней дюже бешеный. Клопов, Василий Иваныч. Трепач, одним словом. Чуть что, в морду поленом лезет. Дерется.

— Ну а она что, молчит?

— Катерина-то? Зачем молчит? Она отвечает: «Это, говорит, вредно. Вы, говорит, Василий Иванович, полегче поленьями махайте. Эпоха, говорит, не такая».

— Так она бы в совет пошла...

— Что ж совет? Ходила в совет. Там говорят: это хорошо, бабочка, что ты пришла. Женский вопрос — это, говорят, теперича три кита нашей жизни. Разводись, милая, с этим с твоим скобарем, и вся недолга... Ну а она не хочет. Погожу, говорит, маленько. Потому — неохота, говорит, разводиться... После терпела, терпела — и в город поехала. И привозит пилюлю. И одну сама принимает, а другую ему подсыпает. Она подсыпает, а он на нее наседает, дерется. Не действует ему пилюля. Стала она по две пилюли подсыпать и по две принимать. Ни в какую — дерется. А то враз шесть приняла и свалилась. И лежит плошкой. До чего ее жалко! Главное, одна бабочка на уезд сознательная и та, может, кончится.

— Ну а другие бабы,— спросил я,— неужели еще темней?

— Другие еще темней,— сказал Егорка.— Другие совсем малосознательные... Одна, это, после драки в суд подала на мужа. Мужика к ногтю. Штраф на него. Пять целковых — не дерись, мол, бродяга... Ну а теперича баба плачет, горюет. Платить-то ей чем? Дура такая несознательная... А другая тоже в развод пошла. Мужик-то рад, время зимнее, а она голодует. Дура такая темная...

— Плохо,— сказал я.

— Конечно, дело плохо,— подтвердил Егорка.— Мужики-то у нас все наскрозь знают, все-то понимают, что к чему и почему, ну а бабы маленько, действительно, отстают в развитии.

— Плохо,— сказал я и посмотрел на Егоркину спину. А спина была худая, рваная. И желтая вата торчала кусками.

ОШИБОЧКА

Сегодня день-то у нас какой? Среда, кажись? Ну да, среда. А это в понедельник было. В понедельник народ у нас чуть со смеху не подох. Потому смешно уж очень. Ошибка вышла.

Главное, что народ-то у нас на фабрике весь грамотный. Любого человека разбуди, скажем, ночью и заставь его фамилию свою написать — напишет.

Потому тройка у нас была выделена очень отчаянная. В три месяца ликвидировала всю грамотность. Конечно, остались некоторые не очень способные. Путали свои фамилии. Гусев, например, путал. То «сы» не там выпишет, то росчерк не в том месте пустит, то букву «гы» позабудет. Ну а остальные справлялись.

И вот при таком-то обшем уровне такой, представьте, ничтожный случай.

Главное, кассир Еремей Миронович случайно заметил. В субботу, скажем, получка, а в понедельник кассир ведомость проверяет — просчета нет ли. И чикает он на счетах и вдруг видит в ведомости крестик. Кругом подписи, а тут в графе — крестик.

«Как крестик? — думает кассир.— Почему крестик?»

Отчего это крестик, раз грамотность подчистую ликвидирована и все подписывать могут?

Поглядел кассир, видит — супротив фамилии «Хлебников» этот крестик.

Кассир бухгалтеру — крестик, дескать. Бухгалтер секретарю. Секретарь дальше.

Разговоры пошли по мастерским: вот так тройка! За такое, дескать, время грамотность не могли ликвидировать.

Предзавком бежит в кассу. Ведомость велит подать. Тройка тут же, вокруг кассы, колбасится. Глядят. Да, видят, крестик супротив Хлебникова.

— Какой это Хлебников? — спрашивают.— Отчего это Хлебников не ликвидирован? Отчего это все грамотные и просвещенные, а один Хлебников пропадает в темноте и в пропасти? И как это можно? И чего тройка глядела и каким местом думала?

А тройка стоит тут же и плечами жмет.

Вызвали Хлебникова. А он квалифицированный токарь. Идет неохотно.

Спрашивают его:

— Грамотный?

— Грамотный, говорит.

— Можешь, спрашивают, фамилию подписывать?

— Могу, говорит. Три, говорит, месяца ликвидировали.

Предзавком руками разводит. Тройка плечами жмет. А кассир ведомость подает.

Дали ведомость Хлебникову. Спрашивают:

— Кто подписывал крестик?

Глядел, глядел Хлебников.

— Да, говорит, почерк мой. Я писал крестик. Пьяный был дюже. Не мог фамилию вывести.

Тут смех вокруг поднялся.

Тройку все поздравляют — не подкачали, дескать. Хлебникову руку жмут.

— Ну, говорят, как гора с плеч. А мы-то думали, что ты, Хлебников, по сие время как слепой бродишь в темноте и в пропасти...

А за вторую половину месяца, при всей своей грамотности, Хлебников снова спьяну вывел крестик. Но этому никто уж не удивлялся. Потому — привыкли. И знали, что человек грамотный.

БАНЯ

Говорят, граждане, в Америке бани очень отличные.

Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет — мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет.

Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:

— Гут бай, дескать, присмотри.

Только и всего.

Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают — стираное и глаженое. Портянки небось белее снега. Подштанники зашиты, залатаны. Житьишко!

А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.

У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку),— дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать — некуда. Карманов нету. Кругом — живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь.

Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое ж мытье? Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли.

Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает.

— Ты что ж это, говорит, чужие шайки воруешь? Как ляпну тебе шайкой между глаз — не зарадуешься.

Я говорю:

— Не царский, говорю, режим шайками ляпать. Эгоизм, говорю, какой. Надо же, говорю, и другим помыться. Не в театре, говорю.

А он задом повернулся и моется.

«Не стоять же, думаю, над его душой. Теперича, думаю, он нарочно три дня будет мыться».

Пошел дальше.

Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался — не знаю. А только тую шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться — какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.

А кругом-то, батюшки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся — опять грязный. Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит от стирки — мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один.

«Ну их, думаю, в болото. Дома домоюсь».

Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу — все мое, штаны не мои.

— Граждане, говорю. На моих тут дырка была. А на этих эвон где.

А банщик говорит:

— Мы, говорит, за дырками не приставлены. Не в театре, говорит.

Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальтом. Пальто не выдают — номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок — нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.

Подаю банщику веревку — не хочет.

— По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок — польт не напасешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется — выдам, какое останется.

Я говорю:

— Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нету. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял.

Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл.

Вернулся снова. В пальто не впущают.

— Раздевайтесь, говорят.

Я говорю:

— Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла.

Не дают.

Не дают — не надо. Пошел без мыла.

Конечно, читатель может полюбопытствовать: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенник.

НА ЖИВЦА

В трамвае я всегда езжу в прицепном вагоне. Народ там более добродушный подбирается.

В переднем вагоне скучно и хмуро, и на ногу никому не наступи. А в прицепке, не говоря уже о ногах, много привольней и веселей. Иногда там пассажиры разговаривают между собой на отвлеченные философские темы — о честности, например, или о заработной плате. Иногда же случаются и приключения.

На днях ехал я в четвертом номере.

Вот два гражданина против меня. Один с пилой. Другой с пивной бутылкой. Бутылка пустая. Держит человек бутылку в руках и пальцами по ней щелкает. А то к глазу поднесет и глядит на пассажиров через зеленое стекло. Очень интересно получается.

Рядом со мной — гражданка в теплом платке. Сидит она вроде сильно уставшая или больная. И даже глаза по временам закрывает. А рядом с гражданкой — пакет. Этакий в газету завернут и бечевкой перевязан.

И лежит этот пакет не совсем рядом с гражданкой, а несколько поодаль. Гражданка иногда косо на него поглядывает.

— Мамаша! — говорю я гражданке.— Гляди, пакет сопрут. Убери хотя бы себе на колени.

Гражданка сердито посмотрела на меня, сделала таинственный знак рукой и, приложив палец к своим губам, снова закрыла глаза.

Потом опять с сильным неудовольствием посмотрела на меня и сказала:

— Сбил ты меня с плану, черт паршивый...

Я хотел было обидеться, но гражданка язвительно добавила:

— А может, я нарочно пакет этот отложила. Что тогда? Может, я и не сплю, а все как есть вижу и нарочно глаза прикрываю?

— То есть как? — удивился я.

— Как, как...— передразнила гражданка.— Может, я вора на этот пакет хочу поймать...

Пассажиры стали прислушиваться к нашему разговору.

— А чего в пакете-то? — деловито спросил человек с бутылкой.

— Да я же и говорю,— сказала гражданка.— Может, я нарочно туда костей-тряпок напихала... Потому — вор

не разбирается, чего в ем. А прет и прет, что под руку попадет... Знаю я, не спорьте. Я, может, с неделю так езжу...

— И что же — попадают? — с любопытством спросил кто-то.

— А то как же,— воодушевилась гражданка.— Обязательно попадают... Давеча дамочка вкапалась... Молоденькая такая, хорошенькая из себя. Черненькая брунеточка... Гляжу я — вертится эта дамочка. После цоп пакет и идет... А-а-а, говорю, вкапалась, подлюга...

— С транвая их, воров-то, скидывать надоть! — сказал сердито человек с пилой.

— Это ни к чему — с трамвая,— вмешался кто-то.— В милицию надоть.

— Конечно, в милицию,— сказала гражданка.— Обязательно в милицию... А то еще другой вкапался... Мужчина, славный такой, добродушный... Тоже вкапался... Взял прежде пакет и держит. Привыкает. Будто свой. А я молчу. И в сторону будто гляжу. А он после встает себе и идет тихонько... А-а, говорю, товарищ, вкапался, гадюка...

— На живца, значит, ловишь-то? — усмехнулся человек с бутылкой.— И много это попадают?

— Да я же и говорю,— сказала гражданка,— попадают.

Она замигала глазами, глянула в окно, засуетилась и объявила пассажирам, что проехала свою остановку.

И, уходя из вагона, она сердито посмотрела на меня и снова сказала:

— Сбил ты меня с плану, черт паршивый.

И ушла.

ПАСХАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Вот, братцы мои, и праздник на носу — пасха православная.

Которые верующие, те, что бараны, потащат свои куличи святить. Пущай тащат! Я не потащу. Будет. Мне, братцы, в прошлую пасху на кулич ногой наступили.

Главное, что я замешкался и опоздал к началу. Прихожу к церковной ограде, а столы уже заняты. Я прошу православных граждан потесниться, а они не хотят. Ругаются.

— Опоздал, говорят, черт такой, так и станови свой

кулич на землю. Нечего тут тискаться и пихаться — куличи посроняешь.

Ну, делать нечего, поставил свой кулич на землю. Которые опоздали, все наземь ставили.

И только поставил, звоны и перезвоны начались.

И вижу, сам батя с кисточкой прется.

Макнет кисточку в ведро и брызжет вокруг. Кому в рожу, кому в кулич — не разбирается.

А позади бати отец-дьякон выступает с блюдцем, собирает пожертвования.

— Не скупись, говорит, православная публика! Клади монету посередь блюдца.

Проходят они мимо меня, а отец-дьякон зазевался на свое блюдо и — хлоп ножищей в мою тарелку.

У меня аж дух захватило.

— Ты что ж, говорю, длинногривый, на кулич-то наступаешь?.. В пасхальную ночь...

— Извините, говорит, нечаянно.

Я говорю:

— Мне с твоего извинения не шубу шить. Пущай мне теперь полную стоимость заплатят. Клади, говорю, отец-дьякон, деньги на кон!

Прервали шествие. Батя с кисточкой заявился.

— Это, говорит, кому тут на кулич наступили?

— Мне, говорю, наступили. Дьякон, говорю, сукин кот, наступил.

Батя говорит:

— Я, говорит, сейчас кулич этой кисточкой покроплю. Можно будет его кушать. Все-таки духовная особа наступила...

— Нету, говорю, батя. Хотя все ведерко на его выливай, не согласен. Прошу деньги обратно.

Ну, пря поднялась. Кто за меня, кто против меня.

Звонарь Вавилыч с колокольни высовывается, спрашивает:

— Звонить, что ли, или пока перестать?

Я говорю:

— Обожди, Вавилыч, звонить. А то под звон они меня тут совсем объегорят.

А поп ходит вокруг меня, что больной, и руками разводит.

А дьякон, длинногривый дьявол, прислонился к забору и щепочкой мой кулич с сапога счищает.

После выдают мне небольшую сумму с блюда и просят уйти, потому, дескать, мешаю им криками.

Ну, вышел я за ограду, покричал оттеда на отца-дьякона, посрамил его, а после пошел.

А теперь куличи жру такие, несвяченые.

Вкус тот же, а неприятностей куда как меньше.

КРЕСТЬЯНСКИЙ САМОРОДОК

Фамилию этого самородка и крестьянского поэта я в точности не запомнил. Кажется — Овчинников. А имя у него было простое — Иван Филиппович.

Приходил Иван Филиппович ко мне три раза в неделю. Потом стал ходить ежедневно.

Дела у него были ко мне несложные. Он тихим, как у таракана, голосом читал свои крестьянские стишки и просил, по возможности скорей, пристроить их по знакомству в какой-нибудь журнал или в газетку.

— Хотя бы одну штуковину напечатали,— говорил Иван Филиппович.— Охота посмотреть, как это глядит в печати.

Иногда Иван Филиппович присаживался на кровать и говорил, вздыхая:

— К поэзии, уважаемый товарищ, я имею склонность, прямо скажу, сыздетства. Сыздетства чувствую красоту и природу... Бывало, другие ребята хохочут, или рыбку удют, или в пятачок играют, а я увижу, например, бычка или тучку и переживаю... Очень я эту красоту сильно понимал. Тучку понимал, ветерок, бычка... Это все я, уважаемый товарищ, очень сильно понимал.

Несмотря на понимание бычков и тучек, стишки у Ивана Филипповича были весьма плохие. Надо бы хуже, да не бывает. Единственно подкупало в них полное отсутствие всяких рифм.

— С рифмами я стихотворения не пишу,— признавался Иван Филиппович.— Потому с рифмами с этими одна путаница выходит. И пишется меньше. А плата все равно — один черт, что с рифмой, что и без рифмы.

Первое время я честно ходил по редакциям и предлагал стишки, но после и ходить бросил — не брали...

Иван Филиппович приходил ко мне рано утром, садился на кровать и спрашивал:

— Ну как? Не берут?

— Не берут, Иван Филиппович.

— Чего же они говорят? Может, они, как бы сказать,

в происхождении моем сомневаются? То пущай не сомневаются — чистый крестьянин. Можете редакторам так и сказать: от сохи, дескать. Потому кругом крестьянин. И дед крестьянин, и отец, и которые прадеды были — все насквозь крестьяне. И женились Овчинниковы завсегда на крестьянках. Ей-богу. Бывало, даже смех вокруг стоит. «Да чего вы, говорят, Овчинниковы, все на крестьянках женитесь? Женитесь, говорят, на других...» — «Нету, говорим, знаем, что делаем». Ей-богу, уважаемый товарищ. Пущай не сомневаются...

— Да не в том дело, Иван Филиппович. Так не берут. Не созвучно, говорят, эпохе.

— Ну, это уж они тово,— возмущался Иван Филиппович.— Это-то не созвучные стихотворения? Ну, это они объелись... Как это не созвучные, раз я сыздетства природу чувствовал? И тучку понимал, бычка... За что же, уважаемый товарищ, не берут-то? Пущай скажут. Нельзя же голословно оскорблять личности! Пущай хотя одну штуковину возьмут.

Натиск поэта я стойко выдерживал два месяца.

Два месяца я, нервный и больной человек, отравленный газами в германскую войну, терпел нашествия Ивана Филипповича из уважения к его происхождению. Но через два месяца я стал сдавать.

И наконец, когда Иван Филиппович принес мне большую поэму или балладу, черт ее разберет, я окончательно сдал.

— Ага,— сказал я,— поэмку принесли?

— Поэмку принес,— добродушно подтвердил Иван Филиппович,— очень сильная поэмка вышла... Два дня писал... Как прорвало. Удержу нет...

— С чего бы это?

— Да уж не знаю, уважаемый товарищ. Творчество нашло. Пишешь и пишешь. Руку будто кто водит за локоть. Вдохновенье...

— Вдохновенье! — сказал я.— Стишки пишешь... Работать нужно, товарищ, вот что! Дать бы тебе камни на солнцепеке колоть, небось бы...

Иван Филиппович оживился и просиял:

— Дайте,— сказал он.— Если есть, дайте. Прошу и умоляю. Потому до крайности дошло. Второй год без работы пухну. Хотя бы какую работишку найти...

— То есть как? — удивился я.— А поэзия?

— Какая поэзия,— сказал Иван Филиппович тараканьим голосом.— Жрать надо... Поэзия!.. Не только поэзия, я,

уважаемый товарищ, черт знает на что могу пойти... Поэзия...

Иван Филиппович решительным тоном занял у меня трешку и ушел.

А через неделю я устроил Ивана Филипповича курьером в одну из редакций. Стишки он писать бросил.

Нынче, хотя безработицы нету, ходит ко мне бывший делопроизводитель табачной фабрики — поэт от станка. Он откровенно говорит: «Хочу, знаете, к своему скромному канцелярскому заработку немножко подработать на этой самой поэзии».

МОКРОЕ ДЕЛО

Давеча возвращаюсь домой из гостей. Одиннадцать вечера. Темно. Безлюдно.

На сердце неясная тревога. В груди трепет и волнение по причине позднего часа.

«Только бы, думаю, с бандитами не встретиться или с хулиганами. Время такое — в самый раз. А уж если, думаю, суждено встретиться, то пущай лучше с хулиганами встречусь. Хулиганы, они как-то симпатичней. Ну пошалят, ну по морде трахнут, ну зуб-другой вынут. Только и всего. Пальто же они снимать не будут. Это уж не ихнее дело пальто снимать. А это очень благородно с ихней стороны — не трогать чужую собственность».

Вот с такими грустными мыслями иду домой. Подхожу к дому.

«Теперь, думаю, самый беспокойный промежуток остался — лестница. Нет, думаю, ничего страшней, как с бандитом на лестнице встретиться. Главное — узка. Бежать худо. И вообще, очень серьезно свалиться можно».

Поднимаюсь по лестнице. Дохожу до второй площадки. Вдруг слышу, на верхней площадке кто-то ногами чиркает.

А лестница у нас, конечно, не ярко освещена. Лампочка угольная. Мутная. Кошку в двух шагах и то узнать трудно — за тигра принимаешь.

Поглядел я наверх. Вижу, стоит какой-то ренегат. И в руках что-то держит. Какое-то тупое орудие.

Сразу я, конечно, остановился. Затаил дыхание. Стою. Только сердце в груди отчаянно бьется.

«Влип»,— думаю.

И слышу, тот тоже меры принял. Тоже замер, прекра-

тил дыхание и ногами не ходит. Ждет, когда я до него дойду.

В эту минуту, действительно верно, башка у меня стала очень ясно работать.

«Либо, думаю, бежать надо, либо назад возвращаться. А как это сделать, не знаю. Если, думаю, обернусь назад — пес его знает, может, ринется за мной, догонит и душу вытряхнет».

Стою и не дышу, только зубы удерживаю, чтоб зря не лязгали.

А стою я на площадке второго этажа. Недалеко чья-то квартира.

«Бежать во двор, думаю, поздно. Сейчас, думаю, осторожно подвинусь к двери, нащупаю звонок и позвоню. Пущай будет тревога по всему дому».

Стою, глаз с верху не спускаю и сам рукой позади себя шарю. Нашел ручку. Стал ее легонько дергать.

Вдруг сверху как ринется бандит на меня. Ноги у меня подкосились. И дух замер. «Сейчас, думаю, душу вытряхнет».

Собрался с силами. Скакнул в сторону. Он за мной. Я вниз. Он по пятам. Прямо, чувствую, за воротник хватает. А воротник барашковый.

Я по двору. Через ворота. На улицу. Кричу.

Хватает он меня за воротник и роняет на пол.

Тут толпа собирается. Милиция свищет.

Гляжу: за воротник держит меня Петька Водкин, жилец с нашей коммунальной квартиры.

Петька Водкин на меня глядит. Я гляжу на Петьку.

Петька Водкин говорит:

— Эва, кого поймал. А я, говорит, тебя за жулика принял. Что ты там упражнялся у чужой двери?

Я говорю:

— Надо лучше глядеть, Петя Водкин. Я, говорю, у дверей просто дух перевел. А ты меня за воротник хватаешь. Оторвать можно.

Тут объясняем милиции и возвращаемся домой.

Всю ночь, конечно, не мог спать. Ворочался с боку на бок. Все думал и мечтал о том счастливом времени, когда наконец начнется спокойная жизнь для всех граждан.

Все — на борьбу с бандитизмом!

МЕЩАНСТВО

О мещанстве Иван Петрович имел особое мнение. Он крайне резко и зло отзывался об этой накипи нэпа. Не любил он этой житейской плесени.

— Для меня,— говорил Иван Петрович,— нету ничего хуже, как это мещанство. Потому через это вся дрянь в человеке обнаруживается... Давеча, например, я Васькино пальто накинул. За керосином побежал в лавку. Так Васька сразу в морду лезет. Дерется. Зачем ему, видите ли, пальто керосином залил.

— Воняет, говорит.

— Да брось, говорю, ты, Вася, свои мещанские штучки! Ну залил и залил, сегодня я залил, завтра ты заливай. Я с этим не считаюсь. А если, говорю, воняет — нос зажми. Пора бы, говорю, перестать запахи нюхать. Мещанство, говорю, какое.

Так нет, недоволен, черт сопатый. Бубнит чтой-то себе под нос.

Или, например, хозяйка. Квартиру держит. И чуть первое число наступает — вкатывается в комнату. Деньги ей, видите ли, за квартирную площадь требуются.

— Да что вы, говорю, гражданка, объелись? Да что, говорю, я сам деньги делаю? Оставьте, говорю, при себе эти мещанские штучки. Обождите, говорю, месяц.

Так нет — вынь да положь ей за квадратную площадь.

Ну да когда старый паразит в мещанстве погрязши, это еще куда ни шло. А вот когда молоденькая в мещанство зарывается — это больно и обидно.

Например, Катюшка из трепального отделения. Довольно миленькая барышня, полненькая. По виду никогда не скажешь, что мещанка. Потому поступки видны, идеология заметна, ругаться по матери может. А поближе тронешь — мещанка. Не подступись к ней.

Давеча в субботу после получки говорю ей запросто, как дорогой товарищ дорогому товарищу:

— Приходите, говорю, Катюша, ко мне на квартиру. У печки, говорю, посидим. После фильму пойдем посмотрим. За вход заплачу.

Не хочет.

Спасибо ребята срамить начали.

— Да брось ты, говорят, Катюшка, свое мещанство. Любовь свободная.

Ломается. Все-таки, поломавшись, через неделю зашла. Зашла и чуть не плачет, дура такая глупая.

— Не могу, говорит, заходить. Симпатии, говорит, к вам не ощущаю.

— Э, говорю, гражданка! Знаем мы эти мещанские штучки. Может, говорю, вам блондины эффектней, чем брунеты? Пора бы, говорю, отвыкнуть от мещанской разницы.

Молчит. Не находит чего сказать.

— Пущай, говорит, мещанство лучше, а только не могу к вам заходить. В союз пойду жалиться.

Я говорю:

— Да я сам на тебя в Петросовет доложу за твои мещанские штучки.

Так и махнул на нее рукой. Потому вижу, девчонка с головой погрязши в мещанство. И добро бы старушка или паразит погрязши, а то молоденькая, полненькая, осьмнадцати лет нет. Обидно.

СУКОННОЕ РЫЛО

Недавно сижу я в Летнем саду. Курю папиросу. И сидит рядом со мной на скамейке гражданин какой-то. По виду не то монтер, не то техник. Сидит и морщится от моего дыма.

Я уж этак и так, стараюсь вообще не попасть в его рожу дымом. А ветер на него.

Вдруг монтер трогает меня за рукав и говорит:

— Бросьте вы, товарищ, такое дерьмо курить. Нуте-ка я вас угощу настоящим английским табачком. Мне бывший дядя из Англии прислал...

Вынимает он из кармана коробку и подает.

Я говорю:

— Ну что ж я вас разорять-то буду?

— Да нет, говорит, этим мне даже счастье доставите. Потому у меня, прямо скажу, слабость к заграничной продукции. Очень одобряю заграничные продукты. Возьмите.

Я взял папиросу.

— Да, говорю, заграничная продукция — это действительно. Выдающая продукция. Много, говорю, вещей стоящих.

— Не только много,— говорит монтер,— а все. Чего ни возьмите. Раз это заграничное — баста, заранее одобряю. Да взять, например, хотя бы кроликов. Давеча нам в коопе-

ративе давали мороженых австралийских кроликов... Это действительно кролики! Этого кролика ешь и на зубах прямо чувствуешь культуру и цивилизацию. А наш кролик? Дрянь кролик. Четыре ноги, хвост — вот вам и кролик. Да, может, это вовсе и не кролик, а очень просто собака или петух дохлый. И никакой цивилизации... А давеча я положил на окно полфунта ливерной колбасы, возвращаюсь — нету колбасы. Кошка слопала. Вот вам и советское производство!.. Ну, какова папиросочка?

— Да,— говорит монтер,— хороши ихние кролики, а табачок каков, а? Бывший дядя из Англии прислал... Эмигрант... Кури, пишет, братишечка, знавай нашу продукцию... Да вы затянитесь нарочно поглубже... Это такой табак, что я три дня курю и мне помирать неохота. А дым-то, дым-то какой голубой! Феерия, а не дым. Да разве у русских этакий дым бывает? Ну да табак хвалить нечего. Это все умы признали. А вот производство. Чистота. Порядок. Набивка какая! Вы нарочно посмотрите, какая набивка. А взять, например, коробку. На вид — дрянь коробка. Ну чего в ней? Коробка и коробка. А какая изящная простота. Ничего лишнего. Ничего не болтается из нее. Не скрипит. Английская надпись, и ничего больше... Эх, далеко нам до заграницы! Куда уж нам с суконным рылом в калашный ряд...

Я взял коробку, полюбовался. Действительно, коробка была хорошая. И на крышке было что-то объяснено по-английски. А внизу мелко-мелко было напечатано: «Гублит. Типогр. Акад. Наук. Тучкова наб.».

— Послушайте,— сказал я монтеру,— тут что-то пропечатано.

Монтер взглянул на коробку, задумчиво побарабанил по ней пальцами и сказал:

— Подсунули, подлецы. То-то я и смотрю, что такое? Будто бы и не то. Три дня курю — голова болеть начала, тошнит...

Он затянулся.

— Так и есть,— сказал он.— Дрянь папиросы. И дым-то едкий какой. От бумаги, наверное. Жженой тряпкой воняет. Тьфу, черт! Тоже продукция! Далеко нам с суконным рылом до ихней цивилизации.

КОНТРОЛЕР

Организм у слесаря Гаврилыча был неважный. Была ли селезенка в неисправности или какой другой орган был с изъянцем — неизвестно. А только мучила человека жажда беспрестанно.

Как, например, получит человек деньги, отойдет от кассы, так и шабаш. Такая настает жажда — беда. Прямо беги в первую портерную и пей дюжину. И то мало. Не залить всей жажды.

До чего же организмы бывают у людей неудачные!

А в субботу слесарь Гаврилыч подсчитал получку, отошел от кассы и вдруг как раз и почувствовал сильный прилив жажды.

«Выпить надоть,— подумал слесарь.— Главное, что тискаются, черти, у кассе, пихаются... Жажду только вызывают, дьяволы».

Положил слесарь деньги в карман. Вышел за ворота. Посмотрел по сторонам с осторожностью. Так и есть. У ворот собственной своей персоной стояла супруга Гаврилыча, драгоценная Марья Максимовна.

Марья Максимовна стояла в толпе женщин и, поминутно оглядываясь на ворота, говорила:

— Главное, милые мои, за ворота-то нас не пущают. За воротами-то, милые мои, способней. Тут, например, густо попрет мужчина и не увидишь, который какой супруг с деньгами-то...

— Верно, Максимовна,— подтверждали в толпе.— Верно!

— Конечно, верно,— говорила Марья Максимовна.— А только, бабоньки, деньги-то у супругов враз отымать не к чему. Злеют супруги от этого... А контроль наблюдать надо бы. Супруг, например, в портерную — и ты в портерную. Супруг биллиарды гонять — и ты не то что гонять, но стой, не допущай зарываться...

Слесарь Гаврилыч сделал равнодушное лицо и осторожно пошел вперед, стараясь пройти незамеченным.

— Вон он твой-то, павлин! — закричали в толпе.

Марья Максимовна всплеснула руками и ринулась за супругом.

— Прикатилась? — спросил слесарь.

— Прикатилась, Иван Гаврилыч,— сказала супруга. И вдруг почувствовала, что ее распирает сильная злоба.

Хорошо было бы, конечно, тут же сцепиться и отчехвостить при всех Гаврилыча. Ах, дескать, ирод, окаянная

твоя сила! Такие-то поступки! Так-то ты растого, разэтого, тово...

Но Марья Максимовна сдержалась и сказала приветливо:

— А идите сюда, Иван Гаврилыч. Мы не препятствуем. А только мы от вас сегодня ни на шаг не отстанем. Вы в портерную — мы в портерную. Вы биллиарды гонять — и мы биллиарды гонять...

У слесаря Гаврилыча сильно чесался язык. Хорошо бы, думал Гаврилыч, стукануть сейчас по скуле Марью Максимовну. Или на худой конец отчехвостить при народе. Ах, дескать, контроли строить! Муж, может, неограниченную сдельщину делает, преет и потеет, а ты контроли наблюдать...

Но Гаврилыч сдержался и, махнув рукой, вошел в портерную.

Жена решительно шагнула за Гаврилычем.

А через час супруги вышли из портерной обнявшись. Оба были сильно навеселе. Гаврилыч, надрывая свой козлетон, пел «Бывали дни веселые». Марья Максимовна ему подтягивала дрожащим голосом.

Они шли в обнимку и, слегка покачиваясь, пели.

ТУМАН

А ведь сейчас, граждане, ни черта не разберешь — кто грамотный, а кто неграмотный.

Один, например, гражданин знает свою фамилию с закорючкой подписывать, а писать вообще не знает. Другой гражданин писать знает, а прочесть, чего написал, не может. Да и не только он не может, а дайте ученому профессору, и ученый профессор ни черта не разберется. Даром что профессор. Такое написано — будто кура наследила или дохлая муха нагадила.

Ну а теперь, дорогие товарищи, как же этих граждан считать прикажете? Грамотные эти граждане или они неграмотные? Одни говорят: да, грамотные. Другие говорят: да нет. Вот тут и разбирайся.

Или, например, Василий Иванович Головешечкин. Да он и сам не знает, грамотный он или нет. Человек, можно сказать, совсем сбился в этом тумане просвещения.

Председатель однажды чуть даже не убил его за это. Главное, что два дня всего осталось до полной ликвидации неграмотности. Скажем, к Первому мая велено было в гу-

бернии начисто ликвидировать неграмотность. А за два дня до этого бежит Василий Иванович в сельсовет и докладывает, запыхавшись,— дескать, неграмотный он.

Председатель чуть его не укокошил на месте.

— Да ты, говорит, что ж это, сукин сын? Да как же ты ходишь не ликвидировавшись, раз два дни осталось?

Василий Иванович разъясняет положение, дескать, неспособен, способностей, дескать, к наукам нету.

Председатель говорит:

— Ну что, говорит, я с тобой, с чучелой, делать буду? Кругом, говорит, начисто ликвидировано, а ты один декреты нарушаешь. Беги, говорит, поскорей в тройку, проси и умоляй. Может, они тебя в два дни как-нибудь обернут. Пущай хотя гласные буквы объяснят.

Василий Иванович говорит:

— Гласные, говорит, буквы я знаю. Чего их всякий раз показывать. Голова заболит.

Тут председатель обратно чуть не убил Василия Ивановича.

— Как, говорит, знаешь? Может, ты и фамилию писать знаешь?

— Да, говорит, и фамилию.

— Значит, ты, сукин сын, грамотный?

— Да выходит, что грамотный,— говорит Василий Иванович.— Да только какой же я грамотный? Смешно.

Председатель опять чуть не убил Василия Ивановича после этих слов.

— Нет, говорит, у меня инструкций разбираться в ваших образованиях, чучело, говорит, ты окаянное! Только, говорит, людей пугаешь перед праздником. А еще грамотный.

И опять чуть не убил Василия Ивановича.

А теперь Василий Иванович сильно задается. И говорит, что он грамотный. И вообще с высшим образованием. Даже может в вузах преподавать, а только неохота ему преподавать и жена вообще не пущает, да и детишки, между прочим, плачут — пугаются, что папашку в вузах убьют.

Так и живет теперь человек с высшим образованием. И ведь чудно как случилось. Еще неделю назад скулил человек, что неграмотный, а теперь этакое образование ему выпало. Как говорится — не было ни гроша, а вдруг пуговица.

ЧЕЛОВЕК С НАГРУЗКОЙ

Эх, поздно я со своим рассказом сунулся! Кажись, брачную-то реформу уж утвердили? А надо бы туда еще один малюсенький пунктик присобачить. Один самый мелкий параграф разъяснить. Потому теперь этот мелкий параграф уж очень часто в жизни встречается. А никто не знает, как в таких случаях поступать.

Да вот, недалеко ходить. Возьмем, например, из жизни Василия Ивановича Серегина. Он, как известно, на пивоваренном работает. Ежедневно две бутылки пива даром и жалованье — сорок пять целковых.

И хотя, скажем, семья имеется — жена с младенцем, а жить можно. Хватает.

Только раз приходит Серегин Василий Иванович домой и говорит жене с младенцем:

— Ну-с, говорит, друзья, хорошего понемножку. Пожили вместях, и будет. Вы налево, я направо. И через суд алименты... Воспитывайте моего младенца на эти алименты лучше, пущай он вроде меня будет — передовым товарищем.

Подала жена в суд. Стали по суду брать с Серегина на младенца третью часть жалованья — пятнадцать целковых.

Стал теперь Серегин получать тридцать.

«При бесплатном, думает, пиве и если не курить, этого за глаза хватит. И даже в случае ежели чего — жениться опять можно».

И вскоре действительно Серегин Василий Иванович женился. Миловидную такую барышню взял. И к лету от нее младенца прижил.

Прижил младенца и говорит своей миловидной супруге:

— Человек, говорит, я передовой. Мещанство для меня нож вострый. И вообще, говорит, пеленки мне неохота нюхать... Вы налево, я направо. И через суд алименты.

Присудили на младенца третью часть жалованья.

Стал Серегин Василий Иванович пятнадцать получать.

«При бесплатном, думает, пиве и если ничего не жрать, то оно и хватит».

А тут еще на жизненном пути гражданка подвернулась. Носатенькая такая брюнеточка.

Серегин думает:

«Жениться не напасть, как бы после не пропасть. Женюсь все-таки».

Взял и женился на носатенькой. А она теперь на последнем месяце в капоте ходит.

Василий Иванович хотел с ней развестись немедленно, да не тут-то было.

Ходит теперь человек, башку чешет и все удивляется.

— Милые, говорит, товарищи! Да ведь я теперь-то и развестись не могу. Придется мне теперь с носатенькой всю жизнь трепаться.

— А что? — спрашивают.

— Да как же, говорит, милые товарищи! Ну хорошо, ну разведусь я, скажем, с носатенькой. Ну возьмут с меня остатние пятнадцать рублей... А я-то что, человек или дырка? Я-то обязан жрать? Или мне прикажете пиво лакать без закуски?.. Ведь это что же такое, братцы? Ведь это выходит, что человек больше трех раз и жениться не моги...

Все руками разводят и башками крутят. И никто не знает, как из этого немыслимого положения выйти.

Один человек, впрочем, знает. Это сам Василий Иванович. Он говорит:

— Пущай тогда мне платят за нагрузку, черт с ним!

ДОХОДНАЯ СТАТЬЯ

Ну чем разжиться безработному человеку в наше бедное время? Да, прямо сказать, нечем.

Ну, спасибо, велосипед задавит. Ну, сорвешь целковый с неосторожного проезжающего. Или, скажем, какая-нибудь хозяйская собачонка за штаны схватит. Рублей десять набежит за это самое.

Да только ядовитое как-то на земле пошло: велосипеды тормозят, собачки не кусаются. Беда прямо-таки безработному человеку!

А другая собачка и кусит, да хозяина после не найдешь. Смылся хозяин. Сорвать не с кого. И выходит, что совсем зря собачка кусила безработного человека.

Очень масса препятствий встречается в случайном заработке!

Другой раз привалит счастье — вот оно, бери его, хватай руками,— так нет, закон, скажем, не предусматривает этой статьи.

Вот раз гуляем мы печально в Саду трудящихся. Глядим — собачка с бантиком. Этакая мелкая комнатная собачонка на хвосте сидит у скамейки. Тут же и хозяева весенним воздухом дышат. Гражданин с дамочкой.

И вот осеняет нас мысль насчет собачки. Сажусь рядом на скамейку и тихонько ногой покручиваю у собачьей морды. А сапог рваный.

Другая комнатная собачка за такой сапог враз бы за штаны схватила, и тогда выкладывай хозяева денежки не менее десятки. А эта подлая собачка сидит все время на хвосте и глазами за сапогом водит.

— Вз-з, говорю, куси!

Не кусает. Жирная такая, что ли, собачка попалась — неохота ей кусать.

— Хватай, говорю, тубо проклятая.

Не хватает. Сидит по-прежнему на хвосте и глазами мигает.

«Ах так!» — думаю.

Встаю и ногой как махну эту комнатную собачку со злобы.

Визг. Шум. И крики. Народ толкается. Дамочка в истерике мечется. Гражданин рукой махает, ударить, наверное, меня хочет. Тут же и старушка какая-то подначивает. Дескать, ударь, батюшка, подлеца за собачку. Такой же, мол, собачка человек, как и мы, грешные.

А гражданин подначки послушался, развернулся и шмяк меня по уху.

«Так, думаю, рублей пятнадцать, а то и все двадцать пять набежит за это самое. Это тоже статья доходная. В царское, думаю, время не менее пяти за это платили. Эх, думаю, дурак, дурак! Ударил себе на голову...»

Обращаюсь к народу:

— Граждане, говорю, дозволено ли, говорю, безработных по роже бить на глазах у публики?

Тут шум, визг и крики поднялись.

— Не дозволено, кричат, братишка! Волоки в милицию.

Я говорю:

— Может, без милиции, граждане, обойдемся. Мне бы, говорю, рублей двадцать пять.

Народ говорит:

— Не соглашайся на двадцать пять, братишечка! Это за двадцать-то пять, может быть, каждый ударить захочет. А тут проучить надо зарвавшихся. Волоки в милицию.

Ну, пошли в милицию.

Шум, крик, стоны. Протоколы пишут. Свидетелей очень масса выступает. И все за меня.

Я говорю:

— Менее как за сорок не соглашусь, граждане, раз такое полное единодушие наблюдается. Это, говорю, не при

Николае Кровавом меня по роже ударили, понимать надо... Может, говорю, у меня рожа теперь болеть два дня будет. Что тогда?..

Наконец протоколы написаны, свидетели подписаны, и просят всех до суда уйти честью.

Уходим.

Возвращаемся домой. Объясняем в доме как и чего. И все рады за меня, поздравляют, угощают.

Квартирная хозяйка три рубля в долг отваливает. Дворник Иван в счет будущих благ — полтинник. Андрей Иванович с пятого номера — двугривенный и обедом кормит.

Живу три дня хорошо и отлично. Мечтаю, чего куплю. Сапог, думаю, покупать не буду. Куплю сандалии. И еще полгода жить буду что богатый.

Через три дня суд наступает.

Все по закону. Кодекс лежит на столе. Портреты висят. Губпрокурор сбоку сидит. Речи происходят. И все за меня.

«Менее сорока пяти, думаю, не соглашусь».

И вдруг выносят резолюцию: полгода со строгой изоляцией.

А мне, безработному человеку, хоть бы кто плюнул.

— Граждане, говорю, народные судьи! Господин губпрокурор. Мне бы, говорю, рублей десять...

Молчат. Только по губам деньгами помазали.

— Да что ж это, говорю, граждане, народные судьи! Хозяйке-то, говорю, кто платить будет? Андрей-то, говорю, Иваныч обождет. А хозяйка-то, говорю, повесится. Войдите, говорю, в положение. Эх, говорю, жизнь-жистянка!

Так и ушел с чем пришел.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Вчера, граждане, сижу я в Таврическом саду на скамейке. Кручу папиросочку. По сторонам гляжу. А кругом чудно как хорошо! Весна. Солнышко играет. Детишки-ребятишки на песочке резвятся. Тут же, на скамейке, гляжу, этакий шибздик лет десяти, что ли, сидит. И ногой болтает.

Посмотрел я на него и вокруг.

«Эх, думаю, до чего все-таки ребятишкам превосходней живется, чем взрослому. Что ж взрослый? Ни ногой не поболтай, ни на песочке не поваляйся. А ногой поболтаешь — эвон, скажут, балда какая ногой трясет. По морде

еще ударят. Эх, думаю, несимпатично как-то взрослому человеку... Комиссии всякие, перекомиссии. Доклады и собрания... На три минуты, может, вырвешься подышать свежей атмосферой, а жена, может, ждет уж, уполовником трясет, ругается на чем свет стоит, зачем, мол, опоздал. Эх, думаю, счастливая пора, золотое детство! И как это ты так незаметно прошло и вон вышло...»

Посмотрел я еще раз на ребятишек и на парнишечку, который ногой болтает, и такая, прямо сказать, к нему нежность наступила, такое чувство — дышать нечем.

— Мальчишечка, говорю, сукин ты сын! Не чувствуешь, говорю, подлец, небось полного своего счастья? Сидишь, говорю, ногой крутишь, тебе и горюшка никакого. Начихать тебе на все с высокого дерева. Эх ты, говорю, милый ты мой, подлец этакий! Как, говорю, звать-то тебя? Имя, одним словом.

Молчит. Робеет, что ли.

— Да ты, говорю, не робей, милашечка. Не съест тебя с хлебом старый старикашка. Иди, говорю, садись на колени, верхом.

А парнишечка обернулся ко мне и отвечает:

— Некогда, говорит, мне на твоих коленках трястись. Дерьма тоже твои коленки. Идиет какой.

Вот те, думаю, клюква. Отбрил парнишечка. Некогда ему.

— С чего бы, говорю, вам некогда? Какие, извините за сравнение, дела-то у вас?

А парнишечка, дитя природы, отвечает басом:

— Стареть начнешь, коли знать будешь много.

Вот, думаю, какая парнишечка попалась.

— Да ты, говорю, не сердись. Охота, говорю, паршивому старикашке узнать, какие это дела приключаются в вашем мелком возрасте.

А парнишечка вроде смягчился после этого.

— Да делов, говорит, до черта! Комиссии всякие, перекомиссии. Доклады и собрания. Сейчас насчет Польши докладывать буду. Бежать надо. И школа, конечно. Физкультура все-таки... На три минуты, может, вырвешься подышать свежей струей, а Манька Блохина или Катюшка Семечкина небось ругаются. Эх-ма!

Парнишечка вынул «Пушку», закурил, сплюнул через зубы что большой, кивнул головой небрежно и пошел себе.

А я про себя думаю:

«Счастливая пора, золотая моя старость! И в школу,

между прочим, ходить не надо. И с физкультурой все-таки не наседают».

После закурил «Пушку» и тоже пошел себе.

НЕРВЫ

А думается мне, граждане, что женскому классу маленечко похуже существовать, чем нам.

Конечно, за эти слова какая-нибудь ханжа мне может плюнуть в глаза.

— Позвольте, скажет, почему такое хуже, раз своевременно объявлено равенство?

Эх, братишечки! Берите самый громадный камень с мостовой и бейте меня этим громадным камнем по башке — не отступлюсь от своих слов.

Вчера, например, соседушка мой по комнате кинулся стулом в свою супругу.

С благородным негодованием разлетелся я в ихнюю комнату.

— Гражданка, говорю, немедленно перестаньте жить с подлецом. Уходите от него.

Она на меня же и взъелась.

— Да ты, говорит, что, обалдел? Куда я уйду? К тебе, что ли?

Я говорю:

— Не ко мне. Зачем же, помилуйте, ко мне? Ко мне, говорю, не надо. Это, говорю, я так отвлеченно выражаюсь.

А она на меня же стулом размахивается. Еле вышел.

Конечно, может, это была слабая женщина. Другие, может, крепче в жизни держатся. И не отступают от своих намеченных идеалов. Только таких-то в своей жизни я встречал маловато. Одну только вот и встретил, Марусю Блохину.

Эта действительно ушла от мужа. И стала самостоятельно жить. И ничего себе жила. Раз только впала в отчаяние. Хотела даже на улицу идти. Да сдержалась. А уж даже брови пробкой намазала, и губы подвела, и блузку эффектную надела. Вышла и стоит у ворот.

И вдруг какой-то к ней хахаль подходит.

Тут у ней сразу и перелом случился.

— Да ты,— говорит ему,— подлая твоя душа, что же это подходишь? Да, может, это порядочная дама вышедши к воротам подышать вечерней прохладой? Да как же, говорит, не лопнут твои бесстыжие глаза?

Мужчина несколько оробел и в сторону подался, а она его не пущает. За рукав держит.

— Да может, говорит, это та самая дама, которая не отступает от намеченных идеалов? Да, говорит, таких подлецов об тумбу головами крошить надо! Ах ты, говорит, подлая твоя морда!

Уж и отвела же она тогда свою душеньку. Хотела по морде его лупцевать, да сдержалась. Дворник Иван сдержал.

Покричала она еще на дворника Ивана немножко и ушла.

Пришла домой, головой тряхнула и думает:

«Нет, думает, не отступлюсь от своих идеалов. Проживу как-нибудь. Буду-ка я, например, дамские шляпки делать».

И действительно, стала она дамские шляпки делать. И на рынке их продавала. А материал... А вот насчет материала — черт ее знает, откуда она достала? Не иначе как какой-нибудь добродушный мужчина за спасибо дал.

Эх, братцы, держите камень и бейте меня — не отступлюсь от своих слов: маленечко будто похуже бабам жить. А может, мне это только кажется. Может, это у меня нервы развинтились.

А если нервы развинтились, так везите меня в курорт. Какого черта!

ПАССАЖИР

И зачем только дозволяют пассажирам на третьих полках в Москву ездить? Ведь это же полки багажные. На багажных полках и пущай багажи ездят, а не публика.

А говорят — культура и просвещение! Иль, скажем, тепловоз теперь к поездам прикрепляют и ездят после. А между прочим — такая дикая серость в вагонах допущается.

Ведь это же башку отломить можно. Упасть если. Вниз упадешь, не вверх.

А может, мне в Москву и не надо было ехать. Может, это Васька Бочков, сукин сын, втравил меня в поездку.

— На, говорит, дармовую провизионку. Поезжай в Москву, если тебе охота.

— Братишечка, говорю, да на что мне в Москву-то ехать? Мне, говорю, просто неохота ехать в Москву. У меня,

говорю, в Москве ни кола ни двора. Мне, говорю, братишечка, даже и остановиться негде в Москве этой.

А он говорит:

— Да ты для потехи поезжай. Даром все-таки. Раз, говорит, в жизни счастье привалило, а ты, дура-голова, отпихиваешься.

С субботы на воскресенье я и поехал.

Вхожу в вагон. Присаживаюсь сбоку. Еду. Три версты отъехал — жрать сильно захотелось, а жрать нечего.

«Эх, думаю, Васька Бочков, сукин сын, в какую длинную поездку втравил. Лучше бы мне, думаю, сидеть теперь на суше в пивной где-нибудь, чем взад и вперед ездить».

А народу между тем многовато поднабралось. Тут у окна, например, дяденька с бородкой. Тут же рядом и старушечку бог послал. И какая это вредная, ядовитая старушечка попалась — все локтем пихается.

— Расселся, говорит, дьявол. Ни охнуть, ни вздохнуть.

Я говорю:

— Вы, старушечка, божий одуванчик, не пихайтесь. Я, говорю, не своей охотой еду. Меня, говорю, Васька Бочков втравил.

Не сочувствует.

А вечер между тем надвигается. Искры с тепловозу дождем сыплются. Красота кругом и природа. А только мне неохота на природу глядеть. Мне бы, думаю, лечь да прикрыться.

А лечь, гляжу, некуда. Все места насквозь заняты.

Обращаюсь к пассажирам:

— Граждане, говорю, допустите хотя в серединку сесть. Я, говорю, сбоку свалиться могу. Мне в Москву ехать.

— Тут, отвечают, кругом все в Москву едут. Поезд не плацкартный все-таки. Сиди, где сидел.

Сижу. Еду. Еще три версты отъехал — нога зачумела. Встал. И гляжу — третья полка виднеется. А на ней корзина едет.

— Граждане, говорю, да что ж это? Человек, говорю, скрючившись должен сидеть, и ноги у него чумеют, а тут вещи... Человек, говорю, все-таки важней, чем вещи... Уберите, говорю, корзину, чья она.

Старушечка кряхтя подымается. За корзиной лезет.

— Нет, говорит, от вас, дьяволов, покою ни днем ни ночью. На, говорит, идол, полезай на такую верхотуру. Даст, говорит, бог, башку-то и отломишь на ночь глядя.

Я и полез.

Полез, три версты отъехал и задремал сладко.

Вдруг как пихнет меня в сторону, как кувыркнет вниз. Гляжу — падаю. Спросонья-то, думаю, каково падать.

И как шваркнет меня в бок, об башку, об желудок, об руку... Упал.

И, спасибо, ногой при падении за вторую полку зацепился — удар все-таки мягкий вышел.

Сижу на полу и башку щупаю — тут ли. Тут.

А в вагоне шум такой происходит. Это пассажиры шумят, не сперли бы, думают, ихние вещи в переполохе.

На шум бригада с фонарем сходится.

Обер спрашивает:

— Кто упал?

Я говорю:

— Я упал. С багажной полки. Я, говорю, в Москву еду. Васька Бочков, говорю, сукин сын, втравил меня в поездочку.

Обер говорит:

— У Бологое завсегда пассажиры вниз сваливаются. Дюже резкая остановка.

Я говорю:

— Довольно обидно упавшему человеку про это слышать. Пущай бы, говорю, лучше бригада не допущала на верхних полках ездить. А если лезет пассажир, пущай спихивают его или урезонивают — дескать, не лезьте, гражданин, скатиться можно.

Тут и старушка крик поднимает:

— Корзину, говорит, башкой смял.

Я говорю:

— Человек важнее корзинки. Корзинку, говорю, купить можно. Башка же, говорю, бесплатно все-таки.

Покричали, поохали, перевязали мне башку тряпкой и, не останавливая поезда, поехали дальше.

Доехал до Москвы. Вылез. Посидел на вокзале.

Выпил четыре кружки воды из бака. И назад.

А башка до чего ноет, гудит. И мысли все скабрезные идут. Э-э, думаю, попался бы мне сейчас Васька Бочков — я бы ему пересчитал ребра. Втравил, думаю, подлец, в какую поездку.

Доехал до Ленинграда. Вылез. Выпил из бака кружку воды и пошел, покачиваясь.

РАБОЧИЙ КОСТЮМ

Вот, граждане, до чего дожили! Рабочий человек и в ресторан не пойди — не впущают. На рабочий костюм косятся. Грязный, дескать, очень для обстановки.

На этом самом Василий Степаныч Конопатов пострадал. Собственной персоной. Выперли, братцы, его из ресторана. Вот до чего дожили.

Главное, Василий Степаныч, как только в дверь вошел, так сразу почувствовал, будто что-то не то, будто швейцар как-то косо поглядел на его костюмчик. А костюмчик известно какой —рабочий, дрянь костюмчик, вроде прозодежды. Да не в этом сила. Уж очень Василию Степанычу до слез обидным показалось отношение.

Он говорит швейцару:

— Что, говорит, косишься? Костюмчик не по вкусу? К манишечкам небось привыкши?

А швейцар Василия Степаныча цоп за локоть и не пущает.

Василий Степаныч в сторону.

— Ах так! — кричит.— Рабочего человека в ресторан не пущать? Костюм неинтересный?

Тут публика, конечно, собралась. Смотрит. Василий Степаныч кричит:

— Да, говорит, действительно, граждане, манишечки у меня нету, и галстуки, говорит, не болтаются... И, может быть, говорит, я шею три месяца не мыл. Но, говорит, я, может, на производстве прею и потею. И, может, некогда мне костюмчики взад и вперед переодевать.

Тут пищевики наседать стали на Василия Степаныча. Под руки выводят. Швейцар, собака, прямо коленкой поднажимает, чтобы в дверях без задержки было.

Василий Степаныч Конопатов прямо в бешенство пришел. Прямо рыдает человек.

— Товарищи, говорит, молочные братья! Да что ж это происходит в рабоче-крестьянском строительстве? Без манишечки, говорит, человеку пожрать не позволяют.

Тут поднялась катавасия. Потому народ видит — идеология нарушена. Стали пищевиков оттеснять в сторону. Кто бутылкой машет, кто стулом...

Хозяин кричит в три горла — дескать, теперь ведь заведение закрыть могут за допущение разврата.

Тут кто-то с оркестра за милицией сбегал.

Является милиция. Берет родного голубчика, Василия Степаныча Конопатова, и сажает его на извозчика.

Василий Степаныч и тут не утих.

— Братцы, кричит, да что ж это? Уж, говорит, раз милиция держит руку хозяйчика и за костюм человека выпирает, то, говорит, лучше мне к буржуям в Америку плыть, чем, говорит, такое действие выносить.

И привезли Васю Конопатова в милицию, и сунули в каталажку.

Всю ночь родной голубчик, Вася Конопатов, глаз не смыкал. Под утро только всхрапнул часочек. А утром его будят и ведут к начальнику.

Начальник говорит:

— Идите, говорит, товарищ, домой и остерегайтесь подобные факты делать.

Вася говорит:

— Личность оскорбили, а теперь — идите... Рабочий, говорит, костюмчик не по вкусу? Я, говорит, может, сейчас сяду и поеду в Малый Совнарком жаловаться на ваши действия.

Начальник милиции говорит:

— Брось, товарищ, трепаться. Пьяных, говорит, у нас правило — в ресторан не допущать. А ты, говорит, даже на лестнице наблевал.

— Как это? — спрашивает Конопатов.— Значит, меня не за костюм выперли?

Тут будто что осенило Василия Степаныча.

— А я, говорит, думал, что за костюмчик. А раз, говорит, по пьяной лавочке, то это я действительно понимаю. Сочувствую этому. Не спорю.

Пожал Вася Конопатов ручку начальнику, извинился за причиненное беспокойство и отбыл.

УЛИЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Иду я по улице Третьего Июля. Спешу на работу. И смотрю, будто несколько советских граждан довольно странно идут по панели и смотрят чего-то. И все мимо проходящие подходят к ним, смотрят и пальцами указывают.

Может, только минута прошла, покуда я добежал до места происшествия,— густо уже, не протискаться. Спрашиваю:

— Что случилось, дорогие граждане?

Говорят:

— Это, дорогой гражданин, мильтон самогонщицу волокет в милицию.

Протискиваюсь. Встаю на тумбу. Вижу — действительно: волокет милиционер какую-то вредную гражданку.

А та вроде как сильно упирается, мелко-мелко шагает и с испугом на граждан поглядывает — самосуда, может, боится. Даже к конвоиру жмется — защиты просит в случае чего.

Тут задняя публика напирать начала. Потому и задним тоже охота посмотреть, какая это из себя самогонщица.

Давка началась образовываться.

Милиционер прямо сопрел просивши. Кричит:

— Граждане, разойдитесь, прошу вас. Ничего такого подобного не происходит. Дайте прохожим проходить.

Куда там! Не пропускают.

Какая-то старушечка пробирается сквозь толпу.

— Да это, говорит, может, и не самогонщицу ведут. С чего народ взял? Это, может, убийцу своего мужа как раз и волокут в милицию.

Тут толпа гукать, конечно, стала.

— А-а, дескать, жаба толстомясая... Давить, мол, таких надо без амнистии... Дали им волю, а они мужчин портить начали...

Милиционер видит: дело дрянь — сомнут сейчас арестованную гражданку.

— Граждане, кричит, разойдитесь, или в свисток свистать буду.

— Свисти, говорят, жалко что ли.

Вскоре конная милиция прибыла.

Осадили народ на тротуар. Очистили дорогу.

Старший из милиции кричит:

— Да разойдитесь же, граждане! Все в порядке. Ничего такого не случилось... Это просто милиционер прогуливается со знакомой гражданкой под руку...

Ну, конечно, толпа стала понемногу редеть. Потому дело обычное — отчего, мол, милиционеру в свободное от дежурства время не погулять со знакомой гражданкой? Пожалуйста!

Так и разошлись.

СТАКАН

Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.

И меня пригласила.

— Приходите, говорит, помянуть дорогого покойника чем бог послал. Курей и жареных утей у нас, говорит, не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно, вволю и даже можете с собой домой брать.

Я говорю:

— В чае хотя интерес не большой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорю, добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.

— Ну, говорит, приходите тем более.

В четверг я и пошел.

А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает.

А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишко неважный, надо сказать,— шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону.

Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай.

Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы.

Вдова отвечает:

— Никак, батюшка, стакан тюкнули?

Я говорю:

— Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится.

А деверь нажрался арбуза и отвечает:

— То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают.

А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается.

— Это, говорит, чистое разорение в хозяйстве — стаканы бить. Это немыслимое дело — бить. Это, говорит, один — стакан тюкнет, другой — крантик у самовара начисто оторвет, третий — салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?

А деверь, паразит, отвечает:

— Об чем, говорит, речь. Таким, говорит, гостям прямо морды надо арбузом разбивать.

Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю:

— Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже, говорю, приглашение. Вам, говорю, чертям, три стакана и одну кружку разбить — и то мало.

Тут шум, конечно, поднялся, грохот.

Деверь наибольше других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился.

И вдова тоже трясется мелко от ярости.

— У меня, говорит, привычки такой нету — швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Маляр, говорит, Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов... Я, говорит, щучий сын, не оставлю вас так после этого.

Ничего я на это не ответил, только говорю:

— Тьфу на всех, и на деверя, говорю, тьфу.

И поскорее вышел.

Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной.

Являюсь и удивляюсь.

Нарсудья дело рассматривает и говорит:

— Нынче, говорит, все суды такими делами закрючены, а тут еще, не угодно ли. Платите, говорит, этой гражданке двугривенный и очищайте воздух в камере.

Я говорю:

— Я платить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа.

Вдова говорит:

— Подавись этим стаканом. Бери его.

На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший.

Ничего я на это не сказал, только говорю:

— Передай, говорю, своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю.

Потому, действительно, когда характер мой задет,— я могу до трибунала дойти.

СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК

Сейчас красят дома. Украшают. Балконы синенькой краской разрисовывают. Улицы от этого принарядились. Любо-дорого ходить.

Наш дом тоже подновили. Прямо теперь не дом, а картинка.

Низ вроде кирпичной краской расписан, а верх весь желтенький. На солнышке так, знаете ли, и сияет, что бриллиант.

Тыщу целковых на окраску ухлопали. Одни дождевые трубы в триста рублей вскочили. Потому трубы у нас голубой масляной краской пущены. Ей-богу.

Управдом наш, Щукин Ефим Петрович, говорит, что придется у жильцов вперед плату просить. Потому маленько не хватает — лепные украшения вылепить. А может, наш голубчик управдом и так обернется. Он у нас прямо орел и свободный художник. Сам всюду лезет, малярам показывает, где красить. К вечеру прямо зеброй домой возвращается.

Зато и домик вышел действительно выдающийся.

Раньше, бывало, прохожему противно было под ворота зайти по своим надобностям. А теперь ничего. Очень уж приятный домик вышел после окраски.

И несмотря на это, многие жильцы недовольны и ворчат даже.

Из седьмого, например, номера жилец Корюшкин ворчит.

— Тоже, говорит, выкрасили дом! Лучше бы, говорит, перила на лестнице поставили. Мне, говорит, не за вашу краску держаться, а за перила.

А он, этот жилец Корюшкин, недавно, видите ли, себе ножку сломал. Пьяненький возвращался, ну и в темноте сунулся в пролет. Перил-то в этом месте не было. Сломаны были перила. Вот теперь этот Корюшкин и ворчит насчет перил.

А кто виноват? Сам и виноват. Пьяному человеку на что перила? Пьяный может и на четвереньках домой возвратиться. Или за стену может придерживаться. Ну а он, дура, влево сунулся. А теперь скулит.

А что парнишка его — Васька Корюшкин — с этой же лестницы вниз сверзился, то опять-таки нет ничего удивительного. Дите, оно постоянно крутится и мотается — ему, может, сам бог велел упасть.

А что старушка Корюшкина свалилась, то опять же при

чем тут управдом? Может, это у них, у Корюшкиных, наследственное — вниз падать.

С двенадцатого номера слесарь Васильев тоже ворчит на управдома.

— Я, говорит, не посмотрю, что ты управдом, а как трахну тебя по физике — перестанешь дом красить. Ты, говорит, заместо краски лучше бы мне пол в квартире настлал. Третий, говорит, год пола нету. Прямо хоть на потолке живи.

С других номеров тоже есть недовольные жильцы. Кто с печкой пристает, кто с ватером, у кого крантик неправильно открывается, и вода вытекает. У кого входной двери нету...

Голубчик управдом прямо кричать замаялся:

— Братцы, говорит, не волнуйтесь, не беспокойтесь... Ну на что вам в летнее время ватер или, скажем, входная дверь?.. Перебейтесь до осени. Осенью, может, справим.

Так нет, ворчат. Очень уж народ неблагодарный. Управдом, можно сказать, запарился, все денежки ухлопал на художественную окраску и на восстановление лепных украшений, а тут кругом черная неблагодарность, невежество и неуместные требования, вроде ватера в летнее время. Скажите пожалуйста, до чего народ стал капризничать!

СПЕЦ

Неохота мне, граждане, писать про растратчиков. Да ну их совсем в болото! Надоели.

Мне, скажем, трамвайный воришка и тот будет дороже и симпатичней, чем какой-нибудь, например, Васька Егоров, который растратил сто целковых во вверенном ему доме.

Про этого Ваську Егорова я и писать бы не стал, а взял бы чернильницу да тиснул бы по его башке — вот вам и весь фельетон. Но дело тут, к сожалению, несколько изменяется.

Захотел Васька, с перепугу, что ли, скрыть эту растрату. Будто, значит, ее и не было, а грабители будто в масках и с пистолетами в квартиру вперлись и унесли денежки.

Нашел Васька такого разностороннего субчика Гришу Жукова — отчаянного спеца по своим делам. Угостил его пивком. Всплакнул немножко.

— Вот, дескать, Гриша, какие житейские обстоятель-

ства. Из-за каких немногих денег человеку пропадать приходится. Не можешь ли, например, Гриша, обработать меня. Вроде как ограбить... Тряпочкой там рот закрыть, руки скрутить и вещи разбросать по комнате. Обращаюсь как к спецу.

Гриша говорит:

— Отчего не можно? Очень даже можно, раз это наша специальность. Для верности мы можем, дорогой товарищ, даже стукануть тебя или, например, зуб или два выбить... И будет вся эта музыка стоить тебе трешку. С других я обыкновенно по пять червяков за это самое взимаю, а ты уж больно мне понравился своей фантазией, потому много нам приходилось работать, а такой фантазии, чтобы сами пассажиры напрашивались — нету...

Ударили по рукам. Пошли к дому.

Васька Егоров немножко задрожал.

— Ты, говорит, Гриша, христа ради, не сильно бей. И зубья не выбивай. Их, говорит, вставлять дороже. А смажь меня, подлеца, слегка по морде, и хватит. И тряпочку не сильно в глотку пихай, я же задохнуться могу.

— Ладно,— говорит Гриша,— не учи ученого.

Пришли. Кинулся Гриша на Ваську Егорова. Уронил его на пол. Скрутил руки. Пихнул в рот тряпку. Ударил два раза по уху. Плюнул в морду и принялся за работу.

Раскидал все вещички по полу, раскрыл фомкой шкафы и комоды и стоит и любуется на свою работу.

— Ну, говорит, чисто сделано. Прямо, говорит, товарищ, жалко так уходить. Душа прямо протестуется. Я, говорит, еще маленько тут в комоде пороюсь. Кое-какие ценности с собой прихвачу...

Тут неизвестно, чем бы все это кончилось, да только Васька Егоров тряпку со страха выплюнул и орать начал.

Тут-то их двоих голубчиков и накрыли.

Ну а раз накрыли и вообще все в порядке, то вопрос напрашивается: к чему всю эту канитель писать и чистым искусством людей от дела отрывать? Не лучше ли действительно тиснуть чернильницей по башке и идти по своим делам? И вообще, какая польза для республики от этого чистого искусства?

Да, пользы-то действительно, граждане, маловато. Хотя как сказать. Прочтет, представьте себе, эту штуку какой-нибудь отчаянный растратчик и испугаться может.

— Эге, скажет, про нашего брата авторы уж и писать не хотят — цельной чернильницей размахиваются.

Ну и испугается. А испугавшись, растрачивать перестанет. А другой с испугу еще свои денежки доложит. Чего не бывает на свете.

ЧУДНЫЙ ОТДЫХ

Человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица — та может действительно в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо.

А я, например, сорок лет не отдыхал. Как с двухлетнего возраста зарядил, так и пошла работа без отдыха и сроку.

А что касается воскресений или праздничных дней, то какой же это отдых? Сами понимаете: то маленько выпьешь, то гости припрутся, то ножку к дивану приклеить надо. Мало ли делов на свете у среднего человека! Жена тоже вот иной раз начнет претензии выражать. Какой тут отдых?

А в это лето очень отдыхать потянуло. Главная причина — все вокруг отдыхают. Ванюшка Егоров, например, в Крым ездил. Вернулся черный, как черт. И в весе сильно прибавился... Петруха Яичкин опять же на Кавказе отдыхал. Миша Бочков в свою деревню смотался. Две недели отлично прожил. Побили его даже там за что-то такое. Вернулся назад — не узнать. Карточку во как раздуло на правую сторону.

Вообще все, вижу, отдыхают, и все поправляются, один я не отдыхаю.

Вот и поехал этим летом. «Не курица, думаю. В Крым, думаю, неохота ехать. На всякие, думаю, трусики разоришься. Поеду куда поближе».

Поехал. В дом отдыха.

Очень все оказалось отлично и симпатично. И отношение внимательное. И пища жирная.

И сразу, как приехал, на весах взвешали. По новой метрической системе. И грудь смерили. И рост.

— Поправляйтесь, говорят.

— Да уж, говорю, маленько бы в весе хотелось бы прибавиться. Рост-то, говорю, пес с ним. Пущай прежний рост. А маленько потяжелеть не мешает. Не курица, говорю, гражданин фельдшер.

Фельдшер говорит:

— Вес — это можно. Нам весу не жалко. Валяйте!

Начал отдыхать. И сразу, знаете, обнаружилась очень чрезвычайная скука. Нечего делать — прямо беда! И пища

жирная, и уход внимательный, и на весах вешают, а скука между тем сильная.

Утром, например, встал, рожу всполоснул, пошамал и лежи на боку. А лежать неохота — сиди. Сидеть неохота — ходи. А к чему, скажите, ходить без толку? Неохота ходить без толку. Привычки такой за сорок лет не выработалось.

Один день походил — хотел назад ехать. Да спасибо, своих же отдыхающих ребят в саду встретил.

Сидят они на лужку и в картишки играют.

— В козла, что ли? — спрашиваю.

— Так точно, говорят, в козла. Но, говорят, можно и в очко перейти. На интерес. Присаживайтесь, уважаемый товарищ! Мы с утра дуемся...

Присел, конечно.

Сыграли до ужина. Там маленько после ужина. Там утречком пораньше. А там и пошло у нас каждый день. Глядишь — и дней не видно. Не только, скажем, скука, а рожу помыть или кофейку выпить некогда.

Две недельки прошли, как сладкий сон. Отдохнул, можно сказать, за все сорок лет и душой и телом.

А что вес маленько убавился, то вес — дело наживное. Вес и на производстве нагулять можно. А рост, спасибо, остался прежний. Чуть маленько только убавился. Фельдшер говорит — от сидячей жизни.

ТОРМОЗ ВЕСТИНГАУЗА

Главная причина, что Володька Боков маленько окосевши был. Иначе, конечно, не пошел бы он на такое преступление. Он выпивши был.

Если хотите знать, Володька Боков перед самым поездом скляночку эриванской выпил да пивком добавил. А насчет еды — он съел охотничью сосиску. Разве ж это еда? Ну и развезло парнишку. Потому состав сильно едкий получается. И башку от этого крутит, и в груди всякие идеи назревают, и поколбаситься перед уважаемой публикой охота.

Вот Володя сел в поезд и начал маленько проявлять себя. Дескать, он это такой человек, что все ему можно. И даже народный суд, в случае ежели чего, завсегда за него заступится. Потому у него — пущай публика знает — происхождение очень отличное. И родной дед его был коровьим пастухом, и мамаша его была наипростая баба...

И вот мелет Володька языком — струя на него такая нашла — погордиться захотел. А тут какой-то напротив Володьки гражданин обнаруживается. Вата у него в ухе, и одет чисто, не без комфорта. И говорит он:

— А ты, говорит, потреплись еще, так тебя и заметут на первом полустанке.

Володька говорит:

— Ты мое самосознание не задевай. Не могут меня замести в силу происхождения. Пущай я чего хочешь сделаю — во всем мне будет льгота.

Ну струя на него такая напала. Пьяный же.

А публика начала выражать свое недовольство по этому поводу. А которые наиболее ядовитые, те подначивать начали. А какой-то в синем картузе, подлая его душа, говорит:

— А ты, говорит, милый, стукани вот вдребезги по окну, а мы, говорит, пущай посмотрим, заметут тебя, или тебе ничего не будет. Или, говорит, еще того чище,— стекла ты не тронь, а останови поезд за эту ручку... Это тормоз...

Володька говорит:

— За какую за эту ручку? Ты, говорит, паразит, точнее выражайся.

Который в синем картузе отвечает:

— Да вот за эту. Это тормоз Вестингауза. Дергани его слева в эту сторону.

Публика и гражданин, у которого вата в ухе, начали, конечно, останавливать поднатчика. Дескать, довольно стыдно трезвые идеи внушать окосевшему человеку.

А Володька Боков встал и слева как дерганет ручку.

Тут все и онемели сразу. Молчание сразу среди пассажиров наступило. Только слышно, как колесья чукают. И ничего больше. Который в синем картузе, тот ахнул.

— Ах, говорит, холера, остановил ведь...

Тут многие с места повскакали. Который в синем картузе — на площадку пытался выйти от греха. Пассажиры не пустили.

У которого вата в ухе, тот говорит:

— Это хулиганство. Сейчас ведь поезд остановится... Транспорт от этого изнашивается. Задержка, кроме того.

Володька Боков сам испугался малость.

— Держите, говорит, этого, который в синем картузе. Пущай вместе сядем. Он меня подначил.

А поезд между тем враз не остановился.

Публика говорит:

— Враз и не может поезд останавливаться. Хотя и дачный поезд, а ему после тормоза разбег полагается — двадцать пять саженей. А по мокрым рельсам и того больше.

А поезд между тем идет и идет себе.

Версту проехали — незаметно остановки.

У которого вата в ухе — говорит:

— Тормоз-то, говорит, кажись, тово... неисправный.

Володька говорит:

— Я ж и говорю: ни хрена мне не будет. Выкусили?

И сел. А на остановке вышел на площадку, освежился малость и домой прибыл трезвый, что стеклышко.

ПАУКИ И МУХИ

Дядя Семен выехал в город порожним.

Четыре часа подряд ехал он по шоссе и четыре часа подряд пел «Кари глазки». А когда стал подъезжать к городу, долго, пока не вспотел, рылся за пазухой и наконец выволок оттуда табачный кисет с деньгами.

С громадными предосторожностями и оглядываясь поминутно, дядя Семен стал считать.

«Три рубля будет стоить мануфактура,— думал Семен.— Кроме того, сахару и, например, земляничного чаю... Кроме того...»

Вдруг откуда-то сбоку вынырнул какой-то парень в пиджачке и в кепке.

Парень одним махом сиганул через канаву и подошел поближе.

— Подвези, папа, до городу,— сказал парень.— Устал чтой-то... Можно?..

Семен испуганно сунул деньги обратно и сердито крикнул:

— Нету. Не можно. Проходи себе мимо... Не трожь телегу руками. Не трожь, говорю... Я тебя колом сейчас по башке трахну!

— Ишь ты сурьезный какой. Характерный! — сказал парень, усмехаясь.

— Не характерный,— сказал Семен,— а мало ли... Может, ты мне, сукин кот, сейчас сонных капель дашь понюхать... Я не знаю... Нашего брата тоже очень даже просто завсегда объегоривают в городах.

— Ну?

— Ей-богу,— сказал Семен.— В нашенской деревне,

может, ни одного мужика нету, который, значит, не всыпавшись.

— Ну?

— Истинная правда. У которого, значит, лошадь угнали, которому что ни на есть дерьмо вручили заместо ценности... Мало ли... Пахому, скажем, не настоящую брошечку вручили. Три рубля псу под хвост кинул...

— Да что ты?

— Да я тебе говорю. Нашенские мужики прямо как летучие мухи попадаются... Кроме меня... Не трожь, ейбогу, телегу погаными руками! Иди вровень... Вот я тебе сейчас колом по башке трахну.

— Ну, ну,— сказал парень.— Не трогаю. Я иду вровень. Не пужайся.

— Мне пужаться нечего,— сказал Семен.— А только мне пятьдесят три года. Мне довольно позорно попадаться. Мне мудрость мешает попадаться. Я, может, насквозь все знаю. Ты, парень, прямо говори: чего тебе, сукин кот, надоть?

— Да мне прямо ничего, дядя,— сказал парень.— Ничего не надо... Часы вот тут я хотел загнать за дешево...

Дядя Семен зажмурился и замахал руками.

— Уйди,— сказал Семен.— Нашенские мужики с часами тоже много раз попадались. Уйди, милый человек, окаянная твоя сила. Я пятьдесят три года без часов живу... Уйди... Я тебе колом башку сломаю.

Парень шел за телегой усмехаясь.

— Хмурый какой,— сказал парень.— Часы-то ведь ходячие, с пробой!..

— Да, с пробой! — сказал Семен.— Может, это ты зубом надкусил. С пробой!..

Парень протянул часы Семену.

— Да ты посмотри. Не лайся.

— Мне не надо смотреть! — заорал Семен.— Мне мудрость мешает смотреть.

Через час все-таки дядя Семен был хозяином часов. Часы остановились сразу, как только парень слез с телеги и исчез из виду.

Дядя Семен сунул часы в сено и хитро усмехнулся.

— Ладно,— сказал Семен.— Хотя стоячие часы, а все-таки дешево. Чуть не даром... Мне мудрость мешает обмануться. Еще неизвестно, кто кого надул. Едят его блохи...

А за мануфактуру дядя Семен расплачивался кусочками газетной бумаги.

Как бумага попала в кисет, дядя Семен при всей своей мудрости так и не узнал.

Он с изумлением вывернул свой кисет и каждый клочок бумаги разглядывал на свет и выл в голос.

МУЖ

Да что ж это, граждане, происходит на семейном фронте? Мужьям-то ведь форменная труба выходит. Особенно тем, у которых, знаете, жена передовыми вопросами занята.

Давеча, знаете, какая скучная история. Прихожу домой. Вхожу в квартиру. Стучусь, например, в собственную свою дверь — не открывают.

— Манюся,— говорю своей супруге,— да это же я, Вася, пришедши.

Молчит. Притаилась.

Вдруг за дверью голос Мишки Бочкова раздается. А Мишка Бочков — сослуживец, знаете ли, супругин.

— Ах, говорит, это вы, Василь Иваныч. Сей минуту, говорит, мы тебе отопрем. Обожди, друг, чуточку.

Тут меня, знаете, как поленом по башке ударило.

«Да что ж это, думаю, граждане, происходит-то на семейном фронте — мужей впущать перестали».

Прошу честью:

— Открой, говорю, курицын сын. Не бойся, драться я с тобой не буду.

А я, знаете, действительно не могу драться. Рост у меня, извините, мелкий, телосложение хлипкое. То есть не могу я драться. К тому же, знаете ли, у меня в желудке постоянно что-то там булькает при быстром движении. Фельдшер говорит: «Это у вас пища играет». А мне, знаете, не легче, что она играет. Игрушки какие у ей нашлись! Только, одним словом, через это не могу драться.

Стучусь в дверь.

— Открывай, говорю, бродяга такая.

Он говорит:

— Не тряси дверь, дьявол. Сейчас открою.

— Граждане, говорю, да что ж это будет такое? Он, говорю, с супругой закрывшись, а я ему и дверь не тряси и не шевели. Открывай, говорю, сию минуту, или я тебе сейчас шум устрою.

Он говорит:

— Василь Иваныч, да обожди немного. Посиди, гово-

рит, в колидоре на сундучке. Да коптилку, говорит, только не оброни. Я тебе нарочно ее для света поставил.

— Братцы, говорю, милые товарищи. Да как же, говорю, он может, подлая его личность, в такое время мужу про коптилку говорить спокойным голосом?! Да что ж это происходит!

А он, знаете, урезонивает через дверь:

— Эх, дескать, Василь Иваныч, завсегда ты был беспартийным мещанином. Беспартийным мещанином и скончаешься.

— Пущай, говорю, я беспартийный мещанин, а только сию минуту я за милицией сбегаю.

Бегу, конечно, вниз, к постовому.

Постовой говорит:

— Предпринять, товарищ, ничего не можем. Ежели, говорит, вас убивать начнут или, например, из окна кинут при общих семейных неприятностях, то тогда предпринять можно... А так, говорит, ничего особенного у вас не происходит... Все нормально и досконально... Да вы, говорит, побегите еще раз. Может, они и пустят.

Бегу назад — действительно, через полчаса Мишка Бочков открывает дверь.

— Входите, говорит. Теперь можно.

Вхожу побыстрее в комнату, батюшки светы — накурено, наляпано, набросано, разбросано. А за столом, между прочим, семь человек сидят — три бабы и два мужика. Пишут. Или заседают. Пес их разберет.

Посмотрели они на меня и хохочут.

А передовой ихний товарищ, Мишка Бочков, нагнулся над столом и тоже, знаете, заметно трясется от хохоту.

— Извиняюсь, говорит, пардон, что над вами подшутили. Охота нам было знать, что это мужья в таких случаях теперь делают.

А я ядовито говорю:

— Смеяться, говорю, не приходится. Раз, говорю, заседание, то так и объявлять надо. Или, говорю, записки на дверях вывешивать. И вообще, говорю, когда курят, то проветривать надо.

А они посидели-посидели — и разошлись. Я их не задерживал.

ПАПАША

Недавно Володьке Гусеву припаяли на суде. Его признали отцом младенца с обязательным отчислением третьей части жалованья. Горе молодого счастливого отца не поддается описанию. Очень он грустит по этому поводу.

— Мне, говорит, на младенцев завсегда противно было глядеть. Ножками дрыгают, орут, чихают. Толстовку тоже, очень просто, могут запачкать. Прямо житья нет от этих младенцев.

А тут еще этакой мелкоте деньги отваливай. Третью часть жалованья ему подавай. Так вот — здорово живешь. Да от этого прямо можно захворать. Я народному судье так и сказал:

— Смешно, говорю, народный судья. Прямо, говорю, смешно, какие ненормальности. Этакая, говорю, мелкая крошка, а ему третью часть. Да на что, говорю, ему третья часть? Младенец, говорю, не пьет, не курит и в карты не играет, а ему выкладывай ежемесячно. Это, говорю, захворать можно от таких ненормальностей.

А судья говорит:

— А вы как насчет младенца? Признаете себя ай нет?

Я говорю:

— Странные ваши слова, народный судья. Прямо, говорю, до чего обидные слова. Я, говорю, захворать могу от таких слов. Натурально, говорю, это не мой младенец. А только, говорю, я знаю, чьи это интриги. Это, говорю, Маруська Коврова насчет моих денег расстраивается. А я, говорю, сам тридцать два рубли получаю. Десять семьдесят пять отдай,— что ж это будет? Я, говорю, значит, в рваных портках ходи. А тут, говорю, параллельно с этим Маруська рояли будет покупать и батистовые подвязки на мои деньги. Тьфу, говорю, провались, какие неприятности!

А судья говорит:

— Может, и ваш. Вы, говорит, припомните.

Я говорю:

— Мне припоминать нечего. Я, говорю, от этих припоминаний захворать могу... А насчет Маруськи — была раз на квартиру пришедши. И на трамвае, говорю, раз ездили. Я платил. А только, говорю, не могу я за это всю жизнь ежемесячно вносить. Не просите...

Судья говорит:

— Раз вы сомневаетесь насчет младенца, то мы сейчас

его осмотрим и пущай увидим, какие у него наличные признаки.

А Маруська тут же рядом стоит и младенца своего разворачивает.

Судья посмотрел на младенца и говорит:

— Носик форменно на вас похож.

Я говорю:

— Я, говорю, извиняюсь, от носика не отказываюсь. Носик действительно на меня похож. За носик, говорю, я завсегда способен три рубля или три с полтиной вносить. А зато, говорю, остатний организм весь не мой. Я, говорю, жгучий брюнет, а тут, говорю, извиняюсь, как дверь белое. За такое белое — рупь или два с полтиной могу только вносить. На что, говорю, больше, раз оно в союзе даже не состоит.

Судья говорит:

— Сходство, действительно, растяжимое. Хотя, говорит, носик весь в папашу.

Я говорю:

— Носик не основание. Носик, говорю, будто бы и мой, да дырочки в носике будто бы и не мои — махонькие очень дырочки. За такие, говорю, дырочки не могу больше рубля вносить. Разрешите, говорю, народный судья, идти и не задерживаться.

А судья говорит:

— Погоди маленько. Сейчас приговор вынесем.

И выносят — третью часть с меня жалованья.

Я говорю:

— Тьфу на всех. От таких, говорю, дел захворать можно.

УТОНУВШИЙ ДОМИК

Шел я раз по Васильевскому острову. Домик, гляжу, небольшой такой.

Крыша да два этажа. Да трубенка еще сверху торчит. Вот вам и весь домик.

Маленький, вообще, домишко. До второго этажа, если на плечи управдому встать, то и рукой дотянуться можно.

На этот домик я бы и вниманья своего не обратил, да какая-то каналья со второго этажа дрянью в меня плеснула.

Я хотел выразиться покрепче, поднял кверху голову — нет никого.

«Спрятался, подлец»,— думаю.

Стал я шарить глазами по дому. Гляжу, у второго этажа досочка какая-то прибита. На досочке надпись: «Уровень воды 23 сентября 1924 г.». «Ого, думаю, водица-то где была в наводнение. И куда же, думаю, несчастные жильцы спасались, раз вода в самом верхнем этаже ощущалась? Не иначе, думаю, на крыше спасались...»

Тут стали мне всякие ужасные картины рисоваться. Как вода первый этаж покрыла и ко второму прется. А жильцы небось в испуге вещички свои побросали и на крышу с отчаяния лезут. И к трубе, пожалуй что, канатами себя привязывают, чтобы вихорь в пучину не скинул.

И до того я стал жильцам сочувствовать в ихней прошлой беде, что и забыл про свою обиду.

Вдруг открывается окно и какая-то вредная старушенция подает свой голос:

— Чего, говорит, тебе, батюшка? Из соцстраха ты или, может, агент?

— Нету, говорю, мамаша, ни то и ни это, а гляжу вот и ужасаюсь уровнем. Вода-то, говорю, больно высока была. Небось, говорю, мамаша, тебя канатом к трубе подвязывали?

А старушка посмотрела на меня дико и окошко поскорей закрыла.

И вдруг выходит из ворот какой-то плотный мужчина в жилетке и с беспокойством спрашивает:

— Вам чего, гражданин, надо?

Я говорю:

— Чего вы все ко мне пристали? Уж и на дом не посмотри. Вот, говорю, гляжу на уровень. Высоко больно.

А мужчина усмехнулся и говорит:

— Да нет, говорит, это так. В нашем районе, говорит, хулиганы сильно балуют. Завсегда срывали фактический уровень. Вот мы его повыше и присобачили. Ничего, благодаря бога, теперь не трогают. И лампочку не трогают. Высоко потому... А касаемо воды — тут мельче колена было. Кура могла вброд пройти.

А мне как-то обидно вдруг стало вообще за уровни.

— Вы бы, говорю, на трубу еще уровень свой прибили.

А он говорит:

— Ежели этот уровень отобьют, так мы и на трубу — очень просто.

— Ну, говорю, и черт с вами. Тоните.

КРИЗИС

Давеча, граждане, воз кирпичей по улице провезли. Ей-богу!

У меня, знаете, аж сердце затрепетало от радости. Потому строимся же, граждане. Кирпич-то ведь не зря же везут. Домишко, значит, где-нибудь строится. Началось — тьфу, тьфу, не сглазить!

Лет, может, через двадцать, а то и меньше, у каждого гражданина небось по цельной комнате будет. А ежели население шибко не увеличится и, например, всем аборты разрешат — то и по две. А то и по три на рыло. С ванной.

Вот заживем-то когда, граждане! В одной комнате, скажем, спать, в другой гостей принимать, в третьей еще чего-нибудь... Мало ли! Делов-то найдется при такой свободной жизни.

Ну а пока что трудновато насчет квадратной площади. Скуповато получается ввиду кризиса.

Я вот, братцы, в Москве жил. Недавно только оттуда вернулся. Испытал на себе этот кризис.

Приехал я, знаете, в Москву. Хожу с вещами по улицам. И то есть ни в какую. Не то что остановиться негде — вещей положить некуда.

Две недели, знаете, проходил по улицам с вещами — оброс бороденкой и вещи порастерял. Так, знаете, налегке и хожу без вещей. Подыскиваю помещение.

Наконец в одном доме какой-то человечек по лестнице спущается.

— За тридцать рублей, говорит, могу вас устроить в ванной комнате. Квартирка, говорит, барская... Три уборных... Ванна... В ванной, говорит, и живите себе. Окон, говорит, хотя и нету, но зато дверь имеется. И вода под рукой. Хотите, говорит, напустите полную ванну воды и ныряйте себе хоть цельный день.

Я говорю:

— Я, дорогой товарищ, не рыба. Я, говорю, не нуждаюсь нырять. Мне бы, говорю, на суше пожить. Сбавьте, говорю, немного за мокроту.

Он говорит:

— Не могу, товарищ. Рад бы, да не могу. Не от меня целиком зависит. Квартирка коммунальная. И цена у нас на ванну выработана твердая.

— Ну что ж, говорю, делать? Ладно. Рвите, говорю, с меня тридцать и допустите, говорю, скорее. Три недели, говорю, по панели хожу. Боюсь, говорю, устать.

Ну ладно. Пустили. Стал жить.

А ванна действительно барская. Всюду, куда ни ступишь,— мраморная ванна, колонка и крантики. А сесть, между прочим, негде. Разве что на бортик сядешь, и то вниз валишься, в аккурат в мраморную ванну.

Устроил тогда настил из досок, живу.

Через месяц, между прочим, женился.

Такая, знаете, молоденькая, добродушная супруга попалась. Без комнаты.

Я думал, через эту ванну она от меня откажется, и не увижу я семейного счастья и уюта, но она ничего, не отказывается. Только маленько нахмурилась и отвечает:

— Что ж, говорит, и в ванне живут добрые люди. А в крайнем, говорит, случае, перегородить можно. Тут, говорит, для примеру, будуар, а тут столовая...

Я говорю:

— Перегородить, гражданка, можно. Да жильцы, говорю, дьяволы, не дозволяют. Они и то говорят: никаких переделок.

Ну ладно. Живем как есть.

Меньше чем через год у нас с супругой небольшой ребеночек рождается.

Назвали его Володькой и живем дальше. Тут же в ванне его купаем — и живем.

И даже, знаете, довольно отлично получается. Ребенок то есть ежедневно купается и совершенно не простуживается.

Одно только неудобство — по вечерам коммунальные жильцы лезут в ванную мыться.

На это время всей семьей приходится в коридор подаваться.

Я уж и то жильцов просил:

— Граждане, говорю, купайтесь по субботам. Нельзя же, говорю, ежедневно купаться. Когда же, говорю, жить-то? Войдите в положение.

А их, подлецов, тридцать два человека. И все ругаются. И, в случае чего, морду грозят набить.

Ну что ж делать — ничего не поделаешь. Живем как есть.

Через некоторое время мамаша супруги моей из провинции прибывает в ванну. За колонкой устраивается.

— Я, говорит, давно мечтала внука качать. Вы, говорит, не можете мне отказать в этом развлечении.

Я говорю:

— Я и не отказываю. Валяйте, говорю, старушка,

качайте. Пес с вами. Можете, говорю, воды в ванную напустить — и ныряйте с внуком.

А жене говорю:

— Может, гражданка, к вам еще родственники приедут, так уж вы говорите сразу, не томите.

Она говорит:

— Разве что братишка на рождественские каникулы...

Не дождавшись братишки, я из Москвы выбыл. Деньги семье высылаю по почте.

НЕРВНЫЕ ЛЮДИ

Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали.

Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет.

А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались совсем, не разжигается.

Она думает: «С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провались совсем!»

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руки взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна

Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степаныч Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.

Так является этот Иван Степаныч и говорит:

— Я, говорит, ну, ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это, говорит, за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось.

А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать — троих кроешь. И, конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду — с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему:

— Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

— Пущай, говорит, нога пропадает! А только, говорит, не могу я теперича уйти. Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.

Тут какой-то паразит за милицией кинулся.

Является мильтон. Кричит:

— Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам.

«Вот те, думают, клюква, с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?»

Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И из башки кровь каплет.

Через две недели после этого факта суд состоялся.

А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался — прописал ижицу.

СИЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство. Театр, например. Карусель. Или какая-нибудь студия с музыкой.

Все это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской.

И действительно, граждане, взять для примеру хотя бы нашего слесаря Петра Антоновича Коленкорова. Человек пропадал буквально и персонально. И вообще жил как последняя курица.

По будням после работы ел и жрал. А по праздникам и по воскресным дням напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался.

И в пьяном виде дрался, вола вертел и вообще пьяные эксцессы устраивал. И домой лежа возвращался.

И уж, конечно, за всю неделю никакой культработы не нес этот Петр Антонович. Разве что в субботу в баньку сходит, пополощется. Вот вам и вся культработа.

Родные Петра Антоновича от такого поведения сильно расстраивались. Стращали даже.

— Петр, говорят, Антонович. Человек вы квалифицированный, не первой свежести, ну мало ли в пьяном виде трюхнетесь об тумбу — разобьетесь же. Пейте несколько полегче. Сделайте такое семейное одолжение.

Не слушает. Пьет по-прежнему и веселится.

Наконец нашелся один добродушный человек с месткома. Он, знаете ли, так и сказал Петру Антоновичу:

— Петр, говорит, Антонович, отвлекайтесь, я вам говорю, от алкоголю. Ну, говорит, попробуйте заместо того в театр ходить по воскресным дням. Прошу вас честью и билет вам дарма предлагаю.

Петр Антонович говорит:

— Ежели, говорит, дарма, то попробовать можно, отчего же. От этого, говорит, не разорюсь, ежели то есть дарма.

Упросили, одним словом.

Пошел Петр Антонович в театр. Понравилось. До того

понравилось — уходить не хотел. Театр уже, знаете, окончился, а он, голубчик, все сидит и сидит.

— Куда же, говорит, я теперя пойду на ночь глядя? Небось, говорит, все портерные закрыты уж. Ишь, говорит, дьяволы, в какое предприятие втравили!

Однако поломался-поломался и пошел домой. И трезвый, знаете ли, пошел. То есть ни в одном глазу.

На другое воскресенье опять пошел. На третье — сам в местком за билетом сбегал.

И что вы думаете? Увлекся человек театром. То есть первым театралом в районе стал. Как завидит театральную афишку — дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям. По субботам стал пить. А баню перенес на четверг.

А последнюю субботу, находясь под мухой, разбился Петр Антонович об тумбу и в воскресенье в театр не пошел. Это было единственный раз за весь сезон, когда Петр Антонович пропустил спектакль. К следующему воскресенью небось поправится и пойдет. Потому — захватило человека искусство. Понесло...

РОДНЫЕ ЛЮДИ

Этот разговор я записал дословно. И пусть читатель плюнет мне в глаза, если я хоть что-нибудь преувеличил. Я ничего не преувеличил. Все в аккурат так и было.

Разговор произошел в тюрьме. В приемной комнате. Мать пришла на свидание к сыну.

Встреча была сердечная. Мамаша радостно плакала. Сын тоже посапывал носом.

После первых слез и горячих поцелуев мать и сын уселись на скамейку рядышком.

— Ну так,— сказал сын.— Пришла, значит.

— Пришла, Васенька,— сказала мать.

— Так,— повторил сын.

Он с любопытством посмотрел на серую казенную стену, потом на дверь, на печку и наконец перевел взгляд на свои сандалии.

— Так,— в третий раз сказал сын и вздохнул...

Мать тоже вздохнула и, перебирая пальцами бахромки байкового своего платка, посмотрела по сторонам.

— Ну вот,— сказал сын и шумно высморкался.

Оба после этого сидели молча минуты три.

Наконец сын сказал:

— А свиданье, мамаша, нынче сильно ограничили. Двадцать минут, говорят, дается на свиданье.

— Мало это, Васенька,— укоризненно сказала мать.

— Да уж, конечно, немного,— сказал сын.

— Я так думаю, Васенька, что нам очень даже мало — двадцать минут-то. Не поговорить с родным человеком, ничего такого...

Мать покачала головой и добавила:

— Ну уж я пойду, Васенька.

— Ну иди, мамаша.

Оба оживленно встали, вздохнули и поцеловались.

Сын сказал:

— Ну так. Ладно. Заходи, мамаша... Да, чего я еще хотел сказать? Да, плита-то в кухне все еще дымит, мамаша?

— Плита-то? Дымит, Васенька. Обязательно дымит. Давеча всю квартиру дымом заразило.

— Ну так... Иди, мамаша.

Мать и сын полюбовались друг другом и разошлись.

БАБЬЕ СЧАСТЬЕ

Бабам, милые мои, нынче житьишко. Крупно богатеют наши бабы. Как сыр в масле катаются.

Уж на что, скажем, наша знакомая тетя Нюша серая дамочка — и та, дьявол, разбогатела.

Главное, по серости своей она не сразу и разобралась в своем капитале. После только во вкус вошла. А сначала испугалась это ужасно как.

А скрутило, милые мои, ее в январе месяце. В январе месяце ее скрутило, а в феврале месяце бежит наша тетя Нюша к врачу за бесплатным советом — мол, как и отчего ее скрутило и не объелась ли она, часом.

Доктор постучал тетю Нюшу трубочкой и признает у ней беременность на седьмом месяце.

Очень от этих слов тетя Нюша расстроилась, однако спорить и ругаться с врачом не стала и пошла себе.

И приходит она, милые мои, домой, серая, как подушка, присаживается на стульчак и обижается на окружающих.

— Да что ж это, граждане, происходит на земном шаре? Да как же, говорит, я теперича, войдите в положение, наниматься буду? Ну, например, стирка или постирушка, или полы мыть. А мне, может, как раз в это время с ребенком упражняться нужно.

Так вот сидит тетя Нюша, рыдает и не слушает никаких резонов.

Соседи говорят:

— Тут, бабонька, рыдать не приходится. Это, говорят, даже напротив того, довольно счастливая случайность при вашей бедности. Это, говорят, небольшой, но верный капитал по нынешним временам, вроде валюты... На кого, между прочим, думаешь-то?

Тетя Нюша сквозь слезы отвечает:

— Одним словом, граждане, думать мне нечего. Либо дворник Мишка, либо торговец Четыркин, либо Пашка полотер. Одно из двух.

Соседи говорят:

— Бери, милая, конечно, Четыркина. У Четыркина все-таки ларек, и, может, он, Четыркин, рублей триста зарабатывает. Сто рублей тебе, а остальные пущай хоть пропивает с горя.

Стала тут тетя Нюша веселиться и чай внакладку пить, а после и говорит:

— Жалею я, граждане, что раньше не знала. Я бы, говорит, давно жила прилично.

Так и разбогатела тетя Нюша.

Сто целковых в месяц, ровно спец, лопатой огребает.

Худо ли!

ТЕЛЕФОН

Я, граждане, надо сказать, недавно телефон себе поставил. Потому по нынешним торопливым временам без телефона как без рук.

Мало ли — поговорить по телефону или, например, позвонить куда-нибудь.

Оно, конечно, звонить некуда — это действительно верно. Но, с другой стороны, рассуждая материально, сейчас не девятнадцатый год. Это понимать надо.

Это в девятнадцатом году не то что без телефона обходились — не жравши сидели, и то ничего.

А, скажем, теперь — за пять целковых аппараты тебе вешают. Господи твоя воля!

Хочешь — говори по нем, не хочешь — как хочешь. Никто на тебя не в обиде. Только плати денежки.

Оно, конечно, соседи с непривычки обижались.

— Может, говорят, оно и ночью звонить будет, так уж это вы — ах, оставьте.

Но только оно не то что ночью, а и днем, знаете, не звонит. Оно, конечно, всем окружающим я дал номера с просьбой позвонить. Но, между прочим, все оказались беспартийные товарищи и к телефону мало прикасаются.

Однако все-таки за аппарат денежки не даром плачены. Пришлось-таки недавно позвонить по очень важному и слишком серьезному делу.

Воскресенье было.

И сижу я, знаете, у стены. Смотрю, как это оно оригинально висит. Вдруг как оно зазвонит. То не звонило, не звонило, а тут как прорвет. Я, действительно, даже испугался.

«Господи, думаю, звону-то сколько за те же деньги!»

Снимаю осторожно трубку за свои любезные.

— Алло, говорю, откуда это мне звонят?

— Это, говорят, звонят вам по телефону.

— А что, говорю, такое стряслось и кто, извиняюсь, будет у аппарата?

— Это, отвечают, у аппарата будет одно знакомое вам лицо. Приходите, говорят, по срочному делу в пивную на угол Посадской.

«Видали, думаю, какие удобства! А не будь аппарата — что бы это лицо делало? Пришлось бы этому лицу на трамвае трястись».

— Алло, говорю, а что это за такое лицо и какое дело?

Однако в аппарат молчат и на это не отвечают.

«В пивной, думаю, конечно, выяснится».

Поскорее сию минуту одеваюсь. Бегу вниз.

Прибегаю в пивную.

Народу, даром что днем, много. И все незнакомые.

— Граждане, говорю, кто мне сейчас звонил и по какому, будьте любезны, делу?

Однако посетители молчат и не отвечают.

«Ах, какая, думаю, досада. То звонили, звонили, а то нет никого».

Сажусь к столику. Прошу подать пару.

«Посижу, думаю, может, и придет кто-нибудь. Странные, думаю, какие шутки».

Выпиваю пару, закусываю и иду домой.

Иду домой.

А дома то есть полный кавардак. Обокраден. Нету синего костюма и двух простынь.

Подхожу к аппарату. Звоню срочно.

— Алло, говорю, барышня, дайте в ударном порядке

уголовный розыск. Обокраден, говорю, вчистую. Специально отозвали в пивную для этой цели. По телефону.

Барышня говорит:

— Будьте любезны — занято.

Звоню позже. Барышня говорит:

— Кнопка не работает, будьте любезны.

Одеваюсь. Бегу, конечно, вниз. И на трамвае в уголовный розыск.

Подаю заявление.

Там говорят:

— Расследуем.

Я говорю:

— Расследуйте и позвоните.

Они говорят:

— Нам, говорят, звонить как раз некогда. Мы, говорят, и без звонков расследуем, уважаемый товарищ.

Чем все это кончится — не знаю. Больше никто мне не звонил. А аппарат висит.

АМЕРИКАНСКАЯ РЕКЛАМА

Пошел тут один рабочий квартирку себе подыскать.

Ходил, ходил, похудел и поседел, сердечный, но квартирку все-таки нашел. По случаю.

Миленькая такая квартирка — кухня и при ней комната. В арендованном доме.

До чего обрадовался рабочий — сказать нельзя.

— Беру, говорит, гражданин арендатель. Считайте за мной.

Арендатель говорит:

— Да, конечное дело, берите, ладно. Платите мне шестьдесят рублей въездных и берите, ладно. Такую квартирку за такую цену у меня завсегда с руками и с ногами оторвут.

Рабочий говорит:

— Нету у меня, братишка, таких бешеных денег. Нельзя ли, дядя, вообще без въездных?

Ну, одним словом, не сошлись в цене.

Очень расстроился от этого рабочий.

Идет домой в сильных грустях и думает:

«Прохвачу этого прохвоста в газете. Мыслимое ли дело такие деньги драть!»

И на другой день, действительно, появилась в газете за

подписью рабкора обличительная заметка. Крепко так обложили арендателя.

Это, говорят, паук, а не муха. Шесть червонцев драть за такую квартирку — это же прямо скучно. И откуда могут быть такие бешеные деньги у рабочего человека?

Словом — вот как обложили арендателя. И адрес указали. Чтоб в случае чего хвост могли накрутить ядовитому арендателю.

И, батюшки-светы, чего было в тот же день на этой вышеуказанной улице! Очередь. Огромадная, то есть, очередь образовалась. Давка. Галдеж. Все граждане стоят и в руках газеты держат. И пальцами в заметку тычут.

— Да это же, говорят, граждане, квартира! За шестьдесят рублей цельная квартира. Да мы очень слободно сто дадим в случае ежели чего.

В одном месте у ворот драка чуть не случилась. Хотели уж конную милицию требовать. Да в этот момент сам гражданин арендатель в окне показался. И ручкой реверанс сделал.

— Расходитесь, кричит, робя! Не стой понапрасну. Сдадена квартиренка.

— За сколько сдадена-то? — спросили в толпе.

— За двести сдадена. Спрос очень огромадный, нельзя, братцы, меньше.

— За двести! — ахнула толпа.— Да мы тебе, дядя, очень слободно триста бы дали. Допусти только.

Арендатель с явным сожалением развел руками и отошел от окна.

Толпа понуро расходилась, помахивая газетами.

ШУТКА

Вот не угодно ли — девятый год революции, пятый или шестой год нэпа, а, между прочим, такая глупая некультурность наблюдается. Ходят граждане первого апреля вроде как обалдевши и друг друга обманывают.

По совести говоря, я и сам обманывал, да и меня обманывали во всякое время года, а вот первого апреля однажды на этом обжегся — два зуба себе выбил и имущества лишился, не считая еще того, что женина мамашка ногу себе вывихнула. Ну да с этим последним я не считаюсь. Пес с ней, с ногой. Тем более что очень уж вредная старушка, бог ей судья.

А сижу я раз однажды дома. И чай пью. Самовар кипит. Жена рядом сидит. А женина мамашка разговаривает.

— Вот, говорит, и первое апреля наступило. Надо бы, говорит, непременно кого-нибудь облапошить по этому поводу.

Стали мы, конечно, думать, кого бы нам облапошить. А жена говорит:

— Хорошо бы, говорит, граждане, Анну Васильевну, нижнюю жилицу, втравить в какую-нибудь такую этакую штуку. Чего-нибудь ей, дуре, крикнуть или на испуг взять, а после объявить, мол, шутка — с первым, то есть, вас с апрелем, Анна Васильевна.

Так вот обсуждаем мы, как бы эту чертову Анну Васильевну покрепче облапошить,— вдруг стук в дверь. Открываем. Стоит на площадке сама Анна Васильевна. И вся бледная. Мелко трясется. Кричит:

— Горим, граждане! Спасайся, кто может!

И сама вниз.

В первую минуту очень мы испугались. Женина мамашка схватила даже какую-то дрянь в руку, спасать хотела. После вдруг говорит:

— Вот ведь подлюга! Добилась-таки своего. Напугала, тварь такая. Хорошенькие первоапрельские шуточки.

Я говорю:

— Я всегда, мамаша, вам говорил — шестой год нэпа, а такие дикие поверья.

И сели мы обратно к столу. Хохочем. Вспоминаем всякие такие ядовитые обманы и рассуждаем, как это довольно натурально вышло у Анны Васильевны — вдруг как пахнет в нас гарью. И дым как плеснет в рожу.

«Батюшки, думаем, а ведь горим!»

Бросились к выходу — ни в какую — огонь. Подбегли к окну и нырнули вниз, по очереди. Сначала дамы, потом перины, а после и я, грешный. Тут-то старушка и натрудила себе ногу.

Вот какие грубые шутки случаются на пятый год нэпа.

Конечно, если говорить правду, то всю эту историю я наврал. Никакого такого случая со мной не было. Да, между прочим, и быть не могло. Где это видано, чтоб женщина на пожаре упреждала своих соседей об опасности да еще наверх за этим бегала?

Наврал, граждане, полностью наврал.

А вообще говоря, отчего не соврать, раз такой симпатичный обычай.

ЧАСЫ

Главное — Василий Конопатов с барышней ехал. Поехал бы он один — все обошлось бы славным образом. А тут черт дернул Васю с барышней на трамвае выехать.

И, главное, как сложилось все дефективно! Например, Вася и привычки никогда не имел по трамваям ездить. Всегда пехом перся. То есть случая не было, чтоб парень в трамвай влез и добровольно гривенник кондуктору отдал.

А тут нате вам — манеры показал. Мол, не угодно ли вам, дорогая барышня, в трамвае покататься? К чему, дескать, туфлями лужи черпать?

Скажи на милость, какие великосветские манеры!

Так вот, влез Вася Конопатов в трамвай и даму за собой впер. И мало того, что впер, а еще и заплатил за нее без особого скандалу.

Ну, заплатил — и заплатил. Ничего в этом нет особенного. Стой, подлая душа, на месте, не задавайся. Так нет, начал, дьявол, для фасона за кожаные штуки хвататься. За верхние держатели. Ну и дохватался.

Были у парня небольшие часы — сперли.

И только сейчас тут были. А тут вдруг хватился, хотел перед дамой пыль пустить — часов и нету. Заголосил, конечно.

— Да что ж это, говорит. Раз в жизни в трамвай вопрешься, и то трогают.

Тут в трамвае началась, конечно, неразбериха. Остановили вагон. Вася, конечно, сразу на даму свою подумал, не она ли вообще увела часы. Дама — в слезы.

— Я, говорит, привычки не имею за часы хвататься.

Тут публика стала наседать.

— Это, говорит, нахальство на барышню тень наводить.

Барышня отвечает сквозь слезы:

— Василий, говорит, Митрофанович, против вас я ничего не имею. Несчастье, говорит, каждого человека пригинает. Но, говорит, пойдемте, прошу вас, в угрозыск. Пущай там зафиксируют, что часы — пропажа. И, может, они, слава богу, найдутся.

Василий Митрофанович отвечает:

— Угрозыск тут ни при чем. А что на вас я подумал — будьте любезны, извините. Несчастье, это действительно, человека пригинает.

Тут публика стала выражаться. Мол, как это можно?

Если часы — пропажа, то обязательно люди в угрозыск ходят и заявляют.

Василий Митрофанович говорит:

— Да мне, говорит, граждане, прямо некогда и, одним словом, неохота в угрозыск идти. Особых делов, говорит, у меня там нету. Это, говорит, не обязательно идти.

Публика говорит:

— Обязательно. Как это можно, когда часы — пропажа. Идемте, мы свидетели.

Василий Митрофанович отвечает:

— Это насилие над личностью.

Однако все-таки пойти пришлось.

И что бы вы, милые мои, думали? Зашел парень в угрозыск, а оттуда не вышел. Так-таки вот и не вышел. Застрял там. Главное — пришел парень со свидетелями, объясняет. Ему говорят:

— Ладно, найдем. Заполните эту анкету. И объясните, какие часы.

Стал парень объяснять и заполнять — и запутался.

Стали его спрашивать, где он в девятнадцатом году был. Велели показать большой палец. Ну и конченое дело. Приказали остаться и не удаляться. А барышню отпустили.

И подумать, граждане, что творится? Человек в угрозыск не моги зайти. Заметают.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ

Германская война и разные там окопчики — все это теперь, граждане, на нас сказывается. Все мы через это нездоровые и больные.

У кого нервы расшатаны, у кого брюхо как-нибудь сводит, у кого сердце не так аритмично бьется, как это хотелось бы. Все это результаты.

На свое здоровье, конечно, пожаловаться я не могу. Здоров. И жру ничего. И сон невредный. Однако каждую минуту остерегаюсь, что эти окопчики и на мне скажутся.

Тоже вот, не очень давно, встал я с постели. И надеваю, как сейчас помню, сапог. А супруга мне говорит:

— Что-то, говорит, ты, Ваня, сегодня с лица будто такой серый. Нездоровый, говорит, такой у тебя цвет бордо.

Поглядел я в зеркало. Действительно — цвет лица отчаянный бордо, и морда кирпича просит.

Вот те, думаю, клюква! Сказываются окопчики. Может,

у меня сердце или там еще какой-нибудь орган не так хорошо бьется. Оттого, может, я и серею.

Пощупал пульс — тихо, но работает. Однако какие-то боли изнутри пошли. И ноет что-то.

Грустный такой я оделся и, не покушав чаю, вышел на работу.

Вышел на работу. Думаю — ежели какой черт скажет мне насчет моего вида или цвета лица — схожу обязательно к доктору. Мало ли — живет, живет человек и вдруг хлоп — помирает. Сколько угодно.

Без пяти одиннадцать, как сейчас помню, подходит до меня старший мастер Житков и говорит:

— Иван Федорович, голубчик, да что с тобой? Вид, говорит, у тебя сегодня чересчур отчаянный. Нездоровый, говорит, у тебя, землистый вид.

Эти слова будто мне по сердцу полоснули.

Пошатнулось, думаю, мать честная, здоровье. Допрыгался, думаю.

И снова стало ныть у меня внутри, мутить. Еле, знаете, до дому дополз. Хотел даже скорую помощь вызвать.

Дополз до дому. Свалился на постель. Лежу. Жена ревет, горюет. Соседи приходят, охают.

— Ну, говорят, и видик у тебя, Иван Федорович. Ничего не скажешь. Не личность, а форменное бордо.

Эти слова еще больше меня растравляют. Лежу плошкой и спать не могу.

Утром встаю разбитый, как сукин сын. И велю поскорей врача пригласить.

Приходит коммунальный врач и говорит: симуляция.

Чуть я за эти самые слова врача не побил.

— Я, говорю, покажу, какая симуляция. Я, говорю, сейчас, может быть, разорюсь на трояк и к самому профессору сяду и поеду.

Стал я собираться к профессору. Надел чистое белье. Стал бриться. Провел бритвой по щеке, мыло стер — гляжу — щека белая, здоровая, и румянец на ней играет.

Стал поскорей физию тряпочкой тереть, гляжу — начисто сходит серый цвет бордо.

Жена приходит, говорит:

— Да ты небось, Ваня, неделю рожу не полоскал?

Я говорю:

— Неделю, этого быть не может,— тоже хватила, дура какая. Но, говорю, дня четыре, это, пожалуй, действительно верно.

А главное, на кухне у нас холодно и неуютно. Прямо

мыться вот как неохота. А когда стали охать да ахать — тут уж и совсем, знаете ли, не до мытья. Только бы до кровати доползти.

Сию минуту помылся я, побрился, галстук прицепил и пошел свеженький, как огурчик, к своему приятелю.

И боли сразу будто ослабли. И сердце ничего себе бьется. И здоровье стало прямо выдающееся.

ДАМСКОЕ ГОРЕ

Перед самыми праздниками зашел я в сливочную купить себе четвертку масла — разговеться.

Гляжу, в магазине народищу уйма. Прямо не протолкнуться.

Стал я в очередь. Терпеливо жду. Кругом домашние хозяйки шумят и норовят без очереди протиснуться. Все время приходится одергивать.

И вдруг входит в магазин быстрым шагом какая-то дамочка. Нестарая еще, в небольшой черной шляпке. На шляпке — креп полощется. Вообще, видно, в трауре.

И протискивается эта дамочка к прилавку. И что-то такое говорит приказчику. За шумом не слыхать.

Приказчик говорит:

— Да я не знаю, гражданка. Одним словом, как другие — дозволят, так мое дело пятое.

— А чего такое? — спрашивают в очереди.— Об чем речь?

— Да вот,— говорит приказчик,— у них, то есть, семейный случай. Ихний супруг застрелившись... Так они просят отпустить им фунт сметаны и два десятка яиц без очереди.

— Конечное дело, отпустить. Обязательно отпустить. Чего там! — заговорили все сразу.— Пущай идет без очереди.

И все с любопытством стали рассматривать эту гражданку.

Она оправила креп на шляпке и вздохнула.

— Скажите, какое горе! — сказал приказчик, отвешивая сметану.— И с чего бы это, мадам, извиняюсь?

— Меланхолик он у меня был,— сказала гражданка.

— И давно-с, позвольте вас так спросить?

— Да вот на прошлой неделе сорок дней было.

— Скажите, какие несчастные случаи происходят! —

снова сказал приказчик.— И дозвольте узнать, с револьверу это они это самое, значит, или с чего другого?

— Из револьверу,— сказала гражданка.— Главное, все на моих глазах произошло. Я сижу в соседней комнате. Хочу, не помню, что-то такое сделать и вообще ничегошеньки не предполагаю, вдруг ужасный звук происходит. Выстрел, одним словом. Бегу туда — дым, в ушах звон... И все на моих глазах.

— М-да,— сказал кто-то в очереди,— бывает...

— Может быть, и бывает,— ответила гражданка с некоторой обидой в голосе,— но так, чтобы на глазах, это, знаете, действительно...

— Какие ужасные ужасти! — сказал приказчик.

— Вот вы говорите — бывает,— продолжала гражданка.— Действительно, бывает, я не отрицаю. Вот у моих знакомых племянник застрелился. Но там, знаете, ушел человек из дому, пропадал вообще... А тут все на глазах...

Приказчик завернул сметану и яйца в пакет и подал гражданке с особой любезностью.

Дама печально кивнула головой и пошла к выходу.

— Ну хорошо,— сказала какая-то фигура в очереди.— Ну ихний супруг застрелившись. А почему такая спешка и яйца без очереди? Неправильно!

Дама презрительно оглянулась на фигуру и вышла.

НА ПОСТУ

Очень худая профессия у врачей. Главное — пациент нынче пошел довольно грубоватый. Не стесняется. Чуть что не понял — драться лезет или вообще убивает врача каким-нибудь предметом.

А врач, может, человек интеллигентный, не любит, может, чтобы его убивали. От этого, может, он нервничает.

А только у нас в приемном покое привычки такой нет, чтобы врачей убивать. У нас, может, с начала революции бессменно на посту один врач стоит. Ни разу его не убили.

Фельдшера действительно раз отвозили по морде, а врача пальцем не тронули. Он за ширмой был спрятавшись.

А что один раз нашего врача шибко напугали, так в этом порока нету. Это случайно произошло. Да к тому же врач у нас вообще был довольно пугливый интеллигент. Бывало, пациента трубкой ковырнет и отбежит в сторонку, этак шагов на сорок. И оттуда разговаривает. Довольно осторожный был интеллигент.

А когда Григорий Иванович Веревкин явился на прием, так врач уже был настороженный нервно.

А приперся Григорий Иванович на прием по срочному делу. Надо ему было то есть до полного зарезу в отпуск ехать. В деревню. Батька его требовал.

Вот он приперся, разоблачился и стоит перед врачом, в чем мама родила. И думает: «Хорошо бы, думает, этого интеллигента недельки на две опутать».

А врач, конечно, ковырнул его трубкой по брюху и отбежал за шкафик. И оттуда мямлит:

— Нету, мол, объективных болезней. Одевайтесь.

А Григорий Иванович расстроился и говорит ему с сердцем:

— Ты, говорит, дядя, хорошо меня слушай, а не ковыряй зря трубкой. Я, говорит, и сам ковырнуть могу.

Врач, конечно, расстроился и снова стал слушать. После отошел за шкафик и говорит:

— Ей-богу, говорит, вот вам крест — ничего такого нету. Одевайтесь.

Стал Григорий Иванович одеваться. Одевается.

И, конечно, у Григория Ивановича, у голубчика, и в мыслях не было врача, например, убить или фельдшера стукнуть. А просто-напросто расстроился человек, что отпуск у него рухнул. И в расстройстве чувств даже сплюнул в сторону. Даже руку в карман сунул, хотел платок достать — высморкаться для полного успокоения.

И только он руку в карман сунул — крики.

Врач, конечно, кричит — убивают. Фельдшер махает рукой, народ кличет.

Тут прибежал народ, схватил Григория Ивановича Веревкина, держит.

Веревкин говорит:

— Да что вы, братцы-сестрицы, очумели, что ли?

А фельдшер, зараза, отвечает:

— Он руку сейчас в карман сунул, хотел, может, нас, обоих медиков, зараз трахнуть.

Стали Григория Ивановича обыскивать, а только ничего такого, кроме махорки, не нашли.

А что про платок Григорий Иванович говорил, будто он хотел в платок интеллигентно высморкаться, то врет. Платка у него тоже не нашли.

Небось просто так он сунул руку в карман.

А в этот момент и закричали.

Только напрасно закричали. У нас вообще привычки нет врачей убивать. Пущай живут. Жалко, что ли?

БОЧКА

Вот, братцы, и весна наступила. А там, глядишь, и лето скоро. А хорошо, товарищи, летом! Солнце пекет. Жарынь. А ты ходишь этаким чертом без валенок, в одних портках, и дышишь. Тут же где-нибудь птичечки порхают. Букашки куда-нибудь стремятся. Червячки чирикают. Хорошо, братцы, летом.

Хорошо, конечно, летом, да не совсем.

Года два назад работали мы по кооперации. Такая струя в нашей жизни подошла. Пришлось у прилавка стоять. В двадцать втором году.

Так для кооперации, товарищи, нет, знаете, ничего гаже, когда жарынь. Продукт-то ведь портится. Тухнет продукт ай нет? Конечное дело, тухнет. А ежли он тухнет, есть от этого убытки кооперации? Есть.

А тут, может, наряду с этим, лозунг брошен — режим экономии. Ну как это совместить, дозвольте вас спросить?

Нельзя же, граждане, с таким полным эгоизмом подходить к явлениям природы и радоваться и плясать, когда наступает тепло. Надо же, граждане, и об общественной пользе позаботиться.

А помню, у нас в кооперативе спортилась капуста, стухла, извините за такое некрасивое сравнение.

И мало того что от этого прямой у нас убыток кооперации, так тут еще накладной расход. Увозить, оказывается, надо этот спорченный продукт. У тебя же, значит, испортилось, ты же на это еще и денежки свои докладывай. Вот обидно!

А бочка у нас стухла громадная. Этакая бочища, пудов, может, на восемь. А ежели на килограммы, так и счету нет. Вот какая бочища!

И такой от нее скучный душок пошел — гроб.

Заведующий наш, Иван Федорович, от этого духа прямо смысл жизни потерял. Ходит и нюхает.

— Кажись, говорит, братцы, разит?

— Не токмо, говорим, Иван Федорович, разит, а прямо пахнет.

И запашок действительно, надо сказать, острый был. Прохожий человек по нашей стороне ходить даже остерегался. Потому с ног валило.

И надо бы эту бочечку поскорее увезти куда-нибудь к чертовой бабушке, да заведующий, Иван Федорович, мнется. Все-таки денег ему жалко. Подводу надо нанимать,

пятое, десятое. И везти к черту на рога за весь город. Все-таки заведующий и говорит:

— Хоть, говорит, и жалко, братцы, денег, и процент, говорит, у нас от этого ослабнет, а придется увезти этот бочонок. Дух уж очень тяжелый.

А был у нас такой приказчик, Васька Веревкин. Так он и говорит:

— А на кой пес, товарищи, бочонок этот вывозить и тем самым народные соки-денежки тратить и проценты себе слабить? Нехай выкатим этот бочонок во двор. И подождем, что к утру будет.

Выперли мы бочку во двор. Наутро являемся — бочка чистая стоит. Сперли за ночь капусту.

Очень мы, работники кооперации, от этого факта повеселели. Работа прямо в руках кипит — такой подъем наблюдается. Заведующий наш, голубчик Иван Федорович, ходит и ручки свои трет.

— Славно, говорит, товарищи, пущай теперь хоть весь товар тухнет, завсегда так делать будем.

Вскоре стухла еще у нас одна бочечка. И кадушка с огурцами.

Обрадовались мы. Выкатили добро на двор и калиточку приоткрыли малость. Пущай, дескать, повидней с улицы. И валяйте, граждане!

Только на этот раз мы проштрафились. Не только у нас капусту уволокли, а и бочку, черти, укатили. И кадушечку слямзили.

Ну а в следующие разы спорченный продукт мы на рогожку вываливали. Так с рогожей и выносили.

ПРОТЕКЦИЯ

Ванюшка-то Леденцов работу получил. Истинная правда. В тресте теперь работает.

И кто бы мог подумать! У человека, то есть, ни протекции, ни особых знакомств или ячеек — ничего такого не было. И вот поди ж ты! Работает.

А говорят, что всюду кумовство и протекции и чужому человеку будто внедриться куда-нибудь трудно. Ай врут!

У Ванюшки Леденцова во всем, то есть, тресте ни единого знакомого человечка не было. Не только, скажем, какого-нибудь крупного ответственного знакомого, а вообще никого не было. Был один беспартийный грузчик,

да и тот поденный. А много ли может сделать поденный грузчик?

А пришел Ванюшка Леденцов раз однажды к этому грузчику. Поставил ему пару пива и говорит:

— Вот что, друг! Протекций у меня, сам знаешь, нету, в ячейках я не состою — подсоби по возможности.

Грузчик говорит:

— Навряд ли, милый человек, подсобить смогу. Не можно ведь так, тяп-ляп, без протекции. Сам понимаешь.

Но так складно все случилось. В прошлом годе грузчик мебель перевозил трестовскому бухгалтеру.

— Так и так, говорит, уважаемый товарищ бухгалтер. Мебель я вам в свое время перевозил. Ничего такого не сломал, исключая одной ножки и умывальника. Ткните куда ни на есть Ванюшку Леденцова. Протекции у него, у подлеца, нету. Ничего такого нету. В ячейках не состоит. Ну прямо парень гибнет без протекции.

Бухгалтер говорит:

— Навряд ли, милый человек, можно без протекции. Прямо, говорит, не могу тебе обещать.

Но такая тут Ванюшке удача подошла. Планета такая ему, подлецу, выпала.

Назавтра, например, приходит бухгалтер к коммерческому директору, подкладывает ему бумажонку для подписи и говорит:

— Знаете, товарищ директор, нынче без протекции прямо гроб.

— А что? — спрашивает директор.

— Да так,— говорит бухгалтер,— есть тут, мотается один парнишка без протекции, так не может никуда ткнуться. А и нам-то навряд ли можно его пихнуть.

— Да уж,— говорит директор,— без знакомства как его, дьявола, пихнешь. Худо ему без протекции.

А тут директор-распорядитель входит.

— Об чем, говорит, речь?

— Да вот, говорят, товарищ директор-распорядитель, парнишка тут есть один, Леденцов фамилия, никакой протекции у него, у подлеца, нету, не может никуда ткнуться, все мотается.

Директор-распорядитель говорит:

— Ну пущай к нам придет. Посмотрим. Нельзя же, граждане, все по знакомству да по знакомству. Надо же человечка и без протекции уважить.

Так и уважили.

А говорят — всюду кумовство и протекции. Вот бывает же...

ГИПНОЗ

Могу, товарищи, с гордостью сказать: за всю свою жизнь ни одного врача не убил. Не ударил даже.

С одним врачом, действительно, пришлось сцепиться, но, кроме словесной дискуссии с помахиванием предметами, ничего у нас такого сверхъестественного не было. Пальцем его, черта лысого, не тронул, хотя, говоря по правде, и сильно чесались руки. Только сознательность удержала, а то бы, ей-богу, отвозил.

Эта полная сознательность и его медицинскую супругу тоже не допустила тронуть.

А она меня, ребятишки, очень неаккуратно выпирала из прихожей. И орала еще, зараза, что я ее в бок тиснул. А такую бабу, ребятишки, в бок не тиснешь, так она верхом на тебя сядет и до угла поедет.

А пришел я, товарищи, до этого медика по неотложному делу. На гипноз — внушение. Попросил его внушить, чтоб я курить бросил. А то такая на меня сильная страсть нашла: курю каждую минуту и все мне мало. И денег лишний перевод, и язык пухнет.

И пошел я по совету до этого медика и ему объясняю.

Он говорит:

— Это, говорит, можно в два счета.

Посадил он меня в кресло, велел из кармана махру вынуть и стал перед мордой руками трясти и пришепетывать что-то.

И вдруг действительно — слабость на меня напала. Закрыл я глаза и ни о чем не думаю. Только думаю — не позабыть бы мне, думаю, махру на столе.

А в это время доктор говорит:

— Готово. Внушил вам, что надо. Сеанс лечения кончен.

— Вот, говорю, спасибо-то!

Вынул я деньги, заплатил ему и пошел назад.

На лестнице вдруг беспокойство на меня напало.

«Батюшки, думаю, да сколько ж я этому черту, дай бог память, заплатил?»

И помню — лежали у меня в расчетной книжке рупь-целковый, трешка и пятерка.

Развернул книжку — рупь-целковый и трешка тут, а пятерки как не бывало.

«Батюшки-светы, думаю, по ошибке самую круп-

ную купюру в руку сунул, чтоб ему раньше времени сдохнуть!»

Дошел до дому и чуть не плачу — до того мне пятерки жалко.

Дома супруга мне говорит:

— Что, говорит, новый курс лечения захотел? Вот, говорит, и расплачивайся. Внушил, говорит, тебе чертов медик заместо рубля пятерку ему дать, а ты и рад стараться. Лучше бы, говорит, курил ты, черт плешивый, чем пятерками в докторей швыряться.

Тут и меня, действительно, осенило.

«А ведь верно, думаю, внушил. Ах ты, думаю, паразит, какие идеи внушает!»

Сразу оделся, покуда не остыл, и к нему.

— Трогать, говорю, я вас не буду. Мне сознательность не допущает врачей трогать, но, говорю, это нетактично — внушать такие идеи.

А он вроде как испугался и подает назад деньги.

Я говорю:

— Теперь, говорю, подаешь, а раньше об чем думал? Тоже, говорю, практика!

В эту минуту на мои вопросы медицинская супруга является. Тут мы с ней и схлестнулись. А медика я пальцем даже не тронул. Мне сознательность не допущает их трогать. Их тронешь, а после по судам затаскают.

А курить я действительно бросил. Внушил-таки, черт лысый!

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

Как в других городах проходит режим экономии, я, товарищи, не знаю.

А вот в городе Борисове этот режим очень выгодно обернулся.

За одну короткую зиму в одном только нашем учреждении семь сажен еловых дров сэкономлено. Худо ли!

Десять лет такой экономии — это десять кубов все-таки. А за сто лет очень свободно три барки сэкономить можно. Через тысячу лет вообще дровами торговать можно будет.

И об чем только народ раньше думал? Отчего такой выгодный режим раньше в обиход не вводил? Вот обидно-то! А начался у нас этот самый режим еще с осени.

Заведующий у нас — свой парень. Про все с нами советуется и говорит как с родными. Папироски даже, сукин сын, стреляет.

Так приходит как-то этот заведующий и объявляет:

— Ну вот, ребятушки, началось... Подтянитесь! Экономьте что-нибудь там такое...

А как и чего экономить — неизвестно. Стали мы разговаривать, чего экономить. Бухгалтеру, что ли, черту седому, не заплатить, или еще как.

Заведующий говорит:

— Бухгалтеру, ребятушки, не заплатишь, так он, черт седой, живо в охрану труда смотается. Этого нельзя будет. Надо еще что-нибудь придумать.

Тут, спасибо, наша уборщица Нюша женский вопрос на рассмотрение вносит.

— Раз, говорит, такое международное положение и вообще труба, то, говорит, можно, для примеру, уборную не отапливать. Чего там зря поленья перегонять? Не в гостиной!

— Верно, говорим, нехай уборная в холоде постоит. Сажен семь сэкономим, может быть. А что прохладно будет, так это отнюдь не худо. По морозцу-то публика задерживаться не будет. От этого даже производительность может актуально повыситься.

Так и сделали. Бросили топить — стали экономию подсчитывать.

Действительно, семь сажен сэкономили. Стали восьмую экономить, да тут весна ударила.

Вот обидно-то!

Если б, думаем, не чертова весна, еще бы полкуба сэкономили.

Подкузьмила, одним словом, нас весна. Ну да и семь сажен, спасибо, на полу не валяются.

А что труба там какая-то от мороза оказалась лопнувши, так эта труба, выяснилось, еще при царском режиме была поставлена. Такие трубы вообще с корнем выдергивать надо.

Да оно до осени свободно без трубы обойдемся. А осенью какую-нибудь дешевенькую поставим. Не в гостиной!

ОТЧАЯННЫЕ ЛЮДИ

Говорят, верблюд месяц может ничего не жрать. Вот это дивное животное! Он, говорят, пососет какую-нибудь травку, понюхает камушек, и с него хватит, сыт по горло. Вот это благородное животное!

А теперь, скажем, человек. Человеку ежедневно чего-нибудь пожрать нужно. Он какой-нибудь там травинкой не прельстится и камней нюхать не станет. Ему вынь да положь чего-нибудь этакое острое. Суп и на второе рыбу деваляй. Вот что он любит.

И мало того что человек ежедневно пищу жрет, а еще и костюмы носит, и пьет, и в баню ходит.

Ох, эти же люди чистое разорение для государства! Вот тут и проводи режим экономии. Вот тут и сокращай разбухшие штаты.

Для примеру, человека ради экономии сократишь, а он и после сокращения все свое — жрет, а еще и костюмы носит. То есть откуда он так ухитряется — удивляться приходится. Чистое разорение.

Вот с нашего двора Палька Ершов под режим экономии попал. Сократили парня.

Ну, думаем, пропал Палька Ершов. Чего он теперь делать будет, раз режим экономии?

Только видим — нет, не пропал.

Вышел во двор сразу после сокращения, гуляет, плюется через зубы.

— Это, говорит, я знал. Я, говорит, ребятишки, завсегда под лозунги попадаю. Седьмой раз меня сокращают. Как какой лозунг объявят — режим или борьба за качество,— так мне всегда крышка. Я к этому привыкши.

— Ну, говорим, привычка привычкой, а хлебать-то чего теперь будешь?

— Да уж, говорит, жрать придется. Не верблюд.

Ну, думаем, пропал. На словах только хорохорится, а сам подохнет.

Только проходит месяц и два. Нет, не дохнет. Курит, плюется через зубы и костюмы носит.

Ну, думаем, или он, собака, ежедневно госбанки грабит, или деньги сам печатает.

— Палька, говорим, откройся, ослобони свою совесть. Чем ты, говорим, бродяга, кормишься?

А он говорит:

— Да, знаете, ребятишки, я на другую службу поступил.

Трудновато, думаем, с такими отчаянными людьми режим экономии проводить. Их сокращают, а они все свое — пьют, жрут и костюмы носят.

С верблюдами малость было бы полегче.

КИНОДРАМА

Театр я не хаю. Но кино все-таки лучше. Оно выгодней театра. Раздеваться, например, не надо — гривенники от этого все время экономишь. Бриться опять же не обязательно — в потемках личности не видать.

В кино только в самую залу входить худо. Трудновато входить. Свободно могут затискать до смерти.

А так все остальное очень благородно. Легко смотрится.

В именины моей супруги поперли мы с ней кинодраму глядеть. Купили билеты. Начали ждать.

А народу многонько скопившись. И все у дверей мнутся.

Вдруг открывается дверь, и барышня говорит: «Валяйте».

В первую минуту началась небольшая давка. Потому каждому охота поинтересней место занять.

Ринулся народ к дверям. А в дверях образовавшись пробка.

Задние поднажимают, а передние никуда не могут.

А меня вдруг стиснуло, как севрюгу, и понесло вправо.

«Батюшки, думаю, дверь бы не расшибить».

— Граждане, кричу, легче, за ради бога! Дверь, говорю, человеком расколоть можно.

А тут такая струя образовавшись — прут без удержу. А сзади еще военный на меня некультурно нажимает. Прямо, сукин сын, сверлит в спину.

Я этого черта военного ногой лягаю.

— Оставьте, говорю, гражданин, свои арапские штучки.

Вдруг меня чуть приподняло и об дверь мордой.

Так, думаю, двери уж начали публикой крошить.

Хотел я от этих дверей отойти. Начал башкой дорогу пробивать. Не пущают. А тут, вижу, штанами за дверную ручку зацепился. Карманом.

— Граждане, кричу, да полегче же, караул! Человека за ручку зацепило.

Мне кричат:

— Отцепляйтесь, товарищ! Задние тоже хочут.

А как отцеплять, ежели волокет без удержу и вообще рукой не двинуть.

— Да стойте же, кричу, черти! Погодите штаны сымать-то. Дозвольте же прежде человеку с ручки сняться. Начисто материал рвется.

Разве слушают? Прут...

— Барышня, говорю, отвернитесь хоть вы-то, за ради бога. Совершенно, то есть, из штанов вынимают против воли.

А барышня сама стоит посиневши и хрипит уже. И вообще смотреть не интересуется.

Вдруг, спасибо, опять легче понесло.

Либо с ручки, думаю, снялся, либо из штанов вынули.

А тут сразу пошире проход обнаружился.

Вздохнул я свободнее. Огляделся. Штаны, гляжу, тут. А одна штанина ручкой на две половинки разодрана и при ходьбе полощется парусом.

Вон, думаю, как зрителей раздевают.

Пошел в таком виде супругу искать. Гляжу, забили ее в самый то есть оркестр. Сидит там и выходить пугается.

Тут, спасибо, свет погасили. Начали ленту пущать.

А какая это была лента — прямо затрудняюсь сказать. Я все время штаны зашпиливал.

Одна булавка, спасибо, у супруги моей нашлась. Да еще какая-то добродушная дама четыре булавки со своего белья сняла. Еще веревочку я на полу нашел. Полсеанса искал.

Подвязал, подшпилил, а тут, спасибо, и драма кончилась. Пошли домой.

БЕШЕНСТВО

Натерпелись мы вчера страху. То есть форменный испуг на себе испытали.

Может, член правления Лапушкин до сих пор сидит у себя на квартире, трясется. А он зря не станет трястись. Я его знаю.

А главное, все эти дни были, сами знаете, какие жаркие. Не только, скажем, крупное животное — клоп и тот может по такой жаре взбеситься, если, конечно, его на солнцепеке подержать.

А тут еще в газетах сообщают: по двадцать шесть животных ежедневно бесятся.

Тут действительно сдрейфишь.

А мы, для примеру, у ворот стояли. Разговаривали.

Стоим у ворот, разговариваем насчет бешенства и вдруг видим — по нашей стороне, задрав хвост, собака дует.

Конечно, она довольно спокойно бежит. По виду нипочем не скажешь, что она бешеная. Хвостишко у ней торчит, и слюны пока не видать. Только что рот у ней подозрительно закрыт, и глаза открыты.

В таком виде и бежит.

Добегла она до члена правления. Член правления, конечно, ее палкой.

Ляпнул ее по башке палкой. Видим — собака форменно бешеная. Хвост у ней после удара обмяк, книзу висит. И вообще начала она на нас кидаться. Хотя слюны пока не показывает.

Начала она кидаться, а дворник Володин не растерялся, вооружился камушком и тяпнул ее по башке.

Тяпнул ее по башке. Глядим — все признаки налицо. Рот раскрыт. Слюна вышибает. Хвост колбасой. И вообще накидывается.

Член правления кричит:

— Спасайся, робя! Бешеная...

Бросились мы кто куда. А дворник Володин в свисток начал свистеть.

Тут кругом на улице рев поднялся. Крики. Суматоха.

Тут постовой бежит. Револьверы вынимает.

— Где тут, кричит, ребятишки, бешеная собака? Сейчас мы ее уконтрапупим!

Поднялась тут стрельба. Член правления из окон своей квартиры командует, куда стрелять и куда прохожим бежать.

Вскоре, конечно, застрелили собачку.

Только ее застрелили, вдруг хозяин ее бежит. Он в подвале сидел, спасался от выстрелов.

— Да что вы, говорит, черти, нормальных собак кончаете? Совершенно, говорит, нормальную собаку уконтрапупили.

— Брось, говорим, братишка! Какая нормальная, если она кидается.

А он говорит:

— Трех нормальных собак у меня в короткое время прикончили. Это же, говорит, прямо немыслимо! Нет ли, говорит, в таком случае свободной квартирки в вашем доме?

— Нету, говорим, дядя.

А он взял свою Жучку на плечи и пошел. Вот чудак-то!

ПРИСКОРБНЫЙ СЛУЧАЙ

Как хотите, товарищи, а Николаю Ивановичу я очень сочувствую. Пострадал этот милый человек на все шесть гривен и ничего такого особенно выдающегося за эти деньги не видел.

Только что характер у него оказался мягкий и уступчивый. Другой бы на его месте все кино, может, разбросал и публику из залы выкурил. Потому шесть гривен ежедневно на полу не валяются. Понимать надо.

А в субботу голубчик наш, Николай Иванович, немножко, конечно, выпил. После получки.

А был этот человек в высшей степени сознательный. Другой бы выпивший человек начал бузить и расстраиваться, а Николай Иванович чинно и благородно прошелся по проспекту. Спел что-то там такое. Вдруг глядит — перед ним кино.

«Дай, думает, все равно — зайду в кино. Человек, думает, я культурный, полуинтеллигентный, чего мне зря по панелям в пьяном виде трепаться и прохожих задевать? Дай, думает, я ленту в пьяном виде посмотрю. Никогда ничего подобного не видел».

Купил он за свои пречистые билет. И сел в переднем ряду. Сел в переднем ряду и чинно-благородно смотрит.

Только, может, посмотрел он на одну надпись, вдруг в Ригу поехал. Потому очень тепло в зале, публика дышит, и темнота на психику благоприятно действует.

Поехал в Ригу наш Николай Иванович, все чинно-благородно — никого не трогает, экран руками не хватает, лампочек не выкручивает, а сидит себе и тихонько в Ригу едет.

Вдруг стала трезвая публика выражать недовольствие по поводу, значит, Риги.

— Могли бы, говорят, товарищ, для этой цели в фойе пройтись, только, говорят, смотрящих драму отвлекаете на другие идеи.

Николай Иванович — человек культурный, сознательный — не стал, конечно, зря спорить и горячиться. А встал и пошел тихонько.

«Чего, думает, с трезвыми связываться? От них скандалу не оберешься».

Пошел он к выходу. Обращается в кассу.

— Только что, говорит, дамочка, куплен у вас билет, прошу вернуть назад деньги. Потому как не могу картину глядеть — меня в темноте развозит.

Кассирша говорит:

— Деньги мы назад выдавать не можем, ежели вас развозит — идите тихонько спать.

Поднялся тут шум и перебранка. Другой бы на месте Николая Иваныча за волосья бы выволок кассиршу из кассы и вернул бы свои пречистые. А Николай Иванович, человек тихий и культурный, только, может, раз и пихнул кассиршу.

— Ты, говорит, пойми, зараза, не смотрел я еще на твою ленту. Отдай, говорят, мои пречистые.

И все так чинно-благородно, без скандалу — просит, вообще, вернуть свои же деньги.

Тут заведующий прибегает.

— Мы, говорит, деньги назад не вертаем, раз, говорит, взято, будьте любезны досмотреть ленту.

Другой бы на месте Николая Ивановича плюнул бы в зава и пошел бы досматривать за свои пречистые. А Николай Иванычу очень грустно стало насчет денег, начал он горячо объясняться и обратно в Ригу поехал.

Тут, конечно, схватили Николая Ивановича, как собаку, поволокли в милицию. До утра продержали. А утром взяли с него трешку штрафу и выпустили.

Очень мне теперь жалко Николая Ивановича. Такой, знаете, прискорбный случай: человек, можно сказать, и ленты не глядел, только что за билет подержался — и пожалуйте, гоните за это мелкое удовольствие три шесть гривен. И за что, спрашивается, три шесть гривен?

КУЗНИЦА ЗДОРОВЬЯ

Крым — это форменная жемчужина. Оттуда народ приезжает — только диву даешься. То есть поедет туда какой-нибудь дряхлый интеллигентишка, а назад приезжает — и не узнать его. Карточку раздуло. И вообще масса бодрости, миросозерцания.

Одним словом, Крым — это определенно кузница здоровья.

С нашего двора поехал в Крым такой товарищ, Серега Пестриков.

Личность эта была форменно расхлябанная. Которые знали Серегу раньше, все подтвердят. То есть никакого в нем не было горения и миросозерцания.

Другие граждане с дому все-таки по праздникам весе-

лятся. В горелки играют, пьют, в козла дуются. Вообще живут от полного сердца. Потому здоровые, черти.

А этот мракобес с работы, например, вернется, ляжет брюхом на свой подоконник и в книгу уткнется. Погулять даже не пойдет. Скелет у него, видите ли, ходить не может, растрясся за день.

И уж, конечно, не пьет, не курит, женским персоналом не интересуется. Одним словом, лежит на своем окне и догнивает.

Вот какой это был нездоровый человек!

Родственники видят — неладно с парнем. Стали насчет Крыма хлопотать. А то сам не может. Схлопотали.

Поломался, поломался парень, но поехал.

Полтора месяца его там держали. Купали и в ногу какую-то дрянь вспрыскивали.

Наконец вернулся. Приехал.

Это ахнуть можно было от удивленья. Морда, конечно, черная. Лопнуть хочет. Глаза горят. Волосья дыбом стоят. И вся меланхолия пропала.

Раньше, бывало, этот человек мухи не тронет. А тут не успел приехать, в первый же день дворнику Федору морду набил. Зачем за сараем недоглядел — дрова раскрали.

Управдома тоже хотел за какую-то там мелочь застрелить из нагана. Жильцов всех раскидал, которые заступались.

Ну, видим, не узнать парня. Совершенно поправился. Починили человека. Отремонтировали капитально.

Пить даже начал от полноты здоровья. Девицу ни одну мимо себя не пропускал. Скандалов сколько с ним было — не сосчитать.

Крым — это форменная жемчужина, как человека обновляет!

Одно худо — хотят Серегу Пестрикова со службы снять. Потому прогуливать начал.

Великая вещь это здоровье!

РАЧИС

На днях поперли со службы старого почтового спеца, товарища Крылышкина.

Тридцать лет принимал человек иностранные телеграммки и записывал их в особую книжицу. Тридцать лет служил человек по мере своих сил и возможностей. И вот нате вам! Подкопались под него враги, сковырнули с наси-

женного места и вытряхнули со службы за незнание иностранных языков.

Оно действительно, товарищ Крылышкин этих иностранных языков не знал. Насчет языков, как говорится, ни в зуб толкнуть. Но, между прочим, почтовое дело и иностранцы от этого факта ни капельки не страдали.

А бывало, как придет какая-нибудь телеграмма с иностранным названием, так товарищ Крылышкин, нимало не растерявшись, идет до какого-нибудь столика, до какой-нибудь там девицы, до какой-нибудь Веры Ивановны.

— Вера, говорит, Ивановна, да что ж это такое? Совершенно, говорит, слабею глазами. Будьте, говорит, добры — чего тут наляпано?

Ну, она ему говорит: из Лондона, например.

Он возьмет и запишет.

Или принесет телеграмму до какого-нибудь интеллигентного работника.

— Ну, говорит, и почерки же нынче пошли! Куры, говорит, и те ногами лучше чиркают. Нуте-ка, угадайте, чего тут обозначено? Нипочем не угадаете.

Ну, скажут ему: из какого-нибудь Мюнхена.

— Правильно, скажет, а я думал, только спецы угадывать могут.

А другой раз, когда спешка, товарищ Крылышкин прямо к публике обращался:

— Тссс... молодой человек, подойдите-ка до окошечка, поглядите-ка — чего тут нацарапано? У нас промежду служащих острый спор идет. Одни говорят то, другие это.

Тридцать лет сидел на своем посту герой труда, товарищ Крылышкин, и вот, нате вам, вытряхнули!

А влип Петр Антонович Крылышкин по ничтожному поводу. Можно сказать, несчастный случай произошел. Немного не так записал он название города, откуда пришла телеграмма. А пришла телеграмма из города Парижа. И было на ней обозначено по-французски: «Paris». Петр Антонович, от чистого сердца, возьми и подмахни: из города Рачиса.

После-то Петр Антонович говорил:

— Сбился, милый. Главное, название мне показалось чересчур русским — Рачис. И на старуху бывает проруха.

Тем не менее взяли Петра Антоновича Крылышкина и вытряхнули.

А очень мне его жалко! Ну куда теперь денется старый специалист по иностранным языкам? Пущай бы досиживал!

ГИБЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА

Кончено. Баста. Никакой жалости к людям не осталось в моем сердце.

Вчера еще, до шести часов вечера, сочувствовал и уважал людей, а нынче не могу, ребятишки. До последней точки докатилась людская неблагодарность.

Вчера, извольте видеть, за мою жалость к ближнему человеку отчаянно пострадал и, может, даже предстану перед народным судом в ближайшем будущем.

Баста. Зачерствело мое сердце. Пущай ближний больше на меня не рассчитывает.

А шел я вчера по улице. Иду я вчера по улице и вижу — народ будто стоит скопившись подле ворот. И кто-то отчаянно охает. И кто-то руками трясет и вообще, вижу, происшествие. Подхожу. Спрашиваю, об чем шум.

— Да вот, говорят, тут ногу сломал один гражданин. Идти теперь не может.

— Да уж, говорю, тут не до ходьбы.

Растолкал я публику, подхожу я ближе к месту действия. И вижу — какой-то человечишка действительно лежит на плитуаре. Морда у него отчаянно белая и нога в брюке сломана. И лежит он, сердечный друг, упершись башкой в самую тумбу, и бормочет:

— Мол, довольно склизко, граждане, извиняюсь. Шел и упал, конечно. Нога — вещь непрочная.

Сердце у меня горячее, жалости к людям много, и вообще не могу видеть гибель человека на улице.

— Братцы, говорю, да, может, он член союза. Надо же предпринять тем не менее.

И сам, конечно, бросаюсь в телефонную будку. Вызываю скорую помощь. Говорю: «Нога сломана у человека, поторопитесь по адресу».

Приезжает 'карета. В белых балахонах сходят оттеда четыре врача.

Разгоняют публику и укладывают пострадавшего человека на носилки.

Между прочим, вижу, этот человек совершенно не желает, чтобы его ложили на носилки. Пихает всех четырех врачей остатней здоровой ногой и до себя не допущает.

— Пошли вы, говорит, все четыре врача, туда-сюда. Я, говорит, может, домой тороплюся.

И сам чуть, знаете, не плачет.

«Что, думаю, за смятение ума у человека?»

И вдруг произошло некоторое замешательство. И вдруг слышу — меня кличут.

— Это, говорят, дядя, ты вызывал карету скорой помощи?

— Я, говорю.

— Ну так, говорят, придется тебе через это отвечать по всей строгости революционных законов. Потому как зря карету вызывал — у гражданина искусственная нога обломилась.

Записали мою фамилию и отбыли.

И чтобы я после этого факта еще расстраивал свое благородное сердце — ни в жисть. Пущай убивают на моих глазах человека — нипочем не поверю. Потому — может, для киносъемки его убивают.

И вообще ничему не верю — время такое после войны невероятное.

ТЕАТР ДЛЯ СЕБЯ

Время-то как быстро бежит! Недавно еще лето было, а теперь вроде как зима. Ходят в шубах. И в театрах зимние сезоны начались.

А интересно, какие убытки понесут театры в этом зимнем сезоне?

Летние убытки только-только сейчас подсчитываются. Летний сезончик не был выдающимся.

Которые товарищи актеры приезжают из провинции, те все зубами скрипят.

— Прямо, говорят, для себя играли — нема никакой публики. Или, может быть, зритель малокультурный, или другие какие причины, а только не идет. Зимой еще ничего — ходят, а летом — ни в какую. Прямо хоть за ногу волоки зрителя!

А зритель, это верно, летом предпочитает легкие и недорогие увеселения — полежать брюхом вверх на солнышке, или выкупаться на шермака в речонке, или, наконец, нарвать полевых цветов и нюхать даром.

Вот какой пошел зритель. И с чего бы это он так?

В одном небольшом городе сущая срамота произошла на этой почве.

А приехала туда небольшая труппа. Начала, конечно, эта труппа сгоряча драму играть.

Играют драму, а публика не идет на драму.

Свернулась труппа и — назад.

Сунулся в этот город другой небольшой коллективчик. Администратор этого коллективчика говорит:

— Не такой это, товарищи, город, чтоб тут драму играть. Тут надо легкие, смешные штуки ставить.

Начали они ставить легкие штуки — опять не идет публика.

Три раза поставили. Рубля три с полтиной выручили — и поскорей из этого странного города.

Начались в актерских кругах брожения и разговоры, как и чем привлечь публику. И не пойдет ли эта публика, как вы думаете, на оперетту?

Рванулась туда оперетта. Поставили музыкальную оперетту с отчаянной пляской. Человек восемь пришло. А как пришло — неизвестно. Кассир клялся и божился, что ни одного билета не было продано.

Опереточный премьер сказал:

— В этот город циркачам только и ехать. Высокое искусство здесь ни к чему.

Дошли эти симпатичные слухи до цирка.

Директор говорит:

— Надо ехать. Цирк — это самое демократическое искусство. Этому городу как раз угодим.

Поехали. Действительно, народ несколько погуще пришел. Прямо старожилы не запомнят такого количества — человек тридцать было на первом представлении. На втором чуть поменьше.

Подсчитал цирк убытки и — ходу.

А на вокзале, перед самой посадкой, произошла задержка. Несметная толпа собралась провожать циркачей. Тысяч восемь приперлось народу. Качали всех актеров и всех зверей. Верблюду челюсть вывихнули во время качки.

После делегация от текстильщиков и металлистов подошла к директору и стала нежно упрашивать:

— Нельзя ли, мол, по бесплатной цене тут же под открытым небом, на вольном воздухе, на перроне устроить небольшую цирковую программу из трех-четырех номерей?

Но тут, к сожалению, произошел третий звонок. Сели циркачи по вагонам, грустно развели руками и уехали.

Так никто и не узнал, отчего и почему самое демократическое искусство уехало тоже с убытком.

Народ малокультурный, что ли? Или, может быть, деньжонок нехватка? Ась?

МОНТЕР

Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важней в театре — актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят.

Дело это произошло в Саратове или Симбирске, одним словом, где-то недалеко от Туркестана. В городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер — Иван Кузьмич Мякишев.

На общей группе, когда весь театр в двадцать третьем году снимали на карточку, монтера этого пихнули куда-то сбоку — мол, технический персонал. А в центр, на стул со спинкой, посадили тенора.

Монтер Иван Кузьмич Мякишев ничего на это хамство не сказал, но затаил некоторую грубость.

А тут такое подошло. Сегодня, для примеру, играют «Руслан и Людмила». Музыка Глинки. Дирижер — маэстро Кацман. А без четверти минут восемь являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами приперлись — неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу — посмотреть на спектакль. Монтер говорит:

— Да ради бога, медам. Сейчас я вам пару билетов сварганю. Посидите тут, у будки.

И сам, конечно, к управляющему.

Управляющий говорит:

— Сегодня вроде как выходной день. Народу пропасть. Каждый стул на учете. Не могу.

Монтер говорит:

— Ах так, говорит. Ну так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас важней и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать.

И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет к чертовой бабушке, замкнул на все ключи будку и сидит — отчаянно флиртует.

Тут произошла, конечно, форменная обструкция. Управляющий бегает. Публика орет. Кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не уперли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший завсегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенором:

— Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, говорит,

темно — я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже. Пущай сукин сын монтер поет.

Монтер говорит:

— Пущай не поет. Наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре сымается, то и пущай одной рукой поет, другой свет зажигает. Дерьмо какое нашлось! Думает — тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету!

Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором.

Вдруг управляющий является, говорит:

— Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, корова их забодай!

Монтер говорит:

— Вот они, чертовы девицы! Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, говорит, я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко.

Дал он сию минуту свет.

— Начинайте, говорит.

Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль.

Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме.

УЗЕЛ

Воровство, милые мои,— это цельная и огромная наука.

В наше время, сами понимаете, ничего не сопрешь так вот, здорово живешь. В наше время громадная фантазия требуется.

Главная причина — публика очень осторожная стала. Публика такая, что завсегда стоит на страже своих интересов. Одним словом, вот как бережет свое имущество! Пуще глаза!

— Глаз, говорят, завсегда по страхкарточке восстановить можно. Имущество же никоим образом при нашей бедности не вернешь.

И это действительно верно.

По этой причине вор нынче пошел очень башковатый, с особенным умозрением и с выдающейся фантазией. Иначе ему с таким народом не прокормиться.

Да вот, для примеру, нынче осенью опутали одну знакомую мою — бабку Анисью Петрову. И ведь какую бабку опутали! Эта бабка сама очень просто может любого

опутать. И вот подите же — уперли у ней узел, можно сказать, прямо из-под сижу.

А уперли, конечно, с фантазией и замыслом. А сидит бабка на вокзале. Во Пскове. На собственном узле. Ожидает поезда. А поезд в двенадцать часов ночи ходит.

Вот бабка с утра пораньше и приперлась на вокзал. Села на собственный узел. И сидит. И нипочем не сходит. Потому пугается сходить. «Не замели бы, полагает, узел».

Сидит и сидит бабка. Тут же на узле и шамает и водицу пьет — подают ей христа ради прохожие. А по остальным мелким делишкам — ну, мало ли — помыться или побриться — не идет бабка, терпит. Потому узел у ней очень огромный, ни в какую дверь вместе с ней не влазит по причине размеров. А оставить, я говорю, боязно.

Так вот сидит бабка и дремлет.

«Со мной, думает, вместях узел не сопрут. Не таковская я старуха. Сплю я довольно чутко — проснусь».

Начала дремать наша божья старушка. Только слышит сквозь дремоту, будто кто-то ее коленом пихает в морду. Раз, потом другой раз, потом третий раз.

«Ишь ты, как задевают! — думает старуха.— Неаккуратно как народ ходит».

Протерла бабка свои очи, хрюкнула и вдруг видит, будто какой-то посторонний мужчина проходит мимо нее и вынимает из кармана платок. Вынимает он платок и с платком вместе нечаянно вываливает на пол зеленую трешку.

То есть ужас как обрадовалась бабка. Плюхнулась, конечное дело, вслед за трешкой, придавила ее ногой, после наклонилась незаметно — будто господу богу молится и просит его подать поскорей поезд. А сама, конечное дело, трешку в лапу и обратно к своему добру.

Тут, конечно, грустновато рассказывать, но когда обернулась бабка, то узла своего не нашла. А трешка, между прочим, оказалась грубо фальшивая. И была она кинута на предмет того, чтобы бабка сошла бы со своего узла.

Эту трешку с трудом бабка продала за полтора целковых.

ПРЕЛЕСТИ КУЛЬТУРЫ

Всегда я симпатизировал центральным убеждениям.

Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней.

Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.

И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться,— сиди в чем пришел. Это было достижение.

А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздеванья в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается — красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком.

Товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить — не помню.

Встречают и уговаривают:

— Горло, говорят, Василий Митрофанович, от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль — «Грелка».

И, одним словом, уговорили меня пойти в театр — провести культурно вечер.

Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться.

— Польта, говорят, сымайте.

Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польта. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. «Прямо, думаю, срамота может произойти». Главное — рубаха нельзя сказать что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. «Срамота, думаю, с такой крупной пуговицей в фойе идти».

Я говорю своим:

— Прямо, говорю, товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто сымать. Все-таки подтяжки там и сорочка опять же грубая.

Товарищ Локтев говорит:

— Ну, покажись.

Расстегнулся я. Показываюсь.

— Да, говорит, действительно, видик...

Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит:

— Я, говорит, лучше домой пойду. Я, говорит, не могу,

чтоб кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, говорит, еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольно, говорит, вам неловко в таком отвлеченном виде в театры ходить.

Я говорю:

— Я не знал, что я в театры иду,— дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу,— что тогда?

Стали мы думать, что делать. Локтев, собака, говорит:

— Вот чего. Я, говорит, Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко.

Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя.

— Ой, говорит, мать честная, я, говорит, сам сегодня не при жилетке. Я, говорит, тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней. Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко.

Дама говорит:

— Лучше, говорит, я, ей-богу, домой пойду. Мне, говорит, дома как-то спокойней. А то, говорит, один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук заместо пиджака. Пущай, говорит, Василий Митрофанович в пальто попросит пойти.

Просим и умоляем, показываем союзные книжки — не пущают.

— Это, говорят, не девятнадцатый год — в пальто сидеть.

— Ну, говорю, ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти.

Но как подумаю, что деньги заплачены, не могу идти — ноги не идут к выходу.

Локтев, собака, говорит:

— Вот чего. Ты, говорит, подтяжки отстегни,— пущай их дама понесет заместо сумочки. А сам валяй как есть: будто у тебя это летняя рубашка апаш и тебе, одним словом, в ней все время жарко.

Дама говорит:

— Я подтяжки не понесу, как хотите. Я, говорит, не для того в театры хожу, чтоб мужские предметы в руках носить. Пущай Василий Митрофанович сам несет или в карман себе сунет.

Раздеваю пальто. Стою в рубашке, как сукин сын.

А холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю. А кругом публика смотрит.

Дама отвечает:

— Скорей вы, подлец этакий, отстегивайте помочи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду.

А мне скоро тоже не отстегнуть. Мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются — сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю.

После приводим себя в порядок и садимся на места.

Первый акт проходит хорошо. Только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался.

Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию. Объясняют насчет меня.

— Дамам, говорят, противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорят, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын.

Я говорю:

— Я верчусь от холода. Посидите-ка в одной рубахе. А я, говорю, братцы, и сам не рад. Что же сделать?

Волокут меня, конечно, в контору. Записывают все как есть.

После отпускают.

— А теперь, говорят, придется вам трешку по суду отдать.

Вот гадость-то! Прямо не угадаешь, откуда неприятности...

МЕЩАНСКИЙ УКЛОН

Этот случай окончательно может доконать человека.

Василия Тарасовича Растопыркина —Васю Растопыркина, этого чистого пролетария, беспартийного черт знает с какого года — выкинули с трамвайной площадки.

Больше того — мордой его трахнули об трамвайную медную полустойку. Он был ухватившись за нее двумя руками и головой и долго не отцеплялся. А его милиция и обер-стрелочник стягивали.

Стягивали его вниз по просьбе мещански настроенных пассажиров.

Конечно, слов нет, одет был Василий Тарасович не во фраке. Ему, знаете, нету времени фраки и манжетки на грудь надевать. Он, может, в пять часов шабашит и сразу домой прет. Он, может, маляр. Он, может, действительно как собака грязный едет. Может, краски и другие

предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает и ходить пешком ему трудно.

И не может он, ввиду скромной зарплаты, автомобиль себе нанимать для разъездов и приездов. Ему автомобили не по карману. Ему бы на трамвае проехаться — и то хлеб. Ой, до чего дожили, до чего докатились!

А пошабашил Василий Тарасович в пять часов. В пять часов он пошабашил, взял, конечно, на плечи стремянку и ведрышко с остатней краской и пошел себе к дому. Пошел себе к дому и думает:

«Цельный день, думает, лазию по стремянкам и разноцветную краску на себя напущаю и не могу идтить пешком. Дай, думает, сяду на трамвай, как уставший пролетарий».

Тут, конечно, останавливается перед ним трамвай № 6. Василий Тарасович просит, конечно, одного пассажира подержать в руке ведрышко с остатней краской, а сам, конечно, становит на площадку стремянку.

Конечно, слов нет, стремянка не была сплошной чистоты — не блестела. И в ведрышко — раз в нем краска — нельзя свои польты окунать. И которая дама сунула туда руку — сама, дьявол ее задави, виновата. Не суй рук в чужие предметы!

Но это все так, с этим мы не спорим: может, Василий Тарасович, действительно верно, не по закону поступил, что со стремянкой ехал. Речь не об этом. Речь — о костюме. Нэпманы, сидящие в трамвае, решительно взбунтовались как раз именно насчет костюма.

— То есть, говорят, не можно к нему прикоснуться, совершенно, то есть, отпечатки бывают.

Василий Тарасович резонно отвечает:

— Очень, говорит, то есть, понятно,— раз масляная краска на олифе, то отпечатки завсегда случаются. Было бы, говорит, смертельно удивительно, если б без отпечатков.

Тут, конечно, одна нэпманша из кондукторов трезвонит, конечно, во все звонки, и вагон останавливается. Останавливает вагон и хамским голосом просит сойти Василия Тарасовича. Василий Тарасович говорит:

— Трамвай для публики или публика для трамвая — это же, говорит, понимать надо. А я, говорит, может, в пять часов шабашу. Может, я маляр?

Тут, конечно, происходит печальная сцена с милицией и обер-стрелочником. И кустаря-пролетария Василия Та-

расовича Растопыркина сымают, как сукина сына, с трамвайной площадки, мордой задевают об полустойку и выживают. Со стремянкой уж и в вагоне проехаться нельзя! До чего докатились!

ЛИМОНАД

Я, конечно, человек непьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало — так, приличия ради или славную компанию поддержать.

Больше как две бутылки мне враз нипочем не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела, я четверть выкушал.

Но это было в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли.

А теперь старею.

Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался. Задрожал.

— У вас, говорит, полная девальвация. Где, говорит, печень, где мочевой пузырь, распознать, говорит, нет никакой возможности. Очень, говорит, вы сносились.

Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему.

«Дай, думаю, сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь».

Врач никакой девальвации не нашел.

— Органы, говорит, у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь, говорит, вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца — очень еще отличное, даже, говорит, шире, чем надо. Но, говорит, пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться.

А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой. Мне только-только в начале нэпа сорок три года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое. И пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться. «Надо, думаю, в самом деле пить бросить». Взял и бросил.

Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую.

Покушал суп. Начал вареное мясо кушать — охота выпить. «Заместо, думаю, острых напитков попрошу чего-нибудь помягче — нарзану или же лимонаду». Зову.

— Эй, говорю, который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду.

Приносят, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе. В графине. Наливаю в стопку.

Пью я эту стопку, чувствую: кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт! Налил остатки — самая настоящая водка.

— Неси, кричу, еще!

«Вот, думаю, поперло-то!»

Приносит еще.

Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось — самая натуральная.

После, когда деньги заплатил, замечание все-таки сделал.

— Я, говорю, лимонаду просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова?

Тот говорит:

— Так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово. Еще с прежних времен... А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим — потребителя нету.

— Неси, говорю, еще последнюю.

Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится — жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.

ГОСТИ

Конечно, об чем говорить! Гость нынче пошел ненормальный. Все время приходится за ним следить. И чтоб пальто свое надел. И чтоб лишнюю барашковую шапку не напялил.

Еду-то, конечно, пущай берет. Но зачем же еду в салфетки заворачивать? Это прямо лишнее. За этим не последишь, так гости могут в две вечеринки все имущество вместе с кроватями и буфетами вывезти. Вон какие гости пошли!

У моих знакомых на этой почве небольшой инцидент развернулся на этих праздниках.

Приглашено было на рождество человек пятнадцать самых разнообразных гостей. Были тут и дамы, и не дамы. Пьющие и выпивающие.

Вечеринка была пышная. На одну только жратву истрачено было около семи рублей. Выпивка — на паях. По два с полтиной с носу. Дамы бесплатно. Хотя это, прямо сказать, глупо. Другая дама налижется до того, что любому

мужчине может сто очков вперед дать. Но не будем входить в эти подробности и расстраивать свои нервы. Это уж дело хозяйское. Им видней.

А хозяев было трое. Супруги Зефировы и ихний старик — женин папа — Евдокимыч.

Его, может, специально пригласили на предмет посмотреть за гостями.

— Втроем-то, говорят, мы очень свободно за гостями доглядеть можем. Каждого гостя на учет возьмем.

Стали они глядеть.

Первым выбыл из строя Евдокимыч. Этот старикан, дай бог ему здоровья и счастливой старости, в первые же пять минут нажрался до того, что «мама» сказать не мог.

Сидит, глазами играет и дамам мычит определенные вещи.

Сам хозяин Зефиров очень от этой папиной выпивки расстроился и огорчился и сам начал ходить по квартире — следить, как и чего и чтоб ничего лишнего.

Но часам к двенадцати от полного огорчения и сам набрался до полного безобразия. И заснул на видном месте — в столовой на подоконнике.

Впоследствии обнаружилось, что ему надуло фотографическую карточку, и три недели он ходил с флюсом.

Гости, пожрав вволю, начали играть и веселиться. Начались жмурки, горелки и игра в щеточку.

Во время игры в щеточку открывается дверь и входит мадам Зефирова, бледная как смерть, и говорит:

— Это, говорит, ну чистое безобразие! Кто-то сейчас выкрутил в уборной электрическую лампочку в двадцать пять свечей. Это, говорит, прямо гостей в уборную нельзя допущать.

Начался шум и треволнение. Папаша Евдокимыч, конечно, протрезвился вмиг, начал беспокоиться и за гостей хвататься.

Дамы, безусловно, визжат, не допускают себя лапать.

— Хватайтесь, говорят, за мужчин, в крайнем случае, а не за нас.

Мужчины говорят:

— Пущай тогда произведут поголовный обыск.

Приняли меры. Закрыли двери. Начали устраивать обыск.

Гости самолично поочередно выворачивали свои карманы, и расстегивали гимнастерки и шаровары, и снимали сапоги. Но ничего такого предосудительного, кроме нескольких бутербродов и полбутылки мадеры, двух

небольших рюмок и одного графина, обнаружено не было.

Хозяйка, мадам Зефирова, начала горячо извиняться — дескать, погорячилась и кинула тень на такое избранное общество. И высказала предположение, что, может быть, кто и со стороны зашел в уборную и вывинтил лампу.

Однако момент был испорчен. Никто играть в щеточку не захотел больше, танцы под балалайку тоже расстроились, и гости начали тихонько расходиться.

А утром, когда хозяин продрал свои очи, все выяснилось окончательно.

Оказалось, что хозяин из боязни того, что некоторые зарвавшиеся гости могут слимонить лампочку, выкрутил ее и положил в боковой карман.

Там она и разбилась.

Хозяин, видимо, круто налег на нее, когда заснул на подоконнике.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

У моих знакомых, у Гусевых, немец из Берлина жил.

Комнату снимал. Почти два месяца прожил.

И не какой-нибудь там чухонец или другое национальное меньшинство, а настоящий германец из Берлина. По-русски — ни в зуб ногой. С хозяевами изъяснялся руками и головой.

Одевался, конечно, этот немец ослепительно. Белье чистое. Штаны ровные. Ничего лишнего. Ну прямо гравюра.

А когда уезжал этот немец, то много чего оставил хозяевам. Цельный ворох заграничного добра. Разные пузырьки, воротнички, коробочки. Кроме того, почти две пары кальсон. И свитер почти не рваный. А мелочей разных и не счесть — и для мужского, и для дамского обихода.

Все это в кучку было свалено в углу, у рукомойника.

Хозяйка, мадам Гусева, дама честная, ничего про нее такого не скажешь, намекнула немчику перед самым отъездом — дескать, битте-дритте, не впопыхах ли изволили заграничную продукцию оставить.

Немчик головой лягнул, дескать, битте-дритте, пожалуйста, заберите, об чем разговор, жалко, что ли.

Тут хозяева налегли на оставленную продукцию. Сам Гусев даже подробный список вещам составил. И уж, конечное дело, сразу свитер на себя напялил и кальсоны взял.

После две недели ходил с кальсонами в руках. Всем показывал, невозможно как гордился и хвалил немецкое качество.

А вещи, действительно, были хотя и ношеные, и, вообще говоря, чуть держались, однако, слов нет — настоящий, заграничный товар, глядеть приятно.

Между прочим, среди оставленных вещей была такая фляга не фляга, но вообще такая довольно плоская банка с порошком. Порошок вообще розовый, мелкий. И душок довольно симпатичный — не то лориган, не то роза.

После первых дней радости и ликования начали Гусевы гадать, что за порошок. Нюхали, и зубами жевали, и на огонь сыпали, но угадать не могли.

Носили по всему дому, показывали вузовцам и разной интеллигенции, но толку не добились.

Многие говорили, будто это пудра, а некоторые заявляли, будто это мелкий немецкий тальк для подсыпки только что родившихся немецких ребят.

Гусев говорит:

— Мелкий немецкий тальк мне ни к чему. Только что родившихся ребят у меня нету. Пущай это будет пудра. Пущай я буду после каждого бритья морду себе подсыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни.

Начал он бриться и пудриться. После каждого бритья ходит розовый, цветущий и прямо благоухает.

Кругом, конечно, зависть и вопросы.

Тут Гусев, действительно, поддержал немецкое производство. Много и горячо нахваливал немецкий товар.

— Сколько, говорит, лет уродовал свою личность разными русскими отбросами и вот наконец дождался. И когда, говорит, эта пудра кончится, то прямо и не знаю, как быть. Придется выписать еще баночку. Очень уж чудный товар. Прямо душой отдыхаю.

Через месяц, когда пудра подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку.

Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох.

Конечно, другой, менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством. И даже, может быть, у менее жизнерадостного человека рожа покрылась бы прыщами и угрями от излишней мнительности. Но не таков был Гусев.

— Вот это я понимаю,— сказал он.— Вот это качество продукции! Вот это достижение. Это, действительно, не

переплюнешь товар. Хочешь морду пудри, хочешь блох посыпай! На все годится. А у нас что?

Тут Гусев, похвалив еще раз немецкое производство, сказал:

— То-то я гляжу — что такое? Целый месяц пудрюсь, и хоть бы одна блоха меня укусила. Жену, мадам Гусеву, кусают. Сыновья тоже цельные дни отчаянно чешутся. Собака Нинка тоже скребется. А я, знаете, хожу и хоть бы что. Даром что насекомые, но чувствуют, шельмы, настоящую продукцию. Вот это действительно...

Сейчас порошок у Гусева кончился. Должно быть, снова его кусают блохи.

ХИРОМАНТИЯ

Хотя событие это довольно мелкое, внутридомашнее, но дозвольте о нем рассказать, хотя бы в порядке дискуссии.

Слов нет, смешно на седьмой год нэпа разговаривать о таинственных вещах и предсказаниях. Все это давно отошло в область предания. Знаем. И спорить об этом не собираемся.

Пущай только не пугается читатель. Здесь речь идет всего-навсего о хиромантии. Наука эта дозволена правительством. И рассказ, в силу этого, не может оскорбить ничьей даже самой ураганной идеологии.

А дело такое. Хиромантка с нашего дома очень уж удивительно верно предсказала судьбу казначею и члену правления товарищу Ящикову.

А пошел к ней тов. Ящиков перед самым праздником. Пошел просто шутя, для потехи. Живет с ней все-таки на одной площадке. Отчего, думает, не пойти. Все-таки с казначея ей взять неловко. А возьмет, так после наплачется.

Вот он и пошел.

— Человек, говорит, я довольно культурный, полуинтеллигентный, мне, говорит, прямо срамота до хиромантох ходить. Но, говорит, подкупает меня, что даром. Пущай чего-нибудь мне скажет. Я от этого не похудею.

И приходит он до хиромантки.

Взяла она его руку. Смыла, конечно, с ладони всякую производственную чепуху. А то, дескать, никаких линий не видать. И говорит:

— Рука, говорит, у вас ничего особенно ужасного не выражает. Линий, говорит, на ей много. И я, говорит, сама,

даром что хиромантка, в этих линиях путаюсь и затрудняюсь. Дозвольте, говорит, заместо того разложить карты, уважаемый товарищ.

И раскладывает она карты и отвечает:

— Действительно, отвечает, наступают рождественские праздники. И придут до вас несколько королей и девятка бубей. И будет-произойдет у вас с ними драка. И начнете вы друг дружку сыпать-ударять по морде. И может быть, даже пострадает одна дама. А так остальное все ничего, слава богу. И никакой такой особенной психологии у вас не предвидится.

Посмеялся на эти слова товарищ Ящиков, ничего ей, дуре такой, не заплатил и ушел к себе.

И вот ударяют праздники. Происходит сочельник. И наступает первый день. Приходят до товарища Ящикова несколько королей и девятка бубей, кушают, выпивают и легонько бузят. И в девять часов завязывается у них драка.

И в первый день как по писаному.

И перекидывается эта драка на лестницу, на площадку.

Тут непостижимым образом впутывается в драку хиромантка. Может быть, она услышала шум на лестнице и вышла поглядеть. Только товарищ Ящиков погнался за ней и хотел за верное предсказанье кинуть ее в помойку.

Одним словом, все произошло как по писаному. Даже пострадала дама.

Конечно, если поглядеть в глубь вещей, то особенно удивительного в этом предсказании ничего не было. Драка случалась ужасно часто у товарища Ящикова. Не только по праздникам, а и в будние дни той же хиромантке приходилось за милицией бегать.

Так что лавры нашей хиромантки чуть слегка блекнут от этих соображений.

Хотя как сказать. Если б не предсказание — может, ничего бы и не было.

Товарищ Ящиков сам говорил:

— И гости были смирные — мухи не обидят. И жрали мало. И нипочем бы, говорит, не стал я таких гостей трогать. Но, говорит, вспомнил предсказание и ударил.

Все-таки есть еще на свете что-то таинственное. Ну откуда у человека берется такое дарование — видеть в глубь природы и указывать события?

МЕЛКОТА

Хочется сегодня размахнуться на что-нибудь героическое. На какой-нибудь этакий грандиозный, обширный характер со многими передовыми взглядами и настроениями. А то все мелочь да мелкота — прямо противно.

Или, может, не поперло нам в жизни, только так и не удалось нам встретиться близко с каким-нибудь таким героическим товарищем. Все больше настоящая мелкота под ногами путалась.

А скучаю я, братцы, по настоящему герою! Вот бы мне встретить такого!

Одного я, впрочем, встретил недавно. И даже нацелился на него — хотел героем в повесть включить. А он, собака, в самую последнюю минуту до того свернул с героической линии, что и писать о нем в пышном стиле прямо нет охоты.

Конечно, обстоятельства сложились неаккуратно. Главная причина — заболел человек.

А заболел он девятнадцатого декабря прошлого года. Простудился, видите ли. Сначала стал он легонько кашлять и сморкаться. Потом прошиб его цыганский пот. Потом началось трясение всего организма. И наконец, слег человек, прямо скажем, без задних ног.

На второй день, как слег, закрылось у него почти все дыхание — ни охнуть, ни чихнуть. Начался отчаянный процесс в легких и замирание всего организма. И вообще приближение смерти.

Не желая расстраивать читателей, скажем заранее, что в дальнейшем человек все-таки поправился, не помер и вообще на днях приступил к исполнению служебных обязанностей. Но смерть близко к нему подходила.

Другой, менее передовой товарищ очень бы от этого прискорбного факта расстроился. Но товарищ Барбарисов был настоящий герой. Бился на всех фронтах. И завсегда при мирном строительстве всех срамил за мелкие мещанские интересы и за невзнос квартирной платы.

Товарищ Барбарисов не испугался какой-то мелкомещанской смерти. Он только рукой махнул на своих рыдающих родственников — дескать, отойдите, черти, без вас тошно. Настановились тут со своими харями...

Но, между прочим, в самую последнюю минуту все-таки подкачал. Свернул со своей передовой программы.

А начал он произносить какие-то слова.

Обступили, конечно, родственники опять. Стали спрашивать, дескать, про что лепечете.

Барбарисов говорил:

— Венков не надо. Пущай лучше крышу у нас кровельным железом кроют. И, говорит, пущай попов на пушечный выстрел ко гробу не подпущают. Только, говорит, в крематорий меня везть не надо. Умоляю вас. Пожалуйста. Похороните обыкновенно.

Родственники начали успокаивать, дескать, об чем речь — конечное дело, какой там крематорий.

Горько на это усмехнулся Барбарисов.

— Нет, говорит, боюсь, что в этом смысле товарищ Галкин может подкузьмить. Я ему в дружеской беседе сам про это не раз говорил и настаивал. Как бы теперь он, подлая личность, на этом не настоял. Не допущайте сжигать. Я, говорит, не привык еще к этому.

После этих слов начался кризис, легкий сон и освобождение организма от всякой дряни. И вообще стал поправляться человек.

Через неделю, когда Барбарисов, розовенький и свеженький, сидел в своей постели на подушке, зашел к нему с визитом товарищ Галкин. Очень о многом они говорили. Барбарисов очень извинялся за крематорий.

— Прямо, говорит, не знаю, только в последнюю минуту неохота было ехать в крематорий, оробел. В другой раз буду помирать — не затрудняйтесь выбором, везите меня в крематорий.

Галкин говорит:

— Ежели лет десять протянете еще — повезем. А пока, говорит, об чем речь? Пока, говорит, еще у нас в Питере не возят. В проекте все.

Тут Барбарисов хлопнул себя по лбу.

— Действительно, говорит, как это у меня из башки выпало. Зря оробел. Извиняюсь.

Через пять дней Барбарисов поправился и про этот случай больше не вспоминал.

МЕЛКИЙ СЛУЧАЙ

Конечно, случай этот мелкий, не мирового значения. Некоторые людишки очень даже свободно не поймут, в чем тут дело.

Нэпман, например, у которого, может, в каждом жи-

летном кармане серебро гремит, тоже навряд ли разберется в этом происшествии.

Зато поймет это дело простой рабочий человек, который не гребет деньги лопатой. Такой человек поймет и очень даже горячо посочувствует Василию Ивановичу.

Дело в том, что Василий Иванович купил билет в театр.

В день получки Вася специально зашел в театр и, чтобы зря не растратиться, купил заблаговременно билет в шестнадцатом ряду.

Человек давно мечтал провести вечер в культурном общежитии. И в силу этого целковый отдал, не моргнув глазом. Только языком чуть щелкнул, когда кассир монету загребал...

А к этому спектаклю Василий Иванович очень серьезно готовился. Помылся, побрился, галстук привязал.

Ох-ох, Василий Иванович, Василий Иванович! Чувствовало ли твое благородное сердце житейский подвох? Предвидел ли ты все мелочи жизни? Не дрогнула ли у тебя стальная рука, привязывая галстук?

Ох-ох, грустные дела, скучные дела происходят на свете!

А в день спектакля Василий Иванович в очень радостно-веселом настроении пошел в театр.

«Другие, думает, людишки, нет на них погибели, в пивные ходят или в пьяном угаре морды об тумбу друг другу разбивают. А тут идешь себе в театр. С билетом. Тепло, уютно, интеллигентно. И цена за все — рубль».

Пришел Василий Иванович в театр минут за двадцать.

«Пока, думает, то да се, пока разденусь, да схожу оправиться, да галстук потуже привяжу — оно в аккурат и будет».

Начал наш милый товарищ Василий Иванович раздеваться — глядит, на стене объявление: двадцать копеек с персоны за раздеванье.

Екнуло у Василия Ивановича сердце.

«Нету, думает, у меня таких денег. За билет — да, действительно сполна уплачено. А больше нету. Копеек восемь, должно быть, набежит. Если, думает, за эту сумму не пристрою одежу, то худо. Придется в пальто и галошах переть и на шапке сидеть».

Разделся наш сердечный друг Василий Иванович. Подает одежду с галошами за барьер.

— Извини, говорит, дядя, мелких мало. Прими в руку что есть, не считая.

А при вешалке, как раз наоборот, попался человек циничный. Он сразу пересчитал мелкие.

— Ты, говорит, что ж это, собачья кровь, шесть копеек мне в руку кладешь? Я, говорит, за это могу тебя галошей по морде ударить.

Тут сразу между ними ссора произошла. Крик.

Вешальщик орет:

— Да мне, может, за эти мелкие противно за твоими галошами ухаживать. Отойди от моей вешалки, не то я за себя не ручаюсь.

Василий Иванович говорит:

— Ты, зараза, не ори на меня. Не подрывай авторитета в глазах буржуазии. Прими одежу, как есть, я тебе завтра занесу остатние.

Вешальщик говорит:

— Ты меня буржуями не стращай. Я, говорит, не испугался. Отойди от моей вешалки на пушечный выстрел, арапская твоя личность.

Тут, конечно, другие вешальщики начали обсуждать эпизод. Дискуссия у них поднялась — дескать, можно ли шесть копеек в руку совать.

А время, конечно, идет. Последние зрители бегут в зал. Акт начинается.

Васин вешальщик орет за своим барьером:

— Пущай, говорит, этот паразит в другой раз со своей вешалкой приходит. Пущай, говорит, сам вешает и сам сторожит.

Василий Иванович чуть не заплакал от обиды.

— Ах ты, говорит, старая морда, верзила-мученик. Да я, говорит, за эти выражения могу тебе всю бороду выдернуть.

Тут Василий Иванович поскорей надел пальто, положил галоши в шапку и бросился к дверям. Бросился к дверям — не пущают в одеже.

— Братцы,— говорит Василий Иванович,— милые товарищи, билет же, глядите, вот у меня в руке. Оторвите от него корешок и пропустите.

Нет, не пускают.

Тут, действительно, Василий Иванович прямо заметался. Спектакль идет. Музыка раздается. Билет в руке. И пройти нельзя.

Поскорее разделся Василий Иванович, завернул одежду в узел. Ткнулся с узлом в дверь — не дозволяют.

— Вы бы, говорят, еще перину с собой принесли.

А время идет. Музыка гремит. Антракт начинается.

Василий Иванович совершенно упал духом.

Бросился до своего вешальщика.

— Ах ты, говорит, распродажная твоя личность! Глядите, какую харю наел, ухаживая за нэпом.

Еще немного — и произошла бы некрасивая стычка. Но, спасибо, другие вешальщики разняли.

Один старенький, наиболее добродушный вешальщик говорит Василию Ивановичу:

— Прямо, говорит, очень жалко на тебя глядеть, как ты расстраиваешься. Вешай ко мне задаром. Только, говорит, завтра, христа ради, не позабудь принести.

Василий Иванович говорит:

— Чего мне теперь вешать, раз второе действие идет. Я, говорит, все равно теперь ни хрена не пойму. Я, говорит, не привык пьесы с конца глядеть.

Начал Василий Иванович продавать свой билет кому попало. С трудом продал за гривенник одному беспризорному. Плюнул в сторону своего вешальщика и вышел на улицу.

ПУШКИН

Девяносто лет назад убили на дуэли Александра Сергеевича Пушкина.

Вся Россия, можно сказать, горюет и слезы льет в эту прискорбную годовщину. Но, между прочим, больше всех горюет и убивается Иван Федорович Головкин.

Этот милый человек при одном только слове — Пушкин — ужасно вздрагивает и глядит в пространство.

И как же ему, братцы, не глядеть в пространство, если обнаружилась такая, можно сказать, печальная сторона жизни гениального поэта.

Мы, конечно, начнем нашу повесть издалека, чтобы не оскорбить память знаменитого гения. Начнем примерно с 1921 года. Тогда будет все наглядней.

В 1921 году, в декабре месяце, приехал из армии в родной свой городок Иван Федорович Головкин.

А тут как раз нэп начался. Оживление. Булки стали выпекать. Торговлишка завязалась. Жизнь, одним словом, ключом забила.

А наш приятель Головкин, несмотря на это, ходит по городу безуспешно. Помещения не имеет. И спит по субботам у знакомых. На собачьей подстилке. В передней комнате.

Ну и, конечно, через это настроен скептически.

— Нэп, говорит, это форменная утопия. Полгода, говорит, не могу помещения отыскать.

В 1923 году Головкин все-таки словчился и нашел помещение. Или он въездные заплатил, или вообще фортуна к нему обернулась, но только нашел.

Комната маленькая. Два окна. Пол, конечно. Потолок. Это все есть. Ничего против не скажешь.

А очень любовно устроился там Головкин. На шпалеры разорился — оклеил. Гвозди, куда надо, приколотил, чтоб уютней выглядело. И живет, как падишах.

А время, конечно, идет. Вот уже весемьдесят седьмая годовщина ударяет со дня смерти нашего дорогого поэта Пушкина. Потом восемьдесят восьмая.

На восемьдесят девятой годовщине разговоры, конечно, поднялись в квартире. Пушкин, дескать. Писатель. Жил, дескать, в свое время в этом помещении. Осчастливил, дескать, жилплощадь своим нестерпимым гением. Не худо бы в силу этого какую ни на есть досточку приклеить с полным обозначением и в назидание потомству.

Иван Федорович Головкин тоже сдуру участие принял в этой дощечке на свою голову.

Только вдруг в квартире ропот происходит. Дамы мечутся. Кастрюльки чистят. Углы подметают.

Комиссия приходит из пяти человек. Помещение осматривает.

Увидела комиссия разную домашнюю требуху в квартире — кастрюли и пиджаки — и горько так вздохнула.

— Тут, говорит, когда-то Александр Сергеевич Пушкин жил. А тут наряду с этим форменное безобразие наблюдается. Вон метла стоит. Вон брюки висят — подтяжки по стенам развеваются. Ведь это же прямо оскорбительно для памяти гения!

Ну, одним словом, через три недели выселили всех жильцов из этого помещения.

Головкин, это верно, очень ругался. Крыл. Выражал свое особое мнение открыто, не боясь никаких последствий.

— Что ж, говорит, это такое? Ну, пущай он гений. Ну, пущай стишки сочинил: «Птичка прыгает на ветке». Но зачем же средних людей выселять? Это же утопия, если жильцов выселять.

Хотел Головкин в Пушкинский заповедник поехать — ругаться, но после занялся подыскиванием помещения.

Он и сейчас еще ищет. Осунулся, поседел. Требовательный такой стал. Все расспрашивает, кто да кто раньше жил

в этом помещении. И не жил ли здесь, оборони создатель, Демьян Бедный или Мейерхольд. А если жил, то он, Головкин, и даром не возьмет такого помещения.

А это верно: как это некоторые крупные гении легкомысленно поступают — мотаются с квартиры на квартиру, переезжают. А после такие печальные результаты.

Да вот недалеко ходить, в наше время наш знакомый поэт, Митя Цензор, Дмитрий Михайлович. Да он за последний год не менее семи комнат сменил. Все, знаете, никак не может ужиться. За неплатеж.

А ведь, может, он, черт его знает, гений!

Ох и обложат же его лет через пятьдесят за эти семь комнат.

Единственно, может быть, жилищный кризис несколько ослабнет к тому времени. Одна надежда.

СИЛА КРАСНОРЕЧИЯ

Дело было нельзя сказать что запутанное. Все было довольно-таки ясно и скучно.

Преступник сознался в своей вине.

Да, действительно, он влез в чужую квартиру, придушил чуть не на смерть какую-то квартирную старушонку и унес два костюма, медную кастрюлю и еще какое-то барахло.

Дело было плевое. Неинтересное.

Я хотел было уйти из зала суда, но пробраться было трудно. Много народу. К тому же сосед мой, староватый гражданин с седыми усами, очень неприветливо буркнул, когда я заворочался на своем месте.

Я остался, поглядел на преступника. Тот сидел неподвижно. Глядел безучастно куда-то в сторону.

— Интересно, сколько ему дадут? — сказал я.

— Ничего интересного,— сказал старик, мой сосед,— четыре года со строгой изоляцией.

— Почему вы так думаете?

— Не думаю,— строго сказал старик.— Кодекс думает.

Но вот вышел обвинитель.

Он начал говорить с сильным душевным подъемом. Много неподдельного гнева и презрения было в его словах. Он буквально растоптал преступника. Он сравнил его с самым последним дрянным мусором, который надо выкинуть без сожаления.

Я давно не слышал такой превосходной речи.

Публика сидела притихшая. Судьи внимательно слушали гневные слова прокурора.

Я поглядел на преступника. Низкий лоб. Тупая челюсть. Звериный взгляд. Да, действительно, форменный бандит. С каким страхом он глядел на говорившего!

— Здорово кроет,— сказал я.— Как бы парня налево не послали, а? Как вы думаете? Высшую меру не могут дать?

— Ерунда,— сказал старик,— четыре года со строгой изоляцией.

Но вот прокурор кончил. После небольшого перерыва начал говорить защитник.

Это был довольно молодой человек. Но сколько настоящего таланта было в нем! Какая сила красноречия! Какой неподдельной простотой и искренностью звучала вся его речь!

Красноречие — это большой дар. Это большое счастье — обладать такой способностью покорять людей своими словами и диктовать им свои желания.

Почти полтора часа говорил защитник.

Публика дергалась на своих местах. Дамы глубоко вздыхали и пудрили вспотевшие от волнения носы. Некоторые слабонервные всхлипывали и сморкались. Сам председатель нервно барабанил пальцами по бумаге.

Преступник в совершенном обалдении, полураскрыв рот, глядел на своего благодетеля.

Да, конечно, защитник и не пытается отрицать его вину. Нет! Это все так. Но не угодно ли заглянуть поглубже. Не угодно ли приподнять завесу, скрывающую тайники жизни. Да, преступник виновен, но нужно хоть раз с добрым сердцем взглянуть на этого человека, на его простое, наивное лицо.

Я снова посмотрел на преступника. В самом деле, а ведь лицо довольно простоватое. И лоб как лоб. Не особенно низкий. И челюсть не так уж выдается. Подходящая челюсть. Прямо трудно поверить, что с такой челюстью можно душить старушку.

— А ведь парня-то, пожалуй, оправдают,— сказал я,— или дадут условно. Очень уж способно говорит защитник.

— Ерунда,— сказал старик,— четыре года со строгой изоляцией.

Но вот суд удалился на совещание.

Публика ходила по коридору, обсуждая прекрасную речь защитника. Многие предполагали, что более одного года условно не могут дать.

Мой старик сосал небольшую трубку и сердито говорил в толпе:

— Ерунда! Четыре года со строгой изоляцией.

После долгого ожидания суд вернулся в зал.

Был оглашен приговор — четыре года со строгой изоляцией.

Конвойные тотчас окружили преступника и увели...

Публика медленно расходилась.

В толпе я увидел своего старика. Он прищурил глаз и что-то бормотал. Наверное, он сказал:

— Вот видите, я же говорил.

Этот человек явно скептически относился к красноречию.

Я с ним не согласен. Мне нравится, когда о человеке много и подробно говорят. Все-таки меньше шансов ошибиться.

ЦАРСКИЕ САПОГИ

В этом году в Зимнем дворце разное царское барахлишко продавалось. Музейный фонд, что ли, этим торговал. Я не знаю кто.

Я с Катериной Федоровной Коленкоровой ходил туда. Ей самовар нужен был на десять персон.

Самовара, между прочим, там не оказалось. Или царь пил из чайника, или ему носили из кухни в каком-нибудь граненом стакане, я не знаю, только самовары в продажу не поступили.

Зато других вещей было множество. И вещи, действительно, все очень великолепные. Разные царские портьеры, бордюры, разные рюмочки, плевательницы, сорочки и другие разные царские штучки. Ну прямо глаза разбегаются, не знаешь, за что схватиться и какую вещь приобрести.

Тогда Катерина Федоровна на свободные деньги купила, заместо самовара, четыре сорочки из тончайшего мадаполама. Очень роскошные. Царские.

Я же вдруг увидел в описи сапоги. Русское голенище, восемнадцать целковых.

Я сразу спросил у артельщика, который торговал:

— Какие это сапоги, любезный приятель?

Он говорит:

— Обыкновенно какие — царские.

— А какая, говорю, мне гарантия, что это царские? Может, говорю, какой-нибудь капельдинер трепал, а вы их

заместо царских выдаете. Это, говорю, нехорошо, неприлично.

— Тут кругом все имущество царской фамилии. Мы, говорит, дерьмом не торгуем.

— Покажи, говорю, товар.

Поглядел я сапоги. Очень мне ужасно понравились. И размер подходящий. И такие они не широкие, узенькие, опрятные. Тут носок, тут каблук. Ну прямо цельные сапоги. И вообще мало ношенные. Может, только три дня царь их носил. Подметка еще не облупилась.

— Господи, говорю, Катерина Федоровна, да разве, говорю, раньше можно было мечтать насчет царской обуви? Или, например, в царских сапогах по улице пройтись? Господи, говорю, как история меняется, Катерина Федоровна!

Восемнадцать целковых отдал за них, не горюя. И, конечно, за царские сапоги эта цена очень и очень небольшая.

Выложил восемнадцать целковых и понес эти царские сапоги домой.

Действительно, обувать их было трудно. Не говоря про портянку, на простой носок и то еле лезут. «Все-таки, думаю, разношу».

Три дня разнашивал. На четвертый день вдруг подметка отлипла. И не то чтобы одна подметка, а так полностью вместе с каблуком весь нижний этаж отвалился. Даже нога наружу вышла.

А случилось это поганое дело на улице, на бульваре Союзов, не доходя Дворца труда. Так и попер домой на Васильевский остров без подметки.

Главное, денег было очень жалко. Все-таки восемнадцать целковых. И пожаловаться некуда. Ну будь эти сапоги фабрики «Скороход» или какой-нибудь другой фабрики — другой вопрос. Можно было бы дело возбудить или красного директора с места погнать за такую техническую слабость. А тут, извольте, царские сапоги.

Конечно, на другой день сходил в Музейный фонд. А там уже и торговать кончили — закрыто.

Хотел в Эрмитаж смотаться или еще куда-нибудь, но после рукой махнул. Главное, Катерина Федоровна меня остановила.

— Это, говорит, не только царский, любой королевский сапог может за столько лет прогнить. Все-таки, как хотите, со дня революции десять лет прошло. Нитки, конечно, сопреть могли за это время. Это понимать надо.

А действительно, братцы мои, десять лет протекло. Шутка ли! Товар и тот распадаться начал.

И хотя Катерина Федоровна меня успокоила, но когда, между прочим, после первой стирки у нее эти самые царские дамские сорочки полезли в разные стороны, то она очень ужасно крыла царский режим.

А вообще, конечно, десять лет прошло — смешно обижаться.

Время-то как быстро идет, братцы мои!

ЛИТЕРАТОР

Я первый раз в жизни видел такого писателя.

Он был еле грамотный. Читал он, правда, ничего себе, сносно. Хотя на некоторых длинных словах затруднялся. И буквы некоторые ему, видимо, были в диковинку.

Зато писал он до того худо, что в первый момент я даже растерялся, когда посмотрел на его рукопись. Это было черт знает что такое. Что-то вообще было нацарапано на бумаге, но что именно — разобрать было трудно.

Я просто обомлел, даже испугался, когда он заявил, что эта рукопись — юмористический рассказ. В рукописи было десятка два еле понятных фраз и выражений.

Ей-богу, такого писателя мне не приходилось больше видеть!

А главное, от него почему-то сильно разило скипидаром. Запах был до того острый, что просто можно было потерять сознание, если подольше посидеть с таким человеком.

Он, видимо, и сам сознавал всю остроту своего запаха. И, входя в комнату, он просил разрешения слегка приоткрыть форточку.

— Слушайте, товарищ,— сказал я ему, возвращая рукопись,— да может, вы спутали? Может, вы вовсе, как бы сказать, не писатель?

— Зачем же путать,— уныло сказал он.— Известно — писатель. Беллетрист.

Он заходил ко мне несколько раз. И всякий раз приносил страницы две-три черт знает какой ерунды.

Я несколько попривык к его куриному почерку и стал более внимательно читать. Нет, это была совершеннейшая галиматья. Это была просто неслыханная чушь. Это был какой-то лепет дефективного переростка!

С некоторым испугом отдавал я ему обратно рукописи. Я боялся, как бы он меня не убил за возврат. Уж очень он был мрачный. И усы у него были длинные, разбойничьи.

Однако он довольно терпимо относился к возврату.

— Значит, для журнала не годится? — спрашивал он.— Печатать нельзя?

— М-да,— говорил я,— навряд ли можно.

Он довольно равнодушно пожимал плечами и неясно говорил:

— Надо, конечно, расстараться.

И уходил.

Всего он заходил ко мне четыре раза.

В последний раз он припер с собой довольно объемистую рукопись — страниц на двадцать.

Я тут же, при нем, прочел и просто побледнел от злости.

— Это, говорю, товарищ, ну прямо ни к чертовой матери не годится. Надо же наконец понять. Не только печатать — читать совестно. Возьмите обратно. И не приходите больше.

Он строго посмотрел на меня и сказал:

— Дайте тогда расписку.

— Какую расписку?

— Да что не приняли!

— Да на что, говорю, тебе, чудак человек, расписка?

— Да так, говорит, все-таки...

Я посмеялся, но расписку дал. Написал, что произведения писателя такого-то не подходят для печати за малограмотностью.

Он поблагодарил меня и ушел со своей распиской.

Дня через три он снова прибежал ко мне. Он был несколько не в себе.

Он протянул назад мою расписку и сказал:

— Надо на бланке и чтоб печать. Нельзя такие расписки выдавать.

Тут я припер этого человека к стене. Я просто велел объяснить, на кой дьявол ему нужна расписка. Я ему сказал, что я человек частный и сам никаких печатей на руках не имею.

Тогда, несколько путаясь и сморкаясь в свою толстовку, он объяснил.

— Что ж,— сказал он,— человек я, конечно, не богатый. Гуталин делаю. Производство, конечно, маленькое — только что кормиться. И если, говорит, меня налогом

обложить, то я в трубу свободно вылечу. Или за квартиру платить не смогу, как торговец. А в доме говорят: «Какая у тебя профессия? Какую тебе цену определить?» Я говорю: «Какая профессия — литератор».— «Неси, говорят, сукин сын, удостоверение. Фининспектор тоже с нас требует».— «Бюрократизм, говорю, какой. Ладно, достану». Чего теперь делать?

— Да уж, говорю, не знаю.

Он потоптался в нерешительности и ушел.

Фамилию свою он просил никому не говорить. Черт с ним, не скажу.

МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО

Недавно ездили мы через весь Союз. Специально глядели, как живут люди.

Ничего себе живут. Стараются.

В любом городе заметно вырастают новые дома и домишки. Все больше такие небольшие коттеджи, вроде халуп.

И жилищный кризис в связи с этим начал как будто бы слегка ослабевать. Более как семнадцать человек в одной комнате нам не приходилось видеть.

И только в одном городе комнату занимало двадцать три персоны. Легковые извозчики. С семьями. Но это было в Ростове-на-Дону. Город этот все-таки южный, климатический. Даже, говорят, персики там могут расти. Море тоже не очень далеко плескается. Море это, может быть, круглый год не замерзает. При таких неслыханных климатических условиях просто нет такой острой необходимости в крытых помещениях.

А на север если перекинуться — там легче.

В том же Ленинграде квартир непочатый край.

Мой хороший знакомый, некий Иван Андреевич, не очень давно нашел себе квартиру. В том же городе Ленинграде. И недолго искал. Смотался раз или два в квартирное бюро. Там говорят:

— Можно. Сколько вам комнат? Пять, шесть?

— Три, говорит, будьте любезны.

— Можно.

И дали адрес.

А панические людишки, проевшие свою храбрость и мужество в гражданскую войну, говорят: кризис!

Сходил некий Иван Андреевич по адресу — да, действительно: три комнаты и все на свете.

И ремонт не особо большой оказался. Входные двери поставить и стенки вывести. Да еще лестницу до своего этажа достроить.

А что трубу перекладывать, то это по желанию. Труба — царской кладки. Тяга, конечно, есть, но только до прихожей, а у Ивана Андреевича грудь слабая. Он дым худо переносит. Все время задыхается.

Другой, более здоровый парень и с такой бы трубой прожил. В крайнем случае сунул бы голову в окно — так бы и жил.

Но тут пришлось и трубу перекладывать.

А денег Иван Андреевич не так много ухлопал. Конечно, денег порядочно ухлопал. Весь, можно сказать, продался, как последний сукин сын. И даже под вексель взял. Но духом не упал.

— В крайнем, говорит, случае, я могу эту квартиру продать.

И с этими мыслями он даже и не волновался, а преспокойно заканчивал ремонт.

«Потому, думает, в петлю еще не попал. Такую свеженькую квартирку у меня каждый дурак купит».

И действительно, когда надо было платить по векселю, Иван Андреевич без особых хлопот и расходов взял и продал эту квартиру.

И на всем этом деле потерял не больше как сорок рублей. Но за такую квартиру и сотню потерять не стыдно.

А на полученные деньги Иван Андреевич вновь купил проданное имущество и с долгами расплатился.

А теперь он, кажется, опять нашел подходящую квартиру и снова приступил к ремонту.

А говорят — острый кризис. Не особенно. Жить можно.

МЕЛКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Вчера с нашим дачным поездом недоразумение стряслось.

Подъезжаем, знаете, до Ленинграду, вдруг — стоп, остановка. Приехали. Не доезжая четыре версты, около какой-то там будки.

Остановка резкая. Народ не то чтобы с места попадал, но испугался. Которые даже хотели в окна кидаться. Пото-

му всего ожидать можно в связи с текущими английскими событиями. А дачный поезд долго ли сковырнуть.

Бросился народ к окнам. Начал глядеть, чего там произошло. Вдруг видят, ничего такого не произошло. Но видят — машинист кроет стрелочника.

Стрелочник стоит на своем трудовом посту. Одной ногой нажимает стрелку. В другой руке флажок держит.

Машинист орет с паровоза:

— Гляди, каким флагом махаешь-то, козлиная голова?

Стрелочник говорит:

— Обыкновенно каким — зеленым. Если худо видишь — очки возьми в руку.

Машинист говорит:

— Тьфу на тебя вместе с флагом. Это же невозможно цвет разобрать. Я думал, это красный — ехать нельзя.

Поглядел народ на флаг. Действительно, флажок мутный. И до того он грязный, что за двадцать шагов нет возможности разобрать: или он красный, или зеленый.

Машинист расстраивается:

— Зря, говорит, машину остановил. Пополощи хоть без мыла свое орудие производства, благо невдалеке река протекает. Ишь, на ем грязи сколько!

Стрелочник говорит:

— Смешные слова говоришь. Ему нечего чистым быть. За него ежедневно руками браться приходится.

Тут народ начал советовать:

— Ты бы, дядя, заместо флага лопух сорвал бы. И лопухом бы помахивал. За тыщу шагов зеленый цвет разобрать можно.

Стрелочник говорит:

— Да ну вас всех в болото! Вот пристали-то. Поезжайте с богом. Мне чай пить пора.

Тут оскорбленный народ побранился еще слегка со стрелочником и велел машинисту дальше ехать.

Машинист плюнул на стрелочника и пошел. Опоздания не было. Последние три версты машинист поднажал.

А в самом деле! Почему бы в летнее время лопухом не махать? Чисто и безобидно. И ближе к природе. И небольшую экономию соблюсти можно.

Подумайте!

РУКА БЛИЖНЕГО

А я, например, товарищи, искренно верю, что через триста лет за руку здороваться не будут. А просто встретятся, скажем, два субъекта:

— А, скажут, наше вам с кисточкой!

Но если эпоха слегка углубится в интеллигентскую сторону, то будут говорить что-нибудь такое, мол: «Да здравствует солнце» или «Как делишки?»

Но, может, и ничего говорить не будут. А воспользуются прежними образцами — руку будут поднимать вроде римских патрициев или, недалеко ходить, наших пионеров.

Но только, одним словом, за руку хвататься не будут. И правда, это скверный, антисанитарный обычай! Прямо грустно смотреть, как это самое докатилось до на́ших геройских дней.

Между прочим, самый настоящий страх и даже ужас пережил я в связи с этим симпатичным обычаем — трясти руку.

Дозвольте изложить эту правдивую историю старому рубаке, участнику гражданской войны, бывшему полковому адъютанту восьмого образцового полка Деревенской бедноты.

А было это, кажется что, в девятнадцатом году.

И был я тогда ужасно молод, глуп и бесстрашен. И бился на всех фронтах за свои ураганные идеи.

А в тот год случилось нам быть на Нарвском фронте. Здесь мы отступали. И зацепились где-то недалеко от Ямбурга. И в городе Ямбурге стоял наш штаб полка.

И вот, помню,— прелестное утро. Конец февраля. Легкое, так сказать, дуновение весны. Снег рыхлый.

Командир с комиссаром пошли прогуляться. А я сижу в задумчивости у закрытого окна. И вот вижу — какой-то человек, может быть крестьянин, препирается с часовым. Часовой не пропускает его в штаб, а он ломится. Впрочем, довольно деликатно ломится — снимает шапку и кланяется.

Тогда я стучу в окно:

— Пропусти.

Часовой пожимает плечами, но пропускает.

И в комнату вошел человек. Был он очень худо одет. И шея его была замотана какой-то грязной обмоткой.

Этот человек вошел в комнату как-то, я бы сказал, униженно. Беспрестанно он кланялся и жался к дверям.

И до того он робко стоял, что просто, знаете, неловко было за человека.

Чего я тогда подумал — не помню. Наверное, я подумал: «Революция, мол, развивается, происходят разные идеи, опять же равенство... А тут, не угодно ли видеть, один человек марает всю репутацию и общий ход вещей».

Может быть, я еще чего-нибудь подумал героическое, но только я решил дать этому жалкому человеку небольшой образцовый урок равенства.

Я протянул ему руку и сказал:

— Здравствуйте, гражданин. Садитесь. Рассказывайте.

Человек с обмоткой на шее ужасно испугался, дернул плечом, но руки мне не подал.

Я не помню, что я тогда подумал. Наверное, я подумал: «Робеет». И снова со всей силой своих идей обрушился на крестьянина.

Я жалостливо взял его за плечи и мягко посадил в кресло. Затем взял его руку и вежливо пожал.

Человек с обмоткой испуганно глядел на меня и тяжело дышал.

— Ну-с,— сказал я,— что вам угодно?

— Так что,— заговорил он торопливо,— фронт, боже сохрани, продвигается... Или нам податься в глубь страны... Или, может быть, остаться... Но только, говорит, просьба выдать пропуск, а то ваши патрули задерживают... А мы — здешние... Колония «Крутые Ручьи»... Прокаженные...

Я неясно помню, что произошло дальше. Я только помню, что прокаженный развертывал свою обмотку на шее и показывал телефонисту и часовому какие-то свои язвы.

Я долго сидел в кресле и с испугом глядел на свои руки. Потом вышел на улицу и рыхлым снегом тер ладони.

Потом сходил в околоток и замогильным голосом попросил врача дать карболки. И вечером за чаем долго беседовал с врачом о проказе и о том, легко ли заразиться этой болезнью.

Оказывается, заразиться было легко. Больше того. Зараза сказывалась не сразу. Она могла проявиться через два-три года. А то и через пять лет.

В течение нескольких лет, когда я вспоминал об этой истории, мне делалось скучно и худо, и я осматривал свои руки.

Теперь срок прошел. Руки чистые. Жалко такие руки протягивать своим ближним!

РУБАШКА ФАНТАЗИ

В прошлую субботу после службы заскочил я в магазин. Мне надо было рубашку купить.

В воскресенье у нас вечеринка предстояла. Охота было, знаете, поприличней одеться. Хотелось какую-нибудь рубашку покрасивей купить. Какую-нибудь этакую фантази.

Выбрал. Такую небесного цвета, с двумя пристежными воротниками. Ну ничем не хуже заграничной продукции.

Бросился поскорее домой. Примерил. Роскошно. Картинка. Загляденье!

На вечеринке, думаю, все барышни кидаться будут.

А надо сказать, я человек ужасно какой чистоплотный. Вот примерил эту рубаху, и как-то не по себе стало. Черт их знает, думаю. Ну, мало ли кто руками хватался за эту рубаху. Неплохо бы, думаю, простирнуть ее. Всего и разговору — двугривенный. А зато приятно надеть.

Побежал к прачке. В нашем дворе живет. Лукерья Петровна.

— Голубушка, говорю, расстарайся! Завтра вечеринка. Надо к завтрему. Могу ли надеяться?

— Надеяться, говорит, можно. Приходи, говорит, в аккурат перед вечеринкой и надевай свою рубаху. Будет она стираная и глаженая, с двумя пристежными воротничками.

На другой день перед вечеринкой заскочил я к прачке.

Взял от нее рубаху. Бегу скорее переодеваться.

Надеваю рубаху. Что за мать честная! Какая-то маленькая рубаха: воротник не сходится и манжетки на локтях. Что за черт!

Побежал поскорей к прачке.

Прачка говорит:

— Это обыкновенно. Это ничего. Новые рубашки теперича завсегда садятся. Или такая продукция. Или материал не стирают. Это ничего.

— Да как же, говорю, ничего! На горло не лезет. Было, говорю, тридцать восемь сантиметров, а теперь небось тридцать два.

Прачка говорит:

— Это, говорит, еще скажите спасибо. Давеча я бухгалтеру стирала, так с сорока сантиметров, дай бог, ему пять осталось. За это мне бухгалтер морду грозил набить. А я тут при чем?

Ах, черт! Чего, думаю, делать?

А время мало. Пора на вечеринку идти.

Надел я эту рубаху, а сверху еще для отвода глаз

старенькую рубашку напялил, чтоб без хамства было, и побежал на вечеринку.

Ничего. Незаметно. Сошло.

ЛЮБИТЕЛЬ

Лично я, братцы мои, к врачам хожу очень редко. То есть в самых крайних, необходимых случаях. Ну, скажем, возвратный тиф или с лестницы ссыпался.

Тогда, действительно, обращаюсь за медицинской помощью. А так я не любитель лечиться. Природа, по-моему, сама органы регулирует. Ей видней.

Конечно, я иду не против медицины. Эта профессия, я бы сказал, тоже необходимая в общем механизме государственного строительства. Но особенно увлекаться медициной, я скажу, нехорошо.

А таких любителей медицины как раз сейчас много.

Тоже вот мой приятель Сашка Егоров. Форменно залечился. А хороший был человек. Развитой, полуинтеллигентный, не дурак выпить. И вот пятый год лечится.

А сначала у него ничего такого особенного и не было. А просто был худощавый субъект. Ну, сами знаете — во время войны жрали худо, ну и обдергался человек. И начал лечиться.

Начал лечиться. Стал поправляться.

Поправляется и поправляется. И через два года до того его разнесло, что собственные дети начали пугаться его излишней полноты и выраженья глаз.

А выраженье было обыкновенно какое — испуганное. Все-таки испугался человек, что его так разносит. Хотел было прекратить леченье, да видит: поздно. Видит: надо от ожиренья лечиться.

Начал лечиться от ожиренья.

Доктор говорит:

— Ожирение — главная причина вашей неподвижной жизни. Или наоборот. Побольше, говорит, ходите взад и вперед, может быть, от этого факта похудеете.

Начал ходить мой приятель. Ходит и ходит, как сукин сын. Целый день ходит, а к вечеру до того у него аппетит разыгрывается — удержу нету. И сон такой отличный стал — прямо беда. Одним словом, опять прибавил человек за короткое время больше пуда И стал теперь весить пудов девять.

Врач говорит:

— Нету, говорит, вам ходить вредно. Остановитесь. Вам, наверное, ездить нужно. Поезжайте на курорт.

Теперь мой приятель собирается поехать на курорт. Или в Ессентуки, или в Боржом. Я не знаю. Одним словом, рассчитывает, что польза будет.

Я, со своей стороны, тоже рассчитываю, что курорт принесет ему пользу. Постоит человек за железнодорожным билетом ночки две, потреплется за справками да за получением денег — и спустит как миленький пуда два, если не больше.

Да оно и понятно. Тут будет, можно сказать, непосредственное воздействие природы на человеческий организм.

ДЫРКА

Вот, говорят, в Европе часы очень уж дешевы. Там их прямо чуть не задаром отдают.

Если на наши деньги перевести, то часы сорок восемь копеек стоят. Вот это здорово!

А у нас за сорок восемь копеек секундную стрелку и то навряд ли купишь. Вот это худо.

Худо, да не совсем.

Может быть, наш трест точной механики другими вопросами занят? Может, у него совершенно другие, более грандиозные задания? Может быть, он все время ватерпасы делает или пилюли от головной боли? Я этого не знаю.

Но только часов он, видимо, не делает. Ему, надо думать, не до того.

Да оно, как бы сказать, часишки не так уж до зарезу нужны в нашей скромной жизни. Оно, как бы сказать, в дневное время часы даже лишнее. Можно сказать, лишний балласт, который только брюки книзу оттягивает.

Потому с работы уходить — это вот как видно. Спать опять-таки без часов можно лечь. Шамать тоже можно, смотря по деньгам и по аппетиту.

А вот, братцы мои, на работу вставать без часов — это, не говоря худого слова, очень даже худо.

Конечно, можно, например, у соседа спросить или побежать к Финляндскому вокзалу посмотреть, сколько часов, но все-таки это не так уж чересчур просто. Да и у соседа свободно может часов не оказаться.

Мой, например, сосед сам встает, когда я встаю. А я встаю, когда он встает или когда квартирная хозяйка поднимается. А только квартирная хозяйка не всегда акку-

ратно поднимается. В этом отношении у нас хронометраж хромает. У нее, может, суставный ревматизм, и она, может, по пять суток из кровати не вылезает. Вот тут и разберись, который час.

Не говоря худого слова, очень неважно без часов.

А главное, через эту конъюнктуру я довольно часто на работу опаздываю.

Мне так и сказали:

— Ходите, товарищ, аккуратней, а не то будет вам наклепка.

Конечно, стараюсь и встаю с петухами.

Ну а в летнее время встаю по солнцу.

Около печки на полу у меня имеется довольно большое отверстие, вроде бы дыра неизвестного происхождения. И как солнце до этой дырки достигает, так, значит, не говоря худого слова, без пяти семь, и, значит, вам пора вставать.

Но, впрочем, и солнце, это довольно точное светило, давеча меня подвело.

Давеча отрываюсь от подушки и гляжу на свои естественные часы. И вижу — до дырки довольно далеко. «Значит, думаю, половина седьмого. Можно, думаю, еще полчаса вздремнуть».

Дремлю полчаса. Встаю не торопясь. Иду на службу. Опоздал, говорят.

Ну прямо верить отказываюсь.

— Да что вы? — говорю.

— Да, говорят, представьте, на двадцать минут.

— Братцы, говорю, форменная неразбериха. Ничего не понимаю!

Заведующий говорит:

— Может, часы у тебя отстают?

— Да, говорю, конечно, часы отстают... Дырка, говорю, отстает, а не часы.

Объясняю все как есть.

Заведующий говорит:

— Стара штука. Я, говорит, сам довольно долго по гвоздю в карнизе вставал, да карниз у нас оседать начал... Ну а у тебя не иначе как дом осел.

Дом хотя не осел, но впоследствии выяснилось — пол слегка, это верно, сдвинулся. По причине жучка. Жучок балку съел. Кажется, скоро на потолке жить придется.

А так все остальное ничего, слава богу. Дела идут, контора пишет. Ватерпасы изготовляются. Терпенье и труд все перетрут.

БУТЫЛКА

Давеча на улице какой-то молодой парнишка бутылку разбил.

Чегой-то он нес. Я не знаю. Керосин или бензин. Или, может быть, лимонад. Одним словом, какой-то прохладительный напиток. Время жаркое. Пить хочется.

Так вот, шел этот парнишка, зазевался и трюхнул бутылку на тротуар.

И такая, знаете, серость. Нет того, чтобы ногой осколки с тротуара стряхнуть. Нет! Разбил, черт такой, и пошел дальше. А другие прохожие так, значит, и ходи по этим осколкам. Очень мило.

Присел я тогда нарочно на трубу у ворот, гляжу, что дальше будет.

Вижу — народ ходит по стеклам. Чертыхается, но ходит. И такая, знаете, серость. Ни одного человека не находится общественную повинность исполнить.

Ну что стоит? Ну взял бы остановился на пару секунд и стряхнул бы осколки с тротуара той же фуражкой. Так нет, идут мимо.

«Нет, думаю, милые! Не понимаем мы еще общественных заданий. Прем по стеклам».

А тут еще, вижу, кой-какие ребята настановились.

— Эх, говорят, жаль, что босых нынче мало. А то, говорят, вот бы здорово напороться можно.

И вдруг идет человек.

Совершенно простого, пролетарского вида человек.

Останавливается этот человек вокруг этой битой бутылки. Качает своей милой головой. Кряхтя, нагибается и газетиной сметает осколки в сторону.

«Вот, думаю, здорово! Зря горевал. Не остыло еще сознание в массах».

И вдруг подходит до этого серого, простого человека милиционер и его ругает:

— Ты что ж это, говорит, куриная голова? Я тебе приказал унести осколки, а ты в сторону сыплешь? Раз ты дворник этого дома, то должон свой район освобождать от своих лишних стекол.

Дворник, бубня что-то себе под нос, ушел во двор и через минуту снова явился с метлой и жестяной лопаткой. И начал прибирать.

А я долго еще, пока меня не прогнали, сидел на тумбе и думал о всякой ерунде.

А знаете, пожалуй, самое удивительное в этой истории то, что милиционер велел прибрать стекла.

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ

Я все, знаете, с квартирой вожусь. Все подыскиваю себе помещение.

Хочется найти небольшую, уютную квартиру в две или три комнаты.

Конечно, средства не дозволяют брать квартиру с капитальным ремонтом или с большими въездными. Хотелось бы найти такую квартиру, чтоб тебе что-нибудь приплатили. Но, к великому сожалению, дураков нынче мало.

Дураков, я говорю, маловато. Все поумнели.

Недавно я нашел квартиру на Васильевском острове. Из громадной барской залы устроены три комнаты с кухней.

Вот эта квартира и сдавалась.

Как вошел я в эту квартиру — прямо испугался. Глаза даже стал протирать. Что за черт! Все три комнаты до того малюсенькие, что никогда я таких и не видел. А кухня, между прочим, огромная, светлая — прямо зало для фокстрота.

Спрашиваю управдома испуганным голосом:

— Сколько сажен в этой квартире?

— Три, говорит.

— Какой дурак, говорю, строил?

Управдом говорит стыдливым голосом:

— Напрасно тень наводите. Эту квартиру мы первоначально для себя строили.

— Это, говорю, видать.

Усмехнулся управдом.

— Чего, говорит, видать?

— Да, говорю, видать, что для себя строил. Ишь какую кухнищу себе отворотил, благо за нее не платить.

— Верно, говорит, угадали. Въезжайте в эту квартиру, платите всего за три полезные сажени, а кухней задаром пользуйтесь. Квартира, я говорю, с умом строена... Берете, что ли?

— Да нет, говорю, не подходит.

— Как, говорит, угодно. А только эту квартиру с такой полезной площадью у нас каждый с руками оборвет. А вы фигуряете.

— Да нет, говорю, район не подходит. И бесполезной площади мало. Стола не поставишь.

Так и не взял.

Хитрят людишки.

ДУШЕВНАЯ ПРОСТОТА

Может, помните — негры к нам приезжали? В прошлом году. Негритянская негрооперетта.

Так эти негры очень даже довольны остались нашим гостеприимством. Очень хвалили нашу культуру и вообще все начинания.

Единственно были недовольны уличным движением.

— Прямо, говорят, ходить трудно: пихаются и на ноги наступают.

Но, конечно, эти самые негры избалованы европейской цивилизацией, и им действительно, как бы сказать, с непривычки. А поживут год-два, обтешутся и сами будут шлепать по ногам. Факт.

А на ноги у нас действительно наступают. Ничего не скажешь. Есть грех.

Но только это происходит, пущай негры знают, по простоте душевной. Тут, я вам скажу, злого умысла нету. Наступил и пошел дальше. Только и делов.

Вот давеча я сам наступил на ногу одному гражданину. Идет, представьте себе, гражданин по улице. Плечистый такой, здоровый парень.

Идет и идет. А я сзаду его иду. А он впереди идет. Всего на один шаг от меня.

И так мы, знаете, мило идем. Аккуратно. Друг другу на ноги не наступаем. Руками не швыряемся. Он идет. И я иду. И прямо, можно сказать, не трогаем друг друга. Одним словом, душа в душу идем. Сердце радуется.

Я еще подумал:

«Славно идет прохожий. Ровно. Не лягается. Другой бы под ногами путался, а этот спокойно ноги кладет».

И вдруг, не помню, я на какого-то нищего засмотрелся. Или, может быть, на извозчика.

Засмотрелся я на нищего и со всего маху моему переднему гражданину на ногу наступил. На пятку. И повыше.

И наступил, надо сказать, форменно. Со всей возможной силой.

И даже я замер тогда в испуге.

Остановился.

Даже от волнения «извините» не сказал.

Думаю: развернется сейчас этот милый человек и влепит в ухо. Ходи, дескать, прилично, баранья голова.

Замер, я говорю, в испуге, приготовился понести должное наказание, и вдруг ничего.

Идет этот милый гражданин дальше и даже не по-

смотрел на меня. Даже башки не обернул. Даже, я говорю, ногой не тряхнул.

Так и прошел как миленький.

Я же говорю. У нас это бывает.

Но тут душевная простота. Злобы нету. Ты наступил, тебе наступили — валяй дальше.

Чего там. Какие могут быть разговоры.

А этот милый человек так, ей-богу, и не обернулся.

Я долго шел за ним. Все ждал — вот обернется и посмотрит строго. Нет. Прошел. Не заметил.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

А ведь я, ей-богу, чуть собственную супругу не уморил.

Она у меня дама, как бы сказать, подвижная, нервная. Без разных капель она нипочем не может прожить. Она у меня все больше валерианку глотает. Чуть расстроится — давай ей, накапывай.

Другой раз для скорейшего успокоения накапаешь ей капель пятьдесят, а то и все семьдесят. Хоть бы что. Вылакает и еще просит.

А недавно она расстроилась через пузырек.

Сначала говорит мне:

— Надо будет еще капель купить. Давеча я все высосала. А то, говорит, может, я сегодня расстроюсь — принимать нечего.

Принес ей пузырек — слезы и грезы.

— Опять, говорит, пузырек без носика. Чем капать?

А это верно, пузырьки теперь отпущают какие-то однобокие. Одним словом, горлышко есть, а носика, то есть капельницы, нету, и чем капать, неизвестно.

Так вот через этот носик — слезы и грезы.

— Это, говорит, через такие носики уморить человека можно. Заместо двадцати капель пятьдесят можно набухать и на тот свет отправиться.

И такая истерика произошла — беда. Я человек привычный — и то заторопился. Начал капать лекарство да по ошибке другой пузырек схватил — с каплями против суставного ревматизма.

Налил, не считая, капель шестьдесят, одним словом — полпузырька.

Выпила супруга эту порцию, и глаза у ней на лоб полезли.

Однако ничего не сказала. Только говорит:

— Свежие какие сегодня капли. Сильнодействующие!

И успокоилась. Целую неделю была спокойна. Лежала прямо тише воды. Только все время пить просила.

А потом — ничего. Отдышалась.

И почему эти пузырьки производят без носиков? Ведь это же человека можно испортить.

ЗЕЛЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Вот и осень наступила. Строительный сезон, можно сказать, заканчивается.

Неизвестно, как в других домах, а у нас в доме небольшой ремонтик все же произвели. У нас на лестнице перила выкрасили.

Конечно, сделали это не за счет квартирной платы,— у нас народ небогатый. А сделали это за счет одного жильца. Он, курицын сын, по займу пятьсот рублей выиграл. И с перепугу пять червонцев отвалил на ремонт дома. Потом-то, когда пришел в себя,— страсть жалел. Но было поздно. Перильца уже выкрасили.

А выкрасили перила зеленой краской. Получилось красиво. Благородный такой темно-зеленый цвет. Даже, как бы сказать, краснотой отдает. Или это ржавчина выступает сквозь краску? Неизвестно.

Но только получилось довольно красиво. Не безобразно, одним словом. Морда инстинктивно не отворачивается.

Так вот, покрасили. Полюбовались этими перилами. Председатель даже небольшую речь сказал насчет пользы крашеных перил. А после, через три дня, жильцы обижаться стали — зачем эти перила плохо сохнут. Дескать, квартирные детишки пачкаются и ходят зебрами.

Председатель резонно говорит:

— Товарищи, нельзя до этой краски предъявлять немыслимые требования. Дайте срок — высохнет и тогда, может быть, не будет пачкать.

Начали жильцы терпеливо ждать.

Две недели прошло — не сохнет.

Позвали маляра. Маляр попробовал краску на язык, побледнел и говорит:

— Краска, говорит, обыкновенно какая — масляная.

А почему она не сохнет, это я вам скажу. Она определенно имеет добавочно льняное масло заместо оливкового. А льняное масло не имеет права скоро сохнуть. Но, говорит, через это убиваться не следует. Через месяц оно, даст бог, слегка не то чтобы усохнет, но испарится. Хотя, говорит, навряд ли перильца будут зеленые. Они будут скорей всего голубые. А может, скорей всего серые с прожилками.

Председатель говорит:

— Оно, знаете, и к лучшему. Если с прожилками — грязь не так будет заметна.

Начали жильцы опять любоваться на эти перила. Месяц или два любовались, смотрят — начало подсыхать. Хотя, по совести говоря, и подсыхать было нечего. Квартирные детишки и неопытные приходящие гости приняли на себя почти всю краску.

Но надо быть оптимистом и надо в каждом печальном явлении находить хорошие стороны.

Краска, я говорю, все же оказалась неплохой и доступной небогатым. С костюмов она сходила как угодно. Даже можно было не стирать. Сама исчезала.

И черт ее знает, из чего она была сделана? Бродяга-изобретатель держит, небось, свое изобретение в строжайшей тайне. Боится, небось, как бы его самого не побили.

СОБЫТИЕ

Вчера, милые мои, в нашей коммунальной квартире произошло довольно грандиозное событие.

Только что я, значит, с супругою вернулся из кино. И сижу в своей комнате. На кровати. Ноги разуваю.

И только, скажем, снял один сапог, как вдруг в квартире произошел отчаянный крик. Можно сказать — вопль.

Жена то есть совершенно побелела и говорит шепотом:

— Ей-богу, Степаниду грабят! Ейный голос — бас... Налетчики...

Хотел я сунуться в коридор, чтоб Степаниду отбить, жена не пущает.

— Замкни, говорит, дверь. Нечего тебе соваться в уголовное дело. Ты все-таки семейный.

Я говорю:

— Действительно, чего мне соваться не в свое дело. Главное, что я разулся — простудиться могу.

Заложили мы дверь вещами и комодом и тихо сидим на нем для весу.

Вдруг по коридору что-то загромыхало. Потом затихло.

Жена говорит:

— Кажись, ушли.

В эту самую минуту разбивается наше окно, и пожарный в каске, не постучавшись даже, лезет в нашу комнату.

— Ваша квартира, говорит, в полном огне, а вы, говорит, на комоде прохлаждаетесь.

А главное, не только нас — всех жильцов пришлось из окон вынимать. Все заперлись и заставились, когда услышали Степанидин крик. И никто, значит, добровольно не вылезал. Кроме, значит, Степаниды. Эта дура-баба учинила пожар, завопила и выбежала на двор.

Убытку было на девяносто рублей.

ДРАКА

Вчера, братцы мои, иду я к вокзалу. Хочу на поезд сесть и в город поехать. Пока что я на даче еще обретаюсь. Под Ленинградом.

Так подхожу к вокзалу и вижу: на вокзале на самой платформе, наискось от дежурного по станции, драка происходит. Дерутся, одним словом.

А надо сказать, наше дачное местечко ужасно какое тихое. Прямо все дни — ни пьянства, ни особого грохота, ни скандала. То есть ничего такого похожего. Ну прямо тишина. В другой раз в ушах звенит от полной тишины.

Человеку умственного труда, или работнику прилавка, или, скажем, служителю культа ну прямо можно вот как отдохнуть в наших благословенных краях.

Конечно, эта тишина стоит не полный месяц. Некоторые дни недели само собой исключаются. Ну, скажем, исключаются, ясное дело, суббота, воскресенье, ну, понедельник. Ну, вторник еще. Ну, конечно, праздники. Опять же дни получек. В эти дни, действительно, скрывать нечего,— форменная буза достигает своего напряжения. В эти дни, действительно, скажем, нехорошо выйти на улицу. В ушах звенит от криков и разных возможностей.

Так вот, значит, в один из этих натуральных дней

прихожу я на вокзал. Хочу на поезд сесть и в город поехать. Я на даче пока что. Под Ленинградом.

Так подхожу к вокзалу и вижу — драка.

Два гражданина нападают друг на друга. Один замахивается бутылкой. А другой обороняется балалайкой. И тоже, несмотря на оборону, норовит ударить своего противника острым углом музыкального инструмента.

Тут же еще третий гражданин. Ихний приятель. Наиболее трезвый. Разнимает их. Прямо между ними встревает и запрещает драться. И, конечно, принимает на себя все удары. И, значит, балалаечкой, и бутылкой.

И когда этот третий гражданин закачался и вообще, видимо, ослаб от частых ударов по разным нужным органам своего тела, тогда я решил позвать милиционера, чтобы прекратить истребление этого благородного организма.

И вдруг вижу: тут же у вокзала, на переезде, стоит милиционер и клюет семечки.

Я закричал ему и замахал рукой.

Один из публики говорит:

— Этот не пойдет. Он здешний житель. Напрасно зовете.

— Это, говорю, почему не пойдет?

— Да так — он свяжется, а после на него же жители косо будут глядеть, дескать, разыгрывает начальство. А то еще наклепают, когда протрезвятся. Были случаи. Это не в Ленинграде. Тут каждый житель на учете.

Милиционер стоял на своем посту и скучными глазами глядел в нашу сторону. И жевал семечки. Потом вздохнул и отвернулся.

Драка понемногу ослабевала.

И вскоре трое дерущихся в обнимку пошли с вокзала.

ОПЕРАЦИЯ

Эта маленькая грустная история произошла с товарищем Петюшкой Ящиковым. Хотя как сказать — маленькая! Человека чуть не зарезали. На операции.

Оно, конечно, до этого далеко было. Прямо очень даже далеко. Да и не такой этот Петька, чтобы мог допустить себя свободно зарезать. Прямо скажем: не такой это человек. Но история все-таки произошла с ним грустная.

Хотя, говоря по совести, ничего такого грустного не произошло. Просто не рассчитал человек. Не сообразил. Опять же на операцию в первый раз явился. Без привычки.

А началась у Петюшки пшенная болезнь. Верхнее веко у него на правом глазу начало раздувать. И за три года с небольшим раздуло прямо в чернильницу.

Смотался Петя Ящиков в клинику. Докторша ему попалась молодая, интересная особа.

Докторша эта ему говорила:

— Как хотите. Хотите — можно резать. Хотите — находитесь так. Эта болезнь не смертельная. И некоторые мужчины, не считаясь с общепринятой наружностью, вполне привыкают видеть пред собой все время этот набалдашник.

Однако, красоты ради, Петюшка решился на операцию. Тем более и докторша ему понравилась. И вот он взял и согласился.

Тогда велела ему докторша прийти завтра.

Назавтра Петюшка Ящиков хотел было заскочить на операцию сразу после работы. Но после думает:

«Дело это хотя глазное и наружное, и операция, так сказать, не внутренняя, но пес их знает — как бы не приказали костюм раздеть. Медицина — дело темное. Не заскочить ли, в самом деле, домой — переснять нижнюю рубаху?»

Побежал Петюшка домой.

Главное, что докторша молодая. Охота была Петюшке пыль в глаза пустить — дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато, будьте любезны, рубашечка — чистый мадаполам.

Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть.

Заскочил домой. Надел чистую рубаху. Шею бензином вытер. Ручки под краном сполоснул. Усики кверху растопырил. И покатился.

Докторша говорит:

— Вот это операционный стол. Вот это ланцет. Вот это ваша пшенная болячка. Сейчас я вам все это сделаю. Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол.

Петюшка слегка даже растерялся.

«То есть, думает, прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное происшествие. Ой-ой, думает, носочки-то у меня неинтересные, если не сказать хуже».

Начал Петюшка Ящиков все-таки свою китель сдирать, чтоб, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки.

Докторша говорит:

— Китель оставьте трогать. Не в гостинице. Снимите только сапоги.

Начал Петюшка хвататься за сапоги, за свои джимми. После говорит:

— Прямо, говорит, товарищ докторша, не знал, что с ногами ложиться. Болезнь глазная, верхняя — не предполагал. Прямо, говорит, товарищ докторша, рубашку переменил, а другое, извиняюсь, не трогал. Вы, говорит, на них не обращайте внимания во время операции.

Докторша, утомленная высшим образованием, говорит:

— Ну валяй скорей. Время дорого.

А сама сквозь зубы хохочет.

Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задыхается. Аж рука дрожит.

А могла бы зарезать со своей дрожащей ручкой!

Разве можно так человеческую жизнь подвергать опасности?

Но, между прочим, операция кончилась прекрасно. И глаз у Петюшки теперь без набалдашника.

КОЛПАК

У нас в коммунальной квартире в передней колпак разбился. На электрической лампочке.

Один из жильцов, сукин сын, явился домой под мухой и начал что-то со столиком делать, играть, что ли. Подкидывать, что ли, начал. И сбил колпак. Хороший такой был, плоский, матовый колпачок.

А после, не желая платить за этот колпак, съехал с квартиры.

Целый год жильцы собирали деньги на колпак. И когда собрали, то единогласно поручили мне приобрести эту вещицу.

Вчера я пошел покупать. А знаете, как нынче покупать? Горе!

Зашел в один магазин — нету колпаков.

Зашел в другой — есть колпаки, но уличные. Со столбами.

В третьем магазине работник прилавка подает мне небольшой, как будто подходящий колпак, но усталым голосом заявляет, что этот колпак взят с выставки, с витрины, и потому не продается.

В пятом магазине сказали:

— На что вам, товарищ, колпак? Купите выключатель. Или вот эту люстру. В крайнем случае на ней можно повеситься...

В седьмом заведывающий сердито махнул на меня рукой, когда я проник в магазин, и сказал, что сегодня продажи не производится по случаю переучета украденных вещей за текущий месяц.

Девятый и десятый магазины были закрыты по случаю годового учета.

В тринадцатом магазине произошел такой исторический разговор:

Я говорю:

— Нет ли у вас...

Заведывающий уныло высморкался в рукава и сказал:

— Нету...

— Позвольте, говорю, я же еще не сказал, что мне нужно.

— Да нету,— сказал заведывающий.— Ну что вы в самом деле — маленький, что ли!

Тогда, не заходя в четырнадцатый магазин, я отправился прямо в древтрест и купил на собранные деньги небольшую подставку для палок и зонтиков.

Жильцы, между прочим, даже обрадовались.

— Оно, говорят, и к лучшему. А то опять кто-нибудь наклюкается и сковырнет этот хрупкий предмет.

И если подумать глубже и философски, то на черта человеку сдался колпак?

ГРИМАСА НЭПА

На праздники я обыкновенно в Лугу езжу. Там, говорят, воздух очень превосходный — сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят. Я не знаю. Не думаю.

Главное, что в Лугу ездить — сущее наказание. Народу больно много. Пихаются. На колени садятся без разрешения. Корзинки и тючки на голову ставят. Не только бронхит — душевную болезнь получить можно.

Прошлый раз по пути из Луги на какой-то станции, несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Не старый еще. С усиками. Довольно франтовато одетый. В русских сапогах. И с ним — старуха. Такая обыкновенная старуха с двумя тюками и с корзинкой.

Собственно, сначала эта старуха в вагон влезла со своим багажом. А за ней уж этот тип со своими усиками.

Старуха, значит, впереди идет — пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой. И все командует ей:

— Неси,— кричит,— ровней корзину-то. Просыплешь чего-то там такое... Становь теперича ее под лавку! Засупонивай, я говорю, ее под лавку. Ах, чертова голова! Узел-то не клади гражданам на колени. Клади временно на головы... Обожди, сейчас я подниму его на верхнюю полку. Фу ты, я говорю, дьявол какой!

Только видят пассажиры — действия гражданина не настоящие, форменное нарушение уголовного кодекса труда. Одним словом, пассажиры видят: нарушена норма в отношении старослужащего человека.

Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие — дескать, не пора ли одернуть, если он зарвался и кричит и командует одной прислугой. Где ж это возможно одной старухе узлы на головы ложить? Это же форменное безобразие.

— Это, говорят, эксплуатация трудящихся! Нельзя же так кричать и командовать на глазах у публики. Это унижает ейное старушечье достоинство.

Вдруг один наиболее из всех нервный гражданин подходит до этого, который с усиками, и берет его прямо за грудки.

— Это, говорит, невозможно допущать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса нэпа.

То есть, когда этого нового взяли за грудки, он побледнел и откинулся. И только потом начал возражать.

— Позвольте, говорит, может быть, никакой гримасы нету? Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду? Довольно, говорит, оскорбительно слушать подобные слова в нарушении кодекса.

Тут среди публики некоторое замешательство произошло. Некоторый конфуз: дескать, вмешались не в свои семейные дела. Прямо неловко. Оказывается, это всего-навсего мамаша, а не домработница.

Наиболее нервный человек не сразу, конечно, сдался.

— А пес, говорит, ее разберет! На ней афиша не наклеена — мамаша или папаша. Тогда объявлять надо при входе.

Но после сел у своего окна и говорит:

— Извиняюсь все-таки. Мы не знали, что это ваша

преподобная мамаша. Мы подумали как раз, знаете, другое. Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся.

До самого Ленинграда который с усиками оскорблялся задним числом за нанесенные ему обиды.

— Это, говорит, проехаться не дадут — сразу берут за грудки. Затрагивают, у которых, может быть, билеты есть. Положите, мамаша, ногу на узел — унести могут... Какие такие нашлись особенные... А может быть, я сам с семнадцатого года живу в Ленинграде.

Другие пассажиры сидели молча и избегали взгляда этого оскорбленного человека.

ЗУБНОЕ ДЕЛО

С этого года у Егорыча зубное дело покачнулось. Начали у него зубы падать.

Конечно, годы идут, само собой. Организм, так сказать, разрушается. Кость, может быть, по непрочности довоенного материала выветривается.

Одним словом, у Ивана Егорыча Колбасьева, проживающего в нашем доме, начали с этого года зубы крошиться и выпадать.

Один-то зуб ему, это верно, выбили при разговоре. А другие самостоятельно начали падать. Так сказать, не дожидаясь событий. Скажем, жует человек или говорит о заработной плате и вообще рядом поблизости никаких людей нету, а зубы сыплются. Прямо удивительно. Шесть зубов в короткое время потерял.

Но только Егорыч этого никогда не боялся. Он не боялся остаться без зубов. Человек он застрахованный. Ему всегда обязаны на свое место зубы поставить.

С этими мыслями он так и жил на свете. И всегда говорил:

— Я, говорит, зубами никогда не стесняюсь. Мне выбивать можно. По другому предмету или по носу я никогда не позволю себя ударить, а зубное дело у меня тихое и спокойное. У нас, у застрахованных, завсегда полное спокойствие в этом смысле.

И когда, значит, Иван Егорыч потерял шесть зубов, тогда он решил устроить себе капитальный ремонт. Захватил он с собой документы и пошел в клинику.

В клинике ему говорят:

— Пожалуйста. Можно поставить. Только у нас правило: восемь зубов должно не хватать. Ежели больше — ваше счастье, наше несчастье. А мелкими подрядами клиника не занимается. Такой закон для застрахованных.

Егорыч говорит:

— У меня шесть.

— Нету, говорят, невозможно тогда, товарищ. Подождите своего времени.

Тут Егорыч даже рассердился.

— Да что ж это, говорит, поленом, что ли, мне остальные зубы вышибать?

— Вышибать, говорят, не надо. Зачем же природу портить? Обождите, может, на ваше счастье, они сами выпадут.

В полном расстройстве чувств пошел Егорыч домой.

«Такое, думает, было спокойное зубное дело и какие, знаете, неожиданности».

Начал Егорыч ждать, когда выпадут у него эти лишние незаконные зубы.

Вскоре один выпал. А другой Егорыч начал рашпилем трогать — подчищать и тоже сковырнул со своего насиженного места.

Побежал Егорыч в клинику.

— Теперича, говорит, как в аптеке,— в аккурат восемь зубов.

— Пожалуйста,— говорят ему,— теперь совершенно можно. У вас как, подряд восемь зубов не хватает или как? А то у нас правило: надо, чтоб подряд не хватало. Если не подряд, а в разных местах, то мы не беремся — потому такими зубами, гражданин, жевать еще можно.

Егорыч говорит:

— Нету. Не подряд.

— Тогда, говорят, не можем.

Ничего на это Егорыч не сказал, только заскрипел остатними зубами и вышел из клиники.

«Эва, думает, какие неожиданности! Такое было аккуратное душевное состояние, а теперь ничего подобного».

Сейчас Егорыч живет тихо, пищу ест жидкую и остатние свои зубы чистит щеточкой три раза в день.

В этом отношении клиническое правило обернулось выгодно.

ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ

Лиговский поезд никогда шибко не едет. Или там путь не дозволяет, или семафоров очень много наставлено — сверх нормы,— я этого не знаю. Но только ход поезда удивительно медленный. Прямо даже оскорбительно ехать. И, конечно, через такой ход в вагоне бывает ужасно как скучно. Прямо скажем — делать нечего.

На публику глядеть, конечно, мало интереса. Обидятся еще. «Чего, скажут, смотришь? Не узнал?»

А своим делом заняться тоже не всегда можно. Читать, например, нельзя. Лампочки особо мутные. И ужасно высоко присобачены. Прямо как угольки сверху светят, а радости никакой.

Хотя насчет лампочки это зря сказано. Эта веселенькая история произошла днем. Но оно и днем скучно ехать.

Так вот, в субботу днем в вагоне для некурящих пассажиров ехала Феклуша, Фекла Тимофеевна Разуваева. Она из Лигова до Ленинграда ехала за товаром. Она яблоками и семечками торгует в Лигове на вокзале.

Так вот, эта самая Феклуша поехала себе на Щукин. На Щукин рынок. Ей охота была приобрести ящик браку антоновки.

И присела она с Лигова у окошка и поехала. Едет и едет.

А напротив ее едет Федоров Никита. Рядом, конечно, Анна Ивановна Блюдечкина — совслужащая из соцстраха. Все лиговские. На работу едут.

А вскоре после Лигова еще новый пассажир входит. Военный.

Он до этого времени на площадке ехал. И садится он наискось от Феклы Тимофеевны Разуваевой. Садится он наискось и едет.

Фекла Тимофеевна, пущай ей будет полное здоровье и благополучие, развязала косынку и, развязавши, стала свободно размышлять на торговые темы, мол, сколько в ящике может быть антоновки и так далее.

После поглядела она в окно. А после, от полной скуки, стала Фекла Тимофеевна подремывать. То ли в теплом вагоне ее, милую, развезло, или скучные картины природы на нее подействовали, но только начала Фекла Тимофеевна клевать носом. И зевнула.

Первый раз зевнула — ничего. Второй раз зевнула во всю ширь — аж все зубы можно пересчитать. Третий раз

зевнула еще послаще. А военный, который наискось сидел, взял и добродушно сунул ей палец в рот. Пошутил. Ну, это часто бывает — кто-нибудь зевнет, а ему палец в рот. Но, конечно, это бывает между, скажем, настоящими друзьями, заранее знакомыми или родственниками со стороны жены. А этот совершенно незнакомый. Фекла Тимофеевна в первый раз его видит.

По этой причине Фекла Тимофеевна, конечно, испугалась. И, с перепугу, поскорей захлопнула свой чемодан. И при этом довольно сильно тяпнула военного за палец зубами.

Ужасно тут закричал военный. Начал кричать и выражаться. Мол, палец ему почти начисто оттяпали. Тем более что палец совершенно не оттяпали, а просто немного захватили зубами. И крови-то почти не было — не больше полстакана.

Началась легкая перебранка. Военный говорит:

— Я, говорит, ну, просто пошутил. Если бы, говорит, я вам язык оторвал или что другое, тогда кусайте меня, а так, говорит, я не согласен. Я, говорит, военнослужащий и не могу дозволить пассажирам отгрызать свои пальцы. Меня за это не похвалят.

Фекла Тимофеевна говорит:

— Ой! Если бы ты мне за язык взялся, я бы тебе полную кисть руки оттяпала. Я не люблю, когда меня за язык хватают.

Начала тут Фекла Тимофеевна на пол сплевывать — дескать, может, и палец-то черт знает какой грязный, и черт знает за что брался,— нельзя же такие вещи строить — негигиенично.

Но тут ихняя дискуссия была нарушена — подъехали к Ленинграду. Фекла Тимофеевна еще слегка полаялась со своим военным и пошла на Щукин.

ЧТО-НИБУДЬ ОСОБЕННОЕ

Конечно, это дело мелкое. Оно, братцы мои, до того мелкое, что некоторые наши читатели, наверное, даже оскорбятся или драться полезут.

Что вы, скажут, сучьи дети, начали такие небольшие «промблемки» затрагивать? Кругом, скажут, Китай и еще чего-нибудь такое, а вы, например, ваньку валяете.

А дельце это, не спорим, действительно небольшое. Внутридомашнее. Насчет крупы.

На прошлой неделе я, знаете, слегка захворал. Объелся. Брюквой.

Начались ужасные боли. И через это я побежал в амбулаторию.

Медик меня внимательно осмотрел и говорит:

— Может, ангина, а может, паратиф. Выяснится, когда помрете... Главный курс лечения — не надо наваливаться на сырые продукты питания. Кушайте диету. Наилучше всего овсянку или геркулес.

Немедленно послал я свою супругу за крупой.

— Только, говорю, Анна Петровна, не покупайте дряни. Купите что-нибудь особенное. Здоровье — дело драгоценное, и за лишним пятачком я не постою.

Прибегает супруга обратно и веселится.

— Простая, говорит, крупа стоит двугривенный. Только я не стала эту крупу покупать. Я купила настоящий натуральный геркулес. Сорок копеек коробка.

Посмотрели на коробку — что-нибудь особенное. Красивая раскраска. Человек с гирей нарисован. Разные интеллигентные слова напечатаны. Роскошь!

Велел сварить эту диету. Сварили — действительно, очень вкусная, белая, мягкая. Одно худо — шамать ее нельзя. Единственный недостаток. Шамать-то, конечно, ее можно, но плеваться надо. Приходится все выплевывать. Очень уж шелухи много. Шелуха заедает. Единственный недостаток.

Посмотрел на тарелку с аппетитом, понюхал и лег спать.

И поправился. Наверно, оттого что не съел. А иначе — болезнь могла бы боком обернуться.

А так остальное — все ничего, слава богу. Дела идут, контора пишет. Качество улучшается.

КОШКА И ЛЮДИ

Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через нее. А чертов жакт починку производить отказывается. Экономит. Для очередной растраты.

Давеча осматривали эту мою печку. Вьюшки глядели. Ныряли туда вовнутрь головой.

— Нету, говорят. Жить можно.

— Товарищи, говорю, довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы завсегда угораем через вашу

печку. Давеча кошка даже угорела. Ее тошнило давеча у ведра. А вы говорите — жить можно.

Председатель жакта говорит:

— Тогда, говорит, устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежли мы сейчас после топки угорим — ваше счастье — переложим. Ежли не угорим — извиняемся за отопление.

Затопили мы печку. Расположились вокруг ее.

Сидим. Нюхаем.

Так, у вьюшки, сел председатель, так — секретарь Грибоедов, а так, на моей кровати,— казначей.

Вскоре стал, конечно, угар по комнате проноситься.

Председатель понюхал и говорит:

— Нету. Не ощущается. Идет теплый дух, и только.

Казначей, жаба, говорит:

— Вполне отличная атмосфера. И нюхать ее можно. Голова через это не ослабевает. У меня, говорит, в квартире атмосфера хуже воняет, и я, говорит, не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный.

Я говорю:

— Да как же, помилуйте,— ровный. Эвон как газ струится.

Председатель говорит:

— Позовите кошку. Ежели кошка будет смирно сидеть, значит, ни хрена нету. Животное завсегда в этом бескорыстно. Это не человек. На нее можно положиться.

Приходит кошка. Садится на кровать. Сидит тихо. И, ясное дело, тихо — она несколько привыкшая.

— Нету,— говорит председатель,— извиняемся.

Вдруг казначей покачнулся на кровати и говорит:

— Мне надо, знаете, спешно идти по делу.

И сам подходит до окна и в щелку дышит.

И сам стоит зеленый и прямо на ногах качается.

Председатель говорит:

— Сейчас все пойдем.

Я оттянул его от окна.

— Так, говорю, нельзя экспертизу строить.

Он говорит:

— Пожалуйста. Могу отойти. Мне ваш воздух вполне полезный. Натуральный воздух, годный для здоровья. Ремонта я вам не могу делать. Печка нормальная.

А через полчаса, когда этого самого председателя ложили на носилки и затем задвигали носилки в каретку скорой помощи, я опять с ним разговорился.

Я говорю:

— Ну как?

— Да нет, говорит, не будет ремонта. Жить можно.

Так и не починили.

Ну что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха — ко всему может привыкнуть.

ШАПКА

Только теперича вполне чувствуешь и понимаешь, насколько мы за десять лет шагнули вперед!

Ну взять любую сторону нашей жизни — то есть во всем полное развитие и счастливый успех.

А я, братцы мои, как бывший работник транспорта, очень наглядно вижу, чего, например, достигнуто и на этом довольно-таки важном фронте.

Поезда ходят взад и вперед. Гнилые шпалы сняты. Семафоры восстановлены. Свистки свистят правильно. Ну прямо приятно и благополучно ехать.

А раньше! Да, бывало, в том же восемнадцатом году. Бывало, едешь, едешь — вдруг полная остановка. Машинист, значит, кричит с головы состава: дескать, сюды, братцы.

Ну соберутся пассажиры.

Машинист им говорит:

— Так и так. Не могу, робя, дальше идтить по причине топлива. И если, говорит, кому есть интерес дальше ехать — вытряхайся с вагонов и айда в лес за дровами.

Ну, пассажиры побранятся, поскрипят, мол, какие нововведения, но все-таки идут до лесу пилить и колоть!

Напилят полсажени дров и далее двигаются. А дрова, ясное дело, сырые, чертовски шипят и едут плохо.

А то, значит, вспоминается случай — в том же девятнадцатом году. Едем мы этаким скромным образом до Ленинграду. Вдруг резкая остановка на полпути. Засим — задний ход и опять остановка.

Значит, пассажиры спрашивают:

— Зачем остановка, к чему это все время задний ход? Или, боже мой, опять идти за дровами,— машинист разыскивает березовую рощу? Или, может быть, бандитизм развивается?

Помощник машиниста говорит:

— Так и так. Произошло несчастье. Машинисту шапку сдуло, и он теперича пошел ее разыскивать.

Сошли пассажиры с состава, расположились на насыпи.

Вдруг видят, машинист из лесу идет. Грустный такой. Бледный. Плечами пожимает.

— Нету, говорит, не нашел. Пес ее знает, куда ее сдуло.

Поддали состав еще на пятьсот шагов назад. Все пассажиры разбились на группы — ищут.

Минут через двадцать один какой-то мешочник кричит:

— Эй, черти, сюда! Эвон где она.

Видим, действительно, машинистова шапка, зацепившись, на кустах висит.

Машинист надел свою шапку, привязал ее к пуговице шпагатом, чтоб обратно не сдуло, и стал разводить пары.

И через полчаса благополучно тронулись.

Вот я и говорю. Раньше было полное расстройство транспорта.

А теперь не только шапку — пассажира сдунет, и то остановка не более одной минуты.

Потому — время дорого. Надо ехать.

НАУЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Давеча у нас в Гавани какая интересная история развернулась.

Иду по улице. Вижу — народ собирается около пустыря.

— Что такое? — спрашиваю.

— Так что, говорят, странное подземное явление, товарищ. Не землетрясение, нет, но какая-то подземная сила народ дергает. Нету никакой возможности гражданам вступать на этот боевой участок, около этой лужи. Толчки происходят.

А тут ребята дурака валяют — пихают прохожих до этого опасного участка. Меня тоже, черти, пихнули.

И всех, которые вступают, отчаянно дергает. Ну, прямо устоять нет никакой возможности, до того пронизывает.

Тут один какой-то говорит:

— Скорей всего это кабель где-нибудь лопнувши — ток сквозь сырую землю проходит. Ничего удивительного в этом факте нету.

Другой тоже говорит:

— Я сам бывший электротехник. Давеча я сырой рукой за выключатель схватился, так меня так дернуло — мое почтение. Это вполне научное явление, около лужи.

А народу собралось вокруг этого факта много.

Вдруг милиционер идет.

Публика говорит:

— Обожди, братцы. Сейчас мы его тоже втравим. Пущай его тоже дернет.

Подходит милиционер до этого злополучного участка.

— Что, говорит, такое? Какое такое подземное явление? А ну расходись...

И сам прет по незнанию в самый опасный промежуток. Вступает он ногами на этот промежуток, и вдруг видим — ничего, не дергает милиционера.

Тут прямо в первую минуту население обалдело. Потому всех дергает, а милицию не дергает. Что такое? Неужели наука дает такую курскую аномалию в своих законах?

Милиционер строгой походкой проходит сквозь весь участок и разгоняет публику.

Тут один какой-то кричит:

— Так он, братцы, в калошах! Резина же не имеет права пропущать энергию.

Ничего на это милиционер не сказал, только строго посмотрел на население, скинул свои калоши и подошел к луже. Тут у лужи его и дернуло!

После этого народ стал спокойно расходиться. А вскоре прибыл электротехник и начал ковырять землю.

А милиционер еще раз, когда народ разошелся, подошел без калош до этого участка, но его снова дернуло.

Тогда он покачал головой — дескать, научное явление, и пошел стоять на свой перекресток.

ЗАКОРЮЧКА

Вчера пришлось мне в одно очень важное учреждение смотаться. По своим личным делам.

Перед этим, конечно, позавтракал поплотней для укрепления духа. И пошел.

Прихожу в это самое учреждение. Отворяю дверь. Вытираю ноги. Вхожу по лестнице. Вдруг сзади какой-то гражданин в тужурке назад кличет. Велит обратно спущаться.

Спустился обратно.

— Куда, говорит, идешь, козлиная твоя голова?

— Так что, говорю, по делам иду.

— А ежли, говорит, по делам, то прежде, может быть, пропуск надо взять. Потом наверх соваться. Это, говорит, тут тебе не Андреевский рынок. Пора бы на одиннадцатый год понимать. Несознательность какая.

— Я, говорю, может быть, не знал. Где, говорю, пропуска берутся?

— Эвон, говорит, направо в окне.

Подхожу до этого маленького окна. Стучу пальцем. Голос, значит, раздается:

— Чего надо?

— Так что, говорю, пропуск.

— Сейчас.

В другом каком-нибудь заграничном учреждении на этой почве развели бы форменную волокиту, потребовали бы документы, засняли бы морду на фотографическую карточку. А тут даже в личность не посмотрели. Просто голая рука высунулась, помахала и подает пропуск.

Господи, думаю, как у нас легко и свободно жить и дела обделывать! А говорят: волокита. Многие беспочвенные интеллигенты на этом даже упадочные теории строят. Черт их побери! Ничего подобного.

Выдали мне пропуск.

Который в тужурке говорит:

— Вот теперича проходи. А то прет без пропуска. Этак может лишний элемент пройти. Учреждение опять же могут взорвать на воздух. Не Андреевский рынок. Проходи теперича.

Смотался я с этим пропуском наверх.

— Где бы, говорю, мне товарища Щукина увидеть?

Который за столом подозрительно говорит:

— А пропуск у вас имеется?

— Пожалуйста, говорю, вот пропуск. Я законно вошел. Не в окно влез.

Поглядел он на пропуск и говорит более вежливо:

— Так что товарищ Щукин сейчас на заседании. Зайдите лучше всего на той неделе. А то он всю эту неделю заседает.

— Можно, говорю. Дело не волк — в лес не убежит. До приятного свидания.

— Обождите, говорит, дайте сюда пропуск, я вам на ем закорючку поставлю для обратного прохода.

Спущаюсь обратно по лестнице. Который в тужурке говорит:

— Куда идешь? Стой!

Я говорю:

— Братишка, я домой иду. На улицу хочу пройти из этого учреждения.

— Предъяви пропуск.

— Пожалуйста, говорю, вот он.

— А закорючка на ем имеется?

— Определенно, говорю, имеется.

— Вот, говорит, теперича проходи.

Вышел на улицу, съел французскую булку для подкрепления расшатанного организма и пошел в другое учреждение по своим личным делам.

РОСТОВ

Кстати, о Ростове. Симпатичный город. Я там был этой осенью. Проездом.

Славный, спокойный город. И климат довольно мягкий. Кроме того — полное отсутствие хулиганства. Даже немного удивительно, с чего бы это.

Молоденькая девица одна может свободно пройти ночью по улицам. Никто ее не затронет.

Ну, как — одна, я, конечно, не знаю. Не ручаюсь. Но вдвоем или небольшой группой — очень свободно может идти. Никаких таких лишних возгласов. Даже по тротуарам допущают ходить. Зря не сталкивают. Ругаться-то, конечно, ругаются. Но промежду себя. Не в сторону прохожих.

Это явление, в смысле полного отсутствия хулиганства, я думаю, происходит за счет физкультуры. Физкультура завсегда отвлекает граждан от хулиганства. А физкультура в этом южном городе поставлена на полную высоту. Футбол, эстафетный бег, нырянье и плаванье — это на каждом шагу. Это удивительный город в этом отношении.

Я сам был свидетелем такого спортивного случая.

Сижу я в городском саду. Читаю, как сейчас помню, газету. Дискуссионный листок.

А кругом мягкая осенняя погода. Солнце золотится. На скамейках публика сидит. Такая тихая осенняя картинка без слов.

Тут же по аллейкам небольшой парнишка шляется. С ящиком. За пятачок сапоги чистит.

Увязался этот парнишка и до меня. Начал мне мусолить сапог за пятачок.

Вычистил один. Только взялся за другой, вдруг сзади кто-то как ахнет мне на плечи. Гляжу — какой-то незнакомый человек в трусиках через меня прыгнул.

Только я хотел его обругать, сукина сына, зачем он через незнакомых прыгает, вдруг сзади опять — хлоп — другой прыгнул. Всего их прыгнуло четверо. Вот, думаю, и хулиганство налицо.

Вдруг гляжу — нету хулиганства. Чистая физкультура. Чехарда. В чехарду молодежь играет. Славно так через сидячих людей прыгают.

Парнишка, который сапоги чистит, говорит:

— Вы не пугайтесь. Они тут завсегда в чехарду упражняются. Давайте второй сапог дотру. Садитесь!

Ну что ж, думаю, пущай лучше чехарда, чем хулиганство.

Однако второго я не стал дочищать. Выдал парнишке пятачок и заторопился поскорей к выходу. А то, думаю, на ходу прыгнут — еще опрокинут, черти. Потом вставай.

Вышел на улицу — опять спокойно. Чисто, славно. Никаких лишних возгласов. С тротуара не сталкивают.

Прямо не город — акварельная картинка.

ОЧЕНЬ ПРОСТО

Черт побери, как все просто на свете!

Вот, например, жил в нашем доме известный такой сукин сын Краюшкин. Сначала он, конечно, был безработный. Шесть лет. По гривеннику платил за квадратный метр. А потом нашел службенку.

Службенка была не роскошная, но питаться, а главное, бесплатно лечиться, можно было.

А надо сказать, что человек этот имел ужасно какой отчаянный характер. Характер у него был совершенно невозможно скандальный.

И если этот Краюшкин не дрался с жильцами, то единственно по причине слабого организма. Но зато ругался со всеми, всех задевал и жену свою, Елену Федоровну, прямо, можно сказать, с маслом скушал.

Бедная дама сбежала даже от такого семейного купороса.

Она попросту заявила на собрании, что с таким иродовым характером, как у ее почтенного супруга, она не может более жить. Пущай домоуправление отведет ей холостую комнату в другой квартире.

А он, этот ирод Краюшкин, тут же стоял рядом на собрании с мрачной мордой и слушал, чего говорится.

Наконец он говорит:

— Ладно. Отводите ей холостую комнату. Характер действительно, сознаюся, у меня дьявольский. Но против природы я тоже идтить не могу. И не могу свои характеры переделывать.

Отвели ей тогда комнату в квартире семнадцать. Так этот Краюшкин и туда стал мотаться — специально скандалить и доедать свою супругу.

Домашних животных, кроме того, он ногами бил. Стенную газету тоже раз содрал по злобе.

А надо сказать, жил у нас в доме, как раз над этим самым чертовым Краюшкиным, ученый. Профессор Хлебников.

И хотя жилец этот был малосознательный и часто манкировал своими гражданскими обязанностями, но жилец был все-таки славный, по рублю двадцать платил за квадратный метр.

Так вот с этим ученым и схлестнулся наш Краюшкин, зачем тот по ночам ногами шаркает — ходит над его комнатой.

А ученый, может быть, не может иначе ученые труды придумывать. Может быть, он должен ходить.

Вот ученый подходит тогда до этого Краюшкина и говорит:

— Так и так. Вы, говорит, милостивый государь, всех жильцов в доме пугаете, ко всем липнете и всех задираете. А если у вас наблюдается такой хамский характер, то вы должны от него лечиться, а не зря кирпичиться.

Краюшкин говорит:

— То есть как это лечиться?

Профессор говорит:

— Так и так. Вы, говорит, напущаете разные элементы на свой характер, но, промежду прочим, у человека нету никакого характера, а человек — это есть, по последним научным данным, восемнадцать фунтов угля, сорок шесть золотников соли, три фунта картофельной муки и определенное количество жидкости. И, может, у вас в

характере картофельной муки не хватает, вот вы и волнуетесь.

Тут, значит, после этих слов Краюшкин смертельно побледнел и плюнул профессору на воротник.

Прошло после этого факта полгода.

Однажды Краюшкин собрался и пошел к врачу.

Осмотрел врач этого Краюшкина со всех сторон и говорит:

— Так и так. Нервы, говорит, у вас действительно худые по причине глистов. Надо вытравить всех глистов, и тогда ваш характер снова засияет.

Начал, конечно, Краюшкин лечиться, пил какую-то сплошную зеленую дрянь и вскоре поправился. Стал такой довольно полный, морда сочная, глаза блестят. По двору ходит веселенький, со всеми здоровается. Никого не трогает. Стенную газету не срывает. С женой, опять же, помирился. К профессору недавно тоже зашел с визитом — извинился за бывший плевок.

Профессор говорит:

— Так и так. Я вам завсегда говорил, что человек — это восемнадцать фунтов углей, соли известное количество и картофельная мука. И никаких таких лишних характеров у человека не наблюдается.

На этом все дело и кончилось.

А теперь вот, после этого научного факта, другой раз идешь с какой-нибудь девицей, а она, например, чего-нибудь такое вкручивает, мол, что-то у меня сегодня, Василь Василич, настроение грустное. Хризантем, например, хочется.

А я про себя думаю: «Знаю. Вкручивай. Может, белков не хватает или объелась чем-нибудь».

Черт побери, как все просто на свете!

И зачем я об этом узнал? Может, как раз от этого мне теперь жить скучно.

БОЛЬНЫЕ

Человек — животное довольно странное. Нет, навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй что, в этом вопросе слегка заврался.

Очень уж у человека поступки — совершенно, как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, знаете, сходства с животным миром. Вот если животные разговаривают на

каком-нибудь своем наречии, то вряд ли они могли бы вести такую беседу, как я давеча слышал.

А это было в лечебнице. На амбулаторном приеме. Я раз в неделю по внутренним болезням лечусь. У доктора Опушкина. Хороший такой, понимающий медик. Я у него пятый год лечусь. И ничего, болезнь не хуже.

Так вот, прихожу в лечебницу. Записывают меня седьмым номером. Делать нечего — надо ждать.

Вот присаживаюсь в коридоре на диване и жду.

И слышу — ожидающие больные про себя беседуют. Беседа довольно тихая, вполголоса, без драки.

Один такой дядя, довольно мордастый, в коротком полупальто, говорит своему соседу:

— Это, говорит, милый ты мой, разве у тебя болезнь — грыжа. Это плюнуть и растереть — вот вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня морда выпуклая. Я тем не менее очень больной. Я почками хвораю.

Сосед несколько обиженным тоном говорит:

— У меня не только грыжа. У меня легкие ослабшие. И вот еще жировик около уха.

Мордастый говорит:

— Это безразлично. Эти болезни разве могут равняться с почками!

Вдруг одна ожидающая дама в байковом платке язвительно говорит:

— Ну что ж, хотя бы и почки. У меня родная племянница хворала почками — и ничего. Даже шить и гладить могла. А при вашей морде болезнь ваша малоопасная. Вы не можете помереть через эту вашу болезнь.

Мордастый говорит:

— Я не могу помереть! Вы слыхали? Она говорит, я не могу помереть через эту болезнь. Много вы понимаете, гражданка! А еще суетесь в медицинские разговоры.

Гражданка говорит:

— Я вашу болезнь не унижаю, товарищ. Это болезнь тоже самостоятельная. Я это признаю. А я к тому говорю, что у меня, может, болезнь посерьезнее, чем ваши разные почки. У меня — рак.

Мордастый говорит:

— Ну что ж — рак, рак. Смотря какой рак. Другой рак — совершенно безвредный рак. Он может в полгода пройти.

От такого незаслуженного оскорбления гражданка совершенно побледнела и затряслась. Потом всплеснула руками и сказала:

— Рак в полгода. Видали! Ну, не знаю, какой это рак ты видел. Ишь морду-то отрастил за свою болезнь.

Мордастый гражданин хотел достойным образом ответить на оскорбление, но махнул рукой и отвернулся.

В это время один ожидающий гражданин усмехнулся и говорит:

— А собственно, граждане, чего вы тут расхвастались?

Больные посмотрели на говорившего и молча стали ожидать приема.

ХАМСТВО

Я-то сам не был за границей, так что не могу вам объяснить, чего там такое происходит.

Но вот недавно мой друг и приятель из-за границы прибыл, так он много чего оригинального рассказывает.

Главное, говорит, там капитализм заедает. Там без денег прямо, можно сказать, дыхнуть не дадут. Там деньги у них на первом месте. Сморкнулся — и то гони пфенниг.

У нас деньги тоже сейчас довольно-таки часто требуются. Можно сказать: куда ни плюнь — за все вытаскивай портмоне. Но все-таки у нас гораздо как будто бы легче.

У нас, например, можно на чай не дать. Ничего такого не произойдет. Ну скривит официант морду или стулом двинет — дескать, сидел тоже, рыжий пес... И все.

А некоторые, наиболее сознательные, так и стульями двигать не станут. А только вздохнут — дескать, тоже публика.

А там у них, за границей, ежели, для примеру, на чай не дать — крупные неприятности могут произойти. Я, конечно, не был за границей — не знаю. А вот с этим моим приятелем случилось. Он в Италии был. Хотел на Максима Горького посмотреть. Но не доехал до него. Расстроился. И назад вернулся.

А все дело произошло из-за чаевых.

Или у моего приятеля денег было мало, или у него убеждения хромали и не дозволяли, но только он никому на чай не давал. Ни в ресторанах, ни в гостиницах — никому.

А то, думает, начнешь давать — с голым носом домой вернешься.

Там ведь служащего народу дьявольски много. Это у нас, скажем, сидит один швейцар у дверей и никого не беспокоит. Его даже не видно за газетой. А там, может, одну дверь тридцать человек открывают. Ну-те, попробуй всех одели!

Так что мой приятель никому не давал.

А приехал он в первую гостиницу. Приняли его там довольно аккуратно. Вежливо. Шапки сымали, когда он проходил. Прожил он в таком почете четыре дня и уехал в другой город. И на чай, конечно, никому не дал. Из принципа.

Приехал в другой город. Остановился в гостинице. Смотрит — не тот коленкор. Шапок не сымают. Говорят сухо. Нелюбезно. Лакеи морды воротят. И ничего быстро не подают.

Мой приятель думает: хамская гостиница. Возьму, думает, и перееду.

Взял и переехал он в другую гостиницу. Смотрит — совсем плохо. Только что по роже не бьют. Чемоданы роняют. Подают плохо. На звонки никто не является. Грубят.

Больше двух дней не мог прожить мой приятель и в страшном огорчении поехал в другой город.

В этом городе, в гостинице, швейцар чуть не прищемил моего приятеля дверью — до того быстро ее закрыл. Номер же ему отвели у помойки, рядом с кухней. Причем коридорные до того громко гремели ногами около его двери, что мой приятель прямо-таки захворал нервным расстройством. И, не доехав до Максима Горького, вернулся на родину.

И только перед самым отъездом случайно встретил своего школьного товарища, которому и рассказал о своих неприятностях.

Школьный товарищ говорит:

— Очень, говорит, понятно. Ты небось чаевые давал плохо. За это они тебе, наверное, минусы на чемоданы ставили. Они завсегда отметки делают. Которые дают — плюс, которые хамят — минус.

Прибежал мой приятель домой. Действительно, на левом углу чемодана — четыре черточки.

Стер эти черточки мой приятель и поехал на родину.

ВЫГОДНАЯ КОМБИНАЦИЯ

В настоящее время жить как-то стало, братцы мои, очень выгодно.

С одной стороны, полная дешевка — иголка три копейки стоит. А с другой стороны, все время какие-то выгодные комбинации случаются. Ежедневно какая-то выгода происходит. То одно, то другое. То чего-нибудь не купишь, то не пошамаешь.

А давеча, смешно сказать, двугривенный заработал. За что? За какой свободный труд? Да просто так. Постоял три часа с небольшим и заработал.

А сначала предстоял мне полный убыток.

Тетка из Тамбова ужасно жалостливое письмо прислала.

«Пришли, пишет, за ради бога, фотографическую карточку. Я, говорит, тебя все-таки на руках носила и соской кормила. И теперича двадцать девять лет не видела. Наверное, с тех пор ты очень изменился. Пришли свою карточку — охота поглядеть».

Делать, конечно, нечего. Настрочил тетке подходящий ответ, вложил в конверт фотографическую карточку, где в профиль снят, и побежал на почту это заказное письмо отправлять.

Прибежал на почту — кругом у каждого окна очередь.

— Так что, говорю, где тут заказные отправляют?

— Эвон, у того окна. Становись в эту очередь.

А очередь до двери, черт ее побери.

Встал в очередь. Начал, конечно, про тетку думать. Потом про всех родственников. Потом про знакомых. Вдруг очередь подходит.

Подаю письмо.

Почтовый служащий, блондин, говорит:

— А марки где?

Я говорю:

— У вас марки. У вас, говорю, почтовое отделение, а не у меня. Вот примите деньги.

Он говорит:

— Вы, говорит, деньги мне зря не суйте. Я, говорит, сам сунуть могу. Тут, говорит, идет как раз наоборот приемка заказной корреспонденции. А марки — второе окно налево. Пора бы на одиннадцатый год разбираться в вопросах.

Хотел я схлестнуться с этим блондином, но задние ряды, к сожалению, меня в этот момент оттиснули от окна.

Это, думаю, худо. Зря в очереди стоял. Однако делать нечего — пошел ко второму окну.

Встал в очередь. За марками. Начал, конечно, про знакомых думать. Потом про бабушку. Потом вообще о государственном строительстве. Вдруг моя очередь подходит.

Купил на шестнадцать копеек марок. Побежал до своей заказной очереди. Гляжу, она стала еще длинней. Хотел было сунуться без очереди — не разрешают, оттягивают.

Встал тогда в очередь. Начал про всякую чепуху думать. Бабушка чегой-то опять на память пришла. Вообще разные старушки в голове начали мелькать и тесниться. Вдруг подходит моя очередь.

Подаю письмо.

Служащий, блондин, прикинул письмо на весы и говорит:

— Так что письмо тяжельше обыкновенного. Что вы, туда камней напихали, что ли? Еще, говорит, прикупите копеек на пять разных марок.

Хотел я опять схлестнуться с этим блондином — опять оттеснили.

Побежал я до окошечка с марками. Стал в очередь. Купил на пятачок марок.

Побежал с марками обратно до своей заказной очереди. Встал в затылок. Стою. Отдыхаю.

Стоял, стоял — вдруг передние граждане что-то зашумели. Что такое? Так что, говорят, вечер приближается. Служащие кончают работу. Нельзя же их целый день эксплуатировать. А которая публика заказную корреспонденцию отправляет — пущай на телеграф сдает, третье окно направо.

Ринулась публика туда. Только я один не ринулся.

Я положил письмо в боковой карман, подсчитал в уме чистую прибыль от сегодняшней комбинации и пошел до дому.

ИНОСТРАНЦЫ

Иностранца я всегда сумею отличить от наших советских граждан. У них, у буржуазных иностранцев, в морде что-то заложено другое. У них морда, как бы сказать, более неподвижно и презрительно держится, чем у нас. Как, скажем, взято у них одно выражение лица, так и смотрится этим выражением лица на все остальные предметы.

Некоторые иностранцы для полной выдержки монокль в глазах носят. Дескать, это стеклышко не уроним и не сморгнем, чего бы ни случилось.

Это, надо отдать справедливость, здорово.

А только иностранцам иначе и нельзя. У них там буржуазная жизнь довольно беспокойная. Им там буржуазная мораль не дозволяет проживать естественным образом. Без такой выдержки они могут ужасно осрамиться.

Как, например, один иностранец костью подавился. Курятину, знаете, кушал и заглотал лишнее. А дело происходило на званом обеде. Мне про этот случай один знакомый человек из торгпредства рассказывал.

Так дело, я говорю, происходило на званом банкете. Кругом, может, миллионеры пришли. Форд сидит на стуле. И еще разные другие.

А тут, знаете, наряду с этим человек кость заглотал.

Конечно, с нашей свободной точки зрения в этом факте ничего такого оскорбительного нету. Ну проглотил и проглотил. У нас на этот счет довольно быстро. Скорая помощь. Мариинская больница. Смоленское кладбище.

А там этого нельзя. Там уж очень исключительно избранное общество. Кругом миллионеры расположились. Форд на стуле сидит. Опять же фраки. Дамы. Одного электричества горит, может, больше как на двести свечей.

А тут человек кость проглотил. Сейчас сморкаться начнет. Харкать. За горло хвататься. Ах, боже мой! Моветон и черт его знает что.

А выйти из-за стола и побежать в ударном порядке в уборную — там тоже нехорошо, неприлично. «Ага, скажут, побежал до ветру». А там этого абсолютно нельзя.

Так вот этот француз, который кость заглотал, в первую минуту, конечно, смертельно испугался. Начал было в горле копаться. После ужасно побледнел. Замотался на своем стуле. Но сразу взял себя в руки. И через минуту заулыбался. Начал дамам посылать разные воздушные поцелуи. Начал, может, хозяйскую собачку под столом трепать.

Хозяин до него обращается по-французски.

— Извиняюсь, говорит, может, вы чего-нибудь действительно заглотали несъедобное? Вы, говорит, в крайнем случае скажите.

Француз отвечает:

— Коман? В чем дело? Об чем речь? Извиняюсь, говорит, не знаю, как у вас в горле, а у меня в горле все в порядке.

И начал опять воздушные улыбки посылать. После на бламанже налег. Скушал порцию.

Одним словом, досидел до конца обеда и никому виду не показал.

Только когда встали из-за стола, он слегка покачнулся и за брюхо рукой взялся — наверное, кольнуло. А потом опять ничего.

Посидел в гостиной минуты три для мелкобуржуазного приличия и пошел в переднюю.

Да и в передней не особо торопился, с хозяйкой побеседовал, за ручку подержался, за калошами под стол нырял вместе со своей костью. И отбыл.

Ну, на лестнице, конечно, поднажал.

Бросился в свой экипаж.

— Вези, кричит, куриная морда, в приемный покой.

Подох ли этот француз или он выжил — я не могу вам этого сказать, не знаю. Наверное, выжил. Нация довольно живучая.

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

Очень даже удивительно, как это некоторым людям жить не нравится.

Кругом, можно сказать, происходят разные занимательные факты, происходит борьба, развертываются какие-нибудь там события, происшествия, кражи.

Кругом, можно сказать, природа щедрой рукой раздает свои бесплатные блага. Светит солнышко, трава растет, муравьи ползают.

И тут же наряду с этим находятся меланхолики, которые насчет всего этого скулят и ничего выдающегося в этом не видят и вообще не знают, как им прожить на этом белом свете.

Они не знают, как прожить на этом свете и чем, значит, им заняться, или, может быть, им нечем заняться и, может быть, выгодней нырнуть хотя бы в ту же реку Фонтанку.

Конечно, эти люди — по большей части дряблые меланхолики и беспочвенные интеллигенты, утомленные своим средним образованием. Они и раньше, при всяком режиме, разводили свою меланхолию. Так что особенно уж сваливать вину на текущие события не приходится.

И дозвольте заместо этой голой философии рассказать про одного такого утомленного человека. О том, как он

перестал грустить и вроде как бы отыскал настоящий смысл. Факт абсолютно правильный и достойный всеобщего внимания.

Одним словом, этот рассказ особо полезно прочитать интеллигентным людям, которые к сорока годам не знают еще, в чем, так сказать, цель жизни. Пущай они будут спокойны, еще не все потеряно на ихнем житейском фронте.

А жил в нашем доме, на Васильевском острове, довольно-таки дряблый бездетный интеллигент Иннокентий Иванович Баринов со своей супругой.

Супруга его была дамочка, как бы сказать, менее беспочвенная. Она круглые дни занималась с кошкой, выводила ее гулять, кормила печенкой и по этой причине особой безвыходной тоски не испытывала.

Иннокентий же Иванович кошки не понимал и не находил в ней особого счастья. Он цельные дни ходил вверх и вниз по лестнице или, знаете, стоял у дома и довольно скучным взором глядел, чего вокруг него делается.

Это был форменный меланхолик. И простой, пролетарской душе глядеть на него было то есть совершенно, абсолютно невыносимо.

Он выпивать не любил, физкультурой не занимался и на общих собраниях под общий смех говорил все неактуальные вещи: дескать, например, мусор во дворе пахнет — нету возможности окно открыть на две, видите ли, половинки.

Я говорю, простому рабочему человеку не было удовольствия глядеть на такого жильца и квартиранта.

А раз однажды спущается этот наш квартирант со своего этажа. Спущается он со своего этажа, и подходит к нему тут же, на лестнице, наш председатель и говорит:

— Так что, говорит, как вам известно, средний флигель угрожает падением, и по случаю этого стихийного бедствия предвидятся некоторые перемены.

— Какие, говорит, перемены?

— Перемены, говорит, обыкновенно какие: комиссия выселяет жильцов по разным другим квартирам. Комната у вас большая, опять же кухня, и придется вам потесниться по причине такого бедствия.

Одним словом, объяснил, что вселяют ему в квартиру двух жильцов со среднего флигеля.

Иннокентий Иванович говорит:

— Я на это не соглашусь. Я, говорит, с самого начала

революции проживаю в этой квартире и не дозволю, говорит, производить над собой разные эксперименты.

Председатель говорит:

— Так что особого дозволения у вас не спросим. Нам, говорит, это ваше дозволение не обязательно.

Тут Иннокентий Иванович ужасно изменился в лице, начал хвататься за председателя. Просить его и умолять.

— Я, говорит, больной и нездоровый интеллигентный человек, и мне, говорит, нипочем невозможно слушать в своей квартире посторонний шум и разные разговоры. Я, говорит, сам едва-едва проживаю вместе со своей супругой. А если, говорит, еще добавить две-три персоны, то, говорит, за последствия не ручаюсь.

Председатель говорит:

— В крайнем случае болезни мне ваши неизвестны, и вы, говорит, напрасно за меня хватаетесь. А если, говорит, вы такой чересчур интеллигентный человек, то представьте удостоверение, в силу чего вам полагается отдельная площадь.

Очень горячо ухватился за эти слова Иннокентий Иванович.

Кинулся он наверх, в свою квартиру. Надел поскорее прорезиненное свое пальто и побежал узнавать, как и что, и где ему раздобыть свидетельство, и на какую комиссию ему податься.

Кинулся Иннокентий Иванович по этим неотложным делам и впопыхах, от полного расстройства чувств, позабыл закрыть свою квартиру.

А надо сказать, что супруга его в это беспокойное время где-то прогуливала свою кошечку и никак не предполагала, что течение ихней жизни несколько изменяется.

Или Иннокентий Иванович совершенно не прихлопнул дверь и она, так сказать, навела на определенные мысли проходящих граждан, или кто-нибудь проследил движение обстоятельств, только, одним словом, эту квартиру в ударном порядке обчистили. И не так чтобы очень сильно обчистили, но все же кой-какие вещицы вынесли.

Очень ужасный крик подняла мадам Баринова, вернувшись назад со своей кошечкой.

Весь дом сбежался на этот дамский крик.

Начали соседи брызгать водой в мадам Баринову. Начали ее приводить в христианский вид. Начали успокаивать и подсчитывать ее убытки.

Определенно не хватало осеннего пальто, бинокля, калош и еще разного другого семейного инвентаря.

И вот в это время является Иннокентий Иванович после успешного окончания своих дел.

Надо сказать, он довольно геройски перенес эту кошмарную драму.

Он в первую голову разогнал из своей квартиры собравшихся жильцов, чтоб они, так сказать, под горячую руку не вынесли остальное имущество. Затем, не снимая своего международного пальто, побежал делать заявление в уголовный розыск.

Весь следующий день Иннокентий Иванович бегал по своим делам: дважды заявлялся в угрозыск, ходил по рынкам и, так сказать, глядел, не поступили ли в продажу его унесенные вещи.

Следующие дни Иннокентий Иванович также не присел. Он ходил на комиссию, хлопотал, чтоб прислали ищейку, и дежурил на рынках.

В довершение всего на девятый день Иннокентий Иванович, мотаясь по своим делам, ссыпался с лестницы и вывихнул себе правую руку.

Он мужественно перенес и это испытание. Еще лежа на лестнице, он твердым голосом командовал и отдавал приказания. Он велел вызвать карету скорой помощи и поехал в больницу с полным сознанием исполненного долга.

А через несколько дней Иннокентий Иванович со своей забинтованной ручкой снова принялся за свои срочные дела.

Утром он ходил по своим делам, днем ездил в больницу — массировать свою ручку, и вечером, в кругу своих знакомых и родственников, Иннокентий Иванович отчитывался, так сказать, за истекшие сутки.

И этот человек, этот беспочвенный интеллигент, в короткое время сильно переменился.

Раньше морда у него была грустная, кожа бледная и прыщеватая, а сейчас кровь заиграла на его лице и привились разные бодрые жесты и движения.

Он форменно воспрянул духом и весь превратился в энергичного, достойного гражданина.

Конечно, нельзя сказать, будет ли у него такая душевная смелость на всю жизнь. Но, может быть, и на всю жизнь. Смотря как обернутся его дела. Может быть, председатель в суд на него подаст за неплатеж. А там, может, угрозыск снова вызовет его по поводу похищенных вещей. А там, может, бегая по своим делам, Иннокентий Иванович снова сломает еще одну ручку или вывихнет ногу. И, мо-

жет, помрет счастливый, в полном довольстве. И, помирая, будет думать о своих делах, которые наполнили ему жизнь, и о той борьбе, которую он с честью вынес на своих плечах.

Недаром в свое время товарищ Буденный воскликнул: «И вся-то наша жизнь есть борьба».

СЕМЕЙНЫЙ КУПОРОС

Тут недавно поругалась одна наша жиличка со своим фактическим супругом.

Безусловно, у них каждую неделю какой-нибудь семейный купорос случался, но это превзошло ожидание. Они, сукины дети, начали вещами кидаться.

Он в нее самоварным крантиком кинулся. А самовар, знаете, потек. Она рассердилась — и в него блюдечком. А он осколок подобрал от этого разбитого блюдечка и нарочно ковырнул этим осколком свою потертую личность. И орет: дескать, произошло зверское мужеубийство.

Но она, то есть его супруга, Катюша Белова, оказалась более сознательная.

— Ах так! — говорит.

Ну, одним словом, сами понимаете, что она говорит.

— Я, говорит, может, сейчас же перестану с тобой жить. Вот сейчас же, говорит, соберу свое имущество и тогда кидайте крантики в своих соседей, а с меня довольно.

Он говорит:

— Ах, говорит, скажите как напужали. Пожалуйста, говорит. Чище воздух будет.

Тут у них снова произошло некоторое оживление, так сказать, небольшая стычка семейного характера. После чего Катя собрала свои вещички. Завернула их в простыню. Плюнула в своего фактического подлеца. И пошла себе.

Она пошла до своей родной матери. До своей мамы. А ее мама не слишком обрадовалась прибытию. Одним словом, не прыгала вокруг своей дочки.

— Так что, говорит, я сама угловая жиличка, и, говорит, как вам известно, у меня нету комнатных излишков.

Катя говорит:

— Так что я всего, может, на пару дней, до приискания комнаты.

Старушка не проявила идеологического шатания в этом вопросе.

— Знаем, говорит. Другие, говорит, по шестьдесят лет ищут комнаты и находить не могут, а ты, говорит, нашлась какая веселая.

Ну, дочка видит, что мама склокой занимается, положила узел в углу и пошла до своей подруги.

У ней подруга была — Тося.

Тося говорит:

— Очень, говорит, я тебе сочувствую. Можешь, говорит, рассчитывать на мою моральную поддержку, но, говорит, я сама с мужем проживаю в одной небольшой комнатке, так что рассуждения излишни.

Тогда побегла Катюшка еще до одной знакомой дамы, но ничего такого не получилось.

А уже вечер приближается. Надо куда-нибудь деться. Не на юге.

Побегла Катя еще в одно место. После зашла в гостиницу бывшую «Модерн». В «Модерне» ей говорят:

— Так что у нас допущают только приезжающих. А то, говорят, процветает разврат. А вот, говорят, если б вы жили, для примеру, в Москве, то, говорят, мы охотно допустили бы вас как приезжую, а так, говорят, извиняемся.

Тогда еще немного походила по улицам Катюшка и пошла тихими шагами к своему потухшему семейному очагу.

Ее фактический муж говорит:

— Ага, вернулись! Ножки-то, говорит, извиняюсь, не промочили ли, трепавшись по улицам?

После чего, слегка поругавшись, они отужинали и легли спать.

А она видела во сне, будто кто-то ей сказал, что где-то сдается комната.

А вообще, квартирный вопрос несомненно укрепляет семейную жизнь.

Некоторые товарищи говорят, будто семейные устои шатаются, будто разводы часты и так далее. Нет, это неверно!

Брак сейчас довольно крепкий. Крепковатый.

ЗАГРАНИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Тут меня познакомили с одной девицей. Она сама, знаете, с Риги. А сюда только приезжает до своей родственницы, до тети Фени.

Или она ей племянница, или наоборот, я не знаю. Только какое-то родство у них наблюдается. Тем более что она, молодая барышня, раза два-три в год обязательно приезжает повидаться.

А про нее нельзя сказать, что она хорошенькая, но очень уж, знаете, одета она великолепно. Может, какой-нибудь американский нэпман и то навряд ли способен так пышно одевать свою супругу.

Как раз меня с ней познакомили в день ее приезда. Это ахнуть надо от удивленья. Пальтецо какое-то роскошное кикапу. В ручках особая меховая муфта. На плечах обратно меховая накидка. Шляпочка — я те дам. И на груди разные дорогие бусы.

Конечно, на богатство мне наплевать. Я и сам рублей девяносто в месяц огребаю. Но уж очень ослепительная форма одежды меня заинтересовала. Тем более знаю, тетя Феня дамочка, так сказать, безлошадная и ни черта не имеет.

Однако расспрашивать ничего не стал, а попрощался с ними за ручку и отбыл.

И прошло, может, недели полторы. И прохожу я по улице. Даже, знаете, не по улице. А иду я около вокзала. Я иду на вокзал. Мне надо «Вечерку» купить.

Иду на вокзал купить «Вечерку». Вдруг перед вокзалом останавливается извозчик, и выходят с него с багажом две невысокие дамочки. Выходят две дамочки, меня не окликивают, а идут по своим делам.

А я в эту минуту случайно поворачиваю голову, у меня зачесалась шея, и вижу эти как будто знакомые личности. И действительно, вижу тети Фенино мурло и при ней племянница.

Поглядел я на эту племянницу и своим глазам не верю — до того одета бедно. Муфточки не имеется. Пальто совершенно неинтересное. И сапожонки драные. Это обалдеть можно, какая резкая перемена!

Тетя Феня говорит:

— А, говорит, и вы тут! А сегодня Манечка в Ригу едет.

После, как проводили эту Манечку, тетя Феня говорит:

— Чего глазами моргаете? В крайнем случае и нам кормиться надо. Сюда Манечка едет в хорошем, а обратно надевает чего похуже. Удивляться не приходится.

Ничего я на это ей не сказал, только говорю:

— Ах ты, черт тебя побери!

МЕДИЦИНСКИЙ СЛУЧАЙ

Можно сказать, всю свою жизнь я ругал знахарей и всяких таких лекарских помощников.

А сейчас горой заступлюсь.

Уж очень святое наглядное дело произошло.

Главное, все медики отказались лечить эту девчонку. Руками разводили, черт ее знает, чего тут такое. Дескать, медицина в этом теряется.

А тут простой человек, без среднего образования, может, в душе сукин сын и жулик, поглядел своими бельмами на девчонку, подумал как и чего, и пожалуйста — имеете заместо тяжелого недомогания здоровую личность.

А этот случай был с девчонкой.

Такая небольшая девчонка. Тринадцати лет. Ее ребятишки испугали. Она была вышедши во двор по своим личным делам. А ребятишки, конечно, хотели подшутить над ней, попугать. И бросили в нее дохлой кошкой. И у нее через это дар речи прекратился. То есть она не могла слова произносить после такого испуга. Чего-то бурчит, а полное слово произносить не берется. И кушать не просит.

А родители ее были люди, конечно, не передовые. Не в авангарде революции. Это были небогатые родители, кустари. Они шнурки к сапогам производили. И девчонка тоже чего-то им вертела. Какое-то колесо. А тут вертеть не может и речи не имеет.

Вот родители мотали, мотали ее по всем врачам, а после и повезли к одному специальному человеку. Про него нельзя сказать, что он профессор или врач тибетской медицины. Он просто лекарь-самородок.

Вот привезли они своего ребенка в Шувалово до этого специалиста. Объявили ему как и чего.

Лекарь говорит:

— Вот чего. У вашей малютки прекратился дар речи через сильный испуг. И я, говорит, так мерекаю. Нуте, я ее сейчас обратно испугаю. Может, она, сволочь такая, снова у меня заговорит. Человеческий, говорит, организм достоин всеобщего удивления. Врачи, говорит, и разная профессура сама, говорит, затрудняется узнать, как и чего и какие факты происходят в человеческом теле. И я, говорит, сам с ними то есть совершенно согласен и, говорит, затрудняюсь вам сказать, где у кого печенка лежит и где селезенка. У одного, говорит, тут, а у другого, может, не тут. У одного, говорит, кишки болят, а у другого, может, дар речи прекратился, хотя, говорит, язык болтается правильно. А только,

говорит, надо на все находить свою причину и ее выбивать поленом. И в этом, говорит, есть моя сила и учение. Я, говорит, дознаюсь до причины и ее искореняю.

Конечное дело, родители забоялись и не советуют девчонку поленом ударять. Медик говорит:

— Что вы, что вы! Я, говорит, ее поленом не буду ударять. А я, говорит, возьму махровое или, например, вафельное полотенце, посажу, говорит, вашу маленькую лахудру на это место, и пущай она сидит минуты три. А после, говорит, я тихонько выбегу из-за дверей и как ахну ее полотенцем. И, может, она протрезвится. Может, она шибко испугается, и, я так мерекаю, может, она снова у нас разговорится.

Тогда вынимает он из-под шкапа вафельное полотенце, усаживает девчонку, куда надо, и выходит.

Через пару минут он тихонько подходит до нее и как ахнет ее по загривку.

Девчонка как с перепугу завизжит, как забьется.

И, знаете, заговорила.

Говорит и говорит, прямо удержу нету. И домой просится. И за свою мамку цепляется. Хотя взгляд у ней стал еще более беспокойный и такой вроде безумный. Родители говорят:

— Скажите, она не станет после этого факта дурочкой?

Лекарь говорит:

— Этого я не могу вам сказать. Мое, говорит, дело сообщить ей дар речи. И это есть налицо. И, говорит, меня не так интересует ваша трешка, а мне, говорит, забавней видеть подобные результаты.

Родители подали ему трешку и отбыли.

А девчонка действительно заговорила. Действительно верно, она немного в уме свихнулась, немножко она такая стала придурковатая, но говорит, как пишет.

ЛЕТНЯЯ ПЕРЕДЫШКА

Конечно, заиметь собственную отдельную квартирку — это все-таки как-никак мещанство.

Надо жить дружно, коллективной семьей, а не запираться в своей домашней крепости.

Надо жить в коммунальной квартире. Там все на людях. Есть с кем поговорить. Посоветоваться. Подраться.

Конечно, имеются свои недочеты.

Например, электричество дает неудобство.

Не знаешь, как рассчитываться. С кого сколько брать.

Конечно, в дальнейшем, когда наша промышленность развернется, тогда можно будет каждому жильцу в каждом углу поставить хотя по два счетчика. И тогда пущай сами счетчики определяют отпущенную энергию. И тогда, конечно, жизнь в наших квартирах засияет как солнце.

Ну а пока, действительно, имеем сплошное неудобство.

Для примеру, у нас девять семей. Один провод. Один счетчик. В конце месяца надо к расчету строиться. И тогда, конечно, происходят сильные недоразумения и другой раз мордобой.

Ну хорошо, вы скажете: считайте с лампочки.

Ну хорошо, с лампочки. Один сознательный жилец лампочку-то, может, на пять минут зажигает, чтоб раздеться или блоху поймать. А другой жилец до двенадцати ночи чего-то там жует при свете. И электричество гасить не хочет. Хотя ему не узоры писать.

Третий найдется такой, без сомнения интеллигент, который в книжку глядит буквально до часу ночи и больше, не считаясь с общей обстановкой.

Да, может быть, еще лампочку перевертывает на более ясную. И алгебру читает, что днем.

Да закрывшись еще в своей берлоге, может, тот же интеллигент на электрической вилке кипяток кипятит или макароны варит. Это же понимать надо!

Один у нас такой был жилец — грузчик, так он буквально свихнулся на этой почве. Он спать перестал и все добивался, кто из жильцов по ночам алгебру читает и кто на вилках продукты греет. И не стало человека. Свихнулся.

И после того как он свихнулся, его комнату заимел его родственник. И вот тогда и началась форменная вакханалия.

Каждый месяц у нас набегало по счетчику, ну, не более двенадцати целковых. Ну, в самый захудалый месяц, ну, тринадцать. Это, конечно, при контроле жильца, который свихнулся. У него контроль очень хорошо был поставлен. Он, я говорю, буквально ночи не спал и каждую минуту ревизию делал. То сюда зайдет, то туда. И все грозил, что топором разрубит, если найдет излишки. Еще удивительно, как другие жильцы с ума не свихнулись от такой жизни.

Так вот, имели в месяц не свыше двенадцати рублей.

И вдруг имеем шестнадцать. Пардон! В чем дело? Это какая же собака навертела такое количество? Или это вилка, или грелка, или еще что.

Поругались, поругались, но заплатили.

Через месяц имеем обратно шестнадцать.

Которые честные жильцы, те прямо говорят:

— Неинтересно жить. Мы будем, как подлецы, экономить, а другие току не жалеют. Тогда и мы не будем жалеть. Тогда и мы будем вилки зажигать и макароны стряпать.

Через месяц мы имели по счетчику девятнадцать.

Ахнули жильцы, но все-таки заплатили и начали наворачивать. Свет не тушат. Романы читают. И вилки зажигают.

Через месяц имели двадцать шесть.

И тогда началась полная вакханалия.

Одним словом, когда докрутили счетчик до тридцати восьми рублей, тогда пришлось прекратить энергию. Все отказались платить. Один интеллигент только умолял и за провод цеплялся, но с ним не посчитались. Обрезали.

Конечно, это сделали временно. Никто не против электрификации. На общем собрании так и заявили: дескать, никто не против и в дальнейшем похлопочем и включимся в сеть. А пока и так ладно. Дело тем более к весне. Светло. А там лето. Птички поют. И свет ни к чему. Не узоры писать. Ну а зимой — там видно будет. Зимой, может, снова включим электрическую тягу. Или контроль устроим, или еще что.

А пока надо летом отдохнуть. Устали от этих квартирных делов.

МАТЕРИНСТВО И МЛАДЕНЧЕСТВО

Вот кому я не завидую — это старухам. Вот старухам я, действительно верно, почему-то не завидую. Мне им, как бы сказать, нечего завидовать.

Это народ не гибкий. Они в жизни обертываются худо. Или я так скажу: неумело. К тому же в силу возраста они не могут заняться физкультурой, отчего имеют постоянную душевную меланхолию и непонимание путей строительства. И вообще цепляются за старый быт.

Только я ничего не говорю — бывают разные пансионы для престарелых старух, разные, так сказать, богадельни.

Их туда принимают. Им там кушать дают. Там им светло и тепло. И они там чай пьют и мягкие булки жрут и котлетами закусывают.

Конечно, попасть туда не все могут. А то бы, знаете, чересчур набилось. Некоторым, может, трудового стажа не хватает туда попасть. Опять же некоторые бывают классово невыдержанные старушки. Этим я тоже не завидую. Жалеть не жалею, но не завидую.

Такая была А. С. Баранова. Такая немолодая старуха. Ей невозможно было пенсион схлопотать по причине ее ненастоящего происхождения. Ее супруг был, я извиняюсь, бывший торговец. Он при царизме ларек держал.

Так что в этом житейском отношении старушке была труба. Главное, родственнички ее все, как один, подохли за бурные годы нэпа. А супруг ее, бывший торговец, тоже не очень давно скончался от расстройства сердечной деятельности. И осталась эта гражданка ни при чем.

То есть что значит — ни при чем? Она имела какое-то барахлишко. Она имела некоторую мебель, некоторые лампы и абажуры и всякие разные вещицы от ее бывшего затхлого мещанского быта.

Только про это она так располагала:

«Ну, думает, прожру я эти бывшие вещицы, и, может, я еще тридцать пять лет протяну. Это же надо понимать».

А тут начали, конечно, ей разные жильцы советы преподавать.

— Ты, говорят, цветки делай на пасхальные дни. Или, говорят, перекинься на антисанитарный фронт — полы мой или окошки протирай.

А был среди домашних жильцов такой вообще сукин сын, Петров-Тянуев. Вообще интеллигент. Он так ей говорит:

— Допустим, говорит, человек должен прокормиться. И допустим, он ничего не знает, ничего не понимает, цепляется за старый быт и в союзе не состоит. На какой он фронт должен тогда податься? А он должен податься на детский фронт. Пущай происходят разные колебания, но, промежду прочим, такое явление, как материнство и младенчество, завсегда остается в силе. Или, говорит, еще кухня. Хотя, говорит, это последнее потерпело некоторые изменения. Разные произошли общественные столовые и вообще раскрепощение домашних хозяек.

А. С. Баранова отвечает:

— Кухню я безусловно не могу. Я, говорит, от жары чрезвычайно сильно задыхаюсь и имею крупное сердцебие-

ние. А что касается младенчества, то, говорит, я их и в руках никогда не имела и их не понимала.

Петров-Тянуев так ей говорит:

— А вам, говорит, ничего такого и не надо. Я, говорит, сам очень огорчаюсь и сочувствую, что я не дама, я бы, говорит, свободно заимел тогда легкую и приятную жизнь. Я бы, говорит, ходил себе по садикам, ходил бы по бульварам. Я бы, говорит, разных ребят похваливал. Или бы маме чего-нибудь похвальное сказал в смысле ихнего малыша или младенца. Родители, говорит, это очень обожают и за это в долгу не останутся. А вы, говорит, тем более такая старушка чистенькая. Вам копейку неудобно подать. Вам две копейки дадут. А кто и три. Или велят клистирчик малютке поставить. Или попросят кашку сварить. Одним словом, вам очень прилично пойти на детский фронт.

Или он ее еще уговаривал, или она сразу раскумекала как и чего, только действительно пошла по такой легкой тропинке.

Недели, может, три или две она славно жила. Она имела мягкие булки и детские квадратные печенья. Она имела бутерброды и детские игрушки. Но потом ей не понравилось это дело, и она перекинулась на санитарный фронт.

То есть не то чтобы ей не понравилось. Ей понравилось. А только невозможно было работать. Нерентабельно. Ей младенца подсудобили.

Она имела разговор на бульваре. Ей девочка понрави лась. Она ее маме об этом сказала.

Мамаша, чей младенец, так ей говорит:

— Вы, говорит, действительно так детей обожаете?

— Да уж, говорит, прямо горю, как на их гляжу

— А ну, говорит, подержите девочку.

Сначала подержите, потом поносите. И сошла с круга Не явилась обратно.

Наша А. С. Баранова ждала и волновалась, но после отдала младенца в милицию.

А очень над ней в доме хохотали.

Петров-Тянуев говорит:

— Это, говорит, просто несчастный случай. Конечно, особенно захваливать не требуется, но это верное святое дело — материнство и младенчество. Умоляю вас, не бросайте!

Однако А. С. Баранова бросила это дело и перекинулась на санитарный фронт. И живет не так худо. Хотя и не так хорошо.

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Не знаю, как в других городах, а у нас, в Ленинграде, беспартийные очень в громадном почете.

У нас беспартийных очень берегут, лелеют и даже поручают им разные ответственные партийные дела.

Не знаю, как в других городах, а у нас беспартийные иной раз даже партийных чистят. Ей-богу!

Недавно у нас один беспартийный председателем был на партийной чистке. И ничего.

Это было как раз, когда ветеринарно-фельдшерскую школу чистили.

Действительно, ее очень спешно чистили. С одной стороны, надо ребятам в лагерь ехать, а с другой стороны — чистка.

Тогда некоторые говорят:

— Придется, безусловно, в две комиссии чистить. Пущай будет две комиссии и два председателя. Оно, может, побыстрей пойдет.

И вот, конечно, организовали вторую комиссию. Остановка только за председателем.

Тогда первый председатель, один известный товарищ, бежит до телефона и вызывает с одного учреждения назначенного партийного товарища. Он вызывает этого партийного товарища и просит его в ударном порядке бросить всякие мирные дела и приехать.

Тут, конечно, происходит такая небольшая неувязка.

Заместо одного товарища вызывают как раз другого. Или председатель запарился и не те звуки стал произносить, или который вызывал — ошибся. Только требуют до телефона одного беспартийного товарища.

Фамилия партийного товарища была что-то вроде Миллер, а беспартийного — вроде Швиллер. Одним словом, фамилии, безусловно, похожи. Ну, дело не в фамилии, а в факте.

И вот подводят к телефону этого беспартийного Швиллера и говорят ему разные высокие ответственные слова. Дескать, будьте добры, пятое-десятое, приезжайте чистить и так далее.

Очень тут беспартийный товарищ Швиллер поначалу оробел и забеспокоился от таких слов, начал отмахиваться, начал он за других хвататься. Дескать, как это понять — меня на чистку вызывают?

Другие говорят:

— Надо, безусловно, ехать, раз вызывают. Может,

такая инструкция есть, чтобы беспартийные чистили. Поезжайте с богом.

Вот, значит, наш Швиллер, или — как его — Швильдер, почистил ботинки и со скорбящей душой заспешил на ответственное дело.

Ну, приезжает. Скромно здоровкается. А ему стулья подвигают, чернильницу напротив его становят и разные ответственные слова говорят:

— Будьте, говорят, любезны и так далее — примите председательствование.

Наш голубчик, конечно, руками делает отвороты, дескать, ну, как это можно? Разве я смею? Не извольте беспокоиться — я и так посижу. И вообще, говорит, я извиняюсь,— не только председателем, а я, говорит, и на собраньях-то никогда раньше не бывал. Не смешите меня!

Ну, на него поглядели — дескать, уставший товарищ отнекивается, и... начали чистку.

А надо сказать, что перед этим была совершенно непонятная ситуация.

Первый председатель отлично знал этого беспартийного. Он с ним поздоровался за ручку, угостил папироской и не обратил внимания на такое странное появление. Одним словом, в спешке запарился.

И вот, не знаю, как в других городах, но у нас, в Ленинграде, беспартийный товарищ присел за стол, и началась чистка.

Полтора часа самосильно чистили. В конце концов наш беспартийный осмелел и тоже начал разные гордые слова произносить. Только вдруг является настоящий партийный товарищ, и все, конечно, разъясняется.

Тут встает со своего почетного места наш беспартийный голубчик и скромно уходит без лишних слов.

— До свидания, говорит, я пойду!

Теперь эту чистку признали недействительной. И мы с этим совершенно, то есть, согласны. Хотя нам и жалко которых чистили.

Шлем привет беспартийному бойцу.

ЧЕСТНОЕ ДЕЛО

Вот некоторые, конечно, специалистов поругивают — дескать, это вредители, спецы и так далее.

А я, например, особенно худых специалистов не видел. Не приходилось.

Наоборот, которых встречал, все были такие милые, особенные.

Как, например, этим летом.

У нас из коммунальной квартиры выехала на дачу одна семья. Папа, мама и ихнее чадо.

Ну выехали. Заперли на висячий замок свою комнатенку. Один ключ себе взяли, а другой, конечно, соседке отдали — мало ли чего случится. И отбыли.

А надо сказать, был у них в комнате инструмент — рояль. Ну обыкновенное пианино. Они его брали напрокат от Музпреда.

Брали они напрокат этот рояль для цели обучения своего оболтуса, который действительно бил по роялю со всей своей детской изворотливостью.

И вот наступает лето — надо оболтуса на дачу везти.

И, конечно, знаете, повезли.

А этот рояль, или — проще скажем — пианино, заперли в комнате с разными другими вещицами и отбыли. Отдыхают они себе на даче. Вдруг, значит, является на ихнюю городскую квартиру специалист — настройщик роялей, присланный, конечно, своим учреждением.

Конечно, соседка ему говорит: мол, сами уехадши до осени, рояль заперли и, безусловно, его настраивать не приходится.

Настройщик говорит:

— Это не мое постороннее дело — входить в психологию отъезжающих. Раз, говорит, у меня на руках наряд, то я и должен этот наряд произвести, чтоб меня не согнали с места службы, как шахтинца или вредителя.

И, значит, открыла ему дверь; он пиджачок скинул и начал разбирать это пианино, развинчивая всякие гаечки, штучки и гвоздики. Развинтил и начал свою какофонию. Часа два или три, как больной, определял разные звуки и мурыжил соседей. После расписались в его путевке, он очень просветлел, попрощался и отбыл.

Только проходит месяц — снова является.

— Ну как, говорит, мой рояль?

— Да ничего, говорят, стоит.

— Ну, говорит, я еще беспременно должен его настроить. У нас раз в месяц настраивают. Такой порядок.

Начали его жильцы уговаривать и урезонивать — мол, не надо. Комнатка, дескать, заперта. Рояль еще два месяца будет стоять без движения. К чему такие лишние траты производить!

Уперся на своем.

— У меня, говорит, наряд на руках. Не просите. Не могу.

Ну, опять развинтил рояль. Опять часа два назад свинчивал. Бренчал и звучал и на брюхе под рояль ползал.

После попрощался и ушел, утомленный тяжелой специальностью.

На днях он в третий раз приперся.

— Ну как, говорит, не приехадши?

— Нет, говорят, на даче отдыхают!

— Ну так я еще поднастрою. Приедут — очень великолепно звучать им будет.

И хотя ему объясняли и даже один наиболее горячий жилец хотел ему морду наколотить за потусторонние звуки, однако он дорвался до своего рояля и снова начал свои научные изыскания.

Сделал свое честное дело и ушел на своих интеллигентных ножках.

МЕРСИ

В этом году население еще немножко потеснилось.

С одной стороны, конечно, нэпманы за город выехали во избежание разных крупных недоразумений и под влиянием декрета. С другой стороны, население само уплотнилось, а то в тройном размере платить не каждому интересно.

И, безусловно, уничтожение квартирного института тоже сыграло выдающуюся роль.

Так что этот год очень даже выгодно обернулся в смысле площади.

Если каждый год такая жилплощадь будет освобождаться — это вполне роскошно, это новых домов можно пока что не возводить.

В этом году очень многие пролетарии квартирки и комнатки заимели путем вселения. Вот это хорошо!

Хорошо, да не совсем. Тем более это вселение производят без особого ума. Только бы вселить. А чего, и куда, и к кому — в это, безусловно, не входят.

Действительно верно, особенно входить не приходится в силу такого острого кризиса.

Но, конечно, хотелось бы, если нельзя сейчас, то в дальнейшем иметь некоторую точность при вселении. Или гарантию, что, скажем, к тихому человеку не вселяли

бы трубача или танцора, который прыгает, как бешеный дурак, до потолка и трясет квартиру.

Или бы так. Научных секретарей вселять, скажем, к научным секретарям. Академиков, прошедших чистку аппарата,— к академикам. Зубных врачей — к зубным врачам. Которые на флейте свистят, опять же к своим ребятам — вали свисти вместе.

Ну, конечно, если нельзя иметь такую точность при вселении, то и не надо. Пущай бы по главным признакам вселяли. Которые люди умственного труда и которые любят по ночам книжки перелистывать — вали к своим ночным труженикам.

Другие — к другим. Третьи — к третьим.

Вот тогда бы жизнь засияла. А то сейчас очень другой раз обидно получается. Как, например, такой факт с одним нашим знакомым. Он вообще рабочий. Текстильщик. Он фамилию свою просил не употреблять. Про факт велел рассказать, а фамилию не дозволил трогать. А то, говорит, меня могут окончательно доконать звуками.

Так что назовем его ну хотя бы Захаров.

Его, голубчика, как раз вселили в этом году. Конечно, мерси и спасибо, что вселили, а то он у своих родственников проживал. А только это вселение ему боком вышло.

Был это славный гражданин и хотя, конечно, нервный, но довольно порядочного здоровья. А теперича — будьте любезны — невроз сердца и вся кровь выкипела от раздражения.

А главная причина — он в этой квартире не ко двору пришелся.

Эту квартирку как раз интеллигенты населяли. В одной комнате — инженер. В другой, конечно, музыкальный техник — он в кино играет и в ресторанах. В третьей обратно незамужняя женщина с ребенком. В ванной комнате — домашняя работница. Тоже, как назло, вполне интеллигентная особа, бывшая генеральша. Она за ребенком приглядывает. А ночью в ванне проживает. Спит.

Одним словом, куда ни плюнь — интеллигенты. И ихняя жизнь не такая подходящая, как, конечно, хотелось бы.

Для примера, Захаров встает, конечно, не поздно. Он часов в пять встает. Или там в половине пятого. У него такая привычка — пораньше встать. Тем более он на работу встает, не на бал.

А инженер об это время как раз ложится. Или там на часик раньше. И в стенку стучит. Мол, будьте любезны, тихонько двигайтесь на своих каблуках.

Ну, Захаров, конечно, ему объясняет — мол, не на бал он спешит. Мол, он должен помыться, кипяточек себе скипятить и так далее.

И тут, конечно, происходит первая схватка.

Хочет Захаров пойти помыться — в ванной комнате интеллигентная дама спит. Она визг подымает, дискуссии устраивает и так далее.

И, конечное дело, после таких схваток и дебатов человек является на работу не такой свеженький, как следует.

После приходит он обратно домой. Часам, что ли, к пяти. Ну подзаправится. Поглядит газету.

Где бы ему тихонечко полежать, подумать про политику или про качество продукции — опять нельзя.

По левую руку уже имеется музыкальный квинтет. Наш музыкант с оркестра имеет привычку об это время перед сеансом упражняться на своем инструменте. У него флейта. Очень ужасно звонкий инструмент. Он в него дудит, продувает, слюнки выколачивает и после гаммы играет.

Ну выйдет Захаров во двор. Посидит часик-другой на тумбочке — душа домой просится.

Придет домой, чайку покушает, а по правую ручку у инженера уже гости колбасятся. В преферанс играют. Или на своей пианоле какой-нибудь собачий вальс Листа играют. Или шимми танцуют — наверное, в дни получек.

Глядишь, и вечерок незаметно прошел. Дело к ночи. И хотя, конечно, ночью они остерегаются шуметь, а то можно и в милицию, но все-таки полного спокойствия нету. Двигаются. За паркет ножками цепляются. И так далее.

Только разошлись — музыкант с ресторана или с вечеринки заявляется. Кладет свой инструмент на комод. С женой ругается.

Только он поругался и затих — инженер задвигался: почитал, видите ли, и спать ложится.

Только он лег спать — Захарову вставать надо.

Только Захаров встал — инженер расстраивается, в стенку ударяет, не велит на каблуках вращаться.

Только в ванную пошел — визг и крики,— мол, зачем брызги падают. И так далее, и так далее.

И, конечно, от всего этого работа страдает: ситчик, сами видите, другой раз какой редкий и неинтересный бывает — это, наверное, Захаров производит. И как ему другой произвести — ножки гнутся, ручки трясутся и печенка от огорчения пухнет.

Вот я и говорю: ученых секретарей надо к ученым секретарям, зубных врачей к зубным врачам и так далее. А которые на флейте свистят, тех можно за городом поселить.

Вот тогда жизнь засияет в полном своем блеске.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Во время знаменитого крымского землетрясения жил в Ялте некто такой Снопков.

Он сапожник. Кустарь. Он держал в Ялте мастерскую. Не мастерскую, а такую каменную будку имел, такую небольшую халупку.

И он работал со своим приятелем на пару. Они оба-два приезжие были. И производили починку обуви как местному населению, так и курсовым гражданам.

И они жили определенно не худо. Зимой, безусловно, голодовали, но летом работы чересчур хватало. Другой раз даже выпить было некогда. Ну, выпить-то, наверное, время хватало. Чего-чего другого...

Так и тут. Перед самым, значит, землетрясением, а именно, кажется, в пятницу одиннадцатого сентября, сапожник Иван Яковлевич Снопков, не дождавшись субботы, выкушал полторы бутылки русской горькой.

Тем более он кончил работу. И тем более было у него две бутылки запасено. Так что чего же особенно ждать? Он взял и выкушал. Тем более он еще не знал, что будет землетрясение.

И вот выпил человек полторы бутылки горькои, немножко, конечно, поколбасился на улице, спел чего-то там такое и назад к дому вернулся.

Он вернулся к дому назад, лег во дворе и заснул, не дождавшись землетрясения.

А он, выпивши, обязательно во дворе ложился. Он под крышей не любил в пьяном виде спать. Ему нехорошо было под потолком. Душно. Его мутило. И он завсегда чистое небо себе требовал.

Так и тут. Одиннадцатого сентября, в аккурат перед самым землетрясением, Иван Яковлевич Снопков набрался горькой, сильно захмелел и заснул под самым кипарисом во дворе.

Вот он спит, видит разные интересные сны, а тут параллельно с этим происходит знаменитое крымское зем-

летрясение. Домишки колышутся, земля гудит и трясется, а Снопков спит себе без задних ног и знать ничего не хочет.

А что до его приятеля, так его приятель с первого удара дал тигаля и расположился в городском саду, боясь, чтоб его камнем не убило.

Только рано утром, часов, может, около шести, продрал свои очи наш Снопков. Проснулся наш Снопков под кипарисом и, значит, свой родной двор нипочем не узнает. Тем более ихнюю каменную будку свалило. Не целиком свалило, а стена расползлась и забор набок рухнул. Только что кипарис тот же, а все остальное признать довольно затруднительно.

Продрал свои очи наш Снопков и думает:

«Мать честная, куда ж это меня занесло? Неужели, думает, я в пьяном виде вчерась еще куда-нибудь зашел? Ишь ты, кругом какое разрозненное хозяйство! Только не понять — чье. Нет, думает, нехорошо так в дым напиваться. Алкоголь, думает, чересчур вредный напиток, ни черта в памяти не остается».

И так ему на душе неловко стало, неинтересно.

«Эва, думает, забрел куда. Еще спасибо, думает, во дворе прилег, а нуте на улице: мотор может меня раздавить или собака может чего-нибудь такое отгрызть. Надо, думает, полегче пить или вовсе бросить».

Стало ему нехорошо от этих мыслей, загорюнился он, вынул из кармана остальные полбутылки и тут же от полного огорчения выкушал.

Выкушал Снопков жидкость и обратно захмелел. Тем более он не жрал давно и тем более голова была ослабши с похмелюги.

Вот захмелел наш Снопков, встал на свои ножки и пошел себе на улицу.

Идет он по улице и с пьяных глаз нипочем улицу не узнает. Тем более после землетрясения народ стаями ходит. И все на улице, никого дома. И все не в своем виде, полуодетые, с перинами и матрацами.

Вот Снопков ходит себе по улице, и душа у него холодеет.

«Господи, думает, семь-восемь, куда же это я, в какую дыру зашел? Или, думает, я в Батум на пароходе приехал? Или, может, меня в Турцию занесло? Эвон народ ходит раздевшись, все равно как в тропиках».

Идет, пьяный, и прямо чуть не рыдает.

Вышел на шоссе и пошел себе, ничего не признавая.

Шел, шел и от переутомления и от сильного алкоголя свалился у шоссе и заснул как убитый.

Только просыпается — темно, вечер. Над головой звезды сверкают. И прохладно. А почему прохладно — он лежит при дороге раздетый и разутый. Только в одних подштанниках.

Лежит он при дороге, совершенно обобранный, и думает:

«Господи, думает, семь-восемь, где же это я обратно лежу?»

Тут действительно испугался Снопков, вскочил на свои босые ножки и пошел по дороге.

Только прошел он сгоряча верст, может, десять и присел на камушек.

Он присел на камушек и загорюнился. Местности он не узнает, и мыслей он никаких подвести не может. И душа и тело у него холодеют. И жрать чрезвычайно хочется.

Только под утро Иван Яковлевич Снопков узнал как и чего. Он у прохожего спросил.

Прохожий ему говорит:

— А ты чего тут, для примеру, в кальсонах ходишь?

Снопков говорит:

— Прямо и сам не понимаю. Скажите, будьте любезны, где я нахожусь?

Ну, разговорились. Прохожий говорит:

— Так что до Ялты верст, может, тридцать будет. Эва куда ты зашел!

Ну, рассказал ему прохожий насчет землетрясения, и чего где разрушило, и где еще разрушается.

Очень Снопков огорчился, что землетрясение идет, и заспешил в Ялту.

Так через всю Ялту и прошел он в своих кальсонах. Хотя, впрочем, никто не удивился по случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился.

После подсчитал Снопков свои убытки: уперли порядочно. Наличные деньги — шестьдесят целковых, пиджак — рублей восемь, штаны — рубля полтора и сандалии почти что новенькие. Так что набежало рублей до ста, не считая пострадавшей будки.

Теперь И. Я. Снопков собрался ехать в Харьков. Он хочет полечиться от алкоголя. А то выходит себе дороже.

Чего хочет автор сказать этим художественным произведением?

Этим произведением автор энергично выступает против

пьянства. Жало этой художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя.

Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи — землетрясение и то могут проморгать.

Или как в одном плакате сказано: «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!»

И очень даже просто.

ЧИСТАЯ ВЫГОДА

Скажу вам откровенно: я раньше чуждался самокритики, не особенно ей доверяя.

Я, одним словом, боялся, как бы чего с ней не вышло. Как бы эту нашу тонкую и деликатную классовую прослойку в лице интеллигенции не очень раздражать разными намеками — мол, такой-то — жуликоват, а такой-то — бюрократ, а этот — вообще сукин сын.

Я думал — как бы этим не разбередить ихние раны. А то прочтут утром, чего про них напечатано, и работать будут уже не с таким энтузиазмом, как раньше.

Тем более это люди с психологией. Они, я думал, сразу загрустят по прежней спокойной жизни.

Но теперь вижу обратный ход действия.

Слов нет, некоторые, конечно, обижаются, ежатся под горячими словами, но, между прочим, чистая выгода уже наблюдается.

Для примера такой факт. Проживает в нашем доме один такой гражданин. Такой, ну, черт его дери, вообще гражданин Ф. Полную фамилию его трогать не будем. А то, конечно, петушиться будет. Или какую-нибудь пакость состряпает. Или моего ребенка с лестницы спихнет.

Но не в этом суть. Так я говорю — проживает в нашем доме такой гражданин Ф. И надо сказать — он у нас в доме вроде как барометр. Чего в политике делается, то он на себе и отражает. И после всякого декрета в лепешку разбивается. Старается на чем-нибудь не пострадать. Бывают такие пугливые интеллигенты с нежной конституцией.

И когда, например, нэп вводили, он первый колбасился и всем советовал магазины открывать.

В голодные годы он тоже не отставал от века — ездил куда-то с мешками и фабриковал детские продовольственные карточки.

Во время зажима самокритики он жил себе, как обыкновенный гражданин. Ходил вообще на работу, кушал, чего выдавала кооперация, газеты читал.

А тут глядим — чересчур изменился человек. После того как велено энергично ввести самокритику — нельзя было узнать нашего Федотова.

Очень он закопошился. И вся квартира у него закопошилась.

В первую голову, видим, бежит его мадам Федотиха на своих ножках.

Что? Куда? Почему такая спешка?

Она, видите ли, бежит на своих ножках няньку поскорей зарегистрировать. А то у ней была взята нянька до ее малютки, так она была без регистрации.

Побежала мадам в соцстрах, а наряду с этим в квартире происходят хлопоты. Один молодой вузовец вселяется как ихний родственник. Уплотняет ихнюю квартирку.

Что? Почему такое? Зачем такие действия?

Соседи говорят:

— Это у них было маленько площади зажулено, так они теперича боятся, как бы это не вскрылось под огнем самокритики.

Ну, прописали парня как родственника, и ждем, чего будет дальше.

Только видим — обратно бежит Федотиха на своих ножках. Добегает до своей квартиры и, мало отдохнувши, снова вниз спущается.

И снова поскорей бежит на своих ножках,— ей надо, видите ли, свою собачку отметить и налог за нее заплатить. У них, видите ли, пудель имеется. Не чистой породы, но вообще пудель. Он тринадцать лет без жетончика бегал, не имея своей регистрации. Так вот надо ему наконец жетончик приобрести, пока не околел от старости. Тем более к чему жулить, когда можно собачку и честно содержать.

Регистрирует Федотиха собачку, а в это время бежит в домовую контору сам гражданин Ф.

— Ай, говорит, по декрету надо сына в школу отдавать,— ему девятый годик, а я все сроки промигал. Как бы чего не вышло. А то тиснет кто-нибудь в газету — мол, у такого-то сынишка школу не посещает. Еще со службы сгонят.

Ну, дали ему справку, что промигал сроки,— успокоился. Только ненадолго. Обратно бежит — узнать, надо ли трехламповый радиоприемник регистрировать или можно на нем зайцем играть.

Побежал регистрировать.

А давеча видим — идет наш гражданин Ф. со своей Федотихой. Под ручку ее ведет. Скажите на милость! То ее чуть багром не отпихивал и предметами в нее кидался, а тут под ручку — мол, вполне честная семейная жизнь, без мордобоя.

Ну, видим — произошли в природе большие сдвиги.

Правда, это, конечно, мелкие мелочи, но если так дальше и глубже пойдет, то, черт подери, пожалуй, в стране скоро ни одного жулика не останется.

Все будут честные, порядочные. Все будут смело друг другу в глаза глядеть и друг на дружку любоваться.

Вот тогда жизнь засияет в полном своем блеске!

Фельетоны

*

ОТ АВТОРА

В этом отделе собраны мои фельетоны. Они печатались в разных юмористических журналах за время 1923—1929 гг.

Подписывал я их обычно псевдонимом «Гаврила», а позже — «Гаврилыч».

В этих фельетонах нет ни капли выдумки. Здесь все — голая правда. Я решительно ничего не добавлял от себя. Письма рабкоров, официальные документы и газетные заметки послужили мне материалом.

Мне кажется, что именно сейчас существует много людей, которые довольно презрительно относятся к выдумке и к писательской фантазии. Им хочется настоящих, подлинных фактов. Им хочется увидеть настоящую жизнь, а не ту, которую подают с гарниром товарищи писатели.

В этих моих фельетонах есть драгоценное свойство — в них нет писателя. Вернее: в них нет писательской брехни.

А живые люди, которых, быть может, я здесь пихнул локтем — пущай простят меня.

Впрочем, в последний момент у меня дрогнула рука, и я, по доброте душевной, слегка изменил фамилии некоторых героев, чтобы позор не пал на ихние светлые головы.

Так вот — читатель, который захочет прикоснуться к подлинной жизни,— пущай прикасается. Здесь все голая правда.

Этим авторским предисловием открывался раздел фельетонов во втором томе Собр. соч. 1929—1932 гг. Несмотря на значительное расширение этого раздела в настоящем издании, решено использовать данное предисловие, поскольку суть того, что сказано Зощенко о характере его фельетона, не меняется. *(Примеч. сост.)*

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

1. ПРЕЛЕСТИ НЭПА

Уважаемый товарищ редактор! В трамвае № 12 некоторые из буржуев прут, что слоны, через трудовую публику и пихаются локтями. Так что мне наступили на ногу, вследствие которой образовался нарыв, и я принужден на службу манкировать.

Семен Каплунов

2. ВНИМАНИЮ МИЛИЦИИ

Пароходное движение имеет свои печальные стороны. Я ехал на Васильевский остров, воспользовавшись хорошей погодой, на палубе. Подъезжая под мост Лейтенанта Шмидта, сверху кто-то плюнул. Последний попал какой-то бывшей даме на шляпку, которая не заметила.

Я потребовал у шкипера легкового пароходства немедленно остановиться, чтобы словить виновника, а шкипер начал выражаться по-фински и дал свисток.

Воспользовавшись этим, плюнувший хулиган скрылся.

Пора бы оградить пассажиров от плевков злоумышленников.

Конторщик Ив. Лермонтов

3. ГЛАС ВОПИЮЩЕГО

Группа интеллигентных служащих просит ответить редакцию: где купить гроб честному служащему, если он не вор и не спекулянт?

Пепо открывает разные гастрономические лабазы и торгует краковской колбасой, тогда как самый простой гроб без кистей и без ручек не по карману служащим.

Необходимо, чтобы Пепо открыло отделение, где бы каждый служащий мог купить себе недорогой гроб, хотя бы без кистей и без ручек.

Группа интеллигентных служащих

4. БАРОН

У всех врачи как врачи, а у нас в Нюхательном тресте из бывших барончиков. Ходит он завсегда чисто, за дверную ручку голой рукой не берется — брезгует и после каждого больного ручки свои в растворах моет.

Давеча я пришел в приемный покой, говорю: «болен». Стал этот барон меня слушать, а после и говорит вроде насмешки: «Не дыши».

Я говорю: «Не имеете права требовать — не дыши... Если я, вообще, через биржу, то я должен дышать».

А он говорит: «Пошел вон, дурак!» И на «ты» назвал.

Я говорю: «Не имеете права на «ты» выражаться. За что боролись?»

А он трубку, через что меня слушал, наземь бросил и разорался. А трубка, товарищи, народное достояние.

Василий Пинчук

5. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Вчера, будучи в государственном драматическом театре, я был поражен представившейся мне картиной. Бис хлопают. Это значит — довольна публика. Теперича спрашивается, кто на бис вылезает. На бис вылезают артисты и актрисы тоже. А теперича спрашивается, что же скромные труженики сцены делают, например, суфлеры, плотники и пожарники? А они в тени, в полной забывчивости.

Неправильно. Которая публика, может, и им бис хлопала. Я, например, им хлопал, а вылезают не те.

Теперича еще картина. Заплачено мной за восьмой ряд деньги, а не щепки по курсу дня. А теперича спрашивается, что я видел? А видел я дамскую спину, которая, будучи высокого роста, вертелась в переднем ряду, как черт перед заутреней.

На спину я могу смотреть и дома, а в театре позвольте мне искусство, за которое заплачено. Пущай бы плакат на стену привесили, дескать, воспрещается публике вертеться с момента поднятия занавеса. Или пущай администрация пересаживает публику по ранжиру: высоких взад, которые низенькие пущай вперед садятся.

Гр. Палкин

6. ПАНАМА [1]

Нам прислали 50 пар ботинок. Стали выбирать, кому какие, а инженер и говорит: «Даровому коню в зубы не смотрят, подходи, братишки, получай без выбору».

А сам, между прочим, выбрал себе самый большой размер, да еще примерил, собачий нос.

А когда я подошел, то, здравствуйте,— остался мне один сапог, а другого не было. Может, это инженер для своей любовишки припрятал, а по этому случаю я ходи в одном сапоге.

Вот так интеллигенция!

Чижиков

7. ГОЛОС ПРОХОЖЕГО

На днях я проходил вместе с женой, но вдруг на площади Восстания бросились в меня из открытого окна отбросами.

В довершение всего, моя жена, будучи на третьем месяце и не имея средств произвести аборт вследствие невыплаты жалования, испугалась.

Спрошенный мною дворник этого дома — могут ли вверенные ему граждане бросаться отбросами,— пусть ответит как администрация,— нахально ответил: не знаю. За что мной и привлечен к ответственности.

Вообще, это недопустимое явление, чтобы среди белого дня бросались отбросами в то время, когда дорог каждый сознательный служащий.

Бухгалтер Цыганков

---

[1] Здесь: обман, надувательство. Выражение появилось в связи с жульничеством, раскрытым при сооружении Панамского канала в конце XIX в. *(Примеч. сост.)*

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Похудел я, братцы мои, за эту неделю, осунулся, аппетит к пище потерял... Борщ я, например, ужасно обожаю — только давай, а нынче я и нос от него ворочу, не ем. Чудеса!

А я и причину знаю моей болезни. Очень уж мне, братцы мои, телеграфистов жалко. Обижают их. Все больше насчет освещения обижают.

Вот у меня имеется целая куча писем от телеграфистов. Плачутся телеграфисты на многое. И зачем, дескать, электричества нету, и зачем лампы неисправны, и почему лампы отпущены мелкого калибра. Один даже телеграфист с М. Казанской ж. д. по поводу неважного освещения воскликнул:

«Где же сознание человечества!»

А в самом деле, братцы, какого дьявола? Сказано — электрификация, так и пожалуйста. Уговор дороже денег. Зачем же ваньку валять?

Зачем же телеграфы освещать какими-то трехлинейными керосиновыми лампами?

Ну да лампа, куда ни шло — светит все-таки. А вот угадайте, братишки, чего горит на станции Семенкино в телеграфе? Ну? Ей-богу, на новые свои штаны спорюсь — нипочем не угадаете.

А горит на станции Семенкино малюсенькая фитюлька, и то без стекла.

Например, на станции Ильмень — там шикарно. Там лампа в семь свечей. Это здорово! Это пожалуй что и Германия позавидует... Везет ильменцам! Счастье им!

То-то, наверное, телеграфисты со станции Березина обижаются, завидуют тоже ильменцам. На станции Березина — беда со светом. Там вообще — беда. Нету у меня только красноречия объяснить, как работают там телеграфисты. Пускай уж сам телеграфист объясняет. Перо у него бойкое.

Вот чего он пишет:

> Телеграф помещается в уголке прихожей дежурного по станции. Телеграфист сидит там с удобствами загнанного зверька в клетку. Тесно, ночью коптит лампа, воздух сперт, даже повернуться негде.

А здорово, братцы, воздух сперт, ежели и повернуться негде! Этакая подлая лампа!

Эх, братцы мои, жалко мне телеграфистов! А в особенности жалко мне телеграфистов со станции Голутвин. Попали голутвинцы в непромокаемое положение.

Казалось бы, что все там хорошо. Есть даже керосинокалильный фонарь. Но послушайте теперь, что пишет тамошний телеграфист, у него перо тоже бойкое:

> Фонарь сияет дивным, ослепительным светом! Но телеграфные аппараты установлены около окон. Работающие телеграфисты обращены лицом в том направлении. Спрашивается: куда же этот свет так ярко разливает лучи? Да телеграфистам в спину!

Не поперло голутвинцам. Этакий свет пропадает даром. А что ж у них перед глазами?

> А перед глазами, — восклицает тот же телеграфист, — истый призрака сумрак. Это — охрана труда и их зрения!

Здорово завинчено! Пропали голутвинцы! Не знаю даже, чего им посоветовать? Стол им, братцы, что ли, повернуть к свету? А? Как вы думаете? А то ведь глаза испортят. Чего же это, действительно, «охрана труда и их зрения» смотрит?

Ну да шутки шутками, а нельзя ли и в самом деле убрать поскорей керосиновую лампу,

> устранить сей злощастный феномен,

как картинно выразился телеграфист, жалуясь нам на неисправную лампу.

Вот, братцы мои, написал я эту статейку — мне и легче. Все-таки, думаю, прочтет ее какой-нибудь инженер-электрик.

— Ну, скажет, пора теперь за телеграфистов взяться. Пора, скажет, им электрический свет дать.

И даст. Вот будет здорово. Только чур, братцы, лампочки не вывинчивать!

ОБ ОВОЩАХ И ПРОЧЕМ

Я, братцы, пять лет думал: с чего бы это у нас «задержка в деле транспорта» происходит? И не знал Ну а теперь я знаю. Мне, спасибо, один стрелочник написал:

> Задержка, говорит, в деле транспорта происходит потому, что без пропусков ходить по путям нельзя, а машинисты, стрелочники и другие агенты пропусков не имеют. И нередко человека, идущего по служебному делу, волокут в ГПУ для выяснения личности.

Вот оно в чем дело! А чудаки... Пропуска нужно выдать — только и делов. Но, оказывается, пропуска нельзя еще выдать. Оказывается, что

> в административном отделе охраны М. Каз. ж. д. еще и бланки не готовы...

Это плохо. Придется мне самому за это дело взяться. Не хотелось мне ввязываться, но дело срочное. Ведь какая штука может произойти. Лопнет, скажем, проволока у семафора. Ну, побежит, конечно, мастер чинить.

Побежит он по полотну, вдруг — стоп! Охрана...

— Куда бежишь? — спросит охрана.— Предъяви пропуск.

— Братцы,— скажет мастер,— нету у меня пропуска... Бланки еще не готовы...

— Ага,— скажет охрана,— хватай его, братцы! Тащи в ГПУ выяснять личность.

— Братцы,— заплачет мастер,— да какая же у меня личность, ежели я мастер с этой станции... Рази вы меня не узнаете?

— Узнаем,— скажет охрана,— как же не узнать? На одной линии работаем. Идем, что ли... Дисциплина требует

И поволокут мастера в ГПУ.

Тут-то и начнется «задержка в деле транспорта» — остановится поезд перед закрытым семафором.

Так вот, придется мне самому за это дело взяться. Напишу-ка я письмо. Задушевное письмо начальникам. Дескать, так и так, пожалуйста, и, между прочим, как ваше здоровье... Все-таки ласковое слово сильней действует.

Только вот каким начальникам писать, я не знаю. Я плохо разбираюсь в железнодорожных тонкостях. Ну да начальники сами разберут — люди они образованные.

ЗАДУШЕВНОЕ ПИСЬМО

Уважаемые товарищи начальники! Здравствуйте, пожалуйста! Ну как ваше драгоценное здоровье? Как супруги ваши? И чего поделывают деточки?

Я, спасибо вам, здоров. Погода у нас стоит неважная.

Между прочим, обращаюсь к вам с препокорной просьбишкой насчет пропусков. Требуются очень пропуска на предмет хождения по путям. Не мне, конечно, а вот стрелочникам, машинистам и другим агентам...

Выдайте им, уважаемые начальники! Ну что вам стоит? Хотя бы на клочке, что ли, напишите, дескать, такому-то — имярек — позволяется ходить по полотну...

И все. Больше я вас и не потревожу. Ну как ваши делишки? Слышал я, что вы нездоровы были. Берегитесь, голубчики, без кашне не выходите на улицу.

Ну, пока до свиданья. Искренне уважающий вас

Назар Синебрюхов

P. S. Как дела с огородами? Посадили ли вы овощи или еще нет? Я посадил. Привет супругам.

ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРА

Есть на станции Набережная клуб. Не танцулька какая-нибудь, а настоящий политклуб. Там даже иной раз серьезные пьесы ставят. Так, например, 15 апреля шла пьеса писателя Островского. Вот как! Это вам не танцулька! Это уж настоящая культработа.

А что одна актриса в истерике забилась, так, может, у ней нервы слабые. То же и с режиссером. Бороду-то ему не настоящую оторвали. Ему бутафорскую бороденку оторвали. Дерьма тоже! Стоит ли из-за паршивой бороденки историю поднимать? Другой бы режиссер еще спасибо сказал, что оторвали. А то возись с ней, отклеивай..

А с пустяков все и началось. «Дрезина» не была на этом вечере — не пригласили, но корреспондент прислал нам полное и подробное описание того вечера. Оказывается, что

> ...по обыкновению в политклуб приходят похулиганить некоторые, но зачастую пьяные граждане, могущие устраивать дебош.

Так вот, эти граждане, «могущие устраивать дебош», явились на вечер и устроили скандал,

> разразившийся до вышибания окон клуба и попыткой одного из нэпачей порвать театральную занавес.

Мало того — произошла драка. Один из «могущих устраивать дебош»,

> изловчившийся, ударил по носу председателя культкружка товарища Маслова, отчего пошла кровь.— Произошла атака артистов...

Во время контратаки режиссеру местной группы, Пономареву, оторвали бороду, которая оказалась, как мы сообщали, не настоящей.

> За кулисами одна из артисток разразилась истерикой...

Да-с! Это вам не танцулька.

«Дрезина» слезно просит товарища заведывающего клубом (если ему во время контратаки не оторвало голову) сообщить в редакцию, по каким дням устраиваются вечера.

Очень уж нам охота подраться с нэпачами, «могущими устраивать дебош».

ЛЕГКАЯ НАУКА

> Крестьяне Сев -Зап. области кооперированы всего лишь на 10 %. Торговцы вербуют себе покупателей всеми мерами, в частности — широким кредитованием.

Владелец лавки «Труд-Прут» стоял за прилавком перед покупателем и говорил ему, сияя:

— К нам, гражданин хороший, ходит покупатель. Мы покупателя в руках держим. В казенной лавке, может,

и дешевле и все такое прочее, а идут к нам. Отчего? А очень даже просто отчего, гражданин хороший.

Хозяин любовно похлопал себя по лбу и продолжал:

— Котелок варит... Башка работает... Скажем, теперь кредитование. Государственный магазин в долг отпущает, а мы еще шире отпущаем. Государственный магазин велит вежливо относиться к покупателю, а мы покупателю ручку жмем. Те будут ручку жать, а мы чаем их будем потчевать. Те будут чаем, а мы кофеем. Те кофеем, а мы... мы им, чертям, сапожки будем чистить.

Покупатель усмехнулся.

— Так-то так,— сказал он.— Да только это пока. Государственный магазин тоже не без башки. Научился. Наука ваша нетрудная.

— Наука легкая,— согласился хозяин,— не спорю. Легкая наука. Да только уметь надо... Скажем, крестьянин пришел — мужичок-серячок... Тут психология требуется. Мужик не любит — дескать, вот вам товар, а деньги сюда кладите. Мужичок любит, чтоб ему товар похвалили, чтоб ему пыль в глаза пустили. А кроме того, просто любит он поговорить на семейные темы — мы и потрафляем.

В лавку «Труд-Прут» вошел крестьянин. Он робко оглянулся по углам и снял шапку.

— Вот видали? — тихо сказал хозяин своему собеседнику.— Вот крестьянин пришел... Глядите, чего я с ним сделаю... Тс... Почтенье землячку...

— Это чего,— спросил крестьянин,— лавка-то казенная? Мне казенную надо...

— Лавка «Труд-Прут»,— строго сказал хозяин.— Не казенная, но вроде как на паях... Для нас все равно как казенная... Садитесь на тубаретку... Покупать-то для себя пришли?

Мужик осторожно посмотрел на хозяина.

— Для себя. Ситчику мне, любезный коммерсант...

— Ситчику? — радостно воскликнул хозяин.— Есть ситчик. Светленький... В полоску, в клеточку, в амбарчик, в горошек... Сейчас...

Хозяин ринулся к полкам и сбросил на прилавок несколько кусков плохого, редкого ситцу.

— Мне, любезный коммерсант, в подковку надо,— робко возразил мужик.— Чтоб подковка была раскидана по полю... А это будто в горошек...

— В горошек,— обиделся хозяин.— Горошек завсегда подковку заменяет. Подковка завсегда после стирки образуется.

Мужик потеребил ситец в руках.

— Редкой,— сказал он.— Редким мы не интересуемся

— Этот ситец редкий?! — вскричал купец.— Да это плотненький ситец... Это не ситец — сукно, чудо столетия... Равносильный ситец... Рафинад... Сам бы покупал такой ситец, да деньги надо — жена в закладе сидит...

Мужик недоверчиво усмехнулся.

— Ей-богу! — сказал хозяин, воодушевляясь.— Мое дело сторона. Я за похвальбу не получаю. Но только это чудный, типичный ситчик... И цена недорогая... Вы чего, семейный?

— Семейный...

— Семейный ситчик,— сказал хозяин.— Внуки спасибо скажут. Это, скажут, ситчик, действительно... Жена-то здорова ли?

— Здорова. Чего ей делается...

— Здоровая жена завсегда такой ситчик похвалит Потому она одобрит... Хлеб-то у вас как? Не побило ли градом, оборони создатель...

Крестьянин с удовольствием присел на лавку и вздохнул:

— Малехонько побило... Малость... Стороной прошло А так-то ничего, хлеб родится.

— А, хлеб родится,— сказал хозяин,— значит, и ситчик надо светленький брать в горошек. Тебе на две рубахи или на три?

— На рубаху,— сказал мужик.— Да только я уж и не знаю... Не интересуюсь таким ситцем.

— Надо интересоваться, как же можно,— пристыдил хозяин.— А град-то крупный был?

— Град-то крупный, в ноготь.

— Скажи на милость — в ноготь... Так как же — на две рубахи?

— На рубаху,— сказал мужик.

Хозяин тигром накинулся на ножницы. Отмерил, прикинул, попестрил ситцем перед глазами мужика и сказал:

— Рубашка будет... Чудо столетия. Антик в горошек... Завсегда к нам заходите. Можем и в долг отпущать... Сегодня на деньги, завтра в долг... Заходите...

— Зайду,— сказал мужик.

Он потолковал еще о граде с хозяином, рассказал кой-какие подробности и, любуясь на свой ситец, вышел из лавки.

— Видали? — восхищенно сказал хозяин своему собеседнику.— Как по-вашему?

— Что ж,— сказал собеседник.— Наука ваша легкая, это верно. Да только не без обману...

— Зачем не без обману,— обиделся купец.— Мы только потрафляем покупателю. Обману нету... А ежели это обман по-вашему — идите в государственный магазин. Вам чего надо? — строго переспросил хозяин.

— Да мне ничего,— сказал собеседник.— Я так... Меня, видите ли, заведывающим назначили, в кооператив... Вот пришел поучиться... Как торгуете... Наука ваша легкая, но тово-с, неприятная наука...

Хозяин сконфуженно посмотрел на своего конкурента и сказал:

— Кому как-с...

Собеседник купил катушку ниток и, усмехаясь, вышел.

ГЕРОИ

Торжество в деревне Максимовке началось с раннего утра.

Сначала всем миром ходили по деревне с флагами и пели «Интернационал», потом, собравшись у пожарного сарая, открыли заседание.

Председатель влез на ступеньки сарая и махнул шапкой.

Общество откашлялось, отсморкалось и затихло. Только с тихим треском там и сям бабы жевали семечки.

— Так вот, братцы,— начал председатель,— пущай ответит общество, надо ли зафиксировать вопрос насчет самогону ай нет?

— Безусловно, надо,— сказало общество.

— А ежели так,— сказал председатель,— то выходит такая штука... Пущай вот ответит еще общество, есть ли у Егорки Гусева лошадь ай нет?

— Нету,— сказали в толпе,— нету у него лошади. Корова, да, действительно есть, а лошадь он пропил, сукин кот.

— Так,— сказал председатель,— пропил он лошадь. Заметьте себе... Дальше, скажем, Митюшка Бочков... Спер он сбрую у Козулихи ай нет? Спер. На какой этот самый предмет или цель спер он сбрую? На самогон... Те-

перича идем дальше. Лобачев Ванька. Чикнул он ножом Серегу ай нет? Чикнул. Пьяный был... А теперича я спрашиваю общество, отчего это все, беда такая, происходит?

— Да разве мы знаем? — сказали в толпе.— От самогонки, что ли?

— Братцы,— закричал председатель,— конечно, от самогонки! Братцы, враги мы себе ай нет? Не враги! А не враги, так должны мы эту самогонку тово, растово, разэтово? Уничтожить, то есть?

Мужики молчали.

Председатель откашлялся и тихим голосом продолжал:

— Вы, братцы, не обижайтесь. Я против общества не иду. Я самогонку не хаю. Есть в ней вкус, не спорю...

— Конечно, есть! — крикнул кто-то.— Она вкус имеет. Она кровь полирует.

— Не спорю,— сказал председатель.— Вкус она имеет. Ежели, для примера, возьмешь горбушечку, сольцей ее присыпешь, а огурчик в это время на полусогнутой держишь, да нальешь ее в это время в стаканчик, да — хлоп-с... А она, бродяга, струей как брызнет по жилам... А тут огурчиком — джик, горбушечку — хрясь... Отдай все, да мало...

В толпе крякнул кто-то. Два мужика, одергивая штаны, пошли от сарая.

— Стой! — закричал председатель.— Не пущу! Зафиксировать надо... Пущай общество постановит, надо варить ее ай нет?

— Что мир скажет,— уклончиво ответило общество.

— Можно, конечно, не варить,— добавил кто-то.— Можно у соседей брать... Ежели избыток у них.

Председатель вытер мокрый лоб рукавом и хрипло сказал:

— И у соседей не брать! И не варить! И аппаратов не чинить. Потому — враз надо кончать. Потому — одним пальцем блохи не поймаешь... Ась? Братцы, да что ж это? Враги мы себе ай нет?!

Мужики, кряхтя и сморкаясь и жалобясь на свою судьбу, то начинали хвалить напиток, то признавали за ним самые ужасные качества.

И наконец, после двухчасового спора, постановили: «Самогон не варить, аппаратов не чинить и у соседей добром не пользоваться».

Читатель, если ты будешь в тамошних местах, загляни, милый, чего пьют в этой деревне. Не водочку ли, часом, глотают?

ЩЕДРЫЕ ЛЮДИ

На пивоваренных заводах рабочим для поддержания здоровья выдают по две бутылки пива.

Ну что ж, пущай выдают. Мы не завидуем. Мы только несколько удивлены постановкой этого дела. Оказывается, на некоторых ленинградских заводах пиво выдается особенное — брак. В этом специальном пиве попадаются: щепки, волоса, мухи, грязь и прочие несъедобные предметы.

Любопытная картиночка нам рисуется.

Рабочий варочного отделения Иван Гусев получил две бутылки пива, сунул их в карман и, весело посвистывая, пошел домой.

«Все-таки не забывают нашего брата,— думал Гусев.— Все-таки про наше рабочее здоровье стараются. Ежели, например, цех у тебя вредный — получай, милый, для поддержки две бутылки бесплатно. Ах ты, щедрые люди какие! Ведь это выходит шесть гривен в день... А ежели в месяц — пятнадцать рублей... Ежели в год — двести целковых набегает».

Сколько набегает в десять лет, Гусев не успел высчитать.

Дома Гусева обступили родные.

— Ну что, принес? — спросила жена.

— Принес,— сказал Гусев.— Очень аккуратно выдают. Стараются про наше рабочее здоровье. Спасибо им. Жаль только, пить его нельзя, а то совсем бы хорошо.

— Может, можно? — спросила жена.

— Да нет, опять чего-нибудь в ем плавает.

— А чего в ем сегодня плавает? — с интересом спросил Петька, сын Гусева.

— Сейчас смотреть будем.

Гусев открыл бутылку и вылил пиво в глиняную чашку. Все домочадцы обступили стол, вглядываясь в пиво.

— Есть, кажися,— сказал Гусев.

— Есть! — вскричал Петька с восторгом.— Муха!

— Верно,— сказал Гусев,— муха. А кроме мухи еще чевой-то плавает. Сучок, что ли?

— Палка простая,— разочарованно сказала жена.

— Палка и есть,— подтвердил Гусев.— А это что? Не пробка ли?

Жена с возмущением отошла от стола.

— Все ненужные вещи для хозяйства,— сердито сказала она.— Палка, да пробка, да муха. Хотя бы наперсток дешевенький попал или бо пуговица. Мне пуговицы нужны.

— Мне кнопки требуются,— ядовито сказала тетка Марья.— Можете обождать с вашими пуговицами...

— Трубу хочу,— заныл Петька.— Хочу, чтоб труба в бутылке...

— Цыц! — крикнул Гусев, открывая вторую бутылку.

Во второй бутылке тоже не было ничего существенного: два небольших гвоздя, таракан и довольно сильно поношенная подметка.

— Ничего хорошего,— сказал Гусев, выливая пиво за окно на улицу.

— Ну, может, завтра будет,— успокоила жена.

— Рояль хочу,— захныкал Петька.— Хочу, чтоб рояль в бутылке.

Гусев погладил сына по голове и сказал:

— Ладно, не плачь. Не от меня это зависит — от администрации. Может, она к завтрему расщедрится насчет рояля.

Гусев спрятал пустые бутылки за печку и грустный присел к столу.

А за окном тихо плакал прохожий, облитый густым баварским пивом.

ДОРВАЛИСЬ

Ух и накрутим же мы сейчас хвост ждановским мужикам!

Дайте, братцы, только отдышаться. Дайте только дух перевести. Очень уж мы, знаете, сердимся на этих ждановцев.

Сейчас объясним все по порядку: что, к чему и почему Ну держись, ребята!

А есть, знаете, такое село Ждановка. И было в этом селе четыре трактора. Четыре новешеньких коммунальных трактора.

И пущай теперь ждановские мужики ответят, куда

они, между прочим, щучьи дети, позадевали эти тракторы? Ась?

Ага, небось молчат. Корежатся от совести. Вот мы им еще пару поддадим. Хватай их за бороденки!

Так вот, между прочим, насчет этих тракторов.

Первый трактор у них, видите ли, сломался.

А отчего он, позвольте узнать, сломался? Не почесавшись, ведь и чирий не вскочит.

Оттого он сломался, что Васьки Великанова корова рогом чтой-то там прободала. Одним словом, какую-то нужную штуковину смяла рогом.

Ах какие, право, несознательные хозяева эти Великановы! Ну разве ж мыслимое дело — допущать несознательную корову до трактору? Да разве ж она понимает науку и технику? Тьфу, захворать можно от таких ненормальностей!

Теперь пойдем дальше.

Второй трактор у них в воду свалился. Отчего он в воду свалился? Оттого он в воду свалился, что ждановский мужик Иван Николаев Косоглотов некультурно управлял этим трактором. И, будучи маленько под мухой, шибко попер на этом тракторе и с обрывчика сверзился.

Пущай этого Косоглотова теперь весь мир знает и его презирает.

У третьего трактора отчаянные ждановские парнишки какую-то немаловажную штуковину оторвали.

И теперь, ежели говорить прямо, по совести и без прикрас, то остался у них, у ждановцев, единственный один трактор.

Оно, конечно, и с одним трактором жить можно. Да только не такие это ждановские мужики. Это очень дико отчаянные мужики. Дорвались они, знаете, и до этого трактора. И трактор этот им теперь вроде автомобиля, только что без гудка. Истинная правда.

Чуть, знаете, они напьются маленько — сейчас велят трактор им предоставить. Ну и катаются на ем, что ответственные.

Председатель, подлая его душа, тоже ежедневно катается. Он до того, знаете, разленился через этот трактор, что идет, например, к куму своему, к Петровичу, через три дома — и то велит трактор себе подавать. И прет на нем стоя.

А касаемо свадеб в Ждановке и говорить не приходится. Молодых обязательно даже на тракторе развозят. Гостей тоже. А ведь гость, ежели он клюкнувши, он обязательно

блюет на трактор. Разве ж это мыслимое дело — блевать на трактор?

А когда ребятенка недавно у Власовых октябрили, его тоже на тракторе везли. Ребятенок, знаете, дико орет и вообще истекает, а его прут и прут. Да еще сам папаша Власов сзади на трактор вскочивши и орет: ого-го!

Вот какие ядовитые делишки творятся у ждановцев. Пущай теперь вся республика про них знает и проклинает.

А так на остальном деревенском фронте все обстоит довольно отлично и симпатично. За исключением, значит, тракторов.

И хотя бы в центре на этот счет небольшой декретик удумали — мол, не катайтесь, черти ситцевые, на тракторах. Это ж вам не моторы. Понимать надо.

ДВА КОЧЕГАРА

Было это в Хабаровске. Или в крайнем случае во Владивостоке. Где-то, одним словом, в тех краях.

Все началось с сущих пустяков.

Жили, например, два кочегара. Одного кочегара фамилия — не любим сплетничать — Рыжиков. Другого — Шеляев. А был у Рыжикова сын — партийный, пионер Костька. У Шеляева же — беспартийный младенец Васька, пяти лет.

Однажды парнишки подрались между собой. С чего это у них началось — не могу вам сказать. Или, может быть, Васька чем-нибудь обидел пионера. Или, может быть, Костя-пионер сказал какие-нибудь стишки, например: «Васька-васенок — свиной поросенок». Но только драка у них произошла форменная.

Победил пионер Костя — надрал вихры своему противнику. Беспартийный же Васька с громким ревом подрал жаловаться к своему папаше.

А папаша, кочегар Шеляев, сильно расстроился. Вечером пошел принимать дежурство от Рыжикова и говорит ему:

— Ну, говорит, берегися, Рыжиков! Я, говорит, твоему щенку голову оторву с корнем, ежели что. Пущай не бьется с моим Васькой в другой раз.

А папаша Рыжиков был гордый папаша.

— Не стращай, говорит. Не испужался! Ишь ты, говорит, какой нашелся характерный — детские головы с корнем отрывать. А ежели они — нам смена? Да я тебя за такие слова расстрелять, бродягу, могу.

— Ах так! — удивился Шеляев.— Кочегаров расстреливать? Которые в союзе состоят расстрелять?! Да я тебя за это в Соловки могу спрятать, сукинова сына!

Ну, слово за слово. Рассердились они друг на друга.

Рыжиков ушел с дежурства, плюнул и думает:

«Я, думает, подсижу тебя, бродягу. Я тебе такую пакость состряпаю — не зарадуешься».

Кочегар Шеляев принял дежурство и тоже думает:

«Погоди, думает, я тебя, гадюку, подковырну. Я тебе чего-нибудь в котле испорчу. Или вот, например, возьму да с одиннадцати атмосфер на восемь спущу... Оправдывайся, бродяга, после... Будешь знать, как кочегаров расстреливать...»

Сказано — сделано.

Снизил Шеляев пар до восьми атмосфер.

На другой день принял дежурство Рыжиков.

«Эге, думает, пакости мне строит? Погоди, я тебе на шесть атмосфер спущу. Накось, выкуси!»

Сказано — сделано.

Спустил Рыжиков пар до шести атмосфер.

Падающая энергия, конечно, упала. Народ дивуется, а, однако, что к чему и почему — не понимает.

На другой день принял дежурство обратно Шеляев.

«Эге, думает, шесть атмосфер? Да я тебе, бродяге, четыре устрою. И воду, подлецу, с резервного котла спущу. Пущай все к чертовой матери лопается».

Сказано — сделано.

Спустил кочегар до четырех атмосфер. И пар из резервного котла выпустил. Ждет, что будет.

На другой день хотел Рыжиков до двух атмосфер спустить и крантик вообще отломить к чертовой бабушке. Но не пришлось. Специальная комиссия взяла кочегаров в оборот.

Теперь чего будет — неизвестно. А впрочем, если раскинуть мозгами, то предвидеть можно.

Сыновья, Васька с Костей, непременно помирятся.

Потому счастливое, безоблачное детство.

Кочегары скорей всего тоже помирятся. Все-таки в одном союзе состоят и живут на одной улице.

А вот со стороны комиссии предвидим едкие неприятности.

И верно, хабаровская газета «Рабочий путь» пишет:

Райком постановил уволить этих двух кочегаров и внести в членские книжки выговор.

Будет, ох будет теперь время у безработных кочегаров подумать о случившемся!

С

Небось простодушный читатель удивится. Какие, подумает, пошли короткие заглавия из одной буквы. И чего это буква С значит? Может, это каналья автор ругается и выражается. Может, это означает — собака, или сукин сын, или «с Волкова кладбища»? Мало ли на букву С имеется неблагородных слов.

Нету, читатель. Нету, милый. Не такой это человек Гаврила, чтоб с нового года выражаться.

А буква С означает букву С, подписанную под одной жалобой. Вот чего.

Злополучная это была жалоба. Сейчас расскажу. Дайте, черти, папиросу выкурить, а то смех разбирает. А когда смеюсь — чихать хочется. А когда чихаю — перо дрожит и слог не такой гладкий получается.

А дело было ужасно ехидное, в городе Харькове.

В газету «Пролетарий» жалоба поступила. Насчет Наумова. Председателя УИКа откомслужа трансконторы Вукоопспилки (тьфу, черт! последний язык за ваш полтинник сломаешь...).

Ну поступила жалоба. Делов тоже!

А подпись под жалобой одна сплошная буква С.

А в жалобе ничего особенного не было. Так, мелкие неприятности Наумову.

А Наумов ужас как распалился. Расстроился. И побежал мелкой рысью в редакцию.

— Кто, говорит, буквой С жалобу подписывал? Откройте фамилию. Требую.

А в редакции (вот спасибо-то) фамилии не говорят.

«Не говорят — не надо,— подумал Наумчик.— Дерьма тоже, я и так узнаю».

И мелкой рысью побежал назад.

Прибежал, снял калоши и думает:

«Сейчас, думает, посмотрю список сотрудников, которые сотрудники на букву С — тем крышка. И уж, ду-

мает, плюньте в мои бесстыжие глаза, если я злодея не открою».

А в конторе всего-навсего одна гражданка на букву С начиналась. И та Вдовицына-Сулимовская (фамилия это у ней такая).

Нажал на нее Наумчик. Уволю, говорит. В порошок сотру. Та в слезы. Не сознается. Я, говорит, могу специальный документ достать, что я невиновная.

И написала она в редакцию «Пролетария» письмо:

> Настоящим прошу редакцию «Пролетарий» выдать мне справку о том, что ни я, ни мой муж (Сулимовский) никаких заметок в редакцию не давали.
>
> *Вдовицына-Сулимовская*

А ей ответ с мальчиком:

— Да, действительно.

А чем дело кончилось, нам так и не известно. Известно только то, что злодея Наумов не нашел. Хотя и предложил в случае неудачи плюнуть ему в глаза.

Плевать мы не станем. Не такой у нас характер, чтоб плеваться с нового года.

А так все остальное обстоит отлично и хорошо. Дела идут, контора пишет.

ХИМИКИ

Нынче, граждане, химия всем известна. До масс дошла. Все, скажем, химические и физические законы напролет известны.

Какой-нибудь, представьте себе, физический закон — например: от теплоты тело расширяется,— мало известный при царском режиме и при Временном правительстве, теперича ясен, как на ладони.

Однако есть физические законы, известные и раньше, при любом государственном строе. Это, например, ежели тело водой попрыскать, то тело тово, прибавляется в весе.

Одна текстильная фабрика так и делает: обливает шерсть водой.

Ежедневный газетный орган про это с меланхолией пишет:

> Ткачи сдают готовые куски товара на вес и, боясь нехватки в весе, спрыскивают товар водой.

Такой, конечно, химический подход к текстильной промышленности мне, граждане, не нравится.

Конечно, я бы не принял это так близко к сердцу, если б не брюки. А то — брюки.

Суконные брюки я люблю носить долго.

Мне не нравятся такие штаны, в которые сунешь два раза ноги, и они расползаются[1]

Вот, например, бывшие брюки я носил двенадцать лет. И все они были как новенькие.

И уже революция грянула, гражданская война, нэп, а я все ношу и ношу. Такая, представьте себе, чудная материя попалась. Даже, откровенно сознаюсь, она еще лучше от носки стала. Блеск такой богатый пошел, мягкость, элегантность — дух вон.

Я бы эти брюки еще двенадцать лет носил, если б в бане не сперли. А то сперли в бане.

Конечно, пришлось купить новые. Потому — прохладно, и милиция косится. Издевательство, говорят, над общественным вкусом. Ежели, то есть, гражданин не при брюках, хотя в длинном пальте.

А какое, помилуйте, издевательство, ежели из предбанника сперли? Жутко, милые...

А новые брюки — плохие удались.

На стул, скажем, сел, за гвоздь слегка тронул — рвутся. За дверную ручку карманом зацепил — опять рвутся. В гости пришел, нагнулся под стол, чтоб тарелку или бутерброд поднять,— обратно рвутся и расползаются. Жутко, милые.

Жена, на что уж дама прочная и сентиментальная, и то не выдержала.

— Ежедневно, говорит, шью ваши брюки, Григорь Иваныч. Всю, говорит, общественную работу или сходить к управдому — за них забросила. Пущай, говорит, лучше развод, или купите новые.

— Гражданка, говорю, погодите ерепениться. Сейчас схожу в магазин — пущай обменяют.

Хорошо. Поносил я брюки еще два месяца для ровного счета, заявляюсь в магазин.

— Что вы, говорю, граждане, такое дерьмо продаете?

— Да,— говорит заведывающий,— товар порченый. Товар, говорит, для весу водой на фабрике обливают. А он преет и портится.

Брюки, а не ноги расползаются. *(Примеч. авт.)*

— Вес, говорю, в брюках мне не касается. Прошу обменять.

Менять заведывающий не стал, но предложил купить новые. Так я и сделал.

А что текстильщики так поступают, то смешно и обидно. Ну случилась нехватка, ну привесь к общему куску какую-нибудь тяжелую ерунду или гирьку. Можно даже неклейменую. А то водой обливать! Жутко, милые.

ПТИЧЬЕ МОЛОКО

Прошли, братцы мои, те тяжелые денечки, когда кооперативы торговали только пудрой да гуталином.

Будет.

Нынче в кооперативах полным-полно. Все есть, чего твоей душе угодно. Разве что птичьего молока не достать.

И то в ином кооперативе заместо птичьего молока такое есть — только диву даешься.

Думаете, сигары или шелковые чулки?

Стара штука — сигары и чулки. Подымай, братцы, выше.

Ну да не будем понапрасну томить читателя. Прямо и начистоту скажем: в некоторых кооперативах торгуют даже собачьими намордниками. Например, кооператив Нижне-Туринского лесничества (Уральской области).

В этом кооперативе имеется целая партия такого товару.

Газета «Труд» пишет:

> Выбор намордников большой, на разные цены, разных фасонов, кожаные, металлические.

Конечно, в ином кооперативе так бы и пролежали эти самые намордники до скончания веков или до тех пор, пока сынишка заведывающего (даром что комсомолец) не стибрил бы их из почтительного удивления. Но не таков этот Нижне-Туринский кооператив. И не такова тамошняя администрация.

> Дело в том,— пишет «Труд»,— что администрация, имеющая право согласно колдоговора 60 % жалованья выдавать не

деньгами, а ордерами в кооператив, этим правом не только пользуется, но и злоупотребляет.

За октябрь 85 % зарплаты выдано ордерами

А по ордеру бери чего хочешь. Хочешь, бери намордники, хочешь — гуталину. Потому выбор не ахти какой большой.

«Труд» с грустью сообщает:

Нужных рабочему товаров в кооперативе нет. Рабочие берут что есть и продают на рынке за полцены.

— А на намордники спросу на базаре никакого! — жалуются рабочие.

Это странно. Такой, можно сказать, редкий, исключительный товар, вроде птичьего молока, а провинциалы отказываются покупать. Чудаки, едят их мухи!

А на всем остальном кооперативном фронте все отлично и симпатично. Товару вволю. Есть даже птичье молоко. Налетайте, граждане!

ВЯТКА

Вятка — город провинциальный. В Вятке волки по улицам бегают. Там даже поговорка сложилась: волков бояться — по центральной улице не ходить.

Столичная пресса отмечает это характерное вятское явление:

На центральную улицу города забежали два круг матерых волка.

В другом городе стрелять бы начали в волков. Но не такой это город Вятка, чтоб стрелять. Вятка город тихий. Там даже в революцию выстрелов не было. К чему же теперь, при нэпе, взбудораживать невинные вятские сердца?

Нет! Там в волков не стреляли. Там свистеть начали. «Красная Газета» отмечает этот провинциальный способ:

Растерявшиеся милиционеры принялись свистеть...

А что такое, читатель, свист? Свист — это нечто нереальное, умственное, так сказать, звуковая несущественная трель. Сами посудите, много ли свистом поделаешь с матерым волком?

Но не такой это город Вятка. Там и свист вполне пригоден в борьбе с матерыми хищниками. Там, оказывается,

> на свистки милиционеров из одного дома выбежал дворник, который бросился на волка и задушил его. Второй волк убежал в лес.

Ну да. Выбежал дворник.

— Что, спрашивает, волки, что ли? Чичас мы их подомнем.

И подмял. Долго ли умеючи?!

Вот, скажем, Ленинград всегда был на первом месте. А в данном случае Ленинграду нипочем не устоять против Вятки.

В Ленинграде вызвали бы против волков пожарную команду. И волков убрали бы довольно скоро.

Но, во всяком случае, с чувством глубокого профессионального восторга мы отдаем Вятке первенство.

По слухам, герой дворник представлен к медали за спасение утопающих.

ПОПАЛАСЬ, КОТОРАЯ КУСАЛАСЬ

Это кажется что в Тамбове было. В резерве милиции. Лошадь Васька укусила милиционера, гражданина Трелецкого.

Случай вполне прискорбный.

А случилось это в Тамбове. Повел Трелецкий на водопой Ваську.

А жеребец Васька играться начал. Схватил для потехи руку и рвать начал.

Ну, крики, одним словом, охи, и кровь течет. А лошадь забавляется. Ей вроде это нравится так бузить.

Собрался резерв милиции, вырвал гражданина и в больницу его в карете скорой помощи.

А насчет преступной лошади читатель, конечно, может полюбопытствовать, чего, например, с ней сделали. Думаете — ее в тюрьму посадили? Верно! Откуда вы знаете? Именно в тюрьму. Одним словом, посадили ее в губернский дом заключенных и рапортичкой с отделом труда снеслись, дескать,

> сообщаем, что лошадь, от которой произошел несчастный случай с милиционером, отправлена в Губдомзак, где пока ведет

себя прилично, причем об укусах Губдомзак предупрежден.
В дальнейшем лошадь предназначена к продаже...
Врид Нач-ка адм. отдела (подпись).

Одним словом, угробили лошадку. Попалась, которая кусалась. Да и куда попала — в дом заключения с изоляцией.

Иная лошадь лоб себе расшибет, начальника милиции забодает — и то такой чести не дождется. Тут уж кому какое счастье, читатель. Не правда ли?

А вот жеребцу Ваське — счастье.

А лошади в Тамбове, говорят, перестали кусаться. Как рукой сняло. Перевоспитались.

ДЕФЕКТИВНЫЕ ЛЮДИ

Удивительно раньше люди жили!

Скажем, сто лет — небольшой срок, а поглядите, какая заметная разница.

Бывало, сто лет назад, развернешь газету, начнешь, к примеру, объявления читать. А объявления такие:

ПРОДАЕТСЯ ДЕВКА. Умеет шить и неприхотливо готовить. Цена той девке 75 рублей серебром.

ОБМЕНЮ мужика на трех девок. Мужик с бородой, дюже сильный. Могит быть дворником али чем.
Тряпичникам не являться.

ПРОДАЕТСЯ ДЕВКА, 16 лет, без обману Умеет жарить, парить и пятки чесать.
А цена той девки вне запроса 100 рублей.

Так раньше жили люди. Смешно жили. Глупо жили. Читать противно.

А нынче и времена другие, и песни другие, и... цена другая. Цена, прямо скажем, за «девку» тридцать червонцев. Это по расценке Спасского уезда.

Сейчас объясним.

Недалеко от Владивостока в Спасском уезде жил некий дефективный папаша. Была у него дочка Нюрочка.

Вот папаша и думает:

«Отчего, думает, не продать мне Нюрочку, ежели деньги требуются?»

Так и сделал. Подыскал дефективного человека и продал ему дочку за тридцать червонцев.

Газета «Ленинградская правда» пишет:

> В Спасском уезде родители продали в жены за 300 рублей свою 16-летнюю дочь. Девушка была продана без ее ведома.

Очень торговались. Сам папаша в три ручья плакал.

— Ты, говорит, погляди, какая девка-то продается! Свободная, равноправная девка! Не жук нагадил. Прибавь немного.

На трехстах ударили по рукам.

Одним словом, дешево купил жених.

Однако, как говорится, дешево покупают, да домой не носят. Так и тут.

> Сельсовет, обсудив этот вопрос совместно с ячейкой комсомола и женщинами-делегатками, взял девушку под свою защиту и аннулировал родительскую «сделку». Над родителями и женихом был устроен показательный суд.

Отдал ли дефективный папаша жениху назад деньги — покрыто мраком неизвестности. Ничего про это газета не говорит.

Да нас это и не интересует. Нас интересует: а какая, к примеру, цена на «девку» в других губерниях?

Не знаем. Вот насчет Псковской губернии знаем. Там «девок» не продают, а за них приплачивают. Смотря по достатку.

Сделка называется приданым.

А на наш ничтожный взгляд — хрен редьки не слаще.

ТАРАКАНЫ

Конечно, не такое сейчас время, чтоб про мелкие вещи писать. Тем более про тараканов. Гаврила признает, что про тараканов прямо даже неприлично сейчас писать. Тем не менее придется все-таки слегка коснуться этого мелкого насекомого.

Вниманья долго не задержим, потому много писать нет охоты — башка с непривычки к таким мелким сюжетам пухнет от напряжения.

Начнем прямо с материалов и фактов.

Вот выписка из протокола:

> ПРОТОКОЛ № 1242
>
> Заседания Пленума Заводского Комитета при заводе «Красный Профинтерн», 5 января 1925 г.

Слушали: Охрана труда и жилищные условия.
Постановили: 2) Вторично предложить принять меры к уничтожению тараканов в общежитиях рабочих...

Теперь каждому мало-мальски сознательному читателю охота небось узнать, какая последовала резолюция управляющего заводами по поводу этого протокола.

Конечно, иной управляющий, идущий нога в ногу с наукой и техникой, вынес бы резолюцию — извести, например, тараканов по последнему слову техники — каким-нибудь мором или ядом или вообще специальным тараканьим средством.

Но не такой это человек наш герой управляющий...

Гаврила предполагает, что в душе этот управляющий — отсталый кустарь, идущий вразрез с научными достижениями. И в самом деле: он предпочитает ручной способ.

И резолюцию он поставил такую:

Резолюция: Предложить живущим перебить тараканов. О чем довести до сведения завкома.

Теперь Гаврила сгорает от любопытства. Охота бы знать: перебили ли живущие всех тараканов или часть тараканов не поддалась ручному способу и продолжает резвиться в общежитии?

Сообщите, братцы! Помираем от любопытства!

А управляющему кланяйтесь и спросите его, много ли он сам передавил тараканов. И чем давил — рукой, ногой или еще чем.

А вообще говоря, тараканий мор продается в любой лавке.

О ВРЕДЕ ГРАМОТНОСТИ

Председателя Ногинского сельсовета гражданина Захарова мы не хаем. Работник он чудный. Специальный работник. Орел прямо-таки.

И насчет денежных сумм — ни-ни. Не растратит.

Вот разве только бумагу иной раз растрачивает зря.

Такой уж у него, знаете ли, характер отчаянный. Чуть что — пишет. И все официальные бумаги пишет. Надо ему, например, стакан чаю принести — пишет. Стол передвинуть — опять пишет.

Газета «Рабочий край» сообщает:

Ногинский сельсовет очень уж увлекается канцелярией. Даже пишет официальные отношения исполкомовской сторожихе. Сторожиха же, Павлова Клеопатра, живет тут же, через стенку. В один прекрасный момент (а таких моментов было много!) она получает пакет.

А в пакете, дорогие граждане, черным по белому сказано:

СССР —— Ногинский Сельский Совет крест. депут. Ногин. в., Серед.у.	Гр. Павловой Клеопатре Ивановне. Ногинский Сельсовет предлагает вам примыться в здании Исполкома в обоих комнатах завтра

За неисполнение вами настоящего будут приняты меры к удалению из квартиры.

Пред. Захаров

И хорошо, ежели Клеопатра Иванна — грамотная бабочка. Тогда полбеды. Прочтет бумажку, дескать, примыться требуется — пойдет и примоется.

А каково, если Клеопатра Иванна неграмотная?

Ну, получит бумажку — побежит к родственнику. Да хорошо, если родственник не надрался с утра, а сидит трезвый и хомут чинит. А ежели надрался? Куда бежать Клеопатре Иванне? К Гавриле не побежишь. К Гавриле пущай председатель бежит. Надо бы посмотреть, какой он с наружности.

Ну да, впрочем, председателя мы не хаем. Дорвался до бумаги, так и пущай пока пишет. Потому мы вполне понимаем, по каким причинам у него такая канцелярская блажь. Вот только нам Клеопатру Иванну ужас как жалко.

Ах, Клеопатра Иванна, Клеопатра Иванна! Трудно, небось, вам живется при вашей малограмотности у столь грамотного председателя.

А так все остальное хорошо и отлично. Дела идут, сельсовет пишет. И бумажный кризис изживается.

БЕЛИБЕРДА

Вот и пасха православная наступила.

Верующий народ самосильно молится, свечечки ставит и к иконам прикладывается. И не знает, чего, например, в Святогорской церкви, что в Шуйской волости, произошло.

А в Святогорской церкви произошло такое, что хоть святых оттуда вон выноси. И, наверное, вынесут.

Верующие там в панике. Заместо, говорят, святых апостолов наши же мужики обнаружились.

Фу, дайте объяснить по порядку!

Сейчас мы, братцы, весь церковный фронт можем разгромить. Очень уж факт отчаянный. Газета вологодская «Красный Север» тоже про это написала. Только она мало знает, мы больше знаем.

А висела, значит, в Святогорской церкви иконка апостола Павла. Десять лет висела — ничего. На одиннадцатый год все и обнаружилось.

А пришла в церковь старая старуха Крутикова. Из деревни Пустошное. Пришла и говорит:

— Бросьте, говорит, вы, граждане, молиться и креститься вот этой иконе. Это, говорит, мой муж изображен.

Ну, народ к старухе.

— Как это? Почему такое? Говори, не то изувечим.

Вот старуха и начала каяться:

— Это, говорит, граждане, при царском еще режиме. Нарядили, говорит, моего мужа в одежду и на карточку сняли. А после на икону списали. И велели молчать... Я, говорит, десять лет молчала, а теперича помирать скоро... Охота покаяться... Извините меня, худую... А вон та, другая икона с Петром — это опять же Ваня Каретников нарисован... Извините меня, худую...

Посмотрел народ на иконы. И враз признал.

— Ну, говорят, а ведь верно! Это, говорят, сразу видно — Крутиков. А этот, как на ладони, Ванька Каретников. И нос у его тоже пухлый и бороденка веером.

Ну, смех вокруг поднялся. Хохочет народ, узнает знакомые рожи, лапами трогает. Такая чепуха поднялась — хоть святых вон выноси.

И действительно придется вынести. Нельзя же, граждане, оставлять, раз этакая грубая подделка обнаружилась.

Ах, чего на церковном фронте творится! Белиберда сущая!

НАСЧЕТ ЭТИКИ

Конечно, некоторым товарищам неизвестно это слово — этика.

Некоторые товарищи, небось, думают, что это какое-

нибудь испанское трехэтажное словечко. Но это не так, дорогие товарищи. Это довольно хорошее, симпатичное слово. Его даже употребляют на некоторых собраниях. Даже говорят: союзная этика.

А означает оно, ну, вроде, что ли, как бы сказать,— поведение или правильное отношение. А впрочем, черт его разберет! Уж очень заковыристое слово. А главное, понимают его по-разному. В одних местах так, в других — этак. А, например, Земетчинский сахарный завод и совсем глупо понимает.

Сейчас расскажем про этот завод. Все отпоем.

Держись, братцы! Начинается.

Однажды тяжкое горе постигло этот завод. Любимого, можно сказать, начальника и друга, директора Григория Федоровича Каратаева, перевели на другой завод. А именно — к боринцам.

Очень горевали земетчинцы.

— Братцы, говорят, надо хотя ознаменовать уход этого дорогого директора. Давайте, товарищи, поднесем ему душевный адрес с указанием, так сказать, всех его драгоценных качеств.

Согласились. И, не заявляя в завком, взяли и написали:

«Глубокоуважаемый... Вы — этот, который... Отдали силы... Тяжелые условия... Мы лишаемся... Желаем... Многие годы...» И прочее тому подобное.

Написали и поднесли.

Григорий Федорович прочел и едва не прослезился. Спрятал адрес в карман, распрощался дружески и отбыл на Боринский завод.

Тут-то все и начинается.

Узнал об этом адресе земетчинский завком и в срочном порядке собрание собрал. И на собрании объявил:

> Выдача всяких адресов и аттестатов может происходить только через завком как через союзную организацию. В данном случае вы нарушили союзную этику. Надо потребовать адрес обратно.

Тут начали робко возражать, дескать, какой же это аттестат? Это так, вроде как в альбом на память написано.

Никаких возражений не стал слушать завком и через боринский завком потребовал:

> Возвратить случайно выданный адрес.

Тут-то все и началось.

Земетчинцы кричат:

— Отдайте адрес! Потому — это явное нарушение союзной этики.

Боринцы отвечают:

— Адреса не отдадим. Потому адреса назад отдавать — это против союзной этики. И за это оскорбление мы вам еще хвост накрутим.

А сам Григорий Федорович тихонько охает:

— Братцы, говорит, да я-то при чем? Я же не против этики. Берите все назад. Ну вас к лешему!

Вот тут, граждане, и разберись. Одно небольшое слово, а как понимают его в разных уездах!

А мы, Ленинградского уезда, совсем от этого с толку сбились.

А москвичи, например, не сбились. И говорят, будто даже ЦК сахарников уволил земетчинского предзавкома за нарушение союзной этики.

Вот оно как!

А что думают про это слово в Дорогобуже — неизвестно. Скорей всего — ничего. Не дошло небось до них это слово. Ну и к лучшему.

КУЗНЕЦА ОБИДЕЛИ

Лесопильное дело — легкое и веселое производство. Вредности в нем никакой. Опилки хотя и летят, так ведь не в рот летят. И ежели рта не раскрывать во время работы, так и не вредно получается.

Кузнечное дело — это другой коленкор. Тут угли все-таки, огонь, дым. Обжечься опять же можно. Или захворать от дыма. Это безусловно вредное производство.

Ну а вот теперь взять, к примеру, кузнеца и поставить его на работу в кузницу на лесопильный завод? Нуте, чего получится? Вредно или не вредно?

Вопрос этот оказался до того тонкий и ехидный, что вокруг него целая каша заварилась. Каша заварилась, а мы — расхлебывай!

Все произошло на станции Енисей на лесозаводе.

Поступил туда кузнецом наш задушевный друг и приятель, дорогой товарищ Ушкалов. Поработал он год и просит выдать ему денег заместо отпуска за вредность. И подает он заявление в РКК.

РКК думает: «Раз это кузнец, то, хотя он и на лесозаво-

де работает, дело и вредность от того не меняется. И пущай кузнец за эту вредность огребет деньги лопатой».

Одним словом, разрешили. Только послали свое постановление начальнику района Сибтранслеса, чтоб утвердил.

Начальник района на эту бумажку отвечает заносчиво: пущай, дескать,

> РКК укажет пункт законодательства о вредности лесопильного производства.

Прочел эту резолюцию начальник завода товарищ Филимонов и не растерялся. Написал даже завкому:

> Препровождаю бумагу для конкретного указания законодательства о вредности работы на лесозаводе.

Одним словом, плакали кузнецовы денежки. Отказали ему начальники. И хотя этих начальников слегка и обложили в газете «Красноярский рабочий», но будет ли с того какой толк — не знаем. Не ручаемся. Уж очень вопрос сложный.

На этот вопрос массу мозгов растратить нужно. А мозги-то нынче в большой цене. Издалека видно.

Эх, не видать, кажись, кузнецу денег, как своих ушей! Сочувствуем, братишечка.

ТРАМБЛЯМ В САРАТОВЕ

Печатники — народ, конечно, веселый. А касаемо саратовских печатников, так и говорить не приходится. Это очень даже веселые парни.

Но при всей своей веселости саратовские печатники культработу никогда не забывают.

Ура этим саратовским печатникам!

Конечно, в летнее время какая же культработа, сами посудите? Ну, разве экскурсия, например, или массовая лекция на лоне природы.

Это печатники очень обожают. Их мухами не корми допусти только до этой культработы.

Ну и допустили однажды.

Культотдел союза допустил.

В воскресенье выехали. Кружки тоже всякие выехали — спортивный кружок, кружок физкультуры, пионеры опять же.

И поехали. По Волге. За пять верст. В Шусейку, кажется.

Едут по Волге, а кругом сущая благодать. Водичка кругом плескается. Буфет опять же с крепкими напитками. Два оркестра гремят, один на носу, другой на корме.

Роскошно ехали.

А на место приехали, а там специальная площадка устроена для гуляющих.

Хотел народ расположиться на этой площадке, ан нет. Начальники говорят:

— Атанде, погодите, товарищи. Сейчас мы эту площадку на уголки разобьем. Пущай будет организованно. Здесь пущай будет уголок технический, здесь пущай рабочие, здесь производственный уголок...

Народ говорит:

— Нам все едино — уголки так уголки. В каком уголке пить — безразлично нам. Один пес, как говорится. Пиво от этого не портится.

Но тут оркестры, конечно, грянули, начался трамблям по всем уголкам.

Пили ужасно много. И все под музыку. Дрались тоже под музыку. Одному человеку под музыку рожу совсем набок смяли. Но ничего, отдышался. Все-таки воздух благотворно действует на саратовских печатников.

А после опять пили. А после назад поехали. Не пить же до бесконечности!

А что протокольчик милиция составила, так это не на площадке вовсе, а на пароходе. Это, можно сказать, не считается. Да к тому же и не за драку вовсе и не за убийство, а просто за хулиганство.

А какое было хулиганство — не знаем: два оркестра очень сильно гремели — не слышно было.

Да оно и к лучшему, что не знаем. К чему нам драгоценную московскую кровь портить всяким саратовским трамблямом.

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

Поход против неграмотности, граждане, начинает принимать размеры стихийного бедствия. Вроде землетрясения.

Потому некоторые товарищи на местах наш дорогой лозунг «Долой неграмотность!» поняли несколько в буквальном смысле.

Раз, мол, «долой», то чего там, в самом деле, стесняться: крой, братва, до полной победы.

А в Новоузенске так даже наш дорогой лозунг на свой лад переделали:

БЕЗГРАМОТНЫЙ недостоин быть членом профсоюза.

Этак, говорят, мягче звучит и смысл конкретный получается: мол, обходи, братишка, стороной, пока кости целы!

А алтайские железнодорожники, те деловые ребята, совсем без лозунгов обошлись: зачем, говорят, драгоценные слова на ветер бросать! Академия наук 200-летие отпраздновала, а у нас неграмотными олухами хоть пруд пруди. Неловко как-то.

И вынесли алтайцы постановление:

Не принимать в члены союза неграмотных рабочих.

Но самые ужасные размеры все же это стихийное бедствие приняло в Енисейской губернии. Насчитывается даже пятьдесят две человеческих жертвы. Отчет Енисейского губотдела нарпита за второй квартал так и говорит:

С 1-го января ликвидировано 52 неграмотных.

Что же это, граждане-товарищи, получается? Новое бедствие на нас надвигается. Небось иностранные капиталисты, акулы разные, уже ручки от удовольствия потирают: «Вот, мол, теперь крышка: сами себя ликвидируют».

Только шалишь! Не таков человек Гаврила, чтобы сидеть сложа руки.

Для начала он экстренно учреждает «Общество помощи пострадавшим от ликвидации неграмотности».

Вступайте, граждане! Общество строго добровольное, членских взносов не надо.

Вместо членских взносов присылайте лучше сводки, как у вас проходит стихийное бедствие и кто из «ликвидаторов» особенно отличается. Мы таких в «Бузотере» на красной доске черным печатать будем.

Дорогу таким Ломоносовым! Попутного ветру!

ЕЩЕ КАСАЕМО ТОГО ЖЕ!

А вот и Ленинград сейчас малость подковырнем. Город это крупный, большой, и масштабы там до-

вольно обширные, и аппетиты такие же. Потому это вам не провинция.

Провинция, например, растратит рупь семь гривен и враз показательный суд устроит над отчаянным растратчиком. А Ленинград на рупь семь гривен не позарится. Ему крупней подавай. Ему тыщи выкладывай.

А рупь семь гривен там, может, за один конец трамвая платят. Вот какой это город!

А речь тут, как читатель небось догадался, идет касаемо того же самого перманентного, насчет растраты то есть.

Тамошний райкомвод просматривал как-то ведомости. Глядит — чего такое? Какая, глядит, огромадная задолженность в торговом порту? Все, например, другие прочие учреждения вполне вносят членские взносы, а торговый порт как проклятый — ничего не вносит.

Сразу от райкомвода специального человечка в порт снарядили, чтоб пристыдить членов.

Начал человечек стыдить. А народ не стыдится.

— Брось ты, говорят, специальный человечек, языком трепать. Мы в крайнем случае очень исправно членские взносы вносим. Ступай себе мимо.

Ну, комиссия образовалась. Копнула комиссия туда, сюда и вообще. И вопиющая картина обнаружилась. Одиннадцать тысяч местком слимонил.

Брали все кому не лень. Пили. И в картишки ударялись, и мало ли.

Одиннадцать тысяч! Тьфу, и писать-то после такой цифры неохота!

Взять бы, например, пузырек с чернилами да заместо окончания фельетона тиснуть бы этим пузырьком по едалам каждого растратчика — оно бы и верней было.

А то пишешь, пишешь — один черт. Все равно республика страдает ежедневно. Да еще деньги бесцельно платит за писанье против растраты.

Гляди, товарищ редактор, поменьше плати за этот фельетон. Пущай республика хотя на этом отыграется.

ОПАСНАЯ ПЬЕСКА

Нынче все пьют помаленьку. Ну и артисты тоже, конечно, не брезгают.

Артистам, может, сам Госспирт велел выпить.

Вот они и пьют.

Во многих местах пьют. А на Среднем Урале в особицу.

Там руководители драмкружка маленько зашибают. Это которые при Апевском рабочем клубе.

Эти руководители как спектакль, так обязательно даже по тридцать бутылок трехгорного требуют. В рассуждении жажды.

Ну а раз дорвались эти артисты до настоящей пьесы. Там по пьесе требуется подача вина.

Обрадовались, конечно, артисты.

— Наконец-то, говорят, настоящая художественная пьеса современного репертуара!

Потребовали артисты у клуба сорок рублей.

— Потому, говорят, неохота перед публикой воду хлебать. И вообще, для натуральности надо обязательно покрепче воды. Так сказать, для художественной правды.

Выдал клуб от чистого сердца двадцать целковых.

Артисты говорят:

— Мало. Для наглядности не менее как на сорок требуется.

И приперлись эти артисты на спектакль со своими запасами. Которые горькую принесли, которые — пиво. А некоторые и самогону раздобыли.

Вот спектакль и начался.

Мы-то на этом спектакле не были. И потому не можем описать в подробностях. Но один знакомый парнишка из зрителей сообщает нам с явным восхищением и завистью:

> По ходу пьесы спиртные напитки подавались в таком огромном изобилии, что к концу второго действия все артисты были пьяны вдребезги.

И еще, спасибо, благородные артисты оказались. Другие бы, наклюкавшись, стали бы в публику декорациями кидаться. А эти — ничего. Эти тихо и благородно, без лишних криков и драки опустили занавес и попросили публику разойтись от греха. Публика, конечно, и разошлась.

Гаврила предлагает в срочном порядке и вообще поскорей снять эту современную пьеску с репертуара как явно опасную и несозвучную с эпохой.

КОМИКИ

Я, граждане, не особенно долюбливаю концерты и всякие там балы. Мне на них всегда скучновато бывает. Даже, признаться, ко сну клонит, ежели тихое, например, пение или музыка без барабанов.

А вот один концерт-бал мне действительно понравился. В Петергофе было. Военно-железнодорожники устроили. Это действительно был вечер.

Конечно, весь концерт-бал был не ахти какой. Как говорится: бал — кот с печки упал. Но вот один номер был выдающийся. Главное, уж очень смешно было. Многих слабосильных дамочек даже заживо выносили в истерике, до того они хохотали.

И нельзя было не смеяться. Потому выстроили железнодорожники все свои батальоны и объявляют: сейчас, дескать, произойдет комический номер. Каждому железнодорожнику выдадут по фунтовой булке и какой батальон скорее скушает, тому премия в размере двух пирожных и вообще слава в петергофском масштабе.

И вот роздали по булке, и по сигналу началось.

Я, граждане, видал, как едят, и сам едал, а такой еды не видывал. Многие давятся, мотают башками, шипят, плюются... Многие, что жабы, захватили зубами булки и ни туды ни сюды, ни чихнуть, ни сморкнуться...

В публике стон стоит от хохота. Слабосильных дамочек заживо выносят в истерике... А те жуют наспех.

А тут с одного батальона молодой парнишка умял свою булку и кричит:

— Братцы, неужели же осрамим оружие! Наляжем по возможности.

Тут, конечно, и налегли. И через две секунды объявляют, дескать, этот батальон выиграл. И могут получать премию.

Тут публика начала бис требовать. Начали просить за свои деньги, чтобы и с пирожными устроили такой же номер: кто скорей.

Но батальон стал категорически отказываться.

— Не можем, говорят. У нас, говорят, некоторые несознательные товарищи захворали.

И действительно, выходит вперед один блондин и икает. А у самого рот раскрыт, глаза выпучены и пот со лба капает.

— Граждане, говорит, я булкой подавился. Я, говорит, ее враз проглотил... Проскользнула она внутрь.

Начали его расспрашивать, куда, дескать, проскользнула и дошла ли до живота.

— Не знаю, говорит.

Начали блондина успокаивать, дескать, вполне переварится — не тарелка ведь. Тарелка, это действительно,

может не перевариться, а булка, хоть и целая, всегда размякнет и со временем, даст бог, вон выйдет.

Но этот случай не омрачил праздника. Веселье продолжалось. И даже в газете «Красная Звезда», № 81, густым шрифтом был отмечен необыкновенный успех вечера:

> 4 апреля военно-железнодорожники гор. Петергофа в присутствии гостей и петергофской молодежи устроили комбинированный вечер...
>
> Все остались довольны, особенно одним комическим номером, а именно: участникам соревнования дано по фунтовой булке и кто первый съест, тот получает еще премию — два пирожных. Пальму первенства получил Н. батальон, который в этом спец.

Далее корреспондент расстроился и пишет от себя разные слова — дескать, безобразие, обжорство, унижение и тому подобное. Но это он не иначе как из зависти. Дай ему, каналье, фунтовую булку, так он минут двадцать лопать будет да еще корочки оставит.

Знаем мы этих писателей. Сами пишем.

КТО ПРОСТ — ТОМУ КОРОВИЙ ХВОСТ

Больше всего на свете Гаврила учителей любит.

Очень, знаете, симпатичные, милые люди. Очки, знаете, на носе. Бороденочка. Штаны этакие с темной заплатинкой. Тесемка непременно от подштанников болтается...

Гаврила очень обожает учителей.

Гаврила за них завсегда горой стоит. И ничего для них, голубчиков, не пожалеет.

А когда, например, может, помните, в городе Орске съезд работников просвещения происходил,— Гаврила сильно радовался, сколь торжественно все это было обставлено.

Троих, наиболее старинных, учителей даже чествовали. Даже по отрезу сукна им дали. Ей-богу, правда.

Быков такой, председатель УИКА, очень торжественную речь произнес, когда сукно это давал.

— Вы, говорит, которые ветераны и прочее... Сукно вам даем...

Ну и еще что-то такое сказал трогательное.

Учителя, голубчики, от умиления плакали даже.

И Быков тоже чуть не заплакал.

Дрожащим таким голосом сказал:

— Кроме, говорит, сукна еще, говорит, учителю Гребенщикову для сына стипендия будет.

Восторг был, конечно, общий. Хотя какой-то ненасытный учителишка и крикнул:

— Газетку бы, дескать, неплохо... Годами, мол, газетки не видим...

— Газетку! — воскликнул Быков.— Не только газетку, а всем ветеранам труда — кроме сукна и газет — журналы специальные выпишем. Ладно уж. Получайте. Сосите нашу кровь, хватайте за горло!

Тут кругом рыдания начали раздаваться. Это старые ветераны, десятки лет работающие на ниве просвещения и не привыкшие к такому отношению, плакали от восторга и умиления.

Хотели качать Быкова, да не поднять было. Много ли силенки у голубчиков? А Быков — дядя все-таки здоровый.

Постояли так маленько и разошлись кто куда.

Прошло четырнадцать лет. Учитель Гребенщиков, постаревший лет на шестьдесят за последние четырнадцать лет, сидел на койке и говорил своему приятелю:

— Опутали, дьяволы... Четырнадцать лет назад обещали, черти шершавые, сыну стипендию дать, и ни черта в волнах не видно.

Другой старикашечка, приятель Гребенщикова, сморкнулся в кулак и сказал:

— Да уж, знаете. Отрез только и дали. А касаемо газет и журналов и прочего — опутали. Газетенку-то все-таки полгода выписывали, а после заглохло.

Старички замолчали, вспоминая свою молодость.

Лучина в избе догорала.

Вот и все, граждане.

А насчет четырнадцати лет Гаврила маленько преувеличил. По совести-то говоря, год всего и прошел.

Но оно и четырнадцать лет смело может пройти при таком вульгарном отношении. Знаем.

А на остальном фронте просвещения все обстоит довольно отлично и симпатично. Дела, как говорится, идут, контора на ундервуде пишет, и жалование работникам просвещения помаленьку выплачивается.

А касаемо этого товарища Быкова — при встрече Гав-

рила ему голову с корнем оторвет. Потому — не обещай понапрасну.

Так ему, дорогие учителя, и передайте.

Да, между прочим, не забудьте штрипку-то от подштанников спрятать. Некрасиво.

А вообще извините, если кого обидели.

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Это дельце, граждане, развернулось в селе Арбузове.

Где это село расположено и сколько, например, в нем несчастных жителей — неизвестно.

Сама газета «Красный Алтай» про это туманно отзывается.

Во всяком случае, в этом селе произошло недавно любовное происшествие. Арбузовский житель Звягин влюбился, представьте себе, в одну постороннюю арбузовскую дамочку.

Влюбился. Стал, конечно, бывать у ней и прочее все такое.

А звягинская женка натурально в это время скучает. И это, представьте себе, на восьмом году революции!

А раз эта звягинская женка и говорит своему отчаянному супругу:

— Я, говорит, не потерплю этого. Я, говорит, товарищ супруг, на вас жаловаться пойду. Мыслимое ли дело влюбляться на восьмом году революции!

А влюбленный Звягин никого и ни черта не слушает и все по-прежнему бывает у своей дамочки.

А раз сидит себе дома арбузовский предсельсовета гражданин Ряховский и кушает кашу с коровьим маслом.

И вдруг вбегает к нему гражданка Звягина и орет:

— Мой, говорит, Звягин обратно пошедши к этой чертовой дамочке. И чего на это смотрит администрация? Нельзя ли, мол, прекратить эту любовную вакханалию? Это, говорит, не восемнадцатый год. Запретите, говорит, ему влюбляться.

Председатель, нажравшись каши, отвечает:

— Прекратить можно. Я, говорит, такую сильную безнравственность на восьмом году революции не могу у себя на селе вытерпеть. Я, говорит, вашего Звягина сейчас арестую с поличным и доставлю к вам, к законной владетельнице.

Председатель докушал кашу, взял понятых и попер к дому этой самой любовной дамочки.

Обшарили понятые весь дом — нету отчаянного любовника.

Председатель говорит:

— Ройте в подвале.

Сунулись в подвал. Так и есть. Сидит Звягин и трясется.

Тут же выволокли за ноги любовника и акт на него сочинили. Каковой акт и напечатан в газете «Красный Алтай» жирным петитом:

> ...При обыске у гражданки такой-то в подполье обнаружен спрятанный мужчина, принадлежащий гражданке Звягиной. По изъятию и сопровождению его приняты энергичные меры...

Как изъяли этого Звягина — неизвестно. И били ли его по животу или только по морде — тоже неизвестно. Во всяком случае, его доставили по месту принадлежности.

Так и кончилась эта любовь.

Вообще Гаврила презирает этого Звягина. Робкий и нестоящий мужчина.

Другой бы вроде Гаврилы накостылял бы этому председателю по первое апреля — мол, не суйся, бродяга, куда тебе не показано. А этот испужался и в подвал спрятался.

И как это бабы любят такого! Тьфу!

«ВЕЛИКАЯ ГОДОВЩИНА»

Где кто что празднует! В Москве — Октябрьскую годовщину. В Ростове-на-Дону — годовщину смерти бывшего хозяина кафе «Ампир».

Прошу читателя встать! И стоя читать этот фельетон из уважения к памяти бывшего хозяина «Ампира».

Но прежде чем приступить к описанию удивительных ростовских событий, дозвольте, дорогие граждане, хорошенько выругаться. Потому, ей-богу, нет сил удержаться!

Итак, с вашего разрешения... Вот черти-то! Вот обормоты! Вот олухи-то!..

Эта отчаянная ругань относится к некоторым ростовским жителям, членам профсоюза нарпита. Более мягкого к себе отношения они не заслуживают.

Сейчас все объясним по порядку. Дайте дух перевести.

Итак, при царском еще прижиме в городе Ростове-на-Дону было отличное уютное кафе «Ампир».

Хозяина этого кафе мы, к сожалению, не знали. Не имели, так сказать, чести знать. И потому не можем даже любопытному читателю сказать, какой это был хозяин — блондин или брюнет.

В настоящее же время хозяин этот помер. Однако все события разыгрались именно из-за него.

А надо сказать, что этого кафе тоже больше не существует. А заместо его открылась в свое время столовая ЕПО № 3. Очень, знаете, уютная столовая. И кормят там хорошо. И на чай не берут.

На чай не берут, да только лучше бы они на чай брали, чем вот это самое. А это самое такое.

Недавно была годовщина смерти бывшего хозяина кафе.

Эх, братцы, товарищи! Нет у нас специального красноречия, да и нет особой охоты описывать этот торжественный траурный день. Заместо этого разрешите, многоуважаемые, предложить вашему благосклонному вниманию небольшую, но ядовитую выписочку из протокола касаемо этой самой славной годовщины. Итак, извольте:

> Протокол № 9 Заседания Президиума Крайотдела Профсоюза Нарпит. Ростов-на-Дону.
>
> Слушали: О выставке венка на витрину в столовой № 3 ЕПО.
>
> Постановили: Поставить вопрос перед президиумом ЕПО о допущении зав. столовой т. Григорьевым выставку венка на витрину в кооперативной столовой в день смерти бывшего хозяина данной столовой (кафе «Ампир»).

Читатель, ежели ты сидишь — встань!

Почти вставаньем великую память.

А насчет траурного веночка мы так, извините, и не узнали — красовался ли он в витрине или нет.

Должно быть, нет.

Горе президиума крайотдела не поддается никакому описанию.

Должно быть, им теперь и праздник не в праздник.

ЧТО ЗА ШУМ, А ДРАКИ НЕТУ?

Нынче мы, граждане, юбилей свой справляем. Истинная правда.

Оттого кругом такой шум и веселье.

В прошлом годе мы об это время как раз, знаете, и приступили к работе.

Теперича вот год отработали и шабаш — празднуем. Какого лешего!

Другие граждане все больше сорокалетние юбилеи справляют. Ну а мы за сроком не гонимся. Мы не гордые. Мы вот год оттяпали — и празднуем. Еще год оттяпаем и опять будем праздновать.

Характер у нас, знаете, быстрый, вспыльчивый. Нам чем чаще, тем лучше.

Мы даже хотели два раза в год справлять. Да редактор не допустил.

— Что вы, говорит, обалдели? Вы бы, говорит, еще каждую неделю праздновали. И так-то, говорит, с опозданием выходите.

— Ну, говорим, ладно, пущай раз в год. Только пущай попышней и с музыкой.

Ну, и действительно праздновали пышно. Слов нет.

Конечно, особой пышности не было. Потому народ у нас все ужасно строгий и непьющий. Писатели у нас не то что, знаете, к вину — к пиву не притрагиваются. Вот какие писатели. Истинная правда. Горох пожуют — им и хватит.

А художники даже и гороха, дьяволы, не жуют. Воблу пососут, а уж их и развозит с непривычки. «Мама» сказать не могут. Вот какие у нас художники.

С такими художниками какая уж там, знаете ли, пышность. Посидели, посидели и разошлись кто куда. Вот вам и весь юбилей.

Зато чествований было ужасно как много. Это, действительно, пышно прошло.

Одних проздравительных писем больше тыщи было. Охапками волокли. 870 писем.

Адресов тоже до черта. Три адреса. Один на конверте смешной такой адрес. «Москва — Гавриле». Вот вам и весь адрес. И дошло. Ничего. Мы боялись, что не дойдет. Дошло.

Другой адрес тоже очень отчаянный. Ни черта не понять, чего на ем нацарапано. Тоже дошло. Ух и почта же у нас геройская!

А писем действительно много было. 835 писем, как в аптеке. Со всех концов СССР письма.

С Саратовской губернии даже неграмотные разошлись — написали. Пишут:

Проздравляем, всего лучшего желаем.

С Танбовской губернии опять же в стихах:

Птичка прыгает на ветке.
Честь имеем вас проздравить
Со днем ваших именин.

Кроме писем еще вчерась телеграмма пришла. Сотрудник Михал Михалыч с Ленинграду пишет:

Пора бы деньжат выслать.

Надо будет выслать.

А так все хорошо и отлично. Дела идут. Контора пишет. Ключи на комоде.

С праздничком, товарищи.

ДАМСКИЕ ШТУЧКИ

В каком городе это произошло, я уж, извините-простите, не знаю. Квалификации у нас такой нет, чтоб все насквозь знать и все понимать и за каждым союзом присматривать.

Одно известно — что случилось это в союзе химиков.

Вот и пущай сами химики разбираются в этом химическом происшествии.

А состояла, между прочим, в этом союзе такая гражданочка средних лет, Савина Александра. И работала она на заводе.

Работала она на заводе, только вдруг ей скучновато стало работать на заводе. Или, может быть, она замуж вышла — неизвестно. Квалификации у нас такой нет — про все знать и за каждой гражданкой присматривать.

Так вот, стало ей скучновато работать, и просит она ослобонить ее от работы по своему желанию.

Обрадовались на заводе — ослобонили.

— Пожалуйста, говорят, сделайте ваше такое разлюбезное одолжение. Между прочим, что ж вы раньше молчали и голоса не подавали — мы бы давно вас ослобонили.

Ну, одним словом, гражданка Савина ушла с завода. Хотя, конечно, из союза не ушла. В союзе она осталась на всякий пожарный случай.

«Мало ли, думает, и союз, думает, в нашем дамском деле пригодится».

Так оно, знаете, и вышло.

Летом погуляла наша симпатичная гражданочка, загорела на солнышке и вообще расцвела, что пиён, и мужа своего, конечно, осчастливила — стала ему младенца ждать.

К осени она стала младенца ждать, а на пятом месяце, маленько не дождавшись, заявилась на завод, как будто, ну, ничего у ней такого нет и вообще никакого младенца не предвидится.

— Хочу, говорит, обратно поработать на пользу химической промышленности.

А сама думает:

«Месяц как-нибудь протяну. А там мне отпуск. И денежки самотеком потекут. Вот вам и вся химия!»

Да, спасибо, управляющий заметил неладное.

— Да вы, говорит, гражданка, не младенчика ли ждете? Как-то стоите неуверенно.

Ну и, кажись, не принял. А может, и принял. Неизвестно. У нас квалификации такой нет, чтобы все знать и за всем следить. Нам на каждого химика, знаете, не разорваться.

Может, вы еще спросите, девочка или мальчик у ей родился. А мы почем знаем? Мы у ей ребят не крестили.

ГЕРОЙ

Ну вот. Каждый день пишешь, стараешься, нервы свои треплешь, а публика, между прочим, все недовольна.

— Что вы, говорят, гражданин хороший, все анекдотики строчите. Вы бы, говорят, заместо того написали бы чего-нибудь этакое натуральное, из жизни.

Ну что ж! Можно из жизни. Извольте, дорогие граждане. Прикажете, может, для верности, адресок сообщить? Извольте и адресок. Вот он, адресок — Дивенская улица, 8б.

А только пущай домашние хозяйки этого рассказа не читают. Не то расстроятся, а после котлеты пережарят. Глядишь — лишние неприятности в жизни. А неприятностей этих и так не обобраться. Вот, не угодно ли.

В одном доме в городе Красном Ленинграде (Дивенская, 8б) жил-был человек. По профессии водопроводчик. Беспартийный. Фамилии этого водопроводчика мы, к сожалению, не запомнили. Вообще какая-то лошадиная фамилия на букву К.

А водопроводчик этот, надо сказать, до страсти не любил кошек. Некоторые граждане говорили, будто у него в девятнадцатом году хозяйская кошка полфунта масла уперла и слопала. Другие говорили, будто цельный фунт. Одним словом, симпатичный герой наш не одобрял этой породы. И чуть какая кошчонка бежит, он уж обязательно ногой ее пхнет, или плюнет в ее сторону, или сердито и задумчиво посмотрит на нее.

И вот, в один прелестный зимний день в этом доме (Дивенская, 8б) стали подыхать кошки. То есть так подыхать, что в короткое время не осталось в доме ни одной кошки. Прямо хоть занимай у соседей. Собак тоже не осталось. Собачки тоже все передохли.

Очень расстроились от этого факта в доме. Созвали, конечно, экстренное собрание жильцов. Начали дискутировать — как и отчего околевают кошки.

Одна гражданка на собрании заявила:

— Кошки, граждане, так себе не кончаются. Это, говорит, заметна чья-то преступная рука.

Другая гражданка говорит:

— А преступная рука, граждане, это не кто иной, как наш общий сукин сын, водопроводчик с пятого номера. Это, говорит, не кто иной, как он, подложил свинью кошкам.

И вдруг приходит сам гражданин водопроводчик и усмехается.

— Об чем, говорит, речь? Ну да, говорит. Не отпираюсь. Это, говорит, я насыпал яду в выгребную яму. Не иначе как от яду они и дохнут. А что собачки кончаются, то пущай и собачки. Собачек я тоже не одобряю. А без жертв обойтись немыслимо.

Сказал и ушел. А после еще записку под воротами приляпал: «Принимаю заказы на отравление кошек и собак».

Вот и все. Вот вам и весь рассказ с натуры.

Конца у этого рассказа нету. Это происходит оттого, что жильцы и сами не знают, чем кончить. То ли плюнуть на водопроводчика, то ли под суд его отдать.

Вот и пиши после этого из жизни! Конца-то и нет. Не обижайтесь, граждане!

ПРАКТИКАНТ

Дельце это очень поганенькое. То есть такое дельце, что прямо писать неохота. Неохота, да приходится. Факт очень уж выдающийся.

А случилось это в Иваново-Вознесенске. А выходит там, братцы мои, голубчики, газета «Рабочий край».

И стали в этой газетине появляться очень исключительно отличные заметки одного рабкора от сохи, по фамилии Осипов.

Острые такие, свежие заметочки. Талант в них так и брызжет в разные стороны.

А главное, мог этот способный Осипов изображать на бумаге что угодно. Мог и насчет паразитов пройтись. И про продукцию. Мог даже стишки сочинять. Даже раз до того разошелся, что про коров написал. Ей-богу. Научную статью про коров: «Уход за коровой после отела». И подписал — крестьянин-практикант Осипов.

То есть такой способный парнишечка оказался — прямо на удивление.

Весь город очень восхищался своим дорогим рабкором. Да что город? Москва восхищалась. Хотели мы этого парнишечку за выдающийся талант в журнал к себе перетянуть, да «Рабочий край» не отдал. Пожадничал.

А тут, промежду прочим, таким талантом союзные деятели заинтересовались. Копнули, как и что и отчего такой талантище выпирает из одного человека. Ну и выяснили.

Оказалось, что парнишечка не то что научные статьи про коров — фамилию свою с грехом подписывал.

А брал это парнишечка разные газеты, вырезал оттуда чего придется: стишки — так стишки, про корову — так про корову, переписывал кое-как и в газету нес. Одним словом, подрабатывал и обогащался.

И, может, на всю Советскую страну прославился бы этот практикант, да, между прочим, засыпался. А впрочем, он и так прославился.

И живут же такие людишки на земле, нет на них погибели.

ЮРИСТ ИЗ ПРОВИНЦИИ

Оно, конечно, Гаврила вузов не кончал. Это действительно верно, не спорим. Но, промежду прочим, в юридических тонкостях Гаврила очень даже свободно разбирается.

Единственно не понять Гавриле юридических тонкостей в городе Екатеринославе. Там, действительно, толкуют законы очень даже неожиданно и скандально.

И кто толкует — уважаемый полупочтенный товарищ с высшим образованием, юрист одного почтенного учреждения.

Дозвольте уж начать от печки.

Дело случилось, конечно, в Екатеринославе. В доме по Чумацкому переулку. Может, знаете — третий дом от угла, двухэтажный такой небоскреб. И был хозяином этого небоскреба гражданин Котков, кажись что из нэпманов.

А, промежду прочим, жил в этом доме квартирант Горбатов. И снимал он небольшую квартирку у Коткова. И был он, можно сказать, жилец чистой пролетарской воды. И, натурально, было ему противно ежедневно встречать и видеть своего домохозяина — кровавого нэпмана Коткова.

А нэпман Котков тоже, конечно, в свою очередь, не одобрял своего квартиранта и спуску ему не давал. Ну и ссорились они от этого ежедневно.

Так вот, однажды они поссорились. А домохозяин Котков от полноты хозяйских чувств взял да и выбил стекла в квартире Горбатова.

Очень от того факта расстроился Горбатов.

— Будь, говорит, еще летний месяц, я бы, говорит, и внимания на это не обратил, но зимой, говорит, с дыркой в окне неинтересно жить — дует, снег моросит, и вообще скучновато.

Однако ничего он на это домохозяину не сделал и даже морды ему не набил.

А решил, скрепя сердце, поступить строго по закону.

И вот оделся Горбатов потеплее и пошел в одно довольно видное профсоюзное учреждение за советом: как ему быть и чем окно заткнуть, и нельзя ли вообще притянуть кровавого нэпмана Коткова.

Юрист надел пенсне на нос и отвечает:

— Побейте и вы ему окна, только чтоб никто не видал.

Квартирант Горбатов гордо побледнел, плюнул в урну и вышел. Вышел и домой пошел.

Побил ли он дома стекла — мы не знаем. Газета «Звезда» (№ 961) про этот факт ничего лишнего не говорит. Мы же из пальца тоже высосать не можем. А факт остается фактом. А факт такой, что — унеси ты мое горе...

А вообще, мамаша юриста напрасно на высшее образование сынку разорялась. Стекла побить или морду набить очень свободно можно и со средним образованием.

ПАРАЗИТ

1

Живет на свете такой Вася Кучкин. Писатель. Ничего себе — довольно способный парнишка. Талант в нем так и брызжет в разные стороны. Романы даже писать может.

А однажды сдуру написал этот способный Вася Кучкин роман. Получил, конечно, за него монету. Зажил.

Купил себе пальтишко с воротником и кровать.

На кровати валяется и пальтишком прикрывается. Живет что богатый.

2

«Кучкин-то наш,— подумал Васин управдом,— землю, сволочь, роет. Романы, подлая душа, пишет. Польты с воротниками ежедневно покупает. Надо ему, паразиту, на квартирку набавить. Чего с ним стесняться».

И набавил.

3

«Вот черти-то,— удивился Вася Кучкин,— на квартиры набавляют. Придется поднажать. Не выходит иначе».

И стал голубчик наш Вася Кучкин побольше работать. Расстарался, конечно, обмозговал сразу два романа. Продал. Зажил. Живет что богатый. На кровати валяется и пальтишком прикрывается.

4

«Эге,— подумал Васин фининспектор,— Кучкин-то, паразит, по два романа враз выпущает. Надо будет обложить подлеца».

Ну и обложил. И извещеньице ему любезно прислал. Дескать, с вас, милый, приходится.

5

«Худо,— подумал Вася Кучкин, с грустью рассматривая извещение.— Чем платить прикажете? Придется поднажать. Должно быть, маловато работаю. Не хватает. Надо будет сон, что ли, сократить».

Ну и поднажал. Обмозговал враз три романа и сценарий. Попыхтел, постарался. И продал.

6

«Живут же люди,— подумал Васин управдом,— по три романа, черти, пишут. А, промежду прочим, как ремонты, так на казенный счет норовят. Пущай-ка этот чертов Кучкин за свои любезные ремонтирует. Будет!»

7

«Действительно,— подумал фининспектор, рассматривая Васины балансы.— Богато живут люди. Жиреют. Надо будет хвост накрутить».

8

«Господи,— подумал Вася Кучкин, хватаясь за голову.— Что делается-то! Придется еще поднажать».

Поднажал. Обмозговал четыре романа и трагедию. Продал.

9

«Кучкин-то,— подумали родственники.— Ну кто бы мог думать? Такой пустяковый человек, а как, сволочь, в гору пошел. Трагедии пишет. Говорят, тыщи огребает. Надо будет нагрянуть к нему, пущай отвалит чего-нибудь на родственных началах».

10

«Ох,— подумал Вася Кучкин,— то есть решительно не хватает! Надо будет поднажать. Одно жалко — котелок чтой-то плохо работает».

Одначе поднажал.

11

«Ого! — подумал фининспектор, почтительно разглядывая Васины цифры.— Лопатой гребет. Надо будет...»

12

Братцы! Милые товарищи! Молочные братья! Каюсь! Никакого такого Кучкина и в природе нет. Это я про себя написал. И вышла у меня, как видите, авторская исповедь.

Конечно, нет в этой исповеди — как у других прочих писателей — ни великих переживаний, ни революционных этаких восторгов — есть один, можно сказать, подлый коммерческий расчет. А что поделать? Не подняться нам, видимо, с мелкой своей натуришкой над прозой жизни.

А исповедь эту, как видите, подписал я одной двусмысленной буквой. Не то это «три», не то — «зе». Разбирайтесь.

По секрету скажу — побоялся я полной фамилией подписывать. А то прочтут — опять, скажут, этот, как его, Зощенко пишет. В каждом, скажут, номере, сволочь, старается.

Эх, придется поднажать!

З.

ТОВАРИЩ ГОГОЛЬ

В наше переходное время, в наши скромные дни жил бы товарищ Гоголь не на улице Гоголя, а где-нибудь, ну, скажем, на Васильевском острове.

Жил бы человек не плохо. Насчет цельной квартирки не ручаемся, но отдельная комната была бы у него. Примерно в 3 кв. сажени. Меблированная.

За мебель хозяйке Гоголь платил бы 20 целковых да в домоуправление по 1 р. 60 к. за квадратный метр.

А работал бы Гоголь в «Смехаче» (25 рублей за фельетон). Пришлось бы уж Гоголю расстараться на мелкие вещицы!

Большие вещи — разные там «Мертвые души» и «Старосветские помещики» — все это хорошо и отлично, но недостаточно. Главное, что свободной профессией попахивает. И пописывал бы Николай Васильевич разные мелочишки. Может быть, даже отдел «Тараканы в тесте» вел. Ох, пришлось бы сотрудникам слегка потесниться!

Ходил бы тов. Гоголь в серой толстовке. Лечился бы электричеством от острой неврастении в Знаменской лечебнице. Трешки бы занимал до среды. Сотрудники дружески хлопали бы его по плечу и говорили: «Ну как, брат Гоголь?»

И вообще жил бы человек не худо. Вполне кормился бы при «Гудке».

Единственно, пожалуй, пришлось бы Гоголю пострадать от современной критики. Показала бы ему наша дорогая критика кузькину мать.

Критическую статью о творчестве товарища Гоголя мы представляем в наши дни примерно в таком виде:

ЕЩЕ ОДИН

(О творчестве тов. Гоголя)

Это что за фигура? Это откуда такое появилось? Это кто же дозволил ему появиться?

Мало у нас великих писателей, так вот еще какая-то персона лезет!

Нуте-ка, возьмем эту персону да рассмотрим, какая под ей подложена база. И может ли он, этот самый Гоголь, видеть разные важные проблемы? И есть ли у него, у подлеца, нормальный классовый взгляд или, между прочим, у его заместо взгляда — курица нагадила и вообще мелкобуржуазная стихия?

Сейчас мы ему, черту лохматому, припаяем. Не читали еще

его вещиц, но чувствуем, что припаяем. Потому нельзя иначе, чтоб не припаять.

Выпущает, главное, черт лохматый, общее собрание сочинений, огребает, наверное, громадные деньжищи, тратит бумагу, в то время как кооперации продукты заворачивать не во что, и еще ходит Гоголем.

А пущай-ка лучше ответит, вносил ли он, курицын сын, налог за последнее окладное полугодие? И чем он занимался до 17-го года?

Тоже писатель! Володя!

Критик Иван Засекин

Плохо, товарищи, быть писателем!

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУСТЬ

Давно я, братцы мои, собирался рассказать про комсомольца Гришу Степанчикова, да все как-то позабывал. А время, конечно, шло.

Может, полгода пробежало с тех пор, когда с Гришей произошла эта собачья неприятность.

Конечно, уличен был парнишка во вредных обстоятельствах — мещанские настроения и вообще подрыв социализма. Но только дозвольте всесторонне осве́тить эту многоуважаемую историю.

Произошло это кажется что в Москве. А может, и не в Москве. Но сдается нам, что в Москве. По размаху видим. Однако точно не утверждаем. «Красная газета» в подробности не вдавалась. Только мелким полупетитом отметила — дескать, в Семеновской ячейке.

А было это так. В Семеновской, то есть, ячейке состоял этот самый многострадальный Гриша Степанчиков. И выбили как-то раз этому Грише три зуба. По какому делу выбили — опять же нам неизвестно. Может, излишки физкультуры. А может, об дерево ударился. Или, может быть, в младенческие годы сладкого употреблял много. Только знаем, что не по пьяной лавочке вынули ему зубы. Не может этого быть.

Так вот, живет этот Гриша без трех зубов. Остальные все стоят на месте. А этих, как на грех, нету.

А парень молодой. Всесторонний. Неинтересно ему, знаете, бывать без трех зубов. Какая же жизнь с таким отсутствием? Свистеть нельзя. Жрать худо. И папироску держать нечем. Опять же шипит при разговоре. И чай выливается.

Парень уже так и сяк — и воском заляпывал, и ситником дырку покрывал,— никак.

Сколотил Гриша деньжонок. Пошел к врачу.

— Становьте, говорит, если на то пошло, три искусственных зуба.

А врач попался молодой, неосторожный. Не вошел он в психологию Семеновской ячейки. Врач этот взял и поставил Грише три золотых зуба.

Действительно, слов нет, вышло богато. Рот откроет — картинка. Загляденье. Ноктюрн.

Стали в ячейке на Гришу коситься. То есть как рот откроет человек — говорит или шамает,— так все глядят. Дескать, в чем дело? Почему такое парень обрастает?

Мелкие разговорчики пошли вокруг события. Откуда, дескать, такие нэпманские замашки? Почему такое мещанское настроение? Неужели же нельзя простому комсомольцу дыркой жевать и кушать?

И на очередном собрании подняли вопрос — допустимо ли это самое подобное. И вообще постановили:

> Признать имение золотых зубов явлением, ведущим к отказу от социализма и его идей, и мы, члены ВЛКСМ Семеновской ячейки, объявляем против ихних носителей борьбу как с явлением, разрушающим комсомольские идеи. Зубы — отдать в фонд безработных. В противном случае вопрос будет стоять об исключении из рядов союза.
>
> *(«Красн. газ.»)*

Тут председатель от себя еще подбавил пару. Мужчина, конечно, горячий, невыдержанный. Наговорил много горьких слов.

— Я, говорит, даром что председатель, и то, говорит, не замахиваюсь на золотые безделушки. А у меня, говорит, давно заместо задних зубов одни корешки торчат. И ничего — жую. А как жую — один бог знает. Пальцами, может, помогаю, жевать, то есть. Но не замахиваюсь.

Всплакнул, конечно, Гриша Степанчиков. Грустно ему отдавать такие зубы в фонд безработных. Начал объяснять: дескать, припаяны, выбивать трудно.

Так и не отдал.

А поперли его из союза или нет - мы не знаем. Сведений по этому делу больше не имели. Но, наверное, поперли.

ЮМОРИСТ

На днях мне позвонили по телефону.

Кто-то вежливым, мягким голосом спросил:

— Товарищ Зощенко?

— Да.

— Вот в чем дело. Мы производим опыты над усилителем. Большая просьба прочесть несколько строк из какого-нибудь вашего рассказа.

У меня была неотложная срочная работа. Мне очень не хотелось отрываться от дела. Но я человек мягкий. Я уважаю, кроме того, всякие новейшие изобретения. Я прочел в телефонную трубку несколько строчек.

— Прекрасно,— сказал вежливый голос.— Благодарю вас. Звучность изумительная. Теперь мы попросим вас послушать нашу передачу. Будьте любезны, отойдите в самый дальний угол комнаты. И слушайте.

Я положил трубку на стол и отошел шагов на десять. Минуты две стоял дурак дураком. Потом подошел.

— Ну как?

— Ничего не слышал.

— Тогда отойдите шагов на пять и присядьте так, чтобы ваше ухо было на одной линии с трубкой.

Я отошел и присел.

— Ну как?

— Ей-богу, я решительно ничего не слышу! — сказал я сердитым голосом.

— Тогда,— сказал мой собеседник, смеясь,— повесьте трубку и ложитесь спать.

Человек смеялся весело, от души, захлебываясь и хрюкая в телефон.

Да, действительно, я был очень взбешен. Я чуть не оторвал телефонную трубку. Еще бы — десять минут меня дурачил какой-то прохвост. Даже заставлял приседать.

Потом я успокоился. Даже усмехнулся. В чем дело? Все обстоит прекрасно. Можно записать сюжет. Можно сделать небольшой юмористический рассказ на актуальную темку — телефонные хулиганы. Двадцать рублей я честно заработал на этом поганом деле.

В каждой собачьей ерунде есть свои хорошие стороны.

СКУПОЙ РЫЦАРЬ

Год назад в одно почтенное издательское учреждение я три месяца подряд ходил за деньгами.

Заведующий отделом человек был милый, симпатичный. Всякий раз он справлялся о моем драгоценном здоровье, интересовался работой. И всегда очень сочувствовал и входил в положение. Однако денег не платил.

Примерно, зайдешь к нему числа десятого. Разведет руками, грустно улыбнется.

— Ай, говорит, ну можно ли в такие несуразные числа заходить. Десятое число! А мне, может, пятнадцатого рабочим и служащим платить. Сами посудите.

Ну, сообразишь, что десятое число, действительно, несколько неудобное число для платежей — уйдешь.

Приходишь числа двадцатого.

— Ну что вы, говорит, делаете? Только что недавно рабочим и служащим заплатил. Ну откуда я вам возьму? Сами посудите.

Два месяца я терпеливо поднимался на пятый этаж. В начале третьего месяца я стал слегка наседать и требовать.

Заведующий ерзал на стуле, грустно разводил руками, но денег не платил.

Я знаю, деньги платить — занятие скучное, малоприбыльное. Сплошной, можно сказать, коммерческий расход. В трубу можно свободно полететь, ежели всем платить. Однако мне было все равно. Я с энергичной настойчивостью вел свою линию.

Заведующий, видимо, начал страдать от моих посещений. Он избегал моего взгляда. Молча разводил руками. И углублялся в свои бумаги.

Однажды, когда у заведующего сидел какой-то посетитель, я начал грозить. Я сказал:

— Либо платите сейчас, либо я сам не знаю, что сейчас сделаю.

В голосе моем появились истерические нотки и вообще некоторое повизгиванье.

Вдруг я услышал всхлипывание. Я с испугом посмотрел на заведующего. Закрыв глаза рукой, он плакал, не стесняясь присутствия посетителя.

Я мысленно обругал себя скотиной и выбежал из кабинета.

Мне было ужасно стыдно и неловко.

Так довести человека. Экая я чертова свинья! Ну

действительно, ну откуда ему взять денег, если у него, может, нету? Ах, такая гнусность! Надо извиниться. Скажу: согласен ждать, сколько понадобится.

Я снова вошел в кабинет.

Заведующий, откинувшись на спинку кресла, тихонько смеялся. Его усы и подбородок дрожали от смеха.

Я услышал, как он говорил своему собеседнику:

— Ну что я могу сделать? Пристают, докучают. Мешают работать. Ну откуда я всем возьму? Приходится, знаете, прибегать к этой невинной хитрости. Это действует. Они народ впечатлительный.

Я подошел к столу и тяжелым голосом потребовал немедленной уплаты.

Заведующий, не глядя на мое лицо, написал на моем заявлении — уплатить завтра.

Назавтра я деньги получил.

Этот случай — подлинная правда. Я давно уже перестал фантазией разбавлять свои рассказы.

О ПОЛЬЗЕ ГРАМОТНОСТИ

А ведь я, грешный человек, думал, что у нас неграмотных людей не осталось. Я думал, что неграмотные давно уже ликвидированы.

Конечно, я не предполагал, что народ по-французски лепетать начал и вообще высшую арифметику узнал. Я про это не думал. Однако насчет читать, писать и фамилию подписывать — это мне казалось очень даже просто и возможно.

Оказалось, не так это дело обстоит.

Вот извольте поглядеть, какая история развернулась на этом фронте.

В прошлом месяце на одном громадном заводе решено было покрепче навалиться на неграмотных. Все-таки новый год наступил. А там вскоре десятая годовщина предвидится. А там опять новый год.

А неграмотные еще не вполне ликвидированы. Нехорошо это. Некультурно. Надо навалиться.

Ну, и в силу этого решили навалиться.

Председатель культкомиссии собрал своих помощников и ведомости на получку денег тоже рассмотрел. Поинтересовался, кто как и кто никак подписывается.

Ну, и оказалась целая армия неграмотных. Больше ста.

А в школу ходит ликвидироваться едва ли тридцать. Значит, остальные ловчатся.

Председатель культкомиссии собрал своих помощников и говорит:

— Вот что, ребята, надо беспременно навалиться. Пущай завтра соберутся все неграмотные в восемь часов вечера. Объявить про это.

Помощники — ребята молодые, горячие — сразу за дело принялись, начали между собой программу обсуждать.

И вот, конечно, назавтра вечер наступает. Восемь бьет. Культкомиссия в полном боевом составе является. Председатель тут же, конечно, с портфелем. Садятся вокруг стола. Только смотрят, нету неграмотных, не являются.

Председатель говорит:

— Братцы, да где ж, например, эти неграмотные? Или, может быть, вы оповестить забыли?

— Нет, говорят, объявили, помилуйте. В каждом цехе объявление повесили.

Начали ждать. «Все-таки, думают, неграмотный народ — малосознательный, опаздывать любит. Придется обождать».

А тут девять ударяет. И нет никого. Один какой-то дядя зашел, да и тот оказался грамотный. По ошибке сунулся.

Председатель культкомиссии говорит:

— Братцы, а ведь неграмотные — неграмотны. Как же они могут прочесть ваши объявления?

Тут ребята заволновались.

— А ведь верно! — говорят.— Они читать не могут.

И действительно, так никто и не пришел.

Тогда на другой день отрядили специального человека. Ходил этот человек по всем цехам и орал в три голоса насчет собрания.

Ну и, конечно, другой коленкор. Устный подход оказался правильный. Все-таки пришло человека четыре, не считая председателя. На них и навалилась культкомиссия.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВОСТОРГ

Хочется рассказать про одного начальника. Очень уж глубоко интересная личность.

Оно, конечно, жалко — не помню, в каком городе эта личность существует. В свое время читал об этом начальни-

ке небольшую заметку в харьковской газете. А насчет города — позабыл. Память дырявая. В общем, где-то около Харькова.

Ну да это не суть важно. Пущай население само разбирается в своих героях. Небось узнают — фамилия Дрожкин.

Так вот, извольте видеть, было это в небольшом городе. Даже, по совести говоря, не в городе, а в местечке.

И было это в воскресенье.

Представьте себе — весна, весеннее солнышко играет. Природа, так сказать, пробуждается. Травка возможно что зеленеть начинает.

Население, конечно, высыпало на улицу. Панели шлифует.

И тут же среди населения гуляет собственной персоной помощник начальника местной милиции товарищ Дрожкин. С супругой. Прелестный ситцевый туалет. Шляпа. Зонтичек. Калоши.

И гуляют они ну прямо как простые смертные. Не гнушаются. Прямо так и прут под ручку по общему тротуару.

Доперли они до угла бывшей Казначейской улицы. Вдруг стоп. Среди, можно сказать, общего пешеходного тротуара — свинья мотается. Такая довольно крупная свинья, пудов, может быть, на семь.

И пес ее знает, откуда она забрела. Но факт, что забрела и явно нарушает общественный беспорядок.

А тут, как на грех, товарищ Дрожкин с супругой.

Господи твоя воля! Да, может, товарищу Дрожкину неприятно на свинью глядеть? Может, ему во внеслужебное время охота на какую-нибудь благородную часть природы поглядеть? А тут свинья. Господи твоя воля, какие неосторожные поступки со стороны свиньи! И кто такую дрянь выпустил наружу? Это же прямо невозможно!

А главное — товарищ Дрожкин вспыльчивый был. Он сразу вскипел.

— Это, кричит, чья свинья? Будьте любезны ее ликвидировать.

Прохожие, известно, растерялись. Молчат.

Начальник говорит:

— Это что ж делается средь бела дня! Свиньи прохожих затирают. Шагу не дают шагнуть. Вот я ее сейчас из револьвера тяпну.

Вынимает, конечно, товарищ Дрожкин револьвер. Тут среди местной публики замешательство происходит. Неко-

торые, более опытные прохожие, с большим, так сказать, военным стажем, в сторону сиганули в рассуждении пули.

Только хотел начальник свинку угробить — жена вмешалась. Супруга.

— Петя, говорит, не надо ее из револьверу бить. Сейчас, может быть, она под ворота удалится.

Муж говорит:

— Не твое гражданское дело. Замри на короткое время. Не вмешивайся в действия милиции.

В это время из-под ворот такая небольшая старушка выплывает.

Выплывает такая небольшая старушка и что-то ищет.

— Ахти, говорит, господи! Да вот он где, мой кабан. Не надо его, товарищ начальник, из пистолета пужать. Сейчас я его уберу.

Товарищ Дрожкин обратно вспылил. Может, ему хотелось на природу любоваться, а тут, извиняюсь, неуклюжая старуха со свиньей.

— Ага, говорит, твоя свинья! Вот я ее сейчас из револьверу трахну. А тебя в отделение отправлю. Будешь свиней распущать.

Тут опять жена вмешалась.

— Петя, говорит, пойдем, за ради бога. Опоздаем же на обед.

И, конечно, по глупости своей супруга за рукав потянула — дескать, пойдем.

Ужасно побледнел начальник милиции.

— Ах так, говорит, вмешиваться в действия и в распоряжения милиции! За рукав хватать! Вот я тебя сейчас арестую.

Свистнул товарищ Дрожкин постового.

— Взять, говорит, эту гражданку. Отправить в отделение. Вмешивалась в действия милиции.

Взял постовой неосторожную супругу за руку и повел в отделение.

Народ безмолвствовал.

А сколько жена просидела в милиции и каковы были последствия семейной неурядицы — нам неизвестно. Об этом, к сожалению, в газете ничего не говорится.

ИГРА ПРИРОДЫ

Конечно, не всем жить в столицах. Некоторые, например, людишки запросто живут на станции Рыбацкий поселок.

Удобств на этой станции, конечно, меньше будет, чем в столице. Там, скажем, проспектов нету. А вышел со станции и при по шпалам. А не хочешь по шпалам — сиди всю жизнь на вокзале.

Один наш знакомый, коренной житель Рыбацкого поселка, не выдержал однажды и пошел прогуляться. А дело было еще весной.

Так вышел он с вокзала и идет по шпалам. Весной было дело. В апреле. Перед самой пасхой.

Идет он по шпалам. А дорога сами знаете какая — шпалы. А тут еще весенняя слякоть, лужи. В сторону сойти, прямо скажем, нехорошо — утонуть можно. Потому весна. Природа тает. Распускается.

Так вот, идет наш знакомый вдоль линии. Идет и о чем-то размечтался. А дело, я говорю, весной было. После пасхи. В конце апреля. Птички порхают. Чириканье такое раздается. Воздух этакий сумасшедший.

Вот идет, знаете, наш знакомый и думает: дескать, птичкам-то хорошо сверху чирикать, а пусти птичку по шпалам — небось заглохнет.

Так вот он подумал и в эту минуту оступился в сторону. А дело, надо сказать, еще весной было. На пасху. Мокро.

Оступился он в сторону и попал ногой в яму. И окунулся по колено в воду.

Вынул ногу наш знакомый. Побледнел.

«Хорошо еще, думает, что я без барышни иду. А нуте, пусти меня с барышней — срамота. Нога, сволочь, мокрая. Капает. Подштанники развязались. Штрипки висят. Сапоги второй год не чищены. Морда жуткая. Срамота!»

Очень рассердился наш знакомый.

«Ах так! — думает.— Колдобины с водой? На путях государственного строительства. Пущай, значит, шпалы гниют? И народ пущай окунается? Так и запишем».

Пришел наш знакомый домой. Разулся. И, разувшись, стал писать.

И написал небольшую обличительную заметку. И послал ее в «Красную газету». Дескать, проходя и так далее, окунулся на путях строительства, и, может быть, гниют шпалы...

Эта заметка была напечатана в конце апреля.

Вот тут-то и развернулись главные события со всей ужасной быстротой.

Пока заметку эту читали, да пока в правлении обсуждали, да пока комиссию снаряжали — прошло четырнадцать лет.

Оно, конечно, прошло меньше. Но время сейчас бурное, переходное. Каждый день за год сосчитать можно.

Одним словом, в начале июня комиссия выехала на станцию Рыбацкий поселок обследовать пути.

Приехали. Видят — явная ложь. Никакой воды. Напротив того — пыльно. Жара. И сухо, как в Сахаре.

Горько так комиссия про себя усмехнулась — дескать, до чего складно врут люди — и отбыла.

В начале июля появилось в газете опровержение. Дескать, явная ложь и выдумка. И вообще, дескать, никакой воды на станции не оказалось. Даже в графине.

А в правлении и сейчас думают, что наш знакомый наврал.

Пущай думают. В правоте жить легче.

ПОЭТ И ЛОШАДЬ

Давеча я получил письмо по почте. Пишут мне из Детского Села. Дескать, память Пушкина нарушена. Примите меры.

А, как известно, в этом селе жил в свое время Александр Сергеевич Пушкин. На Колпинской улице.

И дом, в котором жил Пушкин, очень даже отлично сохранился. Наверное, благодаря старанию заведывающего. Это, говорят, очень милый, хозяйственный человек. Он еще, может, знаете, лошадь свою завсегда в саду пасет, наверное, из хозяйственных соображений. Так, знаете, дом, доска мраморная — дескать, Пушкин жил, а так под окнами лошаденка пасется — кусты жрет. А кусты — сирень и жимолость.

Оно, конечно, кусты эти, может, при Пушкине не росли. И, может быть, в силу этого заведывающий не считает это самое оскорбительным для памяти Пушкина. Но прохожие все-таки обижаются.

Один прохожий в пылу благородного негодования смотался даже специально к этому заведывающему.

— Голубчик, говорит, прямо, говорит, некрасиво с вашей стороны лошадей в пушкинский сад выпущать. Пушкин, говорит, из этих окон, может быть, в свое время

любовался и окурки бросал, и вдруг тут же лошадь кусты жрет. Прямо, говорит, до чего некрасиво.

Заведывающий говорит:

— Лошадь — полезное животное. Пушкинский дом она не трогает, а если кусты кушает, то эти кусты, если хотите знать, после Пушкина выросли.

Тут, не любим сплетничать, небольшая перебранка завязалась между прохожим и заведывающим. Много нехороших и лишних слов было друг другу сказано. Не будем об этом писать, чтобы не тревожить память гениального поэта. Скажем только, что лошаденка и посейчас в саду пасется.

По совести говоря, особого оскорбления в этом мы не видим, но кусты все-таки жалко. Как хотите, а все-таки нет такой красоты и цельности, ежели куст обглодан. Как ваше драгоценное мнение, гражданин заведывающий?

А касаемо лошади, то лошадь всегда можно привязать где-нибудь на втором плане.

Сначала пущай поэт, потом лошадь.

СТАРАЯ ИСТОРИЯ

Дозвольте для ради первомайского праздника поделиться счастливой новостью. В Константиновке дом построили — поликлинику. Новое здание для этой медицинской цели оттяпали. «Химуголь» расстарался.

Ах, это очень мило с ихней стороны! И как раз, знаете, к празднику.

Доктора и разные ученые ботаники, наверное, очень этим фактом растроганы. Некоторые, наверное, даже прослезились — дескать, не забывают медицину в таком громадном строительстве.

И, между прочим, постройка, говорят, очень даже приличная вышла. Совершенно, то есть, по последнему слову довоенной техники — фундаменты не дрожат, и потолки не осыпаются. Американцы небось локти себе кусают от зависти.

Но, конечно, некоторый небольшой дефект случился при этом строительстве. Этого скрывать не надо. Самокритика обязательно требуется в таком поганом деле.

А дефект открылся в самую последнюю минуту. Уже дом стоял готовенький.

Строители отошли шагов на тридцать, чтоб издали полюбоваться на дело своих рук.

Вдруг один из строителей побледнел и говорит:

— Матушки мои! Канализацию позабыли устроить.

Другой говорит:

— И отопление, кажись, тоже позабыли.

Тут снова закипела работа.

В газетах об этой срочной работе так сказано:

> Когда здание было уже закончено, покрыто крышей и отштукатурено,— вспомнили о канализации и отоплении. Пришлось выламывать стены, отбивать штукатурку и даже разбирать крышу для того, чтобы установить котел.

Одним словом, расстраиваться не приходится. Дефект оказался поправимым. Котел всунули. Трубы провели. Жизнь снова заиграла в этом прелестном здании.

Все в порядке!

ПОЖАР

А очень, братцы мои, любопытный факт произошел в наши дни.

Газета «Гудок» отметила это выдающееся событие на своих славных страницах. Но мы еще желаем слегка подбавить пару. Уж очень невозможно получилось.

Однако, не желая конфузить перед судом серых героев этого события, не будем указывать в своем художественном произведении точного ихнего местопребывания. Скажем только, что произошло это на Сызрано-Вяземской железной дороге.

А станцию, я говорю, указывать не стоит. А то еще поезда начнут подолгу задерживаться в этом пункте. Ведь всем охота поглядеть, что там за люди-человеки. Так вот. Сейчас увидите.

Была-находилась недалеко от станции лавка гражданина Федора Балуева. Мелочная торговля. Ну, одним словом,— частное предприятие. Частник, одним словом, в этом населенном месте раскинул свои сети и заманивал туда покупателей.

И вот раз однажды, в субботу вечером, возьми и загорись этот частник.

Говорят, от оброненной папироски у него товар вспыхнул. Небрежность какая! Докидался, темная личность.

Значит, вспыхнул пожар. Произошла тревога. Дым столбом. Крики.

В набат не звонили — потому церковь была на сносе. Электрической сигнализации тоже здесь не было. Не в Ле-

нинграде. А просто один гражданин-любитель побежал на своих ногах до этой пожарной команды.

Добежал до этой команды. Кричит:

— Эй, черти! Пожар горит! Выезжайте.

Тогда выходит на этот крик ихний брандмейстер на крылечко. Яблоко жует. После котлет закусывает.

— Чего, говорит, орешь, балда?

— Так что, говорит, пожар горит. Можно выезжать.

Ихний брандмейстер говорит:

— Видим. Не слепые!

А видеть действительно можно было. Пламя довольно высоко к небу поднималось. Искры, конечно, сыплются. И дым глаза ест.

Ихний брандмейстер говорит:

— Довольно вам странно, гражданин, орать.

— А что?

— А то! Кто горит? Балуев горит? А кто есть Балуев? Кооперация? Балуев есть частник. Ну и пущай его горит. Чище воздух будет. А вы, говорит, товарищ, не нарушайте тут классовой линии своими криками. Не то знаешь, чего бывает.

Гражданин-любитель, конечно, сконфузился за свою отсталую идеологию и поскорее смылся.

Особенного переполоха среди населения не было. На этот раз массы довольно сознательно отнеслись к факту. Тем более что лавка стояла несколько в стороне от селения. И ветру в ту пору не было. Погода была ясная. Так что особого беспокойства, я говорю, не произошло. Хотя народу довольно много собралось поглядеть на это зрелище.

Сам частник сидел на камешках напротив пожара и особенно в огонь за имуществом не кидался.

— Нехай, говорит. В крайнем случае мое имущество застраховано. Не тушите.

Вскоре, значит, пожар догорел, и народ разошелся по своим халупам.

А частник пошел ночевать к своим родственникам.

Вскоре, говорят, над пожарниками состоится показательный суд за ихний, так сказать, левый уклон и убеждения.

А тоже ведь сразу не угадаешь, чего требуется.

НЕ ЗАБАВНО

Оно, конечно, борьба с алкоголем — это передовой вопрос.

Слов нет — бороться надо.

Оно, конечно, серьезному алкоголику эта борьба особого беспокойства не доставит. Ну, предположим, в одном месте пивнушку закрыли — можно, скажем, в другую смотаться, ежели у кого ноги есть и в кармане ежели кое-чего гремит.

Ну а другим прочим гражданам, слабовольным и начинающим алкоголикам, такие меры прямо, можно сказать, необходимы. И через это безусловно уменьшится потребление напитка.

Хотя как сказать. Где уменьшится, а где и нет. В г. Прилуках, например, определенно не уменьшится. Там не с чего уменьшаться. Там почва не дозволяет. Там само аптекоуправление пивом торгует. И чего смотрит товарищ Семашко?

Московская газета «Правда» (№ 178) отметила этот факт. Только, к сожалению, отметила сухо и малохудожественно. Главное, не указано, как торгуют — распивочно или навынос.

И ежели распивочно, то полагается ли горох? Или, может, заместо гороха посетителей одурманивают какими-нибудь пилюлями? Может быть, каломель всучивают заместо снетков.

Опять же является другой вопрос. Есть ли в аптеке раки? И почем берут за пару?

А ежели навынос, то свободно ли отпущают? Может быть, навязывают ассортимент из разных лекарств? А это покорнейше благодарю, спасибо.

Одним словом, надо выезжать в этот счастливый город Прилуки.

Кому что! Один город, можно сказать, догнивает почти без алкоголя, а в другом городе хоть залейся.

Аптекоуправлению наше нижайшее! Жмем ручки. Скоро приедем.

ОБМИШУРИЛИСЬ

Оно, конечно, насчет пароходов сейчас не время говорить. Потому осень наступила, зима на носу и вообще скоро речки и каналы замерзнут.

Однако дозвольте под закрытие навигации сообщить самые последние южные известия с берегов Днепра.

Еще покойный писатель Гоголь что-то намекал насчет этой речки. «Чуден, говорит, Днепр при тихой погоде». Так оно и вышло. В дело замешано как раз Днепровское госпароходство.

При тихой погоде или при бурной — неизвестно, но только был построен на Днепре пароход. Газеты пишут:

> Вновь выстроенный, роскошно отделанный пароход «III Интернационал» не проходит ни под один мост...

До чего обидно. Такой хороший пароход — и хоть бросай. Главное — такая досадная мелочь: под мост не подходит. Около моста довольно свободно плавает и не тонет, а под мост не лезет.

Чего теперь делать с этим пароходом? Мосты, что ли, ликвидировать? Или в Атлантический океан пароход перебросить? Там, говорят, совершенно мостов нету.

А то в крайнем случае можно сделать из него пристань или плавучий санаторий для престарелых днепровских кораблестроителей.

Одним словом — не бросать же.

ПОДОЖДЕМ, НАД НАМИ НЕ КАПЛЕТ

Хотели мы, знаете, в Саратов съездить. По своим личным делам. Повидаться кое с кем. Но теперь не поедем. Отменили это решение.

Ну его к черту, этот Саратов! Туда очень уж опасно ехать. Там крушения часто бывают.

Конечно, не в самом Саратове, а вокруг, на разных маленьких станциях. Разные там Князевка, Курдюмовка и так далее.

Эти маленькие станции не на высоте положения. Они небрежно поезда пропущают. И через это крушения очень часто случаются. Если говорить правду — ежедневно.

А другой раз как заколодило, так, верите ли, несколько в день.

А раз такой денечек выпал — одиннадцать крушений в сутки! Двенадцатого не было, потому как, сами понимаете, движение почти что замерло.

А вы говорите: поезжай в Саратов!

Газета «Поволжская правда» пишет:

Начальники станций Саратовского узла загружены работой, ранее исполняемой их помощниками. Теперь помощников нет. Дорога экономит. Но экономия влетает в копеечку. Так, 4 октября за один день было одиннадцать крушений поездов.

Одним словом, в те края чтой-то мало интереса ехать. Дорога экономит, но и мы тоже последнее время скуповаты стали: экономим свою мелкую жизнь. Может, на что-нибудь пригодится.

Одним словом, в Саратов не поедем. Подождем, пока на эти мелкие станции подсыпят пару служащих.

А которые начальники прочтут эти грустные строчки — пущай поторопятся. А то, ей-богу, надо в Саратов ехать до зарезу. Не лететь же туда по воздуху.

ДОМАШНЕЕ СРЕ́ДСТВО

Конечно, население само виновато. Приходится сознаться. Население ненаучно подходило к врачам — било их одно время по мордасам и по чем попало.

А то был еще такой небольшой период — убивать начали за слишком неважное лечение.

Потом бросили убивать, опять поколачивать стали. Хотя это все реже и реже, и надо полагать, что самосознание масс вскоре целиком восторжествует и население будет тихо и безропотно лечиться.

И очень горячо советуем. А то такой ненаучный подход самим во вред оборачивается.

Ясное дело, врачи стали нервничать, стали грустить от своей профессии, стали позабывать разные не хирургические инструменты во внутренностях больных граждан.

Надо будет врачей окружить полной тишиной и спокойствием. Пущай они успокоятся, оправятся, почистят свои инструменты. И пущай не будет больше таких прискорбных фактов, как этот последний, случившийся, несомненно, на почве нервной невнимательности.

А лежали в одной больнице в Ленинграде два человека. Совершенно не родственники, но однофамильцы. Один, конечно, имел прогрессивный паралич. А другой, я извиняюсь, был алкоголик. Он, дай бог ему здоровья, проходил курс принудительного лечения.

Паралитик имел фамилию А. Р-ов, а голубчик алкоголик — С. Р-ов.

И, значит, понадобилось по медицинским соображени-

ям подбавить крови паралитику. Ему надо было подбавить крови от малярийного больного. Говорят, от этого домашнего средства паралич уменьшается. Не знаю. Не думаю.

Ну, конечно, отдали распоряжение схватить, то есть вообще взять, так сказать, предложить больному отправиться с фельдшером в другую больницу.

И как раз тут и произошла полная невнимательность со стороны медицинского персонала. Заместо одного больного схватили другого, а именно нашего голубчика, страдающего любовью к выпивке.

Газета пишет по этому поводу:

> По невнимательности вместо А. Р-ова в больницу им. Балинского был направлен его однофамилец — С. Р-ов, находящийся на принудительном излечении от алкоголизма.
>
> Когда ошибка была замечена, С. Р-ву было уже сделано переливание крови.

Наверное, он, голубчик, отбивался, кричал и все такое, но наука восторжествовала над темнотой и несознательностью. Человеку влили чего следует и только потом заметили, что вкатили не тому.

Конечно, безусловно, те же врачи теми же гениальными домашними средствами, несомненно, вылечат пострадавшего человека от малярии, но все же как будто не тово...

Хотя, говорят, этот факт и вообще курс такого энергического лечения дал счастливые результаты.

Говорят, все больные алкоголики, находившиеся в то время в больнице,— пить бросили.

— Это, говорят, слишком безобразно пить в наше время.

И не пьют. Боятся.

Адреса больницы не оглашаем. Там, дорогой читатель, и без нас с вами небось закрутили большое дело.

А сообщаем обо всем просто так, для информации.

ЛОШАДИНАЯ ИСТОРИЯ

Это было в городе Сарапуле. Я так, конечно, думаю, что в Сарапуле. Потому что это событие описано в сарапульской газете «Красное Прикамье» (№ 287). И надо полагать, что газета описывает свои собственные уездные происшествия и делишки, а не наши, ленинградские.

Так вот, в городе Сарапуле произошла раз однажды крупная лотерея с разрешения начальства.

Были указаны разные заманчивые выигрыши. И среди них был объявлен самый главный, знаменитый выигрыш — живая лошадь с упряжкой. А которые не захотят лошадь, тем пятьсот монет чистоганом. Так было в афише указано.

И вот поперло счастье одному рабочему пролетарию. Взял он всего один билет и выиграл эту самую лошадь.

Ну, ясное дело, обрадовался.

«Лошаденка, думает, мне, конечно, не требуется. Я на ней ездить не приучен. А дай, думает, заместо этой лошадки приму деньги».

Начал он требовать свои пречистые пятьсот рублей — не дают.

— Так что, говорят, извиняемся, денег мы не дадим, а лошадь в крайнем случае, если хотите — берите. Только, говорят, приплатите нам сто восемь рублей за ее харчи.

Конечное дело, выигравший расстроился.

— За что же, говорит, помилуйте, сто восемь рублей?

— То есть, говорят, как за что? Лошадь-то мы кормили ай нет?

— Ну, говорит, кормили.

— А раз, говорят, кормили, то, говорят, деньги тратили. И, значит, платите сто восемь рублей и уносите скорее своего коня, а то он стоит не жравши с момента выигрыша.

Счастливый рабочий говорит:

— Братцы, да, может, вся ваша лошадь вместе со своим хвостом стоит сто шесть рублей. Как же так? Я же выиграл, я же еще и докладывать два рубля должен? Войдите, говорит, в положение выигравшего человека.

Ему говорят:

— Ты, говорят, выиграл, а не мы. Ты, говорят, и разбирайся в вопросах. А только ты нас должен крайне благодарить, что мы своевременно кормили твоего коня. Нуте, вообрази — мы бы его не кормили! Он бы взял и подох или стоял бы при смерти. Чего бы тогда выиграл? Ну, разве тебе приятно мертвое лошадиное тело выигрывать?

— Да, говорит, действительно неприятно.

— А раз, говорят, так, то о чем речь?

Ну, тут, конечно, они еще поторговались и сошлись на пятидесяти рублях.

Счастливый рабочий заплатил деньги и увел своего коня.

Что он теперь с ним делает — неизвестно.

А конь, говорят, уже нажрал рублей на двести.

Бывают в жизни огорчения!

Между прочим, главное огорчение выпало заведующему товарищу Гришину. Его пришили к делу.

А конь все жрет и жрет и ничем больше не интересуется.

ТЕРПЕТЬ МОЖНО

Конечно, об чем говорить, каждая профессия имеет свой брак.

Взять хотя бы такое мелкое и глупое дело — парикмахерское. И то без брака там не обходится. Другой озверевший парикмахер в выходной день до того обработает своего пассажира, что после родная мама его не узнает.

Или, обратно, стекольщики. Газеты пишут, будто эти славные ребята имеют на круг пятнадцать процентов брака.

То есть, для примеру, произвели стекольщики сто графинов. Так из этих ста стеклянных вещиц — пятнадцать вовсе невозможно пустить в продажу. Остальные проценты тоже, собственно говоря, не следовало бы пускать на прилавок, но приходится. Надо же чем-нибудь торговать. Тем более покупатель — он купит. Действительно, будет плакать, отбиваться и морду отворачивать, но купит.

Или, обратно, повара и доктора. Они также имеют свой брак. Говорить об этом не приходится. Каждый кушал и после к врачам заходил.

Одним словом, какую профессию ни возьми — везде есть брак.

И только есть одна профессия. Она не имеет брака. Это, прямо скажем,— почтовое дело.

Ну сами посудите, сами раскиньте своим воображением. Ну какой может быть брак в этом культурном деле? Что ли, заместо марки на ладонь штемпель ставить? Или заказные письма проглатывать?

Прямо не может быть у них брака.

А это, может быть, очень обидно показалось почтовым начальникам.

То есть, говорят, каждый комиссариат имеет льготы, а мы вроде и не люди, а собаки.

Неизвестно, как в Сибири к этому отнеслись, но Средневолжское управление, утомленное такой несправедливостью, поправило это дело. Оно выработало свои нормы брака.

Эти святые строчки можно петь на мотив «Две гитары за стеной».

> **Средневолжское управление связи выработало нормы брака для корреспонденции. Этими нормами разрешалось безнаказанно терять двенадцать процентов писем, шесть процентов заказных писем, четыре процента телеграмм...**

Одним словом, почтовики кое-как уравнялись с другими профессиями. Нормы допущены подходящие. Не зверские.

Другое бы управление, дорвавшись до такой полноты власти, махнуло бы сразу: «Теряй, робя, пятьдесят процентов на нашу голову». А это такие деликатные мальчики попались. Обдумали, чего сколько терять. И, заметьте, как глубоко продумано. Например, четыре процента телеграмм. Не три и не пять, а четыре. Тонкость какая, замечаете?

При такой тонкости надо бы, я извиняюсь, и про денежные переводы чего-нибудь намекнуть, а они ни гугу. Помалкивают в тряпочку. Ну, надо полагать, тоже не свыше пятнадцати процентов.

Одним словом, терпеть можно. Пальто не снимают. Извиняюсь за обидное сравнение.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Многие думают, что Волынкина деревня находится где-нибудь в Псковской губернии. А, между прочим, она расположена в Ленинграде.

Это такой пригородный район. Ну, вроде как Малая Охта.

Так вот как раз в этом районе проживали два брата. Фамилия ихняя — Сергачевы. А имена неизвестны. Газета не отметила. Только буквочки проставлены — С. и Ф. Надо думать — Серега Сергачев и Федя.

Один брат, С. Сергачев, конечно, служил на заводе. А другой брат был безработный гражданин.

Только раз однажды который заводский — загулял.

Он парень, конечно, не старый, опять же работу имеет, деньги к нему плывут, положение. Одним словом, имея такие горизонты, парень загулял.

Он насосался вина, начал по улицам ходить, начал затрагивать женский элемент, после драться начал. И, конечно, засыпался. И главное дело — его уличили в хулиганских поступках. Тем более, он кому-то морду разбил.

Конечно, сейчас нету возможности разобраться в этом происшествии. Тем более, один так говорит, а другой этак. А сам Серега прямо от всех делов открещивается. То есть, говорит, никого не трогал, шел, как ангел православный, и песни пел.

Тем не менее парня замели и под суд отдали.

Суд, конечно, видит — нарушен классовый инстинкт у парня. И дают ему, чтобы вперед неповадно было, два месяца.

Тут, конечно, взвыл человек. То есть, думает, беда. То есть, думает, теперича на заводе обратят такое внимание и примут к сведению и руководству. И по случаю чистки могут даже, конечно, выгнать под лозунгом — худая трава с поля вон.

Одним словом, видит человек: ему немыслимо в тюрьму сесть.

Тогда он говорит своему родному брату:

— Дескать, такое форменное положение. Ты, говорит, человек безработный. За тобой никакого присмотра нету. Опять же я тебе передачу буду носить и дам немного деньжонок. И тебе, говорит, прямо сплошная выгода в тюрьме сидеть.

Брат говорит:

— Ладно, говорит, давай. В крайнем случае я за тебя сяду.

Сговорились они полюбовно и по-семейному, и, конечно, Ф. Сергачев сел за брата.

И, значит, сидит он полтора месяца. Все чинно, благородно. Брат на работу ходит. Все его любят и уважают. А этот знай себе сидит и молчит в тряпочку.

Только вдруг на заводе слух идет — дескать, судили, два месяца, хулиганство, и так далее.

И, значит, берут этого брата и имеют с ним разговор.

Дело, конечно, открывается. Братья удивляются: об чем речь? Разве это нельзя? Мы же по-семейному.

И вот заваривается новое дело. И вскоре обоих братьев будут судить за мошенничество.

Которые опытные юристы говорят, что дадут полгода.

А младшего братишку до чего жалко! Пострадал за братца.

ЧЕЛОВЕКА ЖАЛКО

Наконец-то вышло обязательное постановление насчет пьющих граждан. Немного им поубавили свободу действия.

Раньше, бывало, захочет, например, пьяненький покататься на трамвае — пожалуйста, выезжайте, милый человек, освежайтесь поездочкой. Не хочет на трамвае, хочет на поезде — можно и на поезде.

Одним словом, раньше к ихним услугам был любой транспорт. На чем хочешь, на том и дуй.

Ну а теперь прекратили это удовольствие. Вышло постановление. Расклеено по всем трамваям. Мол, не допущайте и так далее пьяному влезать на транспорт. А то, мол, он может с пьяных глаз сунуться под колесья. А управление после плати.

Ей-богу, прочтешь такие гуманные слова, и с новой энергией жить охота. Потому — заботятся, берегут, не допущают тебя, архаровца, под колесья падать.

И надо отметить — это не только канцелярская отписка. Это живая жизнь. Давеча мы сами наблюдали, как это самое проводится на деле. Пьяному человеку нипочем не дозволили в трамвае ехать.

А сидит он в трамвае и едет. Слов нет, сидит он довольно тихо, никого по мордасам не ударяет. Но, конечно, видать, что пьяный. Бубнит чего-то. Ручками махает. Елозит на своем месте. Но пока никого не бьет и не замахивается.

Едет он, едет, только вдруг группа пассажиров высказывает свое полное возмущение.

— Раз, говорят, обязательное постановление, то довольно странно наблюдать на транспорте такую категорию людей.

Кондукторша говорит:

— Да разве за ними углядишь! Они влезают как совершенно трезвые, а после их на транспорте развозит.

И подходит она до пьяного и велит ему сходить.

— А то, говорит, вы под колесья угодите, а я за вас отвечай!

А пьяного если тронуть, он обязательно характер обнаруживает. Так и тут.

Начал он оскорбляться. Замахиваться. Ногами пихаться — дескать, не подходите.

Но тут пассажиры поднавалились и начали дружно его ссаживать.

Кое-кто, конечно, заступается:

— Да пущай, говорят, он едет. Чего там, ей-богу! Не троньте его. Действительно, вы его под колесья пихнете.

Ну, которые волокут,— высказывают свое соболезнование.

— Да уж, говорят, пьяному человеку долго ли до греха. Того и гляди — сунется.

И, конечно, поскорей ссаживают.

Выволокли его на площадку. Остановили вагон. Выперли на мостовую.

А он орет, безобразничает, обратно протискивается, пытается вновь в трамвай войти. Его, конечно, спихивают, щекотят грудь, чтоб ему руки отцепить.

Тут, конечно, трамвай трогается, и пьяный падает со своих копыт прямо чуть не под колесья.

И еще довольно удачно упал. Ножки прямо на волосок от колеса. Еще бы полвершка — и ноги недочет.

А тут ничего. Только что морду разбил. И грудку ушиб.

Но ничего. Встал. Орет безобразно, кулаками грозится,— зачем, дескать, чуть не угробили...

Да, уж эти пьяные. Разве они соображают? Если о них трезвые не позаботятся, они, безусловно, сразу под колесья падать начнут.

Вот за них и хлопочут, издают правила движения, бумагу тратят и так далее.

Потому — жалко человека. Хоть и пьяный человек, а все грустно его навеки потерять.

ГОРЬКО

В нашей коммунальной квартире имеется такой ответственный работник товарищ П.

Про него, конечно, нельзя сказать, что он, например, интеллигент. Но он все-таки чего-то там такое знает. Чего-то такое читал и проходил. Так что он имеет полную

ответственность и всецело должен отдавать отчет в своих действиях.

Так вот он, значит, в прошлом году женился.

Он женился в прошлом году на такой Верочке. Такая была тоже с нашего дома Верочка. Такая вообще барышня.

Она миленькая, ничего про нее не скажешь, но, безусловно, она передовых взглядов не имела. Она всецело мечтала о беличьем манто, о всяких разных чулочках, ленточках, каблучках и так далее и тому подобное.

И в силу своих взглядов она одевалась чересчур бойко. Завсегда коротенькая юбочка, шляпочка такая, шелковое пальтецо на пуговках.

И она губки свои очень отчаянно красила помадой. И с глазками своими тоже чего-то такое производила, какую-то махинацию. Что ли, она их карандашиком оттеняла. Давала им особую такую игру и выразительность. Так что все мужчины на нее засматривались и мечтали с ней сойтись.

Конечно, когда товарищ П. начал за ней ухаживать, он сразу взвесил все данные.

Да, видит, барышня, безусловно, заметная, но, безусловно, так сказать, что ли, чуждый элемент. Придется заново ее воспитать и привить ей новые взгляды. Чтоб это, главное, был человек, а не обезьянка с бантиком.

Но, думает, на то я и передовой товарищ, чтоб за такие трудные делишки браться.

Так вот он подумал и развелся со своей прежней женой.

Развелся со своей прежней супругой и женился на этой хорошенькой барышне.

Конечно, многие усмехались. Мол, что ли, это неудобно. Неэтично, что ли, ему жениться на такой слишком яркой особе, у которой только и делов, что свою фигурку покрасивей нарядить.

Но он пресек все эти пересуды. Мол, не сомневайтесь, милые товарищи. Барышня, действительно, выражает собой, ну, что ли, мелкобуржуазную стихию нашего дома. Но не пройдет и полгода, как все это переменится, и это будет вполне сознательный товарищ, спутник трудовой жизни, полноправный гражданин, у которого на первом месте будут разные ответственные мысли и классовый интерес, а уж потом все такое остальное.

— Ну,— говорят ему,— глядите, товарищ. Не вкапайтесь. Многие крупные деятели общественной мысли пропа-

дали по случаю того, что у них были такие мелкобуржуазные супруги с накрашенными губками.

Он говорит:

— Мне, право, смешно слышать, чего вы такое говорите. Будьте любезны поглядеть на мою воспитательную работу через полгода.

Начал он после женитьбы воспитывать эту девочку, начал ей разные вопросы задавать. Начал ее стыдить перед лицом советской общественности.

Мол, зачем вы, Верочка, губки свои красите. И зачем у вас, я извиняюсь, юбочки слишком коротки. И зачем у вас ножки. И почему глазки. И, дескать, надо быть сознательным, вдумчивым гражданином, а не такой безответственной фигуркой на фоне общественной мысли.

Очень, конечно, от этого нажима барышня горевала и конфузилась, но потом довольно незаметно начала перевоспитываться.

Короче говоря, меньше чем через полгода эта барышня очень удивительно переменилась к лучшему.

Она перестала мазать свои губки. Она пошила себе длинные платьица. Она начала ходить с портфельчиком. И так далее и тому подобное.

Короче говоря, это была воспитательная работа, достойная всеобщего удивления.

В короткое время пустую барышню он превратил в достойного спутника своей жизни, с которым он пошел рука об руку к намеченным идеалам.

Правда, шли они так недолго. Месяца два или полтора, чего-то вроде этого. После чего тов. П. развелся с ней и женился на другой молодой барышне.

Слов нет. Эта последняя не была сознательным товарищем. Она ярко мазала свои губки. Она носила коротенькие юбочки. И кокетливо глядела на мужчин своими огненными глазами. Но тов. П. не смущали подобные крупные препятствия.

Короче говоря, он женился на этой новенькой малютке. И начал ее перевоспитывать, с тем чтобы из этой напудренной обезьянки сделать настоящего, достойного человека, с которым прилично будет ему идти рука об руку к намеченным идеалам.

А сколько времени он будет таким образом с ней идти — покажет дальнейшее будущее. Надо полагать, не менее полгода.

Одним словом, честь имеем поздравить дорогого новобрачного. Горько! Чрезвычайно горько.

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

1. ОАЗИСЫ

Некоторые интеллигенты обижаются — будто культура у нас медленно шагает. Ничего подобного.

Культура шагает довольно шибко.

Давеча в газетах промелькнуло радостное сообщение с культурного фронта — оазисы в Москве будут.

Газета пишет:

> В МКХ поступило предложение Свердловского университета устроить на некоторых московских скверах биологические оазисы.

Другими словами, в общественных садах и скверах будут устроены специальные тенистые площадки для зверюшек. Там будут находиться разные птички, змейки, растения. Вообще для ознакомления гуляющей публики.

Эту идейку надо поскорей воплотить в жизнь. Оазисов нам сильно не хватает. Все у нас есть. А вот оазисов еще нету. И бульвары есть. И скверы есть. И публика есть. А в оазисах ощущается сильная нехватка. Можно сказать — кризис на оазисы.

Поскорей, братцы, старайтесь насчет этого. А то живем, как на вулкане,— никаких оазисов.

А славно будет, когда эти самые оазисы раскинутся по нашим скверам. Зверюшкам, главное, раздолье будет. Оно действительно, народу податься будет некуда. Тесновато придется, ежели, скажем, в скверах оазисы. Но ради науки потесниться можно.

Скорей, братцы! Не терпится.

2. ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Недавно еще наши бедные крестьяне-мужички волком выли. Дороги, дескать, плохие. Не проехать.

В настоящий момент этот передовой вопрос культурной революции понемножку разрешается.

Недавно газеты отметили выдающее изобретение — велосипед. Приделывается к этому велосипеду особая штуковина, после чего этот велосипед самосильно может

идтить по рельсам, не уступая в скорости железнодорожному стрелочнику.

То же и насчет трактора. «Красная газета» радостно сообщает:

> В комитет по делам изобретений представлено приспособление к трактору для движения его по железнодорожному пути.

Этак пойдет — вскоре и крестьянскую телегу можно будет твердо поставить на рельсы. Оно, конечно, поездам деваться будет некуда. Да, собственно, и черт с ними. В крайнем случае им можно будет проложить какую-нибудь паршивую одноколейку. Или вообще отменить, раз такие чудные горизонты открываются.

Вообще честь имеем вас поздравить!

3. НАВРЯД ЛИ!

За границей каждый день чего-нибудь новенькое придумывают. Вот черти-то! Давеча, не угодно ли, газеты сообщают:

> За границей появились автомобили с особым граммофонным аппаратом — усилителем. При нажатии кнопки аппарат выкрикивает: Берегись! Дорогу! Внимание!

Это культурное изобретение навряд ли привьется на нашей родимой почве. У нас, может, граммофонных иголок не окажется. Или граммофоны подорожают. Или суровый климат быстро испортит нежные музыкальные инструменты.

Нет, навряд ли у нас это привьется.

Да и автомобилей у нас мало. Разве что извозчикам. Хотя и извозчики навряд ли удовлетворятся этими короткими, сухими выкриками: «Берегись!» и «Внимание!»

Одним словом, если у нас привьется, то этих выкриков будет недостаточно. Придется наигрывать специальные пластинки: «Внимание! Чего рот разинул, черт косой!», или: «Берегись, задавлю, сукин сын!», или: «Вот я тебя сейчас кнутом по морде!»

Хотя и на этой почве могут разыграться неприятности. Малограмотный извозчик станет нажимать не те кнопки, и тогда черт знает что получится.

Вместо «Сейчас подаю» извозчик будет выкрикивать: «Вот я тебе сейчас кнутом по морде».

Милиционер будет кричать по ошибке: «Эй ты, внимание! Чего рот разинул, черт косой!»

Одним словом, может произойти куча неприятностей. Публика будет пугаться извозчиков. Милиция начнет самосильно штрафовать. Извозчики вымрут. И тогда придется ездить на своем одиннадцатом номере.

Только навряд ли все это у нас привьется. Это чистая фантастика!

4. ТРЕТИЙ СПОСОБ

В газетах то и дело читаем: то здесь бронзовый памятник сперли, то там чугунную решетку уволокли.

Больше всего достается Волкову кладбищу.

Действительно, на этом знаменитом кладбище есть чем поживиться. Там, знаете, как раз собраны наиболее выдающиеся могилы. Там захоронены разные важные писатели, доктора, фельдшера. И каждому поставлен какой-нибудь дорогой памятник или крестик. Или венок висит. Или фарфоровая лампадочка торчит. Только подходи и бери.

И вот подходят и расхищают это дорогостоящее народное достояние.

Вот не очень давно воры цельный бронзовый бюст, кажется что Гончарову, уволокли. Обидно же! Может, Гончаров от этих фактов в гробу поворачивается.

Но этому злу положен предел.

Недавно откомхоз сделал смелый и решительный шаг в этом направлении.

«Красная газета» пишет черным по серому:

> Откомхоз решил снять бюсты и памятники с могил писателей и общественных деятелей на Литераторских мостках Волкова кладбища.
>
> Одновременно откомхоз усиливает охрану Литераторских мостков.

Мера действительно могущественная. Снять памятники и усилить охрану. С одной стороны, оно как будто бы и охранять нечего, ежели памятники и бюсты сняты. Но если подумать глубже, то получается как-то солидно, по-европейски.

А то есть еще второстепенные способы:

1. Усилить охрану и памятников не снимать.

2. Снять памятники и охрану не усилять.

Но ежели откомхоз придумал третий способ, то, значит, ему видней. Мы его смелых начинаний не хотим разрушать.

А вообще говоря, довольно странно: снять памятники и охранять пустое место. Впрочем, как хотите. Ну вас!

5. СМЕХОТА

Это, товарищи, происходило недавно. На одном славном хлебозаводе.

Пострадавшим героем дня является товарищ Григорьев. Один из его приятелей довольно курьезно подшутил над ним — поковырнул его в чан с хлебной опарой. Смехота, ей-богу!

Этот Григорьев, чудак такой, остановился, знаете, около самого чана. И стоит. Про что-то серьезное думает. Может, про членский взнос.

А его приятель возьми и пихни его в тесто.

Что было!

Григорьев, значит, орет, чертыхается. А тесто жидкое. Сами понимаете. Хлеб у нас зачастую жидкий — шамать неохота. А то вдруг тесто. Совершенно то есть жидкое. В рот набегает. Нос закладывает. Уши залепляет.

Пострадавший товарищ, конечно, орет, руками за чан цепляется, хочет, одним словом, вылезти.

Тут, конечно, подоспели другие, более сознательные хлебопеки. Вытащили своего товарища.

А он стоит грустный. И видеть не может — глаза тестом залеплены. И аппетита никакого нету — нажрался опары.

Некоторые хлебопеки начали, конечно, говорить: дескать, нехорошо после этого случая это тесто запекать и вообще хлеб из него делать. Потому все-таки противно. Все-таки в нем человек с ногами некоторое время находился. И хотя он член союза и Максим Горький тоже был одно время хлебопеком и все такое, но некультурно. Все-таки не изюм. Сапоги там. Нос. Усы. И так далее.

Другие говорят:

— Ежели, для примеру, сапоги не остались в опаре, то запекать можно.

Пострадавший говорит:

— Сапоги, кажись, тут.

Взяли тогда тесто и запекли.

Теперича «Ленинградская правда» пишет: дескать, в связи с этим троих под суд отдали. Одного за то, что человека в тесто поковырнул. А двоих — за то, что хлеб велели печь из этой опары.

Одного-то за дело. А двоих как будто бы зря. Хлеб, говорят, был довольно аппетитный. Прямо не узнаешь, что человек в нем купался.

6. И СКУЧНО И ГРУСТНО

Все время приходится читать прискорбные известия со стихийного фронта.

То там наводнение, то извержение вулкана, то дождик идет.

Недавно в Америке громадный мостище наводнением разрушило. Шесть человек погибло. Вот жалость-то!

А на той неделе на Филиппинских островах — извержение вулкана.

Вон что в природе делается!

До нас тоже вот эта стихийная волна докатилась. Дождик в этом месяце довольно нужное строительство смыл. Псковскую гидростанцию. В городе Острове.

Конечно, дождик не сильный был. Этого нельзя сказать. Но все-таки шел дождик. Накрапывал.

Газеты отметили эту стихийную катастрофу:

> Прошедшие недавно дожди смыли Островскую гидростанцию. Это скандальное строительство стоило около 200 000 рублей.

Глядите пожалуйста, что делается. В Америке ураган. На Филиппинах — извержение. А в Острове — дождик.

А там, глядишь, в Ленинграде ветерок подует — наделает делов.

Что в природе делается!

Может, пятна на солнце играют такую роль?

А любопытно, как это в Острове — одну гидростанцию смыло или вместе со строителями?

Как говорится, и скучно и грустно, и редко кому руку можно пожать. В минуту душевной невзгоды.

7. ТРАМВАЙ ДЫБОМ

Дозвольте поделиться счастливой новостью: за границей недавно удумали «прыгающие автомобили». Это французы расстарались. Все газеты об этом трубят.

То есть идет, представьте себе, автомобиль, вдруг перед ним препятствие — тумба или девочка трех лет. Или вообще собачка. Нажимается рычаг, и машина грациозно подпрыгивает. И затем дальше прет.

Надо отдать справедливость — это здорово! Хотя это изобретение нам как корове седло. Автомобилей у нас мало. Препятствий опять же много. Так что нам прыгать не требуется. Нам летать надо в крайнем случае. А лучше бы заграничные спекулянты придумали прыгающие трамваи. У нас трамваи — главное зло. Ежедневно по двадцать персон давят. В одном Ленинграде. Вот чего изобретать надо!

Мы даже не гонимся за красотой. Нам надо такой трамвай, чтоб он, сукин сын, на дыбы вставал, если препятствие. Собачка. Или девочка трех лет. Или тумба, или похоронная процессия.

А прыгать нам не надо.

Вот чего надо изобретать! А то прыгающие автомобили! Подумаешь! Осчастливили! Что мы, свою «скорую помощь», что ли, заставим прыгать? Нету у нас лишних автомобилей. А ежели частники, то они могут безвозвратно рухнуть, ежели их прыгать заставить. Понимать надо!

Так что думайте насчет трамваев. А с машинами не морочьте нам головы. Мы — люди занятые.

8. О ЧЕМ ТОЛЬКО РАНЬШЕ ДУМАЛИ!

Последнее время много споров происходит насчет жилплощади. Не хватает у нас этой площади — прямо хоть строй новые дома. Ей-богу, честное слово, до того дошло!

Недавно тоже в газете промелькнули довольно бодрые строчки — как разрешить острый кризис. Один парнишка догадался — пишет между прочим:

> Много еще в Ленинграде дворцов с огромными окнами, с высокими потолками, с золотыми статуями и художественными карнизами, которые пригодились бы учреждениям. А учрежденческие квартиры нужно превратить в рабочую обитель.

Какого черта, в самом деле! Дворцы стоят. Карнизы все еще висят. Какие-то музеи в этих дворцах напиханы, клубы. А учреждениям и податься некуда.

Пущай, действительно, наши учреждения перемахнули бы туда. А мы бы расположились на ихней площади. И все бы пошло по-хорошему.

В бывшем Зимнем дворце открыли бы, действительно, отделение Азрыбы. Благо недавно дворец отремонтировали.

В какой-нибудь Екатерининский дворец перевести бы контору Госречпароходства.

Вот тут бы статуи и карнизы пригодились бы в лучшем виде.

Что касается нас, то редакции «Пушки» не худо бы отвести Эрмитаж, что ли. На большее, конечно, мы не рассчитываем, а вот Эрмитаж в аккурат бы нам подошел. Хватило бы площади. А то ютимся где-то на Фонтанке, 57, и там который год делаем свое геройское дело — выпущáем «Пушку».

Итак, кризис разрешен. О чем раньше думали?

9. РАЗДЕВАЮТ

До того, знаете, дошло, что скоро в театр ходить будет нельзя. Потому невозможно получается. Уж очень бестии гардеробщики жару напустили. Эти, знаете, которые в театре раздевают.

Им, скажем, даешь пятачок за свое пальтецо, а они морду воротят. Мало, говорят.

То есть как это мало, когда само пальтецо, может, шесть гривен стоит с воротником. А им мало!

Ну, конечно, которые более арапистые зрители — те действительно норовят копейки две сунуть. Это, конечно, маловато. Но копеек десять или пятнадцать — это божеская цена.

А газеты пишут, что эти гардеробщики совершенно озверели и грубо требуют со зрителя надбавку. Причем, знаете, не считаются с установленной таксой.

Вот где самое театральное зло! А вы говорите — репертуара нету. И что Мейерхольд в отпуск уехал. А самый главный момент промигали.

10. МЫСЛИ ТЕАТРАЛА

Последнее время зритель пошел какой-то нервный. Я так скажу: особо чувствительный. Жалуется. Дескать, в театрах сидеть не можно — блохи жрут.

Еще чего! То репертуара нету, то Мейерхольд уехал, а теперь обратно не слава богу — блохи тревожат.

Скажите на милость, какая непоправимая история — блоха укусила! А дома тебя не кусают? А в кино, я извиняюсь, не кусают? А в трамвае не кусают?

Ну почеши. Зачем же такие слова произносить: не можно в театре сидеть.

Это верно, в театрах каждый укус получается особо чувствительный. Тут, представьте, музыка играет. Кругом чисто, интеллигентно. Рядом какая-нибудь дамочка сидит. Тут у ней ручка. Тут у ней носик. А тут, я извиняюсь, блоха ногу сосет. Я так понимаю: расстегнуться неудобно, и антракта ждать мало интереса, и почесаться вроде как неловко.

А промежду прочим, это дело поправимое. Пущай дирекция театров привешивает на ручку каждого кресла индивидуальный пакет с порцией блошиного порошка.

Или пущай капельдинеры отпущают порошок вместе с биноклем. Как-нибудь надо действовать. Не губить же театральное дело.

11. МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

Нынче кругом споры идут — чего рабочим требуется: какие жилища, какие костюмы, сапоги какие.

А последнее время все больше насчет музыки спорят. Дескать, какая музыка требуется рабочему народу.

Одним словом, музыкальные критики чуть между собой не разодрались на этой музыкальной платформе.

Одни говорят: симфонический оркестр рабочим не годится. Рабочий человек любит, чтоб гремело. Тихую струнную музыку рабочий не обожает. А дайте вы ему ради бога за его деньги духовой оркестр заместо струнного.

Другие говорят: духовой оркестр хотя действительно и гремит, но тихого душевного переживания рабочему не дает. А дайте вы рабочему человеку заместо глупого

духового оркестра чего-нибудь живое, например гармонь.

Третьи доказывают, дескать, гармонь вызывает у рабочего человека лишние душевные переживания, благодаря которым его, может, тянет на выпивку. А наилучше всего действует на него народный трехструнный инструмент. Тут уж рабочему есть что послушать.

Обождите, товарищи музыкальные переплетчики! Разрешите прервать вашу острую дискуссию. А то, чего доброго, договоритесь, мол, наилучший музыкальный инструмент для рабочего слуха — заводской гудок.

А заместо тяжелых споров давайте всего понемножку.

12. СТРОГИЙ ГУБПРОДКОМ

Газета «Терек» с грустью сообщает своим читателям суконным слогом о том, что

> Губпродком настаивает, чтобы редакция «Терека» воздержалась от печатания материала без предварительного принципиального согласования этих материалов со взглядами Губпродкома о тех или иных результатах продработы, а также и ее перспективах.

Другими словами, эта фраза звучит так: «Эй вы, черти драповые! Не моги писать, чего нам не ндравится!»

И это, товарищи, на шестой год революции! Обидный взгляд у Губпродкома на советскую прессу.

13. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ

В одной московской чайной висит на стене объявление:

> При полпорции НЕ разуваться.

Правильно! А то придет какой-нибудь шаромыжник, потребует полпорции, разуется, портянки, собачий нос, на стульях развесит. Глядишь, настоящему посетителю, взявшему три порции, негде и портянки повесить.

Правильно. Тонкая это вещь — хозяйственный расчет.

14. БАРИН

Лесники Городнянского лесничества Черниговской губернии хотят в свой союз жаловаться на лесника Белентьева. До последней точки дошло.

Лескор К. О. пишет:

> Наш лесничий Белентьев очень любит, чтобы лесники отдавали ему честь.
>
> В лесу он часто принимает рапорта от лесников. И если лесник подойдет к лесничему, не приложив руки к козырьку,— раздается команда:
>
> — Сто шагов назад! Подходи вновь.

Гляди, братцы, какая несправедливость наблюдается в жизни. Хотел бы, например, человек при крепостном праве жить, а живет при советском правительстве. Хотел бы человек собственных холуев иметь, а он сам холуй. Такие бывают несправедливости!

ПРИМЕЧАНИЯ

Собрание сочинений Михаила Зощенко издается второй раз. Первое Собрание было предпринято издательством «Прибой», а затем повторено Государственным издательством художественной литературы (1929—1932 гг). Шесть небольших томов включали в себя практически все, что было написано Зощенко в первые десять лет профессиональной работы: «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова», «большие рассказы» (как называл их сам писатель), рассказы и фельетоны 1921—1930 годов, а также «Сентиментальные повести», «Мишель Синягин», «Письма к писателю», комедию «Уважаемый товарищ». В настоящее Собрание входят произведения разных жанров, созданные писателем в 1920—1940-е годы.

Первый том включает рассказы и фельетоны, увидевшие свет в двадцатые годы. За некоторым исключением, эти рассказы и фельетоны публиковались в периодике, а потом неоднократно переиздавались в многочисленных сборниках Зощенко: «Разнотык» (1923), «Веселая жизнь» (1924), «Обезьяний язык» (1925), «Уважаемые граждане» (1926), «Социальная грусть» (1927), «Над кем смеетесь?!» (1928), «Нервные люди» (1928) и др.

Во второй том входят «Сентиментальные повести», «Мишель Синягин», рассказы и фельетоны 1930 — 1940-х годов.

«Сентиментальные повести» и «Мишель Синягин» по хронологии и своим идейно-стилистическим особенностям принадлежат двадцатым годам и как бы венчают первый период творчества Зощенко. По логике они должны были быть включены в первый том настоящего Собрания сочинений. Однако объемы самих томов не позволяют в данном случае (как, впрочем, и в некоторых других) строго придерживаться хронологии. Поэтому второй том хронологически несколько расширен.

Третий том включает в себя произведения Зощенко, созданные в 1930—1940-е годы: «Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Перед восходом солнца». В этом же томе будет алфавитный указатель произведений, вошедших в настоящее Собрание.

От издания к изданию Зощенко стилистически исправлял, переделывал многие свои произведения, в результате чего мы имеем сегодня несколько редакций большинства из них.

Для настоящего издания был установлен следующий принцип отбора текстов:

— произведения, не вошедшие в шеститомник 1929—1932 годов и не публиковавшиеся после его выхода, печатаются по тексту их последних прижизненных публикаций;

— произведения, вошедшие в шеститомник и не публиковавшиеся после его выхода, печатаются по тексту шеститомника;

— произведения, вошедшие в шеститомник и переиздававшиеся после его выхода, печатаются по тексту публикаций, более полно отражающих авторскую волю, с учетом того, что нередко в конце 30-х годов правка в сборниках типа «Избранное» осуществлялась без видимой необходимости, и последние прижизненные издания не могут служить авторитетными источниками текста;

— произведения, написанные Зощенко в 1930—1940-е годы, печатаются (за исключением «Возвращенной молодости») по текстам первых книжных публикаций.

Во всех случаях тексты произведений, вошедших в настоящее Собрание сочинений, сверялись с текстами других изданий, а когда это было возможно — с рукописями.

Как выяснилось при сравнении сборников, Зощенко довольно часто допускал неточности при датировке своих произведений. Встречаются случаи, когда один и тот же рассказ или фельетон в разных сборниках датирован двумя, а то и тремя разными годами. Так, например, известный рассказ «Нервные люди» помечен у Зощенко то 1924-м («Рассказы, фельетоны, повести», Л., Гослитиздат, 1958), то 1926-м («Избранные рассказы», Л., Гослитиздат, 1935), то 1927-м («Уважаемые граждане», Л., «Сов. писатель», 1940) годами. Первая же публикация «Нервных людей» была осуществлена в журнале «Бегемот» в № 47 за 1925 год. Поэтому при датировке произведений и их расположении в томах решено взять за основу даты первых публикаций

В первые два тома включены некоторые рассказы и фельетоны, при жизни Зощенко не попавшие ни в один из его сборников. В каждом отдельном случае причины были, видимо, свои, но, исходя из представления о характере Зощенко и особенностях его работы, думается, была и общая, главная причина: Зощенко не собирал журналы со своими публикациями, не делал вырезок и не вносил в записную книжку, что и где напечатал. Немудрено, что многое из написанного и опубликованного писатель просто потерял (Зощенко не был «деловым человеком»). В то же время неправильно было бы предполагать, что все, не попавшее в прижизненные издания, было писателем попросту затеряно в ворохе многочисленной газетно-журнальной продукции. Видимо, были случаи, когда Зощенко по тем или иным соображениям не считал нужным переиздавать некоторые рассказы и фельетоны. Но известно также, что в тридцатые годы Зощенко несколько раз пытался собрать и опубликовать кое-что из рассыпанного по страницам периодических изданий двадцатых годов, однако так и не осуществил своего замысла. Учитывая эти намерения писателя, при составлении настоящего Собрания сочинений было решено включить в него

не вошедшие в прижизненные сборники рассказы и фельетоны, идейно-художественный уровень которых близок к тому лучшему, что было создано Зощенко в этих жанрах.

В настоящее издание включено около шестидесяти рассказов и фельетонов из тех нескольких сотен, что удалось отыскать в газетно-журнальной периодике 1920—1930-х годов. Ввиду отсутствия большинства рукописных источников тексты печатаются по периодическим изданиям без изменения — устранены лишь очевидные опечатки и приведена в соответствие с сегодняшними нормами орфография (исправление проведено во всех произведениях, вошедших в Собрание).

Примечания в данном издании являются по существу первыми примечаниями к произведениям Зощенко и имеют в основном справочно-библиографический характер.

Библиографические справки к произведениям в целях экономии места, как правило, ограничиваются только указанием на первую публикацию и на источник текста, положенного в основу публикации в данном Собрании.

Настоящий том открывается «Рассказами Назара Ильича господина Синебрюхова» — первым произведением Зощенко, увидевшим свет. К этой публикации Зощенко шел долго. В одной из своих автобиографий он сообщает: «Я начал писать рассказы, когда мне было девять лет. До 25 лет я писал изредка. Иной раз не писал годами. Но стремление к литературной работе было почти всегда. Стало быть, я имел за плечами пятнадцатилетний опыт, когда после революции начал работать как профессионал» [1].

До 1920 года, который Зощенко считал годом начала профессиональной работы, им было написано более двух десятков рассказов, новелл, сказок, он почти наполовину подготовил к печати книгу критических статей о литературе первых послереволюционных лет и даже дал ей название — «На переломе», закончил повесть «Серый туман». Но ничего из этого он не только не печатал и никогда не делал попытки печатать, а даже не упоминал в своей писательской биографии.

«Рассказы Синебрюхова» были написаны летом и осенью 1921 года и вышли отдельной книгой в кооперативном издательстве «Эрато» [2]. На титульном листе значился 1922 год, однако сам Зощенко называет год выхода книги — 1921. (Подробности, связанные с изданием первой книги Зощенко, описаны в воспоминаниях Е. Г. Полонской [3].)

Через несколько месяцев после выхода в «Эрато» «Рассказы Синебрюхова» появляются еще в двух издательствах: «Эпоха» и «Картон-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 601, оп. 2, ед. хр 3.

[2] См. ст. Зощенко В. В. Так начинал М. Зощенко//В кн.: Михаил Зощенко в воспоминаниях современников. М., 1981. С. 67—90.

[3] В кн.: Михаил Зощенко в воспоминаниях современников. М., 1981. С. 133—134.

ный домик». Одновременно в газетах, журналах, альманахах, сборниках публикуются «большие рассказы», над которыми Зощенко работал в 1920—1921-х годах: «Лялька Пятьдесят», «Черная магия», «Веселая жизнь», «Любовь», «Гришка Жиган» и чуть позже — «Война», «Рыбья самка», «Старуха Врангель».

С этих пор Зощенко становится профессиональным писателем. Известный лишь узкому кругу литераторов устным чтением своих рассказов, теперь он выходит к широкому читателю. Этим выходом — таким легким с виду — Зощенко был обязан не только таланту и предварительной упорной работе. Большую роль сыграл здесь творческий климат, что царил у «Серапионовых братьев». И конечно же — Горький.

В записной книжке 1921 года Зощенко сделал такую, помеченную маем, запись: «Ал Макс. читал «Старуху Врангель». Понравилась. Я был у него. Он все время выдержки читал и говорил, что написано блестяще. Но узко наш интерес. Даже только петербургский. Это плохо. Как, сказал, мы переведем на индусский язык эту вещь. Не поймут».

Примерно в то же время Горький читал «Любовь» и «Войну». Вместе со «Старухой Врангель» эти рассказы он планировал поместить в задуманном им альманахе молодых беллетристов «1921 год». (Издание не состоялось. Однако Горький издал Зощенко: в 1923 году в популярном бельгийском журнале «Le disque vert» он напечатал перевод рассказа «Виктория Казимировна» и в сопроводительной статье назвал Зощенко автором оригинальной серии «Рассказов г. Синебрюхова», «значительным» писателем, который «нашел свой стиль, свои слова» [1].)

В августе 1921 года в записной книжке Зощенко появляется новая запись: «Очень понравилась Ал. Макс. „Рыбья самка“»[2].

Здесь необходимо заметить, что через несколько лет, когда раскрылся сатирический талант Зощенко, он бракует «большие рассказы», расценивает их как ошибку своей литературной молодости (за исключением «Рыбьей самки», ни один из «больших рассказов» после издания шеститомника он не перепечатывал). Зощенко пишет: «Первые мои шаги после революции были ошибочны. Я писал большие рассказы в старой форме и старым, полустертым языком... Только через год, пожалуй, я понял ошибку и стал перестраиваться по всему фронту» [3].

Зощенко здесь к себе, конечно, несправедлив. Работа над «большими рассказами», писавшимися «под влиянием старых традиций, может быть, Чехова, возможно, Гоголя» [4], помогла ему овладеть приемами традиционной стилистики русского литературного языка, без чего вряд ли ему удалось бы столь искусно и в столь короткие сроки перестроить привыч-

---

[1] Федин К. Горький среди нас. М., 1967. С. 161.
[2] Эти и процитированные выше записи — архив М. М. Зощенко.
[3] ЦГАЛИ, ф. 601, оп. 2, ед. хр. 3.
[4] Зощенко М. Как я работаю//Лит. учеба. 1930. № 3. С. 111.

ную литературную речь таким образом, что она стала понятна людям, только что прикоснувшимся к культуре [1].

Характеризуя Зощенко как писателя, раньше других сумевшего заговорить на доступном массовому читателю языке, К. Чуковский писал: «Зощенко первый из писателей своего поколения ввел в литературу в таких широких масштабах эту новую, еще не вполне сформированную, но победительно разлившуюся по стране внелитературную речь и стал свободно пользоваться ею, как своей собственной речью. Здесь он — первооткрыватель, новатор.

Так досконально изучить эту речь и так верно воспроизвести на бумаге ее лексику, ее интонацию, ее синтаксический строй мог только тот, кто провел свою жизнь в самой гуще современного быта и узнал его на своей собственной шкуре. Зощенко именно таким человеком и был, человеком большого житейского опыта, прошедшим, так сказать, сквозь огонь, и воду, и медные трубы»[2].

Вот что писал о своем языке сам Зощенко: «Обычно думают, что я искажаю «прекрасный русский язык», что ради смеха беру слова не в том значении, какое им отпущено жизнью, что я нарочно пишу ломаным языком для того, чтобы посмешить почтеннейшую публику. Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица. Я сделал это (в маленьких рассказах) не ради курьезов и не для того, чтобы точнее копировать нашу жизнь. Я сделал это, чтобы заполнить хотя бы временно тот колоссальный разрыв, который произошел между литературой и улицей. Я говорю — временно, так как я и в самом деле пишу так временно и пародийно» [3].

Зощенко не хотел «писать для читателей, которых нет», не рвался в «большую литературу». Его ориентация на литературу «неуважаемой формы», на «массовое потребление» того, что выходило из-под его пера, долгое время не встречала понимания и поддержки у большинства критиков, и он не попадал «даже в списки заурядных писателей». «Но я никогда не имел от этого огорчений и никогда не работал для удовлетворения своей гордости и тщеславия» [4],— писал Зощенко, вспоминая позже этот период своей жизни.

Творческая активность Зощенко в 20-е годы была поистине беспримерной. В этом смысле его можно сравнить разве только что с Маяковским, тоже не ради славы работавшим в РОСТА и сочинявшим рекламы для Моссельпрома. За несколько первых лет работы в литературе Зощенко написал сотни рассказов и фельетонов. Его имя присутствовало

См.: Белая Г. Закономерности стилевого развития советской прозы. М., 1977; Чудакова М. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979.

[2] В кн.: Михаил Зощенко в воспоминаниях современников. М., 1981. С. 33.

[3] Зощенко М. Письма к писателю. Л., 1929. С. 58.

[4] Зощенко М. Возвращенная молодость. М.; Л., 1935. С. 233.

чуть ли не в каждом номере «Мухомора» и «Красного ворона», «Дрезины» и «Бузотера», «Смехача» и «Бегемота», «Пушки» и «Ревизора», а нередко в том или ином номере печаталось два-три (бывало и больше) его материала. Достаточно привести даже неполный перечень псевдонимов Зощенко, чтобы представить масштаб его участия в сатирической журналистике тех лет: Назар Синебрюхов, Семен Курочкин, Мих. Кудрейкин, Мих. Кудрявцев, Мих. Гаврилов, Гаврилыч, Гаврила, Михал Михалыч, приват-доцент М. М. Прищемихин... Кроме того, в конце рассказа или фельетона им ставились порой лишь инициалы — М. З., а то и еще короче — З или М. А сколько из напечатанного Зощенко осталось вообще без подписи! Просматривая сатирические журналы 20-х годов, заглядывая в их «Почтовые ящики» и под рубрики типа «Тараканы в тесте», «40 человек, 8 лошадей», «Слезай, приехали», «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!», то и дело натыкаешься на его следы: несколько строк, а спутать нельзя — это он, Зощенко. Реклама подписки на «Бегемот», на «Пушку» — его почерк. Открытое письмо рабочих в журнал «Красный ворон» — его рука. Редакционный ответ селькору — его словечки.

К этому необходимо добавить, что, помимо подписных материалов для «веселых» журналов и громадного количества самой разнообразной для их страниц «мелочи», которую Зощенко зачастую «производил» под редакционный шум и гам — на краешке стола, «срочно в номер»,— он не брезговал писать и для заводских многотиражек и даже выпускал на одном из предприятий Ленинграда стенную газету. Он с равной охотой и вдохновением брался за любую работу — пусть самую черновую, самую незаметную, не прибавляющую ни славы, ни денег, не стоящую его возможностей и таланта, работу, которая была по плечу и заурядному журналисту.

Все вышесказанное можно объяснить редчайшим трудолюбием Зощенко и его любовью к журналистскому делу. И это будет верно. Но главная причина его творческой активности в 20-е годы кроется глубже. По своей человеческой природе Зощенко был моралист, наставник. Он верил в силу своего слова, в то, что, читая его, люди сумеют в конце концов побороть в себе те нелепые привычки, заблуждения и предрассудки, что перекочевали из прошлого в новую жизнь. Отсюда-то и его стремление максимально — и в любой форме! — присутствовать на страницах дешевых, доступных для массового читателя, изданий.

Именно это — искренняя озабоченность Зощенко судьбой простого человека из масс — и вызвало ответный, небывалый в истории нашей литературы интерес читателя к писателю. Во второй половине 20-х годов популярность Зощенко достигает зенита, превращается в славу. Следуя ненасытному читательскому спросу, в библиотеках «Огонька», «Смехача», «Бегемота», в массовых сериях издательств «Прибой» и ЗИФ выпускаются одна за другой и тут же переиздаются книжки его

рассказов, фельетонов и повестей. С 1928 года регулярно начинают печататься его «Избранные рассказы». В том же году в издательстве «Academia» в серии «Мастера советской литературы» выходит сборник статей о его творчестве. А через год издательство «Прибой» выпускает первый том его Собрания сочинений. С того момента, когда Михаил Зощенко опубликовал «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова», прошло всего восемь лет.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

СС — З о щ е н к о М. Собрание сочинений: В 6-ти т Л ; М : Прибой — ГИХЛ, 1929—1932.

Юмористические рассказы — З о щ е н к о М. Юмористические рассказы. Пг.; М.: Радуга, 1923.

Уважаемые граждане — З о щ е н к о М. Уважаемые граждане. М.; Л.: Земля и фабрика, 1926.

Над кем смеетесь?! — З о щ е н к о М. Над кем смеетесь?! М., Л : Земля и фабрика, 1928.

Рассказы — З о щ е н к о М. Рассказы. Л · Изд-во писателей в Ленинграде, 1934.

Личная жизнь — З о щ е н к о М. Личная жизнь. Л.: Гослитиздат, 1934.

Избранные рассказы — З о щ е н к о М. Избранные рассказы. Л.: Гослитиздат, 1935.

РАССКАЗЫ

Р а с с к а з ы Н а з а р а И л ь и ч а г о с п о д и н а С и н е б р ю х о в а.— *З о щ е н к о М.* Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова. Пг., 1922. Печ. по кн.: Избранные повести.— Л.: Сов. писатель, 1937.

Л я л ь к а П я т ь д е с я т.— Крас. новь, 1922, № 1. Печ. по СС, т. 5.

Ч е р н а я м а г и я.— В кн.: Наши дни: Худож. альм. Кн. I. М., 1922. Печ. по СС, т. 5.

В е с е л а я ж и з н ь.— Петрогр. правда, 1922, 25 июня. Печ. по СС, т. 3.

Л ю б о в ь.— Лит. неделя, 1922, № 9. Печ. по СС, т. 3.

Г р и ш к а Ж и г а н.— В кн.: Петербургский сборник: Поэты и беллетристы. Пг., 1922. Печ. по СС, т. 1.

Р ы б ь я с а м к а.— Лит. еженедельник, 1923, № 7. С подзаголовком: Рассказ отца дьякона Василия. Печ. по СС, т. 3.

С т а р у х а В р а н г е л ь.— В кн.: *З о щ е н к о М.* Разнотык. Пг., 1923. Печ. по СС, т. 3.

Р а с с к а з п р о п о п а.— В кн.: Юмористические рассказы. Печ. по СС, т. 3.

Метафизика.— Мухомор, 1922, № 11. Печ. по кн.: Юмористические рассказы.

Мадонна.— Крас. журн. для всех, 1923, № 1/2. Печ. по кн.: Уважаемые граждане.

С. 118. *«Палас»* — название кинотеатра в Петрограде.

С. 120. *Пепо* — Петроградское единое потребительское общество.

...*у Палкина* — имеется в виду ресторан в Петрограде, посещаемый знаменитостями.

Учитель.— В кн.: Юмористические рассказы. Под названием· Бедный Трупиков. Печ. по кн.: Личная жизнь. В авторской сноске: «Это мой первый юмористический рассказ. Он был написан в 1922 году».

Свиное дело.— Дрезина, 1923, № 1. Печ. по сб.: Кризис. 2-е изд. Л., 1926. (Веселая б-ка «Бегемота»; № 2).

С. 124. *Трехсотый* — сорт табака.

Дисциплина.— Дрезина, 1923, № 3. Публиковался также в цикле «Веселые рассказы» под названием «Рассказ о том, как Семен Семенович в Лугу ездил». Печ. по СС, т. 3.

Плохая ветка.—Дрезина, 1923, № 3. Подпись: Назар Синебрюхов. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Неделя, 1972, 12—18 июня.

Попугай.— Крас. журн. для всех, 1923, № 3/4. Под названием: Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин попугая на хлеб менял. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Сенатор.— Огонек, 1923, № 4. Печ по СС, т 1.

Вор.— Огонек, 1923, № 5. Печ. по СС, т. 1.

Собачий случай.— Крас. ворон, 1923, № 6. Под названием: Свободная профессия; С шуточным посвящением: Посвящается студентам Зоотехнического института. Впрочем, некоторым, а не всем. Печ. по СС, т. 3.

Горькая доля.— Дрезина, 1923, № 6. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. газ., 1970, 12 авг.

Веселая масленица.— Крас. ворон, 1923, № 7. Печ. по кн.: Юмористические рассказы

Сила таланта.— Крас. ворон, 1923, № 7. Подпись М. З. Печ. по кн.: Юмористические рассказы.

Неизвестный друг.— Дрезина, 1923, № 9. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Мемуары старого капельдинера.— Мухомор, 1923, № 14. Печ по тексту журнала.

С. 150. *Юрьев* Юрий Михайлович (1872—1948) — народный артист СССР, в 1923 г.— художественный руководитель Александринского театра (ныне Ленинградский академический театр драмы им. Пушкина).

Свинство.— Дрезина, 1923, № 8. Под названием· Рассказ о том, как Иван Петрович хотел по-новому назвать своего младенца. Печ. по кн.: *Зощенко М.* Аристократка. Пг.; М., 1924.

Е в р о п а.— Крас. ворон, 1923, № 30. Под названием: Рассказ о том, как один русский гражданин поехал в Европу омолаживаться. Печ. по кн.: *З о щ е н к о М.* Аристократка. Пг.; М., 1924.

Н о в ы й ч е л о в е к.— Крас. ворон, 1923, № 31. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. Россия, 1983, 14 янв.

С 155. *Прописать пфеферу* (от нем. pfefer — перец) — то есть задать перцу, наказать.

П и с а т е л ь.— Крас. ворон, 1923, № 32. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. газ., 1975, 6 авг.

А г и т а т о р.— Крас. ворон, 1923, № 33. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С т а р а я к р ы с а.— Крас. ворон, 1923, № 34. Печ. по СС, т. 1.

Ч е с т н ы й г р а ж д а н и н.— Крас. ворон, 1923, № 36. С подзаголовком: Заявление начальнику губмилиции. Подпись под «Заявлением...»: Семен Петрович Егудилов. При дальнейших публикациях подпись не ставилась, подзаголовок изменен на «Письмо в милицию». Печ. по СС, т. 1.

П р о т о к о л.— Крас. ворон, 1923, № 37. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. Россия, 1981, 31 июля.

Б е д а.— Крас. ворон, 1923, № 40. Публиковался также под названием «Спрыснул». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Ж е р т в а р е в о л ю ц и и.— Крас. ворон, 1923, № 41. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

А р и с т о к р а т к а.— Крас. ворон, 1923, № 42. Публиковался также под названием «Рассказ о том, как Семен Семенович в аристократку влюбился». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Ч е л о в е ч е с к о е д о с т о и н с т в о.— Крас. ворон, 1923, № 45. Печ. по кн.: *З о щ е н к о М.* Нервные люди. Харьков, 1928.

Ж е н и х.— Крас. ворон, 1923, № 47. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

П о с л е д н е е р о ж д е с т в о.— Крас. ворон, 1923, № 48. Печ. по СС, т. 1.

С о б а ч и й н ю х.— Смехач, 1924, № 1. Публиковался также под названием «Рассказ о собаке и собачьем нюхе». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Б а р о н Н е к с.— Крас. журн. для всех, 1924, № 1. Под названием: Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин работал у барона Некса. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Ч е р т.— Зори, 1924, № 1(44). Печ. по кн.: Избранные рассказы.

М о н а с т ы р ь.— Крас. журн. для всех, 1924, № 1. Под названием: Рассказ о том, как Семен Семенович перестал в бога верить. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Р а с с к а з п е в ц а.— Бузотер, 1924, № 1. Печ. по кн.: Личная жизнь.

Л ю б о в ь.— Крас. ворон, 1924, № 1. Под таким же названием

публиковался рассказ другого содержания. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Хозрасчет.— Дрезина, 1924, № 16(1) Под названием: Жертва времени. Печ. по СС, т. 1.

Три документа.— Крас. ворон, 1924, № 2. Под названием: Костя Печенкин. Печ. по СС, т. 1.

Паутина.— Бузотер, 1924, № 2. Печ. по СС, т. 3.

Диктофон.— Смехач, 1924, № 3. Печ. по СС, т. 1.

Кругом 16.— Бузотер, 1924, № 3. Подпись: М. З. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. Россия, 1983, 12 авг.

Китайская церемония.— Крас. ворон, 1924, № 3. Подпись· Назар Синебрюхов. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Дон, 1984, № 6.

С. 208. *Сенновец* — торговец на петроградском Сенном рынке.

Тетка Марья рассказала.— Бегемот, 1924, № 3. Публиковался также под названием «Гомеопатическое средство». Печ. по СС, т. 3.

Исторический рассказ.— Крас. ворон, 1924, № 4. Под названием: Встреча. Подпись М. З. Публиковался также под названием «Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин встретил Ленина». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Счастье.— Крас. ворон, 1924, № 5. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Твердая валюта.— Смехач, 1924, № 5. Печ. по СС, т. 3.

Старый ветеран.— Смехач, 1924, № 6. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Моск. литератор, 1983, 22 апр.

Фома неверный.— Смехач, 1924, № 7. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Медик.— Крас. ворон, 1924, № 7. Публиковался также под названиями «Рассказ о медике и медицине» и «Лекарь». Печ. по СС, т. 2.

Бедный человек — Смехач, 1924, № 8. Рассказ не переиздавался.

Забытый лозунг.— Крас. ворон, 1924, № 9. С подзаголовком· Письмо в редакцию. Печ. по СС, т. 3.

Колдун.— Крас. ворон, 1924, № 10. Публиковался также под названием «Рассказ о колдуне». Печ. по тексту «Крас. ворона».

Верная примета.— Желонка, Баку, 1924, № 10. Публиковался также в «Крас. вороне» (1924, № 20). Печ. по кн.: *Зощенко М.* Тетка Марья рассказала. М., 1926.

Плохой обычай.— Крас. ворон, 1924, № 11. Публиковался также под названием «Случай в больнице». Печ. по кн.: *Зощенко М.* Рассказы. М., 1927 (Б-ка «Огонек»; № 29).

Человек без предрассудков.— Крас. ворон, 1924, № 13 Публиковался также под названием «Человек без предрассудка». Печ. по кн.: Уважаемые граждане.

П а ц и е н т к а.— Крас. ворон, 1924, № 14 Публиковался также под названием «Пелагея». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

И с п о в е д ь.— Крас. ворон, 1924, № 15. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Н е н а д о и м е т ь р о д с т в е н н и к о в. Смехач, 1924, № 16. Под названием· Родственник. Публиковался также под названием «Родной родственник». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Б о г а т а я ж и з н ь.— Крас. ворон, 1924, № 18. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Е в р о п е е ц.— Смехач, 1924, № 19. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан· Лит. Россия, 1983, 12 авг.

Д р а м а.— Крас. ворон, 1924, № 19. Публиковался также под названием «Агитационный рассказ: О вреде крещения». Печ. по кн.: *З о щ е н к о М.* Тяжелые времена. М., 1927. (Б-ка «Огонек»; № 94).

С л у ч а й в п р о в и н ц и и.— Ленинград, 1924, № 21. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С. 248. *Цензор* Дмитрий Михайлович (1877—1947) — популярный в 1920-е гг. поэт; сотрудничал в сатирических журналах «Бегемот», «Смехач», «Пушка» и др.

О т х о ж и й п р о м ы с е л.— Ленинград, 1924, № 22. Под названием: Альфонс. Печ. по кн.: *З о щ е н к о М.* Рассказы. Л., 1926. (Юморист. ил. б-ка журн. «Смехач»; № 1).

П о л е т е л и.— Смехач, 1924, № 22. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Вопр. лит., 1977, № 3.

С. 255. *Добролет* — Добровольное общество содействия авиации.

П л о х и е д е н ь г и.— Крас. ворон, 1924, № 22. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Труд, 1983, 15 мая.

Ж и в о й т р у п.— Крас. ворон, 1924, № 23 С подзаголовком: Истинное происшествие. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. Россия, 1983, 14 янв.

О с т р я к-с а м о у ч к а.— Смехач, 1924, № 26. Печ СС, т. 1.

С е м е й н о е с ч а с т ь е — Крас. ворон, 1924, № 32. Подпись: С. Курочкин. Печ. по кн.· Личная жизнь.

О б е з ь я н и й я з ы к.— В кн.: *З о щ е н к о М.* Обезьяний язык. М., 1925. (Б-ка «Огонек»; № 3). Печ. по СС, т. 2.

Т я ж е л ы е в р е м е н а.— Бегемот, 1925, № 4. Публиковался без подписи. Печ. по кн.: *З о щ е н к о М.* Тяжелые времена. М., 1927. (Б-ка «Огонек»; № 94).

С в е т л ы й г е н и й.— Бузотер, 1925, № 4. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. газ., 1974, 20 марта.

А к т е р.— Переделан из фельетона «Новое в искусстве» (Бузотер, 1925, № 5). Под названием «Искусство Мельпомены»: Ленинград, 1925, № 6. Публиковался также под названием «Высшее искусство». Печ по кн.: Избранные рассказы.

Теперь-то ясно.— Бузотер, 1925, № 7. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. учеба, 1978, № 5.

Столичная штучка.— Смехач, 1925, № 8. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С. 274. *Кресты* — бытовое название (по форме здания) тюрьмы, построенной в Петербурге в 1892 г.

Точка зрения.— Бегемот, 1925, № 9. Под таким же названием публиковался рассказ другого содержания. Печ. по СС, т. 1.

Ошибочка.— Смехач, 1925, № 9. Под названием: Ошибка. Печ. по СС, т. 2.

Баня.— Бегемот, 1925, № 10. Печ. по кн.: Уважаемые граждане.

На живца.— Бегемот, 1925, № 11. Под названием: Честная гражданка. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Пасхальный случай.— Бузотер, 1925, № 12. Под названием: Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин куличи святил. Публиковался также под названием «Пустяковый обряд». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Крестьянский самородок.— Бегемот, 1925, № 12. Под названием: Самородок. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Мокрое дело.— Бузотер, 1925, № 14. Печ. по СС, т. 3.

Мещанство.— Бегемот, 1925, № 14. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Вопр. лит., 1977, № 3.

Суконное рыло.— Смехач, 1925, № 14. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. Россия, 1983, 12 авг.

Контролер.— Бегемот, 1925, № 16. Печ. по СС, т. 3.

Туман.— Бегемот, 1925, № 17. Подпись: М. З. Печ. по кн.: *Зощенко М.* Нервные люди. Харьков, 1928.

Человек с нагрузкой.— Смехач, 1925, № 18. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Неделя, 1983, 7—13 февр.

Доходная статья.— Бегемот, 1925, № 18. Печ. по кн.: *Зощенко М.* Собачий нюх. М., 1927. (Б-ка «Огонек»; № 61).

Счастливое детство.— Бегемот, 1925, № 19. Печ. по СС, т. 2.

Нервы.— Бегемот, 1925, № 20. Рассказ не переиздавался.

Пассажир.— Бегемот, 1925, № 21. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Рабочий костюм.— Бегемот, 1925, № 24. Под названием: Костюм. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Уличное происшествие.— Бегемот, 1925, № 26. Печ. по СС, т. 3.

Стакан.— Смехач, 1925, № 27. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Свободный художник.— Бегемот, 1925, № 29. Печ. по кн.: Личная жизнь.

Спец.— Бегемот, 1925, № 30. Подпись: М. З. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. газ., 1970, 12 авг.

Чудный отдых.— Бегемот, 1925, № 31. Подпись: Семен Курочкин. Печ. по СС, т. 2.

Тормоз Вестингауза.— Бегемот, 1925, № 32. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С. 312. *Вестингауз* Джордж (1846—1914) — американец, изобретатель пневматического тормоза для железнодорожных вагонов.

Пауки и мухи.— Бегемот, 1925, № 33. Печ. по кн.: *Зощенко М.* Нервные люди. Харьков, 1928.

Муж.— Смехач, 1925, № 33. Публиковался также под названием «На семейном фронте». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Папаша.— Бегемот, 1925, № 34. Печ. по кн.: Рассказы.

Утонувший домик.— Бегемот, 1925, № 35. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Кризис.— Бегемот, 1925, № 44. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Нервные люди.— Бегемот, 1925, № 47. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Сильное средство.— Бегемот, 1925, № 48. Подпись: М З. Печ. по СС, т. 2.

Родные люди.— Бегемот, 1926, № 2. Печ. по СС, т. 1.

Бабье счастье.— Бегемот, 1926, № 5. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Неделя, 1983, 7—13 февр.

Телефон.— Бегемот, 1926, № 3. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Американская реклама.— Бегемот, 1926, № 12. Под названием: Вонючий случай. Подпись: М. З. Публиковался также под названием «Квартирка». Печ. по СС, т. 2.

Шутка.— Смехач, 1926, № 13. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. Россия, 1983, 1 апр.

Часы.— Бегемот, 1926, № 15. Публиковался также под названием «Случай в угрозыске». Печ. по кн.: Рассказы.

Четыре дня.— Бегемот, 1926, № 16. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Дамское горе.— Бегемот, 1926, № 17. Печ. по СС, т. 3.

На посту.— Бегемот, 1926, № 19. Печ. по СС, т. 2.

Бочка.— Бегемот, 1926, № 20. Под названием «Хорошо, да не очень» публиковался первоначальный фельетонный вариант в «Бузотере» (1925, № 15. Подпись: Гаврила). Выходил также под названием «Домашнее средство» (впоследствии так стал называться фельетон другого содержания). Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Протекция.— Бегемот, 1926, № 21. Подпись: М. З. Публиковался также под названием «Бывает». Печ. по СС, т. 2.

Гипноз.— Смехач, 1926, № 21. Печ. по СС, т. 2.

Режим экономии.— Бегемот, 1926, № 22. Под названием: Худо ли. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Отчаянные люди.— Бегемот, 1926, № 23. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. учеба, 1978, № 5.

К и н о д р а м а.— Бегемот, 1926, № 24 Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Б е ш е н с т в о.— Бегемот, 1926, № 25. Печ. по кн.: Над кем смеетесь?!

П р и с к о р б н ы й с л у ч а й.— Бегемот, 1926, № 26. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

К у з н и ц а з д о р о в ь я.— Бегемот, 1926, № 28. Печ. по кн.: *З о щ е н к о М.* Десять рассказов. Л., 1926. (Веселая б-ка «Бегемота»; № 24).

Р а ч и с.— Бегемот, 1926, № 29. Под названием: Несчастный случай. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Г и б е л ь ч е л о в е к а.— Бегемот, 1926, № 42. Печ. по СС, т. 2.

Т е а т р д л я с е б я.— Смехач, 1926, № 42. Печ по кн Над кем смеетесь?!

М о н т е р.— Бегемот, 1926, № 43. Под названием: Сложный механизм. Публиковался также под названием «Театральный механизм». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

У з е л.— Смехач, 1926, № 44. Печ. по кн.: Над кем смеетесь?!

П р е л е с т и к у л ь т у р ы.— Бегемот, 1926, № 46. Публиковался также под названием «В театре». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

М е щ а н с к и й у к л о н.— Смехач, 1926, № 46. Публиковался также под названием «Мещане» Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Л и м о н а д.— Бегемот, 1926, № 47 Печ по кн.: Избранные рассказы.

Г о с т и.— Бегемот, 1927, № 1. Печ. по кн : Избранные рассказы

К а ч е с т в о п р о д у к ц и и.— Бегемот, 1927, № 2. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Х и р о м а н т и я.— Смехач, 1927, № 3. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. Россия, 1983, 14 янв.

М е л к о т а.— Бегемот, 1927, № 3. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

М е л к и й с л у ч а й.— Бегемот, 1927, № 5. Под названием: Мелочи жизни. Печ. по СС, т. 2.

П у ш к и н.— Бегемот, 1927, № 7. Под названием: Гроб: Из повестей Белкина. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С и л а к р а с н о р е ч и я.— Бегемот, 1927, № 9. Печ. по СС, т. 1.

Ц а р с к и е с а п о г и.— Бегемот, 1927, № 10. Печ. по кн.: Избранные рассказы

Л и т е р а т о р.— Бегемот, 1927, № 13. Печ. по СС, т. 1.

М н о г о л и ч е л о в е к у н у ж н о.— Бегемот, 1927, № 25. Печ. по кн.: Над кем смеетесь?!

М е л к о е п р о и с ш е с т в и е.— Бегемот, 1927, № 26. Печ. по СС, т. 2.

Р у к а б л и ж н е г о.— Бегемот, 1927, № 28. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Р у б а ш к а ф а н т а з и.— Пушка, 1927, № 29. Печ. по СС, т. 2.

Любитель.— Бегемот, 1927, № 30. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Дырка.— Бегемот, 1927, № 31. Печ. по кн.: Над кем смеетесь?!

Бутылка.— Пушка, 1927, № 31. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. газ., 1970, 12 авг.

Полезная площадь.— Пушка, 1927, № 32. Рассказ не переиздавался.

Душевная простота.— Бегемот, 1927, № 32. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Несчастный случай.— Пушка, 1927, № 34. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. Россия, 1983, 14 янв.

Зеленая продукция.— Бегемот, 1927, № 35. Печ. по СС, т. 2.

Событие.— Пушка, 1927, № 35. Подпись: Михал Михалыч. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. Россия, 1981, 31 июля.

Драка.— Бегемот, 1927, № 36. Печ. по СС, т. 2.

Операция.— Бегемот, 1927, № 37. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Колпак.— Пушка, 1927, № 37. Печ. по СС, т. 2.

Гримаса нэпа.— Бегемот, 1927, № 38. Публиковался также под названиями «Гримасы нэпа», «Безобразие», «Человека обидели». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Зубное дело.— Бегемот, 1927, № 39. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Веселенькая история.— Бегемот, 1927, № 40. Публиковался также под названием «Забавное происшествие». Печ. по кн : Избранные рассказы.

Что-нибудь особенное.— Пушка, 1927, № 40. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. Россия, 1983, 14 янв.

Кошка и люди.— Пушка, 1927, № 41. Под названием: Печка. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Шапка.— Бегемот, 1927, № 46. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Научное явление.— Бегемот, 1927, № 47. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Закорючка.— Бегемот, 1927, № 48. Под названием: Легкая жизнь. Печ. по СС, т. 2.

Ростов.— Бегемот, 1927, № 50. Печ. по кн.: Рассказы.

Очень просто.— Бегемот, 1927, № 51. Печ. по кн.: Личная жизнь.

Больные.— Бегемот, 1928, № 1. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Хамство.— Бегемот, 1928, № 4. Публиковался также под названием «Пора отвыкать». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С. 417. *Хотел на Максима Горького посмотреть.*— В 1920-е годы А. М. Горький жил за границей.

Выгодная комбинация.— Бегемот, 1928, № 6. Печ. по СС, т. 2.

Иностранцы.— Бегемот, 1928, № 21. Под названием: Все в порядке. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Не все потеряно.— Прожектор, 1928, № 33. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С. 426. *«И вся-то наша жизнь есть борьба»* — строка из популярной песни «Марш Буденного» (сл. Д'Актиля, муз. Д. Покрасса).

Семейный купорос.— Пушка, 1928, № 47. Печ. по СС, т. 2.

Заграничная история.— Пушка, 1928, № 48. Подпись: Гаврилыч. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Дон, 1984, № 6.

Медицинский случай.— Чудак, 1929, № 3. Печ. по к Избранные рассказы.

Летняя передышка.— Ревизор, 1929, № 7. Печ. по СС, т. 5.

Материнство и младенчество.— Чудак, 1929, № 11. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Необыкновенная история.— Ревизор, 1929, № 20. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Честное дело.— Ревизор, 1929, № 25. Подпись: Мих. Гаврилов. Печ. по СС, т. 5.

Мерси.— Ревизор, 1929, № 27. Печ. по СС, т. 5.

Землетрясение.— Ревизор, 1929, № 28. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Чистая выгода.— Ревизор, 1929, № 29. Печ. по СС, т. 5

ФЕЛЬЕТОНЫ

Письма в редакцию.— Мухомор, 1922, № 12. Печ. по кн.: Юмористические рассказы.

Электрификация.— Дрезина, 1923, № 2. Подпись: Назар Синебрюхов. Фельетон не переиздавался.

Об овощах и прочем — Дрезина, 1923, № 2. Подпись: Назар Синебрюхов. Фельетон не переиздавался.

Веселые вечера.— Дрезина, 1923, № 3. Подпись: Назар Синебрюхов. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Вопр. лит., 1984, № 7.

Легкая наука.— Смехач, 1924, № 14. Фельетон не переиздавался.

Герои.— Смехач, 1924, № 23. Под названием: Серые герои. Печ. по кн.: *Зощенко М.* Тетка Марья рассказала. М., 1926.

Щедрые люди.— Крас. ворон, 1924, № 35/36. Подпись:

М. З. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Смена, 1983, № 20.

Дорвались.— Лапоть, 1925, № 2. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Смена, 1983, № 20.

Два кочегара.— Смехач, 1925, № 4. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С.— Бузотер, 1925, № 4. Подпись: Гаврила. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан Дон, 1984, № 6.

С. 466. *УИК* — Украинский исполнительный комитет.

Вукоопспилка — Всеукраинский кооперативный союз.

Химики.— Смехач, 1925, № 5. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Крокодил, 1984, № 23.

Птичье молоко.— Бузотер, 1925, № 5. Подпись: Гаврила. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Крокодил, 1984, № 23.

Вятка — Смехач, 1925, № 6. Подпись: М. З. Фельетон не переиздавался

Попалась, которая кусалась.— Бузотер, 1925, № 7 Подпись Гаврила. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Дефективные люди.— Бузотер, 1925, № 8. Фельетон переиздавался.

Тараканы.— Бузотер, 1925, № 9/10. Подпись: Гаврила. Печ. по *Зощенко М.* Избранное. Л., 1933.

О вреде грамотности.— Бузотер, 1925, № 11. Подпись: Гаврила. Печ. по СС, т. 2.

Белиберда.— Бузотер, 1925, № 12. Подпись: Гаврила. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Журналист, 1983, № 11.

Насчет этики.— Бузотер, 1925, № 15. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Кузнеца обидели.— Бузотер, 1925, № 15. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С. 478. *РКК* — Рабочая Конфликтная Комиссия.

Трамблям в Саратове.— Бузотер, 1925, № 19. Подпись: Гаврила. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Журналист, 1983, № 11.

Стихийное бедствие.— Бузотер, 1925, № 21. Подпись: Гаврила. Фельетон не переиздавался.

Еще касаемо того же! — Бузотер, 1925, № 22. Подпись: Гаврила. Фельетон не переиздавался.

Опасная пьеска.— Бузотер, 1925, № 22. Подпись: Гаврила. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Комики.— Бегемот, 1925, № 22. Подпись: С. Курочкин. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Смена, 1983, № 20.

Кто прост — тому коровий хвост.— Бузотер, 1925, № 23. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Огонек, 1984, № 33.

С е л ь с к а я и д и л л и я.— Бузотер, 1925, № 24. Подпись: Гаврила. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Дон, 1984, № 6.

«В е л и к а я г о д о в щ и н а».— Бузотер, 1925, № 25. Подпись: Гаврила. Фельетон не переиздавался.

Ч т о з а ш у м, а д р а к и н е т у? — Бузотер, 1925, № 26. Подпись: Гаврила. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Неделя, 1983, 7—13 февр.

Д а м с к и е ш т у ч к и.— Бузотер, 1926, № 1. Подпись: Михал Михалыч. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Г е р о й.— Бегемот, 1926, № 4. Подпись: М. З. Под таким же названием публиковался рассказ другого содержания. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Смена, 1983, № 20.

П р а к т и к а н т.— Бузотер, 1926, № 4. Подпись: Михал Михалыч. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Ю р и с т и з п р о в и н ц и и.— Бузотер, 1926, № 6. Подпись: Гаврила. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

П а р а з и т.— Бегемот, 1926, № 14. Подпись: З. Публиковался также в кн.: *З о щ е н к о М.* Нервные люди. Харьков, 1928. Печ. по тексту журнала

Т о в а р и щ Г о г о л ь.— Смехач, 1926, № 49. Фельетон не переиздавался.

С о ц и а л ь н а я г р у с т ь.— Смехач, 1927, № 5. Подпись: М. З. Печ. по кн.: *З о щ е н к о М.* Избранное Л., 1933

Ю м о р и с т.— Бегемот, 1927, № 6. Печ. по СС, т. 2.

С к у п о й р ы ц а р ь.— Бегемот, 1927, № 6. Печ. по СС, т. 2.

О п о л ь з е г р а м о т н о с т и.— Бегемот, 1927, № 8. Под названием: Интеллигентный случай. Факт, ставший основой фельетона, был использован М. Зощенко ранее в шуточной заметке «Ликвидация неграмотности ко дню юбилея Гаврилы» (Бузотер, 1925, № 26. Подпись: Михал Михалыч). Печ по кн.: Избранные рассказы

А д м и н и с т р а т и в н ы й в о с т о р г.— Бегемот, 1927, № 16. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

И г р а п р и р о д ы.— Бегемот, 1927, № 29. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

П о э т и л о ш а д ь.— Пушка, 1927, № 30 Печ по кн. Избранные рассказы.

С т а р а я и с т о р и я.— Пушка, 1928, № 19. Под названием: Все в порядке. Подпись: Гаврилыч. Печ. по кн.: Личная жизнь.

П о ж а р.— Бегемот, 1928, № 34. Под таким же названием публиковался рассказ другого содержания. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Н е з а б а в н о.— Пушка, 1928, № 36. Подпись: Гаврилыч Под таким же названием публиковался фельетон другого содержания. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Неделя, 1983, 7—13 марта.

С. 513. *Семашко* Николай Александрович (1874—1949) — нарком здравоохранения в 1918—1930 гг.

Обмишурились.— Пушка, 1928, № 42. Подпись: Гаврилыч. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Лит. газ., 1984, 8 авг.

Подождем, над нами не каплет.— Пушка, 1928, № 48. Подпись: Гаврилыч. При жизни М. Зощенко не переиздавался. Перепечатан: Крокодил, 1984, № 23.

Домашнее средство.— Ревизор, 1929, № 2. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

С. 516. *Балинский* Иван Михайлович (1827—1902) — один из основоположников психиатрии в России, организатор «Общества петербургских врачей для помешанных». Его именем названа психиатрическая больница в Ленинграде.

Лошадиная история.— Пушка, 1929, № 4. Подпись: Гаврилыч. Публиковался также под названием «Не ври». Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Терпеть можно.— Ревизор, 1929, № 5. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Семейное дело.— Ревизор, 1929, № 22. Подпись: Мих. Гаврилов. Печ. по кн.: Избранные рассказы.

Человека жалко.— Ревизор, 1929, № 26. Подпись: Мих. Гаврилов. Печ. по кн.: Личная жизнь.

Горько.— Ревизор, 1929, № 40. Печ. по кн.: Личная жизнь.

Дни нашей жизни.— Пушка, 1927—1929. Подборка маленьких фельетонов, напечатанных в разных номерах журнала. Некоторые из них публиковались в сборниках. В настоящем составе печатаются впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

ФЕЛЬЕТОНЫ 1920-х годов

Зощенко М.

З 88 Собрание сочинений: В 3-х т. Т. 1. Рассказы и фельетоны/Сост., подгот. текста, вступ. статья и примеч. Ю. Томашевского.— Л.: Худож. лит., 1986.— 560 с., 1 л. порт.

В первый том Собрания сочинений советского писателя-сатирика М М. Зощенко (1894—1958) вошли рассказы и фельетоны писателя 1920-х годов, принесшие их автору огромную популярность

З $\frac{4702010200\text{-}78}{028(01)\text{-}86}$ без объявл. **ББК 84.Р7**

Михаил Михайлович Зощенко

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

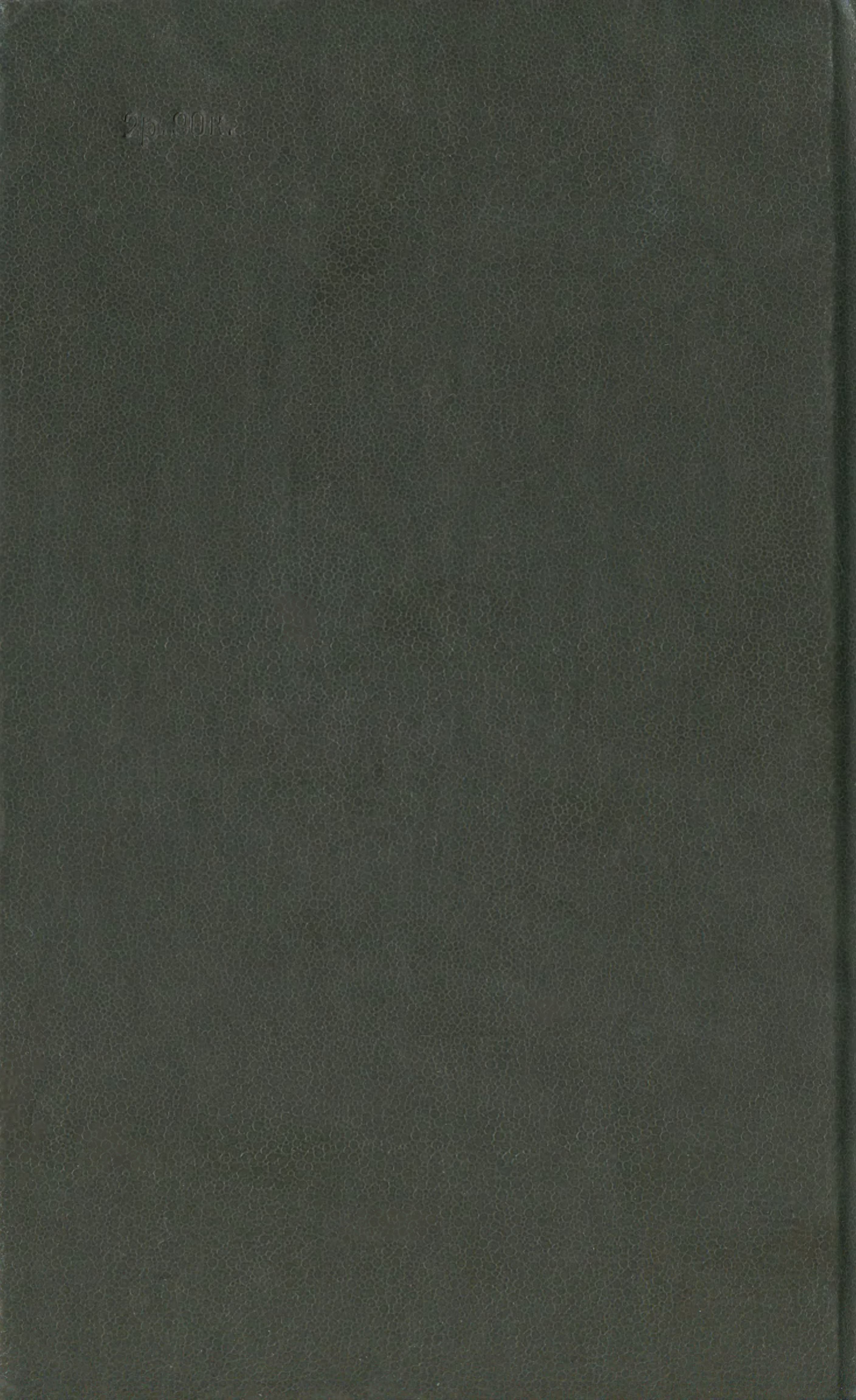
Том 1

Составитель
Юрий Владимирович Томашевский

Редактор А Рулева
Художественный редактор Р. Чумаков
Технический редактор Н Литвина
Корректоры А. Воробей, Л. Никульшина

ИБ № 3523

Сдано в набор 31.01.86. Подписано в печать 27 06.86. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1 Гарнитура «Обыкновенная новая» Печать высокая. Усл печ. л. 29,4+0,05 вкл.=29,45. Усл. кр.-отт. 29,50. Уч.-изд. л 32,85+1 вкл.= =32,89. Тираж 100 000 экз Изд № ЛIII-59. Заказ № 242 Цена 2 р 90 к Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А М Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр , 15


2р. 90к.